

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

РАССКАЗЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

А. Л. Гришунин

РАССКАЗЫ БАБУШКИ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПЯТИ ПОКОЛЕНИЙ,
ЗАПИСАННЫЕ И СОБРАННЫЕ ЕЕ ВНУКОМ Д. БЛАГОВО

Утверждено к печати Редколлегией серии «Литературные памятники»

Редактор издательства *Е. А. Гольдич.* Художник *Л. А. Яценко*
Технический редактор *И. М. Кашеварова*
Корректоры *О. И. Буркова, Л. Б. Наместникова, Г. И. Суворова* и *К. С. Фридлянд*

ИБ № 33444

Сдано в набор 15.01.88. Подписано к печати 6.01.89. М-24502. Формат 70×90 1/16. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Фотонабор. Усл. печ. л. 34.51+1.3 вкл. Усл. кр.-отт. 36.99. Уч.-изд. л. 39.73. Тираж 100 000 (1-й завод 1—25 000). Тип. зак. № 21. Цена 8 р.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука». Ленинградское отделение
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская линия, 1

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

Р $\frac{4702010101\text{-}506}{042(02)\text{-}89}$ Без объявления

ISBN 5-02-027938-2



⟨ПРЕДИСЛОВИЕ⟩

Бабушка моя, матушкина мать,[1] Елизавета Петровна Янькова, родилась 29 марта 1768 года. Она была дочь Петра Михайловича Римского-Корсакова, женатого на княжне Пелагее Николаевне Щербатовой. Мать Петра Михайловича, Евпраксия Васильевна, была дочь историка Василия Никитича Татищева.

Бабушка скончалась 3 марта 1861 года, сохранив почти до самой своей кончины твердую память, в особенности когда речь касалась *прошлого*. Все члены рода Корсаковых жили весьма долго, но бабушка Елизавета Петровна всех превзошла своим долгоденствием. Она живо помнила все предания семейства, восходившие до времен Петра I, и рассказывала с удивительною подробностью, помня иногда года и числа: кто был на ком женат, у кого было сколько детей, словом сказать, она была живою летописью всего XVIII столетия и половины XIX.

Я начал помнить мою бабушку с 1830 года, со времени *первой холеры*:[2] ей было тогда 62 года. Она жила постоянно в Москве, в собственном доме, в приходе у Троицы [3] в Зубове, в Штатном переулке, между Пречистенкой и Остоженкой. Мне было тогда три года: мы жили в деревне в сорока верстах от Москвы; это было осенью, в конце августа или в сентябре. Помню, что раз вечером в гостиной я заснул у матушки на диване, за ее спиной. Просыпаюсь — поданы свечи; пред матушкой стоит жена управителя Настасья Платоновна, и матушка читает ей вслух письмо, полученное от бабушки. Она писала: «Милый друг мой, Грушенька, приезжай скорее в Москву: нас посетил гнев Божий, смертоносное поветрие, которое называют *холерой*. Смертность ужасная: люди мрут как мухи. Приезжай, моя голубушка, я одна: Клеопатра еще не возвращалась; она и Авдотья Федоровна у Анночки * в Гремячеве. Что тебе делать одной с ребенком в деревне: ежели Господь определил нам умереть, так уж лучше приезжай умирать со мною, умрем вместе; на людях, говорят, и смерть красна. Жду тебя, моя милая, Господь с тобою».**

---

* Клеопатра Дмитриевна, младшая сестра матушки, девица, которая жила с бабушкой. Анночка, то есть Анна Дмитриевна Посникова, вторая дочь бабушки, находившаяся тогда в костромской деревне Гремячеве. Авдотья Федоровна Барыкова, дочь одного тульского дворянина, которую по выходе из института бабушка взяла к себе погостить, очень полюбила ее и не пустила к отцу, и прожила она у бабушки до своего замужества, с 1816 до 1834 года.

** Это письмо уцелело; списываю его слово в слово.

На следующий день мы поехали в Москву. Как мы ехали, не помню; памятно мне только, что, когда мы приехали к Бутырской заставе, было уже совершенно темно и вдруг нас озарил яркий свет: были разложены большие костры по обеим сторонам дороги у самой заставы.

Я спал во время дороги, но когда карета вдруг остановилась, я проснулся.

Слышу, матушка спрашивает у кого-то:

— Что это такое? Отчего разложены костры?

— Велено окуривать тех, которые въезжают в город, — отвечал чей-то голос в темноте.

Человек наш пошел в караульную при заставе расписываться в книге: *кто и откуда едет* (как это тогда водилось, покуда с устройством железных дорог в 1852 году [4] на заставах не были сняты шлагбаумы и въезд в города не сделался совершенно свободным).

Матушка говорит моей няне старушке:

— Няня, спусти стекло и спроси, отчего это казак стоит у огня?

Няня спустила стекло, высунула голову и с кем-то говорила; я, верно, или не понял, или не слыхал ее слов, но только слышу, она передает матушке шепотом, чтобы меня не разбудить: «Это, вишь, пикет, казаки поставлены, город оцеплен; и мертвое тело лежит. . .»

— Ах, Боже мой! — воскликнула матушка.

Мне стало почему-то вдруг страшно, и я громко заплакал.

Матушка взяла меня на колени, крепко поцеловала и стала мне что-то говорить. Между тем человек расписался, подняли шлагбаум, и мы въехали в город.

Я совершенно разгулялся ото сна и стал внимательно смотреть в окно: вижу фонари, лавки освещенные, по улицам ездят в каретах. Все это меня занимало, и всё мы ехали, ехали — мне показалось, очень долго и далеко. Наконец матушка говорит мне: «Сними шляпу и перекрестись, мой хороший; вот церковь, это наш приход, сейчас приедем. . .»

И точно, вскоре мы въехали на двор. Меня вынули из кареты и понесли в дом.

Бабушка вышла встретить нас в залу и обняла матушку, а ко мне нагнулась и меня расцеловала. Это свидание матушки и бабушки живо врезалось в мою память и представляется мне как самое давнее, первое мое воспоминание. С этого дня я начинаю помнить бабушку, ее зубовский дом, приход наш, сад и все то, чем я был постоянно окружен до 1838 года, когда мы от бабушки переехали на житье в собственный дом.

Мы вошли в гостиную: большая желтая комната; налево три больших окна; в простенках зеркала с подстольями темно-красного дерева, как и вся мебель в гостиной. Направо от входной двери решетка с плющом и за нею диван, стол и несколько кресел.

Напротив окон, у средней стены, диван огромного размера, обитый красным шелоном; пред диваном стол овальный, тоже очень большой, а на столе большая зеленая жестяная лампа тускло горит под матовым стеклянным круглым колпаком. У стены, противоположной входной двери, небольшой диван с шитыми подушками и на нем по вечерам всегда сидит

бабушка и работает: вяжет филе или шнурочек или что-нибудь на толстых спицах из разных шерстей. Пред нею четвероугольный продолговатый стол, покрытый пестрою клеенкой с изображением скачущей тройки; на столе две восковые свечи в высоких хрустальных с бронзой подсвечниках и бронзовый колокольчик с петухом. Напротив бабушки у стола кресло, в которое села матушка и стала слушать, что говорит бабушка; а я, довольный, что после неподвижного сидения в карете могу расправить ноги, отправился по всем комнатам все осматривать с любопытством, как будто видимое мною видел в первый раз.

Надобно думать, что я до тех пор был еще слишком мал и ничего еще не понимал, потому что все, что представлялось моим взглядам, мне казалось совершенно новым.

Поутру бабушка кушала свой кофе у себя в кабинете, и пока не откушает, дверь в гостиную не отворялась; в 10 часов замок у двери щелкнет со звоном, бабушка выходит в гостиную и направо от кабинетной двери садится у окна в мягкое глубокое кресло и работает у маленького столика до обеда, то есть до трех часов, а если работает в пяльцах — вышивает ковер, то остается в своем кабинете и сидит на диване против входной двери из гостиной и видит тотчас, кто входит из залы. Когда она бывала дома, то принимали прямо без доклада.

Опишу наружность бабушки, каковою я начал ее помнить с детства и каковою, с едва заметною для меня переменой, она осталась до самой ее кончины в 1861 году, когда ей было 93 года.

Бабушка была маленькая худенькая старушка с весьма приятным бледным лицом; на ней тюлевый чепец с широким рюшем надвинут на самый лоб, так что волос совсем не видать; тафтяное платье с очень высоким воротом и около шеи тюлевый рюшевый барок; сверху накинут на плечи большой темный платок из легкой шерстяной ткани или черный шелковый палатин. Как многие старушки ее времени, она остановилась на известной моде, ей приличествовавшей (1820-х годов), и с тех пор до самой кончины своей продолжала носить и чепец, и платье однажды усвоенного ею покроя. Это несовременное одеяние не казалось на ней странным, напротив того: невольное внушало каждому уважение к старушке, которая, чуждаясь непостоянства и крайностей моды, с чувством собственного достоинства оставила за собой право одеваться, как ей было удобно, как бы считая одежду не поводом к излишнему щегольству, но только средством, изобретенным необходимостью, приличным образом удобно и покойно себя чем-нибудь прикрыть.

Десять лет моего детства провел я в доме бабушки и с детства слышал ее рассказы, но немногое от слышанного тогда осталось в моей памяти; я был еще так мал, что не придавал настоящего значения слышанному мною и то, что слышал сегодня, — забывал завтра. Десять лет спустя, когда, лишившись своей незамужней дочери,[5] с которою она жила, бабушка переехала на житье к нам в дом и жила с нами до своей кончины, в эти двенадцать лет слышанное мною живо врезалось в мою память, потому что многое было мною тогда же подробно записано. В числе этих двенадцати лет мы провели безвыездно три года — 53, 54 и 55 — в деревне,

и тут в длинные зимние вечера бабушка любила вспоминать о своей прошлой жизни и нередко повторяла одно и то же.

То, что я тогда записал, могу передать со всею полнотой подробностей, которые доказывают, что говорит очевидец, припоминающий когда-то виденное, а то, что я позабывал или иногда и ленился записывать подробно, слишком доверяя своей памяти, я передаю только в очертаниях и кратких словах, не желая вымышлять и опасаясь исказить точность мне переданного.

Все те мелочные подробности ежедневной нашей жизни, которыми мы пренебрегаем в настоящее время, считая их излишними и утомительными, становятся драгоценными по прошествии столетия, потому что живо рисуют пред нами нравы, обычаи, привычки давно исчезнувшего поколения и жизнь, имевшую совершенно другой склад, чем наша.

Я несколько раз пытался предлагать бабушке диктовать мне ее воспоминания, но она всегда отвергала мои попытки при ней писать ее записки и обыкновенно говаривала мне: «Статочное ли это дело, чтоб я тебе диктовала? Да я и сказать-то ничего тебе не сумею; я давным-давно все перезабыла, а ежели что я рассказываю и тебе покажется интересным, так ты и запиши, а большего от меня не жди, мой милый».

Так мне и приходилось делать: записывать украдкой и потом приводить в порядок и один рассказ присоединять к другому. Будучи в настоящее время единственным хранителем этих преданий и рассказов, я счел своим долгом поделиться этими словесными памятниками прошедшего со всеми любителями старины и рассудил, что мне как москвичу всего лучше и приличнее напечатать их в Москве,[6] тем более, что в московском обществе найдутся люди, по преданию имеющие понятие о лицах, упоминаемых в рассказах старушки, прожившей всю свою жизнь в Москве.

1877 года, ноября 1 дня.





ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Я родилась в селе Боброве, которое купила покойная бабушка, батюшкина мать, Евпраксия Васильевна, дочь историка Василия Никитича Татищева. В первом браке она была за дедушкой, Михаилом Андреевичем Римским-Корсаковым, и от него у нее было только двое детей: батюшка Петр Михайлович и тетушка княгиня Марья Михайловна Волконская. Вскоре овдовев, бабушка вышла замуж за Шепелева (кажется, Ивана Ивановича); детей у них не было, и они скоро разъехались, дав друг другу подписку, чтобы никоторому из них одному после другого седьмой части не брать.[1] По Шепелевым бабушка приходилась сродни графине Шуваловой (Мавре Егоровне, урожденной Шепелевой, жене графа Петра Ивановича Шувалова). Летом графиня Шувалова живала иногда в своем имении, где-то неподалеку от Боброва; бабушка с ней считалась родством и была дружна. Раз как-то она была у нее в гостях, та и говорит ей: «Что ты меня никогда не позовешь к себе обедать?».

— Что же мне тебя звать, — отвечала бабушка, — милости просим когда угодно.

— Ну, так назначь день, когда мне приехать; а то легко ли сколько верст ехать с визитом, а ты, пожалуй, и не дашь пообедать.

— Я дня не назначаю, потому что ты сама знаешь, всегда тебе рада и обедом угощу, прошу не прогневаться, чем Бог послал... А ежели день назначишь, и того лучше, буду тебя ожидать... Назначь сама.

День назначили. Бабушка, приехав домой, послала несколько троек туда-сюда: кто поехал за рыбой, кто за дичью, за фруктами, мало ли за чем? *Званый обед*: Шепелева угощает графиню Шувалову, — стало быть, пир на весь мир. Бабушка была большая хлебосолка и не любила лицом в грязь ударить. Надобно гостей назвать: не вдвоем же ей обедать с графиней. Послала звать соседей к себе хлеба-соли откушать; и знатных, и незнатных — всех зовет: большая барыня никого не гнушается; ее никто не уронит, про всех у нее чем накормить достанет... Приспел назначенный день. Гостиная полна гостей; Калуга в семнадцати верстах, и оттуда съехались: приехала главная гостья — Шувалова; не забыли и попа с попадьей. Попадью бабушка очень любила и ласкала; соскучится, бывало, и позовет человека: «Поди, зови попадью». Та придет: «Что ж это ты дела своего не знаешь, ко мне не идешь который день?» Та начнет извиняться: «Ах, матушка, ваше превосходительство, помилуйте, как же я

могу, как я смею незваная прийти. . .» Бабушка как прикрикнет на нее: «Что ты, в уме, что ли, дура попова, всякий вздор городишь! Вот новости: незваная! Скажите на милость: велика птица, зови ее! пришла бы сама, да и пришла. . . Ну, ну, не сердись, что я тебя обругала, я пошутила, попадья; садись, рассказывай, что знаешь. . .» И так редкий день, чтобы попадья не была у бабушки.

Пришел час обеда; дворецкий с важностью доложил: «Кушанье готово». Хозяйка взяла за руку Шувалову, ведет ее к столу, видит, попадья тут стоит. Желая ее приласкать, она и говорит ей:

— Ну, попадья, ты свой человек; сегодня не жди, чтоб я тебя потчевала, а что приглянется, то и кушай.

В то время кушанья не подавали из буфета, а все выставляли на стол, и перемен было очень много. В простые дни, когда *за-свой* обедают, и то бывало у бабушки всегда: два горячих — щи да суп или уха, два холодных, четыре соуса, два жарких, два пирожных. . . А на званом обеде так и того более: два горячих — уха да суп, четыре холодных, четыре соуса, два жарких, несколько пирожных, потом десерт, конфеты, потому что в редком доме чтобы не было своего кондитера и каждый день конфеты свежие. . . Можно себе представить, какой был в этот день обед у бабушки: она любила покушать, у нее, говорят, и свои фазаны водились; без фазанов она в праздник и за стол не садилась. Бывало, сидят за столом, сидят — конца нет: сядут в зимнее время в два часа, а встанут — темно; часа по три продолжался званый обед.

Ну, сели за стол, сидят — кушают да похваливают; что блюдо — то диковинка; вот дошло дело до рыбы. Дворецкий подходит к столу, чтобы взять блюдо, — стоит и не берет. Бабушка смотрит и видит, что он сам не свой, на нем лица нет, чуть не плачет. «Что такое?». Подают ей стерлядь разварную на предлинном блюде; голова да хвост, самой рыбы как не бывало. Можешь себе представить, как бабушке стало досадно и конфузно! Она не знает, что и подумать! Смотрит кругом на всех гостей, видит, попадья сидит, как на иголках, — ни жива ни мертва. . . Бабушка догадалась, говорит громко: «Что ж это такое?», а сама с попадьи глаз не сводит. С попадьей чуть не дурно делается, встала, хочет сказать — не может. Все гости опустили глаза, ждут — вот будет буря. «Попадья, ты это съела у меня рыбу?» — грозным голосом спрашивает бабушка.

— Виновата, матушка государыня, ваше превосходительство, точно я, виновата, — бормотала попадья, — сглупила. . .

Бабушка расхохоталась, глядя на нее — и все гости.

— Да как же это тебе в ум только пришло съесть что ни на есть лучшую рыбу? — спрашивала хозяйка сквозь смех.

— Простите, виновата, государыня, ваше превосходительство! Вот как изволили идти-то к столу, так и сказали мне, что ты, мол, свой человек, не жди, чтобы потчевать стала, а что приглянется, то и кушай. . . Села я за стол, смотрю, рыбина стоит предо мною большая, — хороша, должно быть, сем-ка я, отведаю, да так кусочек за кусочком, глоток за глотком, смотрю, — а рыбы-то уж и нет. . .

Бабушка и графиня хохочут еще пуще прежнего; им вторят гости. . .

— Ну, попадья, удружила же ты мне, нечего сказать... есть за что поблагодарить! Я нарочно за рыбой посылаю и невесть куда, а она за один присест изволила скушать! Да разве про тебя это везли? Уж подлинно — дура попова.

И, обратившись к дворецкому, сказала: «Поди, ставь попадье ее объедки, пусть доедает за наказание, а нам спросите, нет ли еще какой другой рыбы? ..»

Принесли другое блюдо рыбы — больше прежней...

Я думаю, что вся эта проделка попадьи была заранее подготовлена, чтобы посмешить гостей; тогда ведь это водилось, что держали шутов да шутих...[2]

Бабушка Евпраксия Васильевна была, говорят, очень крутого нрава и как знатная и большая барыня была в большом почете и не очень церемонилась с мелкими соседями, так что многие соседки не смели и войти к ней на парадное крыльцо, а все на девичье крыльцо ходили.

Рассказывают, что одна соседка сказала про бабушку что-то неладное; бабушке передали это. Она промолчала. Через сколько-то времени приехала к ней эта соседка, говорившая про нее дурно. Пришла в девичью и говорит: «Доложите генеральше, что я, мол, приехала». Пришли докладывать бабушке, что такая-то приехала и сидит в девичьей.

— Скажи ей, что я ее и видеть не хочу. Я, видишь, не хороша по ее рассужденью, — ну, пусть лучше кого ищет, а меня бы оставила в покое и избавила от своего знакомства.

Возвратилась в девичью та, которая докладывала.

— Генеральша на вас, матушка, за что-то гневается, говорит: «Коли я не хороша для нее, пусть кого получше ищет, чтобы ко мне и глаз не казала, не ездила».

Барынька просит, чтоб об ней доложили; никто идти не смеет, боятся. Так она посидела, посидела, да и к себе опять поехала. И раза два или три она потом приезжала; доложат бабушке — и все один ответ: «Скажи ей, что напрасно ездит, ведь сказала, что не приму, и не приму».

Так прошло несколько месяцев: бедная соседка ездит, бабушка не принимает.

Та плачет, уверяет, что ни в чем не виновата, что и не знает, за что на нее генеральша гневается; просит, чтобы так и доложили.

Наконец кто-то и решился доложить.

Бабушка взмиловалась, велела впустить к себе соседку.

Та пришла.

— Чем это я не угодила тебе, что ты бранишь меня и говоришь про меня вот то-то и то-то? Да как только ты смела про меня худо говорить? Знаешь ли, кто я и кто ты?

Та начинает оправдываться, божится, что ни в чем не виновата, что ничего и знать не знает, а бабушка пуще ее бранит. Мылила-мылила ей голову, та и в ноги-то кланяется, просит только бы слушать...

Перестала бабушка ее пробирать и стала слушать оправдание, и что же оказывается? что точно все была одна сплетня. Уверившись, что про бедную соседку сказали напраслину, бабушка очень пожалела, что без

причины ее оскорбила, и разными подарками старалась утешить бедную дворянку, ни в чем не виновную, и с тех пор к ней особенно благоволила.

Вот что мне еще рассказывала про бабушку Евпраксию Васильевну наша мамушка, Марья Ивановна, бывшая при бабушке сенною девушкой: «Генеральша была очень строга и строптива; бывало, как изволят на кого из нас прогневаться, тотчас и изволят снять с ножки башмачок и живо отшлепают. Как накажут, так и поклонишься в ножки и скажешь: ,,Простите, государыня, виновата, не гневайтесь". А она-то: ,,Ну пошла, дура, вперед не делай". А коли кто не повинится, она и еще побьет. . . Уж настоящая была барыня: высоко себя держала, никто при ней и пикнуть не смей; только взглянет грозно, так тебя варом и обдаст. . . Подлинно барыня. . . Упокой ее Господи. . . Не то, что нынешние господа».

Бабушка была в свое время очень хорошо воспитана и учена; она говорила хорошо по-немецки, это я слышала от батюшки Петра Михайловича.

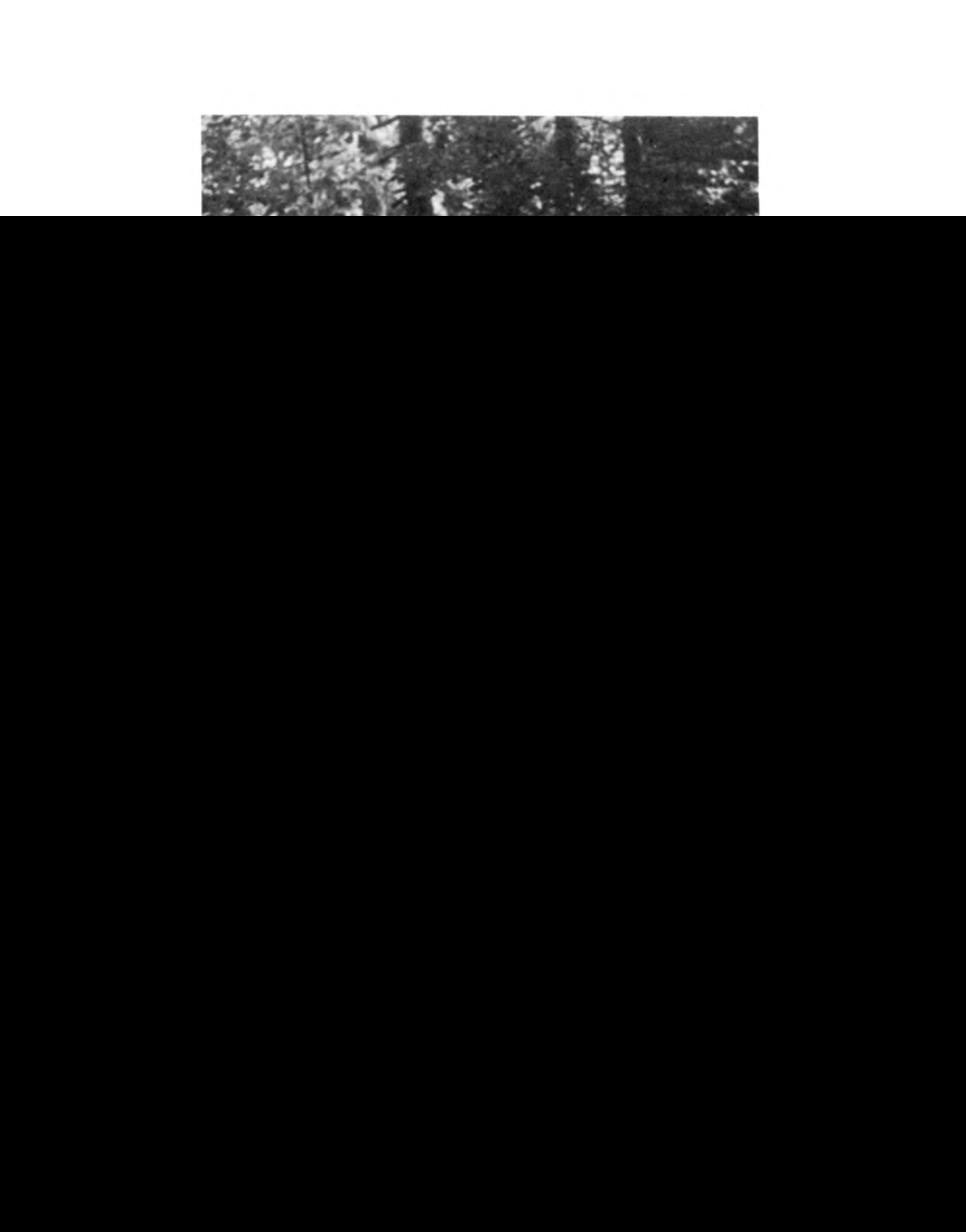
II

Отец бабушки Евпраксии Васильевны, Василий Никитич Татищев, который написал «Русскую Историю»,[3] родился при Петре I и был лично ему известен.[4] Родился в 1686 году, умер 15 июля 1750 года. Он долгое время жил за границей для своего обучения; провел несколько лет в Германии [5] и службу свою начал на восемнадцатом году [6] от рождения, в военных чинах. Государь к нему благоволил и, сказывали мне, давал ему секретные поручения, и был он посылыван и в Швецию, где учился горному делу,[7] почему впоследствии и в Сибирь его посылали и поручили заниматься рудокопнями и горным производством.[8]

При вступлении на престол императрицы Анны Иоанновны он много выиграл тем, что стоял за самодержавие, которого не желали многие из вельмож.[9] Он был статский советник, а перед коронацией сделали обер-церемониймейстером [10] и после того дали ему чин действительного статского советника; и злодей Бирон [11] был к нему хорош, а он посылал ему из Сибири разные гостинцы, которые тот принимал.

Василий Никитич имел только одну сестру, Прасковью Никитичну, которая была сперва в замужестве за Теряевым, а потом за Станкевичем. Вот почему нам те и другие родня. Женат был прадедушка на вдове Редкиной, Анне Васильевне, урожденной Андреевской.* Он имел от нее

* Кажется, что жена Василия Никитича была дважды вдовой: ее звали Анна Васильевна, урожденная Андреевская; это известие находим мы в исследовании Чистовича («Феоф⟨ан⟩ Прок⟨опович⟩ и его время»), который говорит, что Василий Никитич женился в 1714 году на вдове Редкиной, а бабушка говорила, что она была прежде Батвиньева, следовательно, можно полагать, что Анна Васильевна была за Батвиньевым, потом за Редкиным и в 1714 году за Татищевым, который имел от нее: Евпраксию Васильевну (родилась или в 1715, или 1716 году) и Евграфа Васильевича, который родился в 1717 году. Евпраксия Васильевна вышла замуж за Римского-Корсакова при императрице Анне или в конце 1730, или в начале 1731 года, потому что Петр Михайлович родился в 1731 году. В 1727 году Василий Никитич хлопотал о разводе, потому что жена его имела связь с Радищевым.[12] (См. Чистовича).



только двоих детей: Евграфа Васильевича и бабушку Евпраксию Васильевну. В которых годах, я не сумею сказать, но слыхала, что Василий Никитич был губернатором в Оренбурге и в Астрахани и тут попал в немилость; это было уже при императрице Елизавете Петровне в начале 1740-х годов. Ему велено было выйти в отставку и жить в деревне, к нему даже был приставлен караул. О причине этой опалы заподлинно не умею сказать: кто говорит, что были на него доносы по службе, а другие сказывали, будто бы его жена, с которою он разъехался, обнесла его пред императрицей, и стали к нему придираться и, наконец, подкопались под него.[13] Он жил в своей деревне в Клинском уезде, в сельце Болдине, лет шесть и имел предчувствие о своей кончине. Об этом я не раз слыхала и от батюшки, и весьма подробно рассказывал покойный дядюшка Ростислав Евграфович Татищев, который в то время жил с ним в Болдине, и со слов его покойный муж мой, Дмитрий Александрович, подробно описал все обстоятельства кончины, последовавшей 15 июля 1750 года. За несколько дней до этого Василий Никитич стал чувствовать какую-то слабость и потому писал к сыну своему, Евграфу Васильевичу, в Москву, чтоб он с женой приехал с ним проститься, потому что чувствует приближение времени своего исхода. Евграф Васильевич с первою своею женою, Прасковьею Михайловною Зиновьевою, поспешил приехать к отцу и нашел его, по-видимому, совершенно здоровым. Июля 14 Василий Никитич поехал верхом за три версты в свою приходскую церковь со своим внуком, Ростиславом Евграфовичем, и, отправляясь из дома, велел прислать в село мастеровых людей с лопатами. Когда обедня окончилась, он позвал священника идти с собою на погост и, пришедши туда, стал ему показывать, где кто из его родных положен; выбрал себе место и приказал рабочим приступить к копанию могилы. Возвращаться домой верхом он не мог, потому что ослабел, сел в одноколку и со внуком поехал домой, а священника просил назавтра приехать к нему в Болдино со Святыми Дарами,[14] чтоб его исповедать и причастить, и поручил ему, кроме того, пригласить таких-то священников, потому что желает собороваться.

Возвратившись домой, он нашел у себя курьера, присланного из Петербурга с известием, что он оправдан от несправедливого обвинения и государыня посылает ему Александровскую звезду.[15]

Он сам написал к государыне письмо, благодарил ее за ее милость, но орден возвратил обратно, извещая, что чувствует уже приближение своей кончины, и отпустил курьера. Караул, находившийся при нем, был снят.

В этот вечер, когда пришел к нему за приказанием его повар-француз, он обеда заказывать не стал.

— Я теперь у вас уже гость, — сказал он, — а не хозяин, а хозяева вот кто, — прибавил он, указывая на сына и на невестку: — Они тебе прикажут, что нужно; я обедать более не буду.

Он был очень спокоен духом и не забыл даже передать невестке, что на погребе лежит начатой теленок, «так есть из чего и готовить».

На другой день поутру приехал приходский священник с причтом, исповедал его и причастил Святых Таин.[16]

Василий Никитич велел позвать сына, невестку, внука, прощался с ними и делал им наставления, потом велел собрать всех домашних и дворовых людей, просил у всех прощения, благодарил за усердную службу и, простившись со всеми и всех отпустив, просил священников начать соборование и тихо и безболезненно скончался при чтении последнего Евангелия.[17] Когда послали за столяром, чтобы снять мерку для гроба, столяр сказал, что уж давно по приказанию покойника для него гроб сделан, а что ножки под него он сам изволил точить.

Евграфа Васильевича я помню, что видала в моем детстве. Он скончался, когда мне было лет тринадцать, а третью его жену, бабушку Аграфену Федотовну, я очень любила и уважала, и батюшка ее очень чтил и с нею крестил старшую мою дочь, Аграфену Дмитриевну.

III

Корсаковы родом с острова Корсики, потому так и называются. Сперва они переселились в Литву, а оттуда при сыне Дмитрия Донского[18] один из них, по имени Вячеслав, прибыл в Россию с литовской княжной (Софьей Витовтовной), и от него и пошел наш род. У него был сын Федор и четыре внука; от старшего, Осипа, пошли Корсаковы, а от одного из его братьев — Милославские. При царе Федоре Алексеевиче Корсаковы стали прозываться Римскими-Корсаковыми, в отличие от другой похожей фамилии Корсаковых. Из последних некоторые потом вписались в нашу родословную, но это неправильно, потому что они совсем другого происхождения, чем мы. Двое из батюшкиных пращуров были митрополитами: один, Игнатий — сибирским, другой, Иосиф — псковским. Батюшкин дед, Андрей Леонтьевич, служил при Петре I и был стольником. Он был женат на княжне Шаховской Марье Федоровне; у нее была сестра, княгиня Екатерина Федоровна, за стольником Венедиктом Яковлевичем Хитрово. Дочь их, Евдокия Венедиктовна Хитрово, была сперва в замужестве за князем Юрием Федоровичем Кольцовым-Масальским, а потом, овдовев, она вышла за Василия Васильевича Головина, который в собственноручных заметках, сохранившихся в селе Новоспасском, Московской губернии, Дмитровского уезда (ныне Спасо-Влахернский монастырь), записал, что 10 января 1717 года сговор его со вдовой Хитрово был в доме тетки ее родной, Марии Федоровны Римской-Корсаковой, на Остоженке, в приходе Старого Воскресения. У них было два сына: старший, Василий Андреевич, и меньшой, мой дед, Михаил Андреевич. По указу Петра I велено было учреждать майораты, то есть отдавать имение старшему сыну для того, чтобы дворянские роды не обеднели. Батюшкин отец Михаил Андреевич был послан для обучения за границу в последние годы царствования Петра и жил там довольно долго, так что срок его возвращению исполнился уже по вступлении на престол императрицы Анны Иоанновны. При ее дворе находилась одна близкая родственница Римских-Корсаковых. Какую она должность занимала, наверное не знаю, но только она была из приближенных к императрице, а звали ее Наталья Ивановна Взимкова. Она была

пожилою девицей. Раз как-то приходит она к императрице просить позволения отлучиться к своим родным. «Присылала за мною моя невестка, Римская-Корсакова, наказывала, чтоб я отпросилась и непременно бы у нее побывала: нужно со мною повидаться». Государыня ее отпустила, а вечером, когда она возвратилась и явилась к императрице, та и спрашивает ее:

— Ну что, побывала у своих?

— Побывала, государыня, и вдоволь наплакалась, глядючи на невестку...

— А что же такое? Разве какое у них несчастье? — спросила императрица.

— Нет, несчастья-то по милости Божьей нет, а невестка очень горюет о меньшом своем сыне Мише: он в чужих краях учится, послан был еще при жизни покойного государя, теперь ему срок наступил вернуться назад, он меньшой, а у матери-то, знать, не любимый ли... Убивается, плачет, бедная, говорит: возворотится Миша, у чего он будет? Он меньшой, все имение велено отдавать большему, а он останется безо всего, не будет у него ни кола ни двора...

— Так что же тут делать? — спросила императрица.

— Поручали мне просить тебя, царица-государыня: будь к ним милостлива, дозволь им свое имение поровну разделить обоим братьям...

— Нет, этого я не могу, — возразила императрица, — позволь им, позволь и другим закон нарушить... этого нельзя, а лучше ты дай ему что-нибудь из своего имения, помоги родному...

— Матушка государыня, рада бы радешенька дать что-нибудь, коли бы средствия имела, а то я и сама еле-еле существую, и если бы не твои ко мне милости, то и совсем бы нуждалась. У меня всего-то и есть что деревушка в Череповском уезде, 200 душ...

— Вот ее-то и отдай...

— А сама-то я с чем останусь? Благодарю покорно, по миру иди...

— По миру! — воскликнула императрица. — А я-то что же? Разве я тебя оставлю? Не жалей, отдай, я тебя обеспечу...

— Государыня, велики твои ко мне милости, не стою я их. А ну, как да я тебе не угожу, и ты меня вон вытуришь: «Гнать ее, старую дуру!». Тогда что, куда я тогда денусь?

— Говорю я тебе, отдай, а я тебя обеспечу; а невестке скажи, чтоб она отписала к сыну и приказала ему вернуться, что я, мол, не оставлю его и приищу-де ему богатую невесту.

Так и сделали. Михаил Андреевич возвратился. Взимкова отдала ему свою деревушку, которою потом батюшка наградил меня в приданое, и я всегда Взимкову поминаю. Она погребена в Переяславском Феодоровском монастыре. Так ли она там жила, или была потом в монашестве, или велела, может статься, схоронить себя со своими сродниками, этого я не могу сказать. Когда мы езжали в Ростов, всегда в Переяславле останавливались и по ней служили панихиду.

Дедушка по возвращении поступил в Семеновский полк,[19] и вскоре императрица сосватала ему невесту, и пребогатую, дочь Татищева,

Евпраксию Васильевну. Императрица наградила ее: благословила иконой, пожаловала бриллиантовый цветок с красным яхонтом, жемчужную нить и глазетовое платье со своего плеча.

Бабушка была недолго замужем и имела только двоих детей: батюшку, — он родился 27 ноября 1731 года, и тетушку, княгиню Марью Михайловну (жену князя Михаила Петровича Волконского). Она родилась 9 января 1736 года, скончалась 6 августа 1786 года, я потом буду говорить о ней подробнее.

IV

В 1733 году бабушка купила в семнадцати верстах от Калуги село Боброво и там постоянно живала большую часть года, а в Москве имела свой дом близ Остоженки, в приходе Илии Обыденного, и мы жили еще в этом доме, когда я шла замуж в 1793 году, и там венчалась. Не могу сказать наверное, чей это был дом: Корсаковых или Татищевых, или куплен был бабушкой. Вероятно, поблизости этого дома от Зачатиевского монастыря и схоронили дедушку Михаила Андреевича в этом монастыре под церковью Милостивого Спаса, что над святыми вратами, а церковь строили прежде еще Корсаковы, и кроме дедушки там погребены многие из них и из Шаховских, так как дедушкина мать была Шаховская.

Батюшка был лет четырнадцати, когда бабушка отвезла его в Петербург, записала каптенармусом в лейб-гвардии Семеновский полк и там оставила, а сама возвратилась в Боброво.

Почтовых сообщений в то время, должно быть, не было, и бабушка посылывала иногда письма на своей лошади, а так как батюшка жил своим хозяйством, то, чтобы подводу не отправлять пустую, бабушка и велит зимой накласть на воз всякой провизии: живности, молочного скопу, муки и всякой всячины, и пошлет из Калуги в Петербург. И едет подвода недели две.

Когда батюшку произвели в офицеры и стал он ходить ко дворцу на караул, то сделался лично известен императрице Елизавете Петровне. Она к нему очень благоволила,и нередко случалось, что отворит форточку и спрашивает, кто из офицеров на карауле, и когда узнает, что Корсаков, пошлет за ним, и редко-редко чтобы не велено угостить его чаркой водки. Многие даже на это внимание к батюшке смотрели не без зависти, а другие не без опасения, и ежели бы по своей оплошности батюшка сам себе не повредил живостью своего характера и излишнею откровенностью в слове, то был бы, может быть, великою особой.

И он впоследствии нередко припоминал этот случай из своей молодости и горько сожалел, что чрез него нажил себе сильных врагов, и, будучи тесним по службе, принужден был выйти в отставку с чином полковника.

Хотя императрица и не живала в Москве постоянно, но Москву любила и часто ее посещала; и когда двор приедет в Москву, то и дело что вечера да балы и маскарады во дворце. Двор приехал в Москву в декабре месяце 1749 года и пробыл чуть ли не более года; за императрицей

последовал и лейб-гвардии Семеновский полк, а стало быть и батюшка. Государыня вскоре сделалась нездорова, однако болезнь продолжалась недолго; она оправилась и, желая сделать удовольствие своему особенному любимцу, графу Алексею Григорьевичу Разумовскому,[20] поехала к нему за город в подмосковную Перово на праздник, который он для нее устроил,[21] и там внезапно опять захворала, так что ее должны были нести в Москву на руках. Она была высокого роста, собою прекрасная, мужественная и очень дородная, а кушала она немало и каждое блюдо запивала глотком сладкого вина; сказывают, она в особенности любила токайское; ну, не мудрено, что при ее полноте кровь приливала к голове, и с ней делались обмороки, так что в конце ужина ее иногда уносили из-за стола в опочивальню.

При наступлении весны 1750 года, когда императрица уже совсем оправилась от вторичной своей болезни, она пожелала идти пешком в Троицкую лавру на богомолье.[22] За нею должна была туда последовать и гвардия. Фельдмаршал Апраксин, Степан Федорович, зная, что императрица будет шествовать долго, испросил ее соизволение заранее отправиться из Москвы и идти не прямо к Троице, а на свое подмосковное имение, село Ольгово,[23] которое от Москвы в пятидесяти верстах и в таком же расстоянии от Троицы: ему хотелось угостить у себя гвардию и попировать дома на просторе.

Батюшка был тогда уже офицером; ему было лет двадцать, он был живой и веселый человек, но очень воздержной жизни, почему товарищи не только его любили, но и уважали. Вот во время этого-то пребывания он и испортил навсегда свою карьеру.

В один из дней, после обеда, офицеры пошли гулять около дома, а там пред домом пребольшой и прекрасный пруд. Вот идут офицеры мимо пруда и видят, что кто-то у пруда кувыркается; подходят ближе, смотрят — двое из Орловых, а третий[24] до того уже напился, что лежит пласт пластом. Они тогда были еще очень молоды и, кажется, еще не офицерами, а каптенармусами. Батюшка, как старший и как офицер степенный, пожурил молодежь и сказал им, что так вести себя неприлично и в особенности в гостях у фельдмаршала, а без чувств лежавшего толкнул ногой и, подозвав двух денщиков, говорит им: «Уберите вы этого Орлова (кажется, Григория) к месту; того и гляди, в пруд свалится, вишь, как нализался, как свинья валяется».

В первый раз как батюшка был на карауле при императрице (должно быть, это было в скором времени и чуть ли не у Троицы), императрица и спрашивает его:

— Ну что, Корсаков, хорошо ли попировали у Апраксина? Изрядно ли он угостил вас?

— Так хорошо, ваше величество, попировали и так угостил нас фельдмаршал, что мы чуть на головах не ходили, а кто даже и взаправду кувыркался.

Императрица очень смеялась этому и потом милостиво заметила Апраксину: «Говорят, вы на славу угостили мою молодую гвардию, так что молодежь у вас кувыркалась».



едва не лишился жизни, потому что пуля ударила ему в грудь; но так как на нем был надет образ-складень, присланный ему пред войной от его матери, то пуля пробила платье и овчинку, в которую был зашит складень, и отскочила назад. Бабушка была очень благочестива и богомольна и вообще к духовенству и монашеству расположена. Она заповедала своему сыну никогда не выходить из дома, не прочитав 26-го псалма, то есть: «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся».[29] Батюшка всегда это соблюдал. И точно, он имел всегда сильных врагов, и хотя они старались ему повредить, но, однако, Господь помиловал и сохранил от погибели.

V

Бабушка всегда принимала монахов-сборщиков: бывало, позовет к себе, накормит, напоит, даст денег, велит отвести комнату где переночевать и отпустит каждого довольным ее приемом.

Вот однажды говорят ей: приехал монах со сбором. Приказала позвать: «Откуда, отец?» — «Оттуда-то», — называет монастырь.

— Садись, старец.

Велела изготовить чем угостить его. Сидят, разговаривают. Монах и говорит ей: «Матушка, а я и сынка-то вашего, Петра Михайловича, знаю» — «Как так? Где ж ты его видел?» — «Там-то», — и начинает бабушке подробно говорить о батюшке; и точно, по словам видно, что знает его. Бабушка еще пуще расположилась к монаху. Только вдруг, во время разговора, бежит человек и докладывает бабушке: Петр Михайлович приехал. Взвертелся монах: хочет уйти из комнаты, бабушка его уговаривает остаться, а между тем входит батюшка. Поздоровавшись с матерью, он взглянул на монаха. Тот ни жив ни мертв.

— Ты как здесь? — крикнул ему батюшка.

Тот в ноги: — Не погубите, виноват.

Бабушка смотрит, понять не может, что такое происходит. Батюшка и говорит ей:

— Знаете ли, матушка, кого вы изволили принимать? Это беглый солдат из моей роты; его давно отыскивают.

— Не погубите, — повторяет тот.

Батюшка хотел было отправить его по этапу, но бабушка уговорила сына не срамить ее дома и не налагать руки на гостя, кто он ни на есть. Тот обещался явиться в полк сам от себя; не помню теперь, исполнил ли он обещание.

Бабушка хотя и не перестала принимать монахов-сборщиков, но с тех пор стала гораздо осторожнее, опасаясь, чтобы под видом настоящего монаха не принять какого-нибудь беглого, а батюшка, помня этот случай, всегда опасался сборщиков.

В котором году женился батюшка, определительно сказать не умею, но полагаю, что это было в 1763 году, потому что старшая моя сестра Екатерина Петровна родилась 24 октября 1764 года, на первом же году его женитьбы. Матушка была сама по себе княжна Щербатова, дочь князя

Николая Осиповича и княгини Анны Ивановны, урожденной княжны Мещерской. Когда она родилась, — это было 7 октября 1743 года, — дедушка находился в отсутствии, и бабушка дала ей имя Пелагеи, празднуемой октября 8 дня. Дедушка Щербатов скоро возвратился и очень опечалился, что дочь его назвали Пелагеей, а не Аграфеной, как он намеревался, в честь своей матери (второй жены его отца, князя Осипа Ивановича Щербатова,* женатого на Аграфене Федоровне Салтыковой), и решил, чтобы называть ее Аграфеной, но именины она всегда праздновала октября 8; при венчании ее называли Аграфеной, но отпевали Пелагеей. Чрез тринадцать лет после рождения матушки бабушка родила вторую дочь, которую назвали Александрой; думаю, что это в честь бабушкиной матери, княгини Мещерской, урожденной Ергольской. Тетушка Александра Николаевна (бывшая впоследствии в замужестве за бригадиром графом Степаном Федоровичем Толстым) была чуть ли не у кормилицы еще, когда последовала дедушкина кончина.

Бабушка Евпраксия Васильевна была еще в живых, когда женился батюшка, и к матушке была она очень добра и взяла к себе на воспитание мою сестру (вторую дочь батюшкину), которую так же, как и меня, звали Елизаветой. У меня сохранилось письмо, писанное бабушкой к матушке по случаю моего рождения: она пишет, что поздравляет и что посылает ей с мужем пятьдесят рублев на родины и на именины. Бабушка Евпраксия Васильевна была слаба, хотя летами была еще совсем не стара: едва ли ей было и шестьдесят лет.

При моем рождении старшей моей сестре Екатерине было около пяти лет, и батюшке угодно было, чтоб она была моею крестною матерью.

Осенью 1770 года было сильное оспенное поветрие; оспы тогда не умели еще прививать и ждали, чтобы пришла натуральная.[30] Потому в то время много мерло детей, и вообще в мое время было больше рябых, чем теперь. Бабушки в живых уже не было, и Лиза, которая была у нее, находилась уже дома; ей было лет пять, а мне всего полтора года. Батюшка старшую Елизавету в особенности любил; говорят, она была красоты неописанной. Обе мы заболели оспой в один день, и хотя у сестры болезнь была не так сильна, как у меня, но она не вынесла и скончалась. Батюшка был, говорят, неутешен и сильно плакал. Пришел в нашу детскую, стоит и смотрит на сестру; в то время приходит гробовщик снимать мерку для гробика. Батюшке было очень горько, что он лишился любимой дочери. Видя, что и я еле жива, говорит гробовщику: «Что тут еще ходить, сними мерку и с этой: пожалуй, и до утра не доживет». Итак, с обеих нас сняли мерки и приготовили гробики. Сестру схоронили тогда же, а я оправилась,

---

* Князь Осип Иванович Щербатов был женат два раза: в первый на Соковниной, Марье Васильевне, и от нее имел только дочь княжну Варвару Осиповну, вышедшую за князя Сергея Никитича Долгорукого; а от второй жены, А. Ф. Салтыковой, имел двух сыновей: князя Николая и князя Сергея Осиповичей. Этот был женат на Екатерине Михайловне Стрелковой, которую я видела в моем детстве, а муж ее умер, когда я была еще ребенком, и его не помню. У князя Сергея Осиповича было две дочери: одна за Елагиным, другая, Аграфена Сергеевна, за Мясоедовым; этих я помню, они к нам езжали, а Аграфена Сергеевна умерла уже в первые годы царствования императора Александра.

живу с тех пор еще девяносто лет, и хотя все лицо мое было покрыто как корой, а остались на лице только две маленькие язвинки на лбу.

Чумы я совсем не помню:[31] мне было тогда около четырех лет, и где в то время жили батюшка с матушкой, я совсем не знаю; думаю, что в Боброве, где чумы не было. Помнить себя стала я с тех пор, когда Пугачев навел страх на всю Россию.[32] Как сквозь сон помнятся мне рассказы об этом злодее: в детской сидят наши мамушки и толкуют о нем; придешь в девичью — речь о Пугачеве; приведут нас к матушке в гостиную — опять разговор про его злодейства, так что и ночью-то, бывало, от страха и ужаса не спится: так вот и кажется, что сейчас скрипнет дверь, он войдет в детскую и нас всех передушит. Это было ужасное время!

Когда Пугачева взяли, мы были тогда в Москве; его привезли и посадили на Монетном Дворе.[33] Помню, что в день казни[34] (это было зимой, вскоре после Крещенья,[35] мороз, говорят, был преужасный) на Болоте, где его казнили, собралось народу видимо-невидимо, и было множество карет: ездили смотреть, как злодея будут казнить. Батюшка сам не был и матушке не советовал ехать на это позорище; но многие из наших знакомых туда таскались, и две или три барыни говорили матушке: «Мы были так счастливы, что карета наша стояла против самого места казни, и все подробно видели. . .» Батюшка какой-то барыне не дал и договорить: «Не только не имел желания видеть, как будут казнить злодея, и слышать-то, как его казнили, не желаю и дивлюсь, что у вас хватило духу смотреть на такое зрелище».[36]

Впоследствии об этой казни я слышала рассказы от Архарова Николая Петровича, брат которого (Иван Петрович) был женат на моей троюродной сестре, Екатерине Александровне Римской-Корсаковой.

VI

По зимам мы живали в Москве, а весной по просухе уезжали в Боброво. Дом выстроила там бабушка Евпраксия Васильевна, он был прекрасный: строен из очень толстых брусьев, и чуть ли не из дубовых; низ был каменный, жилой, и стены претолстые. Весь нижний ярус назывался тогда подклетями; там были кладовые, но были и жилые комнаты, и когда для братьев приняли в дом мусье, француза, то ему там и отвели жилье. Двойных рам у него в комнате не было, стекла были еще очень дороги, так он и придумал во вторые рамы вставить бумагу, промазанную маслом; можно себе вообразить, какая там была темь и среди бела дня. У нас в детской также не было зимних рам: моя кровать стояла у самого окна, и чтоб от него ночью не дуло во время сильных холодов, то на ночь заставляли доской и завешивали чем-нибудь потолще. Все парадные комнаты были с панелями, а стены и потолки затянуты холстом и расписаны краской на клею. В зале нарисована на стенах охота, в гостиной ландшафты, в кабинете у матушки то же, а в спальне, кажется, стены были расписаны боскетом; еще где-то драпировкой или спущенным завесом. Конечно, все это было малевано домашними мазунами, но,

впрочем, очень недурно, а по тогдашним понятиям о живописи — даже и хорошо. Важнее всего было в то время, чтобы хозяин дома мог похвалиться и сказать: «Оно, правда, не очень хорошо писано, да писали свои крепостные мастера».

У батюшки были свои мастеровые всякого рода: столяры, кузнецы, каретники; столовое белье ткали дома, и, кроме того, были ткачи для полотна; был свой кондитер. В комнате людей было премножество, так что за каждым стулом во время стола стоял человек с тарелкой.

В гостиной мебель была ильмовая, обита черною кожей с золотыми гвоздиками; это было очень недурно и прочно. На окнах были шторы из парусины, расписаны на клею, но гардин и драпировок не было нигде; только у матушки в кабинете были кисейные подборы на окнах.

Батюшка был богат: он имел 4000 душ крестьян, а матушка 1000; в доме было всего вдоволь, но роскоши не было ни в чем. Посуда была вся оловянная: блюда, чаши, миски; только впоследствии, когда мы стали постоянно жить по зимам в Москве, батюшка купил столовый сервиз серебряный, а в Боброве остался все тот же оловянный. По воскресеньям и праздникам гостей съезжалось премножество, обедывало иногда человек по тридцати и более. И все это приедет со своими людьми, тройками и четвернями; некоторые гостят по нескольку дней, — такое было обыкновение. Батюшка принимал всех приветливо и говаривал: «Он мой сосед и такой же дворянин, как и я; приехал ко мне в гости, сделал мне честь, — моя обязанность принять его радушно. Свинья тот гость, который, сидя за столом, смеется над хозяином; но скотина и хозяин, ежели он не почтит своего гостя и не примет ласково».

В числе соседей бывали престранные. Так, был один Терентий Иванович: летом приедет в парусинном балахоне, опоясан кушаком, за кушаком заткнуты кнут и рукавицы, от сапогов разит дегтем, и батюшка принимает его весьма ласково. Возьмет его за рукав и ведет, бывало, к матушке и говорит ей: «Аграфена Николаевна, веду к тебе приятеля моего, Терентия Ивановича». Матушка была тоже обходительна, и во время стола смотрит, бывало, на всех нас; и сохрани Бог, если она заметит, что кто-нибудь из нас улыбнется или пошепчется между собою, хотя соседи и соседки бывали пресмешные.

Теперь я уж не помню, кто-то из гостей сделал за столом какую-то неловкость, — мы были еще все детьми; вот двое из нас: я да который-то из братьев засмеялись; батюшка заметил это и строго на нас взглянул, а после обеда призвал к себе в кабинет, да ведь как за это выбранил: «Кто у меня за столом, тот мой гость, дорогой гость, а вы смеете над ним смеяться! Ты — девчонка глупая, а ты — дурак мальчишка, над стариками труните! .. Ежели я еще раз это замечу, то не велю вас к столу пускать».

Вообще батюшка был очень взыскателен с нами. Вот еще пример его душевного благородства. Он был в размолвке со своею сестрой, с княгинею Марьею Михайловною Волконскою, и друг к другу они не ездили; но в большие праздники и в именины тетушки нас всегда к ней посылывал и говаривал нам: «Не ваше дело знать, почему мы с сестрой не в ладах,

это вас не касается; она вам родная тетка, вы обязаны ее чтить, уважать и оказывать ей почтение, а что между нами, то нам двум и известно».

И братья Волконские: князь Дмитрий Михайлович и князь Владимир Михайлович — тоже к батюшке езжали довольно часто и были очень почтительны, а с нами дружны. Впоследствии я узнала, что батюшка с тетушкой перестали видаться, потому что раз как-то батюшка сказал сестре своей что-то про ее мужа, кажется, назвал его мотом. Тетушка прогневалась и перестала ездить к батюшке; муж ее умер, но они все друг к другу не ездили, и только незадолго до кончины тетушки, в 1786 году, последовало между ними примирение; но матушка, помнится, у тетушки бывала.

VII

Мне было пятнадцать лет, когда матушка скончалась в Москве 13 июня 1783 года. Ей было невступно сорок лет. Сколько я ее помню, она было высокая, статная, стройная и имела, как все Щербатовы, прекрасный цвет лица. Впрочем, она все-таки румянилась по тогдашнему обычаю, потому что, не нарумянившись, куда-нибудь приехать значило бы сделать невежество. Тетушка графиня Александра Николаевна говаривала мне: «Твоя матушка смолоду была писаная красавица».

В то время дети не бывали при родителях неотлучно, как теперь, и не смели прийти, когда вздумается, а приходили поутру поздороваться, к обеду, к чаю и к ужину или когда позовут за чем-нибудь. Отношения детей к родителям были совсем не такие, как теперь; мы не смели сказать: за что вы на меня сердитесь, а говорили: за что вы изволите гневаться, или: чем я вас прогневала; не говорили: это вы мне подарили; нет, это было нескладно, а следовало сказать: это вы мне пожаловали, это ваше жалование. Мы наших родителей боялись, любили и почитали. Теперь дети отца и матери не боятся, а больше ли от этого любят их — не знаю. В наше время никогда никому и в мысль не приходило, чтобы можно было ослушаться отца или мать и беспрекословно не исполнить, что приказано. Как это возможно? Даже и ответить нельзя было, и в разговор свободно не вступали: ждешь, чтобы старший спросил, тогда и отвечаешь, а то, пожалуй, и дождешься, что тебе скажут: «Что в разговор ввязываешься? Тебя ведь не спрашивают, ну, так и молчи!» Да, такого панибратства, как теперь, не было; и, право, лучше было, больше чтили старших, было больше порядку в семействах и благочестия... Теперь все переменилось, не нахожу, чтобы к лучшему. Теперь и часы-то совсем иначе распределены, как бывало: что тогда был вечер, теперь, по-вашему, еще утро! Смеркается, уже и темно, а у вас это все еще утро. Эти все перемены произошли на моей памяти. День у нас начинался в семь и в восемь часов; обедали мы в деревне всегда в час пополудни, а ежели званый обед, в два часа; в пять часов пили чай. Когда матушка была еще жива, стало быть, до 1783 года, приносили в гостиную большую жаровню и медный чайник с горячею водой. Матушка заваривала сама

чай. Ложечек чайных для всех не было; во всем доме и было только две чайные ложки: одну матушка носила при себе в своей готовальне,[37] а другую подавали для батюшки. Поутру чаю никогда не пили, всегда подавался кофе. Ужинали обыкновенно в девять часов, и к ужину подавали все свежее кушанье, а не то чтоб остатки от обеда стали разогревать; и как теперь бывают званые обеды, так бывали в то время званые ужины в десять часов. Балы начинались редко позднее шести часов, а к двенадцати все уже возвратятся домой. Так как тогда точно танцевали, а не ходили, то танцующих было немного. Главным танцем бывал менуэт, потом стали танцевать гавот, кадрили, котильоны, экосезы. Одни только девицы и танцевали, а замужние женщины — очень немногие, вдовы — никогда. Вдовы, впрочем, редко и ездили на балы, и всегда носили черное платье, а если приходилось ехать на свадьбу, то сверх платья нáшивали золотую сетку.

Старшие мои две сестры и я стали выезжать после кончины матушки, а выезжали мы с нашею троюродною сестрой, Екатериною Александровною Архаровою. Отец ее, Александр Васильевич Римский-Корсаков, доводился батюшке двоюродным братом.* Он был женат на княгине Волконской, Марье Семеновне. Дядюшку я что-то не помню; он умер, когда я была еще ребенком, а тетушка Марья Семеновна скончалась в 1796 году; на моей свадьбе она была посаженою матерью.

Дом ее был за Москвой-рекой. Она имела двух дочерей: Екатерину Александровну, за Архаровым, и Елизавету Александровну, за камергером Александром Ильичем Ржевским, и сына Николая Александровича; он умер бездетным. Тетушка имела очень хорошее состояние, будучи и сама не бедна, и богата по своему мужу, но была очень расчетлива. Она имела еще ту странность, что не любила дома обедать, что в то время в особенности было очень редко: она каждый день кушала в гостях, кроме субботы. Она с вечера призовет, бывало, своего выездного лакея и велит наутро сходить в три-четыре дома ее знакомых и узнать, кто кушает дома сегодня и завтра, и ежели кушают дома, то узнать от нее о здоровье и сказать, что она собирается приехать откушать. Вот и отправится с обеими дочерями. Тогда блюда выставлялись все на стол. Когда ей понравится какое-нибудь блюдо, холодное которое-нибудь, или один из соусов, или жаркое, она и скажет хозяйке: «Как это блюдо, должно быть, вкусно, позвольте мне его взять, — и, обращаясь к своему лакею, стоявшему за ее стулом, говорит: — Возьми такое-то блюдо и отнеси его в нашу карету». Все знали, что она имеет эту странность, и так как она была почтенная и знатная старушка, то многие сами ей предлагали выбрать какое угодно блюдо. Так она собирает целую неделю, а в субботу зовет обедать к себе и потчует вас вашим же блюдом. Многие, впрочем, и смеялись над ней, и кто-то пересказал нам, что Корсакова Марья

* Отцы их, Василий Андреевич и Михаил Андреевич, были родные братья; была у них еще сестра, помнится, Марья Андреевна за князем Мещерским. Василий Андреевич был женат на Кошелевой Евдокии Родионовне, дочери шталмейстера при Петре I. Александр Васильевич имел еще брата Андрея Васильевича и сестру Анну Васильевну.

Семеновна увезла откуда-то поросенка. Вот, вскоре того, тетушка пожаловала к нам кушать, я и говорю меньшой ее дочери:

— Скажи, пожалуйста, сестра Елизавета, где это на днях вы, сказывают, обедали и стянули жареного поросенка?

А она мне и отвечает:

— Вот какие бывают злые языки! Никогда мы поросенка ниоткуда не возили, а привезли на днях жареную индюшку. Вот видишь ли, так не поросенка же.

Екатерина Александровна была лет на семь старше меня, с нею-то мы и выезжали; больше мы две: Александра Петровна и я, а сестра Екатерина Петровна выездов не любила, может быть потому, что была старшая в доме, была нужна для батюшки, да и лицом была нехороша. Сестра Александра Петровна была высока ростом, хорошо сложена и лицом очень красива, а я была мала ростом, но находили, что была недурна, а кто говорил даже, что и хороша. В мои лета можно признаться, потому что и следов нет того, что было. И, бывало, когда мы идем в собрании, мужчины раздвигаются пред нами и слышится, что шепчут: «Place, messieurs, place! La petite Korsacoff passe».*

Екатерина Александровна Архарова была величественна и умела себя держать в людях как следует, или, как вы теперь говорите, с достоинством. Я всегда скажу, что если я умею войти и сесть как следует, то этим я ей обязана. Она, бывало, нас оговаривает:

— Зачем, Елизавета, ты вот то и то делаешь: это не годится, нужно вот так и так делать.

У нее было две дочери: старшая, Софья Ивановна, была за графом Александром Ивановичем Соллогубом и младшая, Александра Ивановна, за Алексеем Васильевичем Васильчиковым.

Последнее время своей жизни она провела в Петербурге и в Павловске и была посещаема покойным императором Александром Павловичем, который к ней очень благоволил. Она была кавалерственною дамой, а дочь ее Александра — фрейлиной. Меньшая сестра Архаровой, Елизавета Александровна Ржевская, ходила на костыле, потому что на какой-то ноге у нее недоставало полступни, и та была обращена в противоположную сторону.

Брат их Николай Александрович был очень скуп, необыкновенно сластолюбив и чревоугодлив, так что ему зачастую случалось раза по два завтракать, дважды обедать и кроме вечернего чая и разных лакомств плотно ужинать.

Когда он скончался (в 1833 году), сестра его, Елизавета Александровна, находившаяся в его доме, за две комнаты от той, где он лежал, узнав, что он скончался, была так этим поражена, что, забыв взять свой костыль, прошла совершенно одна через две комнаты, как будто бы имела обе ноги здоровые. Это объясняли тогда врачи нервным усиленным напряжением, и это был единственный случай в ее жизни, чтоб она прошла без костыля.

---

* «Дорогу, господа, дорогу! Идет маленькая Корсакова» (*франц.*). — *Ред.*

VIII

Кроме села Боброва у батюшки была еще и другая прекрасная усадьба в Тульской губернии, село Покровское. Оно было расположено по обеим сторонам реки: с одной стороны имение было корсаковское, а с другой — щербатовское. Когда батюшка женился, матушке дали в приданое ту часть, что за рекой: в целом и вышло прекрасное имение. В Покровском дом был гораздо меньше, чем в Боброве, соседей было менее, батюшка и нашел, что ему и покойнее, и выгоднее переехать на житье в Покровское.

Кроме того, вот что еще было причиной к перемене места жительства: Калуга была только в семнадцати верстах от Боброва; в Калуге был в то время наместником [38] Иван Никитич Кречетников.[39] Он благоволил к батюшке и то и дело посещал его: приедет обедать, а за ним и вся городская знать тянется, и многие живут по нескольку суток. Такие приезды становились очень недешевы, — батюшка и расчел, что ему лучше жить в Покровском. А то случалось и так, что Кречетников назовется к батюшке, — всё изготовят, гости съедутся, вдруг едет гонец: наместник извиняется, что сегодня не может быть, а будет вот тогда-то; стало быть, опять хлопоты, возня, траты. Батюшка решился уехать и жить потише и поскромнее.

Вот что припомнилось мне о Кречетникове, когда он был наместником в Калуге. В тот год, как императрица Екатерина II посетила Калугу, уж не упомню, в каком именно году,[40] — на хлеб был плохой урожай. Ожидая прибытия государыни, Кречетников распорядился, чтобы по обеим сторонам дороги, по которой ей надлежало ехать, на ближайшие к дороге десятины свезли сжатый, но еще неубранный хлеб (это было в августе) и уставили бы копны как можно чаще, оставив таким образом отдаленные десятины совершенно пустыми. При въезде в город были устроены триумфальные ворота и украшены снопами ржаными и овсяными. Знала ли императрица о скудости урожая и заметила ли она, что было на дороге, неизвестно, но обошлась с наместником милостиво. Она спросила его, однако: хорош ли был урожай? Кречетников отвечал: прекрасный. Когда после стола наместник доложил ей, что в городе есть театр и изрядная труппа, и не соизволит ли ее императорское величество осчастливить театр своим посещением, она потребовала список играемых пьес и, возвращая оный, прибавила: «Ежели у вас разыгрывается „Хвастун“,[41] то хорошо бы им позабавиться» — и пригласила наместника в свою ложу. Во время комедии, которая шла очень исправно, государыня часто посматривала на Кречетникова и милостиво ему улыбалась; он сидел как на иголках. В тот ли же вечер или назавтра — не знаю, был дан бал для императрицы калужским дворянством, и она его почтила своим высочайшим посещением. Во время сего бала она была милостива к Кречетникову, но после ужина, пред отъездом, сказала ему: «Вот вы меня угощаете и делаете празднества, а самым дорогим угостить пожалели». — Чем же, государыня? — спросил Кречетников, не понимая, чего могла пожелать императрица. «Черным хлебом, — отвечала она и тут высказала ему свое неудо-

вольствие: — Я желаю знать всю правду, а от меня ее скрывают и думают сделать мне угодное, скрывая от меня дурное! Здесь неурожай, народ терпит нужду, а вы еще делаете триумфальные ворота из снопов! Чтобы мне угодить, не следует от меня таить правды, хотя бы и неприятной. Прошу это запомнить на будущее время».

Вообще императрица была очень милостива к Кречетникову, но, вероятно, он имел недоброжелателей, которые старались вредить ему. Впрочем, он до кончины сохранил благорасположение, а пожалуй, можно сказать, что и по смерти императрица его еще жаловала. Он был пожалован в графы, и это известие было привезено курьером на другой день по его кончине; он находился в то время в Польше.

Когда мы переехали на жительство в Покровское, вскоре после кончины матушки, там что-то было мало соседей, и из них памятны мне Рукуновы и Еропкины. Рукунов был уже очень немолод. Он был последним сокольничим и рассказывал, что присутствовал на последней соколиной охоте при императрице Елизавете Петровне. Он очень любил рассказывать, как нужно вынашивать соколов для охоты; много было интересного в его разговоре и воспоминаний о разных случаях на охоте, но это все так давно я слышала, что все перезабыла. Одно только мне памятно, что однажды на охоте при Елизавете Петровне он свалился с лошади в присутствии императрицы, и это вышло как-то так смешно, что она не могла удержаться от смеха, а ему и больно, и досадно на свою неловкость. . .

Еропкиных, и мужа и жену, я живо помню. Петр Дмитриевич был женат на Елизавете Михайловне Леонтьевой. Он прославился во время чумы в 1771 году. Чума началась еще в декабре месяце 1770 года, но особенно стала свирепствовать в Москве в марте месяце.[42] Наместником в Москве в то время был граф Петр Семенович Салтыков, губернатором — Бахметев, а Юшков Иван Иванович — обер-полицеймейстером. Они все так струхнули, что поскорее разъехались: Салтыков уехал в свою подмосковную,[43] в Марфино, те тоже куда-то попрятались, так что Москва осталась без призора. Вот тут-то Еропкин, видя, что столица в опасности, и решился самовольно принять на себя управление городом. Императрица прислала графа Орлова, а Еропкину приказала быть его помощником. Салтыкова от должности отставили, и это так его поразило, что он стал хворать и, с год спустя, умер, может быть, и раскаиваясь в своем малодушии, что не умел умереть, как следовало, в отправлении своей службы, а умер с позором в отставке за свой побег.

Во время этой чумы в Москве сделался бунт в народе из-за иконы Боголюбской, что у Варварских ворот. Пред нею стали много служить молебнов, а тогдашний архиерей Амвросий, опасаясь, чтоб и здоровые люди, будучи в толпе с чумными, не заражались, из предосторожности велел икону убрать. Вот за это-то народ и озлобился на него. Он жил тогда в Чудове монастыре. Узнав, что народ его ищет, он поскорее уехал в Данилов монастырь; мятежники бросились туда. Он — в Донской монастырь, где шла обедня, и прямо в церковь, которую заперли. Двери народ выломал, ворвался в церковь: ищут архиерея — нигде нет, и хотели

было идти назад, да кто-то подсмотрел, что из-за картины, бывшей на хорах, видны ноги, и крикнул: «Вон где он».

Стащили его сверху, вывели за ограду; там его терзали, мучили и убили.[44] Убил его, говорят, пьяный повар Раевского.[45] В то время многие винили преосвященного, что он оторопел и стал прятаться; ему следовало дождаться народа в Чудове монастыре и встретить бунтовщиков, будучи в архиерейском полном облачении и с крестом в руках: едва ли бы кто решился поднять на него руку. Конечно, такова была воля Божья, чтоб он получил мученический венец, но жаль, что по малодушию своему он не усмирил народ, а устрашился его и чрез то сам пострадал. Усмирять народ пришлось Еропкину.[46] Государыня прислала ему Андреевскую ленту [47] и хотела пожаловать несколько тысяч душ крестьян, но Петр Дмитриевич обрадовался ленте, а вотчин не принял: «Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние имеем; к чему же нам еще набирать себе лишнее».

Он имел свой дом на Остоженке, тот самый, где теперь Коммерческое училище, отчего и переулки, что возле, называются один — Малый Еропкинский, другой — Большой Еропкинский. Когда впоследствии Петр Дмитриевич был сделан московским главнокомандующим (1786—1790 годы), он не захотел переехать в казенный дом, а остался жить в своем и денег, отпускаемых из казны на угощения, не принимал. Во время посещения императрицею Екатериною II Москвы он давал ей праздник у себя в доме, и когда она его спросила: «Что я могу для вас сделать, я желала бы вас наградить», он отвечал:

— Матушка государыня, доволен твоими богатыми милостями, я награжден не по заслугам: андреевский кавалер и начальник столицы, заслуживаю ли я этого?

Императрица не удовольствовалась этим ответом и опять ему говорит:

— Вы ничего не берете на угощение Москвы, а между тем у вас открытый стол: не задолжали ли вы? Я заплатила бы ваши долги.

Он отвечал:

— Нет, государыня, я тяну ножки по одежке, долгов не имею, а что имею, тем угощаю, милости просим кому угодно моего хлеба-соли откушать. Да и статочное ли дело, матушка государыня, мы будем должать, а ты, матушка, станешь за нас платить деньги; нет, это не приходится так.

Видя, что Еропкину дать нечего, императрица прислала его жене орден св. Екатерины.[48] До поступления в должность главнокомандующего Москвы и потом, когда, за старостью лет, он отказался от службы, Петр Дмитриевич и жена его живали у нас по соседству и бывали у батюшки. Он никогда не приезжал, не прислав осведомиться, батюшка дома ли, и ежели посланный узнает, что дома, то велит доложить, что Петр Дмитриевич и Елизавета Михайловна приказали узнать о здоровье и спросить: можно ли их принять тогда-то?

Этого мало: приедет Петр Дмитриевич цугом в шорах,[49] с верховым впереди, и остановится у ворот, а верховой трубит в рожок, и когда выйдут и отворят ворота и тоже из рожка ответят с крыльца, тогда он въедет.

Он был высокого роста, очень худощавый, несколько сгорбленный, весьма приятной наружности, и, кто его помнил смолоду, сказывали, что он был красавцем. Глаза у него были большие, очень зоркие и довольно впалые, нос орлиный; он пудрился, носил пучок и был причесан в три локона (à trois marteaux). Он был очень умен, благороден и бескорыстен, как немногие; в разговоре очень воздержан, в обхождении прост и безо всякой кичливости, чем доказывал, что вполне заслуживал наград, которые получил.

Жена его, Елизавета Михайловна, была удивительной доброты и не могла видеть ничьих слез, чтобы не постараться утешить, и когда делала кому добро, то первый уговор ее был, чтоб это оставалось тайной. Рассказывали в то время, что одна соседка приехала к Елизавете Михайловне и убивается, плачет, что у ее сына пропали казенные деньги (как это случилось, я теперь уж не умею передать) и что ежели он не внесет, то его мало что из полка выгонят, еще сошлют.

Еропкина стала сперва спрашивать:

— Да что твой сын-то, мать моя, не мотишка ли, или, может статься, не в карты ли он проиграл? . .

И когда она уверилась, что это было не по собственной вине сына этой соседки, а по несчастному случаю, принялась утешать ее:

— Да ты, голубка, не плачь, помолись Богу, Бог-то и пошлет невидимо. А много ли пропало-то у него? — спросила она.

— Много, матушка, очень много, и не выговоришь — пять тысяч! . .

— А-а-а! Эка беда какая, и подлинно, что немало, легко ли сколько! Я готова бы тебе помочь, да уж это больно много. . . А вот погоди плакать-то, обожди здесь меня, сама становись на молитву, а я пойду посчитаю, увижу, чем могу тебе помочь.

И пошла к себе. Выходит немного погодя.

— Ну что, молилась ли Богу, голубка моя? — спрашивает соседку.

— Молилась, моя родная.

— Ну, пойдем же ко мне. . .

Привела ее в свою комнату и говорит ей:

— Положи три поклона земных пред образами и бери, что завернуто в бумагу под образом, только не развертывай и не смотри, пока домой не вернешься.

Та ей в ноги благодарить.

— Постой, постой, выслушай, что я тебе скажу: поклянись пред образом, слышишь, что ты никому не скажешь, что я тебе в беде пособила; а то начнут благовестить, что Еропкина деньги раздает. Сохрани тебя Бог, ежели я только узнаю, что ты про меня болтаешь, тогда ко мне и на глаза не кажись.

Она продержала гостью у себя весь день, и как той ни хотелось посмотреть, что завернуто в бумагу, ослушаться не смела. Приезжает домой, смотрит — 5000 рублей! Можно себе представить ее радость. Она сдержала слово и, пока Еропкина была жива, никому не рассказывала и открыла это уже после ее смерти. Это один случай, который я запомнила, а их было много, потому что она делала много добра.

И про Петра Дмитриевича припомнила я еще один случай, очень замечательный.

У него был приятель Собакин; как по имени — не запомню, знаю только, что они во время чумы вместе служили в Москве. Собакин был бездетный, все имение следовало его родному племяннику (сыну нашей родственницы Соковниной, бывшей за Собакиным). Дядя рассердился на племянника и вздумал лишить его наследства. Приехал к Еропкину.

— Я, братец мой, к тебе с просьбой: ты знаешь, я тебя люблю, детей у меня нет, желаю отдать тебе все свое имение.

— А твой племянник? — спросил Еропкин.

— Мерзавец, мотишка, ждет моей смерти! Ничего ему не оставлю.

— Ну, как угодно, а я не приму, у меня тоже нет детей. . .

— Так ты, стало быть, отказываешься? — спрашивает Собакин.

— Отказываюсь.

— Ну, хорошо; жаль, что тебя прежде не знал.

Друзья перессорились и расстались.

Как Собакин уехал, и думает Еропкин: «Глупо я сделал, что отказался; он, пожалуй, другому кому-нибудь отдаст, и племянник тогда и взаправду всего лишится». Поехал к Собакину.

— Прости меня, что я с тобою погорячился и не принял, что ты мне отдавал по дружбе.

— Стало быть, ты готов теперь принять?

Да, не откажусь.

Ну, ладно, помиримся.

Итак, все имение Собакин и передал по купчей Еропкину. Умер Собакин. Еропкин посылает известить племянника, что дядя умер, чтоб ехал его хоронить. «Это меня не касается; кто получил имение, тот и хорони, я не наследник». Тогда Еропкин объяснил племяннику, отчего он решился взять имение: «Опасался, чтобы дядя не отдал другому». И возвратил имение племяннику. Этого звали Петр Александрович, а его мать была Наталья Петровна, урожденная Соковнина, и приходилась двоюродною сестрой моей свекрови Яньковой.

Когда Еропкины живали в Москве, у них был открытый стол, то есть к ним приходили обедать ежедневно кто хотел, будь только опрятно одет и веди себя за столом чинно; и сколько бы за столом ни село человек, всегда для всех доставало кушанья: вот как в то время умели жить знатные господа!

IX

В 1792 году скончалась бабушка, княгиня Анна Ивановна Щербатова. Она больше все жила в деревне, в селе Сяскове, тоже Калужской губернии. Это было ее собственное имение, приданое. Тетушка, графиня Александра Николаевна Толстая, жила с бабушкой. Муж ее, граф Степан Федорович, когда женился, был уже немолод и был бригадиром. У него всего состояния и было только: золоченая двухместная карета

и пара пего-чалых лошадей, а тетушка так же, как и матушка, получила в приданое 1000 душ.

Бабушка-княгиня была очень мала ростом, ходила всегда в черном платье, как вдова, и на голове носила не чепец, а просто шелковый платок. Один только раз и случилось мне видеть бабушку во всем параде; она заехала к нам в Москве откуда-то с обеда свадебного, или со свадьбы: на ней было платье с золотою сеткой и нарядный чепец с белыми лентами. Мы были еще все детьми, выбежали к ней навстречу и, увидев ее в необыкновенном наряде, стали прыгать пред ней и кричать: «Бабушка в чепце! Бабушка в чепце!».

Она прогневалась на нас за это:

— Ах вы дуры, девчонки! Что за диковинка, что я в чепце? Бабушка в чепце! А вы думали, что уж я и чепца надеть не умею. . . Вот я вам уши за это надеру. . .

Пришел батюшка, она ему и жалуется на нас:

— Дуры-то твои выбежали ко мне и ну кричать: бабушка в чепце! Знать, ты мало им уши дерешь, что они старших не почитают.

Батюшка стал успокаивать ее: «Матушка, не извольте на них гневаться, дети глупы, ничего еще не смыслят».

После, как бабушка уехала, уж и досталась же нам от батюшки гонка за это; тогда мне было едва ли больше пяти лет.

Мы езжали к бабушке Щербатовой в деревню и после матушкиной кончины у нее долго гостили, да и прежде гащивали в Сяскове по нескольку дней. Случалось это почти всегда осенью, потому что приноравливали, чтобы попасть к бабушкиным именинам, сентября 9. Ей в честь и названа была младшая моя сестра Анной, а мне имя Елизаветы дано в честь Взимковой, которая чуть ли и не крестила батюшку. Бабушка вставала рано и кушала в полдень; ну, стало быть, и мы должны были вставать еще раньше, чтобы быть уже наготове, когда бабушка выйдет. Потом до обеда сидим, бывало, в гостиной пред нею навытяжку, молчим, ждем, что бабушка спросит у нас что-нибудь; когда спрашивает, встанешь и отвечаешь стоя и ждешь, чтоб она сказала опять: «Ну, садись». Это значит, что она больше с тобой разговаривать не будет. Бывало, и при батюшке, и при матушке никогда не смеешь сесть, пока кто-нибудь не скажет: «Что же ты стоишь, Елизавета, садись». Тогда только и сядешь.

После обеда бабушка отдыхала, а нам и скажет: «Ну, детушки, вам, чай, скучно со старухой, все сидите навытяжку; подите-ка, мои светы, в сад, позабавьтесь там, поищите, не найдется ли бранцев, а я сем-ка лягу отдохнуть».

Знаешь ли, что такое значит: бранцы? Это самые спелые орехи, которые остаются по недосмотру на кустах в то время, когда орехи берут. Потом они дозревают и с кустов падают на землю; это самые вкусные орехи, потому что дозреют.

В Сяскове в то время сад был пребольшой, цветников было мало, да и цветов тогда таких хороших, как теперь, не бывало: розаны махровые, шиповник, касатики, нарциссы, барская спесь, пионы, жонкили. Сады бывали все больше фруктовые: яблоки, груши, вишни, сливы, чернослив

и почти везде ореховые аллеи. Теперь нет и таких сортов яблок, какие я в молодости едала; были у батюшки в Боброве: мордочка, небольшое длинное яблоко, кверху узкое, точно как мордочка какого-нибудь зверька, и звонок — круглое, плоское, и когда совсем поспеет, то зернышки точно в гремушке гремят. Теперь этих сортов и не знают: когда брату Михаилу Петровичу досталось Боброво, как мне хотелось достать прививок с этих яблонь; искали — не нашли, говорят, померзли.

В Сяскове было тоже много яблонь и всяких ягод и предлинные ореховые аллеи: цело ли теперь все это? С тех пор прошло более семидесяти пяти лет! . .

Бабушка Щербатова была очень богомольна, но вместе с тем и очень суеверна и имела множество примет, которым верила. По-тогдашнему это было не так странно, а теперь и вспомнить смешно, чего она боялась, моя голубушка! Так, например, ежели она увидит нитку на полу, всегда ее обойдет, потому что «Бог весть, кем положена эта нить, и не с умыслом ли каким?» Если круг на песке где-нибудь в саду от лейки или от ведра, никогда не перешагнет через него: «Нехорошо, лишаи будут». Под первое число каждого месяца ходила подслушивать у дверей девичьей и по тому, какое услышит слово, заключала — благополучен ли будет месяц или нет. Впрочем, девушки знали ее слабость и, когда заслышат, что княгиня шаркает ножками, перемигнутся и тотчас заведут такую речь, которую можно бы ей было истолковать к благополучию, а бабушка тотчас и войдет в девичью, чтобы захватить на слове.

— Что вы такое говорили? — скажет она.

Девушки притворяются, что будто и не слыхали, как она вошла, и нагородят ей всякого вздора и потом прибавят:

— Это, государыня княгиня, знать, к благополучию.

А ежели она услышит что-нибудь нескладное, плюнет и пойдет назад.

Иногда придет и скажет тетушке: «Алексашенька, вот что я слышала» — и станет ей рассказывать, и потом вместе перетолковывают, значит ли это слово к благополучию или не к добру.

Она верила колдовству, глазу, оборотням, русалкам, лешим; думала, что можно испортить человека, и имела множество разных примет, которых я теперь и не упомню.

Зимой, когда запушит окна, рассматривала узоры и по фигурам тоже судила: к добру или не к добру.

Тетушка, графиня Толстая, которая до самой кончины ее все жила с нею вместе, много понабралась от нее примет и имела большие странности.

Очень понятно: живали в деревне, занятий не было, вот они сидят и придумывают себе всякую всячину. У матушки было очень мало этих предрассудков, а батюшка вовсе им не был подвержен.

Вообще скажу про батюшку, что он во всем был редким человеком по своему времени: благочестив и богомолен, но нимало не суеверен; воздержен и в пище и в питии; честен, бескорыстен, но бережлив без малейшей скупости; приветлив с каждым, но гордым не давал потачки. Так, например, когда мы переехали жить в Покровское, так как оно было

Тульской губернии, то батюшка и заблагорассудил познакомиться с губернатором, с князем Петром Петровичем Долгоруким.

Должно быть, князь думал, что батюшка, как многие дворяне, очень благоговеет пред княжеским титулом, и вздумал было его принять немного свысока.

Он вышел к батюшке и первое спрашивает его: «Что вам угодно?».

Батюшку это покоробило, однако он смолчал: ждет, что князь ему предложит сесть; князь все стоит. Тогда батюшка и говорит ему: «Сперва сядемте, князь, тогда я вам и скажу, за чем я приехал» — и сел.

— Вот теперь я скажу вам, что мне угодно. Вы, верно, думаете, что я приехал к вам просителем или по делам? Очень ошиблись. Я сюда приехал жить в свое имение, а так как вы начальник губернии, то считал своим долгом сделать вам из вежливости визит; да, мне было угодно отдать вам честь, посетить вас, как один дворянин посещает другого дворянина, а вы вообразили, что я к вам явился просителем? Очень ошиблись, ваше сиятельство.

Князь был горденек и, должно быть, не очень смышлен. Он совершенно растерялся, видя пред собою равного себе, а не униженного слугу и пресмыкателя; стал извиняться и совершенно переменил тон. Батюшка посидел у него несколько минут, холодно и сухо с ним простился и после того никогда у него уже не бывал и о нем всегда говаривал: «Надутый пузырь и гордый глупец; моя нога никогда у него не будет».

Впоследствии мой второй брат женился на дочери этого Долгорукова; это было уже после кончины батюшки, а при его жизни конечно бы он брака не дозволил.

Отправляя моих двух братьев на службу, батюшка им сказал: «Помните слова вашего отца: будьте усердны к Богу, верны государыне, будьте честными людьми, ни на что не напрашивайтесь и ни от чего не отказывайтесь, и паче всего будьте осторожны в слове; я сам много пострадал чрез неумеренность моего языка, он мне много повредил».

Братья давно были записаны в полк, а жили дома, как это тогда водилось, и, поступив капралами в Преображенский полк, скоро были произведены в офицеры.

Старшему моему брату было шестнадцать лет, меньшому четырнадцать, когда они поехали в Петербург.

Из числа матушкиных родных по Мещерским я помню, что к нам езжали Ергольские: один был по отчеству Тимофеевич, другой Гурыч; оба они были бабушки княгини Анны Ивановны двоюродные братья. Кроме того, были и Мещерские родные: князь Борис и князь Павел Ивановичи.* Они доводились матушке внучатыми братьями. Князь Борис Иванович был женат на Евдокии Николаевне Тютчевой (впоследствии

---

* Князья Борис, Павел и Алексей Ивановичи и сестра их, княжна Анна Ивановна (по замужеству Безобразова), были дети князя Ивана Никаноровича. Князь Алексей оставил двух сыновей — Никанора и Ивана; у Ивана, женатого на Ергольской, была дочь Анна Ивановна, за князем Николаем Осиповичем Щербатовым; у них две дочери: Аграфена (Римская-Корсакова) и Александра (графиня Толстая).

игуменья Евгения, после смерти мужа основавшая Аносин-Борисоглебский монастырь). Ее дочь была за Семеном Николаевичем Озеровым; вот почему нам Озеровы и родня. У Павла Ивановича было два сына: князь Алексей Павлович, умер холостым, и князь Андрей Павлович, был женат и оставил сколько-то детей, а сестра их, Софья Павловна, была за Александром Дмитриевичем Чертковым.

Еще помню, что ездил к матушке троюродный дядя, князь Тюфякин,[50] а видала ли я его и как звали, не помню: с тех пор прошло ежели не восемьдесят пять лет, так уже наверное восемьдесят.

Из матушкиных родных с отцовской стороны, то есть по Щербатовым, были у нее тоже двоюродные дяди Салтыковы: Сергей Васильевич, женатый на Матрене Павловне Балк (он был где-то потом посланником и все больше жил за границей),[51] и брат его Александр Васильевич, который был два раза женат — на Вельяминовой и на Трегубовой. У них было три сестры: одна за Адамом Олсуфьевым, другая за Голицыным, а третья, помнится, за Измайловым. Помню только одни имена, а больше о них ничего сказать не умею. Из Щербатовых самая близкая родственница наша была дедушки, князя Николая Осиповича, родная по отцу сестра, княгиня Варвара Осиповна Долгорукая, но она к нам не езжала, потому что дедушка был с нею не в ладах, и вот отчего.

Дедушкин отец, князь Осип Иванович Щербатов, был женат два раза. В первый раз на Марье Васильевне Соковниной; от этого брака родились княжна Варвара и князь Сергей; а потом женился на Аграфене Федоровне Салтыковой, и от нее был только один сын — дедушка. По смерти отца он остался ежели не малолетен, то очень еще молод, и старшая в доме сестра, княжна Варвара, всем заправляла и все больше радела брату Сергею, да и при разделе отцовского имения тоже, говорят, не совсем по совести действовала. От этого у дедушки и осталась заноза в сердце, и когда он возмужал, то и перестал видаться со своею сестрой и с Долгорукими не очень ладил. Подробностей я не помню, да оно и лучше, когда о семейных раздорах забывается: помни, что хорошо, а что дурно — спеши позабыть.

Родная моя тетка, матушкина сестра, графиня Александра Николаевна Толстая, жена графа Степана Федоровича, была на тринадцать лет моложе матушки. Она всегда матушке говорила «вы» и очень ее уважала; с батюшкой и она и ее муж были дружны и к нам родственно расположены. Тетушка получила в приданое 1000 душ и ту деревню, село Сясково, где жила и скончалась бабушка. Дядюшка граф Степан Федорович был человек очень расчетливый и сметливый, он и то берег, что имел, да и умел копить и наживать: покупал имения дешево и брал хорошую потом цену, и когда скончался в 1804 году, то у них было чуть ли уже не 4000 душ крестьян.* У него была сестра Варвара Федоровна, замужем за Дохтуро-

---

* Граф Степан Федорович был знаком с преосвященным Тихоном, епископом Задонским,[52] находился с ним в переписке и имел много его собственноручных писем. Когда он сделался нездоров, то завещал похоронить себя в Задонске возле той церкви, где было погребено тело преосвященного Тихона, что и исполнили.

вым (по имени его звали Афанасием, а как по отце, не знаю), имела сына и двух дочерей: Марью и Варвару Афанасьевен.

А у тетушки, графини Александры Николаевны, было двенадцать человек детей — девять сыновей и три дочери. Старшая, Елизавета Степановна, была за графом Григорием Сергеевичем Салтыковым и имела от него единственную дочь Александру Григорьевну, которая была за Павлом Ивановичем Колошиным.*

Вторая сестра, графиня Аграфена Степановна, была помолвлена в молодости (за Фаминцына), но ее жених умер.

Третья сестра, Марья Степановна, вышла за Василия Алексеевича Толстого, не графа, который ей приходился как-то дальним родственником.**

Перечислив всех матушкиных родных, доскажу о родных по Корсаковым: о Корсаковых, Волконских и Татищевых. Батюшкина сестра, княгиня Марья Михайловна,*** имела только двух сыновей: князя Дмитрия Михайловича**** и князя Владимира Михайловича.*****

Князь Дмитрий был гораздо старее меня, лет на десять, если не более. Он был высокого роста, очень умен, любезен и добр, но очень нехорош собою и от оспы имел лицо рябое. Служил, наверное не знаю, не то в Семеновском, не то в Преображенском полку; вышел в отставку полковником, долгое время был без службы, женился на Зыбиной и поступил опять на службу, но только уже не в военную: он был директором в Павловском, которое так любила императрица Мария Федоровна.[54] Жена князя Дмитрия имела ужасный характер, вспыльчивый и жестокий,

---

* У Колошиных было три сына и две дочери:

1) Сергей Павлович, литератор, родился в 1823 году, скончался в 1863 году [53] во Флоренции.

2) Дмитрий Павлович родился 14 апреля 1827 года, действительный статский советник.

3) Валентин Павлович убит в 1855 году при осаде Севастополя.

Александра Павловна родилась в 1824 году, умерла в 1848 году от холеры.

Софья Павловна родилась в 1828 году, 22 августа.

Александра Григорьевна и Павел Иванович Колошины погребены в Москве, в Новодевичьем монастыре.

** У Марьи Степановны Толстой дети:

Николай Васильевич умер бездетным.

Виталий Васильевич от брака с девицей Булыгиной имеет дочь Александру.

Василий Васильевич умер бездетным.

Варвара Васильевна, в первом браке за Воейковым, во втором не помню за кем.

Александра Васильевна, за Сомовым; оба умерли бездетны.

Екатерина Васильевна, за Николаем Осиповичем Бове; два сына и дочь.

Марья Васильевна, девица, умерла в Калуге.

Марья Степановна умерла в 1874 году в Калуге.

*** Марья Михайловна Римская-Корсакова родилась 9 января 1736 года, скончалась 6 августа 1786 года, была замужем за князем Михаилом Петровичем Волконским (оба схоронены в московском Новодевичьем монастыре).

**** Князь Дмитрий Михайлович родился 5 мая 1759 года, скончался 2 декабря 1814 года. Жена его, Марфа Никитична Зыбина, родилась 28 июля 1766 года, скончалась 28 июля 1816 года; оба схоронены в московском Новодевичьем монастыре.

***** Князь Владимир-Прокопий Михайлович родился 8 июля 1761 года, скончался 17 июня 1845 года, схоронен в московском Новодевичьем монастыре.

и хотя она и любила своего мужа, но много причиняла ему печали своею запальчивостью, которая доходила до того, что она, бывало, как рассердится, то побледнеет, то вспыхнет, то сделается вся полосатая; выступит пот на лице, пена у рта, и даже иногда такое бешенство оканчивалось у нее обмороком. Более всего от нее страдала несчастная прислуга, в особенности когда мужа ее не бывало дома и потом, когда он умер. Признаюсь, я всегда опасалась за нее: ожидала, что с ней что-нибудь сделают. У них было трое детей: два сына, Модест и Вячеслав, и дочь Зинаида, была замужем за Ланским Петром Сергеевичем, сыном Елизаветы Ивановны, урожденной Вилламовой, сестры известного в свое время статс-секретаря.[55] Все дети князя Дмитрия были характером в мать. Модест, умерший в первой молодости, лет 16 или 17, был бы ужасным человеком, ежели бы Господь не взял его благовременно. Зинаида была тоже предурного характера и много делала горя своей добрейшей и милейшей свекрови Елизавете Ивановне.

О Корсаковых: тетушке Марье Семеновне, о ее дочерях — Екатерине Александровне Архаровой и Елизавете Александровне Ржевской и о брате их Николае Александровиче я, кажется, уже много говорила, но не досказала еще, что у дедушки Михаила Андреевича была сестра Марья Андреевна за князем Мещерским, и у этой Мещерской было несколько дочерей, из которых одна была замужем за Ильиным. Отец и мать не желали этого брака; тогда княжна обратилась с просьбой к своему дяде, то есть к моему дедушке Михаилу Андреевичу. Он сперва уговаривал Мещерских, чтоб они позволили дочери выйти замуж, те не хотели об этом и слышать; тогда он помог племяннице бежать и даже благословил ее образом Спасителя. У Ильиных была только одна дочь, Елизавета Андреевна, которая меня очень любила; она умерла девицей и, умирая, оставила мне образ, которым благословлял ее мать мой дедушка.

В то время побег считался великим позором, и потому Мещерские не очень долюбливали Ильину, вспоминая, что ее мать не вышла замуж, а *бежала*.

Из Татищевых теперь никого уже не осталось в живых, я всех пережила, а было у нас в Москве три родственные близкие дома:

1) Аграфена Федотовна Татищева, урожденная Каменская (сестра графа Михаила Федотовича, пожалованного при императоре Павле в графы и фельдмаршалы),[56] была третьею женой батюшкиного родного дяди Евграфа Васильевича. Батюшка ее очень уважал, и до самой смерти своей она была ко мне и ко всем нам очень хорошо расположена. Ее дом был на Тверском бульваре, на дворе, с двумя большими флигелями: тот, который на переулок, с круглым углом.*

От первой жены своей дедушка Евграф Васильевич, сын Василия Никитича и брат Евпраксии Васильевны Римской-Корсаковой, имел только одного сына, дядюшку Ростислава Евграфовича, жившего в детстве при деде своем, Василие Никитиче, в Болдине. Эта первая жена Евграфа

* Ныне это дом княгини Ухтомской и там адресная контора.

Васильевича была Зиновьева. Вторая его жена, Наталья Ивановна, была по себе баронесса Черкасова и оставила только одну дочь — Анну, которая была за Ахлестышевым; а от третьей жены было четыре сына и четыре дочери.

Старшему сыну своему от первой жены, Ростиславу Евграфовичу, дедушка отдал свой каменный дом на Петровском бульваре,* рядом с Петровским монастырем, и в этом доме он делал бал и принимал великого князя Павла Петровича. Это было не знаю наверно в котором году, но думаю, или в конце семидесятых годов, или в 1780, потому что в восемьдесят первом году он скончался. В этом доме была зала довольно высокая, но очень узенькая, с зеркальными дверьми и зеркальными окнами, что по тому времени, когда зеркала были в диковинку, считалось очень хорошо и нарядно.

2) Ростислав Евграфович Татищев, двоюродный брат батюшки, был с ним очень дружен, и батюшка по его просьбе подарил ему портрет своего и его деда Василия Никитича Татищева; этот портрет теперь принадлежит Ершовой Варваре Сергеевне. Дядюшка был также женат три раза: на Бакуниной, на Грязновой и на княжне Александре Ивановне Гагариной. От первых двух жен он имел по одной дочери: Александра Ростиславна была за Похвисневым, а младшая, Елизавета Ростиславовна, за князем Сергеем Сергеевичем Вяземским, который был с нею в близком свойстве, потому что был родным племянником Аграфене Федотовне Татищевой, будучи сыном ее родной сестры Анны Федотовны.

Двоюродный брат князя Сергея Сергеевича, князь Николай Семенович, был женат впоследствии на моей сестре Александре Петровне; об этом я расскажу после.

3) Третий дом Татищевых был рядом с домом Пашковых с одной стороны и с домом Нарышкиных с другой. Тут жил дядюшка Алексей Евграфович, женатый на Марье Степановне Ржевской, дочери Степана Матвеевича, женатого на баронессе Строгановой Софье Николаевне, следовательно, по Строгановым она была в свойстве, хотя и дальнем, с Татищевыми.

Имея сама хорошее состояние и вышедши за человека богатого, она жила очень весело, любила давать балы и маскарады: сперва, когда была молода, для себя самой, а потом, когда подросли ее две дочери, Софья и Анна, она их тешила и, будучи в родстве едва ли не с пол-Москвой, почти всем говорила: «Mon cousin» или «Ma cousine» — и этим заслужила прозвание *всемирной кузины*. И точно, почти все, кто у нее бывали, приходились ей сродни или по Строгановым и Ржевским, или по Татищевым и Каменским.

У дядюшки Алексея Евграфовича были от Марьи Степановны два сына: Николай и Никита, оба прекрасные молодые люди и оба умерли очень молоды, старший лет двадцати пяти, а меньшой был полковником;

---

* Этот дом Р. Е. Татищев отдал своей дочери Елизавете Ростиславовне, бывшей в замужестве за князем Сергеем Сергеевичем Вяземским; она отдала его своей дочери Варваре Сергеевне Ершовой, которая и продала его г. Катуару.

ни тот ни другой не были женаты. Марья Степановна воспитывала сына своей старшей дочери, бывшей во втором браке за Савеловым, и этот внук подавал большие надежды, но умер преждевременно. В последние годы своей жизни Марья Степановна почти никого уже не принимала и, имея во всем недостаток, больше жила в Болдине и там умерла в 1852 году, будучи почти восьмидесяти лет от рождения.

Остальные три брата ее мужа: Никита, Василий и Михаил Евграфовичи умерли неженатые. Никита и Михаил умерли очень молоды: одному было лет 17, другому 20, а Василий умер в 1827 году, в последних числах октября месяца.

Три тетушки Татищевы, Евграфовны, были замужем: Александра Евграфовна — за Яковом Андреевичем Дашковым, Прасковья — за грузинским царевичем Леоном Леоновичем и все больше жила у себя в ярославской деревне, и Елизавета — за Новосильцевым Иваном Филипповичем и имела двух сыновей: Дмитрия Ивановича, который пошел в монахи и умер в Донском монастыре, и Евграфа Ивановича, женатого на Наталье Ивановне Вырубовой. У них сын Иван и дочь Елизавета. А две дочери Елизаветы Евграфовны были замужем: Аграфена Ивановна — за Ивинским, Елизавета Ивановна — за Роговским.

Екатерина Евграфовна, вторая из дочерей Аграфены Федотовны, не была замужем и умерла в молодых летах.

Теперь из этой большой семьи никого не осталось, и если есть какие Татищевы, то и не сочтешься с ними родством.

Третья жена дядюшки Ростислава Евграфовича, урожденная княжна Гагарина, Александра Ивановна, сестра князя Сергея Ивановича, была прекрасна собой. Оставшись после мужа молодою вдовой, она влюбилась в учителя своих падчериц — из духовного звания и сделала непростительную глупость: вышла за него замуж. Он был человек очень грубый, и она дорого поплатилась за свое увлечение: муж ее запер почти безвыходно дома, и она грустно дожила свой век взаперти, удаленная от своих родных, которые, разумеется, осуждали ее за ее безрассудство и к ней не ездили, а к ним ее муж не пускал, и так она умерла, забытая ото всех, претерпевая от грубого семинариста самое жестокое обращение, потому что он был и скуп, и, говорят, бедную жену свою даже нередко и бивал. Домишко их был в Георгиевском переулке, близ Спиридоновки — маленький, деревянный, в три окна, и ворота всегда на запоре. Бывало, едешь мимо, посмотришь и подумаешь: каково это бедной Александре Ивановне после довольства и изобилия, после житья в палатах и в кругу знатных родных и друзей томиться в такой лачуге? Да, вот что значит, как поддашься увлечению безрассудной страсти! Впрочем, к чести моего времени, скажу, что тогда такие случаи бывали за редкость и неравные браки не были так часты, как теперь. Каждый жил в своем кругу, имел общение с людьми, равными себе по рождению и по воспитанию, и не братался со встречным и с поперечным. . .



ГЛАВА ВТОРАЯ

I

К числу наших родных, не очень близких, принадлежало и семейство Яньковых, живших в Москве. Они доводились нам родственники по Татищевым, именно: отец моего прадеда Василия Никитича, Никита Алексеевич, имел еще брата Федора Алексеевича, бывшего комнатным стольником царицы Параскевы Федоровны, невестки Петра I;[1] сын Федора Алексеевича Иван Федорович, двоюродный брат моего прадеда, был женат на Степаниде Алексеевне Новосильцевой и имел сына Семена Ивановича и двух дочерей, Анну Ивановну и Марью Ивановну, которые доводились, стало быть, бабушке Евпраксии Васильевне троюродными, что по нашим понятиям о родстве считалось еще не очень дальним родством. Василий Никитич с Иваном Федоровичем был дружен, и когда он служил в Сибири при горных заводах и был губернатором в Оренбурге, то присылывал ему разные гостинцы: персидские ковры, китайскую посуду и тому подобное; многое из этого и я еще застала. Бабушка считалась родством с его детьми. Вот старшая-то дочь Ивана Федоровича и вышла замуж за Александра Даниловича Янькова. Яньковы были родом из Македонии, откуда их предок выехал от турецкого утеснения и поселился в Польше. Их было несколько братьев: один остался в Польше и назывался Яньковский, другой брат ушел в Венгрию и стал писаться Янькович, а двое из них, Иван Васильевич и Федор Васильевич, прибыли в Россию при царе Федоре Алексеевиче. Федор был очень ученый человек и потому был принят в московскую Славяно-греко-латинскую академию и, постригшись, стал называться Феодосием Яньковским.*[2] Он был потом при Петре I новгородским архиереем, короновал Екатерину I, был членом Синода,[3] и ежели бы Прокопович не повредил ему, может быть, он был бы и митрополитом, после Яворского.[4] Но Феофан, который сам, кажется, метил на это место, опасался его, подыскивался под него, перетолковывал его слова и действия не в его пользу, наводил императрицу Екатерину I на гнев и добился наконец, что его лишили архиерейства и даже монашества и сослали куда-то в Архангельск, в монастырь.[5]

Брат его Иван Васильевич имел сына Даниила, который поступил при Петре I в военную службу и начал называться в отличие от других

---

* Подробности о жизни преосвященного Феодосия Яньковского см. в книге Чистовича «Феофан Прокопович и его время».

своих родственников Яньковым. Он был женат на Дмитриевой * Анне Ивановне, служил при дворе императрицы Анны: сперва помощником гоф-интенданта, строил Анненгофский дворец,[6] за что был пожалован в майоры и потом сделан гоф-интендантом, и, несмотря на опасное положение при дворе в то время, когда ужасный любимец Анны Иоанновны Бирон делал, что хотел, он, однако, удержался на своем месте до конца жизни, скончался в Петербурге в 1738 году и был положен в Александро-Невском монастыре. Ему особенно покровительствовал граф Федор Матвеевич Апраксин, который в свое время был сильным человеком.[7]

Незадолго до кончины своей Данила Иванович отдал замуж свою старшую дочь Анну за Адриана Лукьяновича Толмачева. Вдова его Анна Ивановна осталась с двумя детьми: сыном Александром Даниловичем, которому был восемнадцатый год, и с дочерью Ольгой, лет одиннадцати.

Воспитание своему сыну Александру Яньков дал самое хорошее: он прекрасно говорил и писал по-французски и по-немецки, учился итальянскому языку и португальскому, изучал разные науки: историю, математику, астрономию и морское плавание, и мало ли чему его учили. Он был очень красив собою, умен, да к тому же еще и состояние получил после отца очень большое, и по всему этому был принят в лучшем кругу.

В каком полку он служил, этого я, право, не знаю, но слыхала, что к нему был очень расположен граф Петр Семенович Салтыков[8] и скоро взял его к себе в адъютанты. Он много с ним путешествовал: ездил то в Митаву, то в Дерпт, то в Ригу, жил сколько-то времени в Стокгольме, был в Глухове, в Нежине, и у Салтыковых в доме был своим человеком. Граф Салтыков имел к нему большое доверие и просил его присматривать за его сыном Иваном Петровичем и следить, так ли его учат наукам.[9] Когда молодому графу исполнилось восемнадцать лет и пора ему было вступить в службу, то граф Петр Семенович, находившийся в ту пору либо в Риге, либо в Митаве, просил Янькова съездить за своим сыном в Москву и привезти его для поступления на службу, что тот и сделал.

Александр Данилович женился в 1745 году на Анне Ивановне Татищевой, дочери Ивана Федоровича и жены его Степаниды Алексеевны, урожденной Новосильцевой. Свадьба была в Москве, в приходе Успения на Овражке, в Газетном переулке,[10] где у них был свой дом.** Жениху был двадцать пятый год, невесте пятнадцатый; по-тогдашнему это было так принято, что девушек отдавали рано замуж; сказывали мне, что матушкина мать, княжна Мещерская, была двенадцати лет, когда выходила замуж.

Женившись на Татищевой, Яньков попал в очень знатное родство: родная тетка его тещи, Марья Яковлевна Новосильцева, была за именитым

---

* Ее мать, Евдокия Никифоровна Бартенева, дочь Никифора Ивановича, была замужем два раза: 1) за Иваном Юлиевичем Дмитриевым (дочь Анна), 2) за Василием Ивановичем Горским (сын Василий). У Никифора Ивановича был еще сын в иночестве Иоиль. Сестра Никифора Ивановича Дарья была за Иаковом Кошелевым; двое детей: сын Дмитрий, дочь Ирина, за Константином Дмитриевичем Есауловым, три сына: Давид, Иосиф, Федор.

** Ныне он принадлежит купцу Живаго.

человеком Григорием Строгановым,[11] следовательно, все Строгановы — Григорьевичи: Николай, Александр, Сергей, сколько их там было, приходились Анне Ивановне двоюродными дядями, а другая Новосильцева, Марья Ионишна, двоюродная ее тетка, была за адмиралом Александром Ивановичем Головиным; тоже в свое время люди со значением.

Несколько лет спустя внучатые сестры Анны Ивановны, баронессы Строгановы, сделали прекрасные партии: одна вышла за родного племянника императрицы Екатерины Скавронского,[12] другая за Голицына, третья за Долгорукова, сына известной схимницы Нектарии,[13] дочери Шереметева Бориса Петровича. Все эти родственные связи еще более улучшали положение Яньковых, и выдвигали их вперед, и давали им почетное место в тогдашнем обществе. Мать Александра Даниловича Анна Ивановна была хорошая хозяйка, умела вести свои дела исправно и, имея после мужа около 5000 душ в лучших губерниях, одна всем заправляла до самой своей кончины в 1751 году. Кажется, она преимущественно жила в Москве; должно быть, и ее невестка оставалась с нею, а сын был все в разъездах вместе с Салтыковым.

Родство в Москве было большое. Когда Александр Данилович женился, то была еще в живых бабушка его жены, схимонахиня Анфиса; она была с лишком семидесяти лет и жила в Зачатьевском монастыре. Сама по себе Братцова, Анна Васильевна была за Алексеем Яковлевичем Новосильцевым и имела от него трех дочерей: Степаниду, что за Татищевым (Иваном Федоровичем), Дарью, которая была за Соковниным (Петром Алексеевичем), и Марью за Шишкиным (Василием Михайловичем). Все эти семьи жили в Москве. Овдовев, Анна Васильевна пошла в монастырь и постриглась под именем Александры, пожила сколько-то времени в монастыре и пожелала принять схиму. Она скончалась три года спустя после женитьбы Янькова на ее внучке Татищевой и погребена у соборной церкви, напротив самого алтаря. Несколько лет спустя рядом с нею схоронили ее двух дочерей: Татищеву* и Шишкину и зятя Ивана Федоровича Татищева.**

Александр Данилович жил очень хорошо и открыто; когда он женился, у него была золотая карета, обитая внутри красным рытым бархатом, и вороной цуг лошадей в шорах с перьями, а назади, на запятках, букет. Так называли трех людей, которые становились сзади: лакей выездной в ливрее, по цветам герба, напудренный, с пучком и в треугольной шляпе; гайдук высокого роста, в красной одежде, и арап в куртке и шароварах ливрейных цветов, опоясанный турецкою шалью и с белою чалмой на голове. Кроме того, пред каретой бежали два скорохода, тоже в ливреях и в высоких шапках: тульи наподобие сахарной головы, узенькие поля и предлинный козырек. Так выезжали только в торжественных случаях,

* Степанида Алексеевна Татищева скончалась в Москве 25 февраля, в 7 часов утра, 1756 года. Иван Федорович скончался в Москве 24 июня 1756 года. Когда скончалась Марья Алексеевна Шишкина, нам неизвестно.

** Где схоронена третья дочь старицы Анфисы, Д. А. Соковнина, мы не знаем. Соковнины жили в своем доме на Сретенке, у Спаса в Пушкарях. Петр Алексеевич Соковнин умер 13 декабря 1755 года, а 15-го его схоронили у Никиты, что у Красных Колоколов.

живность, и все припасы, все привозилось из деревень; всего заготовляли помногу, стало быть, и содержание стоило недорого; а жалованье людям платили небольшое, сапоги шили им свои мастера, платье тоже, холст был некупленный.

В то время, как матушка Александра Даниловича скончалась, — это было в начале января 1751 года в Москве, — он был с женой в Петербурге. Известие пришло к нему на шестой день; он два дня прособирался еще: служил в то время провиантмейстером, стало быть, и отлучиться без отпуска нельзя; поехал с женой в Москву и приехал уже на одиннадцатые сутки после ее кончины. Хоронить дожидались. Поблизости их дома от Никитского монастыря там и схоронили, а отпевал и сорочины правил преосвященный Лев из рода Юрловых. Он жил тогда в Москве, в каком-то монастыре, на покое после тех скорбей, которые он испытал. Вот что о нем мне рассказывали люди достоверные, помнившие его. Он был сын нижегородского дворянина [14] и назывался Лаврентием. Родители его оба умерли, и он остался сиротой. Сродни ли были ему Троекуровы или из жалости, но почему-то один из князей Троекуровых взял его к себе в дом и воспитывал вместе со своими детьми. Потом Лаврентия записали в полк и он был в походах, [15] но вдруг он задумал идти в монахи и постригся; [16] был после того архимандритом и, наконец, был сделан воронежским архиереем. [17] Когда взошла на престол императрица Анна, он почему-то не отслужил вскорости молебна: кто-то из городских властей, по неприязни к нему, и донес на него в Синод. [18] Вот из-за этого и вышла вся беда: Прокопович его не жаловал, так как он был из дворян и мог ему быть помехой на пути, а кроме того, был еще и в дружестве с архиереем из рода Дашковых, [19] которых Прокоповичу хотелось стереть с лица земли. Началось дело, пошли допросы, и кончилось тем, что Дашкова и Юрлова и еще сколько-то архиереев расстригли и разослали по разным монастырям отдаленным. Больше десяти лет томился Юрлов. Когда взошла на престол императрица Елизавета Петровна, то по милостивому манифесту подвели и ссыльных архиереев под прощение: которые перемерли, а Юрлова вернули и все ему опять возвратили, потому что знали, что он страдал невинно; хотели было опять его сделать где-нибудь местным архиереем, но он не пожелал и просил, чтоб ему дали какой-нибудь монастырь в Москве, где он и жил чуть ли не пятнадцать лет. Вся Москва его очень чтила и уважала: он был точно истинный святитель и слуга Христов, человек умный и приятный.

Много причинил вреда этот Прокопович, а все из-за того только, что опасался людей достойных, которые могли стать ему на пути. И чем же все это для него окончилось? Он умер, не дождавшись — чего так добивался — митрополитства, погубил премножество добрых и честных людей и оставил по себе очень нехорошую память. Теперь все это давно перезабыто, а кто помнил его время, не с похвалой, а с ужасом об нем отзывался. [20]

Александр Данилович за погребение своей матери поднес преосвященному Льву панагию, а в монастыре была заказана поминовенная служба на год: с певчими, со свечами и с ладаном, по субботам обедни и панихиды;

и что же за все это? только двадцать пять рублев * в год. Говорю это, чтобы показать, какие тогда были цены и как дороги деньги.

Сестра Александра Даниловича Ольга была сговорена за Приклонского Ивана Михайловича, когда их матушка скончалась. Чтобы не откладывать свадьбы до лета, так как наступала масленица, она венчалась до истечения шести недель. Мать этого Приклонского была по себе Колычева, кажется, Екатерина Ивановна.

У Яньковых было две дочери, Анна и Клеопатра, а мальчики все умирали; умерло и несколько дочерей.

В то время, то есть в 1752 или 1753 годах, стали прославляться мощи ростовского митрополита святителя Димитрия,[21] и много совершалось чудес от его мощей; слыша это, Яньковы не раз туда ездили и положили, что ежели Господь им дарует еще сына, непременно назвать его Димитрием.

Между тем Александра Даниловича сделали прокурором в чине полковника и послали в Белгород; это уже было, должно быть, в 1760 году. Они купили дом в Белгороде у Толстого и там основались на житье. Когда они туда уехали, то людей отправляли в фурах, и одна фура была с горничными, в числе которых было и несколько кружевниц, которым были заданы уроки, сколько сплести кружева во время дороги: так как ехали на волах, очень тихо, то и велено было девкам не терять даром времени, а заниматься делом. Это я слышала от одной из кружевниц, Акульки, которую я уже стала знать, когда она была в летах, женой приказчика, и потому из Акульки сделалась Акулиной Васильевной.

В Белгороде в то время архиереем был преосвященный Иосаф,** человек очень умный и обходительный, и Александр Данилович с ним очень сошелся и просил его, уезжая в 1761 году в Петербург, чтоб он навещал его жену во время его отсутствия и что ежели без него родится ребенок, которого ожидали, и будет сын, то чтобы преосвященный не отказался быть восприемником и дал бы ему имя Димитрия, в честь новопрославленного святителя. И как ожидали и желали, так и случилось: Яньков по делам должен был отправиться в Петербург, и не прошло месяца, как он получил уведомление, что жена его родила сына, названного Димитрием, и крестил его архиерей, который при крещении благословил своего крестного сына рукописною книгой «Летописец святителя Димитрия» с собственноручными заметками святителя.[22]

В конце того же года Александра Даниловича вызвали в Петербург и сделали прокурором в главной провиантской комиссии, и он снова поселился в Петербурге, где в 1763 году родился у него еще сын Николай.

Меньшая сестра Анны Ивановны Марья Ивановна после кончины своих родителей жила частию у сестры, а когда та уехала в Белгород, то стала

---

* Бабушка постоянно и говорила и писала: *рублев*, а не рублей; много *делов*, а не дел, и хотя слышала, как говорят другие, не изменяла своей привычки.

** Иосаф Миткевич, в 1748—1750 гг. префект и ректор Новогородской семинарии; в 1756 году архимандрит хутынский; в 1758 году, апреля 26-го, епископ Белогородский; погребен в Белгороде.

жить в доме у своей кузины Скавронской, жены графа Мартына Карловича, и из его дома вышла замуж за Николая Алексеевича Мамонова. Так как Яньковы были с хорошим состоянием, то Анна Ивановна по совету мужа и отказалась от своей части из отцовского имения в пользу сестры своей Мамоновой.

Брат Яньковой и Мамоновой Семен Иванович был женат на княжне Урусовой Анастасии Васильевне,* свадьба эта была в 1757 году в Москве, в доме у Александра Даниловича в Газетном переулке; вероятно, посаженою матерью была родная тетка Соковнина, а посаженым отцом Александр Данилович. Когда именно умер Семен Иванович и его жена, я не знаю, но они жили долго, детей не оставили, и татищевское имение, село Новое,** перешло к Марье Ивановне Мамоновой, а после нее досталось ее дочери, Анне Николаевне Неклюдовой.

II

В конце 1764 года Яньковы переехали опять на житье в Москву: Александр Данилович все хворал и в конце мая 1766 года скончался и был погребен в своей приходской церкви у Успенья на Овражке, в приделе св. Николая, за левым клиросом у окон, рядом со своими малолетними детьми, там же погребенными.

Анна Ивановна осталась с четырьмя детьми: двумя дочерьми — Анной, 16-ти лет, Клеопатрой, 14-ти лет, и двумя сыновьями — Дмитрием, 5-ти лет, и Николаем, 3-х лет. Года два спустя она поехала в Петербург и поместила своих мальчиков в малолетний Шляхетский корпус,[24] где был в то время директором известный Иван Иванович Бецкий [25] и где воспитывался первый из Бобринских, впоследствии граф Алексей Григорьевич.[26] Императрица Екатерина весьма заботилась о его хорошем воспитании, и потому, говорят, малолетний корпус был тогда в самом цветущем положении. Анна Ивановна, говорят, очень грустила, что рассталась с детьми, и, пожив еще до 1772 года, скончалась от простудной горячки на другой день Рождества Христова.[27] Ее отпели в Москве, но так как хоронить в приходских церквах со времени чумы [28] было воспрещено, то и схоронили ее в подмосковной, в селе Горках,[29] в приделе пророка Даниила.

Умирая, Анна Ивановна завещала своих детей внучатой своей сестре, княгине Анне Николаевне Долгорукой, урожденной Строгановой, а мужа

---

* В родословной Долгоруких Татищевы, Иван Федорович и все его дети, пропущены, и в родословной князей Урусовых Анастасия Васильевна не показана; думаем, что она дочь князя Василия Алексеевича (№ 70) и сестра Анны Васильевны Зиновьевой (№ 83). Анну Васильевну Зиновьеву, думаем, следует поместить в родословной (изд⟨ание⟩ «Русской старины») [23] с ее мужем, между № 56 и 57.

** Неклюдова Анна Николаевна, вдова генерал-майора, имела двух дочерей: 1) Варвару Сергеевну, за генерал-лейтенантом Владимиром Григорьевичем Глазенап, детей не было, и 2) Марью Сергеевну, за тайным советником Владимиром Николаевичем Шеншиным: три дочери и сын Сергий. По нерасположению к меньшей дочери А. Н. Неклюдова отдала все свое имение помимо ее чужим — детям своего зятя Глазенап. Ныне село Новое принадлежит Михаилу Владимировичу Глазенап.

ее, князя Михаила Ивановича, назначила опекуном над детьми и над их имением.

Обе девицы Яньковы переехали жить к Долгоруким в их дом близ Девичьего поля в приходе Воздвижения на Пометном Вражке.[30] Младшая из дочерей, Клеопатра, была, говорят, прекрасна собою, но слабого здоровья. Она очень любила свою мать, после ее смерти стала чахнуть и спустя два года после нее скончалась от чахотки; ее отпели также в Москве и повезли в село Горки и схоронили там в церкви, возле ее матери. Ей было от рождения 22 года.

Старшую сестру я знала; она бывала у батюшки и всегда его величала «братец», потому что доводилась ему правнучатою сестрой, и он тоже называл ее сестрицей. Но он не очень ее долюбливал и про нее говорил: «Эта старая девка прехитрая и прелукавая, и только у нее и разговору, что ее Долгорукие». Я стала ее знать в конце 80-х годов, когда ей было уже под сорок лет. Она была очень мала ростом; головка прехорошенькая, премилое лицо, глаза преумные, но туловище само неуклюжее: горб спереди и горб сзади, и, чтобы скрыть этот недостаток, она всегда носила мантилью с капюшоном, очень большим и весьма сборчатым, так что сверху из капюшона выглядывала маленькая головка, а снизу тащилась преполная юбка с длинным шлейфом, что выходило пресмешно. Анна Александровна была очень умна и воспитание получила хорошее, что тогда было довольно редко. Все учение в наше время состояло в том, чтоб уметь читать да кое-как писать, и много было очень знатных и больших барынь, которые кое-как, с грехом пополам, подписывали свое имя каракулями. Анна Александровна, напротив того, и по-русски и по-французски писала очень изрядно и говорила с хорошим выговором.

По смерти сестры своей она осталась жить у Долгоруких, которые имели трех дочерей: Прасковью Михайловну, Анну Михайловну (впоследствии за графом Ефимовским) и Елизавету Михайловну (потом за Селецким) и сына Ивана Михайловича, который был сочинителем и стихотворцем.[31] Княжны были помоложе Яньковой, и, живя у них в доме, она за ними приглядывала и, как старшая, иногда с ними выезжала.

У батюшки она бывала изредка, и хотя он принимал ее по-родственному, но особого внимания ей никогда не оказывал, и так как с Долгорукими не был знаком, то к ней и не ездил.

Когда ее братья, Дмитрий и Николай, вышли из корпуса в 1783 году, она с ними приезжала к батюшке, но это было в то время, как скончалась матушка, и нам тогда было не до того; не помню, принимали ли их или нет. После того они бывали у нас три-четыре раза в год, но с 88 или 89 года Анна Александровна стала у нас бывать чаще и чаще.

Раз как-то батюшка и говорит за столом:

— Не понимаю, отчего это Янькова так зачастила ко мне; давно ли была, а сегодня опять ко мне приезжала; не знаю, что ей нужно, а уж верно недаром — она прелукавая.

И старший из ее братьев тоже стал у нас бывать почаще прежнего. Младший, Николай, был уже в то время женат и жил большей частью с женой в деревне.

Прошло еще сколько-то времени, приезжает к батюшке тетушка Марья Семеновна Корсакова и говорит ему:

— А я, Петр Михайлович, к тебе свахой приехала, хочу сватать жениха твоей дочери.

— Которой же?

— Елизавете, батюшка.

— Елизавете? Она так еще молода. . . А кто жених?

— Старший из Яньковых, Дмитрий.

— Нет, матушка сестрица, благодарю за честь, но не принимаю предложения: Елизавета еще молода; я даже ей и не скажу.

И точно, батюшка мне ничего не сказал и не спросил моего мнения; а узнала я это от сестры Елизаветы Александровны: пока тетушка была с батюшкой, она мне и говорит: «Елизавета, поди-ка сюда», отвела меня в сторону и шепчет:

— Матушка приехала тебе сватать жениха, Янькова Дмитрия Александровича.

Тетушка уехала; батюшка молчит; проходит день, другой, третий; так батюшка ничего мне и не сказал и только после уже мне это рассказывал.

Прошло, должно быть, с год, опять тетушка Марья Семеновна повторяет батюшке то же предложение, и опять он отказал наотрез, а сказал: «Спешить нечего, Елизавета еще не пе́рестарок; а засидится — не велика беда, и в девках останется».

И мне об этом ни слова; а сестра Елизавета мне опять шепнула. Думаю себе: «Стало быть, батюшка имеет какие-нибудь причины, что это ему не угодно».

Помнится мне, что однажды я подхожу в зале к окну и вижу: едет на двор карета Яньковой; у меня отчего-то сердце так и упало.

Я прошла во вторую гостиную. Батюшка был дома у себя и кабинете. Ему доложили, он вышел в гостиную и Анну Александровну принял: из нас никого не позвали, они посидели вдвоем, что говорили — было не слышно, и Янькова уехала.

Тут батюшка меня кликнул:

— У меня сейчас была Янькова, приезжала сватать тебя, Елизавета, за брата своего Дмитрия. Говорит мне: «Петр Михайлович, вот вы два раза все говорили тетушке Марье Семеновне, что Елизавета Петровна еще слишком молода; неужели и теперь мне то же скажете, а брат мой приступает, чтоб я узнала ваш решительный ответ». Я ей на это и сказал: «Мы, сестрица, родня. . . И что это, право, далась вам моя Елизавета; неужели кроме нее нет и невест в Москве?» Про Дмитрия Александровича нельзя ничего сказать, кроме хорошего: человек добрый, смирный, неглупый, наружности приятной, да это и последнее дело смотреть на красоту; ежели от мужчины не шарахается лошадь, то, значит, и хорош. . . Родство у Яньковых хорошее, они и нам свои, и состояние прекрасное: чем он не жених? Не будь сестра у него, я никогда бы ему не отказал. . . Но вот она-то меня пугает: пресамонравная, прехитрая, братьями так и вертит, она и тебя смяла бы под каблук; это настоящая золовка-колотовка, хоть кого заклюет. Не скорби, моя голубушка: тебя любя, я не дал своего согласия. . .

А быть тебе за ним, — прибавил батюшка, немного помолчав, — так и будешь, по пословице: суженого конем не объедешь!

Это, что я рассказываю, было или в 92-м году, перед Рождеством, или в начале 93-го года.

Дело о сватовстве совершенно заглохло: Яньковы бывали редко, верно, считали себя обиженными. А мне, признаюсь, Дмитрий Александрович приходился по мысли: не то чтоб я была в него влюблена (как это срамницы-барышни теперь говорят) или бы сокрушалась, что батюшка меня не отдает, нет, но дай батюшка свое согласие, и я бы не отказала.

Настала весна; мы начали собираться ехать в деревню и часть обоза отправили уже вперед; это было после Николина дня; [32] вот как-то я утром укладываю кой-что, для отправки тоже, присылает за мною батюшка: «Пожалуйте, Елизавета Петровна, в гостиную». Спрашиваю: «Кто там?». Говорят: «Яньков».

Вошла я в гостиную; батюшка сидит на диване превеселый, рядом с ним Дмитрий Александрович, весь раскраснелся и глаза заплаканы; когда я вошла, он встал. Батюшка и говорит мне:

— Елизавета, вот Дмитрий Александрович делает тебе честь, просит у меня твоей руки. Я дал свое согласие, теперь зависит от тебя принять предложение или не принять... подумай и скажи.

Я отвечала: «Ежели вы, батюшка, изволили согласиться, то я не стану противиться, соглашаюсь и я...»

Дмитрий Александрович поцеловал руку у батюшки и у меня; батюшка нас обоих обнял, был очень растроган и заплакал; глядя на него, заплакали и мы оба, его обняли и поцеловали руку. Потом батюшка говорит, смеясь и обняв Янькова:

— Ведь экой какой упрямец, четвертый раз сватается и добился-таки своего! Ну, Елизавета, верно, было тебе написано на роду, что тебе быть за Яньковым... Поди объяви сестрам, что я тебя просватал, и позови их сюда, мы помолимся.

Я побежала к сестрам и объявила им новинку, что я невеста; все меня целовали, поздравляли, и мы пошли вместе в гостиную. Батюшка стал пред образом лицом на восход и потом взял мою руку и передал Дмитрию Александровичу.

— Вот, друг мой, — сказал он, — отдаю тебе руку моей дочери, люби ее, жалуй, береги и в обиду не давай; ее счастье от тебя теперь зависит. — А мне батюшка примолвил: — А тебе, Елизавета, скажу одно: чти, уважай и люби мужа и будь ему покорна; помни, что он глава в доме, а не ты, и во всем его слушайся.

Это называлось в наше время «ударили по рукам»; через несколько дней был назначен сговор. Моему жениху было 34 года, мне 25 лет. Начались у нас в доме хлопоты о приданом, и тут больше всего помогла нам сестра Екатерина Александровна Архарова: она имела понятие обо всем, знала всему цену и была женщина с большим вкусом.

Сговор был назначен чрез несколько дней. Так как май был уже в исходе и многие из родных разъехались по деревням, то звали самых близких из тех, которые еще не уехали, и то, однако же, было довольно.

На сговоре мая 27 были: бабушка Аграфена Федотовна Татищева с дочерьми; тетушка Марья Семеновна Корсакова, сестра Елизавета Александровна и ее сестра Архарова; дядюшка Ростислав Евграфович Татищев, кажется, с женой; матушкина двоюродная сестра, тетушка Аграфена Сергеевна Мясоедова, Прасковья Александровна Ушакова, батюшкина двоюродная тетка (дочь Прасковьи Никитишны Татищевой, бывшей в первом браке за Александром Ивановичем Теряевым), матушкина приятельница Наумова (урожденная Сафонова) и еще человек с десяток, которых теперь и не упомню. Это с моей стороны. С жениховой стороны: его сестра Анна Александровна, княгиня Анна Николаевна Долгорукова, двоюродный дядя жениха Сергей Петрович Соковнин, приятель его Щербачев; ну, конечно, брат жениха Николай Александрович, один без жены, и еще кто-то, и тоже по давности не могу вспомнить. В этот вечер был молебен и потом должен был быть обмен образов: женихов, как водилось, остается у невесты, а невестин у жениха. Меня батюшка благословил большою иконой Влахернской божьей матери; [33] ждали, что и с жениховой стороны привезут икону, и что же? Анна Александровна привезла на серебряном подносе крест с мощами. Конечно, это была святыня, но как-то странным показалось всем, что на сговор привезли крест, а не икону. Жених привез мне жемчужные браслеты, потом дарил мне часы, веера, шаль турецкую, яхонтовый перстень, осыпанный бриллиантами, и множество разных других вещей.

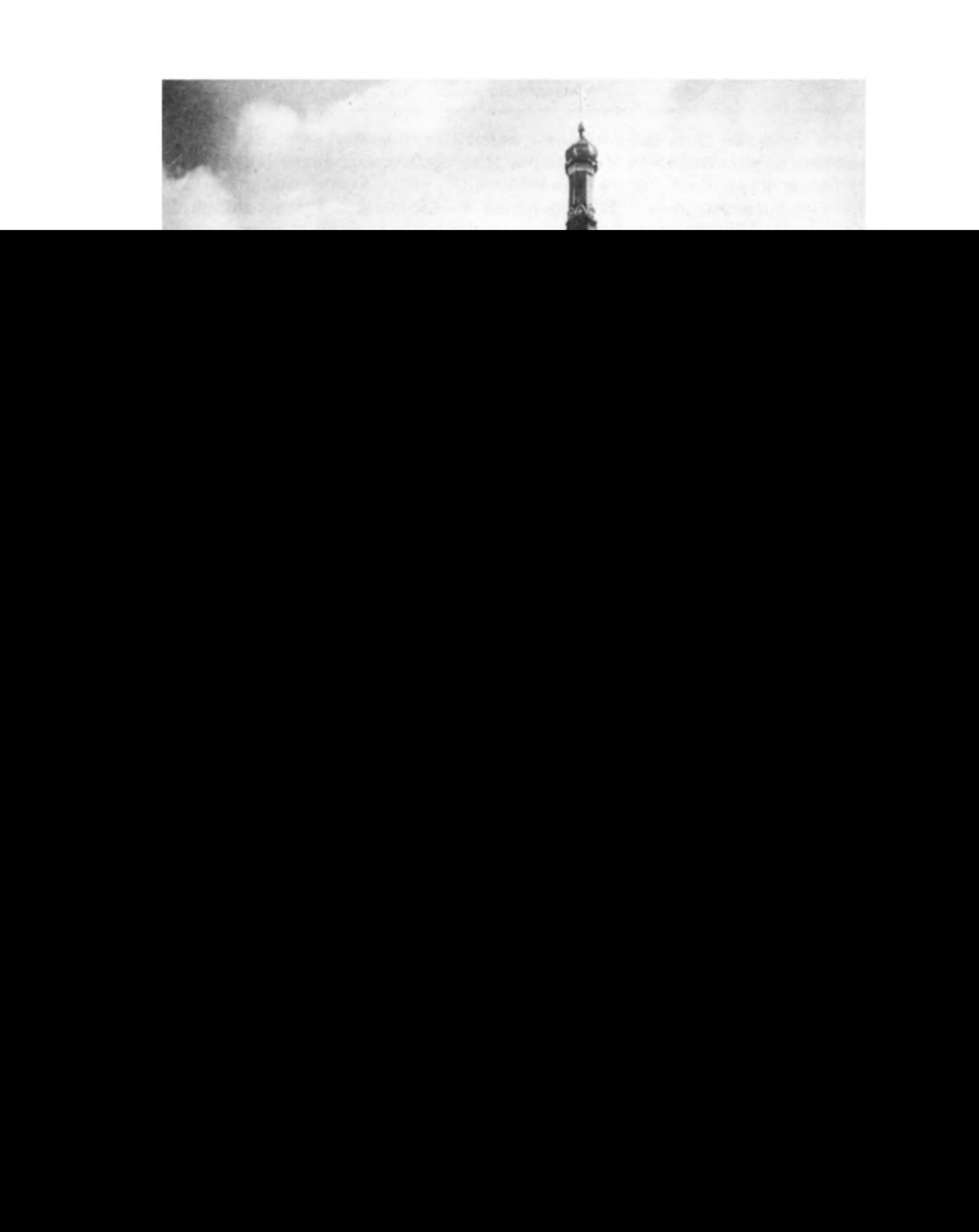
Тут же на сговоре батюшка сказал Анне Александровне: «Ну, теперь уж перестаньте меня называть братцем; дочь моя выходит за вашего брата, их, пожалуй, еще и разведут». По Татищевым батюшке приходился мой жених правнучатым братом и был мне, следовательно, дядей. По нашим понятиям о родстве думали, что нужно архиерейское разрешение: жених ездил — не умею сказать — к викарию ли, или к самому митрополиту, и когда он объяснил, в чем дело, то ему сказали, что препятствия к браку нет и разрешения не требуется.

Батюшка жаловал мне в приданое по сговорной записи: 200 душ крестьян в Новгородской губернии, в Череповском уезде, и приданого на двадцать пять тысяч рублей серебром. В том числе были бриллиантовые серьги в 1500 р.; нахт-тиш (то есть туалет) серебряный [34] в 1000 р., столовое и чайное серебро, из кармана на булавки 2500 р.

Мы жили близ Остоженки в своем доме, и венчали меня у Ильи Обыденного поутру июня 5. Подвенечное платье у меня было белое глазетовое, стоило 250 р.; волосы, конечно, напудрены и венок из красных розанов — так тогда было принято, а это уже гораздо после стали венчать в белых венках из флёрдоранж. Батюшке угодно было, чтобы свадебный обед был у него в доме. Он сказал заранее жениху:

— Что тебе, братец, тратиться на свадебные угощения, я это беру на свой счет: старших у тебя в доме нет, сестра твоя девушка, лучше у меня отобедаете, а к вечеру и отправитесь к себе в дом.

Никогда после того не пришлось мне об этом говорить с батюшкой, но думаю, что он так распорядился того ради, чтобы с первого раза не дать хозяйничать моей золовке.



На следующий день мы поехали с визитами, и мне в первый раз пришлось видеть князя Михаила Ивановича Долгорукова, родственника Яньковых и их опекуна [35] во время малолетства.

Он жил в своем доме у Воздвиженья на Пометном Вражке близ Девичьего поля. Долгоруковы были прежде очень богаты, но вследствие опал и гонения на их семейство многие из них при Анне и Бироне лишились почти всего; потом, хотя им и возвратили имение, они никогда не могли совершенно оправиться, но помня, как живали их отцы и деды, тянулись за ними и все более и более запутывались в своих делах. Этот дом у Девичьего поля был прежде загородным, а московский дом был где-то на Мясницкой, на Покровке, на Тверской, и был продан в 1784 году * — не знаю наверно. Когда средства поубавились, то загородный дом стал городским. Может быть, если бы средства князя Михаила Ивановича были позначительнее, он и не стал бы жить в Москве, а постарался бы в Петербурге быть поближе к солнышку, да по пословице: бодливой корове Бог рог не дает — не имел возможности. В Петербурге жили его родные: Шереметевы, Строгановы, Черкасские, Скавронские, все пребогатые, ему ли с его средствицами было за ними тянуться? Вот и рассудил он, что лучше жить в Москве, да и тут подальше, чтобы было поменьше приемов. Его мать, многострадальная и добродетельная старица Нектария, после тяжелых своих испытаний пришла, говорят, в великое смирение и, живя в Киеве в монастыре, на самом деле отреклась от всякой мирской суеты, а сын ее, напротив того, был самым суетным, мелочным и тщеславным человеком. Он был очень недальнего ума и потому пренадменный и прелегковерный. Он едва не попал в большую беду и чуть-чуть с собою не втянул в эту беду совершенно невинно мать моего мужа и все ее семейство.

Вот какую затеяли было интригу, пожалуй, назови это даже заговором: хотели возвести на престол Ивана Антоновича при содействии князя Михаила Ивановича и обещали ему, что если он в этом поможет, то молодой император женится на его старшей дочери, княгине Прасковье Михайловне. Долгорукий верил возможности привести это в исполнение и принял участие в этой интриге, которая, к счастию, окончилась ничем. Свидание между Долгоруким и Иваном Антоновичем, который явился к нему под видом монаха с Афонской горы, было в Киеве, когда князь туда ездил со своим семейством, в 1770 году; [37] вместе с ними ездила и Анна Ивановна Янькова. Долгорукий так был легковерен, что уговорил Янькову выстроить у себя в Веневской деревне, в селе Петрове, дом, где будет жить Иван Антонович и дожидаться, чтоб его провозгласили императором.

Дом Долгоруких был преогромный деревянный: большая зала, большая гостиная, за нею еще другая, тут на подмостках, покрытых ковром, на золоченом кресле сиживал у окна князь Михаил Иванович. В глупой своей гордости он считал, что делает великую честь, когда сойдет со своих подмостей и встретит на половине комнаты или проводит до двери: далее он никогда не ходил ни для кого.

---

* См. «Капище моего сердца».[36]

Когда мы приехали, он спустился со своих лесов и встретил нас, как молодых, чуть ли не у двери. Ему было на вид лет 60 или более; небольшого роста, очень дородный и тучный человек, в зеленом бархатном кафтане, очень поношенном, кружевное жабо и манжеты, тоже очень истрепанные, напудренный, завитой в три локона, с пучком и с кошельком.[38] Лицом он был бы недурен, но напыщенный и надменный вид его производил самое неприятное чувство. По своему понятию он принял нас милостиво, но мне очень не полюбилась его покровительственная и снисходительная приветливость. Княгиня Анна Николаевна была просто ласкова, безо всяких штук, княжны внимательны, а от князя так и разило его чуфарством.

Мне недолго пришлось посещать князя: с небольшим чрез год после моего замужества он умер, и тогда я могла бывать у доброй княгини без неприятного чувства: к ней я могла ехать в гости, а к нему приходилось ехать на поклон.

Одна из княжон вышла потом замуж за графа Ефимовского, а другая за Селецкого.

У князя был еще младший брат, князь Дмитрий Иванович, прекрасный собой, но больной и слабый головой, то есть немного скудоумен. Ему хотелось вступить в монашество, но императрица Екатерина II воспрепятствовала, и он был пострижен в ряску и жил очень благочестиво. За несколько времени до кончины он совершенно пришел в себя: ум его сделался совершенно здравым, слабое здоровье укрепилось, он предузнал свою кончину, которая последовала (кажется) во время чумы, бывшей в Киеве.[39]

Анна Александровна Янькова, с детства привыкшая к обхождению Долгорукова, не чувствовала его надменности и, по привычке, очень пред ним благоговела и, как батюшка говаривал, подличала пред ним и очень удивлялась, что я не расположилась к этому очень непривлекательному старику. Кроме того, я была с ним настороже потому, что батюшка меня предупредил: «Будь ты с ним осторожнее; он, говорят, старый греховодник, великий охотник до хорошеньких и молоденьких женщин».

Весь дом Долгоруких поражал неприятно: во всем заметна была напыщенность, желание бросить пыль в глаза и показать свою вельможественность, а средства-то были очень плоховаты, и потому в передней лакеи были в гербовых презатасканных ливреях; в гостиной золоченая мебель была местами без позолоты, штофная обивка с заплатами, хрустальные люстры и жирандоли без многих хрусталей, ковры протерты, потолки закоптелые, старинные портреты в полинялых рамах, и так во всем сквозь гордость просвечивала скудость; я редко уезжала из этого полуразрушенного дома без очень тяжелого чувства.

Мы были, между прочим, с визитом и у Сергея Петровича Соковнина: милый, приветливый и обходительный человек. Дом не роскошный, но видно, что во всем достаток, везде чисто, хорошо и просто, но парадно и потому нарядно.

Как только прошло с неделю времени после нашей свадьбы и мы окончили все наши свадебные визиты, мы собрались отправиться в деревню; батюшка с сестрами вскоре уехал в Покровское, а мы поехали в нашу подмосковную, в село Горки.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Подмосковная Яньковых, село Горки, была у них всегда самым любимым имением, и, хотя они имели, кроме того, много очень хороших усадеб: Петрово, Орехово, Теплое, Мыза под Петербургом, они предпочитали всем прочим Горки. Может быть, потому, что оно только в 40 верстах от Москвы, да и, кроме того, очень хороша местность и сад раскинут по горам. Покойная моя свекровь сюда часто приглашала к себе Долгоруких и Строгановых, когда они живали в Москве, и они гащивали по нескольку ден. Потом село Новое Ивана Федоровича Татищева было в 25 верстах, а Марфино, где живали Салтыковы, — Петр Семенович с семейством, — было в 20 верстах. Слышала я, что при царе Михаиле Федоровиче Горки были пожалованы какому-то Измайлову, потом, не знаю каким манером, перешли к Аргамаковым и от них за долг поступили Даниле Ивановичу Янькову. При разделе Горки достались моему мужу, брату его — Петрово, в Веневском уезде, а Теплое (тоже там) — моей золовке.

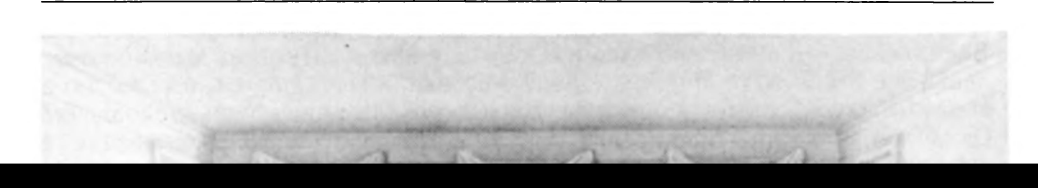
Время стояло в ту пору очень знойное, и потому мы поехали не рано, а когда стал жар посваливать, и хотя ехали скоро, по дороге очень хорошей, но стали подъезжать к селу, когда уж очень обвечерело и становилось довольно темно, как бывает в 10-м часу в конце июня. Последние двенадцать верст дороги — все лесами, и это меня немало тревожило, потому что я слыхала, что там водились тогда медведи, и на моей памяти, несколько лет спустя, убили там медведя, должно быть, последнего старожила. За мостом, где начинается сад, влево, был тогда большой и густой лес; нижний сад тоже был как настоящий лес. Меня просто брал ужас: куда это мы едем? Точно вертеп разбойников.

Наконец, слава Богу, въехали на прекрутую гору, проехали мимо церкви и остановились у крыльца; [1] у меня отлегло на сердце. Моя золовка встретила нас с хлебом-солью.

Дом был совершенно новый, только что отстроенный и ничем еще внутри не отделанный.

На следующее утро, когда я вышла на балкон, который в сад, я увидела очень хороший вид: направо и налево за палисадником рощи, перед домом за рекой густой лес и только маленький просек напротив дома, узенький, как щелка. . .

— Ну, как тебе нравится вид? — спрашивал меня муж, — не правда ли, что очень хорош?



за полторы версты наши соседи Титовы, Василий Васильевич и Анна Васильевна, его жена, урожденная Матюшкина; тут я с ними и познакомилась. Это были люди добрые, хорошие соседи, и с тех пор мы были с ними в самых дружеских отношениях. Василий Васильевич умер задолго до своей жены, а Анна Васильевна умерла в 1825 году, в феврале месяце; и в течение нашей с лишком тридцатилетней дружбы у нас не было никогда ни малейшей размолвки. Дочь ее, Надежда Васильевна Балк, тоже до своей смерти в 1852 году была постоянным и искренним другом всего нашего семейства.

После обедни Титовы пришли к нам и у нас обедали; кроме их, гостей никого еще не было, потому что мы не успели еще никого из соседей объехать. Пред обедом, как исстари водилось, пред парадным крыльцом собрались все крестьяне из наших деревень. Тут меня вывел мой муж им показать, и, как они просили, я жаловала их к своей руке; потом всех мужиков угощали пивом, вином, пирогами, а бабам раздавали серьги и перстни и из окна бросали детям пряники и орехи. Так праздновались прежде во всех селах храмовые главные праздники.[3]

После Казанской муж повез меня знакомить с соседями. Поблизости мы посетили Титовых (живших за полторы версты от нас, в сельце Сокольниках, и так любезно приехавших к нам на праздник, не дожидаясь нашего приезда). Василий Васильевич был человек очень пожилых лет, — ему было, я думаю, лет под 70; по своим летам и по старой привычке в прежнее время ни с кем не церемониться, он с первого разу, кто бы ни был, мужчина или женщина, всем говорил «ты», и это так у него было складно, что не только не выходило обидно, но, казалось, что иначе и быть не могло. Он не пудрился, а был стрижен в кружок, носил предлинный сюртук и высокие сапоги с кисточками, поверх платья. Он был женат два раза, и обе его жены носили то же имя: первая его жена — Анна Васильевна была урожденная Головцына, сперва была за Нащокиным Василием Александровичем, и, когда он умер в 1760-х годах, несколько лет спустя она вышла за Титова; детей у них не было. Вторая жена Василия Васильевича — Анна Васильевна (тоже) была Матюшкина (дочь Василия Кирилловича, женатого на Плоховой); у нее была сестра за Филимоновым. Анна Васильевна Титова была премилая и предобрая, очень умная женщина лет 55 и совершенно простосердечная, весьма благочестивая, набожная и правдивая. В то время у них было три дочери и сын. Сына не было дома, он уже служил в Петербурге, а дочери воспитывались дома: старшая, Клеопатра Васильевна, была лет 14, потом она была замужем за Никифоровым, а потом за Вышеславцевым; вторая, Надежда Васильевна, лет 11; она была за Павлом Михайловичем Балк,* и Вера Васильевна лет 3-х или 4-х; потом вышла за Ростислава Васильевича Загоскина, пензенского помещика. Мы очень скоро сдружились с Титовыми, и не проходило недели, чтоб они у нас не побывали или мы у них. Впоследствии, когда наши дочери подросли и нам случалось с мужем уезжать в Москву на несколько дней, то я и отвезу,

* Павел Михайлович Балк был долгое время председателем московской уголовной палаты.

бывало, своих девочек в Сокольники; они там и гостят, пока мы не возвратимся. Когда сестра моя Анна Петровна стала гащивать у нас, она очень сошлась со второю Титовой, Надеждой Васильевной, и мы их все называли les deux amies.* Старшая Клеопатра была большого роста и лицом прекрасная из себя.

Не помню теперь, в каком порядке мы ездили по соседям, да это и все равно — когда и с кем мы познакомились; буду говорить по местности, где и кто жил в первое время моего замужества.

В четырех верстах от нас в сельце Шихове жил тогда старик Бахметев Петр Алексеевич: человек старого закала, предерзкий и пренеобтесанный. Я у него только раз или два всего и была; муж мой изредка у него бывал, но меня не принуждал ездить, потому что я была молода, а старик был очень нескромен в обхождении, да и в разговоре тоже слишком свободен; словом сказать, был старый любезник. Он был женат на княжне Львовой Марье Семеновне;[4] у них был только один сын, Владимир Петрович. Не знаю, сколько лет жили они вместе, только Марья Семеновна не могла больше вынести жизни с таким мужем и его оставила и потом вышла, с согласия мужа, за другого, не помню наверно за кого, а кажется, если не ошибаюсь, за Якова Андреевича Дашкова.

У него в деревне был по ночам бабий караул: поочередно каждую ночь наряжали двух баб караулить село и барские хоромы; одна баба ходила с трещоткой около дома и стучала в доску, а другая должна была ночевать в доме и дежурить изнутри. Хорош был старик, нечего сказать! Мудрено ли, что после этого от него жена бежала...

Как я вышла замуж, он жил уже один. Он приехал однажды к нам; я не вышла, сказалась нездоровою.

— А где же барыня-то? — спросил он.

— Нездорова, не выходит, — отвечал мой муж.

— Ну, так я сам к ней пойду.

— Нет, Петр Алексеевич, не трудитесь, нельзя, она в постели...

— Экой ты, братец, чудак какой, чтобы старика не пустить.

И больше он у нас и не бывал.

Когда умер этот греховодник, я не припомню, а также и где: в деревне или в Москве; может быть, не во время ли нашего отсутствия, когда мы жили в тамбовском имении. Гораздо спустя в Шихове жил сын этого старика, Владимир Петрович. Он был два раза женат: первая его жена была прекрасная собой, Марья Владимировна Бутурлина, не графиня; у нее было еще несколько сестер: одна за Нероновым, другая за Колокольцевым, третья за Потуловым; были ли еще сестры или братья, не знаю. От этой первой жены у Бахметева было две дочери: одна за Кашинцевым, Авдотья Владимировна, вторая за Колотовским; они были почти одних лет с моими двумя старшими дочерьми. После матери они остались девочками и воспитывались под руководством мачехи, второй жены их отца, которая была для них истинною матерью. Ее звали Дарья Александровна, урожденная Нащокина: собою не была очень хороша, но преумная, прелюбезная и

---

* неразлучные подруги (*франц.*). — *Ред.*

премилая. Характера была живого и веселого, и предобрая: умела быть умна, смеялась, шутила, но никогда ни про кого не говорила дурно и всем желала добра, потому что не была завистлива. Я душевно ее любила и была с нею искренно дружна, всегда ее вспоминаю с приятностью и жалею, что она недолго жила на свете. У нее был сын Петруша, который теперь женат на Ховриной, и дочь Лизанька; была потом выдана за Повалишина и тоже, кажется, умерла молода.

Владимир Петрович жил долгое время вдовцом, был в Москве уездным предводителем довольно долго. Под старость сделался, говорят, скупцом, жил в деревне один, в большом неопрятстве: с собаками, с кошками, с обезьянами, с птицами, выжил из памяти и тоже во многом стал походить на своего отца; но в этом положении меня Бог не привел его видеть, и слава Богу! Версты четыре за Шиховом, в сельце Песках, я застала Волковых: мужа звали Степан Степанович, жену Екатерина Петровна; они езжали к батюшке. И муж, и жена предобрые, преласковые и гостеприимные хлебосолы, каких я и не видывала. Первое их удовольствие было кормить своих гостей, да ведь как: чуть не насильно заставляли есть. Степан Степанович любил и сам кушать, умел и заказать обед, и охотник был говорить про кушанье: какой пирог хорошо сделан, с какою начинкой, с какою подливкой соус лучше или хуже, а уж главное дело — потчеванье гостей. Он, бывало, и не садится за стол, а ежели сел, то поминутно вскакивает и кричит дворецкому: «Постой, постой, куда ты ушел; видишь, не берут или мало взяли, кланяйся, проси», и тотчас сам подбежит и станет упрашивать: «Матушка, Елизавета Петровна, покушайте, пожалуйста, положите еще, ну хоть немножко, вот этот кусочек». Не возьмешь — кровная обида. Или приступит к жене: «Катерина Петровна, ты совсем не смотришь за гостями, никто не кушает, посмотри сама. . .» — и ну опять потчевать. Стол у них был прекрасный, блюд премножество, и все блюда сытные, да бери помногу, ну, просто, бывало, беда: ешь, ешь, того и гляди, что захвораешь. Отказаться от обеда, когда зовут, это — огорчить его до крайности. Один раз, не помню, в Москве или деревне, он звал нас, а мы почему-то не поехали и не послали известить, что не будем. Боже мой, как обиделся! Месяц к нам не ездил: приедем, сидит у себя, не выходит. Делать нечего, послали сказать, что тогда-то приедем обедать: встретил — рад-радехонек; целует руки, не знает как и принять. «Матушка, голубушка, уж вот хорошо, вот хорошо, забыли вы нас, разлюбили. . .» И стал выговаривать, что не приехали обедать. Добрый был человек, хороший и умный человек, одним несносен — запотчевает. Иногда вдруг пришлет ни с того ни с сего пирог или какое-нибудь пирожное. В Москве у них бывали часто обеды, и нас всегда уж пригласит за несколько дней, а поутру, в день обеда, пришлет просить столового серебра, видно, у них было мало, и опять напомнит нам, что нас ждут. Он умер первый: жена его жила еще после него несколько лет. Она была тоже предобрейшая, но с большими странностями и была очень мнительна насчет здоровья. Приедешь к ней в деревне, — это когда она была уже вдовой, — на дворе жара, а у нее в комнатах во всех окнах вставлены сетки из кисеи и пречастой, так что воздух не проходит: боялась мух и комаров. Сама лежит в спальной в постели, окна закрыты ставнями,

голова обвязана платком, намоченным уксусом с водой, или привязан капустный листок; на столе скляночки с разными каплями и примочками.

— Катерина Петровна, что с вами? — спросишь ее.

— Ах, милюся (она была картава), умираю, совсем умираю, голова болит.

И точно: голос слабый, еле говорит; кто ее не знал, мог бы подумать, что она и взаправду больнехонька.

Посидишь с нею, поговоришь, она забудет свою болезнь и начинает снимать все свои компрессы: и с головы, и с рук; пройдет еще несколько времени, велит открыть ставни... «Вот, милюся, ты приехала, мне ведь стало лучше». Потом, глядишь, позовет девушку: «Дай одеться». И немного погодя выйдет в гостиную, а там на балкон и пойдет гулять...

У нее была дочь, которую она любила и лишилась ее лет 15-ти. Кроме того, еще детей не было, и из любви к дочери она ее нянюшку всюду с собой возила... Она была большая трусиха в дороге: едет в большой четырехместной карете и то и дело что кричит: «Стой, стой, пустите, пустите... я выйду... гора... ай, ай, ай — косогор... стой, стой, мост. Я боюсь... пустите...»

Человек подойдет и станет ее уговаривать:

— Помилуйте, сударыня, никакой горы нет, — ровное место, не извольте беспокоиться...

— Ну, хорошо, ступайте... Так ты говоришь, нет опасности?

— Никакой, сударыня, будьте покойны.

Но только что тронутся с места, опять кричит: «Стой, стой», и опять та же история.

Нянюшка, которая знала ее трусливость, как видит, что гора или мост, и заведет о чем-нибудь речь; Екатерина Петровна заговорится и не заметит, что едут в гору или под гору.

Вот еще ей бывала беда, когда гроза: закроют ставни, завесят окны, зажгут свечи; сама она уляжется в постель, закроется одеялами, а няня стой и молись. Станет ей душно, вот она и начнет открывать одеяло и спрашивать: «Ну, что, няня, тише?» — «Тише, матушка, гораздо тише».

Вдруг раздается удар грома...

— «Ай, ай, ай... Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф... Ай, ай, ай, осанна в вышних».[5] И опять забьется под одеяло и лежит ни жива ни мертва.

Измучается, пока гроза не пройдет, а там начнутся всякие болезни: то голова болит, то ей дурно делается или с ней жар... И мудрено ли: лежит под пятью одеялами, как тут не задохнуться и не разболеться голове? Но добрая была и хорошая женщина.

В Ярцове жил долгое время батюшкин двоюродный брат Андрей Васильевич Римский-Корсаков, деверь тетушки Марьи Семеновны и брат тетушки Анны Васильевны Кретовой. Добрый старичок, который принял нас по-родственному, и мы у него бывали столько же раз, сколько бывал и он у нас. Потом он все больше сидел дома и с трудом мог выезжать.

В Храброве, это версты три за Ярцовом, издавна владели Оболенские, и в то время там жил старик князь Николай Петрович. Мы ехали в Гарушки

к Петру Михайловичу Власову и заехали к Оболенскому. Человек лет преклонных, характера непокойного и раздражительного: он был некоторое время с моим мужем в ссоре; вот из-за чего вышла у них неприятность. Земля иевлевских наших крестьян граничит с его храбровскою землей, и случилось как-то, что несколько крестьянских скотин зашло на его землю. Князь велел их схватить и загнать в Храброво и потребовать выкупа. Крестьяне просили отпустить, так князь не согласился; делать было нечего, бедные мужики заплатили, и что-то немало. Через несколько дней все княжеское стадо зашло на иевлевскую землю, тогда и крестьяне стадо загнали к себе и послали требовать от князя выкупа. Вот и пошла беда: князь рвет и мечет, выкупа не дает и требует, чтоб его стадо возвратили; крестьяне не отпускают. Оболенский пишет предерзкое письмо к Дмитрию Александровичу и требует, чтоб он приказал своим мужикам отпустить его скотину. Дмитрий Александрович отвечал, что это не его дело и что ежели князь брал выкуп с крестьян, то нет причины, чтоб и крестьяне не поступили с ним точно так же; вышла предлинная история, и несколько лет мой муж с ним и не видался.

Не могу назвать князя человеком надменным или заносчивым, а скажу, что он просто был грубый человек, хотевший казаться гордым, да как-то это у него выходило смешно и нескладно, и пока он княжил в Храброве, муж мой очень изредка у него бывал, а я и вовсе не бывала.

Когда мы приехали в Гарушки, нашли самый радушный прием от почтенного и милого старика Власова Петра Михайловича.

— Спасибо вам, матушка моя, Елизавета Петровна, что вы посетили старика, премного меня утешили. Я вместе с батюшкой вашим служил, он мне хороший всегда был приятель, назову даже другом, душевно люблю и уважаю его, и для меня было бы прискорбно, ежели бы дочь хорошего моего друга меня, старика, не навестила. Пожалуйста, сударыня, и вперед меня не забывайте.

Он очень нас обласкал, мы у него обедали и возвратились к себе поздно вечером. После того мы у него бывали каждое лето два или три раза и всегда находили прием самый радушный: видно, что и старику было приятно наше посещение, и своим ласковым приемом он делал и нам удовольствие. Много значит приветливость в общежитии; как она всегда располагает сердце и к себе привлекает!

Впоследствии Гарушки купил Обольянинов Петр Хрисанфович, но это было много лет спустя; в свое время расскажу и о нем.

В Селявине тогда жили Фаминцыны: Аграфена Андреевна, Елизавета Андреевна и Анна Андреевна, вышедшая за графа Татищева; у них был брат Сергей Андреевич, служивший в Петербурге. Настоящая фамилия их не Фаминцыны, а Фамендины. Их дед или прадед, наверно не знаю, был лифляндский немец, дворянин, взятый в плен и обрусевший, и потому и фамилию свою переложил он на русский лад. Это были очень милые и добрые соседки, большие рукодельницы и хорошие хозяйки, которые умели и полечивать: составляли разные мази, примочки и пластыри и гнали из разных трав воды. К ним из околотка приходило много больных, и они им очень помогали простыми средствами. Помню, что они гнали воду из ва-

сильков — средство от воспаления глаз; воду из ландышей — от падучей болезни; воду из тмина — от завалов в желудке, и много других средств, которых я и не припомню. Кто была их мать, не могу теперь припомнить, а ведь слыхала не раз, и фамилия-то очень знакомая.

Их именьице было неподалеку от села Ольгова, принадлежавшего Апраксину Степану Степановичу, который в то время служил в Петербурге и, кажется, не был еще женат и жил у сестры своей Марьи Степановны Талызиной.[6] Она была вдовою, и гораздо старше брата, лет на 20 или немного менее. Отец их Степан Федорович был фельдмаршалом при императрице Елизавете Петровне и был батюшкиным начальником.

Старшая сестра, Елена Степановна, была за князем Куракиным и умерла очень молодою, в самый год моего рождения. Старший сын ее, князь Александр Борисович, был послан в Париж при первом Наполеоне и имел несчастие быть на том ужасном бале, во время которого сделался пожар, и Куракина нашли на другой день под обгоревшими досками. Он еле остался жив, но, изуродованный и больной, жил еще после этого несчастного случая лет семь или восемь. Этот несчастный праздник у австрийского посла по случаю второго брака Наполеона с дочерью австрийского императора [7] наделал в свое время много шуму, и про пожар тогда говорили, как про дурное предвестие для Наполеона.

Мы ездили с мужем в Ольгово к Марье Степановне Талызиной, когда она туда приехала, в 1794 или в 1795 году. Она знала и помнила батюшку, когда он служил при ее отце, и меня очень обласкала.

Батюшка рассказывал про нее, что она была в молодости пребойкая и пребедовая: «Приедешь, бывало, к фельдмаршалу, она и подстережет. — Корсаков, поедем кататься. Говоришь ей: — Что это, Марья Степановна, как можно: батюшка узнает, будет гневаться. — Не узнает, а узнает — беды не будет. Я беру на себя. — Да, вам-то и сойдет, а мне беда. — Да ведь говорят, что нет. — Иногда отделаешься от нее; а то и схватит, ежели вечером, и изволь ее катать». Кажется, она имела виды на батюшку, и едва ли не было и страстишки; не знаю, отчего она вышла за Талызина.

Ольгово тогда было еще совсем не то, чем сделалось впоследствии, когда там стали жить сами Апраксины. Дом тогда был маленький, как есть только средина, а бока, галереи и флигеля — все это пристроено после.[8]

С Апраксиными мы познакомились несколько лет спустя.

Еще неподалеку и от нас и от Ольгова, в сельце Колошине, жила наша родственница Марфа Ивановна Станкевич.

Она была сама по себе Нащокина, дочь Ивана Александровича, и была замужем за Епафродитом Ивановичем Станкевичем, который был сын Прасковьи Никитичны Татищевой, родной тетки батюшкиной матери, следовательно, приходился батюшке двоюродным дядею, и поэтому я всегда называла Марфу Ивановну бабушкою.

Станкевичи польского происхождения, то есть их предки и их гнездо в Смоленской губернии; там их премножество. У Епафродита Ивановича

было несколько братьев, и у всех пренеобыкновенные имена: Филагрий,[9] Аполлос, а других я и не упомню. У Марфы Ивановны было тоже много детей, но я знаю только Александра Епафродитовича: одна из его сестер, Александра, была за Карабановым, а Федосья, которая всегда и жила с матерью, вышла потом за Николая Александровича Алалыкина. Она воспитывалась в Смольном монастыре и застала там нескольких монахинь, которые там доживали свой век после того, как монастырь был переименован в институт.[10]

Марфа Ивановна очень была к нам расположена, и мы часто видались то у нас, то у Титовой Анны Васильевны, у Обольяниновых и у Бахметевых; все мы жили очень дружно. Бабушка скончалась в 1823 году. Были еще соседи не очень близкие — Головин, в Деденеве, Павел Васильевич, и Сорокин или Шокарев, порядком не помню, в Шукалове. К ним езжал только Дмитрий Александрович, и они по разу в лето бывали у нас. Шокарев, как сейчас вижу, в кафтане брусничного цвета, напудренный и с пучком; так он и дожил свой век, не переменив моды.

Мы ездили еще вскоре по приезде в деревню к родной тетке моего мужа, к Марье Ивановне Мамоновой, в село Новое. Это в двадцати пяти верстах от нас. Тетушка была очень слаба и больна — у нее была водяная. На вид ей могло быть лет около шестидесяти, и, я думаю, столько ей и было: свекровь моя, Анна Ивановна, родилась 1 января 1731 года, а Марья Ивановна была несколько моложе. В свое время она была очень хороша собою, о чем можно судить и по ее портрету, писанному в 1758 году одним очень хорошим в то время мастером.* Анна Ивановна была смугла лицом и только румянилась, потому что без этого нельзя было обойтись в то время, но не белилась; а Марья Ивановна была лицом бела и, однако, румянилась и белилась. Тогда белиться не считалось предосудительным, но и не требовалось как необходимость, а румяниться должны были все. Помню, что однажды я приехала в собрание, прошла прямо в туалетную и остановилась пред зеркалом поправить свои волосы. Предо мной стоит одна Грязнова и румянит свои щеки. Один барин, стоявший сзади нас, и подходит к ней и говорит: «Позвольте, сударыня, вам заметить, что левая щека у вас больше нарумянена». Она поблагодарила и подрумянила и правую щеку. Теперь румянятся потихоньку, а тогда это составляло необходимое условие, чтоб явиться в люди.

---

* Людерс. Сохранилось три портрета[11] у нас в семействе: 1) Александра Даниловича Янькова, 2) Анны Ивановны, его жены, писанные в 1757 году, и 3) Марьи Ивановны Мамоновой, 1758 года. Все три портрета поясные, кисть прекрасная, отделка тщательная, и пошиб напоминает портреты известного Лампи;[12] величина фигур в настоящую величину. Александр Данилович изображен в синем бархатном кафтане и белом атласном камзоле с золотым шитьем; причесан á l'aile pigeon ⟨голубиные крылышки (*франц.*). — *Ред.*⟩; на плеча накинута вполовину красная мантия. Анна Ивановна в платье цвета couleur saumon ⟨лосося (*франц.*) — *Ред.*⟩; шея и плечи открыты, бриллиантовые серьги в три подвески, большой букет из фарфоровых цветов на корсаже, с плеч полуспускается синяя мантилья; волосы слегка напудрены — en frimas ⟨словно в инее (*франц.*). — *Ред.*⟩; Марья Ивановна в платье белом пудесуа с красными бантами, видно, что набелена и ярко нарумянена; букет на корсаже, цветок на голове, напудрена a la neige ⟨до снежной белизны (*франц.*). — *Ред.*⟩; мантии нет. Все три портрета без изображения рук.

При жизни тетушки мне еще не привелось побывать в Новом; она вскоре скончалась и была там погребена.

Марья Ивановна выходила замуж в Петербурге из дома родственников своих Скавронских в 1764 году; помолвка ее была в феврале, а когда была свадьба, не помню; в августе 1765 года у нее родилась дочь Софья в Петербурге.*

В сельце Ботове жила в то время Авдотья Ивановна Сабурова, урожденная княжна Оболенская, двоюродная сестра того, которому принадлежало Храброво. Она была вдовою, мужа ее звали Иван Федорович. Дом в Ботове был очень хорош и отделан весьма богато; но в особенности хорош был сад регулярный, стриженный, как была тогда мода, все разным манером: были деревья, подстриженные пирамидами, зонтиком, некоторые — их было немного, кажется, где-то по углам — были выстрижены наподобие медведей. Все это в то время очень нравилось, и хозяйка любила водить гостей любоваться этими причудами. Авдотья Ивановна была очень богата, имела прекрасное столовое белье — голландское и, опасаясь, чтоб его не испортили, два раза в год посылала его стирать в Голландию. Можно себе представить, чего это тогда стоило.

Сабурова была очень обходительная и приветливая женщина лет пятидесяти, и, пока она живала в Ботове, мы друг ко другу езжали по нескольку раз в лето, и она не раз бывала у нас в Казанскую. Она умерла преклонных лет, полагаю, около 1820-х годов. У нее было два сына и дочь Надежда Ивановна; была ли она замужем или нет, что-то не припомню.

Еще где-то, верстах в восьми или в десяти от нас, жил старичок Поздеев. В прежнее время он служил в малолетнем Шляхетском корпусе в Петербурге;[13] был там или учителем, или инспектором, а мой муж был при нем в корпусе. Поздеев потом жил в своем имении и, кажется, безвыездно и чуть ли не против желания: он был масон, попавшийся в историю, которая была в конце 1780-х годов.[14] Был он человек очень умный, ученый, но большой нелюдим и с большими странностями. Как звали его — не припомню; он был женат и имел детей. Муж мой у него бывал, и Поздеев всегда был ему очень рад и любил поговорить про жизнь в корпусе. Когда он умер, после него, говорят, осталось в его деревне множество масонских картин, книг разных и всяких вещей, которые масоны употребляли на своих собраниях.[15]

---

* Кроме того, у Мамоновых был сын Петр Николаевич (женат был на Кобылиной, дочери Василия Федоровича, за которым была последняя княжна Солнцева-Засекина Авдотья Ивановна) и две дочери: Анна Николаевна за Неклюдовым Сергеем Васильевичем, который был губернатором в Тамбове и во Владимире, и Прасковья Николаевна за Кречетниковым. У Петра Николаевича Мамонова был сын Иван Петрович (умер бездетным и женат не был) и три дочери: 1) Анастасия Петровна за Андреем Васильевичем Дашковым; 2) Марья Петровна за Алексеем Гавриловичем Сазоновым; 3) Елизавета Петровна за Степаном Ивановичем Шиловским. У Дашковой два сына: старший умер; второй, Василий Андреевич, почетный опекун, женат на Горчаковой, и дочь Софья Андреевна за князем Григорием Григорьевичем Гагариным. У Сазоновой дети: 1) Петр, 2) Гавриил и три дочери: Екатерина за Левашовым, Прасковья за Прибытковым и Елизавета, не помню за кем. У Шиловских дети: 1) Иван, 2) Степан и 3) Петр и дочь Анна за Воейковым. Дети Кречетниковой: Михаил Иванович, умер неженатым; дочь Степанида Ивановна за Александром Гавриловичем Жеребцовым; детей не было.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда я была невестою, большой каменный дом, что у Успенья в Газетном переулке, был еще за Яньковыми, но кому-то уже запродан, и я в этом доме была всего только один раз: ездила с визитом к жениховой сестре; а после свадьбы мы переехали с мужем в другой дом, который у него был у Неопалимой Купины, в переулке. К нам переехала и золовка моя, Анна Александровна. Дом был деревянный, очень большой, поместительный, с садом, огородом и огромным пустырем, где весною, пока мы не уедем в деревню, паслись наши две или три коровы.

Летом батюшка пожаловал к нам в деревню со всеми четырьмя сестрами и прогостил у нас сколько-то дней, потом поехал опять в Боброво, а на зиму приехал в Москву, и мы также.

Все, что батюшка говорил мне про мою золовку, оказалось вполне справедливым: она была пресамонравная и хотела командовать Дмитрием Александровичем, стараясь вооружить его против меня. Много тут вытерпела я от нее неприятностей: я была молода, вспыльчива, и она тоже не очень терпеливого десятка, а муж очень добр и сдержан. Он жалел меня и любил, а немного прибаивался и старшей сестры своей, а потому при наших размолвках всегда бывал как между двух огней. Со своим братом он разделился, а с сестрой у него раздела еще не было, и потому волей-неволей приходилось терпеть от нашего несогласия. Наконец я настояла, чтоб он отделил свою сестру, и она переехала в свой дом поблизости от нас, но и тут немало причиняла мне скорби. . .

В мае месяце, 20 числа, у нас родилась дочь; это было утром, в двенадцатом часу, и Дмитрий Александрович тотчас отправился к батюшке с радостною вестью и спрашивает его: «Как прикажете назвать новорожденную?»

Батюшка обнял его, поздравил и говорит: «Какое дать имя новорожденной — в вашей воле; но ежели ты меня спрашиваешь, то мне всего приятнее, если назовете мою внуку именем покойного моего друга — Аграфеною».

Так мы и сделали. Батюшка пожаловал мне на зубок 100 рублей.

Крестным отцом был батюшка, а крестною матерью бабушка Аграфена Федотовна Татищева.

Матушку назвали Аграфеною в честь ее бабушки, княгини Аграфены Федоровны Щербатовой, урожденной Салтыковой; и Аграфена Федотовна

тоже была названа в честь своей бабушки: отец ее, Федот Михайлович Каменский, был сын Михаила Сергеевича, женатого на Аграфене Юлиановне Челищевой. Дочь Аграфены Федотовны Елизавета Евграфовна, вышедшая за Ивана Филипповича Новосильцева, свою дочь тоже назвала Аграфеною.

В 1795 году скончалась старшая моя сестра и моя крестная мать Екатерина Петровна в декабре месяце в селе Покровском, где тогда батюшка находился со всеми моими сестрами. Там ее и схоронили. Это было для меня большое горе, потому что я ее очень любила, а для батюшки это была очень тяжелая потеря: сестра Екатерина Петровна после кончины матушки, как старшая из всех нас, всем распоряжалась по хозяйству, а когда батюшка отлучался куда-нибудь, то она, по его указанию, заведовала и делами. Она была при своей кончине невступно 40 лет. От природы очень умная, добрая и благочестивая девушка, но собою очень некрасива; и так как она не имела намерения идти замуж, то батюшка на нее и рассчитывал как на верную блюстительницу и меньших сестер, и всего домашнего обихода и об ней очень горевал.

В этом же году родился у нас сын, которого мы назвали Петром в честь батюшки, а в 1796 г. родилась дочь Анна, и крестили ее мой деверь Яньков и моя золовка Анна Александровна; батюшка был в деревне. Дня за два до ее рождения мы были дома поутру, вдруг слышим, в совершенно необычное время ударили в Кремле в колокол, потом в другом месте, еще где-то и у нас в приходе... Что такое? Послали узнать: приходят и говорят, что получено известие из Петербурга, что скончалась императрица.[1]

Дмитрий Александрович тотчас отправился к батюшке, потом, немного погодя, вернулся, надел свой дворянский мундир и отправился в собор присягать новому государю. Немного погодя говорят мне: пришел квартальный надзиратель и меня желает видеть. Я к нему вышла. «Что вам угодно?» — спрашиваю я. — «Не имеете ли старых газет 1762 года и манифестов; и ежели у вас сохранились, то пожалуйте, велено обирать». — «Отчего же?» — «Этого, сударыня, я не знаю, а таково распоряжение начальства». Я стала догадываться, в чем дело, и сказала ему: «Теперь моего мужа нет дома, а без него я ничего не могу вам сказать и не знаю: есть ли то, что вы спрашиваете; ежели найдется что, то мы вам пришлем».

Обирали тогда везде манифест Петра III о его отречении...[2] Хотя у нас и были и манифест, и газеты 1762 года,[3] мы все это скорее отправили в деревню и там сберегли. Их велено было отбирать и жечь.

Покойную императрицу довелось мне видеть всего только два раза: один раз в соборе [4] в Петров день,[5] другой — в московском Благородном собрании.[6] Это было, когда праздновали двадцатипятилетие ее воцарения.[7] В соборе нам пришлось стать довольно близко от того места, где стояла государыня, и из-за других можно было иногда ее видеть. В этот день было провозглашение московского архиепископа Платона митрополитом.[8] Тогда рассказывали, что пред начатием обедни приказано было от императрицы первому протодиакону, чтобы на первой эктенье, когда дойдет очередь поминать преосвященного Платона, называть его митрополитом и чтоб этого до того времени ему не сказывать. Дьякон вышел на

амвон и, как было приказано, так и сделал; эктенья окончилась — митрополит вышел из алтаря и, сделав шаг на амвон, молча поклонился императрице и, вошедши в алтарь, продолжал обедню своим чередом.

На другой день был великий праздник, который давал Шереметев императрице у себя в Кускове,[9] но мы там не были: с графом батюшка знаком не был и толкаться в толпе и давке он нам не позволил. «Будет государыня в собрании на дворянском бале, тогда и вы ее увидите».

Сестре Александре Петровне было 21 год, мне 19 лет, и мы отправились в собрание с сестрой Екатериной Александровной Архаровой. Бал был самый блестящий и такой парадный, каких в теперешнее время и быть не может: дамы и девицы все в платьях или золотых и серебряных, или шитых золотом, серебром, камений на всех премножество; и мужчины тоже в шитых кафтанах с кружевами, с каменьями. Пускали в собрание по билетам самое лучшее общество; но было много.

Императрица тоже была в серебряном платье, невелика ростом, но так величественна и вместе милостива ко всем, что и представить себе трудно. Играли и пели:

Гром победы раздавайся,[10]
Веселися, храбрый Росс. . .

И каждый куплет оканчивался стихами:

Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!

Мне пришлось танцевать очень неподалеку от императрицы, и я вдоволь на нее нагляделась. Когда приходилось кланяться во время миновета, то все обращались лицом к императрице и кланялись ей; а танцующие стояли так, чтобы не обращаться к ней спиною. Блестящий был праздник.

Прежде и после того случалось мне видеть издали и на улицах государыню, но так близко — никогда.

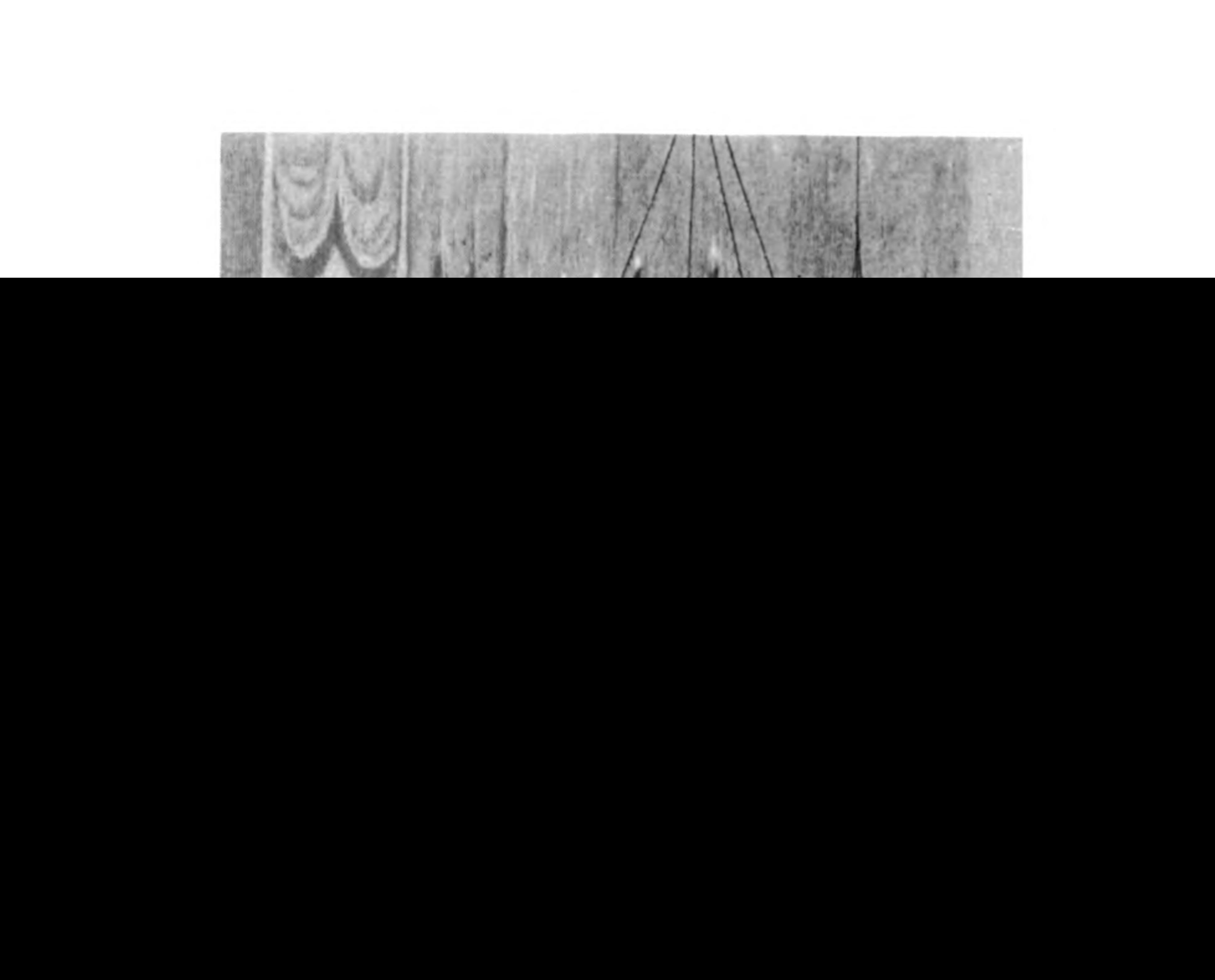
В то время главнокомандующим Москвы был Петр Дмитриевич Еропкин, хороший батюшкин знакомый; он давал для государыни праздник у себя в доме, но батюшка и сам не был, и нас не отпустил на бал: «Много и без нас там будет и познатнее, и поважнее». А уж куда как хотелось ехать! Не пришлось. Отчего батюшка не заблагорассудил, мы об этом как-то и не рассуждали: не угодно ему, вот и вся причина.

Ноября 11 родилась Анночка; тут уж мне было самой до себя и какие были новости — я не слушала, а мне не говорили.

Когда прошло еще несколько дней и стали ко мне приезжать с поздравлениями, вот мне и стали сказывать, какие вести из Петербурга о милостях нового государя.[11]

Все гатчинские (т. е. приверженцы «малого двора», потому что великий князь Павел Петрович жил больше в Гатчине) подняли головы: при императрице большой двор не очень к ним хорошо относился.[12]

Тогда мне сказывали, что на третий день после кончины императрицы государь пожаловал Андрея Первозванного[13] Архарову — деверю Екате-



рины Александровны, Николаю Петровичу, который в ту пору был новгородским губернатором; сказывали также, и это для всех было неслыханною новостью, что государь сам возложил этот орден на митрополита петербургского Гавриила: до тех пор духовенству не давали орденов, а награждали только панагиями да крестами или жаловали одежды какие-нибудь дорогие.

Архаровы тогда были в деревне за Тамбовом: почему-то Иван Петрович в последние годы императрицы был в немилости.[14] Вскоре он возвратился и был тоже пожалован звездой, Анненскою [15] или Александровскою [16] — этого я уж не упомню. Многие из тех, которые были удалены на жительство по деревням, получили дозволение выезда и свободного жительства в столицах. Между прочими, и один хороший знакомый батюшки и сосед по калужскому имению — Василий Алексеевич Кар, или, как его всегда называли, Каров.

Он служил в военной службе генералом и был, видно, у императрицы на очень хорошем счету, потому что, когда стал разгораться бунт Пугачева, государыня своею рукой писала к нему, чтоб он отправился против возмутителя.[17] Он поспешил исполнить повеление, отправился; потом вдруг слух разнесся, что Кар вернулся в свое имение: как так? Дошел этот слух и до батюшки: «Что за вздор, может ли это быть?» Не поверил. Потом слух оправдался: говорили, что почему-то он вдруг передал свою команду другому, а сам без спроса уехал.[18] Все его очень осуждали и долгое время многие боялись к нему ездить. Батюшка, однако, у него бывал: «Что мне за дело, что он под опалой: я езжу к своему знакомому, а ежели он неисправен по службе, так суди его закон, а не я».

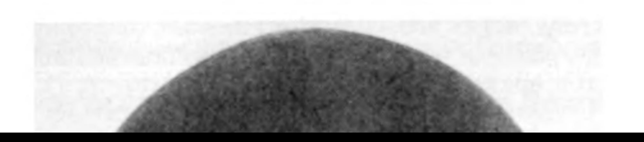
Он жил у себя в деревне, занимался хозяйством и был очень хороший хозяин и охотник строиться: он свою усадьбу отстроил на славу. Он был богат, жил в большом довольстве и никогда и не намекал, что был отставлен от службы.

Когда императрица скончалась, его вскоре после того потребовали в Петербург; думали: «Ну, вот теперь беда»; ничуть, дело его пересмотрели и разрешили ему жить свободно, где он пожелает. Он был очень любезный и милый человек, и мы у него не раз бывали в гостях, когда он стал жить в Калуге. Он был женат на княжне Хованской Марье Сергеевне; у них было два сына и дочери: одна из них была за Белкиным, другая за Хрущовым. Сам Кар был старее батюшки; он имел еще брата и сестру, которая была за Голицыным, и я ее знавала. Кар умер первый, когда именно — не знаю, но в то время, как сестра Варвара Петровна выходила за Комарова * замуж, он был еще жив и мы у него были в гостях и обедали. Жена его, овдовев, пошла в монастырь, что в Калуге, и там умерла после первой холеры, в тридцатых годах.

Немного попрежде по времени, но тоже в этом году, женился наш родня, князь Борис Иванович Мещерский (сын князя Ивана Никаноровича), матушкин троюродный брат. Он взял за себя Тютчеву Авдотью

---

* Иван Елисеевич Комаров, статский советник, калужский вице-губернатор; женился в 1805 году, умер в 1823 году.



в самых родственных отношениях, и мои дочери с ее дочерью были очень дружны. В 1812 году, когда все из Москвы бежали от француза, и Мещерская уезжала в Моршанск и гостила у нас в тамбовской деревне. Об этом расскажу в другое время.

Новый год, 1797-й, мы встретили с мужем и с детьми в Москве, без батюшки и без сестер, которые в то время были в деревне: до ноября они прожили в Боброве, а потом поехали в Покровское. Наш дом у Неопалимой Купины становился стар и ветх, мы его не хотели переделывать, а продать; батюшка и предложил нам переехать в его дом, где было теплее, и я сама была в таком положении, что мне нужно было беречь себя, а главное — Петруша все кашлял и хрипел, и я очень за него опасалась. Сестры мне писали, чтобы я не тревожилась на его счет и давала бы ему по одной гарлемской капле. Меня Господь привел Анночку родить благополучно и после того оправиться, а мальчику моему не суждено было жить: он скончался 12 февраля 1797 года. Отпевали его в приходе у Неопалимой Купины, а схоронили в Девичьем монастыре.

С первых чисел марта месяца стали съезжаться в Москву; к коронации прибыла гвардия; и офицеров, и солдат расставляли по домам. В наш дом был назначен молодой офицер Николай Иванович Свешников; очень молоденький и почти мальчик, прекрасного поведения и стыдливый, и робкий, как девушка. Он очень к нам привык, и с тех пор, хотя и прошло много десятков лет, всегда нас помнил и, когда бывал в Москве, нас посещал. Он был потом где-то уездным предводителем и, будучи отставлен с полным мундиром [19] александровского времени, до конца жизни ходил в этом стародавнем мундире.

Марта 10 прибыл государь с государыней,[20] со всем семейством и со всем двором. Начали разъезжать по городу герольды и объявлять о дне коронации. Государь в Москву не въехал, а остановился в новом Петровском дворце,[21] который строила покойная императрица, и туда собрались все городские власти, и митрополит Платон, бывший законоучителем еще великого князя,[22] говорил ему встречную речь. В вербное воскресенье [23] был торжественный въезд государя в Москву: он и старшие великие князья [24] ехали верхами, а государыня со своими невестками в восьмистеклянной золотой карете.

Императрица была очень моложава, хотя ей и было без малого сорок лет, и приятной наружности; но старшая ее невестка, жена Александра Павловича, была красоты неописанной,[25] совершенно ангельское лицо. Императрица улыбалась и кланялась всем направо и налево. Когда она вышла из часовни Иверской, чтобы сесть в карету, она остановилась на площадке: [26] смотрела направо и налево, милостиво кланялась и простояла минуты с две, как будто давала всем время на нее наглядеться. Вот тут-то я и насмотрелась на старшую великую княгиню — обворожительное лицо.

Побывав в Кремле и приложась к мощам в соборах, торжественный поезд отправился обратно по Никольской к Красным воротам. Тут у запасного дворца была встреча, и потом опять поехали все в Лефортовский дворец, где вся царская семья и пребывала до Великой субботы.[27]

Слышу, говорят, в этот день все будут в Чудове [28] у обедни причащаться. Много было в церкви, однако провели нас, и я опять могла всех видеть очень близко и хорошо. Но сам государь и государыня были, но не приобщались [29] в ожидании следующего дня Пасхи и дня коронования.

Из Чудова государь прошел в собор и там все осматривал; но туда из посторонних никого не пускали, и мы, дождавшись, чтобы государь оттуда вышел, тоже ходили и все видели.

Где был государь у утрени — я не знаю, только, кажется, в Успенский собор никого не пускали. Мы были у утрени и у обедни у себя и, разговевшись дома, вскоре отправились в Кремль на места: утро было тихое, ясное, теплое, совершенно летнее. Народу было уже много. . . Часов в 7 раздался сигнальный выстрел, потом благовест, и вскоре затем последовал выход с Красного крыльца: [30] под балдахином, мимо наших мест, довольно близко прошли государь и государыня вдвоем к южным дверям Успенского собора, и им была тут архиерейская встреча. Государь был в мундире, государыня в парчовом платье. И звон прекратился; потом, более получаса спустя, опять выстрел, пушечная пальба, колокольный звон, барабанный бой, военная музыка: все перекрестились, и три раза раздалось в народе «ура!».

Когда пушечная пальба кончилась, стали благовестить к обедне и трезвонить; трезвонили еще к Евангелию,[31] потом опять пальба, трезвон и выход в соборы и по Красному крыльцу возвращение во дворец. Государь был в царском далматике,[32] поверх царская мантия, и во всю неделю были царские выходы в соборы во всем царском одеянии.

В день своей коронации император осыпал щедрыми и великими милостями своих приверженцев: некоторым по две, по три награды были. Кому 6000 душ и Андрея,[33] кому 3000, 4000 и 5000 душ. Всего было роздано в этот день до 90 тысяч душ; таких щедрот никогда ни при ком не бывало.

Для народа был обед: начиная от Никольских ворот, по всей Лубянской площади были расставлены столы и рундуки с жареными быками; фонтанами било красное и белое виноградное вино, и столы шли по Мясницкой и до Красных ворот. Для государя каждый день были где-нибудь вечером праздники или при дворе балы; и это продолжалось недели с две. Потом государь со всем семейством был в Троицкой лавре и кушал в Вифании [34] у митрополита. В Преполовение [35] был в Кремле большой парад, и тут государь опять был в царском венце и в золотом далматике, и в его присутствии митрополит благословлял военные знамена и окроплял все войско святою водой, а он в этом уборе командовал войсками. Первые дни после коронования, — кажется, во всю Светлую седмицу,[36] — была иллюминация во всем городе и катание в экипажах по улицам; на площадях для народа качели и разные забавы.

Такой веселой и шумной Святой недели я и не запомню.

Эта коронация была первая и последняя, которую я видела, потому что пред коронацией Александра I мы поехали в тамбовскую деревню; в третью коронацию, Николая I, я была в Москве, как и четвертую; но ни

той, ни другой не видала и только слышала о них рассказы. Да, пришлось мне пожить во время пяти царствований: Екатерины, Павла, Александра I, Николая и Александра II, при прабабушке, деде, отце и правнуке. . .

Не помню, в какое-то время был при дворе большой маскарад и гулянье во дворцовом саду в Лефортове и 1 мая большое гулянье в Сокольниках. Потом двор уехал из Москвы, а мы поехали в деревню.

Много ожидали от царствования императора Павла и думали, что вот настало время благоденствия для России.





ГЛАВА ПЯТАЯ

I

В 1798 или 1799 году батюшка продал свой старый дом и купил другой, каменный, прекрасный, на Зубовском бульваре.[1] Этот дом принадлежал прежде графу Толстому, человеку очень богатому, который в одно время выстроил два совершенно одинаковых дома: один у себя в деревне, а другой в Москве. Оба дома были отделаны совершенно одним манером: обои, мебель, словом, все как в одном, так и в другом. Это для того, чтобы при переезде из Москвы в деревню не чувствовать никакой перемены.

Батюшка отделал свой дом по-тогдашнему очень хорошо: в одной гостиной мебель была белая с золотом, обита голубым штофом, а в другой — вся золоченая, обита шпалерным пестрым ковром, на манер гобеленовых изделий, цветы букетами и птицы — очень было это хорошо. Везде были люстры с хрусталями и столы с мраморными накладками. В саду были фонтаны, оранжерея и большой грунтовый сарай.

Соответственно дому батюшка захотел, чтоб и весь обиход домашний был получше, и потому заказал серебряный новый сервиз; фарфор и хрусталь — все было прекрасное, и все это скоро было обновлено к свадьбе сестры Александры Петровны. Она выходила за князя Николая Семеновича Вяземского. Он был полковник в отставке, при взятии Очакова [2] был ранен пулею в бок, и странно: пуля осталась невынутою и лет через пятнадцать спустилась и ее вырезывали из ноги. Он был лет на десять старее сестры; собою недурен, но вследствие контузии немного глух. Его отец, князь Семен Иванович, был женат на Ковериной, а как ее звали — не знаю. Были еще два брата: князь Василий и князь Юрий Семеновичи и сестра княжна Дарья Семеновна, которую я знала и которая умерла в 1859 или 1860 году. Может быть, и еще были сестры, но этого наверно не знаю.

Свадьба была опять у батюшки в доме, а так как у жениха не было своего собственного дома в Москве, то и после свадьбы первое время молодые жили у батюшки и потом поехали в деревню.

Князь Николай Семенович был добрый и честный человек, но по характеру самый несносный: преупрямый и пребешеный, и что в особенности для его жены было тяжело: рассердится и несколько дней молчит, ни слова не скажет. Она и так и сяк заговаривает: молчит, ни слова. Наконец самому станет совестно, что капризничает из-за пустяков, чувствует это, а признаться не хочется. Тут сестра и начнет рассказывать что-нибудь смешное, он расхохочется, и все пройдет. А то иногда, когда рассердится,

уйдет к себе и все спит: придут звать к обеду, придет, отобедает молча и опять спать и не выходит из кабинета. Вот приедем мы с мужем, сестра и говорит мне: «А князь Николай Семенович опять все спит». Это значит, что он не в духе и сердится. «Пожалуйста, сестра, сходи растереби его». Вот и пойду я к нему: «Николай Семенович, мы приехали к тебе в гости, сестра тебя зовет, пойдем». Молчит. Придет сестра, и возьмем мы его под руки, да насилу и подымем. «Ха-ха-ха», — громко захохочет он, и все его сердце пройдет. Был он еще очень скуп, и эта скупость была иногда причиною досады: нужно что-нибудь для дома, не покупает; сестра пристает: «Купи». Купит и дуется потом несколько дней, что купил. Престранный был человек. Сердцем был предобрый, а характер самый неприятный.

Вскоре после женитьбы Вяземский купил себе дом на Пречистенке, на углу переулка, наискосок с домом бывшим Всеволожского.

Однажды утром сижу я у сестры, — это было в 1801 году 14 или 15 марта, — входит ее дворецкий и говорит нам вполголоса, что он только что возвратился с торга и что носится слух, что в ночь на 12 марта государя не стало, что он скончался.[3]

Мы не поверили и сказали дворецкому, чтоб он молчал, не говорил глупостей и не разглашал, может быть, ложного слуха, что может от этого быть для него беда. Немного погодя приходит князь Николай Семенович, откуда-то возвратившийся, и тоже шепчет нам:

— Говорят, государь скончался.

К обеду приехал и мой муж и с тем же известием. . . Мы все еще не верим; наконец стали разносить повестку, чтоб собирались в собор для присяги; ну тут мы уже перестали сомневаться.

В то время известия не могли доходить в Москву, как теперь, потому что не было телеграфов, и хотя курьеры и ездили скоро, но все-таки известия достигали чрез двое суток на третьи.

II

Все лето 1801 года мы прожили в нашей подмосковной и положили в августе ехать в нашу тамбовскую деревню. К нам приезжали погостить сперва молодые наши Вяземские, а потом батюшка и сестры, и очень нас уговаривали, чтобы мы дождались коронации, которая была назначена в начале сентября; [4] однако мы решились ехать.*

Августа 10 мы выехали из деревни в Москву и там пробыли до 14-го. В этот день, в шесть часов утра, выехали из Москвы и 16-го в четыре часа после обеда приехали в село Петрово к моему деверю Николаю Александровичу Янькову.

Он был женат на Федосье Андреевне Зыбиной, которая годом или двумя была моложе меня; женился он за год до своего старшего брата. Невестка

---

* Все эти поездки я мог потому так подробно изложить, что сохранилась собственноручная тетрадь моего деда; ею я руководствовался, чтобы полнее передать устные рассказы бабушки. *Внук.*

моя была добрая женщина, очень благочестивая, но совершенно безо всякого воспитания даже и по нашему времени. Она была бедная дворянка, которую пригрели Долгоруковы, и они-то и спихнули ее с рук за Янькова. Он был очень добрый, но и очень ограниченный человек и, вдобавок, небольшого роста и весьма кривобок, так что он и не мог рассчитывать на более выгодную женитьбу и рисковал жениться на девушке, которая пошла бы за него из-за его имения и, может быть, сделала бы его несчастливым или бы совершенно разорила. Такие примеры бывали и в наше время.

Яньковы жили в старом доме, где живали их дед и отец; дом был ветх и содержан не по-барски, довольно неопрятно, и мы оба, и мой муж и я, были этим очень поражены. Соседи были тоже престранные и совершенно допотопные и безо всякого воспитания и умения жить. Одни только и пришлись мне по мысли: верстах в 40 от них, в селе Михайловском, жил Вилим Денисович Ридер, отставной генерал, вдовец, и у него была дочь, Агафья Вилимовна, молодая девушка. Она была недурна собою, хорошо воспитана, очень умная и милая. Тут я с нею и познакомилась; потом она была замужем за Кротковым Степаном Степановичем, очень богатым человеком.

Прогостив у Яньковых более недели, мы поехали далее, останавливались в нашем веневском имении и на следующий день приехали ночевать в Епифань. Городок довольно раскинутый, но более похожий на деревню, чем на город: дома все деревянные, есть и крытые соломой, церкви тоже деревянные, исключая двух каменных; вообще городишко очень невзрачный.

Выехав рано утром по Ефремовской дороге, мы три раза переезжали через Дон по очень дурным мостам, которые вообще в той местности ужасные; и были крутые горы и дорога очень дурная, так что мы отъехали не более 50-ти верст и ночевали. На следующий день обедали у моей золовки [5] в деревне, в селе Теплом и, не доехав до Лебедяни 8 верст, остановились ночевать.

На следующий день мы проехали рано утром чрез Лебедянь, город, где бывает несколько ярмарок, больше лошадиных. Город тоже показался мне плоховат, но собор каменный, по-видимому, хорош.

Ночевать мы в этот день приехали в Липецк, наш уездный город. Мы спешили добраться поскорее до места, и потому ранехонько утром, не осматривая города, поехали к себе в деревню Аннино, в 40 верстах от города; сбились с дороги, воротились назад и наконец приехали благополучно к себе в имение.

Сельцо Аннино, так названное в честь моей свекрови Анны Ивановны, при нашем приезде почти никакой не имело усадьбы, и нам приходилось строиться и устраиваться. Первое время мы жили в бане: мой муж, я и наши четыре девочки: Груша, Анночка, Сонюшка и Клеопатра. Эти годы, проведенные нами в тамбовской деревне, были для меня тяжелым временем: мы жили в тесноте и с детьми, у которых сделался коклюш; докторов поблизости не было, а и те, которые были, оказались очень плохими.

Ближайшими соседями было семейство Бурцевых: Петр Тимофеевич и Екатерина Дмитриевна, и их дочери Александра Петровна за Александровым и Аполлинария Петровна за Бартеневым,* люди добрые, честные и благочестивые, которым мы многим обязаны были в первое время нашего жительства в неустроенном нашем имении.

Дмитрий Александрович, хозяин еще внове и притом в совершенно незнакомой местности, часто прибегал к советам этого опытного человека, а во время нашей стройки Бурцевы не раз ссужали нас деньгами. Екатерина Дмитриевна была хорошая хозяйка, опытная, добрая жена и прекрасная мать.

В 1802 году, в половине января, Дмитрий Александрович поехал в Москву один, а я с детьми осталась в деревне и в скором времени после отъезда мужа была обрадована неожиданным приездом батюшки. Это было в начале февраля. Но эта радость обратилась мне в великое горе: батюшка опасно занемог, у него сделалось воспаление легких. Докторов поблизости не было, и потому посылали в Козлов, и вместе с тем я писала к мужу и к брату Николаю Петровичу в Москву. Письмо мое застало обоих в Москве 23 февраля. На другой день они взяли подорожную и отправились вдвоем, приехали к нам на третьи сутки и нашли, что батюшке, слава Богу, лучше.

Очень настрадалась я душой во время батюшкиной болезни, хотя и сама была не совсем здорова, потому что была при последнем месяце тягости, и в самое Вербное воскресенье, апреля 6, родила дочь Елизавету, которую батюшка и Екатерина Дмитриевна и крестили в день Пасхи, апреля 13.

Батюшка дождался просухи и тогда от нас поехал, волей-неволей прогостив у нас с лишком три месяца.

В конце мая Дмитрий Александрович ездил в Москву один и проездил около месяца, а у меня в это время гостили сестры и поехали в июле обратно к батюшке в Покровское.

В конце сентября, в 20-х числах, мы тоже собрались побывать у батюшки в Покровском, что от нашей деревни 220 верст. Мы отправились с мужем и с тремя старшими девочками: Грушей, Анночкой и Сонюшкой — в большой линейке и, приехав ночевать в Липецк, остановились в доме Курганова. Наутро мы осматривали город, который я еще не видывала. Город совершенно еще новый, основанный при Петре I, раскидан по горам; местность красива; каменный собор очень хорош, тогда только что отделан. Здесь минеральные железные воды, которые своими врачебными свойствами не уступают, говорят, заграничным; кое-кто летом начинали приезжать; собирались выстроить галерею и залу для пьющих воды.

Тут были, сказывают, железные заводы, устроенные Петром I, с которых доставлялись нужные вещи поблизости в Воронеж, когда там собирали корабли. При императрице Елизавете эти заводы были пожалованы какому-то князю Репнину, а при покойной государыне (Екатерине II) опять куплены в казну. Жителей немного, но все-таки считают, что тысяч около семи есть или немного менее.

---

* Отцом издателя «Русского архива» П. И. Бартенева.

Мы выехали из Липецка поутру, обедали в селе Кумани, а к вечеру приехали в Лебедянь и там ночевали. При въезде в город очень крутая и каменная гора. По случаю открытия ярмарки торгующие начинали уже съезжаться, и, чтоб иметь понятие об этой ярмарке, мы провели в городе целый день. Ряды большею частью деревянные, но есть и каменные лавки; это они называют гостиный двор. Торгующие приезжают из разных мест: из Москвы привозят шерстяной и шелковый товар, чай, сахар и другую домашнюю провизию, которую господа приезжают закупать. Была какая-то торговка-француженка, мадам, с модным старьем, которое в Москве уже не носят: наколки и шляпы преужасные, с перьями, с лентами и цветами, точно вербы; и все это втридорога. Купечеству эта ярмарка праздник: и жены, и дочери их, разодетые в шелк и бархат, в жемчугах, бриллиантах, сидят у входа лавок и вереницей снуют взад и вперед по ярмарке, высматривая себе женихов. Много помещиков, барышников и цыган толпятся там, где выводка лошадей, которых пригоняют табунами: каких только тут нет пород и мастей!

В этот раз были балаганы и кукольная комедия, куда мы водили детей, и они очень этим утешались.

На другой день мы ночевали в селе Шилове, а на следующий приехали обедать в Ефремов. Город очень плохенький, выстроенный как-то не полюдски, а просто по-татарски, вразброд: куда какой дом попал, там и стоит: где лицом повернут, где иначе. Улицы и площади немощеные, прегрязные и претопкие; дома где деревянные, где мазанки, и много кровель соломенных. Может статься, что теперь, чрез шестьдесят лет, он улучшился, а тогда был претошный городишко. Ночевали мы в селе Овечьи Воды и, выехав оттуда рано поутру, прибыли наконец в село Покровское. Это было 28 сентября.

Батюшки мы не нашли дома, он с сестрами еще не возвращался из Боброва; брат Николай Петрович один был в Покровском и очень нам обрадовался. На следующий день, поздно вечером, возвратился и батюшка, и так мы все вместе встретили праздник Покрова[6] и прогостили еще с неделю.

На возвратном пути к себе мы расположились ехать другою дорогой, верст на 20 подалее, чтобы заехать в Задонск поклониться праху преосвященного Тихона,[7] жившего там лет двадцать пред тем на покое и там скончавшегося. Батюшка с ним был лично знаком и очень чтил его память, а дядюшка граф Степан Федорович был с ним очень дружен и имел переписку.

Батюшка предложил нам отправить вперед наших лошадей на первую станцию в Овечьи Воды, а самим ехать на следующий день на его лошадях, что мы и сделали: наших лошадей отправили 5 числа, а сами от батюшки поехали 6 октября. Отобедав в селе Овечьи Воды, мы переменили лошадей и отправились далее, приехали ночевать в Ефремов, а наутро выехали очень рано, при лунном свете; на дороге в одном селении останавливались кормить лошадей и обедать и к вечеру приехали в Елец. Город очень приглядный, только при въезде весьма крутая гора и другая при выезде, но гораздо отложе.

Из Ельца мы выехали в 8 часов утра и приехали в Задонск во втором часу дня: против города переехали по мосту через Дон и остановились в монастырской гостинице в самом городе.

Монастырь, говорят, древний, но сперва был весь деревянный и сгорел; при императрице Анне стали его перестраивать из камня и отделывать. В особенности этот монастырь начал прославляться, когда в нем жил на покое великий подвижник и служитель Господень преосвященный Тихон, к которому стекалось множество богомольцев отовсюду за благословением. Он был удивительно кроток и столько же своими поучениями, сколько и примером добродетельной жизни служил назиданием для приходивших к нему. Келья его была самая убогая, одежда грубая и пища скудная и простая. Он скончался на моей памяти, и Господь сподобил меня слышать о прославлении его нетленных мощей. И в то время были уже исцеления от его могилы, но мощи не были еще свидетельствованы, и по нем служили панихиды. День его тезоименитства был 16 мая, а преставился он 13 августа 1783 года.

Кроме того, здесь погребены игумен обители Евсевий, живший в давнее время, и схимонах Митрофан, скончавшийся 27 февраля в 1790 году. И тот и другой оставили по себе хорошую память как великие подвижники, проводившие праведную жизнь.

Весь этот день мы провели в Задонске и были в церкви у службы; настоятелем был тогда архимандрит Тимофей.

Город этот потому был назван Задонском, что от Москвы он находится по ту сторону Дона; это еще молодой город, которому едва сто лет; монастырь давнишний, а город одного времени с Липецком; и там и здесь были при Петре железные и пушечные заводы.

Ночевали мы в Боренских заводах, которые тогда приходили уже в упадок, потому что все было деревянное, а лес там выводился и стал дорог.

На следующий день проехали чрез Липецк, не останавливаясь, обедали в бывшем когда-то и потом упраздненном городке Сокольске и, там отобедав, приехали к себе в деревню 10 октября.

III

В 1803 году, в январе месяце, ездил в Москву Дмитрий Александрович один и возвратился 20 февраля. Во время его отсутствия, 24 января, умерла моя меньшая девочка Лизанька, и тут мне много оказала участия добрейшая наша соседка Екатерина Дмитриевна Бурцева: я была и сама нездорова, и все дети хворали, и она ездила и хоронила мою девочку в селе Грязях, от нас две версты. Такое живое участие никогда не забывается; много лет прошло с тех пор, а очень я помню все попечения обо мне Екатерины Дмитриевны.

Скажу, к слову, о нашем причте. В первое время, как мы приехали в эту деревню, я и вздумала послать к священнику просить его отслужить у нас на дому всенощную под какой-то большой праздник. Каково же мое было удивление: священник приходит в валенках, а дьякон и дьячок в лап-

тях и превонючих тулупах. Сначала я это терпела, хотя, бывало, после них не закуришь ничем, а полы хоть мой; потом это мне надоело, и я велела сшить всем трем сапоги и им подарила. Надобно было видеть их радость: уж так я их этим утешила.

Соседи, кроме Бурцевых, были все однодворцы [8] и мелкие помещики, не лучше однодворцев. Верстах в двадцати от нас жило семейство Бершовых, которые у нас бывали. Состояньице у них было очень небольшое, и барыня сама хаживала со своими домашними на работы. Звали ее Матрена, как по батюшке — и не помню. «Вот, матушка, — рассказывала она мне, — как мак-то поспеет, засучим мы свои подолы, подвяжем и пойдем мак отряхать: я иду вперед, а за мною по бокам мои девки и живо всю десятину отхватаем».

Раз на перепутье из деревни нашей в Липецк заехали мы к Бершовым, пошли в сад. Это было в конце августа. Хозяйке захотелось моих детей угостить яблоками, которые не были еще сняты. За нами бежало с полдюжины полуоборванных босоногих дворовых девчонок.

— Эй, Машка, Дашка, Фенька, — крикнула хозяйка, — полезайте на деревья, нарвите поспелее яблочек.

Девочки как-то позамялись, выпучили глаза и не знают, как им лезть. . .

— Чего вы смотрите, мерзавки, — прикрикнула на них Бершова, — живо полезайте: холопки, пакостницы, а туда же робеют. . . подлые. . .

— Что ты, матушка, как их нехорошо бранишь, — говорю я ей, — и в особенности при детях. . .

— Ах, матушка, — говорит Бершова, — чего на них глядеть-то, разве это люди, что ль, — тварь, просто сволочь. . . ведь это я любя их. . .

А добрая была женщина, да уж очень дубовата; бывало, такие слова употребляет при моих детях, что иногда от стыда сгоришь. Я все ее останавливала и оговаривала, того и гляжу, что мои девочки подцепят какое-нибудь у ней словцо, срам будет. . . Потом она стала при мне остерегаться, перестала говорить бранные слова. А кому-то на меня жаловалась, говорит: «Какая Елизавета Петровна спесивая барыня, все политику наблюдает, оговаривает меня, что я говорю спросту, не по-придворному. . .» Уж куда по-придворному, иногда совсем по-площадному.

Деревенька, в которой жили Бершовы, была издавна в их роде, может статься, лет сто или более. В той местности лес очень дорог, не то что строевой, и дровяной за редкость: топят жгутами из соломы, а то и просто навозом. Вот дедушка Бершова, догадливый хозяин, что же придумал. Каждый год по две десятины засаживал ивовыми кольями; они легко принимаются и в особенности на хорошей черноземной земле, как там. И так засадил он что-то много десятин; сын его не трогал этих деревьев, а внук, дождавшись времени, брал потом большие деньги за хорошие дрова.

Неподалеку от этих Бершовых жил один однодворец, который промышлял рыбой, ловил ее в реках и потом куда-то возил продавать. Он и у нас в реке Матыре, пред домом, лавливал исполу, с нашего согласия, и потому иногда бывал у Дмитрия Александровича по делу. Однажды он и предлагает моему мужу: «Александрыч, — так он его называл, — у тебя, сказы-

вают, вишь, есть некошная * девка, пьянчуга и воровка, с которою тебе только одна докука; продай ты мне ее, я тебе хорошие за нее дам деньги».

— Ну, а сколько, например? — спрашивает муж.

— Да ежели чистоганом — деньгами, так двадцать пять рублей, а коли хошь на рыбу сменять, так рыбы дам тебе на пятьдесят рублей.

Эта девка точно была предрянная: пьяница, воровка, убежит без паспорта, накрадет где-нибудь, попадется за кражу, сидит в остроге, потом ее выпустят и к нам по этапу пришлют. Держать у себя ее опасно было, и мы не знали, что нам с нею и делать. Дмитрий Александрович не раз говаривал:

— Грешно, а желал бы, чтоб она чего-нибудь побольше накрала и чтоб ее совсем сослали, нам бы руки развязали. . .

Вот как однодворец вызвался ее купить у нас, муж и приходит ко мне посоветоваться и рассказывает, что за нее дают или 25 рублей деньгами, или рыбы на 50 рублей. . .

Я и говорю ему: «Ты уж лучше возьми деньгами, а то это как-то ужасно подумать, что мы девку променяли на рыбу: это и кусок в горло не пойдет». Так за девку и взяли мы 25 рублей и от нее избавились.

Наши соседи-однодворцы были пресмешные и преглупые. У нас в деревне не было хорошей воды; в реке вода вонючая, потому что в нее валили тогда навозу, которого девать было некуда; слышим от Бурцевых, что где-то неподалеку есть ключевая вода. Послали, привезли; точно, вода хороша. Дмитрий Александрович велел срубить сруб, окопали место, где ключ, и поставили этот сруб, — а было это на однодворческой земле. Смотрим, наутро сруб этот стоит у нас посередь двора. «Что это такое?». Говорят, ночью однодворцы привезли его и сложили на дворе. Послали узнать: отчего они наш сруб к нам привезли; кажется, не мешал он им. Приходят несколько человек. Дмитрий Александрович вышел к ним: «Скажите, братцы, чем вам мешал мой сруб, поставленный на ключе?»

— Батюшка, Александрыч, не вели его там ставить, просим тебя. . .

— Да чем же он вам мешает? Разве жаль вам воды?. .

— Воды не жаль, а сруба не ставь.

— Что же вы так сруба моего не жалуете?

— Коли вода тебе так люба, прикажи, мы тебе сгородим какой хошь сруб; а тебе ставить не дадим. . .

— Вы мне скажите, друзья, какая причина. . .

Мялись, мялись, наконец высказались.

— Вот что, Александрыч, как ты свой сруб-то поставишь да примежуешь к нему от нашей земли? Мы вот этого-то и стережемся.

— Ах, какие же вы чудаки, мне никогда этого и в голову не приходило. . . Даю вам слово. . . Да разве это возможно сделать?. .

— А Бог тебя знает. . . А уж если хочешь, мы почтим тебя: ты подари нам этот сруб, мы его сами и поставим.

— Мне, право, все равно, возьмите и ставьте его сами. . .

— Значит, сруб наш, ты его нам жалуешь. . .

---

* То есть негодная.

— Жалую, жалую...

— Эй, слышь, господа, Лександрыч отдал нам этот сруб, значит, он наш...

Итак, они его взяли, сами опять поставили на ключе и успокоились.

Это смешное опасение однодворцев имело, однако, некоторое основание: в то время было много порожних земель в Тамбовской губернии, а может быть, и в других, и помещики заявляли только куда следовало, что вот там-то и там-то у них столько-то земли, но что плана не имеют и просят выдать план и землю за ними укрепить.

Так, один сосед рассказывал нам:

«Землицы у меня было маловато, а возле меня — борозда к борозде — была большая пустошь, казенная, что ль, или кем брошенная, только никто ею не владел, и мы издавна ею пользовались, как своею. Был я в городе, мне там и говорят: скоро, мол, будет размежевание, так хорошо кто этим воспользуется и из пустых земель себе примежует. Думаю себе, ладно. Заехал к межевщику, захватил его к себе и стал межевать пустошь; обошли окружную межу — было с залишком пятьсот восемьдесят десятин. Я поставил на пустыре избенку и подал заявление об этой земле; что же, ведь ее за мной и укрепили...»

И так делали многие помещики; может быть, подобного захвата боялись и наши соседи-однодворцы.

IV

В сентябре месяце мы поехали в Москву всею семьей. За неделю до нашего отъезда мы отправили свой обоз: три фуры, три кибитки на волах парами и телегу в одну лошадь, обозных три человека и Тараса-повара с парою лошадей, а сами отправились мы 13 числа в восьмиместной линейке в 6 лошадей, в карете в 6 лошадей, коляске в 4 лошади и кибитке в 3 лошади, всего на 19 лошадях. В Липецке мы пристали у Бурцевых в их доме, где нас поджидала Екатерина Дмитриевна и ее дочь, Александра Петровна Александрова.

По пути заезжали к моему деверю в село Петрово и там прогостили пять суток, и наконец приехали 28 в Москву, после двухлетнего отсутствия.

Старший из моих братьев, Михаил Петрович (двумя годами младший меня), женился в этом году на графине Варваре Николаевне Морковой. Она была дочь графа Николая Ивановича и родная племянница известного в свое время графа Аркадия Ивановича, бывшего посланником в Голландии, а в то время находившегося послом в Париже, при Бонапарте. Брату было около тридцати четырех лет, а его невесте лет на десять или на двенадцать менее. Она была очень недурна собою, мила и обходительна; одно только вредило ей в разговоре: ужасно пришепетывала и, чувствуя свой недостаток, сама же над ним смеялась и называла себя картавою. Это происходило оттого, что ее язык был длиннее обыкновенного и с трудом умещался во рту.

Батюшка был очень доволен, что брат женился: дом свой к свадьбе опять отделал заново, весь свой серебряный сервиз переменил и весело и светло праздновал братнину свадьбу. Верхний этаж он уступил молодым, а сам поместился в нижнем этаже, и с ним две мои сестры: Варвара Петровна и Анна Петровна. У моей невестки была еще сестра, Прасковья Николаевна, за князем Андреем Михайловичем Оболенским; они жили летом в своей подмосковной деревне в Дмитровском уезде, верстах в 18 от нас, и нередко, едучи в Москву, заезжали к нам на перепутье. Княгиня Оболенская скончалась в 1832 году в июле, а ее сестра, моя невестка, в феврале 1833 года. У брата было несколько человек детей, но в живых остался только один Владимир.

Мы до самого мая месяца прожили в Москве, а в половине мая опять всею семьей поехали в Липецк пить воды. В селе Петрове мы прогостили более недели и приехали в Липецк 31 мая в свой дом, купленный нами у Бурцевых.

Весь июль месяц мы провели в Липецке, пили воды и потом поехали в Елизаветино и жили там до половины сентября месяца.

Во время лета приезжали к нам в гости брат Николай Петрович и с ним Семен Сергеевич Зыков; они тоже в Липецке пили воды и жили в нашем доме.

В июле приехали пить воды тетушка графиня Александра Николаевна Толстая с дядюшкой и детьми: Елизаветою Степановною и Владимиром и Петром Степановичами. Была с ними и дядюшкина сестра, Варвара Федоровна Дохтурова, с девочкою своею Машенькой.

Мы с мужем ездили повидаться с ними в Липецк, предложили им свой дом на время их житья в Липецке и звали их к себе в гости в Елизаветино, и они обещали у нас быть. В этот год пил воды Дмитрий Иванович Яковлев; ему очень понравился наш дом, и он нанял его у нас на весь водяной курс следующего 1805 года за 700 р.

Июля 30 к нам приехали в деревню Толстые, прогостили у нас двое суток и поехали от нас к себе в деревню.

После Спасова дня[9] муж мой и брат Николай Петрович вздумали отправиться за 80 верст на ярмарку в заштатный Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, 40 верст не доезжая Воронежа, и, проехавшись по-пустому, потому что ярмарки уже не застали, возвратились домой.

В сентябре месяце мы стали собираться на зиму в Москву.

Сентября 15 отправили свой обоз: три фуры, две кибитки и две телеги, а чрез неделю выехали сами на 24 лошадях, потому что было много экипажей: большая линейка в 8 мест, маленькая в 4 места, карета, коляска и две кибитки.

Утром 26 числа проезжали чрез Куликово поле, где Дмитрий Донской разбил Мамая.[10] Старшим моим девочкам захотелось посмотреть на поле; погода была хорошая, мы все вышли из экипажей и пошли пешком. Поле очень обширное: кругом, куда ни посмотришь, не видно конца; так мы прошли с полверсты и опять все уселись.

Мы обедали в селе Мышинке, и здесь хозяин, у которого мы останавливались в доме, рассказывал нам, что среди Куликова поля есть большая

яма, которую местные жители называют «денежною», потому что в то время, когда здесь кочевали татары, они имели там склад, и была там настоящая кладовая с железными створами; [11] потом эта кладовая обвалилась, заросла травой и кустарником. Мышинка — при реке Непрядве, которая вытекает оттуда в 7 верстах из болота.

В село Петрово мы приехали 28 числа. Дети занемогли сыпью, и потому прожили в Петрове до 10 октября, когда выехали в Москву, где и провели всю зиму и весну, до начала мая 1805 года.

Батюшка с сестрами и брат с невесткою были в Москве. Сестра Варвара Петровна была помолвлена за Ивана Елисеевича Комарова. Он был вдовец, немолодых лет и калужский вице-губернатор. Сестре тоже было уже за тридцать лет; собою она была не особенно хороша, и потому, хотя партия не была в особенности заманчива, сестра пошла замуж, и батюшка не воспротивился этому браку.

Кто были эти Комаровы, я что-то не могу хорошенько сказать; знаю, что дворяне настоящие, а с кем в родстве и чьих была женихова мать — что-то не помню... У Комарова был сын от первой жены, Николаша, молоденький мальчик, от которого потом сестре было много горя.

Батюшка и сестра очень желали, чтобы мы были на свадьбе, которую хотели справлять в Боброве.

После Николина дня [12] мы взяли младших детей, Сонюшку и Клеопашу, и поехали в дмитровскую деревню и уговорили с собою ехать одну добрую нашу знакомую, Федосью Федоровну Егорову. Она была немолодых лет вдова, совершенно безродная, которая жила небольшою пенсией после мужа своего, бывшего чиновником, и, нанимая у нас в доме половину мезонина, с нами познакомилась. Это была предобрая и преблагочестивая женщина, характера самого приятного, и для меня она была кладом: бывало, куда-нибудь поеду, поручу ей всех детей, дам ей ключи; ежели к детям придут учителя — попрошу ее присутствовать при уроках, словом сказать — правый глаз и правая рука. Когда мы ближе познакомились, мы перестали брать с нее деньги за квартиру, предложили ей жить у нас по дружбе, пользоваться нашим столом и быть своим человеком. Иногда мы ей делали подарки: платье, платок и деньгами, а она дарила детям, в праздники и в именины, то саксонскую какую-нибудь старинную чашку, бронзовую корзинку и в этом роде, потому что имела множество вещей.

Вот ее-то мы уговорили с собою ехать в деревню и, оставив там своих детей на ее попечение, чрез два-три дня возвратились в Москву к батюшке в дом.

В 20-х числах мы отправились все в Боброво. Сперва батюшка, сестры, брат с невесткой, сестра Вяземская с мужем в пяти или шести экипажах, а на другой день и мы с двумя старшими девочками. Дорога была преужасная, грязная, каких я и не запомню, и мы насилу-насилу доехали на третьи сутки, хотя от Москвы до Боброва менее 160 верст.

Свадьба назначена была на 2 июня. Дня за три брат Михаил Петрович с зятем Вяземским ездили в Калугу с визитами: обедали у Сергея Александровича Сомова, вечером были у Демидова, а к ужину возвратились домой.

На следующий день невестка моя Варвара Николаевна и сестры тоже ездили в Калугу с визитами после обеда.

Июня 2 была свадьба после обеда, часов в 6; кроме всех нас родных была еще Марья Семеновна Кар, а с жениховой стороны — Сомовы, Сергей Александрович и жена его Авдотья Михайловна. Отужинав в 9 часов, мы все поехали провожать молодых в Кулугу, пробыли у них с полчаса и обратно поехали в Боброво. На другой день после свадьбы молодые и еще кой-кто из гостей из Калуги приехали к батюшке в Боброво обедать и после ужина разъехались; это было, стало быть, 3 число; 4-го мы все ездили к молодым в Калугу и провели у них целый день: обедали, ужинали и поздно вечером возвратились домой.

Чрез день или два все мы ездили вместе с молодыми в деревню к Василию Алексеевичу Кару, у которого пропировали целый день, потому что он был хлебосол, хозяин примерный и весьма гостеприимный и любезный в обращении.

В один из дней, что гостили мы у батюшки, чуть-чуть было не постигло меня несчастье: как-то поутру Дмитрий Александрович гулял в саду и только что вышел из поперечной аллеи в длинную, как пред самым его носом просвистела пуля. Оказалось, что плотник пробовал ружье и из ворот стрелял в даль аллеи, никого в ней не видя, а Дмитрий Александрович в эту самую минуту в нее и вышел из другой и шел прямо против выстрела. Явное милосердие Божье, что он остался жив.

Пробыв еще несколько дней, мы собрались в обратный путь в Москву: Вяземские и мы — и отправились вместе.

Брат Николай Петрович был в это время нездоров и не мог быть на свадьбе, а жил в Москве в батюшкином доме, где остановились и мы, так как в нашем собственном доме переделывали в это время полы.





ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Возвратившись к себе в село Горки, мы нашли детей наших здоровыми по милости Божьей и очень благодарили Федосью Федоровну за то, что она без нас с ними нянчилась. Она осталась у нас гостить еще.

Соседи наши Титовы, узнав, что мы приехали, не дожидаясь нашего посла, тотчас к нам сами поспешили и были очень рады нашему возвращению. От них мы узнали, что во время нашего отсутствия произошла перемена в нашем соседстве.

В Ольгово приехали на жительство Апраксины; в Храброве стал жить сын старика Оболенского, князь Алексей Николаевич; Горушки принадлежали Обольянинову вместо Власова; в Дьякове поселился Жуков, в Шихове Бахметев, сын с женою.

Апраксины графы и просто Апраксины хотя и одного поколения, но родством счесться не могут. Самый известный из Апраксиных был старший брат царицы Марфы Матвеевны, невестки Петра I, граф Федор Матвеевич. Он был фельдмаршалом, и под его начальством начал свою службу дед моего мужа, первый из Яньковых, Даниил Иванович. У этого Апраксина было два брата, тоже графы, и от них пошли графы, а у Федора Матвеевича, который был женат на Хрущевой, детей не было; он умер при Петре II и схоронен в московском Златоустовом монастыре. Батюшка служил под начальством Степана Федоровича Апраксина, тоже фельдмаршала, и этот приходился Федору Матвеевичу и царице (умершей задолго до его рождения) правнучатым внуком, то есть только слава, что родня.

Степан Федорович был единственный сын Федора Карповича, женатого на Кокошкиной, которая потом вышла за графа Ушакова Андрея Ивановича. Одна из их дочерей, графиня Екатерина Андреевна, была за графом Петром Григорьевичем Чернышевым, отцом княгини Натальи Петровны Голицыной и дедом Екатерины Владимировны Апраксиной. Стало быть, по своей матери Степан Федорович и графиня Чернышева были родные брат и сестра; сын Степана Федоровича, Степан Степанович, был двоюродным братом княгини Натальи Петровны Голицыной (урожденной графини Чернышевой) и, женившись на ее дочери, был, стало быть, женат на своей двоюродной племяннице.

Степан Федорович был женат на Аграфене Леонтьевне Соймоновой, которой мать была урожденная Кокошкина, а как звали — не знаю. Так как он служил и бывал в отлучках и походах, то всем заведовала его

жена, и, должно быть, она была скупенька; как понадобятся деньги, вот он и придет к ней: «Ну-ка, Леонтьевна, распоясывайся, расставайся с заветными, давай-ка денежек».

У Степана Федоровича было две дочери и только один сын, Степан Степанович. Он был младший изо всех детей и был крестником покойной императрицы, почему и был пожалован при крещении чином капитана. Когда отец его умер, он был еще ребенком, и очень молод, когда лишился своей матери. Старшей сестры его, княгини Куракиной, тогда тоже не было уже в живых, и он остался на попечении своей сестры Талызиной Марьи Степановны, которой муж, кажется, в то время был еще в живых. Марья Степановна была фрейлиной при императрице Елизавете Петровне, и известный граф Шувалов, Петр Иванович, за нею, говорят, очень ухаживал, потому что в молодости она была очень хороша. Когда я стала знать ее, в первые годы моего замужества, ей было лет около 60, и то еще была видная женщина.

Брат ее Степан Степанович был лет на двадцать моложе ее и родился, думаю, около 1758 или 1757 года, а женился он на княжне Голицыной Екатерине Владимировне или в 94, или в 95 году. Апраксина была годом старее меня или годом моложе, стало быть, родилась или в 1767 или в 1769 году. У нее было три брата: Петр, Борис и Дмитрий Владимировичи и сестра Софья Владимировна за графом Строгановым; все они были моложе Апраксиной, и все умерли прежде ее. Отец ее Владимир Борисович был только бригадир, человек очень богатый, но, как сказывали знавшие его, очень посредственного ума; жена его, княгиня Наталья Петровна, напротив того, была женщина очень умная, любимая императрицами Екатериною и Мариею Федоровною, с которою была весьма коротка, и уважаемая всем Петербургом, где большею частью всегда жила при дворе, потому что была статс-дамою и чуть ли не имела Екатерининской ленты первой степени.[1] Она много путешествовала и была в Париже при Людовике XVI, была очень хорошо принята несчастною королевой Мариею-Антуанеттой [2] и выехала из Парижа незадолго до начала революции.[3] Она была собою очень нехороша: с большими усами и с бородой, отчего ее называли le princesse Moustache.*[4] Хотя она и была довольно надменна с людьми знатными, равными ей по положению, но вообще она была приветлива. Муж ее был сын Бориса Васильевича, женатого на Екатерине Ивановне Стрешневой, внук Василия Борисовича и правнук Бориса Алексеевича, воспитателя Петра I; по крайней мере, так я всегда слыхала, а верно ли это — этого я уж не знаю. Екатерина Владимировна была очень хороша собою, но имела черты резкие и выражение лица довольно суровое, и поэтому в молодости, когда она была в Париже, ее называли французы Venus en courroux,** потому что походила на разгневанную богиню. Она была фрейлиной при императрице Екатерине II, потом, когда овдовела, при императоре Николае Павловиче была сделана статс-дамою и, как это называется, гофмейстериною, кажется, при дворе Елены Пав-

* княгиня Усатая (*франц.*). — *Ред.*

** разгневанная Венера (*франц.*). — *Ред.*

ловны,[5] а в последние годы своей жизни была кавалерственною дамой большого креста.[6]

С самого первого времени своего жительства в Москве и в нашем соседстве Апраксины заняли почетное, первое место; не знаю, был ли дом, подобный их дому, до их переселения в Москву, но что после них не было подобного, это я могу сказать по всей справедливости. Отчасти можно еще сравнить жизнь князя Юрия Владимировича Долгорукова,[7] но и то дом его, при всей своей вельможественности, был далеко не дом Апраксиных.

Не застала я того времени в Москве, когда граф Орлов Алексей Григорьевич жил под Донским и тешил весь город своими праздниками,[8] но думаю, что и это были дорого стоившие празднества, но не с таким умением и не с таким вкусом устроенные, как у Апраксиных.

Эти имели все, чего человек мог только пожелать: оба были молоды, хороши собою, знатные, богатые, любимы и уважаемы. Вся их жизнь проходила в постоянном веселии и была продолжительным пиршеством.[9]

Когда они живали в Ольгове, куда приходилось из Москвы ехать мимо нас, то не проходило дня, чтобы не проехало двух-трех экипажей туда или обратно. Бывало, видишь с балкона или из гостиной, что едет к мосту экипаж, вот и пошлешь садом человека узнать: кто едет? И окажется, что это Гедеонов, Яковлев, Кокошкин [10] или кто-нибудь из Голицыных едут в Ольгово. Теперь некому и нечем так весело жить, как в то время. Чего только не бывало в Ольгове: был отдельный театр, свои актеры и музыканты, балы, фейерверки, охоты. Эти 20 или 25 лет, которые провели Апраксины у нас в соседстве, в летнее время и по зимам в Москве, было самое веселое время моей жизни, и хотя я сама не была никогда большою охотницей до рассеянной жизни, но тут мне приходилось поневоле тешиться для моих дочерей, и скажу без хвастовства и лести, что то, что нам пришлось видеть на нашем веку, мне и дочерям моим, того ни дети их, ни внуки, конечно, уже не увидят.

Тогда было совсем другое время, и жизнь проводили иначе, чем теперь: кто имел средства, не скупился и не сидел на своем сундуке, а жил открыто, тешил других и сам чрез то тешился; а теперь только и думают о себе, самим бы лишь было хорошо да достаточно. Впрочем, надобно и то сказать, что теперь у всех средства далеко не такие, как тогда, и все несравненно дороже стало, и люди требовательнее, потому что больше во всем роскоши.

При нашем знакомстве Апраксиной было лет 35 или немного более: она была небольшого роста, очень статная и стройная. Лицом была очень красива: прекрасный профиль, взгляд выразительный, но общее выражение лица суровое, даже и во время веселости и смеха. По прежней привычке Екатерина Владимировна продолжала густо румяниться, когда уже другие переставали употреблять румяны. Одевалась она всегда хорошо и к лицу и более всего старалась нравиться своему мужу, у которого на совести было немало грешков против жены; но об этом лучше и не говорить. Она это знала, потому что многое слишком явно бросалось в глаза, но ни-

когда не подавала и виду, что знает что-нибудь или догадывается. Вообще нельзя не подивиться, как она умела владеть собой и как она была всегда одинаково хороша со своим мужем. Чувствуя всю добродетель жены, Степан Степанович ее очень уважал, и, отдавая полную справедливость ей, он выстроил у себя в Ольгове в саду беседку наподобие древнего храма, посредине, на высоком пьедестале, поставил мраморную статую своей жены, а над входом в храм золотыми словами была надпись: «Hommage à la Vertu».*

Апраксина была примерная и почтительная дочь, верная и добродетельная жена и заботливая и хорошая мать.

Степан Степанович был годами 12-ю старее своей жены, но по живости и веселости, скажу — даже ветрености своего характера всегда казался моложе ее. Он был добрый, милый и любезный человек, очень общительный и готовый для каждого на всевозможные услуги.

При императоре Александре I он вышел в отставку и служил только по выборам: был очень долгое время московским губернским предводителем и был всеми очень любим; имел он чин генерала от кавалерии и Александровскую ленту.[11] Не сумею я толком рассказать и подробностей не помню, но слышала я, что он повредил себе по службе своим легкомыслием: служил он в Польше и имел какое-то секретное, очень важное поручение, которое требовало большой осторожности и тайны.[12] Польские паны как-то это почуяли и, зная, что Апраксин очень пылок сердцем к хорошеньким женщинам, подослали к нему таких, которые его очаровали и незаметно для него выведали тайну и чрез то помешали ему исполнить секретное поручение. Это я рассказываю в общих словах, потому что подробностей не знаю; слышала только, что если б это сделал другой кто-нибудь без такой сильной протекции, как Апраксин, то не только был бы уволен от службы, но и подвергся бы военному суду. Не злой умысел, но легкомыслие было причиной его оплошности, и вследствие этого он оставил службу, уехал из Петербурга и жил в Москве как совершенный вельможа; без лести, он был у нас в Москве последним истинным вельможей по своему образу жизни.

Состояние Апраксиных позволяло им жить по-барски, потому что имели они 13 или 14 тысяч душ крестьян. Самое любимое их место жительства было село Ольгово, которое они привели в цветущее положение; а дом их в Москве, на углу Знаменки, рядом с церковью через переулок, был в свое время совершенным дворцом и по обширности одним из самых больших домов в Москве. В этом доме бывали такие празднества, каких Москва уже не увидит.[13]

В 1818 году, когда двор был в Москве, Апраксины давали бал, и вся царская фамилия и какие-то принцы иностранные были на этом празднике, а званых гостей было, я думаю, 800 ежели не 1000 человек.

Ужин был приготовлен в манеже, который был для этого вечера весь заставлен растениями и цветами, было несколько клумб, между ними битые дорожки. На возвышении в несколько ступенек приготовлен стол

---

* «Дань уважения к добродетели» (*франц.*) — *Ред.*

для государя, императрицы, двух великих князей и принцев, а направо и налево, вдоль всего манежа, множество маленьких столов для прочих гостей. Государь вел к ужину хозяйку дома, которая-то из императриц подала руку Степану Степановичу, а великие князья и принцы вели дочерей и невестку, молодую Апраксину, Софью Петровну, урожденную графиню Толстую, дочь графа Петра Александровича, бывшего одно время послом при Бонапарте. Графиня Марья Алексеевна, жена его, была урожденная княжна Голицына и приходилась Екатерине Владимировне двоюродною сестрой, потому что была дочь родного ее дяди, князя Алексея Борисовича, женатого на княжне Грузинской.

Молодая Апраксина была прекрасная собой: свежа и румяна, совершенная роза. На ней была белая атласная юбка в клетку, шитая бусами, а на тех местах, где клетки пересекались, крупные солитеры, лиф бархатный, ярко-красный, также шитый бусами и солитерами...

Во время бала вдовствующей императрице [14] угодно было обойти всю залу и приветствовать дам и девиц милостивым словом.

За ужином мне пришлось сидеть неподалеку от царского стола, и хотя не все было слышно, что там говорили, но все видно, что делалось. На конце царского стола сидела графиня Разумовская Марья Григорьевна, урожденная княжна Вяземская. Она была сперва за князем Александром Николаевичем Голицыным, потом его оставила и при его жизни вышла за графа Льва Кирилловича Разумовского, и пока ее первый муж был жив, брак ее с Разумовским не был признаваем. Голицын умер или в 1817 или в этом же 1818 году. За ужином государь обратился к ней с каким-то вопросом, она отвечала, и потом, слышу, она спрашивает вполголоса у своей соседки по-французски:

— Вы слышали, что государь меня назвал графинею?

— Да, как же...

— Вы хорошо слышали?

— Конечно, Боже мой, слышала...

— Так он меня назвал графинею? Ах, слава Богу, слава Богу... Это потому так порадовало Разумовскую, что ее брак был, стало быть, признан по смерти ее первого мужа...

Впоследствии эта графиня Разумовская была при дворе и, не имея никакого придворного чина, очень часто посещала императриц как знакомая.*

В доме Апраксиных был отдельный театр с ложами в несколько ярусов, и когда в Москву приезжала итальянская опера, то итальянцы в этом театре и давали свои представления,[15] и помнится мне, что в 1818 или 1819 году как будто тут же видела известную мамзель Жорж.[16]

Все знатные певцы, музыканты и певицы, которые бывали в Москве, непременно попоют и поиграют у Апраксиных, и много хорошего наслушалась я на своем веку в их доме.

---

* Скончалась в шестидесятых годах, имея более от рождения 90 лет; до конца жизни одевалась по моде, и после ее смерти осталось несколько сот платьев и сундуки с кружевами и лентами.

Не припомню, в котором именно году, добрые наши соседи Титовы продали свою деревню Сокольники, которую и купил Степан Степанович Апраксин, а когда его старшая дочь Наталья Степановна вышла замуж за князя Сергея Сергеевича Голицына, то он ей и отдал это имение, и Голицыны несколько лет тут прожили. Жаль нам было Титовых, потому что мы с ними свыклись, но соседство Голицыных было приятно потому, что князь Сергей Сергеевич был очень веселый и милый человек, весьма любезный и приветливый и очень хороший музыкант и сочинитель многих романсов.[17] Потом Голицыны переехали жить в Петербург, и когда мы туда ездили в 1822 году и там прожили целый год, с ними часто видались; он умер в скором времени после холеры,[18] помнится, что в один год с Владимиром Степановичем Апраксиным, стало быть, в 1832 или 1833 году; детей у Голицыных не было.

Вторая дочь, Софья Степановна, вышла за князя Щербатова Алексея Григорьевича, который потом был в Москве генерал-губернатором.

II

Дом Обольяниновых был совершенно в другом роде, чем дом Апраксиных, чувствовалась великая разница: один был природный вельможа, другой человек случайный и временщик.

Петр Хрисанфович Обольянинов был очень небогатый порховский дворянин, который служил в военной службе в Гатчинском полку, умел снискать расположение великого князя Павла Петровича, а когда тот вступил на престол, сделался важным человеком и получил пожалование от государя более 3000 душ крестьян и в четыре года Павлова царствования очень шагнул вперед. Он один из первых после кончины императрицы получил Анненскую ленту,[19] был потом генерал-прокурором и пользовался неограниченною доверенностью государя.

От природы Обольянинов был очень умный человек, с быстрым соображением, но мало учен и по нашему времени, так что едва-едва умел писать, а был, однако, человеком государственным, и не последним.

Он не знал иностранных языков, не говорил и даже не понимал, и вообще не любил ничего иноземного. Находившись долгое время при дворе и в обществе людей высшего круга, он немного понатерся: умел себя держать очень прилично своему званию, но в разговоре заметно было, что он не получил настоящего обучения. Характером он был крут, был честен, благороден, но жестковат и очень настойчив. Вот ничтожный случай, который может показать, до чего он был требователен, чтобы его воля была исполнена безоговорочно. Он был охотник до цветов и, когда купил Горушки, очень занимался своим садом и любил, чтобы было много цветов, и строго запрещал их рвать. Какая-то соседка приехала к нему в деревню со своим сыном, мальчиком лет 10 или 12. Пред обедом мальчик просится идти погулять в саду. Обольянинов и говорит ему: «Иди, гуляй, сколько угодно, но, сохрани тебя Бог, ежели ты у меня сорвешь цветок — заставлю съесть, слышишь, уговор лучше денег». Пошел маль-

чик в сад и, нагулявшись вдоволь, возвращается оттуда. Обольянинов подозвал его к себе. «Ну что, голубчик, набегался, натешился? И цветов не рвал?»

— Нет-с. . .

После обеда пошли в сад гулять все гости и сам Обольянинов, и тут он, где-то в кустах, подсмотрел пучок нарванных садовых цветов. Ему тотчас пришла мысль, что, верно, мальчик-гость нарвал и потом бросил, струсив. . . Он поднял цветы и, держа в руках, подошел к гостям и пристально и строго посмотрел на мальчика; тот весь так и посоловел.

Обольянинов подозвал мальчика и спросил его: «Что говорил я тебе, когда ты просился гулять в сад?».

Мальчик молчит, опустив голову. Он опять его спрашивает — нельзя не отвечать.

— Чтоб я не рвал цветов.

— А это что? Кто это рвал?

Пришлось признаться.

— Я обещал тебе, что заставлю тебя съесть, — так ешь же сейчас все, что нарвал.

Все думали, что он хочет пугнуть мальчика и постращать за ослушание, и засмеялись, видя испуг мальчика, но каково же было удивление всех, когда увидели, что хозяин не шутит и настоятельно требует, чтобы ребенок ел цветы.

— Петр Хрисанфович, простите моему сыну, он виноват, более не будет этого делать, — говорила мать. . .

— Может быть, тут вредные цветы, — сказал кто-то из гостей.

Что же? поставил на своем: заставил мальчика все съесть до последнего листика и, кроме того, выдрал еще за уши, приговаривая: «Это за то, что ты солгал и запирался».

Мальчика стало рвать.

— Ничего, — говорил Обольянинов, — вперед будет умнее; не беспокойтесь, не умрет.

Однако, говорят, у бедного мальчика была потом горячка от испуга, что ль, или от вредных цветов.*

Лицом Обольянинов был очень некрасив: худощав, большой нос луковицей, впалые глаза со строгим взглядом, волосы очень редкие на всей голове и так плотно выстрижены, что ухватить нельзя. Он был бы довольно высок, если бы не держал себя согнутым; думаю, что это было от привычки, а под старость, когда он не мог уже ходить и его возили по комнатам в креслах, голова его до того нагнулась, что чуть не на коленях лежала; это была уже немощь.

Жена его Анна Александровна, урожденная Ермолаева, была в первом замужестве за Нащокиным,[20] который был гораздо старее, чем она, и потому, как сама рассказывала, она одевалась старше своих лет, а когда

* Этот рассказ я много раз слышал и от бабушки, и от матушки, которая почти всегда мне его повторяла, когда мы ехали в Горушки к Обольянинову, и я в детстве на него всегда смотрел с ужасом и страхом и, конечно, никогда и не подумал посягнуть на его цветы. *Внук.*



приласкает которую-нибудь из собак или похвалит, то хозяйка готова того человека расцеловать, так ей этим можно было удружить; а собаку согнать с колен, ежели ей вздумается к гостю вскочить, — значило хозяйку разобидеть донельзя: хочешь не хочешь держи, а ежели и укусит — молчи, а то Обольянинова тотчас надуется.

Раз кто-то из людей на собаку топнул, собака завизжала и бросилась бежать к хозяйке; из-за этого вышла целая история: Обольянинов возвратился домой, жена ему нажаловалась, — человека выбранили и рассчитали, потому что был наемный, а своему было бы и того хуже.

Словом сказать, у Обольяниновых в доме хозяева были не они сами, а их собаки; все им угождало, все их ласкали, и хозяйка все это внимание принимала на свой счет.

Детей у Обольяниновых не было. Он имел брата и сестру.

Кто был брат его Михаил Хрисанфович — я совсем не знаю; он был небогатый псковский дворянин, женат на Евфимии Ефимовне и имел сына Михаила, которого я помню еще Мишенькой. Потом он служил в военной службе; в двенадцатом году ему оторвало ногу, и он ходил на деревянной ноге: был он, кажется, полковником в отставке. Добрый, хороший человек, очень умный, но ужасно боявшийся дяди: в его присутствии он все более молчал. Собой он был бы недурен, но лицо его от оспы было очень испорчено. Он был женат впоследствии на княжне Горчаковой Елизавете Михайловне, дочери князя Михаила Алексеевича, женатого на баронессе Остен-Сакен, урожденной Ферзен. Не умею сказать, отчего Горчаков жил в Ревеле, и княжны, прекрасно воспитанные, были совершенные немки, и когда Обольянинова, вспоминая свое детство, хвалила что-нибудь немецкое, старику-дяде это было как нож острый, — он, который любил одно только русское.

Анне Александровне Господь не судил видеть Мишу женатым: она скончалась в 1822 году, а племянник ее мужа женился в 25 или 26 году. Петр Хрисанфович очень был огорчен кончиной жены и до самой своей смерти спал на ее кровати, на ее подушках и покрывался тем одеялом, под которым она умерла. Судя по наружности, нельзя бы, казалось, и ожидать от него такой нежной любви.

Нас в Москве не было, когда умерла его жена; мы в тот год жили в Петербурге и не видали его в первое время его вдовства, а он, говорят, был неутешен и плакал как ребенок.

У Михаила Михайловича были три дочери: Анночка, Еленочка и Катенька, и все три умерли в 1831 или 1832 году от скарлатины, в одну неделю; это старика тоже очень огорчило. Потом у них родились еще две дочери, вторые Анна и Елена,* и они пережили свою мать, дедушку и отца: Елизавета Михайловна умерла родами в 1840 году. Я ездила навещать Петра Хрисанфовича и сама была свидетельницей того, как этот старик, по-видимому черствый и суровый, горько плакал. Ему тогда было за 80 лет.

---

* Анна Михайловна за графом Адамом Васильевичем Олсуфьевым; Елена Михайловна за Владимиром Алексеевичем Всеволожским (вторая его жена, первая была Суровщикова).

— Благодарю вас, матушка Елизавета Петровна, что вы меня вспомнили и посетили старика в великой скорби: я лишаюсь не племянницы, а дочери, и она оставляет трех сирот — двух дочерей да меня. Я надеялся, что она мне глаза закроет и меня схоронит, а вот приходится мне видеть ее в гробу.

И очень, очень плакал старик.

Впрочем, ему недолго приходилось сиротеть, потому что чрез год или полтора * и сам успокоился.

По вступлении на престол императора Александра I Обольянинов вышел в отставку. Он во всеуслышанье говорил:

«Я всею душой был предан покойному государю (императору Павлу) и чувствую, что служить опять так другому я не могу: и он легко остался бы недоволен, а главное, и я сам, и потому лучше с честью идти на покой».

Он был много лет московским губернским предводителем, и всею Москвой был высоко чтим, и во время своего служения по выборам получил Владимирскую ленту,[21] а Андреевскую [22] он имел уже при императоре Павле. Дом его был на углу Тверской и Садовой, к Тверской-Ямской; до 1812 года дом был на дворе с большим садом и двумя флигелями; в двенадцатом году большой дом и один из флигелей сгорели, а другой флигель уцелел, и в нем-то он потом и жил до своей кончины. У него в доме была домовая церковь, которую после его кончины упразднили.

Сестра Петра Хрисанфовича, Марья Хрисанфовна, была замужем за полковником Симоновым. По смерти мужа она осталась с очень скромным состоянием, и по ходатайству брата ей было пожаловано имение в 300 душ. У нее было два сына, Федор и Александр, и дочь Наталья Андреевна, которая в девицах. В 1822 году, в бытность нашу в Петербурге, Марья Хрисанфовна Симонова была еще в живых, а когда умерла, достоверно этого не знаю.

В Дьякове, в шести верстах от нас, поселился Жуков Никифор Иванович. Он был средних лет, небольшого роста, плотен, плечист и лицом весьма некрасив. Прежде он был очень небогат: имел душ 150 или 200 крестьян и жил скромно и расчетливо. Вдруг ему досталось после отца имение в 1000 душ, у него закружилась голова; он думал, что его состоянию не будет конца, и видя, как жил Апраксин от 13 000 душ или Обольянинов, тоже богатый человек, вот он и вздумал тянуться за ними. Завел охоту, музыкантов, певчих, и мало ли каких еще прихотей он себе не позволял. . .

Он у нас бывал довольно часто и нас очень забавлял своим хвастовством и лганьем; вот уж точно можно было про него сказать: не любо — не слушай, а лгать не мешай. Когда он начинает что рассказывать — говорит сперва, как и все порядочные люди, а там и пойдет прилыгать, и все пуще, и пуще врет и, наконец, до того заврется, что и сам почувствует, что далеко заехал, и вдруг остановится и скажет: «Вы, я вижу, не верите, а оно правда так было. . .»

---

* Умер в 1842 году, 22 сентября, в Москве, погребен вместе с женою в своем имении в Тверской губернии.

Один раз стал рассказывать при нас у Апраксиных, что у него в Дьякове такой урожай этот год, такая рожь, что войдет человек — так и не видать его во ржи.

— Высока и густа у меня рожь в тамбовской деревне, — говорит Дмитрий Александрович, — а такой я все-таки не видывал. Вы не верите, ну, хорошо же, пришлю вам показать. . .

Прошло несколько дней, и точно присылает целый сноп: предлинная солома, пожалуй, без малого в сажень; но только потом нам сказывали, что он посылал по всему полю собирать самые высокие стебли.

Однажды у нас гостила сестра моя Анна Петровна, вот мы и сговорились — мой муж, она и я — по очереди подстрекать Жукова. Чуть беды мы не сделали: когда он лжет, то весь раскраснеется и с него пот градом; он лгал, лгал — смотрим, покраснел, весь багровый, того и гляди, с ним будет удар.

Потом еще раз привозит нам корзину яблок прекрупных и говорит: отгадайте, с какой яблони эти яблоки?

Ему и говорят, что это такой-то сорт.

— Ничуть не бывало. . . Еду я раз лесом, смотрю — яблоня в цвету, велел я заметить, пересадить ее в сад, и вот с нее эти яблоки, а яблоня-то дикая.

Он плохо знал по-французски, а любил щегольнуть своим знанием, и выходило всегда пресмешно.

Так он говаривал: «J'avais connu un demoiselle français, j'ai des pommiers féroces dans la bois»,* и в этом роде.

Что потом с ним сделалось, я не знаю: он продал свое имение, переехал в Москву, и так я потеряла его из виду.

В Храброве, вместо старика Оболенского, стали жить его сын, князь Алексей Николаевич, с женой. Она была по себе Магницкая Александра Леонтьевна, внука известного Магницкого, составителя первой русской арифметики.[23] Она была очень милая, добрая и любезная женщина, очень недурна собой и приятного обращения. У нее было четверо детей: два сына — Николай и Михаил, и две дочери — Екатерина и Варвара. С Оболенскою жила и сестра ее, Анастасия Леонтьевна Магницкая, пожилая девица. В Москве у них был дом под Новинским, а другой рядом, в переулке, каменный, что на бульваре, был куплен Колошиным в 1837 или 38 году и заплачен 35 000 ассигнациями.

Кроме этих ближайших соседей мы езжали в Новое к двоюродной сестре мужа, к Неклюдовой, и по пути заезжали в Храброво к Оболенским, потом к обеду приедем в Новое, там отдохнем и возвратимся домой к вечеру, а то отправимся далее, в село Болдино, к бабушке Аграфене Федотовне Татищевой, у нее переночуем, иногда гостим день и два. Случалось, что мы ездили к ее именинам, 23 июня; тогда и свою именинницу — Грушеньку, ее крестницу, берем с собою. Бабушка очень ее любила и была к ней весьма милостива.

---

* «Я знавал один французский барышня, в моя лес растут хищные яблони» (*франц. искаж.*). — *Ред.*

Бабушка скончалась в 1811 году. До самой ее смерти мы бывали у нее раз или два в лето; в иной год и она приезжала к нам; иногда дядюшка Ростислав Евграфович Татищев, тоже на перепутье из Москвы в свою тверскую деревню (село Дубны), заезжал к нам, и это почти каждое лето раз, а иногда два раза.

Евграф Васильевич не ездил к себе в деревню, как обыкновенно ездят другие; он терпеть не мог останавливаться на постоялых дворах или в избах, а останавливался, где ему приглянется место и когда вздумается. За ним всегда ездила фура, в которой ехала дорожная поварня, буфет и палатка. Вдруг ему понравится место и закричит: «Стой, палатку!» Тотчас разобьют палатку, расстелят ковры, расставят складной стол, походные кресла, и он выйдет из кареты и сидит себе в палатке, жуирует, а в другой палатке люди, а лошадей кормят в это время. Он был очень умный человек, и сердцем не то чтобы злой человек, но превзбалмошный и прегорячий: чуть что не по нем сделает человек, того и гляди, что закричит: «Плетей» — и живо велит отодрать на конюшне. В ту пору, к сожалению, это водилось, и зачастую, что пороли людей, и по-тогдашнему это не считалось предосудительным, не казалось даже и жестоким. Но бывали и ужасные случаи: так вот, например, граф Каменский был очень жесток в обращении со своими людьми, и кончилось тем, что люди его сговорились и в деревне его зарезали.[24] Да, бывали такие случаи!

К слову о Каменских: вспомнила я еще одну мелочь о бабушке Аграфене Федотовне Татищевой.

Она нюхала табак, как почти все в наше время, потому что любили пощеголять богатыми табакерками, и у бабушки были прекрасные, золотые, с эмалью и с бриллиантами. И что же? какая странность: позвонит, бывало, человека, даст ему грош или пять копеек и скажет: «Пошли взять у будочника мне табаку». Немного погодя и несут ей на серебряном подносе табак от будочника в прегрязнейшей бумаге, и она, не брезгая, сама развернет и насыпает этот зеленый противный табак в свои дорогие золотые табакерки. И это много раз случалось при мне, и я не могла надивиться, как ей это только не было гадко покупать свой табак у будочника.

В наше время редкий не нюхал, а курить считали весьма предосудительным, а чтобы женщины курили, этого и не слыхивали; и мужчины курили у себя в кабинетах или на воздухе, и ежели при дамах, то всегда не иначе, как спросят сперва: «Позвольте».

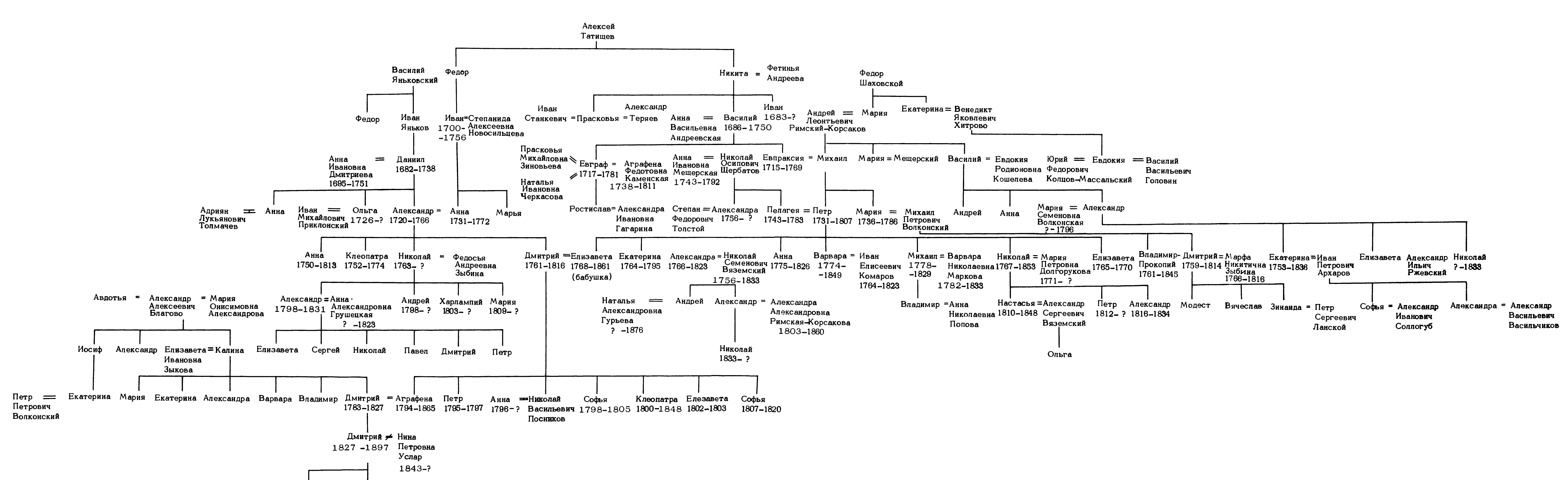
В гостиной и в зале никогда никто не куривал даже и без гостей в своей семье, чтобы, сохрани Бог, как-нибудь не осталось этого запаху и чтобы мебель не провоняла.

Каждое время имеет свои особые привычки и понятия.

Курение стало распространяться заметным образом после 1812 года, а в особенности в 1820-х годах: стали привозить сигарки, о которых мы не имели и понятия, и первые, которые привезли нам, показывали за диковинку.

И много бывало таких вещей, которые нам казались странными и которые потом сделались совершенно обыкновенными. Как сейчас помню,

СВОДНАЯ РОДОСЛОВНАЯ ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ БЛАГОВО, РИМСКИХ-КОРСАКОВЫХ, ТАТИЩЕВЫХ, ЯНЬКОВЫХ, УПОМИНАЕМЫХ В КНИГЕ.



что в начале 1800-х годов Дмитрий Александрович читал однажды газеты, остановился, да и говорит мне: «Представь себе, какой вздор печатают: будто в Америке англичане хотят устроить дорогу, по которой будут ездить без лошадей, а посредством силы паров:[25] это значит, как в сказке будет ковер-самолет. Каких глупостей не печатают!» Тогда это казалось невероятным, а прошло 30 или 40 лет, и у нас у самих стали кататься по железным дорогам,[26] и что тогда мы считали вздором, теперь оказывается возможным и становится самою обыкновенною вещью. Пароходам тоже как дивились в первое время, и серные спички, которые сами зажигаются, совсем не редкость и не диковинка, а за сто лет все это сочлось бы едва ли не колдовством.





ГЛАВА СЕДЬМАЯ

(1806—1809)

I

В 1806 году мы провели все лето в Горках; в тамбовскую деревню не ездили, а только во время Успенского поста[1] были на богомолье у Троицы. Отправились мы 4 августа в большой линейке: Дмитрий Александрович и я, взяли с собой старшую девочку — Грушу (ей было уже 12 лет) и приехали обедать к Анне Васильевне Титовой в Сокольники.[2] С нами сговаривались ехать и ее дочери к Троице, и, отобедав у Титовой, мы все уселись в нашу линейку и поехали. Ночевали в Дмитрове на квартире у одного купца, напротив моста.

Наутро мы выехали из Дмитрова в седьмом часу и к девяти приехали в село Озерецкое; обедали, выждали, чтобы свалил жар, и отправились в Хотьков монастырь. Там, как водится, отслужили панихиду по родителям преподобного Сергия[3] и тотчас же поехали к Троице и остановились в гостинице. В то время там пребывал преосвященный митрополит Платон. Узнав, что он назавтра, в Преображенье,[4] будет служить у праздника в Вифании, мы положили туда ехать к обедне.

Вифания начала свое существование только при митрополите Платоне и устраивалась на моей памяти. При его предместнике, преосвященном Самуиле, который, как мне сказывали, временно управлял Московскою митрополией (после убиения во время чумы преосвященного Амвросия),[5] архиерейский загородный дом был несколько левее Вифании; там были прекрасные обширные пруды, саженые рощи, которые я застала, и много кедровых деревьев. Это место не полюбилось преосвященному Платону; он выбрал место поправее, построил там для себя дом с церковью и назвал ее Вифания. Когда после коронования император Павел со всем семейством ездил на богомолье в Лавру, то посетил бывшего своего законоучителя, митрополита Платона, в Вифании и там у него кушал.

Много рассказывали о новой Вифанской церкви, устроенной внутри наподобие горы Фавор:[6] кто хвалил, а кому и не нравилась, и вот наконец довелось мне и самой ее видеть. Нам сказали, что обедня начнется в восемь часов, и мы встали пораньше, так что в семь часов были уже готовы ехать; проехали эти три версты от Троицы до Вифании и туда поспели еще до благовеста. В этот день я видела архиерейское служение все вполне, от начала до конца.

Церковь мне не понравилась: нижняя очень низка и как-то сдавлена, а Преображенская, верхняя, хотя и довольно высока и обширна, но пло-

щадка наверху мала, всходы круты и, что очень странным показалось всем нам, множество разных звериных чучелок рассованы во мху, которым устлана гора. Это как будто не идет ко храму Божью. Конечно, владыка был умный человек и знал, что делал, и, может быть, на его взгляд это было очень благолепно, но по нашим мирским суждениям казалось неодобрительным.

В церкви было много народу, однако мы стали хорошо и все прекрасно видели. Я нашла в митрополите большую перемену: не видав его лет двадцать, я себе все представляла его довольно молодым, так лет под пятьдесят, и очень красивым собою, как я его помнила. Тут я увидала его очень постаревшим, весьма тучным, совсем седым, впрочем, довольно еще бодрым, хотя его и вели под руки; но это, я думаю, для пущей важности, по святительскому сану. Служение было очень торжественное и праздничное; торжество еще усугубилось посвящением нового архимандрита, николо-песношского игумена Макария: владыка посвятил его в архимандрита в наш Дмитров в Борисоглебский монастырь.

По окончании литургии было освящение плодов: посреди церкви поставили столик, как бывает для благословения хлебов, и два дьякона принесли и поставили на него большое серебряное блюдо или, скорее, корзину, наполненную всякими плодами. Тут были: арбуз, дыня, яблоки, персики, сливы, вишни; посредине ананас, воткнутый совсем с зеленью; торчали разные колосья, кукуруза, были и всякие мелкие ягоды, истинно можно было сказать: благословение всех плодов земных.

Потом, когда окончилась вся служба и владыка вышел всех благословлять, два иподьякона несли за ним благословленные плоды в покои. В служении с митрополитом в этот день были два архимандрита: вифанский, он же вместе и наместник в Лавре — Симеон (который потом был в Москве, в Донском монастыре *), и новый архимандрит борисоглебский и, кроме того, еще много почетных иеромонахов; может быть, в числе их были и какие игумены или строители.

В начале одиннадцатого часа вся служба окончилась, мы сели в нашу линейку и поехали обратно. Погода была светлая, день теплый, но жаркий, оттого остановились и гуляли в архиерейских рощах.

По возвращении к Троице мы отобедали и пошли в монастырь осматривать все, что там достойно примечания, были в ризнице, которую нам показывал отец Иаков, бывший до того времени на Махре строителем. Ходили в митрополичий дом и во дворец и все подробно осмотрели. Потом отстояли всенощную и служили молебен.

На другой день собрались совсем в путь; отправились к ранней обедне и приложились к мощам; из монастыря прямо поехали в дорогу. В Хотьков этот раз мы не заехали, а остановились в деревне Горбуновой, где купец Попов завел фарфоровый завод, и ходили все осматривать, купили сколько-то посуды и поехали в Озерецкое; ночевали в Дмитрове, а на

---

* В 1816 году хиротонисован во епископа тульского, в 1818 году переведен в Чернигов, в 1819 году сделан архиепископом, в 1820 переведен в Тверь, в 1821 году — в Ярославль и в 1824 там же умер.

следующий день приехали до полдня в Сокольники к Титовой и у нее обедали.

В этот же год, кажется, приехали в наше соседство еще новые соседки в сельцо Хорошилово. Чье было оно прежде — что-то не припомню, а тут его купила, слышу, какая-то Неелова. В ту сторону, за Хорошилово, мне редко приходилось ездить. Там жили только Ртищевы, две немолодые девушки: Вера Михайловна и Татьяна Михайловна в сельце Михалкине, а за ними, влево, Лужины в сельце Григорове, а вправо, в Данилихе — сперва Болтин, а потом его дочь, Варвара Александровна Баранова, хорошая моя приятельница.

Слышу, что новая соседка в Хорошилове, а ни к кому не едет; думаю: «Стало, не желает знакомиться; она новая приезжая, так ей и следует приехать первой; не мне же ехать к ней».

Раз как-то в воскресенье, после обедни, подходит ко мне, при выходе из церкви, какая-то деревенская женщина, кланяется.

— Откуда, милая?

— Из Хорошилова, сударыня. . . У меня дело до вашей милости.

— Что такое?

— Да вот, матушка, новые господа приехали и им желательно было бы с вами познакомиться, наказывали вам поклон передать. . .

— Кланяйся и от меня, скажи, что и я рада буду познакомиться. Милости просим в гости, ежели угодно.

Очень странным показалось мне такое знакомство: как это посылать поклон чрез деревенскую бабу?

На другой ли, на третий ли день приезжает ко мне хорошиловская барыня, докладывают:

— Елизавета Сергеевна Неелова со своею сестрицей Верою Сергеевною Бутурлиной.

Велела принять.

Входят две барыни: одна высокого роста, полная, лет сорока пяти или более, лицом недурна и рекомендует себя:

— Я Неелова, а вот это моя сестра Бутурлина. . .

Та среднего роста, худенькая, тоже недурна собою, лет тридцати на вид, и обе очень как-то странно одеты, по-иногородному, а не по-нашему.

Эти Бутурлины нижегородские, как они мне сказывали, ардатовские. Их было пять сестер: Александра Сергеевна за Мирошевским, Анна Сергеевна за Жуковым Василием Михайловичем,* Марья Сергеевна за Иваном Петровичем Кислинским, Елизавета Сергеевна за Нееловым, Вера Сергеевна девица, и был у них еще брат Николай Сергеевич, не помню, на ком женатый, и у него остались дети.

В первое время мы не очень сошлись в знакомстве и виделись редко, но впоследствии очень подружились, и до конца их жизни обе сестры

---

* Был в свое время довольно известным писателем [7] и другом кн. Ив. Мих. Долгорукова, который часто его посещал. Однажды они вечер сидели вместе и расстались оба здоровые и веселые. Наутро князю докладывают, что приходил человек от Жуковой сказать, что Василий Михайлович вчера скончался. Это очень поразило Долгорукова. В сборнике его стихотворений «Бытие моего сердца» есть стихотворение на смерть Жукова.[8]

были к нам сердечно расположены, и мы все также очень их любили.

В первый раз, что я поехала в Хорошилово отдавать визит, было довольно свежо. Подъезжаю к дому, вижу, идет ко мне навстречу какой-то мужчина в шинели и в ночном колпаке. Думаю: не брат ли это Бутурлин?

Каково же было мое удивление, когда, подошедши ближе, говорит мне этот мужчина: «Здравствуйте, Елизавета Петровна. . .» Оказывается, что это сама Неелова!

— Откуда это вы так? — вырвалось у меня.

— Я была на стройке, хожу всегда в шинели, которая осталась после покойника: нужно же донашивать.

Конечно, на первых порах я ничего ей не сказала: что же оговаривать незнакомых людей, Бог весть, как еще это покажется? Очень я подивилась, однако, такому одеянию; но впоследствии, когда мы покороче стали знакомы, я при случае как-то раз сказала Елизавете Сергеевне:

— Ну, матушка, удивила же ты меня, как я в первый раз к тебе приехала. . .

— А чем же? — спрашивает она меня.

— Как это тебе в голову только пришло ходить в плаще и колпаке?

— Э, что за беда? Не бросать же, коли есть. . .

— Воля твоя, моя милая, а по-моему, кажется, этого бы не следовало делать: у нас это здесь не принято.

Дом в Хорошилове был тогда старый и ветхий, в котором Неелова жила еще сколько-то лет, а потом она выстроила новый дом по образцу нашего пречистенского, строенного после французов.

Наш дом у Неопалимой Купины, старый уже и при моем замужестве, год от году становился все хуже и плоше. Во время нашего житья в тамбовской деревне он еще пообветшал, и хотя его почистили и кое-что в нем поновили, однако он был все-таки не пригоден, а главное — холодноват зимою, и так как покои были высоки и печей много, то разорял нас дровами.

Я все твердила мужу:

— Продадим его, пока еще он не рухнулся, и купим лучше где-нибудь другой, не в такой глуши, или купим место и выстроим себе по мысли.

— Хорошо, матушка; прибью ярлык, что продается, — обыкновенно отвечал мне Дмитрий Александрович.

Но это «хорошо» я слушала не один год, а все ярлыка не прибивают у ворот. Наконец провалился в одной комнате накат и девичье крыльцо чуть не рассыпалось.

Я этим воспользовалась, стала опять приступать:

— Да что же, Дмитрий Александрович, когда же ты решишься дом продать? Теперь еще кто купит его, перестроить может, а то будут просто дрова, и я, право, боюсь за детей, того и гляди, что, прыгая, под полом очутятся или потолок их прикроет. . .

На этот раз слово мое подействовало: ярлык прибили у ворот, и начали приходить покупатели. Цену мы назначили умеренную — восемь тысяч. Много ходило смотреть дом, и некоторые, как видно, и не прочь бы были купить, да недовольны были, что велик за домом пустырь: «Много придется поземельных платить».

И все только и твердят: пустырь велик. Мне Дмитрий Александрович и говорит:

— Вот видишь ли, смотрят дом, а не покупают, — много земли; я уж думаю, не огородить ли пустырь и потом продать особо.

Так и сделали: наняли плотника, пустырь огородили, а цены с дома не сбавили, думаем — увидим, что будет. Опять смотрят, а все не покупают; наконец, пришел какой-то господин, не помню фамилии, но знаю, что звали его Федулыч.

— Ну, — говорю я мужу, — коли пошли ходить федулычи, верь, проку не будет.

А вышло дело наоборот: он-то и купил, заплатил 8000, а место отделенное осталось за нами; сверх того, и мы продали его после почти за столько же, как и дом.

Запродав наш дом, тут уж мы сами стали искать для себя где-нибудь в середине города, так чтобы недалеко было от батюшкиного дома на Зубовском бульваре и от сестры Вяземской, имевшей дом на Пречистенке. И, как нарочно будто бы для нас, через дом от дома сестры и через переулок от Архаровых продавали дом Бибиковы; мы этот дом и купили. Дом был старый и ветхий, но нам было главное нужно место, и мы решили строиться сами, как удобно для нашего семейства.

II

Осенью, в ноябре месяце 1806 года, мы приехали в Москву; ко мне приехала гостить сестра Анна Петровна, а батюшка оставался в Покровском; по делам ездил в Петербург и опять возвратился в деревню.

В январе месяце я с сестрой ездила к нему и прогостила недели с две; сестра осталась, а я возвратилась в Москву.

Здоровье батюшки давно уже становилось все хуже и хуже: у него была водяная, пухли по временам ноги, и была большая одышка.

Я стала его уговаривать переехать в Москву.

— Вы, батюшка, изволили бы в Москву приехать и повидались бы с кем-нибудь из докторов, они бы вам помогли.

— Нет, матушка, никто мне помочь не может; у меня болезнь, от которой не излечиваются, — водяная. В Москву поехать я, пожалуй, поеду, не для себя, потому что всем этим лекаришкам я ни на грош не поверю, а поеду, чтобы вас утешить и быть вместе с вами, — это мне будет отрадой и облегчением...

Мы с сестрою заплакали и батюшку обняли...

Он тоже прослезился...

— Не плачьте, мои голубушки: сколько Господь определил прожить, столько и проживу: никто ни дня ни часа ни убавить ни прибавить не может... Слава тебе, Господи! пожил немало, нужно и честь знать, а то, пожалуй, и до того доживешь, что и другим, и себе в тягость будешь, как чурка будешь лежать, и тебя станут ворочать с боку на бок; не приведи Господи до того дожить.

Так, погостив у батюшки, я и поехала в Москву обратно, и приказал батюшка сказать, чтоб его дом готовили к его приезду. Вверху в его доме жил тогда брат Михаил Петрович с женой, а внизу было батюшкино помещение, так как ему было трудно входить на лестницу.

Здоровье батюшки видимо слабело, и ему необходимо было приехать в Москву, где все-таки было больше средств и возможности облегчить его страдания. Болезнь его, как оказалось после осмотра врачей, была сложная: водяная и подагра. Опасности явной не было, но врачи не скрывали, что болезнь эта может продлиться несколько месяцев, год и даже более; но может и вдруг приключиться кончина, и это нас очень огорчало и озабочивало.

Каждое утро, когда я просыпалась, первая моя мысль была: «Что, батюшка жив ли?» Часов в десять я отправлялась к нему, потому что по немощи своей он кушал один в двенадцать часов и потом отдыхал. Иногда после того я оставалась с сестрой или шла к брату и невестке, или возвращалась домой, а иногда мы куда-нибудь ездили и возвращались к обеду, то есть к двум или трем часам, и почти всегда весь остаток дня проводили уже у батюшки в доме.

В продолжение Великого поста [9] мы несколько раз были в тревоге насчет батюшки, но, слава Богу, наступила наконец Страстная неделя, и Светлое воскресение [10] Господь привел всех нас еще встретить с батюшкою. Но грустный был этот для нас праздник: наше сердце чуяло, что это в последний раз мы вместе с ним слушаем в его домовой церкви пасхальную утреню и вместе с ним разгавливаемся. . .

В конце апреля, когда погода становилась теплая, отворяли дверь в сад, и батюшка выходил и сидел на террасе: весенний воздух оживлял его, а иногда, сидя на солнце, батюшка закрывал глаза, начинал дремать и засыпал.

С первых чисел мая месяца Дмитрий Александрович стал торопить меня уехать с детьми в деревню. Я была в то время в тягости на пятом месяце, и он очень опасался, чтоб от беспрестанной тревоги и волнения я не занемогла и не приключилось бы со мной какой-нибудь беды, потому и спешил меня увезти. Грустно мне было расставаться с батюшкой, и хотя ему и было, по-видимому, лучше, но сердца обмануть нельзя: часто случается, что горя-то еще и вовсе нет, а сердце задолго его предчувствует и нам предсказывает, что скорбь нас ожидает.

Прощаясь с батюшкой, я всеми силами удерживалась от слез и крепилась, но слезы прошибли, и я расплакалась.

— О чем же ты плачешь, моя голубушка? — сказал мне батюшка. — Ведь мы не навек с тобой прощаемся: ты сама видишь, что мне гораздо полегчило, что я теперь и бродить иногда могу. . . Не плачь, Елизаветушка, Господь милостив, мы еще с тобой увидимся. Ты себя теперь береги: ты помни, что теперь в таком положении, что не должна себя расстраивать.

Мои старшие девочки стали прощаться с дедушкой и тоже горько расплакались, так что и батюшка расчувствовался и прослезился. Он долго их обнимал, целовал, крестил и клал им руку на голову. . .

Это прощанье было самое трогательное и раздирающее душу: все мы плакали, и если бы батюшка не посоветовал Дмитрию Александровичу нас увезти, мы все бы, я думаю, доплакались до дурноты.

Так нас почти силою вывели от батюшки из комнаты, усадили в экипаж и повезли в деревню.

Недаром сердце у меня болело: не привел меня Господь еще видеть батюшку в живых!

Мы поехали из Москвы 13 мая, а июня 18 батюшка скончался. Ему от рождения был семьдесят восьмой год, и скончался он через двадцать четыре года после матушки, в том же месяце, как она.*

Не знаю, лучше ли сделали, что увезли меня в деревню, а не оставили при одре умиравшего отца: я бы еще месяц пробыла при нем, видела бы каждый день, как подвигается его жизнь к концу, и получила бы от него его предсмертное благословение. Я думаю, это бы мне было легче.

Когда батюшке сделалось очень худо и доктора потеряли всякую надежду, братья и сестры известили мужа и звали его приехать, а от меня велели скрыть, чтоб и я не вздумала ехать. Так Дмитрий Александрович мне и не сказал, что ему писали, а говорил, что хочется ему проведать батюшку; но я догадывалась, что есть какие-нибудь худые вести.

Через несколько дней пишет он мне, что батюшка видимо слабеет и чтоб я приготовлялась к горю, потому что нет никакой надежды. Уж как мне было тяжело: быть за сорок верст и знать, что отец умирает. Наконец раз вечером слышу, что по мосту едет тяжелый экипаж, потом слышу — подъехали к крыльцу, хочу идти навстречу, узнать, что в Москве — не могу встать. Входит Дмитрий Александрович; хочется узнать и боюсь спросить. . . Наконец решилась. . .

— Что батюшка? — Молчит Дмитрий Александрович и заплакал. Обнял меня.

— Береги себя для детей и для меня. . . Батюшка скончался 18 числа; сегодня отпевали и повезли в Боброво.

Хотя я и давно ждала этого известия и приготовилась его слышать, но как сказали мне, это меня ужасно потрясло; я стала плакать, и меня почти замертво отнесли на постель. Очень опасались, чтоб я преждевременно не родила, однако Господь помиловал от этой беды.

---

* Июнь месяц в родстве Римских-Корсаковых ознаменован многими кончинами:

1783 года июня 13 скончалась Аграфена Николаевна Римская-Корсакова, урожденная княжна Щербатова.

1792 года июня 4 умерла княгиня Анна Ивановна Щербатова, урожденная княжна Мещерская.

1807 года июня 18 умер Петр Михайлович Римский-Корсаков.

1845 года июня 17 — князь Владимир Михайлович Волконский (его мать урожденная Римская-Корсакова).

1853 года июня 16 — Николай Петрович Римский-Корсаков.

Бабушка Елизавета Петровна, которой принадлежат эти «Рассказы», всегда очень опасалась июня месяца, думая, что и ей в этом месяце определено умереть, и, будучи дважды при смерти больна в июне, она говорила: «Нехорош в нашем роду этот месяц, для многих был последним; ежели я переживу июнь, так и останусь в живых». Скончалась она 3 марта, имея от роду девяносто третий год и далеко превзошед всех Корсаковых (очень долговечных) своими летами.

Батюшку отпевали у Неопалимой Купины и в тот же день повезли тело к брату Михаилу Петровичу в калужскую деревню, в село Боброво, где схоронены бабушка Евпраксия Васильевна и матушка.

К десятому дню мы все поехали в Москву. Пробыли там и двадцатый день и, взяв с собою сестру Анну Петровну, возвратились в деревню за день до Казанской.[11]

Домовую церковь, которая была у батюшки в доме, дозволено было оставить до сорокового дня, поминовения ради, а в этот день, отслужив обедню, священник разоблачил престол;[12] вынесли его на двор и, изрубив, тут же сожгли. Это было очень прискорбно видеть, и брат Михаил Петрович, который был совсем не из плаксивых, видя это, плакал как ребенок.

III

Неделю спустя после Казанской к нам приехал сын деверя моего Андрюша звать нас в Петрово на освящение церкви. Я не поехала по случаю глубокого траура, а мужа уговорила ехать, потешить брата; они ждали к себе в гости и княгиню Долгорукову, и золовку мою Анну Александровну.

Мы всею семьей поехали провожать мужа моего до Москвы, где я и осталась с сестрами, а он с Андрюшею отправился на другой день к брату своему в Петрово.

Эта поездка была им подробно описана в записной его тетради. Вот что там сказано:

«Июля 18 около полудня мы благополучно прибыли к брату в село Петрово, где нашел и сестру Анну Александровну, и всех, слава Богу, здоровыми.

В 8 часу вечера стали поджидать княгиню Анну Николаевну Долгорукову с княжной. Им следовало ехать через Засеку, и когда их приближение было усмотрено из дома, старшие мальчики брата и их товарищи-соседи, Булгаков и Крупенников, поскакали верхом навстречу в Останкино; невестка Федосья Андреевна поехала в коляске на Засеку, а мы с братом остались дожидаться дома и, когда она приехала, приняли ее из коляски и ввели на крыльцо, Здесь ее встретила сестра Анна Александровна с меньшими детьми: у них были в руках корзины с цветами, и они сыпали цветы на пути княгини.

Я не остался ужинать и ночевать потому, что и без меня набралось в Петрове гостей немало, а отправился к себе в Радино, где и ночевал.

На следующий день (девятнадцатый пяток) я к 11 часам приехал в Петрово, провел там весь день и, после праздничной всенощной, совершенной соборне, остался ужинать и ночевать.

На другой день должно было последовать освящение двух престолов: в приделе — во имя святителя Николая и в настоящем храме — во имя архистратига Михаила.[13]

Первое освящение началось в восемь часов утра (потому что для княгини и княжны было бы утомительно встать ранее), и когда оно кончи-

лось, началась литургия в новоосвященном приделе; затем было многолетие брату и его жене, и в это время пальба из пушек. Потом все перешли в настоящий храм архангела Михаила, снова освящение и литургия опять собором, молебен, многолетие и пальба из пушек. Несмотря на то, что было два освящения и две литургии, все служение окончилось в первом часу, и мы все пошли в дом, где была приготовлена обильная закуска и гостей присутствовало немало. В третьем часу мы все направились в сад, в крытую аллею, и там обедали; за столом было более тридцати человек; когда стали пить за здоровье, опять началась пальба из пушек. На дворе были расставлены столы для крестьян, приготовлен праздничный сытный обед, причем было угощение вином и брагой.

Вечером была всенощная в третьем, еще не освященном приделе во имя св. мученицы Феодосии, а наутро в воскресенье 21 числа совершено торжественно и соборне освящение сего придела. Затем последовало обычное молебствие со многолетием храмосоздателям, и опять была пальба из пушек.

В этот же день погода казалась не совсем надежна, и оттого обедали в доме, а не в саду.

В понедельник 22 числа — память святой Марии Магдалины, день свадьбы брата (в 1789 году). Он праздновал свое восемнадцатилетнее супружество. По случаю присутствия княгини Долгоруковой за обедом пили здоровье ее дочери — Марьи Ивановны Селецкой. Весь этот день я провел в Петрове.

Во вторник я отправился к себе в Радино в сопровождении Ивана Николаевича Классона, который прибыл в Петрово вместе с Долгоруковыми. Он был средних лет, майор в отставке; прежде состоял адъютантом при Степане Матвеевиче Ржевском, женатом на баронессе Софье Николаевне Строгановой (родной сестре княгини А. Н. Долгоруковой), и когда Ржевский умер, он остался у его вдовы заведовать имением и делами, а после ее смерти (в 1790 г.) и переехал жить к Долгоруковым и был у них своим человеком, верным глазом и помощником в делах. Говорили тогда шепотом, что немолодая княжна Прасковья Михайловна и он взаимно питали друг к другу очень нежные чувства, но об этом трудно судить по пословице: не пойманный — не вор. По видимости их отношения были всегда благоприличны: ни короткости, ни натянутости нельзя было заметить, а что у них было на сердце, до этого посторонним нет и дела.

Классон у меня обедал, мы ходили гулять; он поехал ночевать в Петрово, а я остался у себя.

В среду 24-го я с утра поехал к брату, весь день провел у него и возвратился только к вечеру к себе ночевать.

В четверток 25-го, день именин княгини Анны Николаевны, я поехал поутру в Петрово. Была праздничная обедня с многолетием княгине и всему княжескому дому. За столом пили за здоровье княгини и палили из пушек. Дети пели ей какие-то стишки и подносили букеты. Весь этот день до самого вечера я провел у брата, отужинал и потом со всеми распростился, чтобы назавтра ехать в обратный путь, и возвратился ночевать в Радино.

Пятница, 26-го. В восемь часов утра поехал на своих лошадях в Венев; дорога хорошая, но в городе преужасная мостовая: из неровных камней, хуже что незабороненное поле. Городок очень плохой: домов каменных мало, крыши есть и тесовые, но большею частью, в особенности по опушке города, все соломенные, и хаты — мазанки. Церкви есть очень хорошие: видно, что граждане пекутся более о благолепии дома Божья, чем о своих жилищах. Замечателен дом городового магистрата: полагаю, что он — допетровского времени, во всяком случае, современник Петра I. На одном из концов города — бывший Николаевский Веневский монастырь, который существовал до Петра I и им закрыт; теперь это приходская церковь.

К вечеру я приехал в Тулу и остановился в общественной гостинице.

Утром в субботу я посетил преосвященного Амвросия (Протасова). Я много о нем слыхал как о муже духовном и о великом проповеднике. „Ежели бы я умел писать и говорить, как он, — говаривал про него наш московский святитель Платон, — я уверен, что меня сходились бы слушать со всех концов России". Он был в последнее время настоятелем Юрьева монастыря в Новгороде и оттуда посвящен епископом в Тулу. На вид ему лет пятьдесят или немного более, очень представителен и прост в обращении, но с достоинством. Говорит плавно, без торопливости, смеется едва заметно, а держит себя вообще как подобает архиерею: без натяжки и высокомерия, как это иногда бывает у этих духовных сановников — ученых, но иногда необтесанных сынков просвирниц и пономарей. Этот, напротив того, смиренно-важен и приветливо-сановит. Он внимательно выслушал мое неважное дело и дал мне удовлетворительный ответ. Побыв у него около часа времени, я отправился осматривать ряды и лавки. Потом был на оружейном заводе и все подробно видел; сказывали мне, что еженедельно выходит из работы до 5000 совершенно готовых ружей или 5000 пар пистолетов и 3000 тесаков.

В воскресенье поутру, очень рано, я отправился из Тулы на наемных лошадях к шурину моему Николаю Петровичу Корсакову: менял лошадей в Лапотке, обедал в Мещериновой Плаве и, не доезжая трех верст до Покровского, был встречен братом Николаем Петровичем и Иваном Федоровичем Бартеневым, которые выехали ко мне навстречу верхами, потому что я заранее известил, что приеду в этот день, и в 11 часов вечера приехали мы в Покровское, где нашли нас ожидавшего Дмитрия Марковича Полторацкого.

Я прогостил у брата Николая Петровича до 4 августа и поехал обратно на Тулу в Москву.

5 число я пробыл в Туле.

6 числа бывает крестный ход из собора; очень мне хотелось посмотреть, но так как спешил в Москву, не остался для этого лишнего полдня. Выехал из Тулы 6 числа, а 7-го благополучно прибыл в Москву и нашел всех своих, благодаря Господа, здоровыми».

IV

Вскоре по возвращении Дмитрия Александровича Господь нас порадовал: августа 16 у нас родилась дочь, которую, в память первой нашей Сонюшки, мы пожелали назвать также Софьей; но ни той ни другой не суждено было дожить до совершеннолетия. Ее крестила сестра Анна Петровна и мой зять Вяземский. Крестины были прегрустные, все мы были в глубоком трауре, потому что едва исполнилось шесть недель по кончине батюшки и на душе у нас у всех было очень невесело.

Все мы, четыре сестры, носили траур два года. Теперь все приличия плохо соблюдают, а в мое время строго все исполняли и по пословице: «родство люби счесть и воздай ему честь» — точно родством считались и, когда кто из родственников умирал, носили по нем траур, смотря по близости или по отдаленности, сколько было положено. А до меня еще было строже. Вдовы три года носили траур: первый год только черную шерсть и креп, на второй год черный шелк и можно было кружева черные носить, а на третий год, в парадных случаях, можно было надевать серебряную сетку на платье, а не золотую. Эту носили по окончании трех лет, а черное платье вдовы не снимали, в особенности пожилые. Да и молодую не похвалили бы, если б она поспешила снять траур.

По отцу и матери носили траур два года: первый — шерсть и креп, в большие праздники можно было надевать что-нибудь дикое шерстяное, но не слишком светлое, а то как раз, бывало, оговорят:

«Такая-то совсем приличий не соблюдает: в большом трауре, а какое светлое надела платье».

Первые два года вдовы не пудрились и не румянились; на третий год можно было немного подрумяниться, но белиться и пудриться дозволялось только по окончании траура. Также и душиться было нельзя, разве только употребляли одеколон, оделаванд и оделарен дегонри, по-русски — унгарская водка, о которой теперь никто и не знает. Богатые и знатные люди обивали и свои кареты черным, и шоры были без набору, кучера и лакеи в черном.

По матушке мы носили траур два года, — так было угодно батюшке, и по бабушке тоже, может быть, проносили бы более года, да я вышла замуж, и потому мы все траур сняли.

Когда свадьбы бывали в семье, где глубокий траур, то черное платье на время снимали, а носили лиловое, что считалось трауром для невест. Не припомню теперь, кто именно из наших знакомых выходил замуж, будучи в трауре, так все приданое сделали лиловое разных материй, разумеется, и различных теней (фиолетово-дофиновое — так называли самое темно-лиловое, потому что французские дофины не носили в трауре черного, а фиолетовый цвет, лиловое, жирофле, сиреневое, гри-де-лень и тому подобное). К слову о цветах скажу, кстати, о материях, о которых теперь нет понятия: объярь или гро-муар, гро-де-тур, гро-гро, гро-д'ориан, левантин, марселин, сатень-тюрк, бомб — это все гладкие ткани, а то затканные: пети-броше, пети-семе,[14] гран-рамаж (большие разводы); последнюю торговцы переиначали по-своему и называли «большая ромашка». Мате-

рии, затканные золотом и серебром, были очень хороши и такой доброты, какой теперь и не найдешь. Я застала еще турские и кизильбашские бархаты и травчатые аксамиты: это были ткани привозные, должно быть персидские или турецкие, бархаты с золотом и серебром. Тогда их донашивали, а теперь разве где в старинных монастырях найдешь в ризницах, и то, я думаю, за редкость берегутся.

Были некоторые цвета в моде, о которых потом и я уже не слыхала: hanneton * — темно-коричневый наподобие жука, grenouille évannouie,** лягушечно-зеленоватый, gorge-de-pigeon tourterelle,*** и т. п. Цвета эти, конечно, в употреблении и теперь, но только под другими названиями и не в таком ходу, как при самом начале, когда показались.

Эти два года после батюшкиной кончины мы все провели очень тихо и уединенно, видались друг с другом, никуда вдаль не ездили, да и в Москве бывали только у близких и родных.

Под конец Великого поста мы собрались ехать в свою подмосковную деревню, чтобы там провести и Святую неделю. Бывало, мы всю Страстную неделю у батюшки слушаем службу в его домовой церкви, у него встречаем Светлое Христово воскресение, с ним все разговляемся: в этот раз батюшки уже не было в живых, церковь его упразднена; очень нам было горько, и решили не оставаться в Москве. Светлое воскресение приходилось апреля 5, время стояло холодное, было еще много снегу; мы отправились во вторник на Страстной неделе и преблагополучно приехали к себе на санях. С нами поехала и сестра Анна Петровна, и так мы и встретили Пасху у себя, своею семьей, избавили себя от лишней печали, от скучных выездов и от утомительных приемов гостей, докучающих своим пустым разговором, когда на душе невесело.

Соседство у нас было доброе и хорошее, в особенности же наши самые близкие, Титовы (с которыми мы видались почти что ежедневно), и, как наступила весна, все съехались в свои деревни, мы начали видеться и провели лето очень мирно, тихо и нескучно.

Дмитрий Александрович занялся приготовлением материалов для будущего пречистенского дома, потому что мы жили в старом доме, купленном у Бибиковой, и помышляли о новом. Кроме того, и в деревне наш дом становился нам тесноват, так как прибавилась наша семья: мы с мужем, три девочки побольше, при них мадам, Сонюшка, при ней кормилица, нянюшка-матушка Федосья Федоровна, а теперь, после кончины батюшки, и сестра Анна Петровна. По всему этому приходилось нам подумать о деревенском доме, поприбавить его, и решили, не трогая, как он есть, подстроить верх, то есть мезонин. Так мы почти что безвыездно и прожили два года в деревне: дети были еще малы, я в трауре, муж любил деревню, со мною жила сестра Анна Петровна; иногда приезжал к нам погостить брат Николай Петрович, иногда и князь Дмитрий Михайлович Волконский. И как прошли эти два года — я и не заметила.

---

* цвета майского жука (*франц.*). — *Ред.*

** цвета обмершей лягушки (*франц.*). — *Ред.*

*** голубиной шейки (*франц.*). — *Ред.*

После батюшки, по разделу между братьями, досталось: брату Михаилу Петровичу Боброво, петербургская деревня и в Рязани, а Николаю Петровичу — Покровское и деревня в Костроме; сестре Анне Петровне — тоже в Костроме, по смежности с братниным имением. Сестре Вяземской, при ее замужестве, батюшка пожаловал имение в Кинешме, а Варваре Петровне дано было имение вблизи от Калуги, вновь купленное сельцо Субботино. Братья делили имение по доходу, а не по числу душ, и потому Михаилу Петровичу пришлось больше, чем Николаю Петровичу; но оба в сложности получили 3800 душ, а мы четыре сестры — около 1200; на мою долю при замужестве полученная мною новгородская была самая малочисленная — 250 душ.

V

Поблизости от Покровского, тоже в Чернском уезде, было имение князя Петра Петровича Долгорукова,[15] того самого, который, будучи губернатором в Туле, необходительно принял батюшку и про которого батюшка обыкновенно выражался не очень одобрительно.

Этот Долгоруков был женат на Лаптевой Анастасье Симоновне и, вышедши в отставку в первые годы царствования императора Александра Павловича, жил у себя в имении, будучи очень небогат, и там занимался хозяйством и важничал пред мелкопоместными соседями.

Он имел трех сыновей, из которых один, Петр Петрович, был, говорят, хорош собою, очень умен, был дружески любим императором Александром, подавал большие надежды на блестящую будущность, но в молодых летах умер в 1806 году.

Других двух сыновей звали: Михаил Петрович и Владимир Петрович, женатый на Варваре Ивановне Пашковой. У последнего остался сын Петр Владимирович.*

Дочерей у Долгорукова было две: старшая, Елена Петровна, была давно замужем за Сергеем Васильевичем Толстым, и меньшая, княжна Марья Петровна, которой было уже далеко за тридцать лет; она была собою нехороша и вдобавок еще и кривобока.

Слышала я, что она была за кого-то сговорена, и жених выписал свою мать к свадьбе (кажется, в Москву), но князь Петр Петрович дурно обошелся с жениховою матерью, которая так этим оскорбилась, что не захотела, чтоб ее сын женился на княжне. Как сын ни упрашивал, старушка осталась непреклонна и приискала для сына даже другую невесту, красивее и богаче, только не княжну, а княжна так и должна была сидеть — ждать у моря погоды, не найдется ли еще другой жених.

---

* Петр Владимирович жил некоторое время за границею, где печатал свои сочинения: «Notices sur les principales familles de la Russie»; «La vérité sur la Russie» ⟨« Заметки о знатнейших семействах России» и «Правда о России» (*франц.*). — *Ред.*⟩ и многие другие, не дозволенные цензурой.[16] Им же составлена «Российская родословная книга»,[17] которую он не успел довести до конца, и вышло только четыре части. При всей своей неполноте и многих пропусках это, однако, самая полная родословная книга, какую мы до сих пор имели.

И много прошло с тех пор времени, а княжна все оставалась княжною.

После кончины батюшки брат Николай Петрович как-то сблизился с Долгоруковыми и стал бывать у них довольно часто и, наконец, в 1804 году и женился на княжне Марье Петровне. Она была крестница князя Юрия Владимировича, и так как приходилась ему двоюродная внучка, то он ей и делал приданое. Петр Петрович был очень небогат; а князь Юрий Владимирович, напротив того, имел очень большое состояние и родственнику своему часто и много помогал.

Когда брат объявил нам, что он женится на княжне Долгоруковой, мы все очень подивились этому, и нам живо представился рассказ батюшки о его визите Долгорукову. Повторяю, что если б он был еще в живых, не бывать бы этой женитьбе.

Никогда не приходилось мне видеть княжну Марью Петровну, но много слыхала я о ней от наших соседок по Покровскому — барышень Меркуловых.

Они часто говаривали про Долгоруковых и очень хвалили княжну, что она умна, хорошо воспитана, поет по-итальянски, словом, превозносили до небес; но чтобы хороша была или стройна, никогда не говорили.

Мы часто друг другу и говаривали:

— Что ж это Меркуловы никогда не скажут, хороша ли собой княжна Долгорукова?

Престранные были эти Меркуловы: не то чтоб они были хороши собой, но недурны, сложены как следует, здоровья прекрасного и кушали во славу Божью все, что ни подадут.

Как приехали Долгоруковы к себе в деревню и познакомились с Меркуловыми, стали мы примечать в них перемену: обе сестры начали как-то гнуться на бок и странно ходить, как прежде не хаживали, и стали жаловаться на свое здоровье: то холодно, то сквозной ветер, то им сыро. Вздумали привередничать за столом: это вредно, это тяжело, то жирно, другое там солоно или кисло.

Это нам казалось смешным и странным, но все мы не догадывались, что они перенимают у кого-нибудь весь этот вздор, а думали, что они так сами по себе дурачатся: и кому бы пришло в голову, чтобы человек, родившийся прямым, не кривобоким, стал вдруг корчить из себя кривобокого?

Которая-то из моих сестер раз и спрашивает у одной из Меркуловых:

— Что это, матушка, как ты стала себя криво держать, точно кривобокая какая?

— Бок болит, так все меня и гнет на сторону.

Чужой боли не угадаешь: может, и взаправду нездоровится и бок болит.

Батюшка тоже заметил перемену в Меркуловых: не едят за столом того, другого. — Давно ли это вы начали разбирать, что вредно, что здорово; вы, кажется, прежде все едали?

— Что-то желудки у нас испортились, плохо переваривают пищу, спазмы делаются.

— Какие это вы там еще выдумали спазмы? — говорит батюшка. — Кушайте во славу Божью все, что подают, и пройдут ваши спазмы: русскому желудку все должно быть здорово.

Впоследствии, как мы познакомились с княжной Марьею Петровною, у нас глаза и открылись; думаем себе:

— Вот с кого обезьянничают Меркуловы!

Первый визит братниной невесты был к сестре Александре Петровне, — она была и старшая, да притом же и княгиня Вяземская; потом к брату и ко мне.

Ну уж подивилась я на первых порах выбору брата, глядя на невесту: очень невелика ростом, кривобока, горбовата, оловянного цвета вытаращенные глаза, нос картофелиной, зубы как клыки и какие-то кривые пальцы. Смотрю на княжну, не верю себе: «Неужели это братнина невеста?»

При тогдашних коротеньких и общелкнутых платьях с коротенькою талией нескладность княжны была еще заметнее. Что она была умна — это бесспорно, но как-то резка и насмешлива, и это нам не понравилось. . .

Со всеми нами она обошлась не то чтобы свысока, но не очень радушно, хотя мы все готовы были принять ее в родство как братнину жену; а важничать ей не приходилось с нами: мы были ведь не Чумичкины какие-нибудь или Доримедонтовы, а Римские-Корсаковы, одного племени с Милославскими, из рода которых была первая супруга царя Алексея Михайловича;[18] матушка была Щербатова, а бабушка Мещерская, не Лаптевым чета.

Большая была разница между старшею невесткой и этою: та была очень недурна, правда, что с простотцой и немного картава, но добра и ласкова, а эта пренапыщенная, как будто великую нам честь делала, что роднилась с нами.

Батюшка был точно барин: однако он всякого дворянина принимал, как равного себе, хотя, конечно, не за всякого бы отдал своих дочерей; да и мы, правду сказать, с разбором глядели на мужчин, но были приучены быть приветливыми с каждым порядочным человеком, а в особенности с равными себе. Этого Марья Петровна никогда или не хотела, или не умела, и не только сама не сблизилась с нами, но мало-помалу и брата ото всех родных отдалила, а так как он был характера слабого, то им совсем завладела.

Брат Николай Петрович при своей женитьбе был тридцати семи лет, а невеста его года на четыре моложе его, но он, несмотря на свою хворость, был моложав и очень недурен собой.

По милостивому распоряжению покойного государя к старшему брату княжны Марьи Петровны — Петру Петровичу она была пожалована фрейлиной, и так как в то время было две императрицы (Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна), то и шифр [19] был двойной: М и Е.

В один из своих приездов в Москву император Александр сказал княгине Долгоруковой, матери умершего Петра Петровича, много лет спустя после его смерти: «Вы, княгиня, потеряли сына, а я лишился в нем друга».

Княгиня была умная и находчивая старуха и очень хорошо и умно ответила государю: «Вы можете, ваше величество, всегда иметь и много друзей,

а я, лишившись сына, сына уже не найду, и сам Бог мне его возвратить не может».

Княгиня была очень почтенная, добрая, умная и приветливая женщина, женщина весьма благочестивая, держала себя просто, была со всеми обходительна и не важничала, как ее гордый старик.

VI

По случаю женитьбы брата я познакомилась с крестным отцом его жены, князем Юрием Владимировичем Долгоруковым. И потому кстати и расскажу о нем, каковым я его стала знать и что о нем слыхала от других.

Князю Юрию Владимировичу в 1809 году было лет под семьдесят; он был ростом не очень велик, но, впрочем, и не мал; довольно полный, лицо имел приятное, хотя черты не были правильны и были не особенно красивы. Что-то спокойное было в выражении и много добродушия и вместе с тем и величавости; с первого взгляда можно было угадать, что это настоящий вельможа, ласковый и внимательный. Давно все перестали пудриться и начали носить суконное кургузое платье; он до конца жизни пудрился и ходил в бархате и в шелку, и думаю, что было бы странно видеть этого вельможу, старика, одетого как начинали одеваться наши щеголи по-французски, на республиканский манер, преотвратительно; он все еще носил французский кафтан, и было это весьма прилично.

Он свою службу начал при императрице Елизавете Петровне, участвовал в Семилетней войне,[20] где находился и батюшка, и был тяжело ранен в голову, так что ему делали операцию: вынимали из головы пулю или осколки. Он был тогда очень еще молод и лет на десять моложе батюшки. При кончине Елизаветы Петровны он был полковником, а при Екатерине, не имея и тридцати лет, был уже генерал-майором.

Когда графа Орлова (Алексея Григорьевича) императрица Екатерина послала в Черногорию с секретным поручением,[21] то Орлов непременно хотел, чтобы Долгоруков был дан ему в помощники. По возвращении был награжден Георгием на шею[22] и лентой (Александровскою) через плечо.[23] Под конец царствования императрицы Зубовы, попавшие тогда в милость государыни,[24] опасаясь значительности Долгорукова, начали его теснить и вынудили выйти в отставку за год или года за два до кончины императрицы.

У князя Юрия Владимировича был старший брат, который женился на графине Бутурлиной, а несколько времени спустя на другой, младшей ее сестре женился сам Юрий Владимирович: первый брак считался законным, а второй не признавали, хотели развести, но молодые не согласились и остались жить вместе. Как братья, так и жены их жили душа в душу. Жену старшего брата Василия Владимировича звали Варвара Александровна, а жену Юрия Владимировича — Екатерина Александровна. У старшей четы детей не было, а у княгини Екатерины Александровны вскоре после замужества оказались признаки тягости, тогда и старшая сестра стала выдавать себя за находящуюся в таковом же положении для того,

чтобы иметь возможность новорожденного сестриного ребенка выдать за своего законного, а не сестриного от непризнанного брака, и в этих видах она обкладывалась подушками, и посторонние, видя их обеих в таковом положении, не догадывались, что одна в тягости заподлинно, а другая — притворно.

У княгини Екатерины Александровны было трое детей: * сын и две дочери; одна умерла в детстве, а другая, Варвара Юрьевна, бывшая за князем Горчаковым, умерла года за два до первой холеры. Сын, князь Василий Юрьевич, прекрасный молодой человек, подававший великие надежды своим родителям, имея едва двадцать лет от роду, был при императоре Павле генерал-майором, а в тридцать лет произведен в генерал-адъютанты; но не суждено было служить отрадой престарелого отца: он умер, не имея еще и сорока лет, и с ним погибли все надежды старика видеть потомство.

Дом князя Юрия Владимировича был на Никитской, один из самых больших и красивых домов в Москве.[25] На большом и широком дворе, как он ни был велик, иногда не умещались кареты, съезжавшиеся со всей Москвы к гостеприимному хозяину, и как ни обширен был дом, в нем жил только князь с княгиней, их приближенные и бесчисленная прислуга. А на летнее время князь переезжал за семь верст от Москвы в Петровское-Разумовское,[26] где были празднества и увеселения, которых Москва никогда уж больше не увидит. . .

Все дано было князю Юрию Владимировичу от Бога, что может сделать жизнь счастливою, и он умер, однако, разбитый горем, потому что лишился всех близких, так что свое огромное состояние оставил не близкому наследнику, а сестрину внуку, Салтыкову. Прежде всех умер его сын, потом княгиня в 1811 году, потом зять его, князь Горчаков, внука — дочь княгини Варвары Юрьевны, княжна Лидия Алексеевна, выданная за графа Бобринского, и, наконец, княгиня Горчакова. Почти девяностолетний старик совершенно осиротел и умер, можно сказать, на чужих руках, но он был хороший христианин и потому не роптал на Господа, с твердостью переносил все потери и смиренно нес свой крест.

Князь Юрий Владимирович скончался в ноябре месяце, во время первой холеры 1830 года.[27] Схоронили его рядом с женой в подмосковной, в селе Никольском, где-то в сторону от Владимирской дороги, за Кусковом, верстах в 15 от Москвы.

На моей памяти только и были такие два вельможеские дома, как дома Долгорукова и Апраксина, и это в то время, когда еще много было знатных и богатых людей в Москве, когда умели, любили и могли жить широко и весело. Теперь нет и тени прежнего: кто позначительнее и побогаче — все в Петербурге, а кто доживает свой век в Москве, или устарел, или обеднел, так и сидят у себя тихохонько и живут беднехонько, не по-барски, как бывало, а по-мещански,[28] про самих себя. Роскоши больше, все дороже, нужды увеличились, а средства-то маленькие и плохенькие, ну,

* По смерти брата и невестки князь Юрий Владимирович испросил высочайшее соизволение на признание детей, числившихся братниными, — своими законными детьми.

и живи не так как хочется, а как можется. Поднял бы наших стариков, дал бы им посмотреть на Москву, они ахнули бы — на что она стала похожа. . . Да, обмелела Москва и измельчала жителями, хоть и много их.

Имена-то хорошие, может, и есть, да людей нет: не по имени живут.

Говорят про старых людей, что мы хвалим только свое время; чего тут хвалить, когда все пошло вверх дном; домами-то Москва, пожалуй, и красна, а жизнью скудна. Что по-нашему за срам и стыд считали — теперь нипочем. Ну, слыханное ли дело, чтобы благородные люди, обыватели Москвы, нанимали квартиры в трактирах или жили в меблированных помещениях, Бог знает с кем стена об стену? [29]

А экипажи какие? Что у купца, то и у князя, и у дворянина: ни герба, ни коронки. Кто-то на днях сказывал, видишь, что гербы стыдно выставлять напоказ: а то куда же их прикажете девать, в сундуках, что ли, держать или на чердаке с хламом? На то и герб, чтоб смотреть на него, а не чтобы прятать — не краденый, от дедушек достался. Я имею два герба: свой да мужнин, и ступай, тащись в карете, выкрашенной одним цветом, как какая-нибудь Простопятова, да статочное ли это дело? Или печатай я письмо печатью с незабудкой или, того хуже, облаткой, а не гербовою печатью? Как бы не так!

А в каретах на чем ездят? Я уж не говорю, что не четверней: теперь * и двух десятков во всей Москве не найдешь, кто бы четверней ездил, а то просто на ямских лошадях. В мое время за великий стыд почитали на ямских лошадях куда-нибудь ехать, опричь рядов или вечером на бал, когда своих пожалеешь, а теперь это все нипочем: без зазрения совести в простых наемных каретах таскаются по городу среди белого дня или, того еще хуже, на извозчиках рыскают.

Год от года все хуже и хуже становится, и теперь глаза уж не глядели бы и не слушал бы про то, что делается! . .

* Это началось в начале пятидесятых годов, когда переставали уже ездить четверней и с форейтором; но в Москве были еще старушки и старички, которые, по старой памяти, доезжали свой век на четверне, а не на паре в низенькой карете.





ГЛАВА ВОСЬМАЯ

(1810—1813)

I

Почти целые два года — 1809 и 1810 — провели мы в хлопотах о стройке и перестройке: перестраивали в деревне церковь и дом и строились в Москве на Пречистенке, и только в 1811 году могли перейти на новоселье в новый дом, в котором недолго было нам суждено пожить. Наступил ужасный 1812 год, и наш дом, новый и еще не отделанный внутри, сгорел. Удивительная тогда напала на всех слепота: никто и не заметил, что что-то подготовляется, и только когда француз в Москве побывал, стали припоминать то-то и то-то, по чему бы можно было догадаться о замыслах Бонапарта.

В 1811 году (это после уже стало известно) открыли одно тайное общество, в котором находились молодые люди очень хороших семейств,[1] и дознано было, что занимаются они рисованием подробных карт России и в особенности Москвы для отправки в чужие края. Доискались ли до правды — не знаю, а потом открылось, что это все делалось для Бонапарта.

Один из чертивших карты умел в то время выпутаться из беды, но потом, попавшись по 14 декабрю, посажен был в крепость, где просидел шесть месяцев и ослеп,[2] и хоть поздно, но был все-таки от Бога наказан, что умышлял зло на свою родину.

Была в Москве одна французская торговка модным товаром на Кузнецком мосту — мадам Обер-Шальме, препронырливая и превкрадчивая, к которой ездила вся Москва покупать шляпы и головные уборы, и так как она очень дорого брала, то и прозвали ее обер-шельма. Потом оказалось, что она была изменница, которая радела Бонапарту. Открыли, говорят, ее какую-то тайную переписку, схватили ее и куда-то сослали, но тогда этого никому известно не было, а распустили слух, что у нее нашли фальшивую монету и будто бы за то ее и сослали.[3] А потом стали болтать, будто бы в 1811 году сам Бонапарт, разумеется переодетый, приезжал в Москву и все осматривал, так что когда в 1812 году был в Москве, несколько раз проговаривался-де своим: «Это место мне знакомо, я его помню». Ходили какие-то прокламации Бонапарта по Москве,[4] но я их не видала. . .

Было нам и небесное предвещание: в 1811 году явилась на небе большая и блестящая звезда с хвостом, яркая комета.[5] При первом появлении этой кометы хвост у нее не был длинен, но с каждым днем все как будто прибавлялся и, наконец, был предлинный. Разные были толки тогда об

этой комете, и больше все видели в ней недоброе предзнаменование, считали, что это пред великим бедствием Господь посылает нам знамение, чтобы мы покаялись и обратились к Нему.

Иные смеялись и говорили, что это суеверие, что звезда или комета не может иметь никакого влияния на судьбу человеческую, а разве только на погоду, будет ли ведреная или сырая, жаркая или холодная.

Там как угодно, верь не верь, а недаром же была эта комета, и не прошла она без бедствия. Когда она увеличилась до больших размеров, то сделалась очень ярка, и загнутый хвост, который шел вниз трубою, был предлинный и такой же яркий, как и она сама; и потом она стала все бледнеть, меркнуть и так совсем выцвела, исчезла. Тогда, помнится, говорили, что эта комета не совсем новая, а была уже видна до Рождества Христова при Юлие Кесаре.

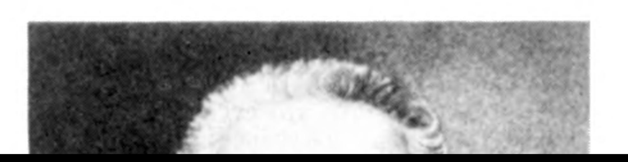
Тяжел был для всех 1811 год; мы все смутно предчувствовали, что готовится что-то ужасное и собирается гроза над нами, но чтобы постигло нас такое бедствие, какое мы испытали, этого никто и представить себе не мог.

От всех до последней минуты всё скрывали и всех нас обманывали: с умыслом ли или потому, что и сами не верили возможности, чтобы до Москвы дошел дерзкий враг,[6] — это трудно теперь решить.

Наш новый дом на Пречистенке поспел только в ноябре месяце 1811 года, и ноября 11, в Анночкино рождение, отслужив молебен с водосвятием,[7] мы и поселились в нем, пресчастливые и предовольные, что наконец дождались давно желаемого нами.

Так мы всю зиму в нем прожили преблагополучно. Наступила весна. Стали ходить смутные слухи, что Бонапарт с нами не ладит и что как бы не было войны. Ну что ж? Разве мы прежде не воевали? То с немцами, то с Турцией или со шведами:[8] отчего же не повоевать и с Бонапартом? . . Тогда толковали, что Тильзитский мир, очень невыгодный для России,[9] оттого и был так легко заключен нашим государем, что имелось в виду его нарушить при первом удобном случае. Потому неладные отношения между нами и Бонапартом не очень нас смущали: пусть грозит — повоюем.

До 1812 года главнокомандующим в Москве был граф Гудович, фельдмаршал Иван Васильевич, недолго, — я думаю, года три;[10] а тут вдруг назначили графа Ростопчина. Я его часто видала у Архаровых, где он проводил иногда целые вечера. Он был довольно высок ростом, мужествен, но лицом очень некрасив; лицо плоское с выдавшимися скулами, глаза навыкате, нос широкий, немного приплюснутый, вздернутый, — словом, видно было, что он происходил от татарского предка, и нужды нет, что давно его пращур прибыл в Россию откуда-то (кажется, он сказывал, что из Крыма), а так вот и видно было, что татарского происхождения; волосы редкие и немного; маленькие полоской бакенбарды, губы тонкие и очень сжатые, зубы широкие, небольшой подбородок и большой назад закинутый лоб. Но как по лицу он был некрасив, так по всей наружности было что-то очень важное, приветливое и отменно благородное. На вид ему было лет пятьдесят,[11] но, говорят, ему их не было; он был несколько старообраз и очень близорук: читает, бывало, под носом держит книгу. Хотя род Ростопчиных и настоящий дворянский и древний род, но до Федора Васильевича



своей матери была в близком родстве с Орловыми. Анисья Никитична Орлова, сестра Ивана Никитича и Григория Никитича, была замужем за сенатором Степаном Федоровичем Протасовым, потому, вероятно, и попала в случай: ее мать и отец известного любимца Григорья Григорьевича Орлова [16] были родные брат и сестра.

Графиня Екатерина Петровна Ростопчина была очень нехороша собой: высокая, худая, лицо как у лошади, большие глаза, большой нос, рот до ушей, а уши вершка по полтора: таких больших и противных ушей я и не видывала. Голос грубый, басистый; одевалась как-то странно и старее своих лет, все больше носила темное или черное, по-русски говорила плохо, но зато по-французски говорила, как природная француженка, и вообще похожа была на старую гувернантку из хорошего дома.[17] Потом она, говорят, перешла в католическую веру и всех дочерей своих покатоличила: одна из них была за французским графом Сегюром, бывшим при нашем дворе посланником, а другая за которым-то Нарышкиным.[18] Графиня мало выезжала, но графа я часто видала у Архаровых и у Апраксиных.

Вот когда в 1812 году стали распространяться слухи, что Бонапарт идет на Россию, Ростопчин все уверял, что это невозможно. «Помилуйте, — говаривал он, — да ему и через границу переступить не дадут, не допустят вступить в Россию».

И говорил он так утвердительно, что нельзя было не верить.

Приедешь, бывало, к сестре Анне Николаевне Неклюдовой или к княгине Авдотье Николаевне Мещерской, толкуют, что француз в Москву придет. «Ну что, собираешься ли в путь? — спрашивает Неклюдова. — Не теряй времени, а то француз нас врасплох застанет, всех переколет».

— Полно, Анна Николаевна, смущать, Ростопчин уверяет. . .

— Ах, какая же ты легковерная, охота тебе его слушать, этого краснобая, он только людей морочит; говорю тебе, собирайся, а то поздно будет, все из Москвы выбирай. . .

Приедешь к Апраксиным или к Архаровым, там Ростопчин, и совсем другие толки.

— Кто это выдумал, что у нас разрыв с Францией? А ежели бы и была война, разве допустят до Москвы? Это всё барыни выдумывают, это кумушки и вестовщицы разносят по городу; никогда этого и быть не может.

Мещерская говорит: «Не сьюшай, сесья, собияйся, фьянцуз идет».*

Бывало, и придешь в тупик, не знаешь, чему верить, кого слушать.

II

Однажды приехали мы с мужем к Апраксиным: в гостиной множество гостей; Екатерина Владимировна, как всегда, спокойная и веселая. Гедеонов и Яковлев что-то рассказывают и шутят, и Степан Степанович тоже превеселый. . .

---

* Она была косноязычна и «р» не могла выговаривать.

Немного погодя взял он мужа за руку и повел к себе в кабинет и говорит ему: «Вы не полагайтесь, Дмитрий Александрович, на официальные известия и на то, что говорит Ростопчин, — дела наши идут нехорошо, и мы войны не минуем. Главнокомандующий с войском около Смоленска, там и государь был уже или на днях будет. . . Не разглашайте, что я вам говорю, а собирайтесь понемногу и укладывайтесь: может случиться, что Бонапарт дойдет и до Москвы, будьте предупреждены. Все это может случиться скорее, чем мы ожидаем. . .»

Возвратились они опять в гостиную, Апраксин веселый, как был, а муж мой красный и как будто смущенный. . . Думаю: «Что это такое?» Так и подмывает меня поскорее узнать; подозвала его и говорю вполголоса: «Поедем, пожалуйста, мне что-то неможется».

Встала, хочу ехать.

Апраксина спрашивает: «Куда же это вы спешите?».

— Что-то себя нехорошо чувствую.

Сели мы в карету, Дмитрий Александрович и говорит мне, что ему сказывал Степан Степанович.

Стали мы приводить свои дела понемногу в порядок и понемногу укладываться.

Разумеется, я сказала сестрам и братьям.

Весной, когда все стали разъезжаться по деревням, собрались мы в Горки; очень мне было грустно расставаться с Москвой, думаю — придется ли опять в ней быть?

Сестра Анна Петровна поехала к брату Николаю Петровичу в Покровское; Вяземские в свою веневскую деревню, в Студенец, и брат Михаил Петрович к себе.

Московское дворянство, всегда отличавшееся своим особенным усердием и готовое защищать отечество до последней капли крови, не ожидая воззвания от государя, само от себя вызвалось составить ополчение и дать по числу душ своих крестьян от девяти десятого, что составило более восьмидесяти тысяч человек. На нашу долю пришлось по Московской губернии выставить 32 человека, 22 по Тульской, по Тамбовской и Новгородской по стольку же, а всего 100 человек.

Приехали мы в деревню. Дмитрий Александрович в воскресенье велел созвать полную сходку, всех, кто по деревням налицо, и после обедни все собрались к дому. Он вышел на парадное крыльцо и говорит им: «Друзья мои, я вас собрал, чтобы поговорить с вами. Нам грозит опасность: французы идут на Россию, мы должны себя отстаивать, послужить царю и отечеству и защитить православную веру; дворянство положило дать от девяти десятого, чтобы составить ополчение; я неволить никого не хочу, а кто желает доброю волей, пусть скажется, потом я и увижу, кого выбрать из желающих. Потолкуйте промеж себя и подумайте, и все желающие станьте особо кучкой». И, сказав это, ушел в дом, плачет, говорит мне: «Кого я выберу — всех жаль, и как я могу взять на себя посылать по моему выбору на явную смерть».

Когда пришел он опять на крыльцо, направо отделились желающие идти в ратники, что-то много.

— Сколько желающих? — спрашивает он. Отвечают: столько-то. — Ну, — говорит, — это слишком много, нужно только 32 человека; я никого ни уговариваю, ни отговариваю и на себя не возьму выбирать того или другого и посылать под пулю, а вы, православные, помолитесь Богу и киньте жребий, кому идти, кому оставаться, — значит, такова Божья воля.

Все перекрестились и стали кидать жребий, так и решили, кому вступить в ополчение. . . Никому не было обидно: ни тому, кто шел, ни тому, кто оставался.

Было несколько дворянских съездов то в Москве, то в Дмитрове. Дмитрий Александрович взял на себя должность, по предложению дворянства, заведовать хлебными запасами в Дмитровском уезде и наблюдать за изготовлением отправляемого в армию провианта.

Ополчение скоро сформировали: не прошло и шести недель, как все были готовы выступить.

Граф Дмитриев-Мамонов Александр Матвеевич,[19] сын известного в свое время любимца императрицы Екатерины II, служил в то время в Сенате. Он был с небольшим лет двадцати, вступил в военную службу и, как человек весьма богатый, на свой собственный счет поставил на ноги целый полк из своих крестьян, и сам его обмундировал и во главе его отправился в действующую армию. За это он был сделан потом генерал-майором, но, говорят, он ожидал большего. По окончании войны он вышел в отставку, недовольный, что мало оценили его заслугу, как ему казалось; уехав в деревню, там прожил безвыездно лет двадцать и помешался в рассудке[20] на том, что он Владимир Мономах. Это я сказала к слову. . .

В начале июня Бонапарт переступил через нашу границу. Войска были собраны в губерниях, смежных со Смоленскою. Император туда ездил, был в Вильне, в Полоцке, осматривал и, говорят, имел намерение остаться и лично командовать, но потом передумал, чувствуя, что он нужнее для управления; воевать предоставил главнокомандующим. Вся столица ожидала государя с нетерпением, а народ, узнав, что государь прибудет по Смоленской дороге, толпами шел очень далеко и намеревался выпрячь лошадей из государевой коляски и везти ее на себе. Ростопчин, бывший с государем на последней станции, видя множество собравшегося народа, вышел и сказал, что государь ночует на станции; кто поверил, а многие остались дожидаться. На Филях был старичок священник; услышав, что государь поедет мимо, вышел в облачении и с крестом; государь вылез из коляски и, поклонившись в землю, приложился ко кресту.

Июля 12 государь прибыл в Москву ночью. На другой день был выход в Успенский собор. В то же время за слабостью здоровья и по преклонности лет московский митрополит Платон уже не управлял московскою епархией, жил на покое в Вифании, а Москвой и всею губернией управлял преосвященный Августин. При встрече государя пели: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его и да бежат от лица Его вси ненавидящие Его».[21] Встреча была торжественная, всеобщий восторг, которого и описать нельзя, и государь от умиления вышел из собора весь в слезах. С неделю по прибытии государя в Москву получено известие о заключении выгодного для нас мира с Турцией,[22] и по этому поводу были большие торжества.

Этот мир развязывал нам руки и давал возможность все наши силы собрать в одном месте, где нужнее, чтоб отразить дерзкого Бонапарта; и все сему радовались, а Бонапарт бесился и злобствовал на англичан, которые нам помогли заключить этот мир.[23] Повторяю, что слышала, а так ли оно было или нет, это справляйтесь с историей.

По желанию государя преосвященный Августин составил молитву и новый чин для молебствия по случаю нашествия иноплеменников и служил оный ежедневно, а молитву читали с коленопреклонением.

В июле вышел высочайший манифест и воззвание от святейшего Синода.

Июля 30 праздновали одержанную нами победу над каким-то маршалом: разбили его отряд.[24]

Августа 5 французы заняли Смоленск. Бонапарт все ожидал сражения с Кутузовым, а Кутузов отступал, желая заманить неприятеля подалее. Неприятельское войско начинало уже терпеть великую нужду: ели размоченную рожь и конское мясо.

Накануне Успеньева дня[25] преосвященный Августин совершил молебствие за Сухаревою башней, у Спасских казарм, в присутствии собравшегося московского ополчения, благословлял всех воинов, кропил святою водой и вместо знамен вручил им священные хоругви.

Дня через три после того пришло известие, что французы заняли Вязьму. Становилось очень жутко в Москве, но главнокомандующий Ростопчин в своих афишках все печатает, что бояться нечего, что француза до Москвы не допустят и т. д. А между тем слышим, что велено игуменьям забрать, что в их монастырях, в ризницах лучшего и драгоценного, и укладывать, чтобы все было наготове, когда потребуют.

Из Москвы стали многие выбираться, куда кто мог подальше. Брат, князь Владимир Волконский, поехал в свою казанскую деревню, и звал и меня туда приехать, если бы понадобилось. Тетушка графиня Толстая собралась в Симбирск; Архаровы поехали в тамбовскую деревню; княгиня Мещерская поехала в Моршанск; Апраксина с дочерьми — в орловскую деревню: все забирались подальше, и все казалось, что еще близко...

Дмитрий Александрович принужден был остаться в Дмитрове по должности, которую на себя принял, а обо мне с детьми мы решили, что отправимся в тамбовскую деревню.

Мы собирались, но все еще медлили, надеясь, авось Господь помилует и избавит от такой напасти. Город с каждым днем все пустел: то те уехали, то другие, то, смотришь, какая-нибудь лавка заперта — перестали торговать. Выедешь ли куда, то и дело попадаются дорожные кареты, фуры, обозы с сундуками и пожитками. Порадовало было нас известие о сражении под Бородином: думали, ну, теперь ухлопают неприятеля; нет, говорят, хотя и сильно поражен, но идет к Москве. Стали закрывать присутственные места, изо всех монастырей настоятели и игуменьи собрались на подворье к преосвященному Августину: настоятели все отправились с обозом церковных сокровищ в Вологду, а из игумений некоторые тоже выехали, а другие остались в городе и во все время неприятеля то жили по своим монастырям, то укрывались, где Господь приведет...

III

Как я ни медлила, а ехать приходилось. Начали совсем собираться: все хотелось бы взять, а брать некуда; в четвероместной карете и без того тесно: я, две старшие дочери, Клеопатра, двенадцати лет, Сонюшка, пяти лет, и ее няня. . . Образа свои мы оставили в сундуке в Горковской церкви; из серебра взяли, что понужнее, а что получше и потяжелее, оставили в деревне. Денег у нас налицо было всего 1000 р. ассигнациями, мы разделили их пополам с Дмитрием Александровичем, и взяла я с собой один фунт чаю: более в доме не оказалось, а купить было уже негде.

Поутру накануне отъезда пришел ко мне камердинер мужа и говорит:

— Сударыня, вы бы изволили уговорить Дмитрия Александровича послать в Горки все, что получше: зеркала, мебель которую, фарфор, там все-таки будет сохраннее, чем здесь. Ну, сохрани Бог, дом сгорит. . .

Пошла я в кабинет; Дмитрий Александрович прегрустный, прерасстроенный, говорю ему:

— Вот Михаил Иванов мне тоже говорит, что и я тебе советовала: побольше отправить в деревню, целее будет.

— Нет, матушка, не стоит возиться: ежели Москва не уцелеет, где уцелеть деревне в сорока верстах! Оставим, как что есть: право, не до того теперь. . .

Так мы этого и не сделали, а если бы послушались доброго совета, все бы могли сохранить.

Поздно вечером накануне отъезда сидели мы и толковали с мужем обо всем, как будто мы навек прощались; да и всяко думалось: могло быть, что и не свиделись бы. Не дай Бог никому перечувствовать и испытывать, что мы все тогда испытали и пережили. . .

В самый день отъезда послали в приход за священником, отслужили молебен напутственный с водосвятием; карета была уже еще с вечера уложена, велели закладывать, простились все со слезами, как бы навек, и поехали. . .

Отправились мы на Крымский брод, чтоб оттуда пробраться проселочными дорогами на Каширскую дорогу и так через Каширу доехать до веневской деревни моего деверя и потом, ежели не будет опасности, проехать к себе в тамбовскую деревню.

От нашего дома с Пречистенки и до Крымского брода точно гулянье: тянулись экипажи, кареты, коляски, дрожки и тележки; все едут, спешат выбраться из Москвы, кто идет пешком, навьючен узелками и мешочками. По берегам у Крымского брода народ сидит толпами. . . Это было 1 сентября поутру. Мы ехали на своих лошадях, останавливались, кормили лошадей и ночевали и благополучно прибыли в Петрово на третий день. Здесь отдохнули дня с два и поехали далее. Под Рождество богородицы [26] мы были в Задонске и остановились на монастырской гостинице. В праздник мы пошли к обедне, и навстречу нам идет настоятель, архимандрит отец Евграф, и, видя, что мы приезжие, спрашивает:

— Откуда вы, матушка, не московские ли?

Я отвечаю: «Да, мы из Москвы».

— А давно ли вы, сударыня, оттуда изволили выехать?

— Утром 1 сентября, — говорю я.

— Давненько. . . стало, вы и не знаете, что французы в Москве, и она горит пятые сутки?

У меня едва не подкосились ноги.

«Господи, — подумала я, — что там теперь делается?» Когда чего дурного ожидаешь, чаще всего представишь себе непременно худшее, чем оно действительно бывает: чего тут я не придумала: муж или убит, или в плену, дом сгорел, Москва вся выжжена, нашу деревню тоже, верно, спалят, и чего-чего себе я не представила. Поплакала я, погоревала и поехала далее; наконец приехали мы к себе в Елизаветино. Добрые наши соседи Бартеневы, узнав о моем приезде, поспешили ко мне приехать. Стали расспрашивать: как и что в Москве? Рассказываешь им, а сама, бывало, плачешь; опять все ужасное и в самом черном цвете придет в голову.

Тревожное было тогда для меня время: почта приостановилась; слухи, когда дойдут откуда-нибудь, все нерадостные и самые преувеличенные, а иногда и вовсе неверные. Сентябрь стал подходить к концу, ни писем, ни известий от мужа нет. . . Прошло три недели, как мы выехали из Москвы, а в три недели и не в такое время мало ли что могло случиться.

Раз пред вечером сижу я в гостиной одна: дети разошлись по своим комнатам, смеркалось, свеч еще не подали, и в большой грусти думаю, что-то теперь делает мой муж, что в Москве. Вдруг входит человек и говорит мне:

— Елизавета Петровна, к нам едет какой-то дорожный экипаж, разглядеть нельзя, а кучер песни поет, как будто Филат, значит, Анны Петровны.

Очень я обрадовалась мысли, что это сестра, и потом вдруг мне представилось: не с дурною ли она вестью, не объявлять ли мне что-нибудь о Дмитрии Александровиче?

Пошла ходить от окна к окну, не увижу ли, жду не дождусь; слышу, подъехали к крыльцу, иду навстречу: точно, сестра.

— Ах, голубушка моя, как это ты вздумала ко мне приехать? Ну, что, какие известия из Москвы?

Она вздохнула. — Очень дурные. Москва взята французами и почти вся выжжена. . .

«Ну, — думаю себе, — это она приготовляет меня, хочет мне объявлять что-нибудь о муже».

— Ну, а ты какие имеешь вести о Дмитрии Александровиче? — спрашивает она меня.

Так и чувствую, что она меня приготовляет и сейчас объявит мне печальное известие.

— Никаких, — говорю я, — да ты не томи меня, а скажи мне лучше, уж не слыхала ли ты что-нибудь про него? . .

— Уверяю тебя, что ничего не знаю: ведь почта не ходит. . .

Пошли мы в гостиную, прибежали дети, подали свечи, стали хлопотать об обеде для сестры, а потом она начала рассказывать, какие вести дошли до нее о состоянии Москвы.

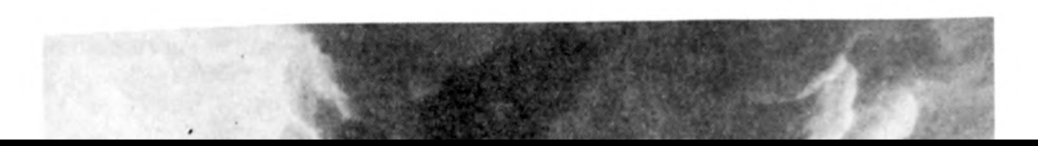
IV

В понедельник, сентября 2, как ударили в Кремле к вечерне, вошли французы в Москву через Дорогомиловский мост. Войска были холодны и голодны, наги и босы; дорвавшись до Москвы, они тотчас же рассыпались по городу промышлять себе, кому что было нужно; кто спешил утолить свой голод или жажду, а кому хотелось добыть себе обувь или чистое белье. Мародеры ходили по городу, отнимали, что им полюбится, подбивали кур, уводили лошадей и коров и, словом сказать, все, что принадлежало московским обывателям, считали своею собственностью. Москва очень опустела: вместо 280 тысяч жителей, говорят, не осталось и десятой доли. Ростопчин велел выпустить всех колодников и арестантов для того, чтоб они получили свободу прежде вступления неприятеля, а не по его милости; пожарные трубы, всю команду из Москвы вывезли, и когда начались пожары, то неприятелю не оставалось и средств для их прекращения.

Разные были толки насчет пожаров Москвы: одни думали, что поджигают французы; французы говорили, что поджигают русские, по наущению Ростопчина, а на самом деле, при дознании, впоследствии открылось, что большею частью поджигали свои домы сами хозяева. Многие говорили: «Пропадай все мое имущество, сгори мой дом, да не оставайся окаянным собакам, будь ничье, чего я взять не могу, только не попадайся в руки этих проклятых французов».[27]

Бонапарт торжествовал, когда, вступив в Москву и поселившись в Кремлевском дворце, вообразил себе, что со взятием столицы он покорит и всю Россию; но не тут-то было: с этого-то времени и начались все его бедствия. И неудивительно, потому что Господь поруган не бывает, а французы ругались над нашею кремлевскою святыней. Они обдирали иконы и иконостасы и перетапливали в слитки добытое ими серебро; говорят, в Успенском соборе посредине вместо большого паникадила привешены были весы, чтобы взвешивать добытое серебро и золото; серебра ими награблено в церквах и монастырях с лишком 320 пудов и около 20 золота, что по тогдашним ценам составляло с лишком на полтора миллиона рублей ассигнациями. Однако им не удалось воспользоваться этою добычей, потому что часть им пришлось оставить при выходе из Москвы, а что и взяли с собой, у них потом было отбито нашими казаками.

Всего возмутительнее было обращение неприятеля со святыней: они кололи иконы и употребляли их на дрова, на престолах ели и пили, антиминсами вздумали подпоясываться, и так как они были коротки, бросали их, и они валялись, где придется; святые мощи выкидывали из ковчегов и из рак; ризы употребляли вместо попон для лошадей, плащаницами покрывали свои постели, кровати ставили в алтарях, церкви и соборы превращали в конюшни и всячески ругались надо всем священным; вот Господь их и покарал за их беззаконие.



V

С приездом сестры у меня на сердце немного поотлегло: она меня успокоила верным известием, что почта из Москвы прекращена, и когда я начинала беспокоиться, сестра меня старалась развлечь и успокоить.

Немного времени спустя приехала ко мне и другая моя сестра, Варвара Петровна Комарова, с мужем, а там и княгиня Авдотья Николаевна Мещерская со своею дочерью Настенькой, которой было в то время, я думаю, лет шестнадцать. Итак, нас собралось довольно много. Мещерская уезжала в Моршанск и там жила в первое время неприятельского нашествия и, погостив у меня несколько дней, опять возвратилась в Моршанск, где и прожила всю зиму до начала лета 1813 года.

Вышедши замуж в 1796 году, она овдовела три месяца спустя после брака, будучи непраздною,* а в надлежащее время родила дочь Анастасию, в которой полагала все свое счастье и воспитывала с неусыпным старанием, живя по зимам в Москве, а летом в своем звенигородском имении, в сельце Аносине. Там церкви не было, когда Мещерская купила имение. Она была очень благочестивая и набожная женщина и потому выпросила у митрополита Платона дозволение построить у себя церковь, которая была совсем уже готова, оставалось только освятить, когда вдруг нагрянул неприятель, и княгине пришлось наскоро собираться и уезжать.

По соседству с Аносином жила наша родственница, бабушка Прасковья Александровна Ушакова (урожденная Теряева); она была дружна с княгиней и после 1812 года ей помогала при поправке церкви и обновлении строений; она жила в селе Ламонове.

С другой стороны неподалеку было имение Кутайсовых. Этот Кутайсов турецкого происхождения (уроженец города Кутаиса); он был взят в плен во время турецкой войны и понравился великому князю Павлу Петровичу, который его окрестил, к себе приблизил и при своем восшествии на престол пожаловал графством и немалым имением; звали его Иван Павлович. При первом взгляде на него видно было его происхождение; он был женат на Анне Петровне Резвой, очень доброй и почтенной женщине, которая умерла гораздо спустя после своего мужа, дожив до преклонных лет. Она была очень дружна с княгиней Мещерской, и они между собой положили, чтобы меньшой граф Кутайсов, Александр Иванович, женился на княжне Мещерской, когда ей исполнится шестнадцать или семнадцать лет. Но родители улаживали, а Господь решил иначе: 26 августа граф Кутайсов, не имея еще и тридцати лет, но будучи уже генералом, был убит под Бородином. Это очень поразило графиню и не менее опечалило и княгиню, которая желала этого брака; но, видно, не было суждено ему совершиться.

После отъезда Мещерской я опять осталась с двумя сестрами и с зятем Комаровым.

С каждым днем мне становилось все тяжелее и грустнее, что нет известий от мужа, и если бы не сестры, я совсем упала бы духом.

---

* См. ниже, глава XIII.

Подходил праздник Покрова; я с утра послала накануне к священнику звать его прийти к нам после обеда отслужить всенощную. Начали служить; смотрю на своих дочерей и думаю: это сироты, а я вдова. . . «Царица небесная, владычица дева пречистая, прими нас под свой покров. . .»[28] И много, много я плакала за всенощной, и по слову псалмопевца случилось и со мной: «Вечор водворится плач и заутра радость».[29] На следующий день после обеда приехала подвода из деревни от Дмитрия Александровича: когда мне подали письмо и я увидела его руку, тут я только поверила, что Господь помиловал нас от самой великой для нас печали. Все мы обступили привезшего письмо и стали спрашивать обо всем, что делается в Москве и у нас в деревне.

Москва точно почти вся выгорела, сгорел и наш пречистенский дом, но в деревне у нас неприятель не был, хотя был в Озерецком, в 12 верстах от нас, небольшой отряд, и тамошние мужики по-своему с ним расправились: кто вилами, кто дубиной порядком француза отпотчевали, так что он не то что нападать, а думал, как бы подобру-поздорову самому уплестись и бежать в лес; и там добили окончательно.

Когда начала гореть Москва, то зарево так было сильно, что у нас в селе казалось, что пожар как будто только где-нибудь за лесом, верстах в трех или четырех, и, странное дело, находили около села, на полях, обгорелые головни, и пахло дымом и смрадом, как если бы пожар был неподалеку. Когда был взрыв порохового двора и другие взрывы в Кремле, их слышали и у нас, и так сильно, что в оранжерее дрожали стекла в рамах.*

Дмитрий Александрович писал мне, что положение неприятеля в Москве бедственное и что он едва ли долго еще удержится в городе. Из Москвы мой муж выехал 2 сентября поутру и благополучно приехал в деревню, а в вечерню неприятель занял Москву.

Посланный ко мне с письмом ехал окольными путями, опасаясь встретиться с французами, и, благодаря Бога, нигде их не видал. Чтобы миновать Москву, ему следовало забрать верст сорок выше и вправо от Бутырской заставы и ехать все окраиной, пока не попадет на Каширку, и потому пришлось ему проехать больше ста лишних верст, да что нужды: хоть дальше, да вернее.

В октябре очень уже стали поговаривать, что француза выгонят из Москвы, стало, думаем мы, он ослабел, что его теперь уже не опасаются. Потом я получила письмо от мужа, и он пишет, что скоро Москву очистят, потому что беспрестанные пожары и недостаток продовольствия, а к тому же и необычные холода вытесняют неприятеля. Это он мне писал

* Один крестьянин, старичок из деревни Кармолино (Богородского уезда), поблизости от Берлюковой пустыни, рассказывал мне: «Я был во французский год 13-ти лет; мы раз убирались с батюшкой на дворе и такой вдруг услышали треск, что мы так и присели, а в избе инда стекла в рамах задрожали: это, говорят, в Москве был взрыв. На третий день после француза мы поехали в Москву; приезжаем, по улицам еще валяются убитые лошади и французы, — не успели, значит, убрать. У наших господ был свой дом — сгорел весь дотла; старичок из нашей деревни был дворником при доме, он сгородил себе хибарку на огороде, да там и жил. Французы доходили до Купавны, но мужички встретили их с пиками, ну, они поскорее и тягу дали, пошли назад».

в первых числах, а после 15-го последовало и радостное известие, что 6 числа Бонапарт выехал из Москвы, стали выходить его войска, и что 11 числа не осталось ни одного неприятеля в Москве, кроме больных, лежавших в госпиталях.

Так Господь, наведший на нас свой праведный гнев, не предал нас в руки врагов наших, но, наказав, паки умилосердился над нами.

Те, которые видели Москву вскоре после выхода неприятеля, рассказывают, что это было самое печальное зрелище: многие всего лишились и, возвратясь в Москву, на выгоревших местах долго искали принадлежавшего им места и того не могли признать. Так, у Авдотьи Николаевны Мещерской был свой дом в Старой Конюшенной и, приехав в Москву уже весной 1813 года, насилу-насилу княгиня узнала, где стоял ее дом.

Октября 12 был отслужен в Страстном монастыре благодарственный молебен об освобождении Москвы. Преосвященный Августин, выехавший из столицы накануне вступления неприятеля, все время провел во Владимире и в Муроме, где жил в монастыре, и возвратился в Москву в конце октября, но сперва жил у себя в черкизовском загородном доме, а потом в Сретенском монастыре, потому что на Саввинском подворье архиерейский дом не был еще приведен в порядок, хотя и не горел.*

В Михайлов день, ноября 8, преосвященный в сопровождении духовенства и некоторых из московских властей отправился осматривать Кремлевские соборы. Когда он вошел в Успенский собор, то запел: «Да воскреснет Бог» и потом «Христос воскресе»; [30] это была, говорят, торжественная минута, и все присутствовавшие невольно прослезились.

Ноября 10 преосвященный служил литургию у себя в Сретенском монастыре и после того взял иконы — Владимирскую и Иверскую (которые он увозил во Владимир и которые, по возвращении в Москву, временно

* Секретарь преосвященного Августина, Николай Иванович Малиновский, вышедший в отставку после кончины преосвященного, жил у своего зятя, священника церкви Василия Кесарийского. Он был с нами коротко знаком и в последние 15 лет своей жизни (1847—1863) редкое воскресенье или праздник не приходил к нам обедать, а иногда, кроме того, бывал и в будни, и очень любил рассказывать подробно о 1812 годе. Малиновский был человек очень неглупый, много читавший не без пользы, многих знавший и слышанное хорошо помнивший; но, по многословию его, рассказы были утомительны и трудно было следить за главным предметом по множеству отступлений и недостатку последовательности. Находясь при преосвященном Августине, он имел возможность познакомиться со многими значительными лицами; так, он бывал у Обольянинова, у Елизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой, у нашей родственницы А. Н. Неклюдовой, у Ивинских и у многих других. Он многое рассказывал, но слышанное от него не всегда хорошо усваивалось от сбивчивости в рассказе. Говорят, он в свое время, не без пользы вещественной для себя, был архиерейским секретарем, и после его смерти это оправдалось. Он занимал очень скудную квартирку, носил стародавнее платье двадцатых годов, все больше ходил пешком, редко у себя дома обедал, и, глядя на его жизнь и обстановку, можно было полагать, что он с трудом пробавлялся самыми скудными средствами, а по смерти у него оказалось более 70 000 р. серебром. Эти деньги достались двум его племянникам, которым при себе он и гроша не давал. Года свои он скрывал, а на вид ему нельзя было дать более 70-ти, 72-х или 73-х лет, и о слишком давних событиях он никогда не говорил, чтоб он их сам помнил, но передавал о них как о слышанных от отца или от когонибудь. Когда он умер в 1863 году, ему было, говорят, за 90 лет. *Внук.*

находились в Сретенском монастыре) и с крестным ходом сопровождал Иверскую икону божьей матери и поставил оную в ее часовне.[31]

Через неделю или недели полторы спустя, когда в церквах поуправились, велено было служить благодарственный молебен, и после того целый день по всему городу трезвонили.

Декабря 1 был большой крестный ход. Николай Иванович Малиновский очень подробно об этом рассказывает, и кому же лучше и знать, как не секретарю Августина? Преосвященный освятил в этот день церковь Василия Блаженного, вероятно, от неприятеля тоже поруганную, и крестным ходом вышел на Лобное место, с которого он говорил народу слово и кропил святою водой; крестный ход, разделившись на три части, пошел обходить около Кремля, и целый день в Москве был трезвон.

VI

В ноябре месяце 1812 года преставился митрополит московский Платон, жительствовавший в Вифании, где и был погребен на указанном от него месте. Как будто Господь медлил его от нас брать, чтобы был на земле праведник, молящийся во всеобщем бедствии. У Троицы и в Вифании неприятель не был. В народе говорили, что два раза Бонапарт посылал отряд, чтобы поразведать, нет ли войска нашего и казаков в Троицкой лавре, и захватить лаврские сокровища, но посланные никак не могли достигнуть до Троицы, потому что такой туман спускался на землю, что они и нехотя должны были возвращаться назад.

Слышала я, что и в Саввине монастыре, что возле Звенигорода, в 1812 году тоже все обошлось благополучно. В монастыре со своим отрядом квартировался тогда пасынок Бонапарта, сын Жозефины, Евгений Богарне, которому было ночное видение, и во сне сказал ему преподобный Савва, что если он не коснется монастыря и его имущества, то будет невредим и возвратится на родину благополучно. Тогда Богарне велел приставить караул к церкви, а церковь запер, ключи взял к себе и, кроме того, запечатал двери и повторил всей своей команде, что если кто-нибудь чего бы то ни было коснется в монастыре, то он тут же велит того расстрелять. И благодаря этой предосторожности в монастыре все осталось неприкосновенным. Мало этого: принц Богарне такую возымел веру к преподобному Савве, что пред отъездом из монастыря просил себе от настоятеля его икону и благословение. Он оставил ее сыну своему и заповедал ему, что если ему случится быть когда-нибудь в России, чтоб он непременно побывал в обители преподобного Саввы и поклонился его святым мощам. И точно, лет тридцать спустя, в сороковых годах, принцу Максимилиану Лейхтенбергскому пришлось быть в Москве; он вспомнил, что заповедал ему отец, и благоговейно исполнил его благочестивое желание и при этом рассказал случившееся с его отцом.[32]

Находившиеся в Москве маршалы и главные начальники не так обращались с кремлевскою святыней. Мощи святителя Алексия нашли вынутыми из раки, поверженными на пол и заваленными всяким хламом;

в Успенском соборе тоже все раки были поруганы, кроме раки святителя Ионы, которая осталась неприкосновенною; мощи святителя Филиппа лежали на полу, а в Архангельском соборе дохлая лошадь валялась в алтаре! Мощи святого царевича Дмитрия были спрятаны у брата священника Вознесенского монастыря во избежание поругания, а ручка всехвальной Евфимии нашлась отчего-то у одного столяра на Бутырках и была взята от него архиерейским секретарем Малиновским, который случайно об этом проведал и донес преосвященному.

Хозяева тех домов, которые уцелели, не только ничего не потеряли, но, говорят, очень много приобрели, в особенности же где квартировали маршалы и генералы, потому что пред выходом своим из Москвы они ничего с собою громоздкого не брали, а все оставляли в своих квартирах. По возвращении в Москву городского начальства было всем оповещено, что хозяева могут считать своим все, что найдут в своих домах, но чтобы никто не заявлял прав своих на свои вещи, которые во время неприятеля попали в другое место, а то судбищам не было бы и конца. Так, при въезде с Пречистенки на Девичье поле был налево старый и просторный дом Матрены Прохоровны Оболдуевой (она приходилась нашим Вяземским сродни); там жил какой-то генерал, и, говорят, чего-чего не было навезено в этот дом: мебели, посуды всякой и припасов разных, и Матрена Прохоровна, старушка очень небогатая, после того поправила свои дела: стало быть, наследство было изрядное.

Рядом с этим домом дом, что теперь Олсуфьевых (а в ту пору — либо князя Голицына, либо князя Долгорукова, женатого на Делицыной), был занят каким-то маршалом, тоже остался в совершенном порядке и не горел, и хозяева нашли в нем порядочно всего.

А наш дом сгорел дотла. У Обольянинова уцелел только один флигель. Был у Петра Хрисанфовича малахитовый столик, отделанный бронзой, пожалованный ему императором Павлом; думали, что вместе с домом сгорел и столик; ничуть не бывало: проходит год, и сказывают Обольянинову, что где-то на Бутырках у одного мещанина есть столик, похожий на тот, который был у него. Он послал посмотреть; точно, тот самый, и он его потом выкупил.

Из числа остававшихся в Москве жительниц во время неприятеля я могу назвать двух, которых я знавала по имени: Загряжскую и Щепотьеву; обе они совершенно различно действовали во время неприятельского нахождения в Москве.

Загряжская, сказывали тогда, добыла себе какие-то большие ключи, подговорила кой-кого, встретила Бонапарта при его вступлении в столицу и поднесла ему эти ключи, которые она выдала за кремлевские. Жаль, что он не велел примерить: приходились ли они по замкам. Я думаю, сплутовала она и подсунула ему связку ключей от своих амбаров и погребов. Он ее наградил: подарил ей загородный дом князя Голицына — село Кузминки.

Когда француз вышел из Москвы, она себе и в ус не дует — живет в Кузминках. Возвратился Голицын; послал осмотреть туда свой дом; говорят ему: «Там, дескать, живет новая помещица Загряжская».

Расходился Голицын: «Что ты, батюшка, вздор городишь: какая это такая Загряжская, я ее знать не знаю, велите ей выезжать из моего дома, а то я ее по шеям выгнать велю».

Ей передают: «Извольте, мол, сударыня, выезжать, князь просит вас честью выехать, а то будет вам неприятность».

Что ж она? Говорит: «Я знать не хочу Голицына: Кузминки мои, мне их император Наполеон пожаловал. . .» И не поехала. Принужден был князь Сергей Михайлович послать за становым, и только тот втолковал ей, что Бонапарт не имел права дарить ей чужое имение. И так ее почти силой и выпроводили.[33]

Щепотьева, напротив того, оставшись в Москве, можно сказать, дразнила Бонапарта. И как это она ничего не боялась? Она была генеральская дочь, девица — пожилая и богатая, и все езжала цугом. Вот как услышит, что мы одержали какую-нибудь победу над неприятелем, и велит заложить свою карету, а сама разрядится елико возможно. Приедет куда-нибудь на площадь и махает платком из окна лакею, кричит: «Стой!» Народ сбежится смотреть, что такая за диковинка: барыня в цветах и перьях сидит в карете со спущенными стеклами и то к одному окну бросится и высунется, то к другому? А она кричит проходящим: «Эй, голубчик, поди-ка сюда; слышал ты, мы победу одержали? Да, победа, голубчик: разбили такого-то маршала». Потом высунется из другого окна и то же самое повторяет. . .

Накричится вдоволь и отправится дальше. Там опять где-нибудь на рынке или на площади закричит: «Стой!» И опять кричит проходящим: «Победа, голубчик, победа!» И так все утро и разъезжает по городу из конца в конец.

Как это она уцелела в Москве во время суматохи, Бог знает. Удивительно, что ее французы не пришибли и даже не обобрали.

Как ее звали — не помню теперь; Анна Николаевна, кажется, но наверно не могу сказать; может статься, называю не так.[34]

Вот какой рассказ ходил еще о Бонапарте.

Уверили-де его, что крест на Иване Великом из чистого золота. Разгорелись глаза у хищника. Говорит своим маршалам: «Я желаю, чтобы крест с колокольни был снят». Слово его было для всех законом, все трепетали пред ним.

Маршалы молчат, переглянулись меж собой: знают, что на колокольню слазить не безделка, а надо исполнить волю императора. Собрали самых отважных из своих солдат, отъявленных головорезов. Говорят им: что вот, что император приказал: кто желает исполнить волю его? Все отвечают: никто; кому охота шею себе сломить? Докладывают: «Никто не соглашается». Пожал плечами, покачал головой.

— Хороша, — говорит, — у вас дисциплина! Вас не слушают солдаты. . . Мне все равно, употребите на это дело кого хотите, только чтобы крест был снят: вы слышали, что я этого хочу.

Что тут делать? — французы не лезут. Выискался какой-то русский изменник, верно какой-нибудь пьянчуга. Согласился лезть, выпросил сто рублей: дешева, стало быть, ему его жизнь. Полез и преблагополучно

крест выломал и спустил его. Пошли к императору; рассказали, как что было. Стали ковырять крест — оказывается, железный, обит золоченою медью. Пришел сам Бонапарт, спрашивает: «Кто снимал крест?».

Показывают изменника. Тот под собою земли не слышит, думает: вот благополучие-то, император меня желал видеть, значит, я молодец.

«Заплатите ему, что следует», — говорит император.

Отдали сто рублей.

Спрашивает император у него чрез переводчика: «Все ли ты получил, что нужно, и доволен ли?»

Тот отвечает: «Все, очень доволен».

Говорит Бонапарт переводчику: «Я буду говорить, а ты ему переводи».

И начал: «Если бы который из моих солдат полез на колокольню, я похвалил бы его, сказал бы ему, что он храбрец, и щедро наградил за такой подвиг. Но ты — русский, ты сторговался за сто рублей подвергнуть свою жизнь опасности, стало, тебе жизнь не дорога; ты снял крест с своей церкви, чтоб отдать врагу, стало быть, ты изменник. Я изменников ненавижу и нахожу, что они не достойны жить; готовься умереть, тебя сейчас расстреляют».

И тут же тотчас молодца и расстреляли;[35] и хорошо сделали: поделом вору и мука.

Когда Бонапарт вышел из Москвы, в Кремле осталось после него более 1000 фур, нагруженных всяким добром: так награбленное добро впрок и не пошло.

Конечно, во время пожара погибло в Москве много древностей и драгоценностей, но самое драгоценное, что было, все вывозили; Патриаршую ризницу и Оружейную палату, что ценят более чем в 25 миллионов, увозили в Нижний и в Вологду. Из московских монастырей и церквей увозили всяких сокровищ на 600 подводах.

VII

Куда увозили все архивы — я не знаю,[36] а из Опекунского совета бумаги и заложенные вещи отправлены были на барках в Казань, и возил их Полуденский Петр Семенович, женатый потом на дочери попечителя советского Александра Михайловича Лунина.

Кстати, о Лунине и Полуденском. Лунин Александр Михайлович был попечителем московского Опекунского совета после Николая Ивановича Баранова и начальником московских институтов. Я нередко видала его у Архаровых. Жена его Варвара Николаевна, по себе Щепотьева (племянница той чудихи, что разъезжала по Москве при Бонапарте), была коротка с Архаровой, и там мы с ней встречались. За заслуги ее мужа, к которому благоволила покойная императрица Мария и с которым была в переписке, Лунина имела Екатерининский орден меньшего креста.[37] Милая и добрая старушка с приятным лицом, с голубыми, очень приветливыми глазами и ласковою улыбкой. Она была довольно худощава и, может статься, желта лицом, но она по нашей привычке густо румянилась.

Лунин сам до последнего времени продолжал пудриться; он был по-тогдашнему очень хорошо воспитан и учен; в обхождении не то что надменен, а, как бы сказать, не очень общителен, впрочем, прилично учтив; а видно, что он в домашнем быту был характера не совсем покладистого, но, должно быть, крутого и настойчивого.

У него был сын и пять дочерей. Эти барышни тоже часто бывали у Архаровых и с моими девочками учились танцевать. Старшая, Варвара, была очень дурна собой, но по заслугам отца была фрейлиной. В первый раз, что ей пришлось быть при императрице, увидал ее великий князь Константин Павлович, который, говорят, не всегда мягко выражался; он у кого-то и спрашивает из фрейлин:

— Это еще что за обезьяна? Говорят ему: «Это Лунина, дочь попечителя московского Опекунского совета...»

— Оно и видно, что у ней должен быть попечительный отец, а то разве такую пустили бы во дворец...

И говорят, будто бы она слышала этот разговор, потому что великий князь говорил не шепотом. Каково это было ей выслушать такую похвалу на свой счет?

Ее звали Варвара Александровна. Она была уже очень немолода, когда вышла замуж за какого-то Клаузена, неважная птица. Тогда все кричали: «Как это Лунина идет за Клаузена?».

Две из младших дочерей, Елена и Настасья, были недурны, но уж очень лицом худощавы и сухопары. Был как-то у Архаровых детский маскарад, и они были наряжены китаянками: к их худощавым лицам это шло недурно, а одна из меньших была одета купидоном. Это хорошенькая была девочка, Татьяна или Анна — не припомню.

Елена Александровна вышла замуж за Полуденского Петра Семеновича. Мы его знавали по нашим Яньковым, у которых был приятель Шумов Иван Федорович, друг Полуденского, и чрез него мы и познакомились, потому что когда после 1812 года пришлось нам опять строиться, то должны были призанять кой у кого денег; занимали и у Полуденского, который имел небольшие деньги. Он был человек очень хороший, честный, добрый и работящий. Смолоду был весьма красив лицом, но ростом не очень высок. На ком он был сперва женат — не знаю; помнится, что она была воспитанница какой-то большой барыни, чуть ли не графини Головкиной, которая, не имея детей, дала ей изрядное приданое. Она была, сказывали, хороша собой и, не прожив года в замужестве, умерла. Лунин знал по Совету, как начальник, служившего там Полуденского за человека честного, хорошего и дельного. Полюбился он ему, а дочки-то уж на возрасте, он раз и говорит Полуденскому: «Петр Семеныч, хочешь быть моим зятем; я с удовольствием за тебя отдам Леночку».

Верно, он ей нравился.

Ну, как ни говори, хоть и хороший был и дельный человек Полуденский, а все же не партия Луниной. Разумеется, чего тут думать, и женился.

Потом он и сам был чиновным человеком, сенатором и почетным опекуном и большим приятелем князя Сергея Михайловича Голицына,

который имел к нему полное доверие и в важных случаях с ним всегда советовался.

Не помню, в котором году, по просьбе Полуденского покойный Дмитрий Александрович приискал ему именьице в Тульской губернии, и тот его купил.

Настасья была за Богдановским, тоже сенатором; Татьяна — за Савиным. После княгини Елизаветы Ростиславовны Вяземской она была начальницей в Доме трудолюбия.[38]

Еще одна была Лунина, Анна, очень недурна собой, но болезненная; эта жила все у Троицы, была благочестива и богомольна. Там и умерла и схоронена в лавре.*

VIII

В конце октября, совершенно неожиданно, приехал наконец и Дмитрий Александрович. Вот была радость-то! Как в старинных сказках, бывало, мамушки приговаривали: ни словом сказать, ни пером описать. Всего только два месяца как мы расстались, а показалось всем нам едва ли не за год: время-то было такое опасное.

Кроме того, что мы лишились дома в Москве, все, благодаря Бога, было благополучно у нас: в деревнях урожаи хорошие и уборка, несмотря на передряги, довольно успешная, а мужичкам нашим — хорошие заработки в Москве, где было много работы и рук недоставало.

Каждый тогда потерпел потери, а про убытки не думали, а благодарили Бога, что он избавил Россию от лютого врага и что сами спаслись от смерти и погибели. А многие семейства оплакивали близких: кто сына, кто брата, мужа, отца, убитых во время сражений с французами.

Тяжелый был этот год!

В то время как сестры гостили у меня, однажды утром сестра Анна Петровна и говорит мне:

— Сегодня я видела во сне, что кто-то говорит мне: «Вот и 1812-й год, а ты все еще не в монастыре».

— Это потому, что ты думаешь об монастыре, оттого тебе про это и снится, — говорю я ей.

— Нет, сестра, это опять мне напоминание.

Надобно сказать, что она еще в 1811 году видела во сне страшный суд, и тогда это ее очень поразило, и она положила идти в монастырь. Во время неприятеля она опять подтвердила свое обещание, что, ежели Господь всех нас помилует от погибели, непременно вступит в монашество; и тут вскоре она этот сон-то и увидела.

— Так что же ты теперь думаешь делать? — спросила я ее.

— Хочу готовиться.

— Испытай ты сперва себя, — говорю я ей.

У нас, впрочем, монашествующих было в роду немало.

* А. А. Лунина, дочь действительного тайного советника, скончалась 26 января 1840 года, погребена за алтарем Успенского собора.

Из Корсаковых были два митрополитами: Игнатий — сибирский, Иосиф — псковский. Игнатий был стольником при царе Алексее Михайловиче. Куда он поступил прямо из мира, я не знаю, но слыхала, что он был одно время при архиерее в Вологде, и, присланный от него в Москву за сбором с письмом от царицы (Марии Ильиничны),[39] отправился в Соловецкий монастырь. После того недолгое время он был в Ярославле в Спасском монастыре архимандритом (1683—1684); потом его перевели в Москву в Новоспасский монастырь (1684—1692) и возвели оттуда прямо во сибирского митрополита. Он был в свое время человеком ученым; очень умный и духовный муж, он писал грамоты и против раскольников и, будучи еще архимандритом новоспасским, был послан в Костромскую епархию обращать раскольников. Под конец своей жизни он испытал большие скорби, был вызван в Москву и сидел в заключении в Чудове монастыре, потом жил в Симонове монастыре и там скончался или в 1700 или в 1701 году, и там погребен.

Подробностей об его жизни у нас в семье как-то никто не знал, даже его мирское имя мне неизвестно, и за что он был под опалой — не могу сказать; предположение же есть, что тут виновен последний патриарх (Адриан).[40] Тогда уже старый и хилый, он желал видеть своим преемником которого-то из митрополитов, и, опасаясь, чтобы митрополит сибирский, и знатный родом, и очень известный своими пастырскими поучениями, не попрепятствовал ему в этом намерении, он и старался оттереть его. Так он и скончался в Москве, живя в Симонове монастыре.

Иосиф Римский-Корсаков как назывался в миру — также неизвестно, ни куда он сперва вступил в монастырь. Должно думать, что он положил начало в Серпухове, во Владычном монастыре, который в то время был еще мужским монастырем. Впоследствии времени он был архимандритом Высокопетровского монастыря и, пробыв там несколько лет настоятелем, был сделан архиереем и назначен митрополитом во Псков, где святительствовал довольно долго, невступно восемнадцать лет. Потом он пожелал удалиться на покой и был уволен в Серпухов, во Владычный монастырь, что и заставляет думать, что там он был пострижен. Прожив там несколько месяцев, скончался и был погребен в склепе, где погребались настоятели. Очень жаль, что неизвестны подробности его жизни. По малограмотности в то время не вели семейных записок, а только словесно кое-что передавали, так многое позабылось, а иное и совсем утратилось.

В роде Щербатовых знаю, что было двое в монашестве: отец деда моего (князя Николая Осиповича) князь Осип Иванович имел дядю — князя Юрия Федоровича, который служил при Петре Великом, был окольничим, участвовал во многих походах, получил новый тогда чин бригадира; потом, наскучив мирскою суетой, пожелал оставить мир и вступил в московский Андреевский монастырь (теперь упраздненный), был пострижен под именем Софрония и скончался там в царствование императрицы Анны. Жена его, княгиня Анна Михайловна, урожденная Волынская, тоже оставила мирское звание и постриглась под именем Александры, но в каком монастыре — не знаю. Она была троюродною сестрой несчастному Артемию Петровичу Волынскому, которого казнили

по вражде на него злодея Бирона,[41] и скончалась после своего мужа. Еще другой князь Щербатов, Лука Осипович, гораздо прежде того при царе Михаиле Федоровиче постригся в Чудове монастыре.

Из княжен Щербатовых тоже родственница дедушкиного отца, княжна Параскева, была сперва монахиней в Страстном московском монастыре под именем Памфилии, а потом игуменьей около двадцати лет (1708—1727).

Прабабушка Щербатова, княгиня Аграфена Федоровна, была по себе Салтыкова; прадед ее Михаил Михайлович был при Годунове окльничим, а после того постригся и принял схиму под именем Мисаила, а жена его (Евдокия) постриглась и названа Евникией. У прабабушки Марьи Федоровны Римской-Корсаковой, по себе Шаховской, был пращур — в миру князь Мирон Михайлович, воевода в Сибири, присутствовавший при избрании Михаила Феодоровича на царство,[42] который вступил в монашество и был назван Михаилом.

В роде Татищевых жена Игнатия Петровича Аграфена Никифоровна, урожденная Вышеславцева, была впоследствии схимницей Александрой.

Вот десять человек из нашего родства с давнего времени были в монашестве, те, о которых мне известно; а может статься, были и еще, о которых я и не слыхала или слышала, да позабыла, а поэтому при случае всех и припоминаю теперь, а то и про них никто со временем знать не будет.

Очень жаль, что я смолоду не записывала всего, что слышала, то ли бы еще могла я порассказать; а это только крохи того, что я слышала и знала в былое время.

Отговаривать сестру идти в монастырь, конечно, я не думала, а только все мы советовали ей подумать хорошенько и себя испытать, потому что монашество дело не шуточное, не скинешь с себя, как платье, которое не понравилось.

Итак, она сперва стала понемногу свои дела устраивать и привыкать к соблюдению всего, что следовало бы соблюдать и всем нам, а тем паче монашествующим, и строго испытывать себя.

В свое время расскажу о ее вступлении в монастырь и о ее там жизни.

IX

Дмитрий Александрович недолго прожил в Елизаветине: он должен был возвратиться в деревню, ехать в Дмитров сдавать отчеты и хлопотать о заготовлении материалов для постройки дома в Москве, дотла сгоревшего, а я осталась с детьми в тамбовской деревне. У меня гостили сперва обе сестры; ко мне приезжала и сестра Вяземская с мужем и детьми. Немалое время гостил у меня и брат, князь Владимир Михайлович Волконский. Его постигло большое горе. Он был помолвлен на дочери Марьи Ивановны Римской-Корсаковой, на Варваре Александровне Ржевской, вдове Александра Алексеевича, и должен был уже в скором времени жениться, когда вдруг пришлось выбираться из Москвы по

случаю неприятельского нашествия, и поэтому пришлось отложить свадьбу.

Варвара Александровна была прекрасна собою: высокая ростом, статная, стройная, величественной осанки и имела замечательно приятные глаза. Ей было невступно тридцать лет, а брату, князю Владимиру, лет пятьдесят с чем-нибудь: и по годам, и по всему партия подходящая с той и с другой стороны. Ржевская поехала со своею матерью и с сестрами куда-то далеко, в Пензу, что ли, или в Симбирск, а брат в Казань, и в начале 1813 года, вместо того чтобы выходить вторично замуж, умерла от чахотки в Муроме.[43] Это очень поразило брата, и ему еще труднее было перенести эту потерю, потому что он был совершенно неверующий.

Во дни его молодости, то есть в 1780-х годах, очень свирепствовал дух французских философов Вольтера, Дидерота и других. Брат князь Владимир очень любил читать, хорошо знал французский язык, а вдобавок у них в доме жил в дядьках какой-то аббат-расстрига. Вот он смолоду и начитался этих учений, и хотя был умный и честный человек, а имел самые скотские понятия насчет всего божественного, словом сказать, был изувер не лучше язычника.

Вот как горе-то его затронуло, и приехал он ко мне плакать, что он лишился той, которую любил.

Я говорю ему: «Молись, поминай ее, для ее души будет отрада и для тебя облегчение».

— Не умею молиться; и зачем это? Она умерла. . .

И мало ли что он говорил сгоряча; я желала его утешить, а он мне то наговорил, чего бы я и слышать не хотела.

Однако я ему говорила, что умела, и скажу, что после смерти своей невесты он стал полегче: ему хотелось верить, что она не умерла и что с ее смертью не все кончилось между ним и ею.

— Ну, ты сам не веришь, что поминовение важно для умерших, и не верь; а ежели ты любил, так не для себя, а ее ради поминай ее, для ее души отрада. . .

— Пожалуй, отчего не поминать, убыток не велик.

— А она будет за тебя молиться. . .

Очень мне всегда грустно было видеть, что такой хороший и добрый человек, а так заблуждается, и всегда просила я Господа, чтоб он обратил его к себе ими же путями ведает, и, благодарение Господу, брат потом действительно прозрел и покаялся. Это было гораздо спустя.

Говоря о князе Владимире, расскажу об одном случае из его прежней жизни.

Был у него хороший приятель, Дмитрий Васильевич. . . как по фамилии, это неважно знать. Человек богатый, очень известный по фамилии, красавец собою, вдовец и женат на красавице, что не мешало ему заглядывать и в чужие цветники. Это, разумеется, не по нутру было молодой женщине; звали ее Любовь Петровна.

Она стала жаловаться князю Владимиру на мужа, как его приятелю. Он сперва его защищал, бывал часто у них в доме, и все приходилось, когда мужа нет дома, враг их и попутал: приятель мужа стал другом и жены. . .

Родился сын: Дмитрий Васильевич рад; и князь Владимир тоже не горюет. Беда, однако, прошла: муж не догадывается, что его приятель вместе и приятель жены.

Через сколько-то времени Любовь Петровна жалуется мужу, что она нездорова, чувствует, что у нее делается опухоль: «Боюсь, не начало ли водяной, нужно захватить вовремя, поедем в чужие края».

Тогда ехать за границу не то, что теперь: сел да и поехал налегке с узелком да с мешочком; тогда тащись в своем рыдване, вези с собой полдома; затруднительно было путешествовать.

У Дмитрия Васильевича была своя зазноба в Москве; как отлучиться, а жене отказать нельзя.

— Экая беда какая, — думает он, — что тут делать?

Говорит князю Владимиру:

— Представь, в каком я положении: ты знаешь, я занят (такою-то), а жена нездорова, приступает, — вези я ее в чужие края; ехать не могу, — отказать невозможно. Не поможешь ли ты моей беде: по дружбе не согласишься ли свозить жену полечиться?

Князю Владимиру и смешно, и совестно, что он друга морочит.

— Отчего же не съездить, приятелевой жене не угодить. . .

Тот целует его, обнимает, не знает, как и благодарить.

Так он скорехонько снарядил жену в путь. Повез ее князь Владимир в Берлин, и оказалось, что она вовсе была не в водяной, а в тягости. Там у нее родилась дочь. Назвали ее Амалией, окрестили по-немецки и отдали какому-то пастору на воспитание. Фамилию ей дали по имени отца, но, читая наоборот Владимир, это и вышло Римидалв, совершенно иностранная фамилия. Пожив сколько-то времени за границей в разных местах, брат князь Владимир и жена его друга возвратились в Москву, к немалому удовольствию мужа, что он и не уезжал из Москвы, и жена возвратилась совершенно здоровая.

Не одобряю я брата, что он кинул своего ребенка в немецком городе и дал воспитывать его немцам, а не привез в Россию и не крестил в православной вере.* Узнал ли впоследствии об этом пассаже со своею женой братнин приятель, я не знаю, но когда сын стал подрастать, то поневоле пришлось увериться, что мальчик не чужой князю Владимиру, — так он был на него похож!

И говаривал Дмитрий Васильевич:

— Все можно доверить другу и приятелю, только не доверяй ему своей жены. Сына моего напрасно называют Дмитриевичем: стоит взглянуть на него, чтобы видеть, что он Владимирович. Истинный друг, и жену мою любил по дружбе, как свою собственную. — И приятели перестали видаться.

Однако все имение, более 3000 душ, он оставил своему мнимому сыну, и брат, после своей смерти, отказал ему 600 душ.

---

* В 1842 или 1843 году князь Владимир Михайлович выписал из Берлина свою дочь; она была замужем за прусским майором фон Гартвиг, и они около года прожили в Москве; отец ее щедро наградил и отпустил обратно. Лицом Амалия была очень похожа на князя: тот же орлиный нос и подслеповатые, глубоко впалые глаза; в обращении своем совершенная немка и великая охотница говорить про кухню и про кушанье.

X

Упомянула я про Марью Ивановну Римскую-Корсакову, так и стану про нее договаривать. Она была урожденная Наумова (дочь Ивана Григорьевича, женатого на княжне Варваре Алексеевне Голицыной) и вышла за Александра Яковлевича Римского-Корсакова. Он был камергером при императрице Екатерине II, прекрасный собой и человек очень богатый, но, сколько я о нем слыхала, не из очень умных. Марья Ивановна была хороша собой, умна, ласкова, приветлива и великая мастерица устраивать пиры и праздники. Была она пребогомольная, каждый день бывала в Страстном монастыре у обедни и утрени, и, когда возвратится с бала, не снимая платья, отправится в церковь вся разряженная. В перьях и бриллиантах отстоит утреню и тогда возвращается домой отдыхать. Ее дом был напротив Страстного монастыря; она и сама любила повеселиться, и веселила Москву, давая балы для своих дочерей, которых у нее было пять: 1) Варвара Александровна за Ржевским (о которой я говорила), умерла в 1813 году; 2) Наталья была за Акинфовым Федором Владимировичем; впоследствии он был сенатором; 3) Софья Александровна за Александром Александровичем Волковым, жандармским генералом; 4) Екатерина Александровна сперва за Андреем Павловичем Офросимовым, а потом за Алябьевым Александром Александровичем и 5) Александра Александровна за моим племянником, князем Александром Николаевичем Вяземским; об этой я буду говорить потом. И было еще три сына: Павел, Григорий и Сергей Александровичи. Павел и Григорий умерли холостыми, Сергей женат на Грибоедовой.*[44]

---

* Павел Александрович, самый старший, прекрасный, убит под Бородином [45] 26 августа 1812 года.

Григорий много путешествовал, потом жил более все в деревне и умер в сороковых годах, не быв женат.

Сергей Александрович, в 1845—1851 годах живя в своем доме напротив Страстного монастыря, веселил Москву своими многолюдными и блестящими праздниками, и можно сказать, что он был последним московским хлебосолом. Его дом, при его матери, приветливой и радушной, в продолжение стольких лет средоточие веселий столицы, еще раз оживился и в последний раз заблестел новым блеском и снова огласился радостными звуками: опять осветились роскошные и обширные залы и гостиные, наполнились многолюдною толпой посетителей, спешивших на призыв гостеприимных хозяев, живших в удовольствие других и веселившихся весельем каждого.

В сороковых годах дом С. А. Корсакова был для Москвы тем же, чем когда-то бывали дома князя Юрия Владимировича Долгорукова, Апраксина, Бутурлина и других хлебосолов Москвы. Сын Корсакова, Николай Сергеевич, живой и красивый юноша, от души веселившийся и наслаждавшийся жизнью, его окружавшею, оживлял блестящие праздники, на которые Москва съезжалась со всех своих концов, а добрая, милая, приветливая, веселая и, вместе с тем, спокойно задумчивая, шестнадцатилетняя дочь в этом очарованном и чарующем круге была тою светлою и блестящею точкой, к которой стремились глаза светской молодежи, и как ночные мотыльки около нее увивавшиеся. Настасья Сергеевна, не будучи красавицей, имела приятное и привлекательное лицо, нравившееся более многих самых правильно-красивых лиц.

Каждую неделю, по воскресеньям, бывали вечера запросто, и съезжалось иногда более ста человек, и два, три большие бала в зиму. Но изо всех балов особенно были замечательны два маскарада, в 1845 и 1846 годах, и ярмарка в 1847 году: это были многолюдные блестящие

Странная случайность, что из шести зятьев Марьи Ивановны четверо были Александры: Офросимов был Андрей только и Акинфов — Федор.

Мать Офросимова Настасья Дмитриевна была старуха пресамонравная и пресумасбродная: требовала, чтобы все, и знакомые, и незнакомые, ей оказывали особый почет. Бывало, сидит она в собрании, и Боже избави, если какой-нибудь молодой человек и барышня пройдут мимо нее и ей не поклонятся: «Молодой человек, поди-ка сюда, скажи мне, кто ты такой, как твоя фамилия?» — «Такой-то».

«Я твоего отца знала и бабушку знала, а ты идешь мимо меня и головой мне не кивнешь; видишь, сидит старуха, ну, и поклонись, голова не отвалится; мало тебя драли за уши, а то бы повежливее был».

И так при всех ошельмует, что от стыда сгоришь.

И молодые девушки тоже непременно подойди к старухе и присядь пред ней, а не то разбранит:

— Я и отца твоего, и мать детьми знавала, и с дедушкой и с бабушкой была дружна, а ты, глупая девчонка, ко мне и не подойдешь; ну, плохо же тебя воспитали, что не внушили уважения к старшим.

Все трепетали перед этой старухой — такой она умела на всех нагнать страх, и никому и в голову не приходило, чтобы возможно было ей сгрубить и ее огорошить. Мало ли в то время было еще в Москве почтенных и почетных старух? Были и поважнее и починовнее: ее муж был генерал-майор в отставке, мало ли было генеральских жен, так нет же: никого так не боялись, как ее.

Бывало, как едут матери со своими дочерьми на бал или в собрание, и твердят им:

— Смотрите же, ежели увидите старуху Офросимову, подойдите к ней да присядьте пониже.

И мы все, немолодые уже женщины, обходились с нею уважительно.

Говорят, она и в своей семье была пресердитая: чуть что не по ней,

---

праздники, подобных которым я не помню и каких Москва, конечно, уже никогда более не увидит.

Николай Сергеевич женился в 1850 году, не был счастлив в супружестве, жил не в отраду себе и умер в 1875 году, оставив двух сыновей.

Настасья Сергеевна вышла за Михаила Адриановича Устинова, имела несколько человек детей, была счастлива, осчастливила своего мужа и всю семью, но преждевременно смерть похитила ее у родителей и у семьи в 1876 году.

Немощные и престарелые родители пережили молодых и здоровых своих детей, которым, казалось, столько еще впереди жизни и счастья. . . Грустно и жалко видеть одиноких и хилых стариков, переживших детей своих! Глядя на них, со вздохом повторяю я мысленно стихи:

> Как лист осенний, запоздалый,
> Он жив, — коль это значит жить,
> Полусухой, полузавялый,
> Он жив, чтоб помнить и грустить! [46]

Спасибо, спасибо тешившим нас в нашей молодости, вспомним их в их старости и, часто бывав у них в дни веселий, теперь хотя изредка посетим их во время престарения, одиночества и прискорбий сердечных. *Внук.*

так и сыновьям своим, уже взрослым, не задумается и надает пощечин. Она имела трех сыновей: Андрея, Владимира и Константина.*

Не могу теперь припомнить, какая она была урожденная, а ведь знала; но только из известной фамилии, оттого так и дурила.

Не всем, однако, удавалось своевольничать, как старухе Офросимовой; другим за дерзость бывал и отпор и даром с рук не сходило.

В Москве было одно очень богатое и в свое время известное семейство Свиньиных. Они были коротко знакомы с нашими друзьями Титовыми. Люди очень богатые и оттого пренадменные. Отца звали Петр Павлович; у него был сын Павел Петрович и четыре дочери: Екатерина Петровна за Бахметевым, Настасья Петровна умерла девицей немолодых лет, а из других двух одна была замужем за Вырубовым, другая — за Высоцким. Кто была их мать — не припомню.

Титовы очень ко мне приставали — познакомься я с ними.

— Нет, избавьте: они, говорят, преважные и пренадменные тем, что богаты; ну, пред ними их богатство, куда мне лезть к таким важным особам? Нет, не имею желания...

Так и не познакомилась.

Жили они в своем доме на Покровке, у Иоанна Предтечи. Священником тогда был там отец Матвей Терновский. Был у них в доме один раз дьякон, вот барышни ему и говорят: «Отец дьякон, когда в церкви читается Евангелие, в котором упоминается, ну, понимаешь, так ты нас предупреди, чтобы нам не быть в этот день в церкви, а то как-то конфузно, при нашей фамилии; понял, в чем дело?»

— Понял, — говорит, а сам ничего не понимает, пришел к священнику и рассказывает ему: «Вот, мол, что барышни Свиньины мне наказывали, а я хотя и сказал им, что понял, а никак не смекаю, в чем дело».

— Экой ты чудак, — говорит священник, — им не хочется слышать, что Спаситель вогнал бесов в свиное стадо:[48] они ведь Свиньины, — ну, понял?

И с тех пор дьякон и предупреждал их всегда накануне: «Не извольте, мол, завтра, сударыни, приезжать к Евангелию, потому что в нем говорится...»

— Ну да, ну да, хорошо, — и приедут в церковь после Евангелия.

У них, говорят, и за столом никогда ничего свиного не подавали, так они боялись намека на свою фамилию.

Но как они ни остерегались, а сами назвались на дерзость.

Две из них, будучи еще девицами, едут раз в собрание во время Великого поста, когда бывают концерты. Кто-то из мужчин и зевни при них довольно громко. Конечно, это невежливо, ну, тем хуже для него;

---

* Андрей был женат на Римской-Корсаковой; Владимир на Исленьевой; Константин умер холостым. Он был очень богат и суеверен. Выстроив себе новый дом в Поварской,[47] он продолжал жить в другом доме, который имел в переулке, где-то около Пречистенки, а в новый свой дом послал жить старуху-экономку для того, чтоб она там умерла (по поверью, в новом доме должен непременно кто-нибудь умереть); он смерти очень боялся. Прошло более десяти лет, новый дом все стоял пустым, и в нем жила только старуха, которая пережила Константина Павловича, и этот дом после него перешел к его племяннице Бухвостовой, а тот дом, в котором он жил, был оставлен им Ивану Ивановичу Ершову. *Внук.*

нет, не вытерпела которая-то из них, обернулась к зевавшему и говорит ему: «Ах, батюшки, как меня испугал, я думала, хочешь проглотить меня».

Кавалер-то был, должно быть, не промах и говорит Свиньиной: «И что вы, сударыня, Бог с вами: я Великим постом скоромного не ем».

Так она и осталась в дурах. И говорят, их не раз так угощали: как они заважничают, их и угостят свиным словечком: не зазнавайся.

Я их встречала, но с ними не знакомилась.

XI

В 1813 году, в марте месяце, почти в одно и то же время скончались: княгиня Анна Николаевна Долгорукова, жена князя Михаила Ивановича, и золовка моя Анна Александровна Янькова.

Долгорукова умерла 1 марта в Москве. Дом их, что на Девичьем поле, уцелел, только французы по-своему похозяйничали в их домовой церкви, осквернили ее и антиминс или уничтожили или стащили.

И князю Ивану Михайловичу пришлось ехать к архиерею просить новый антиминс.

Княгиня была одних лет с моею свекровью Яньковою: они обе родились в один год, в 1731 году; матушка — 1 января, а княгиня 2 июня. Первую жену свою князь Долгоруков схоронил в Богоявленском монастыре, потому что там прежде, до чумы, хоронились Долгоруковы, а сам он умер в 1794 году, и его схоронили в Донском монастыре; там положена и княгиня. Она была добрая и хорошая женщина и не гордячка, как ее муж. Я была ею обласкана и всегда ее душевно уважала, а Яньковы пред нею даже раболепствовали, и ее смерть была для них очень прискорбна.

Золовка моя, уехав к себе в веневскую деревню, сельцо Теплое, пред нашествием неприятеля, там все и жила неподалеку от своего брата Николая, верстах в тридцати или немного менее.

Она родилась 1 ноября 1750 года в С.-Петербурге, и, как я уже прежде сказывала, была она мала ростом и горбата, но здоровья не слабого, а к концу жизни она стала чувствовать, что горб ее давит, и прихварывала.

Воспитание она получила очень хорошее и в молодости держала себя прилично, будучи приятельницей с Долгоруковыми, которые старались держать себя как принцессы; ну, и она за ними таращилась, а потом, как молодость совсем прошла, она очень себя запустила и из приличной барышни сделалась рохлей. Остригла свои волосы, ходила простоволосая, одевалась кое-как, лицо обрюзгло, ну́, очень была невзрачна.

Дмитрий Александрович был на двенадцать лет моложе сестры, и потому не столько любил ее, сколько уважал как старшую, а отчасти и побаивался: привыкнув с детства считать ее старшею, он и впоследствии обходился с нею почтительно.

Она занемогла горячкой; тотчас известили Николая Александровича, и он написал Дмитрию Александровичу, что сестра отчаянно больна; он поехал туда.

Про себя не скажу я, чтоб эта кончина меня особенно огорчила; мы с покойницей никогда не были сердечно друг к другу расположены: она любила командовать, а я не намерена была ей подчиняться. Она имела характер очень сварливый и задорный, а я была смолоду очень горяча, и бывали у нас частые стычки. Кроме того, она старалась меня ссорить с мужем, и хотя ей не удавалось этого достигать, но я чувствовала ее влияние не в мою пользу.

На первых еще порах после моего замужества она мне много делала огорчений, когда жила с нами вместе, и я была очень рада, когда она от нас переехала и стала жить особым домом. Потом она много выманивала денег у Дмитрия Александровича: он был слишком добр и не мог отказать сестре; мне он не всегда сказывал и самого себя во всем обрезывал, и мне это очень не нравилось.

Дом Анны Александровны был тоже в приходе Неопалимой Купины, поблизости от нашего, и неопрятно она его содержала. Войдем, бывало, в переднюю, так и охватит кошачьим духом: она была великая охотница до кошек, которые у нее всюду лазили и по-своему хозяйничали.

Привыкши у батюшки жить в чистоте и в приличии, я никогда не могла приглядеться к беспорядку ее дома: в передней у ней и лакеи, и девки играют в носки, возятся, кричат во все горло, поминутно снуют мимо ее через ее комнату, как по коридору; мебель в пыли; цветы и растения в паутине, и на горшках доказательства, что кошки занимаются ботаникой больше, чем сама хозяйка.

Вдобавок ко всему этому она держала несколько девочек, которых воспитывала: они тоже около нее толпятся, оборванные, растрепанные.

Редко, однако, я бывала у золовки, и она у нас обедывала, но я избегала обедать в ее доме, — так мне казалось неопрятно и беспорядочно все подано.

Я не позволяла своим детям между обедом и ужином и вообще не вовремя что-нибудь есть или из комнаты в комнату носиться с куском хлеба: кушай за столом сколько угодно, а не ходи день-деньской с набитым ртом, с жвачкой.

Так вот, видите ли, это ей не нравилось. Привезет к ней мой муж старших девочек, и станет она им говорить: «Ах, бедные девочки, как мне вас жалко: какие вы бледные, худенькие, вас голодом морят; как это — не смей ничего съесть, окромя стола! И ученьем тоже, чай, вас убивают. . .» И начнет обнимать моих девочек и причитать. . .

— Покушайте, мои голубчики, — и ну их потчевать всякою всячиной, да ведь так их напичкает, что они чуть не больны.

Нечем было ей меня покорить, так вот хоть этим давай кольну, а дети мои были, слава Богу, совсем не худы, а Анночка даже и толстощекая была.

Хорошо, что я держала себя так, что нельзя было попрекнуть меня ни лишним словом, ни лишним взглядом, а дай я малейший повод к укоризне, она бы первая моему мужу про меня насплетничала.

— Ваша мать преспесивая, — говаривала она моим девочкам, — все по этикету у ней; не скажи лишнего слова, девка по гостиной не смей

пройти, все это гран-жанр (grand genre).* Нет, у меня так все попросту, без затей, без всяких привередств.

Схоронили ее в Петрове в церкви. Село Теплое продали, чтобы заплатить кое-какие ее должки, а остальное роздали ее двум либо трем воспитанницам.

XII

Летом 1813 года мы поехали в Липецк; там у нас был свой дом, и мы расположились пожить.

Липецкие минеральные воды начинали многих привлекать и полечиться летом, и пожить весело на водах. Там был устроен очень порядочный и поместительный дом при водах для пьющих воды, с большою залой; был театр и труппа каких-то проезжих актеров, очень изрядных, и была музыка. В этот год много собралось на водах: по деревням жить надоело, а в Москве у многих сгорели дома, нужно было еще сперва́ выстроить, да и квартиры были редки и дороги, потому что в Москве сгорело две трети домов.

Тетушка графиня Толстая приехала на воды с двумя дочерьми, Аграфеной Степановной и Марьей Степановной (сестра Елизавета была уже замужем за графом Григорием Сергеевичем Салтыковым, и у них была девочка лет одиннадцати, Сашенька), и которые-то два из меньших братьев были с тетушкой, кажется, Андрюша и Петруша. Мы предложили тетушке пристать у нас в доме, а братьям отвели флигель.

Приехало все семейство хороших наших знакомых Шаховских: князь Павел Петрович и жена его княгиня Агафоклея Алексеевна, урожденная Бахметева.

Этот князь Шаховской был именно из того поколения Шаховских, из которых была и батюшкина бабушка Марья Федоровна, а мать князя Павла Петровича была урожденная княжна Щербатова (Ирина Тимофеевна), следовательно, ежели мы были не родня по дальности родства, хотя и могли бы счесться, но и по батюшкиной бабушке и по матушкиному деду мы были все-таки и даже вдвойне свои. Князь был лет на пять моложе моего мужа, княгиня на столько же моложе меня.

Теперь родство стали ни во что вменять, — как скоро не родные братья и сестры, так и не родня: на двоюродных сестрах женятся; чего доброго, придет время, пожалуй, и за родных братьев сестры станут выходить, и дядья поженятся на родных племянницах! Нет, в наше время, пока можно счесться родством — родня, а ежели дальнее очень родство, все-таки не чужие, а свои люди — в свойстве.

От знакомства и от дружбы можно отказаться, а от родства, как ты ни вертись, признавай не признавай, а отказаться нельзя: все-таки родня. Покойник Обольянинов правду говаривал: «Кто своего родства не уважает, тот себя самого унижает, а кто родных своих стыдится, тот чрез это сам срамится».

---

* великосветский стиль (*франц.*). — *Ред.*

Это очень справедливо.

У Шаховских было четыре сына и шесть дочерей. Сыновья были все еще мальчиками: старшему — Петруше лет четырнадцать, а младшему — лет шесть, средним — лет по десяти и по восьми.

Из дочерей старшая была Вера, вторая Ирина; эта была одних лет с моими старшими девочками, Софья и Агафоклея помоложе, а Лизанька и Наденька вовсе детьми.

И мы были дружны, и наши дети тоже очень подружились; им под лета подходила и Машенька Толстая (моя двоюродная сестра, дочь тетушки, графини Александры Николаевны).

Итак, мы это лето провели очень приятно.

В то время на водах были еще княжны Щербатовы, очень хорошенькие; одна из них была потом за Саловым, другая за Апухтиным, а еще одна за кем, не помню, иностранная фамилия.*

Из числа молодых людей тогда были там два красавца, возвратившиеся с войны: Анреп [49] и Глазенап, этот гораздо спустя, в 1836 году, был женат на моей двоюродной племяннице, Варваре Сергеевне Неклюдовой.

Утром все собирались и пили воды, а по вечерам танцевали и ходили в театр, где играла бывшая тогда в городе труппа, а иногда играли и аматеры,[50] и, между прочим, один князь Шаховской разучивал свои пьесы и после того написал комедию «Липецкие воды», в которой, говорят, некоторые барыни и барышни узнали свои портреты, а кто говорил — карикатуры.[51]

В августе месяце, возвратившись в Елизаветино и пробыв там недолго, мы стали снаряжаться в путь в Москву.

По пути мы заезжали к Яньковым в Петрово и у них гостили.

У Николая Александровича было тогда четверо детей: три сына и дочь.

У меня было шесть дочерей, и нам желалось иметь мальчиков; и было два сына, да не судил им Господь пожить, а невестке очень хотелось иметь дочь, и она простаивала ночи на молитве, приставала, можно сказать, к Богу, дай им дочь. А замуж она вышла в 1789 году; прошло 20 лет, и наконец их желание исполнилось: родилась дочь Марья в 1809 году марта 8.

Старшему Саше было с лишком двадцать лет, второму — Андрюше лет пятнадцать или шестнадцать, а меньшому Харлампию — лет десять; девочке Маше — года четыре или лет пять. Андрюша был не в меру толст, и не мудрено, потому что дети целый день все что-нибудь жевали, и даже на ночь им ставили остатки от ужина в их комнату, точно на убой их кормили, и впоследствии времени все были очень дородны, а Андрей вышел безобразно толст.

Когда мы приехали к брату, застали, что у него гостит цыганский табор, — так он нам сказал.

— Как это гостит? — спросила я. — Мне что-то это мудрено... Растолкуй ты мне.

---

* Не за Бергманом ли, Степаном Федоровичем? Это сестры бывшего московского генерал-губернатора князя Алексея Григорьевича Щербатова. *Внук.*

— То есть они приехали с табором, я позвал их поесть и поплясать. Машеньке понравилась их пляска, я и оставил их погостить, чтобы выучили Машеньку плясать. . .

Мы с мужем так и ахнули.

— Слыханное ли это дело, чтобы цыганятам позволять играть с своими детьми и учить их плясать, — сказала я.

— Машеньке нравится, она плачет.

— Удивляюсь я тебе, брат, — сказал Дмитрий Александрович, — какая тебе охота жить в деревне и проживаться с попами да с цыганами. У тебя состояние не хуже моего, и ты мог бы жить в Москве с порядочными людьми. Прогони ты, пожалуйста, этот табор; как это тебе в голову только пришло учить свою девочку плясать по-цыгански; какая мерзость!

Так мы настояли, на другой день табор и спровадили.

Добрые были люди, и муж и жена, но совсем без характера, каждый мог делать, что хотел, из них: как говорится, гнули их в бараний рог. Мальчики росли какими-то балбесами, а девочки с малолетства цыганят в подруги допускали!

Не нравилось мне, как и золовка моя держала свой дом, а в Петрове было и того хуже: тоже девки поминутно шмыгают через гостиную из девичьей в прихожую и тоже неопрятство.

Я сказала невестке: «Ежели тебе это все равно, так мне это не нравится; по крайней мере, прошу тебя, чтобы при мне не было такого безобразия». Меня это коробило, а они и не понимали, чтобы могло быть иначе.

Впоследствии времени по зимам Яньковы стали жить в Москве, но и в городе-то у них все было по-деревенски, по-степному: неопрятно, неприглядно. Наймут какую-нибудь лачугу на краю света, в глухом переулке, и толкуют, что (entrée)* антре нехорошо.

— Заплатите немного подороже, где-нибудь в центре города, где мы все живем, — говорю я им, — тогда и антре будет у вас хорошее.

---

* вход (*франц.*). — *Ред.*





ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

При нашем приезде в Москву она уже начинала обстраиваться, но все-таки была еще ужасная картина. Весь город по сю сторону Москвы-реки был точно как черное большое поле со множеством церквей, а кругом обгорелые остатки домов: где стоят только печи, где лежит крыша, обрушившаяся с домом; или дом цел, сгорели флигеля; в ином месте уцелел только один флигель. . . Увидев Москву в таком разгроме, я горько заплакала: больно было увидать, что сталось с этою древнею столицей, и не верилось, чтоб она когда-нибудь и могла опять застроиться.

Но нет худа без добра: после пожара она стала гораздо лучше, чем была прежде: улицы стали шире, те, которые были кривы, выпрямились, и дома начали строить больше все каменные, в особенности на больших улицах.

Дома обоих моих братьев уцелели, и мы решили, что пристанем у брата Николая Петровича, который и приглашал нас, а невестка хотела послать о нашем приезде распоряжение к себе в дом, так как они жили в Покровском, а дом их на Знаменке был пустой. Вот, приехав в Москву, мы и отправились прямо на Знаменку. Выходит к нам человек, живший в доме, и говорит нам: «Я принять вас не смею, потому что, уезжая, господа не приказали никого принимать».

Я говорю ему: «Да ведь я сестра Николая Петровича, и невестка хотела писать, что мы поселимся здесь первое время, пока мы не наймем дома».

— Не смею, сударыня, а писем не было.

Это меня очень оскорбило. . .

— Ну, свои не принимают, — сказал мне Дмитрий Александрович, — поедем к чужим, к моему другу Дмитрию Николаевичу Щербачеву: он хоть и не родня, а примет нас с распростертыми объятиями; я за это ручаюсь.

Так мы со Знаменки и поехали назад за Москву-реку на Пятницкую, где жил Щербачев, который действительно нам очень обрадовался, и как ни тесно у него было, а для нас нашлось место. Щербачев был товарищем Дмитрия Александровича по корпусу, был с ним всегда очень дружен и любил его, как родного брата. Он был человек очень добрый, ласковый и приветливый для всех, а для нас был как самый близкий родственник, готовый на всякую услугу и одолжение.

Он и тут, мало того, что приютил нас, спрашивает еще у моего мужа:

— Дмитрий Александрович, твой дом сгорел, не нужны ли тебе деньги? Ты, пожалуйста, не стесняйся и скажи мне, я всегда готов тебе предложить, сколько могу, и счел бы за обиду, если бы, помимо меня, ты стал занимать у других.

Добрый и хороший был человек.

Так мы у него и заняли сколько-то тысяч; взяли еще у Полуденского, у князя Шаховского и начали опять помышлять о построении нового дома на месте сгоревшего, а для покрытия долгов, в которые нам пришлось войти, мы решили продать, не спеша, наше тамбовское имение, если выищется настоящий и хороший покупатель, потому что ценили наше имение, — где была и усадьба, и земли немало, и почва прекрасная, — не менее, как тысяч в двести или более, разумеется ассигнациями, как тогда считали.

Говоря о пожаре Москвы, о перестройках и переменах в городе, расскажу, кстати, о том, как я застала Москву и что припомню о переменах, на моей памяти происшедших.

Около Кремля, где теперь Александровский сад, я застала большие рвы, в которых стояла зеленая вонючая вода, и туда сваливали всякую нечистоту, и сказывают, что после французов в одном из этих рвов долго валялись кипы старых архивных дел из которого-то кремлевского архива. Сады стали разбивать после 1818 года. В Кремле тоже внизу под горою вдоль стены был пустырь. Говорят, прежде, при царях, там были сады и царские парники, а потом все это упразднили, и долгое время там было очень неопрятно, в особенности же после неприятеля, когда туда сваливали всякий хлам и мусор от взрывов.

Каменный мост я застала с двойною башней наподобие колокольни; он был крытый, и по сторонам торговали детскими игрушками. Самые лучшие из игрушек были деревянные козлы, которые стукаются лбами. Были игрушки и привозные, и заграничные; их продавали во французских модных лавках, и очень дорого. Василий Блаженный, или Покровский собор на Рву, был на холме, который ничем не был обнесен. Набережная была только местами вымощена, а берега реки камнем стали обкладывать при императрице Екатерине II и в 1790-х годах; до тех пор они были и изрыты, и часто весной обваливались.

Воспитательный дом достраивали и доделывали на моей памяти, в то время, как я была еще ребенком. На его построение пошел материал, приготовленный для загородного дворца Петра II где-то в окрестностях Москвы, в имении, бывшем прежде за князем Меншиковым и отобранном потом в казну.* Много было разных суждений насчет Воспитательного дома: кто осуждал, а кто и одобрял, и последних было более. Одни говорили, что не следует делать приюта для незаконных детей, что это

---

* Село Люберцы, или Либерцы, в 15 верстах от Москвы по Коломенскому шоссе. Там был деревянный дворец, в котором при императрице Елизавете Петровне целое лето жили великий князь Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна. Там был липовый регулярный сад, остатки которого видны и теперь. Дворец был разобран за ветхостью, сады мало-помалу запущены, и не осталось и следов прежней роскошной усадьбы светлейшего князя и дворца, в котором живал Петр II, потешавшийся в том месте охотою.

значит покрывать беззаконие и покровительствовать разврату, а другие смотрели на это иначе и превозносили милосердие императрицы,[1] что она давала приют для воспитания несчастных младенцев, невиновных в грехе родителей, которые, устыдившись своего увлечения, чтобы скрыть свой позор, может статься, прибегли бы к преступлению и лишили бы жизни невинных младенцев, не имея возможности ни устроить их, ни утаить их, ни воспитать. И в сам деле, до учреждения Воспитательного дома такие ужасные несчастные случаи повторялись очень нередко. Потому хваливших императрицу было более, чем осуждавших.

Стена, которая идет по набережной, и теперь уцелела только частью; до 1812 года была вся вполне.

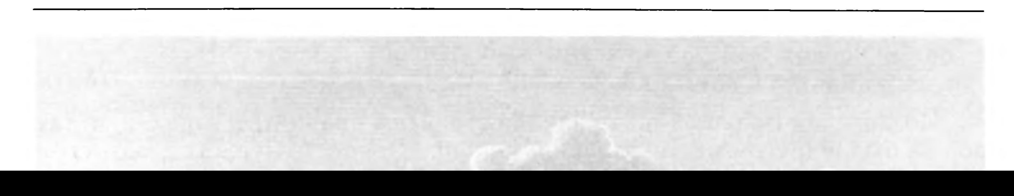
Я застала еще Тверские ворота, Пречистенские, Арбатские, Никитские, Серпуховские; некоторые были даже деревянные и очень некрасивые. В те времена, когда в Москве было несколько стен городских, понятно, что нужны были и ворота; потом стены обваливались, их сломали, а ворота оставили, и было очень странно видеть, что ни с того ни с сего вдруг, смотришь, стоят на улице или на площади ворота; многие стали ветшать, их и велено было снести; это было в 1780-х годах. Теперь осталось на память одно только название.

Я помню, когда была в Москве речонка Неглинная и через нее было несколько мостиков: Боровицкий деревянный, другие — каменные. Я слыхала от батюшки, что он застал мельницы на Москве-реке, и одна из них была около Крымского брода, в месте, что называют Бабий городок. Некоторые старожилы в мое время помнили, что была мельница на Неглинной. Речку помню, а мельниц я уже не застала; их было три: 1) у Водяной башни, 2) у Троицких ворот и 3) у Боровицких. На Кузнецком мосту точно был мост и налево, как ехать к Самотеке, целый ряд кузниц, отчего и название до сих пор осталось. Мост был хотя и не деревянный, но преплохой, и сломали его гораздо после французов.

Улица, называемая Кузнецкий мост, издавна была заселена иностранцами: были французские и немецкие лавки. Теперь говорят «ехать на Кузнецкий мост», а в наше время говорили «ехать во французские лавки». Там торговали модным товаром, который привозили из чужих краев; были и свои мастерицы в Москве, но их обегали, и кто побогаче, все покупали больше заграничный привозный товар.

На Ильинке за Гостиным рядом и за Гостиным двором были нюрнбергские лавки и голландский магазин. Там мы все больше покупали шерсти для работ и шелки; чулки шерстяные и голландское полотно, которое было очень дорого, но было хорошее, ручного изделия и без бумаги; торговали и батистом, и носовыми платками, и голландским сыром. Сарептский магазин был где-то далеко, за Покровкой и за Богоявлением: вот на первой неделе, бывало, туда все и потянутся покупать медовые коврижки и пряники, каких теперь не делают. Целая нить карет едет по Покровке за пряниками. Потом сарептскую лавку перевели на Никольскую и думали, что будет лучше, а вышло, что стали торговать гораздо хуже.

Я чуть-чуть помню, как стали селиться немцы (из Моравии) в Сарепте;[2] это было при императрице Екатерине. Сначала их было, говорят,



II

Московский Большой театр начали строить в двадцатых годах, а до тех пор он был в другом месте, деревянный и преплохой. Содержал его от себя некто Медокс:[5] было ли ему на то дано право от казны, или тогда можно было обойтись без этого и дозволялось частным лицам содержать театры, этого я хорошенько не знаю. Помню только, что когда старый театр сгорел (это было очень давно, в моей молодости),[6] то временно был устроен театр в доме Воронцова, на Знаменке,[7] в том самом доме, который впоследствии принадлежал брату Николаю Петровичу, а после того князю Сергею Ивановичу Гагарину.* Ну, конечно, было и тесновато; впрочем, по-тогдашнему было хорошо и достаточно, потому что в театр езжали реже, чем теперь, и не всякий... Теперь каждый картузник и сапожник, корсетница и шляпница лезут в театр, а тогда не только многие из простонародья гнушались театральными позорищами, но и в нашей среде иные считали греховными все эти лицедейства.

Но была еще и другая причина, что наша братия езжала реже в театры: в Москве живало много знати, людей очень богатых, и у редкого вельможи не было своего собственного театра и своей доморощенной труппы актеров.

У Шереметева было два театра:[8] в Кускове отдельным зданием от дома;[9] и в этом театре была императрица Екатерина, когда граф Петр Борисович делал для нее у себя праздник, стоивший ему более двух миллионов рублей;[10] другой театр был в Останкине в доме и, вероятно, цел еще и теперь.[11] У графа Орлова под Донским, при его доме,[12] тоже был театр; у Мамонова, у Бутурлина в Лефортове,[13] у графа Мусина-Пушкина на Разгуляе, у Голицына Михаила Петровича,[14] у Разумовского в Петровском (Разумовском),[15] и в Люблине, и в Перове; потом у Юсупова в Архангельском[16] и у Апраксиных и в Москве, и в Ольгове.[17] Деревенский театр в Ольгове был отдельно от дома, так же как и в Кускове и в Архангельском, а в московском доме на Знаменке был театр с ложами в три яруса, очень хорошенький, и на этом театре игрывали все знаменитости, посещавшие Москву, и была одно время итальянская опера, и мы тогда были абонированы. В Ольгове на театре играла у Апраксиных своя крепостная труппа, и был свой оркестр, а в Москве часто бывали спектакли для любителей: игрывали всего чаще Гедеонов, Яковлев, Кокошкин. Некоторые пьесы шли очень хорошо; помню, что играли по-французски «Севильского цирюльника» (Бомарше), из Мольера которые-то комедии[18] и еще разные другие пьесы, приличные для благородного театра. Раза два или три мне случилось видеть на сцене и саму Апраксину; она никогда, бывало, своей роли хорошенько не запомнит; забудет, что следует говорить, подойдет к суфлеру, тот ей подсказывает, а она не слышит, остановится и спрашивает его: «Comment?»**

---

* По смерти князя Сергея Ивановича Гагарина дом этот перешел по наследству дочери его Бутурлиной.

** «Как?» (*франц.*). — *Ред.*

Содержатель театра Медокс был англичанин, как говорили, но я думаю, что, должно быть, из жидов, большой шарлатан и великий спекулятор. У него была дача где-то верстах в пятнадцати или в двадцати от Москвы по Каширской дороге и, кроме того, дома и обширный сад за Рогожской, и он там устроил у себя для публики всякого рода увеселения: вокзал,[19] гулянье, театр на открытом амфитеатре в саду, фейерверки и т. п. Многие туда езжали в известные дни, конечно, не люди значительные, а из общества средней руки, в особенности молодежь и всякие Гулякины и Транжирины. Между тем у Шереметева в Кускове бывали часто праздники и пиры, на которые мог приехать кто только хотел, и были, говорят, не доезжая до Кускова, два каменных столба с надписью: «Веселиться как кому угодно».[20] Это барское гостеприимство и хлебосольство приходились не по нутру жадному Медоксу, и он многим жаловался на Шереметева, что граф у него отбивает публику.

Кто-то и говорит Шереметеву:

— Есть человек, недовольный вашим гостеприимством, граф. . .

— Кто же это, отчего? — спрашивает граф.

— Да вот Медокс, содержатель театра, плачется на вас, что вы у него отбиваете публику. . .

— Скорее же это я могу жаловаться на него, что он меня лишает посетителей и мешает мне тешить даром людей, с которых он дерет горяченькие денежки. Каждый, кто ко мне пришел, тот мой и гость, милости просим, веселись всякий, как ему хочется: я весельем не торгую, а гостя своего им забавляю. Для чего же он моих гостей у меня отбивает? Кто к нему пошел, может статься, был бы у меня. . .

Этот Медокс по Москве расхаживал в красном плаще, и потому его прозвали кардиналом. Он был искусный механик, сделал премудреные часы с разными штуками, с музыкой и с фигурами, которые двигались и плясали.[21] Эти часы были потом у известного в свое время менялы Дмитрия Александровича Лухманова, который ценил их очень дорого.

Когда приезжал в Москву из Персии известный Хозрев-Мирза, он был в лавке у Лухманова и торговал часы, давал за них какую-то очень большую сумму, Лухманов не отдал, и после того эти часы так у него и остались; куда они девались — не знаю.[22]

Директором казенного театра около двадцатых годов был Ф. Ф. Кокошкин, женатый на падчерице (моей троюродной сестры) Е. А. Архаровой, на Варваре Ивановне; ее мать была сама по себе Щепотьева. Этого Кокошкина я видала и у Архаровых, и у Апраксиных. Потом, когда он овдовел, он женился вторично на какой-то актрисе [23] и имел детей, а от Архаровой детей не осталось.

До двенадцатого года театр был на Арбатской площади, построен в виде ротонды.[24] За год или за два до неприятельского нашествия приезжала в Москву известная трагическая актриса мамзель Марс и там играла.[25] Мне довелось ее видеть раза два или три; мы ездили с Титовыми и дивились прекрасной игре ее. Этот Арбатский театр во время французов сгорел, а временно устроили театр на Никитской, в доме Познякова [26] (принадлежавшем после того князю Юсупову). Кроме того, был после

французов театр в Пашковом доме, но не в том прекрасном, который и теперь стоит на углу Знаменки, а в другом, который был на углу Никитской и Моховой. Этот дом потом купили в казну, сломали и выстроили на его месте, после первой холеры, новый университет.[27] Помещение было очень скудное, и сравнить нельзя с апраксинским театром. Теперешний театр начали строить при императоре Александре Павловиче,* а отделали, когда его уже не стало, в конце 1825 года.[28]

III

Я слыхала от стариков, помнивших императриц Анну Ивановну и Елизавету Петровну, что в 1740-х и 1750-х годах дом для комедии был где-то на Басманной,[29] где тогда живало много знати, а итальянцы, которых вызвали в Москву, чтобы потешать Елизавету Петровну, когда она подолгу живала в Москве, давали свои представления в особом здании у Красного пруда.[30] Прошу покорно, в такую даль тащиться! После того и русские пьесы стали давать на этом театре, и известный в то время стихотворец Сумароков, быв в милости у императрицы, заправлял этим театром, и присылал в Москву актеров, и писал свои трагедии,[31] которые они разыгрывали. Эти пьесы интересны, а итальянские оперы, по-моему, ничего не стоили. Когда итальянцы снимали театр у Апраксиных, для меня тоска, бывало, как придется ехать в оперу: я пущу своих барышень на перед ложи, а сама уйду в темный угол, сижу себе и дремлю; прескучные были эти итальянцы...

Вообще я не скажу, чтоб я была большая любительница театров, да в наше время и не езжали так часто по публичным театрам, как теперь, оттого что приличнее считалось бывать там, куда хозяин приглашает по знакомству, а не там, где каждый может быть за деньги. У кого же из нас не было в близком знакомстве людей, имевших свои собственные театры?

Мне было лет четырнадцать, когда я в первый раз была в театре Медокса, и хотя зала была очень грязновата, тесна и невзрачна, но, не видав лучшего, мы и этим были довольны. Детей прежде не возили так часто в театр, как теперь. Батюшка об этом судил очень строго:

— Вырастут большие, — говаривал он матушке, — успеют всего наглядеться и всем натешиться, а то как начнут спозаранок всюду разъезжать, скоро все надоест и прискучит. Теперь пусть сидят за грамоткой да за рукодельем, а в летах будут, ну, тогда и забавляйся...

В наше время тоже бывали и для детей забавы: качели и балаганы; насажают нас в кареты и пошлют смотреть, как паяцы кривляются. Приехали какие-то итальянцы с кукольным театром, и это нас больше забавляло, чем трагедии и комедии.

Я тоже своих девочек не любила таскать по театрам и не хотела их везти до пятнадцати лет, года за два пред тем, как их вывезу в свет.

* В 1821 году.

В мое время прежде восемнадцати, девятнадцати лет на балы не езжали, потому что вывези рано — сочтут невестой, а это девушек старит. Довольно с них и танцевальных уроков: напрыгаются со своими подругами, чего же еще?

Дети мои учились танцевать у Иогеля.[32] Он считался в свое время лучшим танцмейстером; был еще другой, Флагге, но этот не имел такой большой практики;[33] а Иогеля всюду приглашали. Он бывал у Архаровых, у Неклюдовой, у Львовой, у Рожновой, у Шаховских, словом — везде, куда я детей возила.

IV

Прекрасный дом Пашковых на углу Знаменки и Моховой был строен Александром Ильичем Пашковым. Эти Пашковы, говорят, выходцы из Польши. Их пращур был шляхтич, приехавший служить в Россию, обрусевший и оставивший потомков. Один из них, Александр Ильич, женился на дочери Мясникова, богатого золотопромышленника, за которою взял несколько заводов и 20 000 душ крестьян, а так как сестра его жены Дарьи Ивановны Екатерина Ивановна была за Козицким, статс-секретарем императрицы Екатерины, пользовавшимся ее милостями, то и Пашков попал в почет.

Пашковы имели еще загородный двор с большим садом и прекрасным домом где-то около Крестовской заставы.

Пашковы жили всегда весело и открыто, так как имели очень большое состояние и, кроме того, и родством считались со знатью. Один из сыновей Александра Ильича был женат на графине Толстой, сестре графа Петра Александровича Толстого (бывшего послом при Наполеоне I) и, стало быть, тетке синодального обер-прокурора графа Александра Петровича; он был чем-то значительным при дворе.

Я помню, когда дом Пашковых был во всем блеске, свежий и новый, как с иголочки. Пред домом били фонтаны; по саду расхаживали разные птицы: павлины, фазаны; было несколько пребольших сетчатых птичников из золоченой проволоки; иногда в саду играла их собственная крепостная музыка; у них бывали зачастую театры и праздники; ну и, конечно, в таком доме и с большим состоянием можно было хорошо и весело жить.[34]

Мы домами никогда не были знакомы, но одну из внук Александра Ильича я нередко видала у моей невестки (Марьи Петровны Корсаковой), которая ей приходилась золовкой, потому что Пашкова была замужем за князем Владимиром Петровичем Долгоруковым; ее звали Варварою Ивановною. Она была почти одних лет с моими дочерьми, и я застала ее еще молодою девушкой; очень была недурна собой и добрая и милая женщина: ей было с небольшим двадцать лет, когда она умерла, а ее муж умер через год, и единственный их сын Петруша * воспитывался у своей

* См. выше, гл. VII. Он жил последнее время за границей, где и умер; был известен в обществе под названием: Долгорукий — le bancal ⟨хромой (*франц.*). — *Ред.*⟩ умный был человек, но очень резкий на язык, собой нехорош и прихрамывал.[35]

бабушки, княгини Анастасии Симоновны, братниной тещи, которая и жила все у брата в доме, и Петруша рос на моих глазах.

Одна из сестер Варвары Ивановны была за Хвостовым, другая за Сушковым,[36] а еще одна осталась старою фрейлиной.

Мать этих Пашковых была сама по себе Яфимович и жила где-то очень далеко на Чистых прудах, в своем доме, и тоже любила жить весело и открыто.

Пашковский дом на Знаменке принадлежал, кажется, меньшому из братьев, Алексею Александровичу, тому, который не был женат. Во время французов дом этот обгорел и долго оставался не обновленным: * должно быть, новому поколению не под силу было и поправить даже того, что дедушки могли вновь построить и отделать. Был и третий городской дом Пашковых, неподалеку от Каменного моста, рядом с церковью Похвалы пресвятые богородицы; он потом был куплен в казну для дворцовой конторы. Этот принадлежал второму из братьев, Василию Александровичу, женатому на графине Толстой. Его дочь Татьяна Васильевна была за Илларионом Васильевичем Васильчиковым. Эти Пашковы мало живали в Москве, а все больше в Петербурге.

Сестра Дарьи Ивановны Пашковой Екатерина Ивановна, вышедшая за Козицкого, имела свой дом в Москве на Тверской, напротив церкви Димитрия Селунского. Дом был большой и прекрасный. У Козицкой было несколько дочерей, из которых одна вышла за князя Белосельского-Белозерского, и к ней-то перешел дом ее матери Козицкой. По фамилии Козицкого и переулок, которым дом этот отделяется от гостиницы Шевалдышева, прозван Козицким.[37] Одна из сестер этого князя Белосельского (Александра Михайловича), Наталья Михайловна, была замужем за братом княгини Анны Николаевны Долгоруковой, за бароном Сергеем Николаевичем Строгановым, а другая, Евдокия Михайловна, за матушкиным двоюродным братом Василием Петровичем Салтыковым. Он умер за несколько лет до французов, а жена его была еще в живых в 1822 году, когда мы ездили в Петербург, и ей было тогда лет семьдесят пять; года через два после того и она скончалась.

Теперь не упомню, за которою именно из этих княжон Белосельских в своей молодости ухаживал Федор Сергеевич Лужин [38] (бывший впоследствии нашим соседом и хорошим приятелем мужа). Он был очень милый и любезный человек, видный собою, но от оспы очень сильно помечен. Он служил в гвардии и имел весьма небольшое состояньице, а молодая и богатая княжна ему очень нравилась. Он долго собирался с духом сделать ей предложение, наконец решился. Что ему княжна ответила — не сумею сказать, только на следующий день ему утром подают записочку, и он читает:

> Господин Лужин,
> Княжне вы не нужен,
> Но вас зовут на ужин.

---

* Ныне в этом доме Румянцевский музей.

Он, скрепя сердце, поехал ужинать к Белосельским; за ужином пили за здоровье княжны и жениха ее, за которого ее просватали; можно себе представить неловкое положение, в котором был этот отверженный воздыхатель. Он вскоре после того вышел в отставку, уехал жить в деревню и умер старым холостяком, вспоминая о прекрасной княжне; однако после него оставалось две ли, три ли воспитанницы, которые приходились ему близко сродни. Так как я коснулась Лужиных, то про них и буду продолжать.

Их имение, сельцо Григорово, было от нашей подмосковной верстах в девяти или десяти: версты с четыре далее Дьякова. Именьице небольшое, но хорошенькое, премилый домик с мезонином и деревянная церковь во имя Спаса нерукотворенного образа. Она была не приходская, а приписная к приходу, селу Шукалову, принадлежавшему в ту пору Шокареву.

Лужиных было два брата: Дмитрий и Федор Сергеевичи и сестра Марья Сергеевна, да старушка мать. Летом они все живали в Григорове, а по зимам в Москве в своем собственном доме.[39] Григорово досталось по разделу меньшому брату Федору Сергеевичу, а старшему Дмитрию другое имение, тоже в Дмитровском уезде, в сторону от Троицкого шоссе, верстах в пятидесяти от Москвы и в двадцати от Дмитрова, село Воронино. Старший брат был мот и свое имение спустил с рук потихоньку от матери, чтобы не огорчить старушки, а может статься, он ее и прибаивался, — говорят, была с душком. Братья были дружны между собой, и чтоб еще лучше скрыть от матери, что Воронино уже в чужих руках, они и положили, когда приезжали каждую неделю в Москву подводы с припасами, с сеном, с дровами, говорить старушке, что привозится все это то из Григорова, то из Воронина; так старушка Лужина и умерла, не знала, что Воронино продано и что вся семья только и существует, что Григоровом да московским домом.

Дмитрий Сергеевич был женат; жену его звали Елизавета Васильевна, предобрая и премилая женщина; я с ней была очень дружна, и мы часто видались, когда, по смерти мужа, она живала в Григорове. У нее было три дочери и сын. Старшая из дочерей, Анна Дмитриевна, вышла потом замуж за Семена Николаевича Шеншина (родного брата Владимира Николаевича, женатого на моей племяннице Марье Сергеевне Неклюдовой); Варвара Дмитриевна была за Озеровым, а Марья Дмитриевна за пензенским помещиком Николаем Васильевичем Ховриным. Марья Дмитриевна была очень хороша собой и весьма умная и приятная женщина.*

Племянник Федора Сергеевича Иван Дмитриевич, — не знаю, где он сперва учился, — потом был записан в службу и жил в Петербурге. Старик-дядя и тетка очень его любили и во всем себе отказывали для того, чтобы побольше можно было послать ему денег. Он был молодец видный и красивый из себя и очень полюбился Иллариону Васильевичу Васильчикову (тогда еще не князю и не графу, брату княгини Татьяны Василь-

* Скончалась в Москве в 1877 г.

евны Голицыной *). Молодой Лужин пришелся по мысли дочери Васильчикова, Екатерине Илларионовне, и она за него вышла замуж. Это было, думаю, около 1830 года, и, кажется, стариков Лужиных — ни дяди, ни тетки — уже не было в живых.**

Еще одна из сестер Пашковой и Козицкой была выдана за Бекетова,[40] а другая за Дурасова. Бекетов был весьма известный в свое время человек, очень ученый и имевший свою собственную типографию,[41] что тогда было диковинкой. Одна из дочерей этого Бекетова была за Балашовым,[42] долгое время бывшим в Москве обер-полицмейстером; кажется, вслед за ним и поступил известный Шульгин.[43] Другая дочь Бекетова, Екатерина Платоновна, была за Кушниковым; мы были знакомы домами, и я не раз дочерей своих возила к ним на балы, которые были прехорошенькие. Сестра Бекетова была за Дмитриевым, и ее сын Иван Иванович, бывший впоследствии министром, прославился своими стихами и баснями.[44]

Дочь Дурасовой Степанида Алексеевна была за двоюродным братом дядюшки графа Степана Федоровича Толстого, за графом Федором Андреевичем Толстым, которого единственная дочь графиня Аграфена Федоровна вышла замуж за Закревского. Вот почему она и была так богата: это все еще мясниковское наследство, а так как Дурасову звали Аграфена Ивановна, то и графиня Толстая была названа в честь своей бабушки Аграфеной.

Дурасов Михаил Алексеевич имел дочь Аграфену Михайловну, которая была за Писаревым, и ей принадлежало Люблино,*** загородный дом с садом за Спасской заставой, очень хороший, просторный и совершенно необыкновенной наружности, построенный в виде креста. Люблино принадлежало одно время графине Разумовской Марье Григорьевне, той самой, которая, будучи за князем Александром Николаевичем Голицыным, от живого мужа вышла за графа Льва Кирилловича Разумовского. Кажется, она-то и продала Люблино Дурасову. Чье было имение это прежде — не знаю, но там, говорят, бывали большие праздники и был особый театр.[47]

V

Батюшка был очень серьезного характера и большой нелюбитель всяких гуляний и катаний, потому мы и не езжали по публичным гуляньям, хотя иногда весной и оставались еще в Москве.

Гулянье 1 мая в Сокольниках очень давнишнее. Говорят, что еще Петр I, в ту пору, как в своей молодости живал в Москве, езжал в Соколь-

---

* Жена московского генерал-губернатора, князя Дмитрия Владимировича Голицына.

** Иван Дмитриевич Лужин в 1845—1854 гг. был московским обер-полицмейстером, потом губернатором в Курске и Харькове, а затем почетным опекуном; во втором браке женат на вдове Николая Васильевича Орлова-Денисова Наталье Алексеевне, урожденной Шидловской.

*** Ныне Люблино принадлежит купцам Голофтееву и Рахманину;[45] туда перевезена деревянная церковь, бывшая в Москве на политехнической выставке в 1872 году.[46]



Гулянье в Семик [50] бывало очень большое в Марьиной роще, за Крестовскою заставой, не доезжая Останкина,* принадлежащего графу Шереметеву; в особенности же, если гулянье 1 мая от дурной погоды не бывало или не удалось, то в Семик в Марьиной роще народа бывало премножество и катались в каретах.

В Духов день[51] гулянье во дворцовом саду в Лефортове, больше для купечества и для Замоскворечья. В саду гулянье было для пеших, и щеголихи с Ордынки и Бог весть откуда являлись пренарядные, в бархатах и атласах, с перьями, цветами, в жемчугах и бриллиантах. Так как это ужасная даль от той стороны Москвы, где мы живали, то мне и пришлось всего только один раз там побывать. Я думаю, и потому туда мало господ езжало, что гулянье это летом, когда уже многие по деревням разъедутся, а купечество всегда живало в своих домах в городе, а не по дачам, как теперь. Бывали еще гулянья в некоторые храмовые праздники около монастырей на площадях, и тут ярмарки, качели и народное гульбище. Так, в Рождество богородицы [52] — пред Рождественским монастырем на площади; в Иванов день, Ивана постного, 29 августа, — за Солянкой у бывшего Ивановского монастыря ярмарка и гулянье; в Ильин день [53] у Ильи пророка на Воронцовом поле и во многих других местах.

Прекрасное гулянье было в Лазареву субботу на Красной площади в Кремле. По Волхонке, мимо Василия Блаженного к Иверским воротам, кареты тянутся, бывало, на несколько верст; едешь, едешь — конца нет. Вдоль кремлевской стены, напротив гостиных рядов, расставлены палатки и столы, вроде ярмарки; торговали вербами,[54] детскими игрушками и красным товаром. Это было большое детское гулянье. Потом Кремлем не велено было ездить по причине ворот — происходили замешательства.

Другое гулянье, в день Прохора и Никанора,[55] на Девичьем поле: ярмарка, качели и катанье в экипажах по Пречистенке, иногда по Арбату и до Кремля. Также и на Святой неделе в пятницу бывало большое гулянье из Подновинского по Пречистенке на Арбат, по Поварской и опять к Подновинскому. Когда после французов мы опять выстроили свой дом на Пречистенке, то в пятницу на Святой неделе к нам съедутся, бывало, наши знакомые обедать, а после и сидим все у окон и смотрим, как катаются в экипажах.

Петровского парка в прежнее время не было. Было в семи верстах от Москвы за Тверской заставой село Всесвятское. При императрицах Анне и Елизавете Петровне и до времен Екатерины там был подхожий стан и деревянный дворец, в котором эти императрицы обыкновенно и останавливались до своего въезда в Москву пред коронованием.

В селе Всесвятском был, говорят, обширный сад и в День всех святых [56] большое гулянье; потом Всесвятское было пожаловано императрицею Екатериною грузинскому царевичу,[57] а также и Пресненские пруды, за которыми была церковь Георгия в Гру́зинах,[58] и я еще застала деревян-

* Останкино принадлежало прежде князю Черкасскому, который там и выстроил прекрасную церковь, и поступило в приданое его дочери, княжне Варваре Алексеевне, вышедшей за графа Петра Борисовича Шереметева.

ный дворец грузинских царевичей с большим садом.[59] До французов в Грузинах было множество домов, принадлежавших князьям и дворянам, выехавшим из Грузии.

По рассказам старожилов, при императрице Екатерине был большой праздник, который для нее устраивал граф Румянцев [60] по случаю заключения мира с турками.[61] Это было вскорости после казни Пугачева.[62]

Праздник этот был устроен на Ходынском поле с большими затеями: построены были разные крепости и города с турецкими названиями: где был театр, где зала для обеда, другая бальная, разные беседки и галереи. Торжество начиналось с утра и продолжалось весь день до поздней ночи, несколько дней сряду, с неделю, что ли. Все постройки были сделаны на турецкий лад, с разными вычурами: башни, каланчи и высокие столбы, как при мечетях, и чего-чего, говорят, не было. Были построены триумфальные ворота, и граф Румянцев имел торжественный въезд на золотой колеснице, наподобие римских. Тут были на поле ярмарки, базары на восточный манер, кофейные дома, даровой обед и угощение кому угодно, театральные представления,* канатные плясуны. Места для зрителей были устроены на подмостьях, в виде кораблей с мачтами, с парусами; и это в разных местах, которые названы именами морей: где Черное, где Азовское и т. п. Императрица и великий князь с супругой [63] каждый день бывали и подолгу оставались на этом празднике.

Тут, говорят, государыня облюбовала место и приказала строить для себя новый загородный дворец, который и был после того назван Петровским, потому что место, на котором его поставили, было прежде во владении Петровского московского монастыря. Дворец выстроен наподобие замка, в виде кружала, со многими башнями, и с тех пор он сделался подгородным подхожим станом, и пред коронованием, начиная с императора Павла, все государи там останавливаются и живут до торжественного въезда в столицу.[64] Парка такого, какой теперь, прежде не было, а были рощи и пустыри.[65] Самые давнишние дачи, какие я там запомню, были: апраксинская, княгини Волконской, князя Михаила Петровича Голицына и одной очень богатой женщины, по имени Лобковой. Потом, когда после первой холеры в 1832 и 1833 годах стали разводить парк в том виде, как он теперь, там были дачи у Настасьи Николаевны Хитровой, у княгини Натальи Сергеевны Трубецкой. Стали раздавать от казны земли, кто желал, и по пяти тысяч рублей на обстройку. Тогда сестра Анна Николаевна Неклюдова взяла себе участок на самом шоссе, Озеров Семен Николаевич, Иван Александрович Нарышкин и очень многие, и сделалось модным иметь дачу в Петровском. Устройство парка препоручено Александру Александровичу Башилову, сенатору, начальнику московской комиссии строений и любимцу великого князя Михаила Павловича. Башилов устроил ресторацию и сдал ее французу. Чтоб еще более оживить Петровское, там построили деревянный театр и поручили Башилову выстроить вокзал неподалеку от дворца, и было ему выдано от казны 150 000 рублей ассигнациями; это было в 1836 или 1837 годах. Тут и стали все, кто только

* Нечто вроде рыцарского турнира, на котором сражались благородные девицы.

мог, покупать и строить себе дачи в парке, и начались гулянья по воскресеньям и по праздникам, театры и балы в вокзале.

Башилов был премилый и прелюбезный человек. Я встречала его еще молодым человеком у Апраксиных и у Голицыных, то есть у князя Дмитрия Владимировича и у княгини Татьяны Васильевны, когда они живали у нас по соседству, в Рождествене. Он был превеселого характера, большой шутник, но без примеси злословия, приятный собеседник и душа общества.[66] Не знаю, когда он умер, но с его смертью, говорят, и Петровский парк стал было приходить в упадок.*

Прежде чем возник Петровский парк, в моде было Нескучное, принадлежавшее в прежнее время графу Орлову, а после него его дочери, графине Анне Алексеевне. Рядом была дача князя Дмитрия Владимировича Голицына, а за его дачей — дача князя Шаховского. Когда покойный государь Николай Павлович купил Нескучное у графини Орловой за 800 000 ассигнациями, Голицын купил участок у Шаховского и просил государя принять от него в дар обе дачи, и таким образом Нескучное, названное Александрией, очень расширилось.

Александровский дворец — это тот самый дом, в котором живал граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, давал праздники и пиршества для забавы своей единственной дочери и для утешения всей Москвы в начале восьмисотых годов.[69] Дом так и остался в том виде, как был; конечно, его приспособили к царскому обиходу.

В Нескучном долгое время был воздушный театр, то есть прекрасная крытая галерея полукружием, а самую сцену приспособили так, что деревья и кусты заменяли декорации. Не могу сказать, был ли этот амфитеатр остаток орловского великолепия, или нарочно был выстроен от дирекции театров для забавы московской публики; [70] только два раза в неделю, в воскресенье да еще в какой-то день, там бывали представления, и зрителей собиралось довольно. В эти дни бывало гулянье, а после театра очень часто пускали фейерверк. Когда устроили Петровский парк и там выстроили театр, а в Нескучном бывший стал ветшать, то его упразднили; начали ездить больше в парк, и Нескучное пришло в забвение.

Точно так же было время, когда посещали дачу князя Гагарина за Трехгорною заставой, то, что теперь называется Студенец, а тогда называли Гагаринские пруды.**[71] Туда тоже съезжались на гулянье, были

---

* Когда начали разводить Петровский парк, я был еще так мал, что этого не помню, но с 1838 года я там бывал. Пред вокзалом, на лугу, были устроены детские игры: качели, коньки, бильбоке [67] и т. п., и мне случалось не раз там играть. Будучи молодым человеком, я бывал нередко в вокзале и в театре, где раз или два в неделю играли французские актеры тогда бывшей в Москве постоянной труппы,[68] а по воскресеньям бывал русский спектакль. Мимо вокзала было гулянье в экипажах и много гуляющих пешком. Пока был жив Башилов парк процветал, и это продолжалось более пятнадцати лет. После вокзал начал ветшать и в пятидесятых годах пришел в упадок. *Внук.*

** По всей вероятности, владельцем Студенца был или князь Матвей Петрович Гагарин, казненный при Петре (17 июля 1721 г.),[72] или сын его Алексей Матвеевич; впоследствии дача эта принадлежала графу Федору Андреевичу Толстому, от него перешла к его дочери графине А. Ф. Закревской и долгое время называлась дача Закревского. Граф Закревский пожертвовал ее в казну, и с тех пор там помещается Общество любителей садоводства.

разные забавы: ходили по канатам, представляли разные фокусы, играла музыка, были песельники, пускали фейерверки. Но этого в мое время уже не было, а было в царствование императрицы Елизаветы.

Летом обыкновенно все дворяне живали у себя по именьям, конечно, исключая тех, которые, будучи при дворе или по службе, не могли отлучиться из города, и потому у многих богатых бар были не дачи, а загородные дома в отдаленных частях Москвы, вошедших потом в состав города. Поблизости от Кремля всего более избирали места на Девичьем поле, около Хамовников, у Крымского брода. Так, по левую руку Девичьего поля, едучи к монастырю, был загородный дом князя Голицына,[73] потом перешедший по наследству к князю Долгорукову, женатому на его воспитаннице Делициной; теперь это дом Олсуфьевых, с прекрасным и обширным садом, с оранжереями, совершенно сельская барская усадьба; подальше был дом князя Трубецкого, тоже с большим садом и рощей, и подалее, рядом с церковью, еще чья-то дача, теперь князя Вадбольского. На Воробьевых горах был потешный деревянный дворец, тот самый, который во время праздника, устроенного графом Румянцевым, находился на Ходынском поле. Этот дворец поставлен был на каменных подклетях, остававшихся от прежних царских теремов. Кругом был большой сад и аллеи.

По правой стороне Девичьего поля, у Саввы Освященного в переулке, был загородный дом и у моего свекра Янькова: сад спускался к Москве-реке, дом был деревянный, просторный, но одноэтажный. Я его уже не застала: он был продан до моего замужества. Немного подалее был дом князя Михаила Ивановича Долгорукова на Пометном Вражке с очень большим местом частью под палисадником, частью под пустырями, и я думаю, что Долгоруковы более ста лет владели этим загородным двором. По этой же стороне был дом Прозоровского, и так вплоть до Зубова всё загородные дворы.

У Крымского брода — загородный двор графа Орлова, брата Алексея Григорьевича.[74] За Крымским бродом — дача Голицына (Голицынская больница),[75] а село Васильевское, бывшее в последнее время за графом Мамоновым, находилось прежде во владении известного князя Долгорукова-Крымского.[76]

Почти во всех концах Москвы, у заставы или поблизости от города, были эти загородные дворы знатных господ. У Демидова за Покровкой у Никиты Мученика; у графа Разумовского еще дальше, к Гороховому полю, был совершенный дворец, и во время коронации императора Николая там жительствовала, кажется, вдовствующая императрица,[77] а великая княгиня Елена Павловна жила в Кускове.

Словом сказать, вся Москва была окружена загородными дворцами и подгородными поместьями, а теперь едва ли и двадцатая часть уцелела и находится еще в руках дворян, уж я и не говорю, чтобы в руках потомков прежних владельцев: что перешло в казну под разные заведения, что куплено богатым купечеством.

VI

Дворянское собрание в наше время было вполне дворянским, потому что старшины зорко смотрели за тем, чтобы не было какой примеси, и члены, привозившие с собою посетителей и посетительниц, должны были отвечать за них и не только ручаться, что привезенные ими точно дворяне и дворянки, но и отвечать, что привезенные ими не сделают ничего предосудительного, и это под опасением попасть на черную доску и чрез то навсегда лишиться права бывать в Собрании. Купечество с их женами и дочерьми, и то только почетное, было допускаемо в виде исключения как зрители в какие-нибудь торжественные дни или во время царских приездов, но не смешивалось с дворянством: стой себе за колоннами да смотри издали. Дом Благородного собрания был издавна на том месте, где он теперь, только сперва этот дом был частный, принадлежал князю Долгорукову.* Основателем Собрания был Соймонов, человек очень почтенный и чиновный,[78] к которому благоволила императрица Екатерина; он имел и голубую (Андреевскую) ленту [79] и в день коронации императора Павла получил где-то значительное поместье. Жена его была сама по себе Исленьева. Вот этот Соймонов-то и вздумал учредить Собрание для дворянства, и лично ли или чрез кого из приближенных входил о том с докладом к государыне, которая дала свою апробацию и впоследствии приказала даже приобрести дом в казну и пожаловала его московскому дворянству. Дом был несравненно теснее, чем теперь.

Я помню по рассказам, что покойная матушка езжала на куртаги,[80] которые были учреждены в Москве: барыни собирались с работами, а барышни танцевали; мужчины и старухи играли в карты, и по желанию императрицы для того, чтобы не было роскоши в туалетах, для дам были придуманы мундирные платья по губерниям, и какой губернии был муж, такого цвета и платье у жены. У матушки было платье: юбка была атласная, а сверху вроде казакина или сюртучка довольно длинного, из стамеди стального цвета с красною шелковою оторочкой и на красной подкладке.

Императрица приехала в Москву, в котором это было году — не знаю, но думаю, что до 1780 года зимой, и пожаловала сама на куртаг; тогда и матушка ездила... Намерение-то было хорошее, хотели удешевить для барынь туалеты, да только на деле вышло иначе: все стали шить себе мундирные платья, и материи очень дешевые, преплохой доброты, ужасно вздорожали, и дешевое вышло очень дорогим. Так зимы с две поносили мундирные эти платья и перестали. Так как батюшка был владельцем в Калужской губернии, где был и предводителем, и в Тульской губернии, то у матушки и было два мундира — один стального цвета, а другой, помнится, лазоревый с красным.

Собрания в наше время начинались с 24 ноября, со дня именин императрицы, и когда день ее рождения, 21 апреля, приходился не в пост, то этим днем и оканчивались собрания. Съезжались обыкновенно в 6 часов,

---

* Долгорукову-Крымскому.

потому что обедали рано; стало быть, 6 часов — это был уже вечер, и в 12 часов все разъезжались по домам. Танцующих бывало немного, потому что менуэт был танец премудреный: поминутно то и дело, что или присядь, или поклонись, и то осторожно, а иначе, пожалуй, или с кем-нибудь лбом стукнешься, или толкнешь в спину; мало этого, береги свой хвост, чтоб его не оборвали, и смотри, чтобы самой не попасть в чужой хвост и не запутаться. Танцевали только умевшие хорошо танцевать, и почти наперечет знали, кто хорошо танцует. . . Вот и слышишь: «Пойдемте смотреть — танцует такая-то — Бутурлина, что ли, или там какая-нибудь Трубецкая с таким-то». И потянутся изо всех концов залы, и обступят круг танцующих, и смотрят как на диковинку, как дама приседает, а кавалер низко кланяется.

Тогда и в танцах было много учтивости и уважения к дамам.

Вальса тогда еще не знали и в первое время, как он стал входить в моду, его считали неблагопристойным танцем: как это — обхватить даму за талию и кружить ее по зале. . .

Одно время Собрание помещалось в доме бабушки Аграфены Федотовны Татищевой возле Пашковского дома на Моховой, потому что дом Собрания переделывался, и хотя зала была очень невелика, но в ней кое-как теснились.

Собрание в том виде, как оно было потом, устроили в 1811 году; его переделали, расширили и расписали. Очень всем не нравилось, что на потолке в зале представлен был орел с распущенными крыльями, окруженный темно-синею тучей, из которой зигзагами выходит молния. Многие тогда видели в этом дурное предзнаменование, которое и сбылось,[81] и императору Александру Павловичу, посетившему тогда Собрание, должно быть, это не очень полюбилось, потому что он, взглянув на потолок, спросил: «Это что же такое?» — и, говорят, нахмурил брови. Он был довольно суеверен и имел много примет. . . В 1812 году дом Собрания обгорел, его должны были отделать вновь, а денег у дворянства не было; тогда государь и пожаловал на обновление более ста тысяч.

Благородное собрание было очень посещаемо, и дамские туалеты всегда очень хороши и несравненно богаче, чем теперь, потому что замужние женщины носили материи, затканные серебром, золотом, и цельные глазетные. Мужчины тоже долгое время до воцарения императора Александра продолжали носить французские кафтаны различных цветов, довольно ярких иногда, — атласные, объяринные, гродетуровые и бархатные, шитые шелками, блестками, и серебром, и золотом; всегда шелковые чулки и башмаки: явиться в сапогах на бал никто и не посмел бы, — что за невежество! Только военные имели ботфорты, а статские все носили башмаки, на всех порядочных людях хорошие кружева, — это много придавало щеголеватости. Кроме того, пудра очень всех красила, а женщины и девицы вдобавок еще румянились, стало быть, зеленых и желтых лиц и не бывало.

С утра мы румянились слегка, не то что скрывали, а для того, чтобы не слишком было красно лицо; но вечером, пред балом в особенности, нужно было побольше нарумяниться. Некоторые девицы сурмили себе

брови и белились, но это не было одобряемо в порядочном обществе, а обтирать себе лицо и шею пудрой считалось необходимым.

При императоре Павле никто не смел и подумать о том, чтобы без пудры носить волосы или надеть то уродливое платье, которое тогда уже начинали носить во Франции. Сказывали, что кто-то попался ему в Петербурге в новомодном платье. Государь ехал, приказал остановиться и подозвал модника. У того от страха и ноги не идут, верно почуял, в чем дело. Государь приказал ему повернуться, осмотрел его со всех сторон, и так как был в веселом расположении духа, то расхохотался и сказал своему адъютанту: «Смотри, какое чучело!»

Потом спросил франта: «Что ты — русский?» — Точно так, ваше величество», — отвечает тот, ни жив ни мертв. . .

— Русский — и носишь такую дрянь: да ты знаешь ли, что на тебе? Республиканское платье! Пошел домой, и чтоб этого платья и следов не было, слышишь. . . а то я тебя в казенное платье одену — понял?. .

А в другой раз велел кого-то посадить на гауптвахту.

При Павле все ухо востро держали. Пудру перестали носить после коронации Александра, когда отменили пудру для солдат,[82] что было очень хорошо: где же солдату завиваться и пудриться? А с пудрою вместе, конечно, и французский кафтан попал в отставку.

Когда молодой государь перестал употреблять пудру и остриг волосы, конечно, глядя на него, и другие сделали то же. Однако многие знатные старики гнушались новою модой и до тридцатых еще годов продолжали пудриться и носили французские кафтаны. Так, я помню, некоторые до смерти оставались верны своим привычкам: князь Куракин, князь Николай Борисович Юсупов, князь Лобанов, Лунин и еще другие, умершие в тридцатых годах, являлись на балы и ко двору одетые по моде екатерининских времен: в пудре, в чулках и башмаках, а которые с ***красными каблуками.***

Теперь многие даже и не поймут, что такое красные каблуки (les talons rouge). Не все ли равно, что красные, что черные, — это одна только мода. Может быть, кто и не зная нашивал красные каблуки, но, конечно, не таковы были Юсупов, Куракин и подобные им. Они понимали значение и потому-то и продолжали вопреки моде одеваться и обуваться по-своему.

Красные каблуки означали знатное происхождение; эту моду переняли мы, разумеется, у французов, как и всякую другую; там, при версальском дворе, при котором-то из их настоящих последних трех королей,[83] вошло в обычай для высшего дворянства (la haute noblesse) * ходить на красных каблуках. Это очень смешное доказательство знатности переняли и мы, и хотя сперва над этим и посмеивались и критиковали, однако эту моду полюбили и у нас, в особенности знатные царедворцы: разве им можно не отличиться от простого люда? Княжна Прасковья Михайловна Долгорукова до старости своей все ходила на красных каблуках и продолжала ездить в двуместной карете, которая имела вид веера (en forme d'éventail). Княжна была, я думаю, самая последняя в Москве старожилка, которая,

---

* положение обязывает (*франц.*). — *Ред.*

имея от роду почти девяносто лет (она умерла в 1844 году), все еще одевалась, как при императрице Екатерине II.

Батюшка до кончины своей носил французский кафтан синего цвета, всегда белое жабо, белый пикейный камзол, чулки и башмаки. Он носил парик и пудрился и только за год до смерти снял парик и стал седым старичком. Давно уже все перестали пудриться, и я стала носить чепец из тюля, а Дмитрий Александрович все ходил с пучком и слегка пудрился; братья мои Корсаковы и двоюродные братья Волконские над ними трунили. Он все еще крепился, наконец в тамбовской деревне он однажды приходит ко мне и несет что-то такое в руке и говорит:

— Посмотри-ка, Елизавета Петровна, что я тебе принес, угадай.

Я была близорука смолоду и не вдруг разглядела, потом вижу, он держит отрезанную свою косу!

Безобразие тех чепцов и шляп, которые пошли после двенадцатого года, себе нельзя представить, и, однако, все это носили; говорили, что мода уродливая, а следовали ей. Платья были самые некрасивые: очень узенькие, пояс под мышками, спереди нога видна по щиколотку, а сзади у платья хвост. Потом платья совсем окургузили, и вся нога стала видна, а на голове начали носить какие-то картузы. Много я видала этих дурачеств; застала *фижмы*, les paniers: носили под юбками нечто вроде кринолина, *мушки*, и пережила отвратительные моды 1800 и 1815 годов, когда все подражали французам, а французы старались на свой лад переиначить одежды римлян, туники, то есть, с позволения сказать, чуть не просто рубашки. Разумеется, порядочные люди не доходили до таких крайностей, держались середины, а все же дурачились.

VII

Князь Николай Борисович Юсупов был один из самых известных вельмож, когда-либо живших в Москве, один из последних старожилов екатерининского двора и вельможа в полном смысле. Прадед его был знатный мурза татарского происхождения, принявший православие. Отец, Борис Григорьевич, был женат на Зиновьевой и при Елизавете Петровне был важным сановником,* но в особенности выдвинуло молодого Юсупова вперед расположение, которым он некоторое время пользовался при императрице Екатерине. Говорят, у него была даже прекрасная картина, на которой под видом мифологических изображений Венеры и Аполлона были представлены Екатерина и он сам, смолоду весьма красивый. Эта картина была в его спальне. Император Павел знал про эту картину и при восшествии своем на престол приказал ее убрать, но моему двоюродному брату, графу Петру Степановичу Толстому, служившему при князе Николае Борисовиче, довелось не раз ее видеть. Так как Юсупов был восточного происхождения, то и не мудрено, что был он великий женолюбец:

* Князь Борис Григорьевич Юсупов, тайный советник, был с 1736 по 1741 год московским губернатором; в 1742 году назначен президентом Коммерц-коллегии.

у него в деревенском его доме была одна комната, где находилось, говорят, собрание *трехсот* портретов всех тех красавиц, благорасположением которых он пользовался.

Жена князя Юсупова была родная племянница светлейшего князя Потемкина, Татьяна Васильевна, урожденная Энгельгардт, дочь сестры Потемкина; [84] в первом браке была за своим родственником Потемкиным и, овдовев, вышла за князя Юсупова. У них был только один сын. Супруги не очень ладили и хотя не были в ссоре, но разъехались и вместе не жили: князь умер в тридцатом или тридцать первом году, а жена его лет десять спустя. Он хотел, чтоб его схоронили в небольшом его именьице — в селе Котове, которое у него было верстах в двадцати от Москвы, по Рогачевке, немного в сторону. Это была родовая вотчина, где погребен и отец его. У князя Николая Борисовича было несколько сестер; одна из них, говорят, была ослепительной красоты, она вышла замуж за курляндского герцога Петра Бирона (сына известного злодея, свирепствовавшего при Анне) и после двух-трех лет замужества умерла в очень молодых летах. После смерти жены своей Бирон прислал на память Юсупову ее парадную постель и всю мебель из ее опочивальни: все серебряное, обивка голубая атласная; все это хранится в селе Архангельском. Другая княжна Юсупова была за князем Голицыным Андреем Михайловичем, сыном фельдмаршала,[85] имевшего от двух жен семерых сыновей и десять дочерей; одна из них была за графом Румянцевым-Задунайским. Третья сестра Николая Борисовича Юсупова была за Измайловым, и дочь ее, Евдокия Михайловна, вышла за князя Сергия Михайловича Голицына, но тотчас же после венчания отказалась из церкви ехать с мужем, никогда с ним не жила вместе [86] и, постоянно живя в чужих краях, занималась науками и там умерла в конце сороковых годов.

Князь Николай Борисович Юсупов был очень по своему времени образованный человек, получивший самое блестящее воспитание. Он был при Екатерине II где-то * посланником и потому долгое время жил при иностранном дворе. Император Павел при своем короновании пожаловал ему Андреевскую звезду [87] и очень к нему благоволил. При Александре Павловиче он был недолго министром уделов и в большом почете, а при императоре Николае — начальником Кремлевской экспедиции, и под его ведением перестраивался малый Николаевский кремлевский дворец. Он имел все российские ордена, портрет государя,[88] алмазный шифр,[89] и когда не знали уже, чем его наградить, то была ему пожалована одна жемчужная эполета.[90]

Князь Юсупов был очень приветливый и милый человек безо всякой напыщенности и глупого чванства, по которому тотчас узнаешь полувельможу, опасающегося уронить свое достоинство; с дамами отменно и изысканно вежлив. Когда, бывало, в знакомом ему доме встретится ему на лестнице какая-нибудь дама, знает ли он ее или нет, всегда низко поклонится и посторонится, чтобы дать ей пройти. Когда летом он живал у себя в Архангельском и гулял в саду, куда допускались все желающие

---

* В Турине.



там бывал. Принимая царственных своих гостей, Юсупов делал праздники, и последний, которым он заключил все пиры своей долголетней жизни, был великолепный праздник, данный им после коронования покойного государя императора Николая. Тогда было много иностранных послов, и все дивились убранству дома, местности, потому что местоположение Архангельского замечательно хорошо, и великолепию приема русского вельможи. Праздник этот был самый роскошный изо всех праздников, которые тогда были; обед, театр, бал с иллюминацией во всем саду и великолепный фейерверк.

Князь Юсупов был весьма богат, любил роскошь, умел блеснуть, когда нужно, и, будучи очень даже щедр, был, однако, с тем вместе и весьма расчетлив.

Он не знал на память всех своих имений, потому что у него были почти во всех губерниях и уездах, и я слыхала, что у него с лишком *сорок тысяч душ крестьян.* Когда у него спрашивали: «Что, князь, имеете вы имение в такой-то губернии и уезде?» — он отвечал: «Не знаю, надо справиться в памятной книжке». Ему приносили памятную книжку, в которой по губерниям и уездам были записаны все его имения, он справлялся, и почти всегда оказывалось, что у него там было имение. Он был богат как по себе, так и по своей жене, которая, как все племянницы Потемкина-Таврического, имела несметное богатство.*

Он очень любил картины, мраморы, бронзы и всякие дорогие и хорошие вещи и собрал у себя в Архангельском столько всяких ценных редкостей, что подобного собрания, говорят, ни у кого из частных лиц нет в России, разве только у Шереметева. По его милости разбогатели известные в Москве менялы: Шухов, Лухманов и Волков, которые все начали торговать с рублей и имели потом большие капиталы и огромные собрания. В Архангельском есть очень большая библиотека, занимающая весь второй этаж дома, несколько больших комнат; говорят, там после смерти князя оказалось около тридцати тысяч книг, все более нерусские.[95]

Многие из иностранных ученых были с Юсуповым в переписке; он дружески был знаком со стариком Вольтером, не раз бывал у него в поместье Фернье, находился с ним в переписке и на память о нем велел изваять точное его изображение и поставил у себя в библиотеке.[96]

Еще прежде чем сделаться посланником,[97] он в молодости своей много путешествовал по Европе, что тогда было очень редко. Он любил вспоминать то время, когда, будучи во Франции, он посетил версальский двор и заветный Трианон в полном еще блеске.[98] Он представлялся королю и прекрасной молодой жене его Марии-Антуанетте, обворожившей его своим приветливым обхождением, и как гость он немалое время прогостил

* Сестра князя Григория Александровича Таврического, Марфа Александровна, была замужем за Василием Андреевичем Энгельгардт; у них дети: сын и пять дочерей.[94] По смерти князя Потемкина им досталось все его наследство, и говорят, что будто бы на долю каждой пришлось по восемнадцати миллионов, кроме недвижимых имений и движимости, стоившей многих миллионов. Графиня Браницкая не знала в точности своего капитала, но говаривала: «Мой капитал увеличился, и я думаю, что у меня должно быть миллионов двадцать восемь или немного более».

в Версале и успел досыта насмотреться на все то, что чрез несколько лет уже не существовало.[99]

Сам вельможа, хотя и чужестранный, но воспитанный совершенно по-европейски, он всех удивлял своим умом, любезностью, познаниями и великолепием и между вельможами держал себя с большим тактом и достоинством. Он уезжал из Версаля, надеясь еще там побывать, но немного времени спустя и двор переехал в Париж, и начались смуты, окончившиеся революцией и смертью добродетельного короля и королевы.

Юсупов был в Англии, но она ему не полюбилась; ездил в Испанию, в Вене представлялся Иосифу II и подолгу с ним беседовал об его сестре [100] и о дворе версальском.

В Берлине он застал еще в живых старика Фридриха Великого и неоднократно бывал у него, но король был уже ветх и видимо разрушался.[101]

Вот что Юсупов хранил в своих воспоминаниях; очень жаль, что не осталось писанного его дневника: много любопытного мог бы передать этот вельможа, служивший более шестидесяти лет при четырех государях, видевший три коронации, знавший стольких иностранных королей, вельмож, принцев и знаменитостей, живших в течение более полувека.

Последние годы своей жизни старичок Юсупов провел в Москве, и все его очень уважали; за обходительность он был любим, и если б он не был чересчур женолюбив, то можно было бы сказать, что он был истинно во всех отношениях примерный и добродетельный человек, но эта слабость ему много вредила во всеобщем мнении. Впрочем, за это нельзя его судить слишком строго, потому что он родился и был молод в такое время, когда почти и сплошь да рядом все вельможи так живали и, считая себе все дозволенным, не очень-то строго наблюдали за своею нравственностью, не считая даже и предосудительным, что не могли обуздать своих порочных слабостей. То, что они делали хорошего, да послужит им в искупление за их дурные увлечения.

Вот еще прекрасная черта его характера, доказывающая благородство его души: он был в дружественных отношениях с графом Ростопчиным, но почему-то у них вышла размолвка, и они перестали некоторое время видаться. Один меняла из их общих знакомых, желая подслужиться, вздумал Юсупову говорить дурно про Ростопчина; он остановил злоязычника на первом слове: «Вот что, мой любезный, я скажу тебе: хотя мы с графом теперь и не в ладах, но я не потерплю, чтобы мне кто-либо про него злословил, и я вполне уверен, что и он тоже этого не допустит; не теряй времени даром у меня, и если хочешь бранить его, ищи себе другого места, а в моем доме его нет для злоязычников».

Насмотревшись на спекуляцию Вольтера, который под старость сделался торгашом,[102] вздумал было и Юсупов пуститься в аферы: завел у себя зеркальный завод, потому что в ту пору зеркала были все больше привозные и очень в цене; однако эта спекуляция ему не удалась, и он остался в большом накладе. Видя, что князю не приходится торгашничать, он тотчас прекратил зеркальное свое производство. Мне про Юсупова много рассказывал брат Петр Степанович, который у него бывал каждый

день; он был ему очень предан, и когда он умер, имея с лишком восемьдесят лет от рождения, брат провожал его тело в подмосковное его имение,[103] где его схоронили в особой каменной палатке, пристроенной к церкви, рядом с его отцом.

По смерти старика Юсупова сын его князь Борис Николаевич * никогда не живал подолгу в Архангельском, и ни разу никто у него там не выпил и чашки чаю. Он был очень скуп и начал было многое оттуда вывозить в свой петербургский дом,[104] но покойный государь Николай Павлович, помнивший, что такое Архангельское, велел сказать князю, чтоб он Архангельского не опустошал.

До Юсупова Архангельское принадлежало князю Николаю Алексеевичу Голицыну, женатому на Марье Адамовне Олсуфьевой, которая и продала это имение, смежное с Никольским, по сие время оставшееся еще за Голицыными. За Архангельское просили с чем-то сто тысяч ассигнациями — это было в начале 1800-х годов. Тогда сестра моя Вяземская искала купить имение; она ездила туда с князем Николаем Семеновичем осматривать, и они нашли, что имение недорого, но слишком для них великолепно, требует больших расходов для поддержки, и поэтому и не решились купить, и купил его за сто тысяч Юсупов, для которого это была игрушка и забава, а Вяземские искали имения посолиднее, для дохода; они купили вскоре после того в Веневском уезде село Студенец, по разделу доставшееся потом князю Андрею и перешедшее к его дочери Лидии Иордан.

В Архангельском, говорят, одних картин было собрано более чем на миллион рублей ассигнациями,[105] кроме всего прочего редкого и ценного.

Купив имение за сто тысяч, Юсупов продал много лесу и употребил, может быть, еще в два раза столько же на постройки и украшения дома и сада. Там прекрасные оранжереи, и между померанцевыми деревьями одно такое большое и толстое (купленное, кажется, после Разумовского за три тысячи рублей ассигнациями), что другого подобного нет в России, и только большие два померанцевых дерева, находящиеся в версальской оранжерее, его превосходят.** Это дерево не столько высоко, сколько удивительно по своей толщине и по обширности кроны. В прежние годы все померанцы выставлялись в Архангельском пред домом на средине двора, а этот всегда ставился в средине этой громадной клумбы; не знаю, продолжают ли и до сих пор так делать.

В очень пространном саду в Архангельском много было мраморных статуй и ваз; неподалеку от дома есть особое здание — театр, по-види-

---

* Князь Борис Николаевич, гофмейстер, родился 9 июня 1794 года, скончался 25 октября 1849 года. Первая его жена, княжна Прасковья Павловна Щербатова, родилась 6 июля 1795 года, умерла 17 октября 1820 года; вторая, Зинаида Ивановна Нарышкина, родилась в 1810 году; во втором браке за иностранцем графом де Шево; от первого брака сын князь Николай Борисович родился 12 октября 1827 года.

** Вероятно, эти два упоминаемые дерева — известные два версальские померанца: «Le Connetables» и «Montmorenci»,[106] которое-то из них было посажено семечком в 1420 году, и, следовательно, ему теперь почти 460 лет. Смутно помню я, что слышал от гр. Петра Степановича Толстого, что Юсупов купил все померанцевые деревья в Люблине и заплатил за все 10 000 р. ассигн., и в том числе большое вышеупомянутое. *Внук.*

мому, поместительный, но внутри мне не приходилось быть и потому ничего не могу о нем сказать.

В саду есть дом, называемый «Каприз». Рассказывают, что в то время, когда Архангельское принадлежало еще Голицыным, муж и жена поссорились, княгиня не захотела жить в одном доме с мужем и велела выстроить для себя особый дом, который и назвала «Капризом». Особенность этого дома та, что он стоит на небольшой возвышенности, но для входа в него нет крылец со ступенями, а только отлогая дорожка, идущая покатостью к самому порогу дверей.[107]

Мать княгини Марьи Адамовны Голицыной, Марья Васильевна, была дочь Василия Федоровича Салтыкова, родного дяди деда моего, князя Николая Осиповича Щербатова, и, следовательно, приходилась ему двоюродною сестрой, а Марья Адамовна, выходит, была матушке внучатою сестрой. Она была гораздо ее моложе и скорее мне, по своим летам, была ровесницей, и я застала ее еще в девушках. Мы считались родством и были знакомы, но только не домами. Она любила жить весело и открыто и сделала порядочную прореху мужниному кошельку. Муж ее умер до двенадцатого года, а старший из ее двух сыновей был убит под Бородином;[108] сама она умерла около 1820 года.





ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

По возвращении нашем в Москву, пожив некоторое время у Щербачева, мы стали приискивать себе дом для найма и, наконец, нашли подходящий нам у Бориса и Глеба, второй от угла Воздвиженки, на Никитском бульваре;[1]* мы наняли бельэтаж, а брат Владимир Волконский — нижний. Дома очень вздорожали, и нам пришлось платить 1500 рублей ассигнациями, что было очень недешево по тогдашним ценам. Апраксины, которых дом тоже немало пострадал от неприятеля, нанимали флигель кокошкинского дома (который на самом углу Воздвиженки, напротив церкви Бориса и Глеба, что на Стрелке), а флигель по Воздвиженке.[2] Низ был у них в помещении очень сыр, так что по углам росли грибы, и они платили что-то дорого; но разбирать и привередничать не приходилось: радрадешенек был каждый, кто находил себе где приютиться, в особенности в центре города, где по большей части тогда живали дворяне.

Долго не могла я решиться побывать на Пречистенке и посмотреть на то место, где был наш дом; наконец я отправилась с Дмитрием Александровичем: на углу переулка, называемого Мертвым, где был дом наш,[3] увидала я совершенно пустое выгорелое место, и только в углу двора на огороде схитил себе кое-как наш дворник Игнат маленькую лачужку из остатков дома и строений. Очень грустно и обидно было видеть, что дом, в котором мы не жили и года, сгорел дотла. Слава Богу, что мы-то все уцелели, а эти потери хотя и чувствительны и прискорбны, ну да это дело нажитое, то и опять нажить можно и не следует чересчур дорожить этими стяжаниями. Не такие еще беды могли нас постигнуть, и я готовилась на большее. . .

Дом нужно было опять строить, и материал уже приготовлялся у нас в деревне. Через переулок от нас, ниже к Пречистенским воротам, был дом Архаровых, напротив них дом Лопухина и далее еще большой дом Всеволожских; все они сгорели. Рядом с нашим домом каменный дом князя Хованского, дом во дворе графини Елизаветы Федоровны Орловой, урожденной Ртищевой, напротив нас дом князя Шаховского, большой дом князя Долгорукова, дом Охотникова и еще много других домов по Пречистенке почти вплоть до самого Зубова, где ныне бульвар, — все это погорело. Дом Хитровой Настасьи Николаевны, однако, уцелел

---

* Ныне этот дом графини Комаровской.

долгое время, — он один-одинешенек стоял посреди обгорелых развалин.

О Хитровых я потом расскажу подробно, потому что издавна знала всю семью; Настасью Николаевну знала коротко, уважала и любила.

Всю зиму 1813—1814 года мы провели в деревне; после разгрома пришлось нам поприжаться; мы собирались опять строиться в Москве, и хотелось нам освятить один из приделов нашей церкви во имя святителя Димитрия. У нас был свой живописец Григорий Озеров, который работал иконостас; неприятель нам помешал, а теперь опять можно было приняться. У нас даже было на уме, что Господь нас за то и наказал, что мы себе дом выстроили, а церковь все еще стояла недоделанная, и решили мы сперва хотя один из приделов отделать, а между тем хлопотать о доме.

Когда мы возвратились в деревню после французов и я увидела, что все уцелело, мне все не верилось, и я не могла нарадоваться, что мы опять в Горках. Тогда я вспомнила предложение Михайлы Иванова: из московского дома побольше послать в деревню, — если бы Дмитрий Александрович не поупрямился, много бы хорошего у нас сбереглось.

Мы служили благодарственный молебен, что Господь привел нас опять возвратиться целыми и невредимыми. Все дворовые люди собрались нас встречать, и в воскресенье пришли из деревень и крестьяне к обедне, а потом к дому, и высказывали нам радость свою, что опять нас видят.

Няня Матрена, остававшаяся без нас и жившая во время нашего отсутствия в молочной комнате при скотном дворе (управление которым было поручено от меня ей), нам подробно рассказывала свои страхи и как она бегала и скрывалась в лесу, услышав, что неприятель в двенадцати верстах от нас, в селе Озерецком.

У Матрены был мальчик по второму году да грудной ребенок, и она с ними ушла в сторожку к леснику и там жила трое суток. Вдруг прошел слух, что французы едут; она привязала мальчика себе на спину, взяла грудного ребенка и с мешком, в который наклала, что было под рукой для пропитания, ушла в лес и суток двое бродила в самой чаще. Лесник узнал, что французов перебили мужики в Озерецком, и пошел выручать Матрену и свою жену тоже с детьми, чтоб они вернулись; стал их окликать, а они, думая, что неприятель, что ни есть мочи идут дальше и дальше в лес; измучились, наголодались, назяблись по ночам, потому что наступала уже осень, и когда все съестное у них вышло, и сами голодные, и дети просят есть, — нечего делать, пришли назад и узнали, что француза и не было ни в селе, ни в деревне.

Но ежели французы избавили нашу местность от своих посещений, отряды казаков, под предлогом, что они разыскивают, нет ли где неприятельских шаек, всюду разъезжали и по селам справлялись, нет ли чего. съедобного, а главное — нет ли хмельного. Они не позабыли и нашего села, лазили по подвалам и погребам и, к неописанному прискорбию нашей ключницы-старушки, «приели все, все господское варенье, выпили все виноградное вино, и мало им было этого: и меды-то все, какие оставались, и тех не оставили, да два окорока с собою увезли».

Ключница Акулина Васильевна этим очень огорчилась и, рассказывая мне, прибавила: «Ну, матушка, в раззор разорили, бездельники, ничего не оставили, кричат: подавай ключи, — не лучше неприятеля, только бы им есть да бражничать. Легко ли, сударыня, сколько их было: тридцать человек!»

Но этим посещением и ограничились, слава Богу, все наши утраты в подмосковном имении, и поблизости от нас ни у кого из наших знакомых соседей не были, кроме Головина, жившего в своем имении, в селе Дedeneve-Ново-Спасском. Они застигли его совершенно невзначай: это было в простой день, он сидел и обедал с женой и детьми, взглянул в окно и видит, что идут французы; несколько начальствующих лиц и солдаты направляются прямо к дому. Что прикажете ему делать? Он был великий неохотник до иностранцев, а тем паче еще до врагов отечества; однако, скрепя сердце, он предложил им разделить с ним трапезу. Они приняли предложение, но требовали, чтоб и сам хозяин сел с ними и пробовал каждое подаваемое блюдо, опасаясь, может быть, чтобы не угостили чем с отравой. Головин выслал жену и детей из-за стола, а сам стал потчевать незваных гостей. Французы расположились неподалеку от села лагерем и во все время, пока там стояли, вели себя хорошо и смирно и храмов не только нигде не осквернили, но даже не препятствовали богослужению и просили только не звонить в большие колокола, опасаясь, чтобы войска не приняли трезвона за тревогу и оттого не переполошились по-пустому.

Жену свою Головин, однако, куда-то спровадил с детьми, которых было двое ли, трое — наверное не знаю. Ее звали Анной Гавриловной; она была молода, хороша, ну, муж и рассудил, что все-таки безопаснее для молоденькой женщины быть подальше от этих головорезов. Она была урожденная княжна Гагарина, дочь бывшего министра торговли, князя Гавриила Петровича. Ее сестра Екатерина Гавриловна была замужем за князем Никитою Сергеевичем Долгоруковым, сыном княгини Варвары Осиповны, урожденной княжны Щербатовой, старшей сестры деда моего, князя Николая Осиповича; мы знакомы не были, хотя и были родня.

II

По окончании всех войн России с Францией и по возвращении союзных войск из-за границы [4] стали жить у нас по соседству Голицыны: князь Дмитрий Владимирович и жена его Татьяна Васильевна. Ни в одном из наших русских княжеских родов не было столько замечательных лиц, как в Голицыных; но в Москве всех известнее князь Дмитрий Владимирович и князь Сергий Михайлович.

Князь Дмитрий Владимирович был брат Екатерины Владимировны Апраксиной и Софьи Владимировны Строгановой; он имел еще старшего брата Бориса Владимировича, который был очень хорош собой, умен и по своему времени получил воспитание, как немногие. Мать этих Голицыных княгиня Наталья Петровна, про которую я уже и рассказывала,[5]

кроме того, что женщина от природы очень умная, была и великая мастерица устраивать свои дела. Муж ее, бригадир в отставке, очень простоватый был человек с большим состоянием, которое от дурного управления было запутано и приносило плохой доход. Чтоб устроить дела, княгиня Наталья Петровна продала половину имения, заплатила долги и так хорошо все обделала, что когда умерла, почти что ста лет от роду, то оставила с лишком шестнадцать тысяч душ.

Нахожу, что я мало рассказала про эту очень известную в свое время женщину, и потому при случае доскажу о ней все, что припомню. Отец ее, граф Петр Григорьевич, имел еще братьев Григория и Захара, которые оба с молодых лет вертелись при дворе Елизаветы Петровны, и великая княгиня Екатерина Алексеевна (впоследствии Екатерина II) оказывала им явное предпочтение, и из-за этого они очень пострадали и одно время даже были удалены от двора. Впоследствии, при Екатерине, им зато очень повезло, и все три брата пошли очень высоко. Был еще и четвертый, которого по имени назвать не умею; он умер молод при Елизавете,[6] не будучи женат, а остальные братья стали важными особами: Петр Григорьевич был посланником при нескольких дворах[7] и долгое время находился при версальском и дочерей своих, Дарью и Наталью, воспитал в чужих краях. Дарья Петровна была за графом Иваном Петровичем Салтыковым, сыном известного Петра Семеновича, при котором мой свекор, Александр Данилович Яньков, был адъютантом. Граф Иван Петрович всегда был очень расположен к моему свекру, помня, как тот с ним возился в молодости, и до конца его жизни находился с ним в наилучших дружественных отношениях; ему принадлежало село Марфино, которое он и отдал в приданое за своею дочерью, вышедшею за графа Григория Владимировича Орлова. Сестра его, графиня Софья Владимировна, вышла за графа Панина, и так Марфино почему-то и перешло в род Паниных. Ивана Петровича да Дарью Петровну я знавала, и мы с мужем раза с два бывали у них в Марфине и в Москве, в то время как он был главнокомандующим; и муж, и жена — оба умерли в начале 1800-х годов, и вскорости один после другого.

Граф Захар Григорьевич был недолгое время главнокомандующим в Москве; я была еще ребенком, когда он умер, и совсем его не помню.

Княгиня Наталья Петровна долго путешествовала по чужим краям и там воспитала всех своих детей, почему все они очень плохо знали по-русски. Старше всех была Екатерина Владимировна Апраксина, а меньшая — графиня Строганова. У Натальи Петровны было прекрасное имение в Калужской губернии, неподалеку от Боброва, — село Городня, где она иногда живала, а другое — Веземы, верстах в сорока от Москвы на пути в Звенигород. Это имение, говорят, принадлежало Борису Годунову, который там строил церковь каменную,[8] очень благолепную; потом, при Петре I, оно было пожаловано им князю Борису Алексеевичу, его воспитателю.[9]

Возле нас, верстах в восьми, было село Рождествено, принадлежавшее тоже Голицыным, и в нем-то и поселились князь Дмитрий Владимирович с женой. Княгиня Татьяна Васильевна была сама по себе Васильчикова,



Митенькой. Привыкнув их считать детьми и будучи сама уже очень стара, она никак себе представить не могла, что и они уже немолоды. Рассказывают, что когда князь Дмитрий Владимирович, бывая в Петербурге, останавливался у матери в доме, ему отводили комнаты в антресолях, и княгиня всегда призывала своего дворецкого и приказывала ему «позаботиться, чтобы все нужное было у Митеньки, а пуще всего смотреть за ним, чтоб он не упал, сходя с лестницы». Он был очень близорук, очков не носил, но употреблял лорнет.

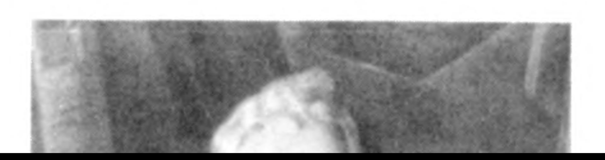
Родившись в начале царствования Елизаветы Петровны, при которой она была фрейлиной, княгиня Наталья Петровна видела царский двор при пяти императрицах и, будучи старожилкой, не мудрено, что считала всех молодежью. Все знатные вельможи и их жены оказывали ей особое уважение и высоко ценили малейшее ее внимание.

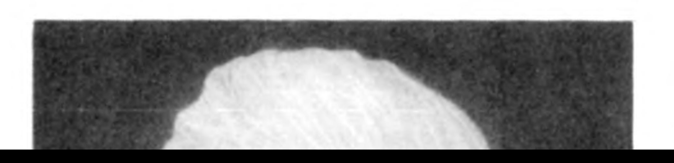
III

Князь Дмитрий Владимирович и жена его — оба были премилые, преобходительные и преласковые. В 1820 году он был сделан московским генерал-губернатором и правил столицею невступно двадцать пять лет. В Москве все их любили и очень жалели, когда их не стало в живых.

Несмотря на то, что все имение было голицынское, княгиня Наталья Петровна самовластно всем заведовала, дочерям своим при их замужестве выделила по 2000 душ, а сыну выдавала ежегодно по 50 000 рублей ассигнациями. Будучи начальником Москвы, он не мог жить, как частный человек, и хотя получал от казны на приемы и угощения, но этого ему недоставало, и он принужден был делать долги. Это стало известно покойному государю Николаю Павловичу; он говорил княгине, чтоб она дала что-нибудь своему сыну. Тогда она взмиловалась и прибавила ему еще 50 000 ассигнациями, думая, может быть, что его щедро награждает, но из имения, кроме ста душ, находившихся в Рождествене, до самой кончины ее он ничего не имел. Она умерла в 1837 или 1838 году, а князь в 1844 году, следовательно, он провел всю свою жизнь, почти ничего не имея, а только за шесть или за семь лет до смерти получил следовавшие ему 16 000 душ.

В Рождествене сперва был старый и очень плохой домик, который кое-как устроили, и в нем несколько лет жили Голицыны. Потом они стали строиться и выстроили себе прехорошенькую усадьбу: дом и два флигеля; старинную церковь поновили и развели прекрасный сад. Княгиня любила цветы и очень занималась садом: построили оранжереи, и все было в небольших размерах. Дом был отделан внутри очень просто: везде березовая мебель, покрытая тиком; нигде ни золоченья, ни шелковых материй, но множество портретов семейных в гостиной и прекрасное собрание гравированных портретов всех известных генералов 1812 года.[10] В зале либо в биллиардной была большая семейная картина во всю стену — изображение семейства Чернышевых; фигур много и все почти в натуральную величину; кисть по времени прекрасная; надобно думать, что такая кар-





города, но прошу покорно посылать откуда-нибудь с Басманной или с Таганки. Вообще Москва должна добром помнить двадцатичетырехлетнее правление князя Дмитрия Владимировича Голицына, принесшее ей много пользы. Кроме этого, князь был для всех доступен и готов всем помочь, если только мог, а невозможного для него, кажется, не было. Но что в особенности делает ему великую честь — что в продолжение своего долгого правления он не сделал ни одного несчастного и очень, очень многих людей спас от гибели, и таких даже, которые без его помощи давным-давно были бы где-нибудь в Иркутске или Камчатке. Мало этого, он иногда принимал участие в семейных делах, когда к нему обращались, и безо всяких судбищ и тяжеб все улаживал и соглашал враждовавших. Трудно решить, кто был добрее сердцем — князь или княгиня.

Вот две черты из домашней жизни князя, которые мне пришли на память и которых достаточно, чтобы показать, как и в мелочах он умел быть добр не напоказ, а по своей непритворной доброте.

Он имел камердинера, который нередко испивал, а так как князь не умел сердиться, то только слегка бранил своего слугу; тот и не очень воздерживался и пил частенько. Этот камердинер, когда князь уезжал куда-нибудь вечером, в театр или на бал, должен был дежурить и дожидаться его возвращения; всех прочих слуг, кроме швейцара, князь отпускал и, возвратившись домой, звонил, и по этому звонку являлся камердинер и помогал князю раздеваться и ложиться спать. Как-то раз, возвратившись домой довольно поздно, князь звонит, — камердинер не идет; немного погодя князь звонит еще, никто не является, звонит еще, и все никого нет. Князь идет в соседнюю комнату и находит своего слугу мертвецки пьяного лежащим на полу. Князь никого из людей не потревожил, разул, раздел старого слугу своего и уложил его в постель, сам пошел к себе в спальню и разделся совершенно один. Проснувшись поутру, камердинер припомнил вчерашнее и, зная, что он был пьян и дожидался князя, никак не мог понять, как он вдруг очутился в своей постели, разутый и раздетый. Встав, он отправился допрашивать прочих слуг: кто встречал вчера князя? Говорят: швейцар. Кого звал еще князь? Отвечают: никого. Это старика ужасно тронуло. Он со слезами просил прощения у князя, дал себе клятву никогда более не пить и действительно с тех пор никогда уже не напивался. Вот другой случай.

В Москве была одна Бартенева, урожденная Бутурлина; звали ее Федосья Ивановна. Она была очень недурна собой, премилая, прелюбезная и женщина очень хороших правил, но великая непоседка, потому что была охотница веселиться и мыкаться из дома в дом. У нее было несколько человек детей — дочери и мальчики. Как начнется день, насажает она своих детей в четвероместную свою карету и поедет в гости. Где есть дети, она туда привезет и своих: в том доме, положим, барышни берут урок музыки, вот она и просит хозяйку: «Позвольте и моим девочкам послушать, как ваши дочери играют».

Так прикинет своих дочерей, а сама с мальчиками отправится, где есть мальчики. В том доме какой-нибудь учитель истории или математики: «Ваши сыновья за уроком, ну и очень хорошо, позвольте и моим послу-

шать». Тут она бросит мальчиков, а сама поедет куда-нибудь обедать, а вечером заедет за мальчиками, а потом за девочками — и домой. Такие путешествия она совершала каждый день и детей не кормила и не учила дома. Если же ей почему-нибудь не удавалось где-нибудь разместить своих детей на день, она или возила их с собой по гостям, или же оставляла их в карете, в которую клали на всякий случай что-нибудь съестное, ежели дети проголодаются, чтоб им было что поесть, и так как в карете бывали и крошки, и всякие объедки, то, говорят, в ее карете наконец развелись мыши и пользовались детскими съестными припасами. Дети так привыкли к этой кочующей жизни, что говаривали: «Нам нужен дом только для того, чтобы переночевать, а днем нам нужна большая карета; жаль только, что наша без печи, потому что бывает холодно, а то бы нам и дом не нужен».

Вот однажды (когда ее дети были еще малы) она была на бале у Голицыных. На дворе был ужасный мороз; сама Бартенева веселится на бале, а дети бедняжки мерзнут в карете. Очень стало им, верно, холодно, они начали пищать и плакать. Во время бала подходит к князю Дмитрию Владимировичу его камердинер и докладывает, что в карете у Бартеневой дети мерзнут и плачут. Князь приказал всех их перенести к себе в кабинет, накормить и на больших диванах разложить спать. И после этого случая всякий раз, как Бартенева приедет к нему на бал, он и вспомнит про детей и пошлет за ними, опять их переносят к нему в кабинет, и, пока их мать танцует, они опять у него в кабинете, опять в ожидании конца бала. Вот какие еще бывали матери. Говорят, что без сострадательности князя дети совсем бы замерзли, и это могло бы случиться не один раз.

Что было причиною, что Бартенева всюду с собой таскала детей — не могу понять: не проще ли бы, кажется, оставить их дома и ехать одной туда, куда нельзя было взять детей с собою.

При всей доброте и благожелательности каждому Голицыны имели, однако, недоброжелателей и завистников, которые старались при случае повредить им в общественном мнении. Так, во время первой холеры, когда все ужасно трусили от этой новой и неизвестной болезни, князь и княгиня выехали из своего казенного дома, что на Тверской, и на время переехали на житье в дом губернатора Небольсина, находившийся на Садовой.* Там жила старушка очень почтенная, тетка Небольсина,[11] Авдотья Сильвестровна, которую Голицыны почему-то особенно любили и уважали, и во все время холеры там и прожили, потому, вероятно, что дом не выходит на улицу, а стоит на конце большого двора, и с одной стороны есть сад, стало быть, и шум от фур (в которые клали холерных) там был не так слышен, и не видно было из окон беспрестанных похорон, как на Тверской. Этим обстоятельством воспользовались неблагонамеренные люди и выпустили карикатуру; представлена была смерть, которой

---

* После Небольсина этот дом принадлежал графу Ростопчину Андрею Федоровичу, а потом был куплен княгинею Софиею Степановною Щербатовою (урожд. Апраксиною, вдовою бывшего московского генерал-губернатора князя Алексея Григорьевича) и по сие время принадлежит ей.

Авдотья Сильвестровна грозит пальцем; из одного кармана выглядывает княгиня Татьяна Васильевна, а из другого князь Дмитрий Владимирович глядит в лорнетку, и внизу надпись: «Иди назад, их нет дома», или что-то в этом роде. Эта карикатура разошлась по городу и дошла до Голицыных, которые как люди добропорядочные не подали и вида, что обиделись, первые смеялись и шутили, конечно, не разыскивали и не преследовали художника и своим добродушием одурачили неблагонамеренного человека.

Кто была эта Авдотья Сильвестровна сама по себе и почему так уважали ее Голицыны, я порядком припомнить не могу, но знаю, что она имела на них большое влияние, и когда кому было чего нужно добиться от Голицыных, вернее всего было просить не их самих, а Авдотью Сильвестровну, и по этой причине она имела в Москве немалый вес и большое значение в обществе.

Когда кто-нибудь обращался к Авдотье Сильвестровне с просьбою походатайствовать у Голицына, она обыкновенно отвечала: «Хорошо, мой родной, вот как у меня будет ужо князь Дмитрий, я ему поговорю, скажу ему; будь уверен, что если только можно, — будет сделано». И смотришь, точно по ее просьбе и сделается. Ее называли la vieille fée, старая фея, а недовольные ее величали la vieille sorcière, старая колдунья.

Голицыны, будучи весьма доступны, умели поставить себя высоко во мнении московского общества; все их очень уважали, а княгиню, которая была ангельской доброты, от мала до велика все обожали. Надобно было видеть, до чего она бывала приветлива на своих балах: весь вечер все ходит, то пойдет к одной, то к другому; ежели видит, что молодая девушка не танцует, глядишь, посылает к ней кавалера; для всех почти было у нее ласковое, приветливое слово, а ежели кому нечего было ей сказать — пройдет мимо и улыбнется. Насколько она была внимательна и обходительна как хозяйка дома, настолько ласков и приветлив был и Апраксин Степан Степанович. Князь Голицын был очень близорук и, что странно, застенчив, и потому некоторые считали его гордым; но кто знал его короче и бывал с ним в небольшом обществе, может свидетельствовать, что его кажущаяся гордость или необщительность происходила именно от природной застенчивости, а иногда, может быть, и от недостаточного знания природного языка, что мешало ему приветствовать каждого, как бы ему хотелось.

Кроме двух старших дочерей у Голицыных было еще два сына, на много лет моложе своих сестер. Старший — Владимир родился года через два или через три после французов, а второй — Борис несколько лет спустя и очень незадолго до назначения князя Дмитрия Владимировича в Москву.

Все дети были очень хороши лицом; у меньшой из дочерей был прекрасный цвет лица, а мальчики в детском возрасте были как херувимы.

Обе княжны Голицыны вышли замуж очень молоды, а братья их были еще совершенно детьми; не знаю наверное, меньшой был ли даже еще и на свете.

Княгиня говаривала не раз:

— Когда в семействе бывают дочери и сыновья, воспитание одних мешает обыкновенно воспитанию других; я в этом была особенно счастлива, как немногие матери: когда воспитание моих дочерей окончилось и я отдала их замуж, тогда началось воспитание моих сыновей, и я могла исключительно ими заняться; это случается очень редко.

Есть люди, про которых вспоминаешь всегда с особенным удовольствием, потому что при воспоминании о них нет в памяти ничего неприятного. Таковы были Голицыны, и муж и жена: во все время, что я жила в их соседстве до 1825 года, между нами были самые дружественные соседские отношения. Я о княгине не могу вспомнить иначе, как с душевным уважением и с искренним сердечным чувством любви: она была хорошая, добрейшая и вполне добродетельная женщина, каких бывает на свете очень, очень немного.

При императоре Александре Павловиче князь Голицын был что-то не в особой милости, хотя княгиня Наталья Петровна пользовалась отменным расположением императрицы Марии Феодоровны; но с 1820 года Голицыны как-то опять всплыли кверху, и тут он пошел уже в гору, получил все, что можно было получить: Андрея с алмазными знаками,[12] портрет государя,[13] бриллиантовую эполету [14] и, наконец, титул светлости.[15]

Княгиня Татьяна Васильевна, всегда очень слабого здоровья, стала, видимо, хворать в конце тридцатых годов; потом у ней сделалась изнурительная лихорадка, и в 1841 году она скончалась, искренно оплаканная Москвою.

Князь Дмитрий Владимирович жил после жены года три, поехал лечиться в Париж, где ему делали несколько операций, разбивали камень. После многих страданий там и скончался, в марте месяце 1844 года.

Кто видел его погребение, конечно, никогда не позабудет торжественности, с какой оно совершалось: это было народное последнее выражение всеобщей любви к покойному градоначальнику, от которого не ожидали уже ничего, и потому это была не лесть пред могучим вельможею, а всеобщая народная печаль и благодарность за все его бывшие хлопоты и благодеяния.*

Когда-то в старину родовое кладбище Голицыных было в Богоявленском монастыре, в нижней теплой церкви; там погребены очень многие из Голицыных, Долгоруковых, Шереметевых, Салтыковых и других вельмож; но со времени чумы [16] там уже перестали погребать, и некоторые Голицыны облюбовали Донской монастырь и устроили для себя там семейный склеп с церковью. Дед князя Сергия Михайловича погребен в Богоявленском монастыре, потому что умер до чумы, а отец его, мать и другие родственники лежат в Донском монастыре. Князь Сергий Михайлович и князь Дмитрий Владимирович по отдаленности родством считаться не могли, хотя одного и того же поколения; но княгиня Татьяна Васильевна погребена в этой голицынской церкви, где потом схоронили и князя,

* С торжеством и великолепием этого погребения можно сравнить только торжество погребения блаженной памяти митрополита московского Филарета: один управлял столицею четверть столетия, другой полвека святительствовал и правил в Москве более сорока пяти лет.

а четыре года спустя там погребли и другого начальника Москвы, князя Алексея Григорьевича Щербатова.

Не могу сказать утвердительно, где погребена княгиня Наталья Петровна Голицына, но думается мне, что в Веземах, возле ее мужа.[17] Слыхала я, что там погребен и князь Борис Владимирович, и гроб его не просто зарыт в землю, а заложен в стене, где оставлено несколько таких пустых мест, чтобы, вдвинув туда гроб, потом закладывать кирпичом. Нижняя часть церкви, говорят, вся каменная, и сказывали мне, что этот камень привозили нарочно из села Мячкова, где добывают и известь, стало быть, почти за сто верст.

Голицыны все больше живали в Рождествене, которое они устроили по своему вкусу, а в Веземах и в Городне поочередно летом живала княгиня Наталья Петровна, и к ней дети ее туда съезжались гостить. В Городне дом невелик, и его занимала сама старая княгиня, а для двух дочерей, для сына и для других гостей были особые домики в саду; к обеду все должны были собираться в большой дом; на случай дождя были устроены крытые носилки (des chaises à porteurs), на которых перенашивали всех из маленьких домиков в большой.

После смерти княгини Натальи Петровны княгиня Татьяна Васильевна была в котором-то году за границей; там она увидела в одном месте, кажется в Швейцарии, что целое селение занимается изделием корзин. Это ей очень понравилось, она выписала оттуда мастера, и так как в Веземах много ракитнику, пригодного для корзиночного производства, велела обучить двух либо трех человек делать корзины; потом выучились и другие, и после того это там распространилось и обратилось в местное ремесло, очень легкое и выгодное.

Пока я живала по соседству с Рождественом, Голицыны там все только еще строились; но впоследствии они, говорят, очень хорошо устроили это именьице, бывшее для них, разумеется, игрушкою. Все хозяйственные строения были очень красивой наружности, и в четверти версты от дома ферма с каменными строениями, на голландский манер. Коровы были разных пород: тирольской, голландской, английской и других; при скотном дворе была большая и светлая комната — молочная, отделанная, по княжеским понятиям, с отменною простотой, которая, разумеется, обошлась Голицыным дороже всякой омеблировки, и в эту молочную комнату хозяева с гостями приезжали иногда пить молоко и кушать простоквашу иваренцы. Главная смотрительница скотного двора или фермы была в белом накрахмаленном чепце на иностранный манер и в белом переднике снежной белизны, и она услуживала гостям и подавала разные затейливые криночки и фигурные кувшинчики.

Одно из строений в Рождествене называлось «Ноевым ковчегом»; оно было на большом дворе, где были и лошади, и рогатый скот, и всякие птицы.

Крестьянские избы деревушек Лодушек, Дмитровки и Рождествена были все заново отстроены, крыты тесом и выкрашены. На запруженной речке устроена была хорошенькая мельница; все поля окопаны широкими рвами и обсажены разными кустарниками; к дому вела длинная аллея,

или проспект, версты на полторы посаженный чрез дерево липами и березами; словом сказать, Рождествено устраивали с умением, с особенным тщанием, а главное — с большими средствами, и притом еще не просто частный человек, а московский генерал-губернатор, которому все было доступно, которого все любили и которому потому все старались угождать. Немудрено, что Рождествено скоро стало процветать, и пока хозяева занимались им, оно было очень хорошо. После смерти княгини князь перестал в нем жить, чувствуя пустоту, бывал там редко и ненадолго, а после его смерти никто в нем не живет: то же Рождествено сделалось не тем, чем прежде оно было, а теперь грустно на него и взглянуть.

В таком же положении и прекрасное, роскошное Ольгово, которое на моих глазах устроилось, украсилось, стало вельможеским, барским поместьем: пока жили в нем Степан Степанович и Екатерина Владимировна — оно цвело; после смерти Апраксина, когда оно досталось на седьмую часть его вдове, при ней кое-как все еще лепилось и держалось, хотя средства были гораздо меньше. Она любила Ольгово, сделала его майоратом, но после ее смерти все рухнуло и распалось.

IV

В 1814 году мы решили с Дмитрием Александровичем, что пора вывозить дочерей. Грушеньке был двадцатый год; если бы не нашествие неприятеля, может быть, я вывезла бы ее и прежде, но французы помешали; а тут и Линочке пошел уже восемнадцатый год, и я вывезла обеих вместе. И той и другой я сделала одинаковые платья, белые креповые, с белыми цветами на корсаже и на голове. Степан Степанович Апраксин, который был к нам очень расположен, непременно желал взглянуть на платья моих дочерей, нарочно приехал дня за два до их выезда в Собрание; зажгли множество свеч, и он смотрел на платья и ими любовался. Москва начинала уже наполняться и дома строились.

В этом же году княгиня Авдотья Николаевна Мещерская просватала свою дочь Настеньку за Семена Николаевича Озерова. Он был человек средних лет, вдовец, не особенно велик ростом или толст, а что называется крупный мужчина, очень приятной наружности; честный и благородный человек с состоянием и хорошего происхождения, но летами, сравнительно с невестой, слишком стар для молоденькой княжны, которой только что исполнилось семнадцать лет; ему было под сорок, а то, пожалуй, и все сорок. Человек очень умный и дельный, он был как-то не очень разговорчив, неповоротлив в обращении, но человек вполне достойный уважения, хотя немного тяжел характером. Конечно, Настенька могла бы сделать партию гораздо блестящее, только Бог знает, была ли бы она счастливее с каким-нибудь знатным и богатым вертопрахом, а с ним она прожила свой век очень спокойно. Он был потом сенатором, тайным советником, имел орден Белого Орла.[18] Он любил свою службу, говорят, знал до тонкости свод законов и был сенатором не только по имени, а на самом деле. Будучи

характера довольно мнительного, терпеть не мог, чтоб его просили о каком-нибудь деле; тотчас ему западет в мысль: просят, стало быть, дело неправое. И еще строже начнет разбирать, чтобы не упрекнуть себя, что из лицеприятия или по дружбе упустил что-нибудь из виду. Так, у одной хорошей приятельницы его жены был какой-то процесс в Сенате. Зная мнительность Озерова, та перестала совсем бывать у его жены, с которой прежде видалась два-три раза в неделю, и пока процесс не кончился, так она к ним в дом и не ездила и, доставив докладную записку, как это водится, не просила его даже обратить внимание на ее дело. После того, как процесс был уже окончен и она опять приехала к его жене, он и говорит ей:

— Что это, матушка, вы нас позабыли, разлюбили; у нее процесс в Сенате, а она хоть бы слово мне сказала, гордая какая, не хотела и попросить.

— Нет, не гордая, а осторожная, — отвечает приятельница его жены; — потому и не бывала у Настасьи Борисовны, чтобы не проговориться как-нибудь и не намекнуть вам, что у меня дело в Сенате, а то вы еще заподозрили бы правое дело и ваш голос в общем собрании был бы не в мою пользу, а против меня...

— Вот хитрая какая, — говорит Озеров, смеясь, — хорошо сделали, что не просили: когда меня не просят, я действую свободнее; но очень дурно, матушка, что жену позабыли.

Отдав дочь замуж, княгиня стала жить больше в деревне своей, в селе Аносине, где в полуверсте от дома она выстроила каменную церковь, которую пред нашествием неприятеля собиралась освятить и не успела, и могла это сделать только после своего возвращения из Моршанска.

Еще и прежде говаривала княгиня, что ей желалось бы со временем, ежели она пристроит свою дочь, оставить мир и вступить в монастырь. Она со многими старцами об этом советовалась, они ее не отговаривали, а советовали ей не спешить вступать на трудный путь, не испытав себя хорошенько. Она имела великое доверие к отцу Амфилохию, иеромонаху ростовского Иаковлевского монастыря, и к нему езжала за наставлениями и, кроме того, бывая в Москве, посещала одного архимандрита, по имени Парфения; он был впоследствии в Донском монастыре, а умер архиереем во Владимире.

Княгиня в Москве перестала жить, а только бывала наездом и гащивала у своей дочери, которой отдала дом Мещерских в Старой Конюшенной у Власия.

В Аносине она устроила богадельню при церкви на помин души своего мужа и, не отступаясь от мысли поступить в монашество, стала понемногу себя во всем ограничивать. Неподалеку от ее имения жила наша родственница, бабушка Прасковья Александровна Ушакова, которая княгиню очень любила, а после французов ей не раз в затруднениях помогала.

Так, не поступив еще в монашество, она жила в уединении со своим лучшим другом, с девицею Ельчаниновою, часто у ней гостившею, и вела

самую строгую отшельническую жизнь, отказывая себе почти во всяком излишестве и довольствуясь только самым необходимым.

Поместья, которые княгиня имела от мужа и свои собственные, кроме Аносина, она вскоре передала Озеровым и сложила с себя всю тяготу мирских обуз. Главное имение было где-то в Орловской губернии; надобно думать, что это было родовое Мещерских, потому что и тетушка графиня Александра Николаевна получила от бабушки тоже орловские имения, из которых по разделу часть поступила к брату Александру Степановичу Толстому, а другая к его сестре Аграфене Степановне, отданное ею по завещанию Колошиной и потом проданное. В орловском имении был схоронен князь Борис Иванович, и княгиня туда ездила помянуть его на его могиле и тут же и отдала имение своей дочери.





ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I

В 1814 году мы провели часть лета в тамбовской деревне, которую решились продать для уплаты наших долгов, сделанных до неприятельского нашествия для постройки дома, в двенадцатом году сгоревшего; приходилось снова строиться; нужны были опять деньги, и как нам ни жаль было, а приходилось продать которое-нибудь из наших четырех имений, и мы остановились на том, чтобы продать Елизаветино.

Прожив там часть лета, мы все подготовили к продаже: забрали все лишнее из дома, что послали в Москву, что в подмосковную, а лишних лошадей отправили в веневскую деревню и, уезжая, прощались с нашими милыми соседями Бурцовыми со слезами, как будто чувствуя, что нам больше уже не придется видеться: и точно, так и сбылось.

Потом мы жили в Горках до поздней осени и на зиму поехали в Москву.

В этот год летом стал гащивать у Жукова один молодой человек, граф Толстой Федор Петрович, и часто бывал у нас. Он был сын графа Петра Андреевича, женатого на дочери французского эмигранта Барбо-де-Морни, и по своему отцу (Петру Андреевичу) приходился дядюшке графу Степану Федоровичу двоюродным племянником. Мы были не родня, а по Толстым, стало быть, могли счесться своими. Он был лет тридцати с чем-нибудь, очень моложав, не особенно красив, однако и недурен собой, но дик и застенчив, как девочка: говорил он немного и в разговоре беспрестанно краснел. Сперва мы его принимали, не очень обращая внимание на то, что он часто у нас бывает вместе с Жуковым: нам и в голову не приходило, чтоб он имел виды на которую-нибудь из наших двух старших дочерей. Где он служил сперва, я не знаю; но в то время он был, кажется, в отставке и все что-то такое рисовал и лепил. Мы считали его за пустого человека, который бьет баклуши; состояние имел самое маленькое, и, когда чрез Жукова он выведывал, отдадим ли мы за него нашу старшую дочь, которая ему нравилась, мы отклонили его предложение и не дали хода этому делу. И кто же был потом этот по-видимому пустой человек? Один из самых известных людей, с большими дарованиями, который сделал себе очень громкое имя как замечательный художник; он был потом вице-президентом Академии художеств и тайным советником Он имел двух или трех братьев. Был ли он потом женат и на ком и имел ли детей [1] — этого я не умею сказать.



— И я получил задаток.

— А что же ты такое от меня спрятал, когда я вошла?

— Его расписку и счеты, — говорил Дмитрий Александрович, — я все хотел уладить, уплатить долги и, положив сто тысяч на твое имя, подарить тебе билет, а ты вот мне и помешала.

Цена за имение была не обидная, впрочем, и не очень высокая, и если бы мы еще немного подержались, то взяли бы и больше. Однако мы были довольны, что, имея капитал, будем иметь возможность расплатиться с долгами.

На другой день Борис Карлович опять к нам приехал, и хотя он купил имение со всем, что было в нем, я стала кое-что выговаривать из оставшегося в доме, и он не постоял за мелочами и из купленного уступил все, что я желала.

Мы решили сами туда больше не ездить, чтобы себя не расстраивать, а послать Михаила Иванова и ему поручить все сдать по описи. По своему усердию он еще кое-что нам выговорил, к великому моему удовольствию, и весьма аккуратно и исправно все сдал с рук на руки новому владельцу.

Как мы ни рады были, что свои дела приведем в порядок, но продажа этого имения сильно потрясла здоровье Дмитрия Александровича и отчасти была причиной его нервного удара, от которого он после того и скончался.

III

Во время лета 1815 года мы стали спешить отделать хотя один из приделов нашей деревенской церкви: придел налево от входа должен был остаться прежний во имя святого пророка Даниила, в честь мужнина деда Даниила Ивановича Янькова, а правый нам хотелось иметь во имя святителя Димитрия, и желали освятить его к празднику, а вместе и ко дню именин Дмитрия Александровича, сентября 21.

Живописец у нас был собственный,* не очень искусный, когда приходилось ему самому сочинять и от себя писать фигуры, потому что он плохо знал пропорции, но он очень верно, искусно копировал и в этом был отличный мастер.

У дядюшки Ростислава Евграфовича Татищева было много хороших картин, он был и любитель, и знаток. Были у него, между прочим, четыре ландшафта — «Кочующие цыгане»; эти картины очень нравились Дмитрию Александровичу, и он выпросил их, чтоб отдать скопировать Григорию. Когда картины были скопированы, приезжает как-то к нам дядюшка и спрашивает: «Что, картины, списаны ли?» Говорят: «Списаны».

— Ну-ка, дайте их сюда.

---

* Звали его Григорий Озеров; он был из дворовых людей и с детства имел способность к рисованию. Видя это, Дмитрий Александрович отдал его куда-то учиться, а после того заставлял много копировать и так доучил его дома. И хотя этот крепостной художник не был особенно талантлив, но умел отлично копировать. Впоследствии этого живописца Дмитрий Александрович продал с женой и дочерью Обольянинову по неотступной его просьбе за 2 000 рублей ассигнациями.

Принесли картины и те и другие — настоящие и копии.

Дядюшка стал рассматривать: глядел, глядел, — невозможно различить подлинника от копий.

— Которые же мои? — спрашивает он.

— Извольте сами сказать, — говорит ему Дмитрий Александрович.

— Воля твоя, — говорит он, — можешь подменить, ежели хочешь, а я узнать не могу; твой живописец мастер, невозможно различить.

Тогда муж и показал ему какую-то метку, сделанную на копиях, а если бы не это, и различить было бы нельзя. Но все, что Григорий писал из своей головы, никуда не годилось, выходило аляповато и нескладно, а лица какие-то криворотые, фигуры долговязые и пренеуклюжие.

Дмитрий Александрович, и сам искусный в рисовании, делал ему эскизы, приискивал в гравированных книгах, с чего писать изображения святых, и выходил иконостас очень недурен. Отделка церкви занимала мужа, развлекала его и заставляла его забывать о продаже Елизаветина, которого ему было очень жаль: не продать было нельзя, а продали — стало жалко.

Сперва мы хотели было пригласить на освещение церкви нашего дмитровского архимандрита из Борисоглебского монастыря, отца Досифея, по фамилии Голенищева-Кутузова, но почему-то дело не состоялось, и мы позвали только благочинного, который еще с одним соседним священником да с нашим отцом Варфоломеем и освятил придел святителя Димитрия в самый день праздника в день мужниных именин. Дьякона у нас не было, и мы пригласили из села Белый-Раст, в шести или семи верстах от нас.

Ко всенощной приехали к нам наши милые Титовы, Неелова с сестрой, которые потом и остались у нас ночевать. На другой день к освящению съехалось премножество гостей: Бахметевы с дочерьми, Оболенские из Храброва, Лужины — Федор Сергеевич с сестрой, Голицыны, оба Обольяниновы; кажется, и Апраксины приехали к самому обеду. И так мы превесело пропировали этот день именины мужа, которые мы справляли уже в последний раз, сами того не предчувствуя.

Лужин, когда к нам приезжал обедать, всегда, бывало, привезет что-нибудь из своего сада: дыню, арбуз или корзину с яблоками. Он и в этот раз привез преогромный арбуз из своих парников.

IV

В Москву мы переехали в половине октября в наемный наш дом на Никитском бульваре. Внизу жил брат князь Владимир Волконский, а в этот год с ним жила и его невестка княгиня Марфа Никитична со своими двумя мальчиками и девочкой. В Анночкино рождение, ноября 11, у нас обедал кой-кто из родных, и после обеда все разъехались.

Дмитрий Александрович пошел к себе в кабинет: «Я что-то себя не совсем хорошо чувствую, отдохну немного, а к чаю ты пришли меня разбудить».

Собрались мы все в зале пить чай, пришел и Дмитрий Александрович, сидим всею семьей, говорим, смеемся, вдруг он ахнул и вскочил со стула и скорыми шагами пошел в гостиную к зеркалу.

— Что с тобой? — спрашиваю я.

Он идет, улыбается и ничего не говорит, и такой расстроенный... Так прошло минут пять, он не говорит и показывает, чтоб ему дали чем писать. Которая-то из девочек побежала, принесла бумаги и карандаш.

«Пошли за доктором, у меня отнялся язык», — написал он.

Мы все ужасно встревожились, я послала за Шнаубертом, который у нас лечил, и вместе с тем послала к брату князю Владимиру просить, чтобы скорее пришел. У него был его доктор приятель Скюдери, и они оба тотчас пришли.

Дмитрий Александрович сидел у стола и руками тер себе виски и, немного погодя, сказал довольно внятно:

— Бог милостив, лучше; я только испугался.

Шнауберт был дома и скоро приехал. Он и Скюдери потолковали между собой и решили, что Дмитрию Александровичу нужно кровь пустить, потому что его все еще тошнило, и опасались, чтобы не повторился удар... Тотчас пустили кровь из руки, и у Дмитрия Александровича перекривило лицо, но это продолжалось недолго: мало-помалу лицо пришло в свое обыкновенное положение, осталась только какая-то болезненная улыбка и что-то необычное в выражении глаз, как будто он чему удивлялся... Я ужасно была смущена, но старалась делать вид, что спокойна, чтобы не испугать мужа и преждевременно не растревожить детей; сама же я понимала, что дни моего мужа сочтены... Мое сердце это чувствовало...

С этого дня здоровье Дмитрия Александровича стало видимо и ежедневно ухудшаться: у него сделалась одышка, стали опухать ноги, и наконец, Шнауберт потребовал, чтобы созвали консилиум.

В то время в Москве не было такого множества докторов, как теперь; самые известные были Мудров,[2] Шнауберт, Скюдери и Яков Павлович Майер, домашний доктор Апраксиных, к которому и мы имели большое доверие. Вот их-то всех и пригласили мы на консилиум. Больной видимо слабел, и при исследовании признаков его болезни оказалось, что у него начинается водяная; мне этого не сказали, но передали князю Владимиру, и из его слов я поняла, что болезнь может только несколько продлиться, а что о совершенном выздоровлении нечего и думать, и эта мысль меня убивала.

Все единогласно говорили, что не следовало пускать крови, так как удар был нервный, а не кровяной, и что поспешность Шнауберта была непростительна: кровопускание еще разжидило кровь, и без того уже худосочную, и породило водяную. Конечно, ни доктора, ни все возможные средства не продлят жизни человека ни на одно мгновение далее положенных пределов от Господа, но я не могла равнодушно видеть Шнауберта, слыша, что все его обвиняют в неосмотрительности, и, считая его все-таки виновником смерти мужа, перестала его принимать. Ему два раза сказали, что больной спит, он понял и перестал ездить, а больному — что сам

Шнауберт болен и ездить не может. К нам ездил Мудров раза два в неделю, а Майера пригласили быть домашним нашим доктором, и он навещал больного ежедневно.

Много бессонных ночей провела я, сидя у постели моего друга... И про это время трудно и тяжело вспоминать.

V

Незадолго до кончины Дмитрия Александровича, в январе или в феврале месяце, прихожу я к нему; у него сидит Федор Лаврентьевич Барыков, наш сосед по веневскому имению, очень добрый и милый человек, которого мы очень любили и который очень часто езжал к моему деверю в Петрово, будучи в недальнем с ним соседстве. Ему было лет под 60; человек честный, хороший хозяин и состояние имел изрядное, душ с лишком триста в Веневском уезде, а такое имение при тогдашней невысокой цене на хлеб все-таки приносило изрядный доход. Он был женат на Телегиной (кажется, звали ее Настасьей Михайловной) и несколько лет был уже вдовцом. Когда он женился, его невесте было 11 лет, и в приданое ей отпустили несколько кукол. Барыков имел что-то очень много детей, чуть ли не 18 человек, из которых три сына и девять дочерей достигли совершенного возраста. Весьма понятно, что, имея такую большую семью, а средства очень ограниченные, он не то чтобы совсем нуждался, но едва-едва сводил концы с концами; жил постоянно в деревне, хозяйничал и как мог пробавлялся тем, что получал.

Барыковы хотя по своему происхождению и старинные дворяне, но никто из них спокон века не дослуживался до больших чинов, не был женат на знатных и не имел богатых поместий. По пословице: жили — не тужили, что имели — берегли.

Старшие дочери росли в деревне, а из средних одну, Авдотью Федоровну, отец вздумал отдать в Москву в Екатерининский институт;[3] она оканчивала свое учение, ей было только пятнадцать лет, и, не зная, что с ней делать, Федор Лаврентьевич приехал посоветоваться с моим мужем. Я их застала на этом разговоре.

— Вы сами посудите, сударыня, — говорил он мне, — Дунюшка получила хорошее воспитание, ей нет еще шестнадцати лет. Ну, привезу я ее в деревню: живем мы не в роскошестве, очень серо и сурово, соседей у нас подходящих для девочки нет, она изноет и с тоски пропадет... Думаю, уж не оставить ли ее совсем в институте...

— Вы бы привезли вашу дочку к нам и нас бы с ней познакомили, — говорю я Барыкову.

А сама думаю: «Понравится девочка, предложу отцу оставить ее у нас погостить, а там будет видно».

Приехал опять Барыков и привез с собой дочь: худенькая, стройная, такая субтильная, очень недурна лицом, только немного рябовата и ужасно застенчива... Очень мне она полюбилась... Оставила я их обедать. Собрались вечером ужинать, я и говорю отцу: «Когда совсем возьмете вашу

13*

дочь из института, не возите ее в деревню, она одних лет с Клеопатрой, пусть у нас погостит покуда. . . А там, что бог даст».

Отец у меня целует руки, благодарит со слезами, кланяется чуть не в ноги, так я ему этим предложением удружила.

Пришла я потом к Дмитрию Александровичу и говорю ему, что я предложила Барыкову. Он одобрил меня.

— Ты точно угадала мои мысли, и я хотел тебе посоветовать это, да не успел, а уж ежели ты это сделала по своему внушению, и того лучше: значит, мы сходимся в мыслях.

Через сколько-то времени Барыков привез к нам свою институтку погостить, пока ей не захочется к отцу в дом, прогостила она в моем доме ни много ни мало восемнадцать лет, пока судьба не свела ее с ее суженым.

В то время в институтах барышень держали только что не назаперти и так строго, что, вышедши оттуда, они были всегда престранные, презастенчивые и все им было в диковинку, потому что ничего не видывали.

Когда переехала ко мне Авдотья Федоровна, я дала ей оглядеться и недели две погулять; вижу, что она ничего не делает: не работает, не читает, а как начнется день, усядется в гостиной у окна и все только смотрит на проезжающих. . .

И говорю я ей: «Вот что, моя милая: я вижу, что ты ничем не занята, только все в окно глядишь, это никуда не годится; хоть ты и окончила свое ученье в институте, но ты еще так молода, что тебе не мешает и еще поучиться, да и зады протверживать; посоветовала бы и тебе присесть опять за грамоту; мои дочери рисуют — рисуй и ты, они играют на клавикордах, ну, и ты садись и бренчи; какой они урок берут, и ты от них не отставай».

Уж по нутру ли ей это было или нет, я этого не знаю, только присадила я ее опять за учение, а то как это, статочное ли дело, день-деньской ничего не делать и сидеть или у окна, или шляться из угла в угол без всякой работы; сама потом была мне благодарна за это.

VI

Здоровье Дмитрия Александровича день ото дня становилось все хуже и хуже. Было несколько консилиумов, которые я созывала не потому, чтоб ожидала от них облегчения для больного, а чтобы себя потом не упрекнуть, что не все сделано, что бы следовало или нужно было сделать. . .

Доктора объявили, что водяная приближается к концу, и хотя не определяли дня кончины, но без обиняков уже говорили мне быть готовою на всякий час, что смерть может последовать неожиданно: вода подымется, зальет. . . и всему конец.

Можно себе представить, каково мне было это знать и что должна я была тогда чувствовать.

Всегда усердный к богу и богомольный с молодости, Дмитрий Александрович в последнее время пред кончиной несколько раз приобщался Святых Таин [4] и, дня два спустя после Благовещения,[5] пожелал собо-

роваться... Ему было очень тяжело: ноги пухли, дыхание становилось затруднительно, в особенности по ночам, спать хочется, а лечь нельзя, и приходилось его обкладывать подушками, чтоб он мог дремать, сидя то на кресле, то в постели... После соборования как будто немного полегчало; он позвал, чтобы мы все к нему собрались, и он с нами говорил довольно долго, со всеми вместе и наедине с каждою, и давал нам всем наставления...

Грушеньке он говорил насчет графа Толстого, который опять пытался свататься... «Прошу тебя, моя милая, не огорчай ты нас с матерью, перестань думать о Толстом. Знаю, что он тебе нравится, но нам не хочется этого брака: он человек без состояния, службы не имеет, занимается пустяками — рисует да лепит куколки; на этом далеко не уедешь... Нет, голубушка, обещай, что ты об нем больше думать не станешь, — я спокойно умру...»

Грушенька очень плакала, однако обещала отцу, что за Толстого замуж не пойдет...

Она могла бы еще и за другим Толстым быть замужем, именно за одним из двоюродных братьев. Он часто у нас бывал, и мы принимали его как родню, а совсем не как жениха. Однажды он говорил мне: «Ma cousine, что бы вы мне сказали, ежели б я посватался за одну из ваших дочерей, за Agrippine?»

Я спрашиваю его: «Да что ты это в шутку мне говоришь?»

— Нет, ma cousine, очень серьезно, — отвечает он.

— Ну, и я скажу тебе серьезно, что мы слишком близкие родные, чтоб я согласилась отдать за тебя которую-нибудь из дочерей: твоя мать мне родная тетка, и вдруг Грушенька будет ее снохой: да этого брака и архиерей не разрешит...

Потом он женился на Павловой и имел сына и дочь.

Ненадолго мы порадовались, что Дмитрию Александровичу полегчало: 28 марта, накануне дня моего рождения, которое пришлось в тот год в среду на вербной неделе,[6] как всегда, у нас была всенощная на дому и в комнате у больного, которому хотелось молиться со всеми нами, и хотя служба была очень непродолжительна, но это его утомило, и ночь была очень трудная для него. В день моего рождения мне было особенно грустно, зная наверно, что этот день мы встречаем в последний раз вместе.

Меня приезжают поздравлять, а мне, право, не до поздравлений. На следующий день больному сделалось еще труднее; в пятницу мы во весь день от него не отходили, ежеминутно ожидая его кончины. Он был в памяти, но дышал трудно и тосковал; после полуночи, с пятницы на субботу, он начал уже совсем отходить, и в 3 часа пополуночи, апреля 1, под Лазареву субботу,[7] его не стало в живых. Как мы ни были подготовлены к этой потере, но кончина Дмитрия Александровича всех нас ужасно поразила, точно мы и не ожидали, что нас постигнет это горе. Я совершенно растерялась, и спроси меня, как и что было, ничего не могу вспомнить и не умею рассказать.

Помню только, что, когда началась первая панихида, Грушенька упала без чувств, и ее вынесли замертво из комнаты.

И поутру в день кончины приехал Степан Степанович Апраксин, и, узнав, что мой муж скончался, он, весь в слезах, пришел ко мне и говорит:

— Елизавета Петровна, располагайте мною, приказывайте мне, что нужно, я готов сделать все, что могу.

И при этом горько плакал.

Такое живое участие меня очень тронуло.

Обо всем похоронном хлопотали брат, князь Владимир Михайлович Волконский, и деверь мой, Николай Александрович Яньков.

Отпевание было во вторник на Страстной неделе в нашем приходе у Бориса и Глеба, что у Арбатских ворот, и после того тело тотчас повезли в деревню. Провожать поехал мой деверь Яньков. Дорога портилась: везли всю ночь и наутро, в Великую среду,[8] привезли к границе наших владений. Наши крестьяне изо всех пяти деревень ожидали прибытия печальной колесницы и, взяв гроб на руки, несли, переменяясь, в село до самой церкви. Покойника все любили, и, говорят, плач и вой были таковы, что и представить себе невозможно.

По совершении литургии и панихиды тело было опущено в приготовленную могилу в алтаре неосвященного придела пророка Даниила, рядом с телами моей матушки, свекрови Анны Ивановны, скончавшейся в 1772 году, и моей золовки Клеопатры Александровны, скончавшейся два года спустя после смерти своей матушки. В то время был только один придел в теплой церкви, и обе они были погребены за левым клиросом; а когда зимняя церковь была расширена и вместо одного придела сделано два, то и приноровили так, чтобы престол левого придела пришелся над самым гробом Анны Ивановны. Дмитрий Александрович лежит вправо, близ южной двери.

Этот придел пророка Даниила мы предполагали освятить весной, но болезнь Дмитрия Александровича замедлила работу живописца, так как он сам любил этим заниматься. После его кончины я велела спешить для того, чтобы в сороковой день можно было уже освятить и совершить литургию.

VII

Как грустно мы встретили и провели в этот год Пасху, можно себе представить. До истечения шести недель мы поехали в деревню по просухе, как только возможно было проехать.

Я послала в Дмитров пригласить на освящение настоятеля Борисоглебского монастыря, архимандрита Досифея, по фамилии Голенищева-Кутузова. Он был человек очень видный из себя и представительный и служение совершал с большим благоговением. Ему было лет под 70. Он сказывал, что еще в молодости чувствовал склонность к монашеской жизни, но по домашним обстоятельствам должен был вступить в службу, которую начал очень рано, в первые годы царствования императрицы Екатерины II; бывал не раз в сражениях и, дослужившись до капитана, вышел в отставку с майорским чином, имея от роду около 40 лет, и в скором

после того времени решился исполнить давнее свое желание — идти в монахи. Куда поступил он сперва — не могу сказать, но пострижен в Екатерининской пустыни (поблизости от Каширской дороги) и был там невступно три года настоятелем. Пустынь была скудная, братство очень малое и все больше из подначальных, так что ему было много оттого хлопот и неприятностей. Он и решился оставить начальство, стал проситься на покой у митрополита Платона и был определен в Троицкую лавру в число монахов, и так провел очень спокойно и мирно более двух лет. За год до нашествия французов на Россию, в мае месяце (в скором времени после кончины известного в свое время архимандрита песношского Макария, прежде управлявшего и Дмитровским монастырем), на место переведенного из Дмитрова бывшего там игумена в другой монастырь владыка призвал отца Досифея и объявил ему о его назначении в Борисоглебский монастырь и в июле месяце сам посвятил его в архимандрита.*

Отец Досифей был муж словесный и духовный, в управлении взыскательный и строгий, а в своей келейной жизни истинный подвижник. В скором времени, в это же лето, он был переведен в Москву в Златоустов монастырь.

При освящении нашей церкви, кроме духовного торжества и заупокойной обедни с панихидою, ничего не было: мы были в глубоком трауре, и не до веселий нам было, да и неприлично созывать друзей и соседов. С нами плакали и молились только наши самые близкие: Титовы да из Хорошилова Елизавета Сергеевна и ее сестра Бутурлина.

Со мной приехала из Москвы сестра Анна Петровна, а накануне мой деверь Николай Александрович с Федосьей Андреевной и с кем-то из детей. Возвратились мы из церкви, напились чаю и пошли уже за стол обедать. Сняли горячее. . . слышим, кто-то стучится в стеклянную дверь, что на балконе. Говорю людям, чтобы посмотрели, кто там. Отворяется дверь из маленькой гостиной, и входит князь Иван Михайлович Долгоруков.

— Вот, Елизавета Петровна, — говорит он, — не привел бог побывать здесь при хозяине, так, по крайней мере, после него приехал навестить его скорбную вдову и его помянуть.

Мы с сестрой переглянулись, нас обеих это покоробило, и показалось нам приветствие князя Ивана Михайловича не очень уместным. . . Умный был человек, но часто, по живости своего характера, делал непростительные промахи.

---

* К этому словесному рассказу прибавляем точные сведения, заимствованные нами из Описания московского Златоустовского монастыря архимандрита Григория. См. с. 45. Досифей Голенищев-Кутузов (1816—1819) — из дворян. Военная служба доставила ему чин секунд-майора. По выходе в отставку он находился с 24 декабря 1792 года в Екатерининской пустыни. В монашество пострижен 1806 года, ноября 21, посвящен в иеродиакона декабря 6, во иеромонаха 25 числа. В 1807 году, января 3, назначен строителем Екатерининской пустыни. От сей должности, согласно прошению, уволен в 1809 году, с определением в число братии Троицкой Сергиевой лавры; в 1811 году, августа 20, произведен в Дмитровский Борисоглебский монастырь в архимандрита. В 1816 году, июля 20, переведен в Златоустов монастырь, где и скончался 2 июня 1819 года на семьдесят первом году от рождения. Сохранился портрет его, писанный красками на полотне.

Он выехал из Москвы очень рано поутру и надеялся попасть вовремя к поздней обедне, но что-то такое приключилось на дороге с его коляской, и он попал только уже к обеду.

Благодарна была я ему за его дружбу к покойному моему мужу, но, признаюсь, подосадовала на его не совсем уместное приветствие...

Преосвященный Августин отзывался о нем как о человеке умном и говорил: «Князь Иван Михайлович *вельми умен, но не вельми благоразумен*». И точно, он часто увлекался и делал иногда промахи, каких не сделает и человек с очень посредственным умом. По этой причине он и пострадал, когда был губернатором.[9] Честный и хороший человек, любящий муж и нежный отец, в обществе человек самый приятный, в дружбе очень преданный и в свое время не последний из писателей, он все имел, чтобы сделать блестящую карьеру, и при этом, как и сам говаривал, *никогда не мог выбиться из давки*: он всю жизнь свою провел под тяжелым гнетом *долгов и врагов*. Это потому, быть может, что он был великий мастер на всякие приятные, но ненужные дела, а как только представлялось какое-нибудь дело нужное и важное, точно у него делалось какое затмение ума: он принимался хлопотать, усердно хлопотал и все портил и много раз совершенно бы погиб, если бы влиятельные друзья и сильные помощники не выручили его из беды.

Собою был он очень некрасив, и мало этого, можно сказать, был даже безобразен; он знал это и чувствовал и очень мило над собою подшучивал: «Мать натура для меня была злою мачехой, оттого у меня и была такая скверная фигура, а на нижнюю губу материала она не пожалела и уж такую мне благодатную губу скроила, что из нее и две бы могли выйти, и те не маленькие, а очень изрядные».[10]

Не знаю, как он смолоду держал себя в отношении одежды; может быть, когда нашивали шелки да бархаты, то и он был щеголем, но впоследствии времени, когда уже перевалил за сорок, на вторую половину, он мало обращал внимания на свой туалет, был очень неряшлив в домашнем быту и с короткими своими.

Несмотря на свою неприглядность, князь Иван Михайлович заставлял забывать в разговоре, что некрасив собой: бывало, слушаешь его умные речи и замысловатые шутки, а каков он из себя — об этом и позабудешь.

Он был женат два раза, и обе его жены были красавицы и очень его любили. Вот уж подлинно можно было об нем сказать по пословице: не родись пригож, а родись счастлив.*

VIII

Очень мне трудно было первое время заставить себя приняться за дело по управлению имениями. В важных делах Дмитрий Александрович всегда со мною советовался, и мы с ним сообща решали, но я никогда

---

* Он был женат: 1) на Евгении Сергеевне Смирновой,[11] родилась 24 декабря 1770, умерла 12 мая 1804; 2) на вдове Аграфене Александровне Пожарской, урожденной Безобразовой, родилась 1766, умерла 16 августа 1848.

не входила во все подробности хозяйства, и хотя я была замужем невступно 23 года, никогда я не следила, как и когда что делается, а теперь мне приходилось самой все решать. Желая помянуть мужа чем-нибудь сделанным для церкви, я решила снять верхний деревянный ярус с нашей колокольни и велеть надделать его из кирпича. Кирпичный завод был свой и свой архитектор, брат Михаила Ивановича (камердинера моего мужа), Александр Михайлов Татаринов. Он был искусный землемер, хороший рисовальщик по чертежной части и знающий по строительной части, но ужасно настойчив и упрям в своих мнениях. Когда я сказала ему, что намерена класть второй ярус на колокольне кирпичный, он стал уверять меня, что это невозможно и что тяжесть надстройки придавит весь низ. Эта мысль ужасно меня тревожила, и я не знала, на что мне решиться. Вот как-то в мае месяце лежу я на диване в гостиной и думаю, что мне делать? Вдруг человек бежит мне докладывать, что приехал Степан Степанович Апраксин и еще кто-то с ним.

Входят они в гостиную, и говорит мне Апраксин, что он по пути в Москву заехал меня проведать в горе.

«А вот это, — говорит он, указывая на своего спутника, — monsieur Comporesi, министр всех ольговских построек и верховный учредитель всех наших празднеств».

Я поняла, что это архитектор, очень этому обрадовалась и тотчас стала рассказывать, что за пять минут до их приезда я не знала. что мне делать с моею колокольней и к кому обратиться за советом.

— Ну вот как это хорошо, — засмеялся Апраксин, — вы только подумали, а мы и подслушали и приехали. Вот вам и человек.

Я велела принести планы; Компорези посмотрел, и потом пошли они осматривать колокольню и возвратились с известием, которое меня очень успокоило.

— Можете еще два яруса строить, — сказал Компорези, — и не опасайтесь: низ прочен и сдержит всякую тяжесть.

Так я и стала строить колокольню с разрешения преосвященного Августина, и к концу осени кладка была окончена.

IX

В этом году в июне месяце родился у брата Николая Петровича второй сын Александр; старшему мальчику Петруше был уже четвертый год, а Настеньке исполнилось уже шесть лет. Она была прехорошенькая девочка, и Петруша премилый мальчик; но моя невестка из опасения за их здоровье держала их на слишком строгой диете, и бедные дети всегда были преголодные и потому прехуденькие. Марья Петровна боялась повредить их здоровью и, думая сохранить его, этим-то его и портила и, кроме Настеньки, никто из них и не дожил до совершенных лет.

В конце июня скончалась моя двоюродная невестка, княгиня Марфа Никитична Волконская, жена князя Дмитрия Михайловича. Она в молодых летах была недурна собою, небогатая дворянка по фамилии Зыбина,

какая-то дальняя родственница князей Репниных—Волконских, у которых она и жила в доме, и у них ее и видал брат князь Дмитрий. Она ему нравилась, а главное, была ему жалка, потому, казалось ему, что она в загоне. Тетушка княгиня Марья Михайловна была еще в живых, брат вздумал было на ней жениться и стал просить у матери благословения. Тетушка была очень горяча характером, ну и, кроме того, — что же не сказать правды? — она не могла помириться с мыслию, чтоб ее сын, князь Волконский, женился на какой-нибудь неизвестной и бедной дворянке Зыбиной, и не изволила согласиться.

— Нет тебе моего материнского благословения на этот брак; пока я жива, и слышать об этом не хочу.

Так брат и не женился.

Сказывали мне, уж не знаю — правда ли, что будто бы тетушка сказала ему: «Прокляну тебя, ежели на ней женишься».

Спустя несколько лет после кончины своей матери князь Дмитрий поставил, однако, на своем и был пренесчастный: характер жены его был ужасный, дети родились и все умирали, а те, которые пережили их, не оставили потомства, точно невидимая рука тяготела надо всеми. Княгиню Марфу схоронили рядом с ее мужем в Новодевичьем монастыре, с южной стороны теплого трапезного храма, а тетушка княгиня Марья Михайловна положена возле той же церкви с северной стороны, где впоследствии поблизости от ее могилы схоронили и брата князя Владимира.

X

Когда я стала немного приходить в себя после мужниной кончины, я решила взять гувернантку для Клеопатры, которой было 16 лет, и для Сонюшки, которой пошел 10-й год. Я и при Дмитрии Александровиче несколько раз об этом думала и говорила ему, но он и слышать не хотел: в памяти нашей было еще слишком свежо неприятельское нашествие и все ужасы войны, причиненные французами, чтобы решиться принять к себе в дом кого-нибудь из их нации; более двух лет Дмитрий Александрович не мог слышать французского языка и запретил детям при себе говорить иначе как по-русски. Но со временем это неприятное воспоминание о двенадцатом годе, ослабело, и я решилась искать француженку немолодых лет.

Много их перебывало у меня, и все они были превертлявые и совсем не то, чего я желала: наконец пришла ко мне старушка лет около шестидесяти, очень приличная, в темном шелковом платье, с седенькими буклями, такая тихая в манерах и спокойная, что я тотчас решилась ее взять.

— Как вас зовут? — спрашиваю я.

— Мадам Рено.

Стала я расспрашивать, где она жила, и она рассказала мне претрогательную историю.

Она была вдова коммерсанта, имела единственного сына, молодого человека лет двадцати, прекрасных правил, который пред походом в Рос-

сию попал в конскрипцию и должен был отправиться с бонапартовскими войсками в поход. Это очень опечалило мать, и она решилась следовать за сыном, приютилась в числе маркитанток и совершила с ними утомительный путь. Когда неприятельские войска были поражены и стали отступать, в числе пленных оказалась и мадам Рено. В ту пору стояли страшные холода, и этих несчастных пленниц одели в нагольные тулупы и гнали целою толпой не то в Минск, не то в Могилев и поместили в острог. Не умею сказать, кто был тогда там губернатором; к нему обратилась мадам Рено с просьбой узнать: в живых ли ее сын Доминик и где он находится? У губернатора были дочери; мадам Рено ему очень понравилась, и он предложил ей остаться у него в доме. Можно себе представить, до чего она обрадовалась такому благополучию. Так она и жила у губернатора; ее очень полюбили, и когда все барышни вышли замуж, она рассталась с этим добрым семейством и поспешила в Москву, чтобы свидеться с сыном.

Чем больше я слушала старушку, тем более она мне нравилась, и уговорилась с ней за две тысячи рублей ассигнациями жалованья в год, и, кроме того, она выговорила, чтобы чрез воскресенье я давала ей карету и непременно четверней, чтобы съездить к обедне в католическую церковь, которая где-то за Басманной, на краю света.

— Знакомых у меня нет, кроме церкви, мне ездить некуда, а сыну моему позвольте по воскресеньям и праздникам приходить обедать.

Не ошиблась я насчет мадам Рено; она была во всех отношениях достойная уважения женщина: умная, благочестивая, с прекрасным парижским выговором, очень, очень приличной наружности и с манерами и обхождением хорошего общества.

Она совершенно сроднилась с нами, так что и сына своего считала как бы общим и, говоря о нем, всегда называла его «notre fils» — наш сын.

Несколько лет спустя он женился на дочери книгопродавца Рисса, который потом ему передал часть своей книжной лавки,[12] а другая перешла к Урбену.





ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

I

В 1817 году прибыл в Москву в сентябре месяце двор, и в октябре месяце столица была свидетельницей великого торжества, какого она, может быть, вторично никогда и не увидит: закладки храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Покойный государь Александр Павлович, находясь в 1812 году в Вильне, в самый день Рождества Христова издал манифест, в котором было сказано, что в память освобождения Москвы от неприятеля будет воздвигнут храм во имя Христа Спасителя. Это известие, скоро распространившееся по России, всех приводило в восторг, потому что говорили о таком великолепном и обширном храме, каковых не было, нет и не будет.

Долго не знали, где выберут место для этой *диковины*, наконец говорят: «На Воробьевых горах. — Как на Воробьевых горах? Да там сыпучий песок. — Ничего, — отвечают, — можно везде строить, лишь бы хорош был бут; ежели целый город как Петербург выстроен на болоте и на сваях, отчего на песчаном месте не построить храма? — Да кто же станет за город ездить, когда в осеннее и весеннее время чрез Девичье поле ни пройти ни проехать нельзя? — Нужды нет, храм велено там строить, потому что там в 1812 году стоял последний неприятельский пикет».

И вместо всеобщего восторга стали говорить шепотом, что храму не бывать на Воробьевых горах.

План чертил какой-то очень искусный архитектор Витберг, и говорят, что чертеж так полюбился государю императору, что он заплакал и сказал: «Ну, я не думал, что кто-нибудь так угадает мою мысль». Это все было на моей памяти: и начало, и конец Воробьевского храма. История долго тянулась, лет десять или более, и дело кончилось тем, что чрез интриги погубили бедного Витберга,[1] человека очень честного и, говорят, великого художника и знатока в своем деле.

Помешал не песок и не отдаленность местности, а то, что Витберг был человек непрактический и думал все сделать без подрядов и без взяток, ну, конечно, и попал впросак. Но самая пущая для него была беда, что он попал между двух огней: между графом Аракчеевым и князем Голицыным, министром духовных дел; они друг другу солили и вредили, а Витберг из-за их вражды погиб ни за что ни про что.

Сколько лет подготовляли местность для закладки храма, я не сумею сказать; знаю только, что торжество происходило 12 октября 1817 го-



перекинут был мост, и пришлось идти пешком, и то два лакея с трудом нас провели; экипажи отсылали Бог весть куда. . .*

«Благовест в Лужниках начался в восемь часов утра, а приезд духовенству и светским властям и всем знатным особам был назначен в девять с половиною часов. Войска были расставлены от Кремля по Моховой, Пречистенке, Девичьему полю до Воробьевых гор, по одной стороне в четыре ряда. Артиллерией командовал генерал-майор Павел Иванович Мерлин.

В одиннадцать часов утра мгновенно раздавшийся по всей Москве колокольный звон и полковая музыка возвестили, что высочайший поезд следует из Кремля. Стечение народа было неисчислимое: кроме зрителей во всех окнах всех домов (на тех улицах, по которым надлежало проезжать высочайшим особам) народ был везде — на балконах, на заборах, на крышах, на подмостках, где их можно устроить. . .

Государь император Александр Павлович, великий князь Николай Павлович и принц прусский Вильгельм в сопровождении генералитета изволили ехать верхом, а государыни императрицы — Елизавета Алексеевна и Мария Федоровна — и великая княгиня Александра Федоровна в парадной карете в восемь лошадей. При вступлении во храм их величества и их высочества были встречены архиепископом дмитровским Августином, грузинским митрополитом Ионою, архиепископом грузинским Пафнутием, архимандритами всех московских монастырей и высшим белым духовенством [2]** с животворящим крестом, после чего их императорские величества и их императорские высочества слушали божественную литургию.

На месте, где должна была совершиться закладка храма, был устроен обширный помост или терраса, и из церкви до оной проложена дорога, устланная досками и усыпанная песком, а вверх до вершины горы вела широкая лестница. Посреди террасы, устланной красным сукном, был приготовлен продолговатый амвон о трех ступенях, а на амвоне несколько выше находились: 1) кубический гранитный выдолбленный камень; 2) вода в серебряной водосвятной чаше и 3) места, покрытые красным сукном, для поставления на оных чудотворных икон из Успенского собора.

По совершении литургии последовал крестный ход из Тихвинской церкви на место заложения храма: впереди несли хоругви, чудотворные иконы божией матери Владимирской и Иверской,[3] следовали хоры певчих, придворных и синодальных; духовенство по старшинству в числе более 500 человек в богатых облачениях; шествие замыкалось государем императором, государынями императрицами и прочими высочайшими членами царственного дома. Несмотря на стечение народа со всей Москвы, была удивительная тишина и слышно было только божественное пение.

---

* С этого места подробности заимствуем из вышеозначенной тетради, заменяя простым рассказом превыспренность слога.

** В этот день в крестном ходе при закладке было более 30 протоиереев, 300 священников и около 200 диаконов.

Когда чудотворные иконы были поставлены на приготовленные для оных места, все духовенство разместилось в определенном порядке и высочайшие особы вступили на террасу, началось молебное пение с водоосвящением. По совершении оного архиепископ дмитровский окропил святою водой то место, куда следовало положить первый камень, а главный архитектор, академик Витберг, поднес государю императору медную вызолоченную крестообразную доску с надписью:

„В лето 1817, месяца октября в 12 день, повелением благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя императора Александра Павловича, при супруге его, благочестивейшей государыне императрице Елизавете Алексеевне, при матери его, благочестивейшей государыне императрице Марии Федоровне, при благоверном государе цесаревиче и великом князе Константине Павловиче и супруге его, благоверной государыне великой княгине Анне Федоровне, при благоверном государе и великом князе Николае Павловиче и супруге его, благоверной государыне великой княгине Александре Федоровне, при благоверном государе и великом князе Михаиле Павловиче, при благоверной государыне великой княгине Марии Павловне и супруге ее, при благоверной государыне королеве Виртембергской Екатерине Павловне и супруге ее, при благоверной государыне великой княгине Анне Павловне и супруге ее, заложен сей храм Господу нашему Спасителю Иисусу Христу во славу пресвятого имени и в память неизглаголанных милостей, какие благоволил явить нам, даровав спасение любезному отечеству нашему в 1812 лето и прославив в нас крепкую десницу свою, сокрушающую брани.

При заложении храма присутствовал благочестивейший самодержавнейший великий государь император Александр Павлович, супруга его благочестивейшая государыня императрица Елизавета Алексеевна матерь его благочестивейшая государыня императрица Мария Федоровна, благоверный государь великий князь Николай Павлович, супруга его благоверная государыня великая княгиня Александра Федоровна и его королевское высочество прусский принц Вильгельм. При сем священнодействовал управляющий московскою митрополией Августин, архиепископ дмитровский.

План и фасад храма сочинял академик Карл Витберг, коему и производство строения высочайше поручено.

Господи Спасителю наш! призри с высоты святые на место сие, избери его в жилище себе и благослови дела рук наших".

Доску эту государь с благоговением вложил в углубление означенного гранитного камня, затем Витберг поднес государю два серебряные вызолоченные блюда, на одном — мраморную плитку и серебряные вызолоченные молоток и лопатку, а на другом — раствор извести.

После того Витберг поднес также и государыням императрицам такие же два блюда с мрамором и известью и серебряные молотки и лопатки; сперва положили камни государыни императрицы и их высочества и преосвященный Августин; камни были из сибирского белого мрамора и на каждом имена высочайшей особы, полагавшей оный в основание храма.

Когда все сие было исполнено, преосвященный Августин вступил на амвон и произнес следующую речь:

,,Где мы? Что мы видим? Что мы делаем? Где мы? — На том месте, на коем в двенадесятое лето сия древняя столица с ужасом узрела пламенник, неприятельскою рукою возженный на истребление ее. Узрела и, преклонив поседевшее чело, умоляла Господа, да будет она искупительною жертвой своего отечества. Что мы видим? Видим ту же самую столицу, воскресшую из пепла и развалин, облеченную в новые красоты и велелепие, паки возносящую до облаков златые верхи свои, кипящую обилием и богатством и веселящуюся о славе России и о благоденствии Европы. Что мы делаем? Пирамиды ли хотим воздвигнуть во славу соотечественников наших, которые непоколебимою верностию к царю, пламенною любовию к отечеству, достохвальными подвигами на поле браней соделали имена свои достойными вечного благословения нашего? — О нет! Что есть человек вне Бога и без Бога? Бог, разумов Господь, дает разум и мудрость; Господь сил препоясует немощные силою, и лук сильных изнемогает. Так что мы делаем? Пред лицом неба и земли, исповедуя неизглаголанные милости и щедроты, какие верховный владыка мира благоволил излиять на нас, вописуя ему единому все успехи, всю славу минувших браней, полагаем основание храма, посвящаемого Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Боже! очима нашима видехом, еже соделал еси во днех наших: ибо не мечом нашим уничижихом восстающие на ны, и мышца наша не спасе нас. Ты един спасл еси нас от стужающих нам и ненавидящих нас посрамил еси. «О Бозе похвалимся весь день и о имени Его исповемыся вовек!» [4] (Пс. 43, ст. 9).

Первопрестольная столица! Ты в особенности носишь на себе печать чудес Божиих; в твоих развалинах сокрушилось страшное могущество разрушителя; пламя, истребившее тебя, истребило и его силы; оно воспламенило сердца россиян и других народов к возвращению мира и тишины. Возноси убо Господа Бога твоего, и предста подножию сея святые горы его, покланяйся ему духом и истиною.

Храбрые воины! Во всех бранях, совершенных вами, вы видели, или паче, осязали десницу Божию, водящую вас и вам споборающую! Дадите убо славу Богу и во исповедании воскликните: «Не мы, не мы сотворихом что; Господь сил, заступник наш, Бог Иакова, отъемляй брани до конец земли» [5] (Пс. 45, ст. 10). Той сотвори вся великая и славная.

Боже Спаситель наш! Да будут очи твои отверсты день и нощь на место сие, где помазанный твой полагает основание храма, во славу пресвятого имени твоего, и в память неизглаголанных благодеяний твоих, явленных нам! Приими от него сию благодарения жертву, с чистою верою, с пламенною любовию, в глубоком смирении тебе приносимую; приими, благослови и соверши святое начинание его; прибави милости твоя к нему и ко всему августейшему его дому!".

Когда по окончании этой речи клир запел ,,Тебе Бога хвалим",[6] послышалась пушечная пальба и колокольный звон по всей Москве, продолжавшийся во весь день.

По окончании всего торжества крестный ход двинулся обратно через мост тем же путем к Тихвинской церкви; за ним следовали высочайшие особы при оглушительном ,,ура" нескольких сот тысяч зрителей, при пушечной неумолкаемой пальбе и повсеместном колокольном звоне».*

Воробьевы горы и все места, откуда возможно было только что-нибудь видеть, все было унизано народом, и когда крестный ход и вся императорская фамилия сошли с террасы и направились к мосту, все это множество зрителей хлынуло на террасу осматривать место закладки; удержать не было средств, и полиция отступилась.

Нам пришлось долго пережидать, пока не прекратилась давка на мосту; тогда лакеи провели нас к Новодевичьему монастырю, где неподалеку в переулке отыскали нашу карету.

Было очень холодно, мы перезябли и очень утомились от долгого стояния. В этот день был большой званый обед у Апраксиных, которые приглашали и меня с моими дочерьми, но я не поехала, потому что приходилось ехать домой переодеваться и опять ехать в большое общество, и потому я решила ехать обедать к тетушке графине Александре Николаевне Толстой.

В этот день было чье-то рождение, на обеде должны были съехаться только родные, все свои, и я могла ехать без переодевания, в чем была одета с утра.

На обед к тетушке приехали из бывших на закладке и слышавшие речь Августина, которую стали разбирать:

— Где мы? Что мы видим? Что мы делаем? — На это можно бы так отвечать: Где мы? На Воробьевых горах. — Что мы видим? Видим сыпучий песок. — Что мы делаем? Делаем безрассудство, что не спросясь броду — лезем в воду и такое немаловажное дело начинаем так легкомысленно. . .

Вообще надобно сказать правду, что было очень немного людей, которые одобряли выбор места для храма, а люди знающие, видевшие план и фасад храма, находили его прекрасным как архитектурный памятник, который был бы хорош в Петербурге, но который не годился для Москвы, потому что мало соответствовал нашим древним храмам Кремля.[7]

Витбергу в день закладки дали чин,[8] а немного времени спустя — Владимирский крест на шею.[9]

Года три спустя, когда в Москве генерал-губернатором был князь Дмитрий Владимирович,[10] учреждена была комиссия для построения храма, и в ней участвовал и брат Николай Петрович. В числе прочих членов был сенатор С. С. Кушников, который был предан Аракчееву, желавшему перейти дорогу князю А. Н. Голицыну; он много повредил Витбергу. . .

Место нашли неудобным и слишком отдаленным для построения такого храма. Но разве был в этом виновен архитектор, когда его план был высочайше одобрен и утвержден? Все люди, которые лично знали

* Полагают, что на торжестве закладки храма присутствовало до 400 тысяч зрителей и было в действии с лишком 50 тысяч войска.

Витберга, отзывались о нем как о человеке безукоризненно честном и достойном уважения.

Несчастного судили, усчитывали, преследовали по наветам сильных врагов; после того куда-то послали на житье в дальний город, и там совсем скрутилась его жизнь.

Воробьевский храм был задуман в 1812 году в Вильне, в 1817 году делали закладку, в начале двадцатых годов учредили комиссию, в 1836 году придумали продолжать храм, стали говорить о построении его на месте бывшего Алексеевского монастыря у Пречистенских ворот; в 1837 году монастырь перевели в Красное Село и строения стали разбирать, а в 1839 году совершили новую закладку на новом месте. . .[11]

Все это было на моей памяти. . .

II

Кстати об Аракчееве, расскажу и об Ильине, и о наших Толстых.

Аракчеев, граф Алексей Андреевич, известный любимец императора Александра Павловича и очень влиятельный человек в продолжение всего его царствования, был сын очень небогатенького бежецкого дворянина, мелкопоместного и только что не однодворца: он служил при императрице Екатерине и вышел в отставку с маленьким чином. Он имел несколько человек детей, и вот один-то из них, старший, и дослужился до графства.

Этот Аракчеев имел приятеля или, лучше сказать, друга, Василия Васильевича Ильина, который тоже был генералом. Ильиных несколько фамилий, совсем разных по происхождению: одна из них считает себя происшедшею от Рюрика, и из этого рода я знала Елизавету Федоровну, урожденную Еропкину; она приходилась племянницей Петру Дмитриевичу Еропкину. . . К которому роду принадлежал Василий Васильевич — я не знаю. Был он женат на дочери одного боровского очень значительного и богатого старовера; ее звали Прасковья Ивановна. Сказывают, она была в молодости отменно хороша собой; надобно думать, что и сам Ильин был видный из себя мужчина и молодец, потому что обе его дочери были писаные красавицы.

Когда я их стала знать в 1817 году, видывая их на балах, в собрании и в обществе, я была поражена их красотой.

Первый, кто мне указал на них, был мой двоюродный брат граф Петр Степанович Толстой, самый младший из сыновей тетушки.

Однажды мы были в Благородном собрании, граф Петр мне и говорит: «Хотите, я вам покажу красавиц Ильиных?» — и повел меня смотреть на них. . . Точно, обе были хороши, и трудно было решить, которая лучше: одна стройная, высокая, гибкая, с голубыми глазами, румянец во всю щеку, волосы каштанового цвета — ну, просто ангел во плоти; другая тоже статная и стройная, немного пониже, несколько бледноватая и волосы совершенно как лен, с золотым отливом. Я села и все на них

смотрела: на которую смотришь, та и кажется лучше, а глядишь на обеих вместе — и не знаешь, которой отдать предпочтение.

— Ну что, — спрашивает Петр Степанович, — как вы находите, которая лучше?

— Обе хороши, — говорю я, — а которая из себя приятнее, это, я думаю, та, у которой потемнее волосы...

— Ее зовут Елизавета Васильевна, она мне очень нравится, я за ней ухаживаю.

Так как Ильиным протежировал граф Аракчеев, а к тому же обе они были прехорошенькие, то и нетрудно было им попасть в лучшее общество; был ли тогда отец их жив или нет — не помню. В этом же 1817 г. или в начале 1818 года брат Петр Степанович женился на Елизавете Васильевне; ей дали при замужестве сто тысяч ассигнациями кроме приданого, а сестра ее, Александра Васильевна, вышла потом за Логинова.* У них был еще брат Павел Васильевич, который служил в Петербурге и, будучи начальником таможни, дослужился до больших чинов и умер, оставив несколько человек детей.

Про отца Ильина ничего сказать не умею; слыхала, что его не любили за то, что он был предан Аракчееву, который был человек строптивый, жесткий, а иногда и жестокий;[12] но Прасковью Ивановну я знала хорошо, и в последние годы ее жизни, когда она подолгу гащивала у своей дочери Толстой, жившей в своем доме рядом с моим домом в Зубове, мы видались очень часто. Она была очень добрая, милая и благочестивая старушка. Не получив в молодых летах настоящего воспитания, она воспользовалась тем, что бывала в хорошем обществе, и, умная от природы, умела себя держать просто, но весьма прилично и с достоинством. Когда она умерла, это было в 1831 или 1832 году, брата Петра Степановича не было в Москве, и мне пришлось приготовлять графиню Елизавету Васильевну и объявить ей о кончине ее матери. Женитьба брата Петра Степановича на Ильиной доставила ему протекцию Аракчеева, который пристроил его к князю Николаю Борисовичу Юсупову в Кремлевскую экспедицию,[13] и ему очень повезло, пока были живы Юсупов и Аракчеев. Аракчеев так любил Ильина, что, не имея детей, хотел сделать его своим наследником, но это не состоялось, и он завещал свое новгородское имение, село Грузино, на военную богадельню, кажется, и, кроме того, был устроен где-то кадетский корпус на его иждивение.[14] Должно быть, оттого, что Ильин умер прежде, Аракчеев и переменил свои намерения и не заблагорассудил оставить детям Ильина того, что думал передать ему самому как самому близкому своему приятелю.

Упомянув о женитьбе одного из моих двоюродных братьев, я перечислю их всех по порядку и скажу, кто на ком был женат и что мне известно о каждом.

---

* Александра Васильевна Логинова имела нескольких дочерей: 1) Анна Ивановна (старшая) — за очень знатным итальянским герцогом Караччиоли; 2) Прасковья Ивановна — за тайным советником Н. Я. Скарятиным, ныне (1879) казанским губернатором; 3) N Ивановна — за иностранным маркизом; 4) N Ивановна — тоже за иностранным графом; все, кроме Скарятиной, перешли в католичество.

III

После кончины бабушки, княгини Анны Ивановны Щербатовой (4 июня 1792 года), тетушка и дядюшка Толстые стали дольше прежнего живать в Москве, и хотя оба были большие *скопидомы* и претугие на расход, однако, где было нужно, они умели и пыль пустить в глаза, и дом свой держали по-графски, очень прилично. Они имели свой дом на Солянке, наискосок с Опекунским советом,[15] дом каменный, на дворе, с флигелями по бокам. До 1812 года дом был украшен по-тогдашнему очень хорошо лепными фигурами; внутренность дома графская: штучные полы, мебель с позолотой, мраморные столы, хрустальные люстры, штофные шпалеры, словом сказать, все было в надлежащем порядке. Экипаж тоже: золоченая карета цугом, лошади в перьях,[16] скороходы и назади на запятках «букет».*[17]

Потом этот дом на Солянке был продан после дядюшкиной кончины, и долгое время он принадлежал Оболенским, а Толстые купили себе дом в Большом Толстовском переулке, между Смоленским рынком и Спасо-Песковскою площадью; дом деревянный, одноэтажный, предлинный по улице. После тетушки он достался сестре Аграфене Степановне, у которой купил его Василий Петрович Зубков.

У тетушки было 12 человек детей: девять сыновей и три дочери.

I. Граф Владимир Степанович родился 28 марта 1779 года, скончался 19 февраля 1825 года; он был женат на своей внучатой сестре Прасковье Николаевне Сумароковой. Имел сына графа Михаила Владимировича,** родившегося 23 мая 1812 года, и дочь графиню Александру Владимировну.

II. Граф Степан Степанович родился в 178⟨...⟩ *** году, умер в пятидесятых годах. Он был в военной службе и, будучи бешеного характера, не вытерпел замечания, сделанного ему его начальником, дал ему пощечину. По военным законам его за это следовало отдать под суд, и его, может быть, лишив всех прав, сослали бы и невесть куда, но оскорбленного начальника уговорили выдать Степана Степановича за сумасшедшего, и потому он был только исключен из службы, но выдумка скоро обратилась в действительность: он все думал об обиде, которую получил, и об оскорблении, которое он сам нанес, думал да думал и, хотя по природе совсем не был из умных, окончательно сошел с ума. Его отправили на

---

* См. выше, гл. VIII.

** Граф Михаил Владимирович, известный духовно-исторический писатель, которому мы обязаны многими прекрасными монографиями и археологическими исследованиями,[18] получил домашнее воспитание и, живя с своею родительницей в Сергиевском посаде, пользовался преподаванием многих весьма ученых профессоров, находившихся в то время в духовной академии; тогда там жительствовал и весьма известный протоиерей отец Феодор Голубинский.[19] После того граф Михаил Владимирович вступил в Московский университет и окончил там курс в 1834 году. В 1850 году, октября 23, он женился на княжне Елизавете Петровне Волконской (дочери князя Петра Сергеевича и Александры Петровны, урожденной Новиковой).

*** Здесь и далее в книге пропуск. — *Ред.*

житье в село Сосково,* где он прожил без малого пятьдесят лет в совершенном умопомешательстве; он умер, не быв женат.

III. Граф Федор Степанович родился в 178〈...〉 году, умер в 1812 году во время похода в имении графа Григория Алексеевича Салтыкова в Могилевской губернии. Вот что про него я слыхала: он был довольно сварливого характера и часто ссорился со второю своею сестрой Аграфеной Степановной, которая, как ему казалось, забрала их мать в руки и часто тетушку наводила на гнев; за Аграфену Степановну сватался какой-то жених по фамилии, кажется Фаминцын, и дело было почти уже слажено. В это-то время Федор Степанович и побранился с сестрой, да и скажи ей в сердцах: «Вот скажу я твоему жениху, какой у тебя характер и как ты в доме всех мутишь, так он и не возьмет тебя». Сказал ли он в самом деле или только хотел этим постращать свою сестру, только — как нарочно на грех — жених и отказался. Аграфена Степановна, воображая, что причиной отказа ее жениха — Федор Степанович, обнесла его пред тетушкой, которая ужасно не него разгневалась, и так как у нее был характер вспыльчивый, она тут же и говорит Федору Степановичу: «Будь ты проклят! Нет тебе моего материнского благословения! Я не хочу тебя видеть, ты мне и на глаза не кажись!»

Как он ни уверял тетушку, что он ни при чем в отказе жениха сестры Аграфены Степановны, тетушка и слышать не хотела его оправданий и прогнала его со своих глаз.

В такой гнев тетушка приходила довольно часто; так, помню я, что брат Николай Петрович, у которого был с братьями Толстыми какой-то общий процесс по одному спорному имению, будучи у тетушки, говорит ей:

— Вот, тетушка, у нас с братьями общее дело: брат мой Михаил и я затратили на нашу долю сколько следовало; столько нужно и братьям...

Тетушка не изволила дослушать и накинулась на брата; он был горяч, не спустил и что-то сказал грубо, тетушка и пуще гневается, и дошло тоже до проклятий и до запрещения: «Не кажись ты мне на глаза...» Так брат и перестал бывать у тетушки. Прошло немало времени, тетушка все еще гневалась на Федора Степановича; так он отправился и в поход, не получив в напутствие материнского благословения, и все причиной тому была Аграфена Степановна. И вот однажды просыпается она ночью, заподлинно я не знаю, где это случилось, и стоит пред нею брат ее Федор Степанович и выговаривает ей, что она лишила его материнского благословения. Сперва ей вообразилось, что она во сне это видит, потом думала,

---

* Село Сосково, где всегда жила княгиня Анна Ивановна Щербатова, после ее кончины досталось графине Александре Николаевне Толстой, а после нее, в 1820 году, разделилось на четыре части: самая большая, где и усадьба, досталась графу Степану Степановичу, где он умер и погребен (после него его часть была продана какому-то лекарю Функендорфу); другая часть досталась Владимиру Степановичу и отдана была его дочери Александре Владимировне Ковалевской, которая передала ее своей дочери Прасковье Александровне Бискупской; третья часть принадлежала Андрею Степановичу, а после него — его дочери Елизавете Андреевне Замятиной; наконец, четвертая часть досталась Марии Степановне Толстой и была продана г. Похвисневу.

что брат возвратился и хотел ее пугнуть, но потом явление исчезло. Она закричала, с ней сделались корчи, и после того от этого испуга у нее стало дергать лицо. Немного времени спустя получили известие, что Федор Степанович кончил жизнь. Тетушка очень горевала и упрекала себя, что не примирилась с сыном, а сестра Аграфена Степановна пуще прежнего стала мучиться совестью и стала бояться темноты, потому что ей все представлялся брат. Она всегда кликала в комнату свою горничную девушку, а по ночам кричала диким голосом; я сама это слыхала не раз, когда она гащивала у меня по зимам и ее комната была стена об стену с моею спальней; и так это продолжалось до самой ее кончины. Сама она никогда об этом не рассказывала, но, впрочем, не скрывала, что кричит ночью, да и скрыть этого было нельзя, потому что она очень страшно кричала, и незнающий человек, слыша это, мог бы подумать, что и Бог знает, что такое творится.

IV. Граф Михаил Степанович был очень хорош собою; он также не избег тетушкиного гнева, потому что женился против ее согласия; но Аграфена Степановна тут его выручила и, имея влияние на свою мать, уговорила ее не гневаться и примирила ее с братом. Он не оставил сыновей, но от обоих своих браков имел дочерей, живал в Москве мало, а все больше в своей самарской деревне, которая ему досталась по разделу.

V. Граф Николай Степанович родился 178⟨...⟩, умер 183⟨...⟩ года, был женат на Екатерине Алексеевне Спиридовой, дочери ревельского генерал-губернатора адмирала Алексея Григорьевича Спиридова, женатого, сколько мне помнится, на какой-то тамошней очень важной немке. Воспитанная в немецком городе, графиня Екатерина Алексеевна по-русски говорила очень плохо и с иностранным выговором и, чувствуя это, говорила все больше по-французски. Она была очень милая женщина, очень живого характера; смолоду была миловидна; под конец жизни очень страдала глазами, кажется, даже совсем ослепла и, не имея средств к жизни, жила у своей дочери Развозовой и тяготилась жизнию; там она и умерла.

Граф Николай Степанович долгое время жил в Ревеле, служил при своем тесте и детей своих тоже воспитал на немецкий лад.

VI. Граф Александр Степанович родился 179⟨...⟩, умер 185⟨...⟩ года, женат был на Марье Ивановне Головиной.* Оба смолоду были прекрасивые; Александр Степанович до старости сохранил прекрасный цвет лица; говорят, он был лицом в Щербатовых. Графиня Марья Ивановна под конец очень сделалась грузна, но в молодости она была высокая, стройная и очень красивая. Брат Александр Степанович был очень приветливого и ласкового характера и весьма радушный у себя дома. У него была престранная привычка: бывало, то зачастит и ездит два-три раза в месяц, то вдруг запропадет, не видишь его несколько месяцев. Один раз он у меня года с полтора не был; думаю, за что-нибудь на меня сердится. Ничуть не бывало: вдруг как с неба свалится и опять часто ездит, пока

---

* Впоследствии ее брат отыскал право на графский титул; в 1859 году он купил село Боброво, принадлежавшее детям Владимира Михайловича Римского-Корсакова.

не надоест. Он более тридцати лет жил в Москве, где имел собственный дом на Сивцевом Вражке; потом по смерти жены он уехал в свою орловскую деревню и там скончался.

VII. Граф Всеволод Степанович родился 179〈...〉, умер 1813 года, бездетный. Изо всех своих братьев был самой красивой наружности; женат не был, умер очень молодых лет.

VIII. Граф Андрей Степанович родился в 1796, умер в 183〈...〉 году, женат был на Прасковье Дмитриевне Павловой.

IX. Граф Петр Степанович родился в 1798, умер 27 сентября 1862 года в звании камергера; женат на Елизавете Васильевне Ильиной; постоянно жил в Москве и служил в дворцовой конторе; дом его был рядом с моим в Штатном переулке у Троицы в Зубове с 1830 года.

Дочери графа Степана Федоровича:

Графиня Елизавета Степановна, старшая из тетушкиных дочерей, была смолоду очень миловидна, с прекрасными глазами и темно-русыми волосами, и можно бы ее назвать даже красавицей, если бы довольно толстый нос не портил ее лица. Она была очень умна, рассудительна, правдива и прекрасного характера. В 1799 году стал у Толстых в доме часто бывать один молодой человек, сын графа Сергея Владимировича Салтыкова. Ему было с небольшим лет двадцать, очень приятной наружности, прекрасно воспитанный и единственный наследник после богатого отца, который был еще в живых и очень любил его. Так как мать Сергея Владимировича была сама по себе княжна Троекурова, то дядюшка Степан Федорович считал его своим родственником и сына его признавал дальним своим племянником и принимал ласково. Хотя дядюшка знал, что Григорий Сергеевич родился до брака (и потому не пользовался ни титулом, ни фамилией отца, а назывался Жердеевским), он не мешал ему ухаживать за дочерью. В 1800 году граф Салтыков умер, оставив жену (она была какая-то Марья Ивановна), сына и двух дочерей. Когда Григорий Сергеевич стал свататься за сестру Елизавету, дядюшка и сказал ему: «Я принимаю предложение и дочь свою тебе отдам, если ты выхлопочешь, чтобы тебя признали сыном и наследником графа Сергея».

Григорий Сергеевич отправился в Петербург, хлопотал по этому делу и добился желаемого: в год восшествия на престол императора Александра Павловича он и его две сестры, Пелагея и Аграфена, которых я сама знала, были признаны Салтыковыми и получили графский титул. Имение было очень значительное, думаю, что около двух тысяч душ, и все в хороших местах; а сестре Елизавете Степановне, хотя дядюшка имел и прекрасное состояние, дали только сто душ, потому что кроме ее было человек одиннадцать детей. Жениху было 23 года, невесте около 20. И скоро после того и была их свадьба. У них родилась дочь Александра, и больше у них детей еще и не было; жили они очень ладно, и когда в 1813 году граф Григорий Сергеевич умер, вдова его очень о нем горевала. Будучи еще молодою женщиной, она не хотела вторично вступить в брак и посвятила себя воспитанию Сашеньки, которой был уже седьмой год.

Графиня Аграфена Степановна, вторая из дочерей тетушки, была гораздо моложе;* она была невелика ростом и с очень заметным горбом. В молодости была недурна собой, но после того, как у нее была оспа, лицо совсем переменилось, нос как-то вытянулся, и она стала очень некрасива. У нее стали расти усы и борода, как у мужчины, и она их подстригала. Она была довольно умна и хитра и, так как умела подделаться к тетушке, водила ее за нос и ссорила с братьями. В разговоре ее было много забавного, но не всегда можно было положиться на то, что она говорит, потому что для красного словца иногда она много и прибавляла ради забавы.

По разделу после отца ей досталось небольшое именьице во сто душ в Орле (деревня Ельково, в десяти верстах от села Соскова); там была небольшая усадьба и фруктовый сад. Когда тетушка скончалась, она стала жить с сестрой Салтыковой и очень любила Сашеньку. После замужества Александры Григорьевны, когда Калошины более десяти лет безвыездно жили у себя в деревне в селе Смольном, она часть года проводила у них, летом живала у себя в орловском имении, а во время зимы месяца на три приезжала в Москву и гащивала у меня. Она более всех была дружна с Елизаветой Степановной, а с братьями и невестками не очень ладила: все знали пронырливый ее характер, не очень воздержный язычок и потому ее опасались и недолюбливали. И нельзя не признаться, что по ее милости точно было много у них в семье ссор и неприятностей между братьями, — так всех переплетет, что и не разберешь, кто прав, кто виноват.

Графиня Марья Степановна, самая младшая из сестер, родилась, я думаю, в 1792 или 1793 году. Она была лицом очень миловидна и интересна, и молодые люди находили, что у нее томный взгляд. Она была замужем за однофамильцем и дальним родственником Василием Алексеевичем Толстым, которого она очень любила, но не была с ним вполне счастлива.

Тетушка не была к Марье Степановне особенно нежна, а одно время даже и гневалась на нее и видеть ее не хотела за то, что Василий Алексеевич, не совсем долюбливавший Аграфену Степановну по одному обстоятельству (которое не умею рассказать, ну да это все равно), с нею посчитался и поговорил очень крупно. У той от досады и нос задергало, и чуть глаза изо лба не выскочили, тотчас пошла к тетушке, нажаловалась на зятя; может статься, что и не совсем так передала. Тетушка, разумеется, разгневалась, расходилась ужасно и, как это у нее водилось, тотчас давай клясть и дочь, как будто та виновата, что ее муж поссорился с ее сестрой.

Василий Алексеевич умер, я думаю, в 1834 году, и после его кончины сестра Марья Степановна поселилась в Калуге, потому что ее имение было поблизости, но в эту деревню после своего мужа не могла решиться съездить.

---

* Графиня Аграфена Степановна родилась января 1788 (?), умерла 23 декабря 1845 года в Москве, погребена возле своей матери в московском Новодевичьем монастыре.

IV

В 1816, 1817 и 1818 годах было у нас в родстве много свадеб и рождений, но в точности сказать, кто и в котором году женился или родился, за давностию времени не берусь...

О Толстых повторять не стану.

Двоюродная племянница моего мужа Марья Сергеевна Неклюдова вышла замуж за Владимира Николаевича Шеншина. Анна Николаевна Неклюдова, вторая из дочерей тетушки Марьи Ивановны Мамоновой,* вышла замуж за генерал-майора Сергея Васильевича Неклюдова, который находился недолгое время губернатором в Тамбове и во Владимире. У них было только две дочери, Варвара Сергеевна и Марья Сергеевна. Неклюдов умер в начале 1800-х годов. Анна Николаевна была очень умная женщина, но прегорячая и пресамонравная. Когда ее муж был губернатором, она вмешивалась в дела, заставляла все делать, что хотела, и оттого, говорят, дела не всегда справедливо решались, вследствие чего Сергей Васильевич и пострадал по службе. Он был человек благонамеренный и добрый, но слабый характером, и жена держала его в ежовых рукавицах, так что он и пикнуть не смел. Анна Николаевна была очень скупа и любила денежки, и нельзя не отдать ей справедливости, что она была мастерица устраивать свои дела.

Старшую свою дочь Варвару она очень любила и готова была для нее все делать, а меньшую Марью (или, как ее звали, — Маришу), она мало того что не любила, можно сказать, просто терпеть не могла. Варвара Сергеевна была высокая ростом, очень умная и предобрая, но собой не то чтобы дурна, а не совсем приглядна. Я всегда находила, что она похожа на портрет покойной моей матушки-свекрови, но только вдурне. Мариша также была немала ростом, прекрасно сложена, имела прекрасный цвет лица и очень приятный взгляд, но была не так умна, как Варвара. Старшая родилась в 1795 или 1796 году, меньшая была года на два или на три помоложе и в детстве была очень непонятлива в учении. Впрочем, это немудрено, потому что мать очень круто с ней обращалась и совсем от нее не скрывала, что ее не любит.

Покойник Дмитрий Александрович часто за это оговаривал Анну Николаевну:

— Как тебе не грех так обращаться с дочерью: разве она виновата, что ты ее не любишь?

— Терпеть ее не могу, предрянная девчонка...

— Да полно, сестра, не показывай ты ей, что ты ее не любишь...

— А что же, по-твоему, мне лицемерить, что ли, с ней?

Старшая сестра, имея доброе сердце, всегда была с меньшою хороша и часто потихоньку от матери ее ласкала и утешала, а впоследствии и помогала ей втихомолку.

Шеншин Владимир Николаевич был еще молод, когда он женился (думаю, что в 1817 году). В 1812, 1813 и 1814 годах он был в походах,

---

* См. выше, глава II.

был ранен под Лейпцигом и имел за это крест и в скором времени был произведен в генералы; не знаю, было ли ему тогда сорок лет.

Он рано лишился родителей и воспитывался у своей бабушки, отцовской матери. Он имел еще брата Семена Николаевича, который был потом женат на дочери хорошей моей приятельницы Елизаветы Васильевны Лужиной — Анне Дмитриевне. Шеншины эти орловские; их там целый уезд — Мценский, где искони ведется их очень старинная фамилия.[20] При своей женитьбе Шеншин служил еще в военной службе и имел казенную квартиру в Спасских казармах, куда мы и ездили отдавать визит молодым. После он вышел в отставку и служил в Опекунском совете почетным опекуном. Это было в тридцатых годах. По своей нелюбви к дочери Неклюдова ей почти что ничего не дала и прескудно наградила приданым. Из отцовского имения Марья Сергеевна получила что следовало, потому что нельзя было ей этого не дать, а из своего имения, кажется, только обещала дать, а едва ли что дала. Нерасположение к дочери перешло и на внучат. Одно время я перестала даже с нею из-за этого совсем видаться. Я ей говорила правду, а неприятная правда, как известно, глаза колет. Она меня разругала, выбранила, и я ее, и так мы перестали видаться и несколько лет друг к другу не ездили, но Варвара Сергеевна у меня всегда бывала в большие праздники и в известные дни. Когда в 1836 году Варвара была помолвлена за вдовца, генерала Владимира Григорьевича Глазенапа, Неклюдова приехала ко мне с женихом и невестой и после того опять стала у меня изредка бывать, но никогда у нас не было прежней короткости или искреннего расположения. Не я одна была с Неклюдовой в размолвке: она вздорила и ссорилась с моим мужем, с княгиней Авдотьей Николаевной Мещерской, которая тоже осуждала ее в лицо за дурное обращение с Шеншиными, а с Надеждой Николаевной Шереметевой (с сестрой Мещерской), с которою она была очень дружна, ссоры выходили очень часто: обе прегорячие, переругаются на чем свет стоит, раскраснеются как пионы. Неклюдова инде побагровеет, с обеих пот градом льет, обе кричат, что есть мочи, кто кого перекричит — ни дать ни взять два индейских петуха; скинут свои чепцы и дobраниваются простоволосые... просто — умора!

— Нога моя у тебя не будет, — говорит, картавя, Шереметева.

— Ну, и не прошу, очень мне нужно, — кричит Неклюдова, топая ногами; — убирайся скорее от греха, а я за себя не ручаюсь...

— Да, да, никогда к тебе не приеду, — приговаривает Шереметева, стуча кулаками по столу.

— Да сделай милость, убирайся...

Так и расстанутся, и бранят за глаза друг друга; кажется, навек рассорились; пройдет сколько там недель, глядишь, летит в дрожках на паре с пристяжкой Шереметева к Неклюдовой мириться.

— Ну что, картавая, сама ко мне приехала? — встречает ее с громким хохотом Неклюдова. — Что, скучно, верно, без меня, сама *припендерила*... Скажи ты мне, из чего ты только распетушилась на меня? Ну, ну, помиримся, я пред тобой виновата, прости меня... И снова у них совет да любовь, пока не повздорят из-за чего-нибудь опять.

Раз Неклюдова с Шереметевой опять из-за чего-то повздорили, разбранились — и не видаются; только как на грех Шереметеву разбили лошади и не на шутку: кажется, она руку ли, ногу ли переломила и лицо все ей избило, и старуху еле живую повезли домой и уложили в постель.

Узнала это Неклюдова: тотчас поехала навещать больную...

Что ж она ей придумала сказать в утешение?

Входит к больной, та лежит за ширмами, кряхтит, охает...

— Я ведь всегда говорила, что ты полоумная, — говорит Неклюдова, — и жду, что ты умрешь когда-нибудь у фонарного столба; мчится себе, как лихой гусар... Ну что, говорят, тебе всю рожу расквасило и кости переломало... диковинное дело, что тебя совсем не пришибло... Как это тебя угораздило?

Это она приехала навещать больную приятельницу, еле живую!

Ни у кого такого разговора, как у Неклюдовой, я не слыхивала; престранная была женщина!

Был у нее крепостной человек Николай Иванов управителем, так, говорят, она его не раз бивала до крови своими генеральскими ручками, и тот стоит, не смеет с места тронуться.

Когда рассердится, она делается, бывало, точно зверь, себя не помнит.

Многое мне не нравилось в ее характере и в обращении с людьми. У нее были швеи, и она заставляла их вышивать в пяльцах, а чтобы девки не дремали вечером и чтобы кровь не приливала им к голове, она придумала очень жестокое средство: привязывала им шпанские мухи к шее, а чтобы девки не бегали, посадит их за пяльцы у себя в зале и косами их привяжет к стульям, — сиди, работай и не смей с места встать. Ну, не тиранство ли это? И диви бы, ей нужно было что шить, а то на продажу или по заказу заставляла работать. Уж очень была корыстолюбива, только не впрок пошло все ее богатство. У Шеншиной было три дочери: Настасья, Екатерина и Александра и сын Сергей.

Изо всех Шеншиных более всех любила Неклюдова Сашеньку и ей дозволяла всякие шалости: прыгать по диванам и стульям, мять ей лицо, стаскивать с нее чепец, влезать ей на колени и всячески дурачиться, и при этом громко хохотала. Но с прочими двумя внучками и со внуком всегда обходилась довольно сурово и называла их шеншенятами.

В 1850-х годах Шеншин вышел в отставку и поехал жить в деревню, чтобы приводить свои дела в порядок. Там скончалась сперва Марья Сергеевна, а потом и он несколько лет спустя.

V

Около этого времени вышла замуж дочь другой двоюродной сестры моего мужа, Прасковьи Николаевны (рожденной Мамоновой) Кречетниковой, Степанида Ивановна, за Александра Гавриловича Жеребцова. Отец его Гавриил Алексеевич был женат на Лопухиной, а так как мать графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской была тоже Лопухина и она очень чтила память своей матери, хотя и не помнила ее, то она

считалась с этими Жеребцовыми родством: Александр Гаврилович приходился ей внучатым племянником. Графиня очень обласкала невесту, сделала ей прекрасные подарки и была на свадьбе. По возвращении молодых из церкви она приехала к ним в дом и пожелала познакомиться со всеми родными молодой.

— Родные жены становятся родными мужа, а родные моего племянника родня и мне; прошу всех присутствующих здесь пожаловать ко мне откушать.

И на другой или на третий день после свадьбы назначен был у Орловой в доме родственный обед.

Графине было лет тридцать с небольшим, она была моложава и, не будучи красавицей, имела самое привлекательное и приветливое лицо, что лучше всякой красоты. Держала она себя очень просто и безо всякого чванства; одета была, конечно, хорошо, но почти по-старушечьи: темное бархатное платье с прекрасным кружевом и длинная нить крупного жемчугу, в несколько раз обвитая вокруг шеи, спускалась до пояса. Такого жемчугу я и не видывала: каждая жемчужина была величиной как две самые крупные горошины, положенные одна возле другой, то есть продолговатые и удивительного блеска. Сказывали мне тогда, во сколько ценили эту нить, но наверное не могу сказать, а кажется, как будто бы в 600 тысяч ассигнациями.*

Графиня жила в своем доме в Нескучном. Для частного человека, и в особенности в то время, когда мало щеголяли домами, такой дом был просто дворцом. Стол был накрыт очень богато, все было из серебра, приборы золоченые, а десертные ножи и вилки золоченые с сердоликовыми ручками. Графиня за стол сама не садилась; на главное место посадила молодых, а сама во время стола все ходила и всех приветствовала; на хорах была музыка, везде премножество цветов. По окончании стола графиня подарила молодым весь сервиз, который был в употреблении при этом пире, а за столом сидело человек сорок или более. Какие кушанья были — не упомню; осталось у меня в памяти только одно, что подавали какую-то очень вкусную ананасную кашу. У Жеребцовых детей не было; дом их был у Красных ворот, против Запасного дворца.[21]

Брат Степаниды Ивановны Михаил Иванович не был женат. Где служил он сперва — не знаю, а после того долгое время был он звенигородским предводителем, и большое его состояние, тысячи три или четыре душ, и много денег расщипали его наследники, так как их было много. Он жил очень, очень туго, любил копить денежку, во многом себе отказывал или по крайней мере мало пользовался тем, что имел, и те, которым после него досталось, его, быть может, и *спасибом* не помянули.

У Анны Николаевны Неклюдовой был еще брат Петр Николаевич Мамонов, который имел сына Ивана Петровича и трех дочерей: Марью

---

* Вероятно, про эту нить изволила говорить блаженной памяти императрица Александра Федоровна: «je n'ai pas de perles telles que le comtesse Orloff» 〈«Таких жемчугов, как у графини Орловой, у меня нет» (*франц.*). — *Ред.*〉. Кажется, что впоследствии графиня просила государыню императрицу принять эту чудную нить, что, в утешение графини, по неотступной ее просьбе, императрица и изволила сделать (со слов одной приятельницы графини Орловой).



— Нет, Анна Николаевна, на такой обман я не соглашусь. . . и отчета не подпишу.

Она ужасно расходилась, выбранила его, и после того они долгое время друг на друга дулись и не видались.

Марья Петровна была за Алексеем Сазоновым и имела двух сыновей — Петра и Гаврилу и трех дочерей — Екатерину, Парасковью и Елизавету.* Анастасья Петровна была за Андреем Васильевичем Дашковым; у них было несколько человек детей, но в живых осталось только двое: Василий Андреевич (женат на Горчаковой) и Софья Андреевна за князем Гагариным; ** она была фрейлиной при государыне цесаревне Марии Александровне и была очень мила и приятной наружности. Меньшая, третья из Мамоновых, Елизавета Петровна, вышла за Шиловского Степана Ивановича, человека немолодого, очень богатого и прескупейшего. Бедная жена его не была с ним счастлива, весь свой век терпела лишения, зная, что муж ее имеет большие средства; он был очень крутого характера, любил копить и также себя во всем обрезывал. Не знаю, правду ли про него рассказывали, что будто бы, когда приходили к нему за деньгами на расход и на уплаты, с ним делались спазмы в груди и удушье, так что иногда приходилось долго выжидать, пока можно было ему снова напомнить о деньгах; может статься, это все и выдумка злых языков, но все-таки доказывает, что его считали способным расстраиваться из-за денег. Он был очень корыстолюбив, и так как давал деньги взаймы и не за малые проценты, то с ним было много разных приключений; да, кажется, и смерть его приключилась чуть ли не от огорчения, что у него на ком-то пропало много денег. . .

Иван Петрович Мамонов женат не был, собой был некрасив и ума очень посредственного; жил он постоянно у себя в деревне, кажется, где-то в Рязанской губернии. Он был небольшого роста, довольно полный, говорил очень странно, потому что пришепетывал, носил парик и любил молодиться. Он имел очень хорошее состояние. Умер он скоропостижно: приехав на время в Москву, он был у Шиловских в гостях и вечером прохаживался по комнатам со своей племянницей, вдруг та чувствует, что он на нее валится без чувств; послали за доктором, тот приехал, а он лежит мертвехонек. С ним пресеклась эта ветвь Мамоновых в мужеском колене.

---

* См. выше, глава III.

** Князь Григорий Григорьевич (сын князя Григория Ивановича и Екатерины Петровны, рожд. Соймоновой) родился 1810 г., апреля 29; сперва был флигель-адъютантом, долгое время после того служил в Тифлисе, который обязан ему украшением своего театра в грузинском стиле,[22] замечательного по своей изящности. Князь Григорий Григорьевич был женат сперва на княжне Анне Николаевне Долгоруковой (дочери князя Николая Андреевича и княжны Марии Дмитриевны Салтыковой), родилась в 1823, умерла в 1845 г. От первого брака у князя Григория Григорьевича была дочь, оставшаяся очень маленькою и, вероятно, не помнившая своей матери. Новая княгиня Гагарина приласкала свою падчерицу, запретила сказывать ей, что она дочь первой жены князя, и была с нею ласкова и нежна, как настоящая мать, так что та выросла, не зная, что она не дочь, а падчерица. Княгиня Софья Андреевна была очень умная, милая и во всех отношениях достойнейшая женщина. Князь Григорий Григорьевич был немалое время вице-президентом Академии художеств.



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

I

Вся осень 1817 года и зима 1818 года по случаю пребывания императорской фамилии в Москве прошли в больших веселостях: балы, собрания, праздники не прерывались, и все московские вельможи-хлебосолы наперерыв один пред другим старались забавлять и тешить высочайших гостей.

В эту зиму много было издержано на бальные наряды. Я для обеих дочерей заранее приготовила хорошенькие платья, потому что мне еще летом говорил Апраксин: «В Москву ждут двор к осени и на всю зиму, вы это имейте в виду и приготовьте, не спеша, хорошенькие туалеты для ваших барышень, потому что будут большие увеселения».

Так я и распорядилась: засадила своих швей за пяльцы и для каждой дочери приготовила по два белых платья, серебром шитых по шелковому тюлю; два платья были вышиты мелкими мушками или горошком серебряною нитью, через ряд матовою и блестящею, а другие два платья с большими букетами по белой дымке, что было очень нарядно, богато и легко.

Когда осенью мы возвратились в Москву, я велела сшить платья и показывала их Апраксину, большому знатоку в дамских туалетах, и он ими восхитился.

— Тюлевые платья, — говорил он, — я посоветовал бы вашим барышням надеть на бал в Благородном собрании, где будет много публики и туалеты не так заметны; а дымковые платья поберегите для моего бала, ежели царская фамилия меня осчастливит своим посещением.

Так мы и сделали. Об этом бале я уж говорила, рассказывая об апраксинских праздниках.

В тот год и балы в Собрании были очень нарядны и многолюдны; все, имевшие в Москве собственные дома, ежели хотели ездить в Благородное собрание, должны были записываться как члены, а посетительских билетов не могли иметь. Не помню, какой номер билета был у меня в тот год, но у которой-то из моих дочерей был № 1 000 для девиц; поэтому можно себе представить, по скольку персон бывало на больших балах в Благородном собрании.

II

Сверстницами моих дочерей были мои племянницы Неклюдовы и Дмитриевы-Мамоновы, которые иногда со мной выезжали и о которых я уже говорила; моя двоюродная сестра Машенька Толстая, княжны Шаховские, Вера, которая потом вышла за Жихарева, и княжны Ирина и Софья, дочери князя Павла Петровича; Львовы: Авдотья, Дарья и Варвара Михайловны; старшая из них была потом за Шидловским, а меньшая, вышедшая в немолодых летах за Головина, овдовев, пошла в монастырь и была игуменьей в Хотьковском монастыре и в Никитском; в монашестве она была названа (вместо Варвары) Верою.*

С Львовою я была коротко знакома, и мои девочки с ее дочерьми учились танцевать; дом Львовых был на Пречистенском бульваре на высокой стороне.** Старшие две дочери были из себя очень невзрачны, с носами, как у попугаев, но преумные и преученые и все три превеликие рукодельницы и *доточницы*[2] в разных работах, а в особенности в рисовании и в живописи. Меньшая, Варвара Михайловна, была очень недурна собой, полная, румяная, с серыми глазами, и очень она нравилась Симонову Александру Андреевичу, сыну Марьи Хрисанфовны, сестры Обольянинова. Очень увивался около нее Симонов и наконец сделал ей предложение. Мать Львова отказала наотрез: «Могу ли я отдать меньшую, когда старшие две сестры ее не замужем; выбирайте любую, вы мне нравитесь, и я отдам за вас дочь, но не меньшую».

Он говорит Львовой: «Мне Варвара Михайловна нравится, а не ее сестры».

— Нет, батюшка мой, не отдам: куда же мне старших девать, в соль, что ли, впрок беречь?

Так этот брак и не состоялся.***

У Львовой были еще сыновья: Дмитрий Михайлович, видный и красивый из себя; он умер в конце 1830-х годов, не будучи женат, и Андрей Михайлович, очень хорошенький в молодости, но после того обезображенный от оспы. Он был женат на Наумовой и при князе Дмитрии Владимировиче Голицыне был чиновником особых поручений.

---

* Варвара Михайловна Львова, замужем за полковником Василием Ивановичем Головиным (родилась 2 января 1802, умерла 11 марта 1875 г.), имела дочь, умершую в малолетстве, после кончины которой по совету митрополита Филарета она вступила в монашество в Зачатиевский московский монастырь, где построила себе келью с церковью и в нижнем этаже устроила богадельню для старух. Искусная в живописи, она сама писала все иконы устроенной ею церкви. В 1856 году она была посвящена во игуменьи в Хотьков монастырь; в 1858 переведена в московский Никитский, а в 1861 — в Новодевичий, где и находилась до 1867 года, до марта месяца. Чувствуя слабость здоровья, она отпросилась на покой и несколько лет прожила в Зачатиевском монастыре в устроенной ею келии, занимаясь вышиванием церковных одежд и облачений. Скончалась в 1875 году, имея около 80 лет от рождения, погребена в устроенной ею церкви.

** Ныне этого дома уже нет; на том месте, где он был, теперь дом московского городского головы г-на Третьякова.[1]

*** Александр Андреевич Симонов был впоследствии женат на Марье Сергеевне Кожиной, родной племяннице князя Петра Михайловича Волконского, сестра которого, княжна Екатерина Михайловна, была за генерал-адъютантом Сергеем Алексеевичем Кожиным.

После смерти Дмитрия Михайловича Львовы свой дом продали и стали где-то нанимать; а потом, когда Варвара вышла замуж за Головина, Дарья Михайловна уехала за границу и все больше там жила; так я их и потеряла из виду.

Иногда со мною выезжали Титовы — Надежда Васильевна и Вера Васильевна, а когда Вера Васильевна вышла замуж за Загоскина, то одна Надежда Васильевна, которая была уже зрелая девица. О ней расскажу подробнее.

III

Надежде Васильевне Титовой было далеко за 30 лет, когда после долгого времени ее мать дала наконец свое согласие на ее замужество с Павлом Михайловичем Балк. Это целый роман, которому трудно поверить; но так как все это происходило на моих глазах, то я и могу лучше кого-либо другого знать, что это не выдумка и не преувеличение: она была невестой без малого почти двадцать лет. . . Титовы жили тогда в нашем соседстве в их имении Сокольниках; это было в начале 1800-х годов. Надежда Васильевна была стройна, высока ростом, свежа лицом, словом сказать, во всей красоте: было ей лет около 20-ти. Очень она нравилась Балку Павлу Михайловичу, лет 30-ти с чем-нибудь, высокого роста, приятной наружности, и можно было бы назвать его совершенным красавцем, ежели бы он не был кос. Он служил в Москве в гражданской палате советником, жил со своею матерью, небогатою вдовой, и двумя сестрами девицами, очень уже немолодыми, и имел весьма посредственное состояние.

Для Титовой он совсем не был подходящею партией, но ей он нравился, и, хотя к ней сваталось много знатных и богатых женихов, она всем для него отказывала. Очень часто в летнее время Балк отправится, бывало, из Москвы в субботу с вечера в легонькой тележке в одну лошадь и на рассвете приедет к Титовым в Сокольники; целый день проведет у них или с ними у Апраксиных в Ольгове, у Шелашниковых в Коченове, у нас или у кого-нибудь из соседей и опять вечером отправится в путь, всю ночь едет и к рассвету опять в Москве.

Титова Анна Васильевна очень благоволила к Балку, но как только он станет свататься, так она и скажет ему: «Полно, мой батюшка, спешить, ведь время еще не ушло: езди к нам, ты видишь, я тебя принимаю охотно, ну, так чего же еще тебе. . . успеешь, спешить нечего». Тот опять ездит, вздыхает; Надежда Васильевна в него влюблена по уши, мать это видит, а не дает своего согласия. . .

Просят меня и моего мужа оба — и Титова, и Балк, чтобы мы поговорили за них Анне Васильевне. Мы как-то улучили удобное время, говорим ей: «Зачем вы томите и вашу дочь и Балка? Отчего вы не дадите своего согласия?».

Ну, уломали наконец старуху, согласилась, приняла предложение, дала слово, помолвила, начали приданое делать — и что же? — вдруг опять на попятный двор. «Не хочу этого замужества».

Да так и тянулось дело до 1822 года, пока наконец в самом деле не обвенчали помолвленных!

Никогда я не могла понять, для чего Анна Васильевна так тянула это дело и терзала и дочь свою и ее жениха; и никогда ни Надежда Васильевна, ни Балк не позволили себе пороптать на мать или пугнуть ее, что так как дано слово, то можно обойтись и без согласия, как иной раз теперь рассуждают молодые люди.

У Павла Михайловича Балка был старший брат Захарий, о котором я только слыхала, но никогда его не видывала, и две сестры, Аграфена и Анна Михайловны. После смерти своей матери они переселились из Москвы в Воскресенск, что возле Нового Иерусалима, и там жили до своей кончины. Аграфена Михайловна умерла последняя. У нее был собственный дом, не очень большой, но с огромным флигелем, в котором она давала приют богомольцам, приходившим в монастырь. Летом она любила сидеть на балконе или в палисаднике и сама, говорят, закликала к себе странниц, которым давали ночлег и пропитание. Она считала такое странноприимство делом богоугодным и очень печалилась, когда случалось, что не бывало странников или бывало немного. Будучи очень преклонных лет, она не могла работать ничего другого, кроме чулок, которых у ней было начато по нескольку пар, положенных в большую корзину. Вот она вяжет, вяжет, и вдруг спустит петлю; сама поднять не может, она и перестает вязать этот чулок и принимается за другой, пока опять не спустит петли, а поутру пошлет к соседке, у которой молоденькие дочери, и заставит всю свою вчерашнюю работу поправлять. Эти чулки она продавала и деньги употребляла на свой странноприимный дом, а иногда и чулки бедным раздавала.

Она была очень благочестивая старуха, богомольная, преумная и, говорят, преприятная в разговоре. Павел Михайлович * очень ее уважал, каждый год раза два езжал с своею женой ее навещать.

IV

В 1818 году мой новый дом на Пречистенке, начатый еще при жизни Дмитрия Александровича, был совершенно готов, и я могла туда наконец переехать на житье.

И радостно мне это было, и грустно, потому что не было уже в живых доброго моего друга.

Сестра Анна Петровна подарила мне на новоселье мебель красного дерева на всю гостиную и рояль моим дочерям.

В те шесть лет, которые прошли после неприятельского нашествия, Пречистенка опять застроилась, но оставались еще следы пожара. Напротив самого нашего дома, через улицу, на углу переулка, ведущего

---

* Надежда Васильевна скончалась 12 февраля 1852 г., а Павел Михайлович — года два спустя; оба они погребены в Новодевичьем монастыре, с южной стороны теплой трапезной церкви.

на Остоженку, был дом Шаховских, не наших, а других (князя Михаила Александровича, женатого на графине Головиной); до 1812 года дом был по улице; он сгорел, его разобрали и надстроили потом верх над бывшими конюшнями. Этот дом после того принадлежал Новосильцеву, вице-губернатору, а у него купили Толмачевы.

Дом Всеволожских, в свое время один из самых больших барских домов в Москве, тоже сгорел и оставался с тех пор развалиной, а рядом небольшой домик уцелел.

Всеволожские весело любили жить, и так как были очень богаты, имея золотые прииски (жена Всеволожского была, кажется, Бекетова или Мясникова, наверно не помню), то и давали большие праздники; это все было до двенадцатого года.

По левую сторону от нас, через переулок, бывший дом Архаровых купил Нарышкин Иван Александрович,[3] женатый на Екатерине Александровне Строгановой, родной племяннице княгини Анны Николаевны Долгоруковой. Нарышкины и мы были прихожане к Пятнице божедомской и, незнакомые домами, были знакомы по церкви, или когда встречались где-нибудь в обществе, или у Долгоруковых.

Ивану Александровичу было лет за пятьдесят; он был небольшого роста, худенький и миловидный человечек, очень учтивый в обращении и большой шаркун. Волосы у него были очень редки, он стриг их коротко и как-то особенным манером, что очень к нему шло; был большой охотник до перстней и носил прекрупные бриллианты. Он был камергером и обер-церемониймейстером.

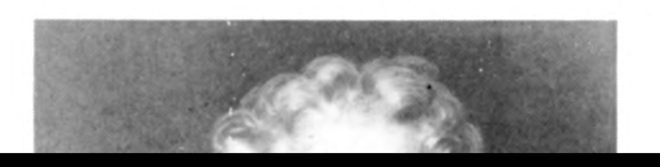
Жена его Екатерина Александровна была довольно большого роста, видная из себя, но в противоположность с своим мужем малообщительная. По своему отцу она приходилась троюродною сестрой князю Сергию Михайловичу Голицыну и этим очень кичилась.

Нарышкины имели трех сыновей и двух дочерей: Елизавету Ивановну, фрейлину, оставшуюся в девицах, и Варвару Ивановну, вышедшую за двоюродного брата нашего Неклюдова (Сергея Васильевича), тоже Неклюдова, Сергея Петровича.

Старший из сыновей Нарышкиных Александр Иванович был видный и красивый молодой офицер, подававший большие надежды своим родителям, живого и вспыльчивого характера; у него вышла ссора с графом Федором Ивановичем Толстым, который вызвал его на поединок и убил его. Это было года за два или за три до двенадцатого года.[4]

Этот граф Толстой был в свое время кутила и человек очень известный по своей разгульной и рассеянной жизни. Убив Нарышкина, он скрылся, долго путешествовал, был в Сибири, пробрался в Америку, где имел много приключений, и, возвратившись оттуда, был назван в отличие от всех других графов Толстых «Американец Толстой».[5]

Он был очень видный и красивый мужчина в своей молодости, а по возвращении из своих путешествий, когда немного позабыли про его дуэль с Нарышкиным и про другие грешки его молодости, он был некоторое время в большой моде, и дамы за ним бегали. Он был высокого роста,[6] совершенно смуглый, отчего, впрочем, нисколько не терял. Отец его Иван



V

По другую сторону нашего дома рядом с нами был дом князя Хованского, во время пожара Москвы также обгоревший. Рядом с этим домом на обширном дворе в углублении стоял деревянный ветхий дом графини Елизаветы Федоровны Орловой, рожденной Ртищевой, жены самого старшего из пяти братьев Орловых, графа Ивана Григорьевича, который умер задолго до того времени, как мы стали жить на Пречистенке, и я его не знала. С графиней Елизаветой Федоровной Орловой мы были знакомы домами в Москве, а в деревне считались соседками, потому что ее имение, село Андреевское, было в пяти верстах от Ольгова и в пятнадцати от нас, и пока графиня была в силах, мы все-таки раз или два бывали друг у друга во время лета. Двоюродные сестры Орловой — Ртищевы Марья Михайловна и Татьяна Михайловна были с нами дружны, и, бывая у них в деревне, я иногда встречалась и с Елизаветой Федоровной. Она была гораздо старее меня: женщина ласковая и приветливая, небольшого ума, но до того ко всем добрая, что ее очень простое обращение и немудрые речи были более каждому по сердцу, чем самые умные беседы. Она много делала добра и, пока имела средства, тайно благотворила; после ей пришлось распродавать по частям свои золотые вещи и жемчуги, а когда она умерла в 1834 году, все ее имущество было продано с молотка для покрытия ее долгов. Она по прежнему обыкновению содержала большую дворню, совершенно ей не нужную, но которую ей не хотелось распустить, а дворня ее объедала и обкрадывала. Между прочим, у нее была дура по имени Матрешка, которая была преумная и претонкая штука, да только прикидывалась дурой, и иногда очень резко и дерзко высказывала правду. Так она говаривала графине:

— Лизанька, а Лизанька, хочешь — я тебе правду скажу? Ты думаешь, что ты барыня, оттого что ты, сложа ручки, сидишь, да гостей принимаешь?

— Так что я, по-твоему? — со смехом спрашивает графиня.

— А вот что: ты наша работница, а мы твои господа. Ну, куда ты без нас годишься? Мы господа: ты с мужичков соберешь оброк, да нам и раздашь его, а себе шиш оставишь.

Эта дура очень любила рядиться в разные поношенные и никому не годные наряды: наденет на голову какой-нибудь ток с перьями и цветами, превратившийся в совершенный блин: платье бальное, декольте, из-под которого торчит претолстая и грязная рубашка и видна загорелая черная шея; насурмит себе брови, разрумянится елико возможно и в этом виде усядется у решетчатого забора, выходившего на Пречистенку, и пред всеми

потому что на дверках кареты были нарисованы амуры и гирлянды цвѐтов знаменитым художником Ватто) [8] сидели четыре фрейлины, теперь уже умершие: Е. И. Нарышкина, М. А. Волкова, А. И. Пашкова и не припомню, кто была четвертая. Графиня Евдокия Петровна Ростопчина, известная по своему живому, игривому уму, смотревшая откуда-то на въезд, воскликнула при виде этой кареты: «Voila une véritables voiture aux amours» ⟨«Вот уж действительно карета с амурами» (*франц. — Ред.*)⟩.

проходящими и проезжающими приседает, кланяется и посылает рукой поцелуи. Всех езжавших к Орловой ее дура всегда встречала и провожала и всегда просила: «Пришли мне цветочков, ниточек, дай башмаков бальных, дай румян. . .» В то время, хотя и не везде, у вельмож и богатых господ, как прежде, но водились еще шуты и дуры, и были люди, которые находили их шутки и дерзости забавными. В Москве на моей памяти было несколько известных таких шутов: орловская дура Матрешка, у князя Хованского, нашего соседа, дурак Иван Савельич, карлик и карлица у Настасьи Николаевны Хитровой. В 1817 и 1818 годах по Пречистенке то и дело что ездили лица царской фамилии и разные принцы на Воробьевы горы смотреть на приготовления к предполагавшемуся храму Христа Спасителя. Вот однажды покойный император Александр Павлович ехал по Пречистенке и, когда поравнялся с домом Орловой, слышит, чей-то голос громко кричит ему: «Bonjour, mon cher!»* Он взглянул направо и видит: за забором у Орловой сидит разряженное чучело в перьях, в цветах, нарумяненная, набеленная женщина, кривляется и посылает ему рукой поцелуи. Это его очень позабавило, он остановился и послал своего адъютанта узнать, что это такая за фигура? «Я орловская дура Матрешка», — отвечает она. Государь посмеялся и после прислал ей сто рублей на румяна. Матрешка эта была пресмешная: если кто из проходящих по тротуару ей понравится, схватит за рукав или за платье и тащит к себе: изволь с нею через решетку целоваться, а того, кто ей не полюбится, щипет или ударит.

Смутно помнится мне, что я слышала будто бы о каком-то романе этой Матрешки, что в молодости ей хотелось выйти за кого-то из орловской прислуги, но что господа не позволили и что после того она была долго больна, и когда выздоровела, то стала дурачиться.

Дурак Хованских Иван Савельич был на самом-то деле преумный, и он иногда так умно шутил, что не всякому остроумному человеку удалось бы придумать такие забавные и смешные шутки.

Хованские его очень любили и баловали. Для него была устроена особая одноколка, и лошадь дана в его распоряжение, и он пользовался этим экипажем и езжал на гулянья, которые бывали на масленице и на Святой неделе. В чем он катался зимой — не помню, а в летнее время он отправлялся на гулянье под Новинским в своей одноколке: лошадь вся в бантах, в шорах, с перьями, а сам Савельич во французском кафтане, в чулках и башмаках, напудренный, с пучком и кошельком и в розовом венке; сидит он в своем экипаже, разъезжает между рядами карет и во все горло поет: «Выйду ль я на реченьку» или «По улице мостовой шла девица за водой». И все эти вздоры забавляли и тешили тогдашнюю публику.

Тогда любили и каретные гулянья, которые были прекрасные и премноголюдные. Нить карет начиналась от Новинского, тянулась в два ряда по обеим сторонам, шла по Поварской, Арбатом, по Пречистенке от Знаменки и по Зубовскому и Смоленскому бульварам опять выходила

---

* «Здравствуй, любезный!» (*франц.*). — *Ред.*

на гулянье. В четверток на Святой неделе я обыкновенно приглашала к себе близких знакомых обедать, и после того молодежь садилась к окнам и смотрела на катающихся в каретах; некоторые, проехавшись по гулянью, приезжали к нам и оканчивали у нас вечер; другие, отобедав у меня, ехали на гулянье, приезжали к Хрущовым, к Нарышкиным или к Хитровой Настасье Николаевне, об которой, к слову, расскажу подробно.

VI

Дом Хитровой в Москве был один из самых известных и уважаемых в течение, может быть, сорока лет, и хотя Настасья Николаевна была не особенно богата, знатна и чиновна, не было в московском дворянском кружке от мала до велика никого, кто бы не знал Настасьи Николаевны Хитровой. Кого она не обласкала или приняла неприветливо? Дом Хитровой был всегда открыт для всех и утром, и вечером, и каждый приехавший был принят так, что можно было подумать, что именно он-то и есть самый дорогой и желанный гость. Я прожила на Пречистенке около двадцати пяти лет, и у меня остались в памяти о Хитровой только одни самые приятные воспоминания.

Дом, в котором жила эта московская старожилка, как я только стала себя помнить, значит, с 1780-х годов, принадлежал уже Хитровым, и батюшка, тоже родившийся в Москве в 1730 году, застал этот дом уже хитровским.[9] Свекор Настасьи Николаевны Петр Никитич был очень чиновный человек, при императрице Елизавете Петровне егермейстером, но я его уже не запомню, а жена его Ирина Федоровна, почтенная и милая старушка, была лет около восьмидесяти, а может быть, и более, когда она скончалась незадолго до двенадцатого года. Она была сама по себе княжна Голицына, дочь князя Федора Алексеевича. Хорошенькая и субтильная старушка, слегка напудренная, в круглом чепце, то, что называли старушечьим чепцом (à la vieille), с большим бантом; в робронде, но со шлейфом; на высоких красных каблуках[10] и нарумяненная во всю щеку; в приемах, в обращении — в полном смысле большая барыня; до последнего времени все езжала цугом и в золоченой карете с двумя лакеями. Ее мать была Лобанова, а бабушка, отцова мать, княжна Хилкова, и тоже Ирина Федоровна, в честь которой, верно, и она была названа Ириною, а ей в честь — дочь Никиты Петровича, Ирина Никитична, что была за князем Урусовым.

Я еще не родилась, а Хитрова Ирина Федоровна была уже вдовой и жила в Зубове, где был дом и у тетушки Анны Васильевны Кретовой, батюшкиной двоюродной сестры, к которой мы часто езжали.

Настасья Николаевна, сама по себе Каковинская, была дочерью московского обер-коменданта Николая Никитича, женатого на Марье Михайловне Сушковой, и была постарше меня не более как лет на пять. Она была отменно мала ростом, но до того мила, пропорциональна и лицом приятна, что и в мое время, когда было очень много хорошеньких и красавиц, что называется, писаных, ни вокруг кого на балах не вертелось

столько мотыльков, как около этого *розанчика*. Князь Иван Михайлович Долгоруков и не в молодых уже летах, дважды вдовец и отец большой семьи, со вздохом все вспоминал и рассказывал, как хороша и мила была Каковинская и как он был в нее влюблен.[11] Слыхала я (но правда ли или нет — не ручаюсь), что когда сватался Хитров за Каковинскую и ожидали на *смотрины* будущую свекровь, то, опасаясь, чтобы невеста не показалась слишком мала ростом, ее и поставили на скамейку и дали в руки держать поднос с чем-то и не велели ей сходить с места, а только кланяться и просить, то есть потчевать. Никита Петрович, муж Настасьи Николаевны, был красивый и видный мужчина; где он служил, я что-то не знаю, но имел он генеральский чин, и в какое время скончался, теперь не могу припомнить; думаю, что до 1812 года.

Хитрову все знали в Москве и все знавшие ее любили, потому что она была одна из самых милых и ласковых старушек, живших в Москве, и долго ее память не умрет, пока еще живы знавшие ее в своем детстве. Вот почти две современницы, Офросимова и Хитрова, подобных которым не было и не будет более: одной все боялись за ее грубое и дерзкое обращение, и хотя ей оказывали уважение, но более из страха, а другую все любили, уважали чистосердечно и непритворно. Много странностей имела Хитрова, но и все эти особенности и прихоти были так милы, что — смешные, может быть, в другой — в ней нравились и были ей к лицу.

Одевалась она на свой лад: и платье, и чепец у ней были по особому фасону. Чепец тюлевый, с широким рюшем и с превысокою тульей, которая торчала на маковке: на висках по пучку буклей мелкими колечками (boucles en grappes de raisin),* платье капотом, с поясом и маленьким шлейфом, и высокие каблуки, чтобы казаться как можно выше. Лицо ее и в преклонных летах было очень миловидно, и живые глазки так и бегали. Она была очень мнительна и при малейшем нездоровье тотчас ложилась в постель, клала себе компрессы на голову и привязывала уксусные тряпички к пульсу и так лежала в постели, пока не приедет к ней кто-нибудь в гости. Поутру она принимала у себя в спальной, лежа в постели часов до трех; потом она вставала и иногда кушала за общим столом, а то и одна у себя в спальной. Вечером она выходила в гостиную и любила играть в карты, и чем больше было гостей, тем она была веселее и чувствовала себя лучше. А когда вечером никого не было гостей, что, впрочем, случалось очень редко, она скучала, хандрила, ей нездоровилось, она лежала в постели, обкладывалась разными компрессами, посылала за своею карлицей или Натальей Захаровной, которая пользовалась ее особою милостью и с ее плеча носила обносочки и донашивала старые чепцы.

— Ну, садись, — скажет она ей, — рассказывай.

И Захаровна начинает высыпать все, что она слышала и что может интересовать ее госпожу.

Если Захаровна рассказывает незанятное что-нибудь, Хитрова только лежит и слушает и скажет: «Ну, хорошо, довольно, пошли ко мне. . .

---

* букли в виде виноградных кистей (*франц.*). — *Ред.*

такого-то»; иногда позовет карлика, не помню, как его звали. Если же Захаровна затронет какую-нибудь живую струну и *потрафит* барыне, та вскочит и усядется на постели, ножки крендельком, и станет расспрашивать: «Кто же тебе сказал? от кого ты узнала? . . ты мне только скажи, а другим не сказывай, а я никому не скажу. . .»

Она была любопытна, любила все знать, но была очень скромна и умела хранить тайну, так что никто и не догадается, знает ли она или нет.

Она не любила слышать о покойниках и о том, что кто-нибудь болен, и потому домашние от нее всегда скрывали, ежели кто из родных и знакомых заболеет, и молчат, когда кто умрет. Захаровна прослышит, что умер кто-нибудь, и придет в спальню к ней и шепчет ей: «Сударыня, от вас скрывают, что вот такая-то или такой-то умер: боятся вас расстроить».

Хитрова значительно мигнет, кивнет головой и скажет шепотом Захаровне: «Молчи, что я знаю; ты мне не говорила, слышишь. . .»

Пройдет ден десять, недели две, Хитрова и скажет кому-нибудь из своих:

«Что это я давно не вижу такого-то, уж здоров ли он?»

Вот тут-то обыкновенно ей и ответят:

— Да разве вы не слыхали, что его давно уже и в живых нет. . .

— Ах, ах. . . да давно ли же это? — спросит она.

— Недели две или три, должно быть.

— А мне-то и не скажет никто, — говорит она.

И тем дело и кончится, и об умершем больше нет и помину.

Жило у Хитровой семейство Крымовых — старушка мать и с нею несколько дочерей-девиц. До 1812 года Крымова имела свой дом в Москве, который во время неприятельского нашествия сгорел, и она лишилась всего состояния. Хитрова приютила бесприютных у себя в мезонине, и они жили у нее несколько лет. Одна из барышень Крымовых была прекрасная собою, и ее очень полюбила графиня Анна Алексеевна Орлова и поместила в какой-то институт, а потом взяла к себе, веселила ее, и молодая девушка имела успех по своей красоте и по своему замечательному голосу. Но, несмотря на все услаждения светской жизни и на жизнь в богатом доме, она пожелала вступить в монашество. Графиня, хотя и сама была благочестива, отговаривала, однако, молодую девушку от ее намерения, не доверяя, быть может, ее молодости и считая это увлечением; но по прошествии двух-трех лет молодая девица поставила на своем и, отказавшись от всего, пошла в монахини. Потом она была казначеей в петербургском девичьем Воскресенском монастыре при игуменье Феофании Готовцевой; она была названа в монашестве Варсанофией. Ее сестра, жившая у Хитровой, вдруг занемогла, все хуже, хуже ей и, наконец, умерла в мезонине, где жила почти над самою спальной Настасьи Николаевны. Сказать ей боятся, а выносить покойницу нужно, и приходится нести через ту комнату, которая между спальной Хитровой и передней. Княгиня Урусова Ирина Никитична и Екатерина Федоровна Хитрова шепчутся между собою, не знают, что им делать: сказать боятся, а не сказать нельзя. Выручила из беды Наталья Захаровна: «Прикажите

только пораньше сделать вынос, а я уж знаю, что сказать, ничего не услышит и не спросит».

По совету Захаровны пригласили прийти священника с причтом, и рано-ранехонько, как можно тише, старались снести сверху и пронести в переднюю. Княгиня и Екатерина Федоровна ни живы ни мертвы — боятся, что Настасья Николаевна услышит. А Наталья Захаровна между тем уж побывала у своей барыни: вошла в комнату на цыпочках; барыня не спит; подошла к ней, оглянулась, чтобы посмотреть, нет ли кого за ней в дверях. Хитрова, должно быть, смекнула, в чем дело, спрашивает шепотом: «Что?» — «Умерла», — шепчет ей Захаровна, указывая пальцем наверх. Хитрова кивнула головой: «Ну и молчи», — шепчет она. Покойницу вынесли, схоронили, а Настасья Николаевна даже и не помянула об ней, не спросила — жива ли она, где она, как будто никогда ее и не бывало!

Кто была старушка Крымова, родня ли Хитровым или Урусовым — не знаю, или только из приязни и по доброте своей приютила эту семью Настасья Николаевна, этого сказать не умею. Потом я потеряла их из виду и больше про них не слыхала; это было в 1830-х годах.

Иногда Настасье Николаевне ночью не спится, вот и позовет она девушку.

— Подай-ка мне шкатуночку.

Принесут ей сундучок; она отопрет его и начнет вынимать оттуда мешочки: в одном изумруды, в другом яхонты, в третьем солитеры...

На другой день и рассказывает кому-нибудь:

— Мне ночью что-то не поспалось, и я перебирала все свои солитерчики, которые для Настеньки готовлю.

Это была ее внучка, дочь княгини Ирины Никитичны Урусовой, княжна Настасья Николаевна, вышедшая за Ивана Сергеевича Мальцева, которую она очень любила.

У Настасьи Николаевны Хитровой было две дочери: Ирина Никитична, за князем Николаем Юрьевичем Урусовым, и девица Екатерина Никитична. Урусова в молодости своей была очень приятной наружности, довольно худощавая и с детства имевшая отвращение ко всякой мясной пище, отчего не могла обедать с другими, потому что даже и самый запах всего мясного ей был противен. Это объясняли тем, что она страдала от солитера, а другие думали — думаю и я так, — что по своему благочестию она не желала вкушать мясной пищи, но по своему христианскому смирению скрывала это под предлогом отвращения. Княгиня была особенно добра и снисходительна и не только никогда сама ни про кого не отзывалась дурно, но не могла терпеть, чтобы при ней и другие про кого-нибудь злословили, и всегда при первом слове, бывало, остановит. Эта душевная доброта княгини выражалась на ее лице, которое и в немолодых летах имело совершенно ангельское выражение. Оставшись после кончины своего мужа очень еще молодою вдовой, она посвятила себя воспитанию своих троих детей (двух сыновей, князя Сергия Николаевича, князя Дмитрия Николаевича, и княжны Настасьи Николаевны) и ухаживанью за матерью-старушкой. Она была истинная христианка, благочестивая,

богомольная, сострадательная и, живя в мире, вела жизнь не только монахини, но я думаю, что не погрешу, ежели скажу, что она была праведница. Под каждое воскресенье и под каждый праздник у Хитровых непременно была на дому всенощная.

Если у кого из знакомых было горе или семейная потеря — поезжай в этот дом и наверно или встретишь княгиню Ирину Никитичну, или услышишь, что она уже была. Выдав свою дочь за Мальцева, она перестала ездить в свет и дома принимала только до кончины своей матери, а после того стала вести жизнь самую уединенную. Господь видимо наградил ее в этой еще жизни: дочь она пристроила как нельзя лучше, сын женился по ее мысли, и она про свою невестку говаривала с восхищением и называла ее ангелом, а другой ее сын, князь Дмитрий, вступил было в монастырь, но, слабый здоровьем, не могши вынести строгости монашеской жизни, возвратился домой и, чуждый всего суетного, мирского, посещая церковь, продолжал жить у себя дома, как в келье.

Меньшую дочь Хитровой, девицу Екатерину Никитичну, никогда никто из посторонних не видывал:[12] кто говорил, что она родилась слабоумною, а кто сказывал, что она слепорожденная, но жила она немало и умерла (в год Клеопатриной кончины) в 1848 году, имея лет 60 от рождения.

В доме у Хитровой жила ее двоюродная племянница Екатерина Федоровна Хитрова, пожилая девица, дочь Федора Александровича и внука Александра Никитича, то есть дяди Никиты Петровича. Она имела собственный дом напротив дома Урусовых, но в нем помещалась аптека Блехшмидта, а сама Екатерина Федоровна жила у тетки и после ее кончины осталась жить с княгиней Урусовой и в ее доме окончила жизнь. Ее брат Николай Федорович был женат на дочери князя Кутузова-Смоленского, был где-то посланником и умер в чужих краях.[13]

Пока не была еще замужем княжна Урусова, у Хитровой бывали балы и танцевальные вечера; роскоши в доме не было: зала была невелика, однако для пол-Москвы доставало места, и все веселились больше, может быть, чем теперь веселится молодежь, потому что и гости менее требовали от хозяек, и хозяйки были так приветливы и внимательно радушны, как теперь, я думаю, немногие умеют быть со своими гостями.

Вот еще особенность в характере Настасьи Николаевны Хитровой. Она была не то что малодушна, а очень вещелюбива, любила, когда ей привозят в именины и в рожденье или в новый год какую-нибудь вещицу или безделушку. Она не смотрела, дорогая ли вещь или безделка, и трудно было угадать, что ей больше понравится. Для всех этих вещей у ней было несколько шкапов во второй гостиной, и там за стеклом были расставлены тысячи разных мелочей, дорогих и грошовых. Она любила и сама смотреть на них, и показывать другим, и ей это доставляло большое удовольствие, когда хвалили ее вещицы.

Вообще обо всем семействе Хитровых и Урусовых следует сказать, что это было истинно благочестивое и христианское семейство, гостеприимное, радушное, где никто из гостей не был стеснен, каждый чувствовал себя как бы дома, но никто не смел дозволить себе ни малейшего двусмысленного слова и, Боже избави, злословия на счет ближнего. Все только и

помышляли о том, как бы угодить почтенной старушке, умевшей заслужить всеобщее уважение московского общества, которая родилась, жила весь век в Москве, умерла, будучи почти 80 лет,* и никого никогда не обидела, никому не казала жесткого слова, и потому никто не помянет ее лихом, но все с сожалением вздохнут о ней и помянут добром.

VII

Сестра Анна Петровна, давно собиравшаяся вступить в монастырь и подготовлявшая все к своему выходу из мира, после нескольких лет испытания решилась, наконец, исполнить свое давнишнее намерение. Последние годы она больше все жила у брата Николая Петровича в Москве, в его доме на Знаменке, а летом — в селе Покровском, в маленьком летнем домике и частию гостила у нас. Свою костромскую деревню по смежности с деревнею брата сестра отдала ему, а себе выговорила пожизненную плату по скольку-то в год; серебро свое частью отдала мне, сестре Вяземской и Комаровой; также раздала и деньги. Во время стройки дома я заняла у сестры 18 тысяч ассигнациями; она отдала их Грушеньке и Анночке и оставила себе только на приобретение кельи и на самонужнейшие расходы.

Изо всех московских монастырей ближайшие от всех нас были два: Алексеевский — у Пречистенских ворот и Зачатиевский — за Остоженкой. Оба монастыря были прекрасные, но первый был совсем на юру и на шумном месте, а Зачатиевский и теперь в глухом месте, в то время был почти и совсем за городом, и, кроме того, там была церковь, строенная нашими Римскими-Корсаковыми, и дедушка, батюшкин отец Михаил Андреевич, там погребен вместе с своими родителями. По этой причине сестра и облюбовала этот монастырь.

Мы всегда часто езжали в этот монастырь и очень к нему привыкли. Когда у батюшки был еще старый дом у Ильи Обыденного, откуда я шла замуж, мы зачастую бывали там по воскресеньям и праздникам, знали игуменью и многих монахинь и были там точно у себя. В детстве моем там была игуменья Амфилохия, а в скором времени после моего замужества туда поступила Доримедонта, из рода Протопоповых, и скончалась в 1817 году в преклонных летах. Сестра при ней еще устроилась насчет кельи, но не суждено ей было пожить при ней.

Бывшая игуменья Георгиевского девичьего монастыря (который после 1812 года был упразднен) старица Митрополия поступила в 1818 году в Зачатиевский монастырь. Она была добрая и простая старуха, но уж очень бестолкова, и при ней-то пришлось моей сестре быть в монастыре, а казначея была мать Палладия, преумная, престрогая, которая очень понравилась сестре, и она избрала ее себе матерью-наставницей. Очень было мне грустно расставаться с сестрой пред ее поступлением в монастырь, и в первое время ее там пребывания она просила всех нас, своих

---

* Родилась в 1764 году; скончалась 1 января 1840 года.

знакомых и родных, чтобы мы ее не посещали и дали ей привыкнуть к своей келье.

Отказываясь от всех сует житейских, сестра устроилась в своей келье как возможно проще и, кроме полудюжины серебряных столовых и чайных ложек, ничего ценного и дорогого с собой не взяла. Три небольших комнатки и кухонька, в которой поместилась Спиридоновна-стряпуха, благочестивая вдова-солдатка, жена одного солдата, убитого в 1812 году, — вот келья, в которую переехала сестра Анна Петровна. Она вела самую уединенную и монашескую жизнь: ходила в церковь постоянно ко всем службам, келий чужих не посещала, у себя занималась рукоделием, работала что-нибудь для церкви, и так как хорошо вышивала золотом, то вышила много для церкви по карте. К себе она принимала всех, кто приходил, и сказала раз навсегда Спиридоновне, чтобы тем из монахинь, которые придут попросить чего-нибудь: муки, крупы, маслица и т. п., ни в чем никогда не отказывать, и каждый день хотя несколько копеек положила себе всегда подавать нищим, которые стоят при выходе из церкви, а тогда их бывало очень много.

В числе прочих нищих, которые прихаживали в Зачатиевский монастырь, была одна нищенка с девочкою лет пяти или шести; мать нередко испивала и бедную девочку, холодную и голодную, нередко спьяна бивала. Монашенки из жалости иногда отнимали бедняжку у пьяной матери, приводили к себе в келью, отогревали, отмывали, кормили досыта и, продержав у себя несколько часов, а кто день и два, опять отдавали матери. Девочка была очень неприглядна лицом, немного рябовата, но преживая, преумная. Кто-то из монахинь говорит однажды сестре Анне Петровне, — это было еще в 1808 или в 1809 году: «Сделали бы вы доброе дело и взяли бы к себе бедную девочку, она когда-нибудь или с голода помрет, или мать погубит ее».

Сестра была очень добра, ее разжалобили, и она решилась девочку взять; звали ее Аленушкой. Когда стали говорить об этом пьяной нищенке, она вместо того, чтобы благодарить Бога, что к хорошему месту пристраивает своего ребенка, начала ломаться: «Невыгодно мне, меньше будут подавать». Однако нищенку уговорили, сунули ей в руку сколько-то денег и девочку выручили, и в скором времени нищая умерла, а девочку взяла к себе сестра Анна Петровна. Когда брат Николай Петрович женился, сестра в скором времени стала больше жить у брата, и невестка Марья Петровна расположилась к Аленушке и взяла ее на свое попечение. Девочка оказалась преумная и преспособная, ей дали хорошее воспитание и всему, чему следует, учили. В особенности она имела расположение к рисованию и очень хорошо впоследствии рисовала и писала масляными красками, и когда Настенька, дочь брата, стала подрастать и учиться, Аленушка, будучи гораздо старше, чем она, была для невестки моей большою подмогой: она следила за уроками и была правою рукой в доме. Когда Елене Даниловне было около сорока лет, нашелся очень хороший человек, отставной полковник Александр Андреевич Протасов, за которого она вышла замуж; брат прилично наградил ее, они купили себе именьице возле Черни и там жили; детей у них не было. Елена Даниловна была

очень хорошая, умная и рассудительная женщина, всею душой преданная семейству брата, и вознаградила за те попечения, которые о ней имели в ее детстве и молодости.

Мать Палладия, строгая и опытная в жизни монашеской, приняв под свое руководство сестру Анну Петровну, вела ее как следует путем нелегким и была к ней очень взыскательна, а по-нашему, по-мирскому, даже и слишком сурова. Иногда приедем мы к сестре на целый день, она и скажет нам: «Вы говорите, а я буду молчать». И весь день, а иногда и несколько дней сряду она молчит: значит, что мать Палладия запретила ей говорить. Иногда она целый день оставалась без пищи и питья или ей велено было лежать. Все, что мать Палладия говорила ей делать или не делать, она исполняла беспрекословно и никогда нимало не роптала. Я всегда удивлялась ее терпению и нередко осуждала за то, что ее слишком строго испытывали.

Сестра ходила в церковь и там читала по очереди псалтирь и синодик. В непродолжительном времени ее постригли в ряску, и несколько спустя она пожелала и настоящего пострижения, то есть в мантию; об этом скажу после.





ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

I

В 1819 году в первых числах марта преставился архиепископ Августин, управлявший московскою епархией более пятнадцати лет. Он еще при жизни покойного митрополита Платона стал заведовать делами, когда тот по старости лет и по болезненности своей отказался от управления. Москва привыкла к нему, и хотя его не особенно любили, но все о нем очень жалели. Покойный Дмитрий Александрович и я — мы не были с ним коротко знакомы и бывали у него только тогда, когда имели какую нужду по нашей церкви, но часто с ним встречались у Обольянинова, видались у Апраксиных, у сестры Неклюдовой и у других некоторых наших знакомых. В то время вообще как-то нечасто езжали к архиереям: сами ли они были чересчур недоступны, или светские люди не очень домогались втираться в дом к архиереям, только к ним мало езжали и не докучали им, как потом это завелось в Москве, разумеется, кроме особых случаев знакомства, как вот, например, дядюшка граф Степан Федорович Толстой, который был дружен с преосвященным Тихоном Задонским и вел с ним переписку. Да и архиереи мало посещали нашу братию, за исключением городских должностных сановников или каких-нибудь особенно сановных особ. Но в губерниях архиереи больше имели общения с дворянством, и у батюшки в Боброве преосвященные бывали, и он их угащивал с подобающим приличием.

Преосвященному Августину, когда он преставился, было лет пятьдесят с чем-нибудь, не более.

Он был из себя хорош, сановит и важен, в служении величествен, несмотря на то, что был невелик ростом и не по росту тучен. Цвет лица у него был отменно ярок, был и румянец во всю щеку; взгляд имел приятный, но внушающий уважение. Проповеди он сказывал мастерски и всегда приличные обстоятельствам; в этом он имел большую сноровку и в двенадцатом году имел много случаев выказать свое красноречие,[1] потому что обстоятельства были потрясающие. Тогда он составил молитву на изгнание супостатов, сочинил пастырское увещание, и говорили, что и в составлении манифеста государя он принимал участие.

Митрополит Платон к нему особенно благоволил и просил государя, чтобы Августина у него не брали и никуда не переводили; потому-то он с 1804 года и до своей кончины в 1819 году все в Москве и находился, а то бы его давно куда-нибудь в губернию непременно вывели.

Государь его очень жаловал и оказывал ему доверие и награждал немаловажно: он был еще дмитровским епископом, когда получил Александровскую ленту,[2] а потом имел эту кавалерию, украшенную алмазами,[3] алмазный крест на клобуке [4] и очень ценную панагию, пожалованную от государя. В 1818 году он был переименован из дмитровского епископа в архиепископа московского и коломенского, и, поживи он еще год или два, мы увидели бы его московским мирополитом, но Господь веку ему не продлил. И отчего он умер? Не знаю, многим ли это известно. Вообще говорили, что он скончался от тяжкой болезни и даже будто бы от чахотки. Это вздор: он был преплотный из себя, а ему придумали смерть от чахотки! Он умер просто-напросто от икры. Но как было сказать, что кончина архиерея последовала от икры? — неприлично. Как будто и святые не умирали, съеденные от зверей, когда Господь попускал; мало ли какой случай может выйти; тут конфузного ничего нет для святителя. Вот как это случилось.

Преосвященному прислал кто-то в гостинец перед масленицей большую банку зернистой икры, которую он любил кушать каждый день. В субботу либо в воскресенье ему мало ли подали к столу икры, или вовсе не подали, только он, сидя уже за столом, потребовал, чтобы принесли. Келейник бросился на погреб опрометью и от поспешности поскользнулся, упал и разбил банку. Зная горячий и вспыльчивый нрав владыки, келейник не решился доложить ему о том, что случилось. Страха ради, служка наскоро выбрал самые крупные осколки стекла и подал икру на тарелке. Преосвященный кушал торопливо, а тут он был еще в сердцах, что заставили его дожидаться, стало быть, ел, не замечая, что глотает мелкие кусочки стекла... К вечеру он стал чувствовать спазмы в желудке, страшную резь; тотчас послали за его доктором Мудровым. Сделалось воспаление, и в несколько дней так его свернуло, что на первой неделе пришлось петь над ним «со святыми упокой».

Погребение было торжественное, и в Кремле, где отпевали, собралось народу премножество; но мне не пришлось, не помню почему, быть самой на погребении. Потом тело повезли в Троицкую лавру и там положили в Успенском соборе на том месте, которое он для себя облюбовал. Рассказывали мне, что года еще за два или за три до своей кончины, будучи однажды в лавре, он вошел в Успенский собор и — ни с того ни с сего — остановился с левой стороны собора, где положен какой-то рязанский архиерей,* и, посмотрев, сказал: «Здесь просторно, здесь и для меня место будет». Так по его желанию его и схоронили у западной стены напротив южных дверей.

Отец преосвященного Августина был сперва в Москве дьячком, а потом священником; звали его Василием. Он занимался иконописанием и, когда был причетником при церкви Большого Вознесения, что на Никитской, имел случай сделаться лично известным князю Потемкину, который жил в его приходе, и заслужил его милостивое к себе расположение; по прозвищу он был Виноградский. Будучи искусным в иконописании, он

---

* Моисей, архиепископ рязанский, умер в 1651 году, живя на покое в Троицкой лавре.

участвовал в числе трудившихся мастеров над поновлением стенной иконописи московского Успенского собора,[5] при императрице Екатерине в 1770-х годах, и преосвященный Августин, говорят, всегда с умилением взирал на стенные изображения святых в этом соборе, почитая память своего родителя, и старался угадывать, что было делом его кисти, а может статься, и знал понаслышке, что именно его трудов. После двенадцатого года, когда после неприятельского разорения обновляли Кремль и все соборы и храмы под наблюдением преосвященного Августина, он в особенности заботился о том, чтоб Успенский собор был приведен совершенно в прежний вид, не столько, может статься, потому, чтобы имел попечение о сохранении старины, сколько желал, чтоб уцелели труды его отца.

II

Мудров, который был врачом преосвященного Августина, в свое время имел большую известность и почитался весьма искусным и опытным. Он был хороший человек и добрый старик, но горяч нравом, и потому у него не раз выходили с преосвященным размолвки и ссоры, так что они подолгу друг с другом не видались. Раз как-то они о чем-то поспорили, сперва шутя, по-дружески покалывали друг друга; но преосвященный, как это с ним иногда бывало, разгорячился вдруг взаправду и Мудрова задел каким-то словцом за живое. Тот тоже был самолюбив и самонравен, — как ни крепился, а вспылил.

— Вы, я вижу, владыко, начинаете сердиться; при вашем сложении вам это вредно, и потому я вас оставлю.

— Сделай милость, уходи, давно бы пора: ты мне надоел своим спором.

— А, я вам надоел, благодарю покорно... Так прощайте же, я вам больше не слуга, ищите себе другого врача; я вас лечить не стану...

— И не нужно, убирайся вон...— кричал, вскочив, Августин, — кланяться вашему брату не буду...

На лестнице Мудров повстречался с секретарем преосвященного Малиновским, который, услышав, что владыка кричит и топает ногами, бежал снизу узнать, что такое приключилось.

— Что владыка? — спрашивает он.

— Что? — с досадой передразнил его Мудров, — чего тебе спрашивать: разве ты его не знаешь? Рассвирепел... Вот помяни ты мое слово, что хватит его когда-нибудь удар наповал, так что и не пикнет.

Так они и рассорились и перестали видаться. Преосвященный стал бранить Мудрова и встречному и поперечному, и по-своему, не стесняясь в словах, и это доходило до Мудрова с разных концов и, пожалуй, еще с добавлением.

— Ну ладно, брани меня и ругай, а уж нога моя у него не будет; умирать станет — и тогда не поеду я к нему.

Прошло после этого несколько времени. Преосвященный плотно покушал и занемог не на шутку. Домашние видят, что без доктора не обойтись.

— За кем послать? — спрашивают эконом и секретарь.

— Кого хочешь, хоть с торгу бери, только не Мудрова, про него никто и не заикайся: я не хочу его, вздорного старичишку.

Взяли какого-то другого лекаря, который, не зная привычек преосвященного, не понял, в чем дело, и стал лечить его невпопад, так что вместо облегчения усилил болезнь. Больной пуще раздражается и всеми лекарствами недоволен. Эконом и Малиновский шепчутся:

— Не послать ли за Мудровым?

— Прогоните вы от меня этого негодяя, — говорит преосвященный.

— Недовольны вы им, прикажите послать за Мудровым, — предлагает секретарь.

— Раз что я сказал, что не хочу его и прогнал его от себя, сдержу слово: не позову.

Малиновский знал характер преосвященного, не стал настаивать, чтоб еще пуще не раздосадовать его, а взял да от себя и послал известить Мудрова, что владыка болен.

Прошло довольно времени после ссоры. Мудров был незлопамятен и душевно привязан к преосвященному Августину. Узнав, что он нездоров, старик не вытерпел и по старой дружбе тотчас явился на зов. Малиновский прямо без доклада повел его к больному.

— Что, владыко, — говорит Мудров, — должно быть, старый друг лучше новых двух?

Преосвященный обрадовался.

— Ты на меня сердишься? — спрашивает он.

— Видите, я приехал, стало быть, не сержусь... а вы сердитесь?..

— Ну, ну, полно, я тебе рад и давно бы послал, да из упрямства хотел на своем поставить... Приехал, ну и спасибо.

— Что же такое с вами приключилось, чем вы нездоровы? Покажите-ка язык? Да, — говорит Мудров, — язычком вам хвалиться нельзя; *у вас, владыко, прескверный язык.*

Оба расхохотались, опять поладили. Мудров по-прежнему стал ездить каждый день, и преосвященный скорехонько выздоровел.

III

Преосвященный Августин имел много прекрасных свойств: он был весьма строг, но справедлив; консисторию держал в ежовых рукавицах, и белое духовенство, в то время по большей части грубое и распущенное, его трепетало. Он иногда по-отечески бивал своею тростью, а не то и руками, кто его прогневает, но никого не делал несчастным. Когда просились на место из его родственников и были чужие достойные люди, он всегда оказывал предпочтение чужим, а своих заставлял ждать, иногда и подолгу:

— Свои люди, не взыщут, сочтемся.

Он не был ни пристрастен, ни корыстолюбив, и главный его недостаток состоял в чрезмерной запальчивости; но ежели он кого во время гнева

обидел, после того всегда старался утешить — когда деньгами, когда дав лучшее место.

При своей природной остроте ума он был очень скор на ответы и находчив и, невзирая ни на какое лицо, не обинуясь, говорил правду, даже и в глаза. Однажды после служения в московском Успенском соборе (в 1814 или 1815 году) он произнес поучительное слово о том, что следует обуздывать свои страсти и удаляться от вредных учений западных безбожников.

При этом слове присутствовал один из московских сановников, очень дерзкий на язык и известный по своему безнравственному образу жизни. Во время проповеди преосвященный часто и пристально на него посматривал; вельможу коробило, он бледнел, багровел и волей-неволей должен был выслушивать и молчать. Когда обедня отошла и преосвященный, надев мантию, вышел из алтаря на амвон, чтобы благословлять народ, этот недовольный вельможа нарочно стал у самого амвона, громко разговаривая со своим соседом; тот его толкнул локтем и сказал вполголоса:

— Потише, архиерей.

— Ну что же, что архиерей? Он и сам мне нынче все уши прокричал...

Полуобернувшись к этому дерзкому, преосвященный через плечо сказал ему во всеуслышание присутствующих:

— Что же делать, ваше сиятельство: слово Божие одно для всех, а так как в толпе много бывает и глухих, то их ради и приходится нам говорить громко, чтоб и они услышали слово истины; глухим кричат ведь и на ухо, не взыщите...

Тот прикусил себе язык: он хотел оконфузить архиерея и вместо того сам себя одурачил.

Люди, не расположенные к преосвященному, сложили про него стихи, которые ходили по рукам, и мне кто-то их дал:

Всем москвичам нам знать не худо,
Какие мы имеем чуда:
В Кремле стоит большой Ванюшка
И пребольшущая царь-пушка...
А чудо третье — Августин кадушка
И кроткая ханжа Марфушка.

Эта Марфушка была известная в свое время Марфа Яковлевна Кроткова.

IV

Кротковых я стала знать еще в молодости. К нам езжала одна немолодая девица Арина Степановна, преумная и пребойкая. Ей было лет сорок или с лишком; нехороша собой, сутуловата, но премилая и прелюбезная. Батюшка очень к ней благоволил: как узнает, что она у нас, уж непременно придет.

— Ну, что новенького да хорошенького ты нам привезла? чай, по вестям поехала?

Сидит часа два она у нас, и не увидишь, как время идет; ни на минуту не умолкнет, все говорит, все говорит, и не то чтобы вздор какой-нибудь, а все очень умное и складное.

И батюшка все сидит, не отойдет ни на минуту: находил удовольствие ее слушать.

— Экая ведь умница, — скажет он бывало, как она от нас уедет.

Мы даже подшучивали промеж себя, что Арина ездит к нам, чтобы в себя влюбить батюшку и сделаться нашею мачехой.

Она была самая старшая из детей Степана Егоровича Кроткова. Эти Кротковы татарского происхождения, как и многие наши дворянские роды, происшедшие от князьков, выехавших из Орды. Они искони гнездились где-то в Симбирской губернии. Отец Арины Степановны был небогатый помещик, живший в своем именьице в симбирской глуши; он был женат, имел с лишком двадцать человек детей, еле-еле сводил концы с концами и жил в великой скудости.

Когда злодей Пугачев стал свирепствовать в той местности, грабя и убивая богатых помещиков, нагрянул он и к Кроткову. Все в доме переполошилось.

— Подавай, какие у тебя есть деньги, — требует он, — выкладывай все свое серебро.

— Какие деньги, — говорит Кротков, — что получу, то и проживу, а серебра у меня и в заводе не бывало.

Облюбовал Пугачев кротковское именьице и начал строить там разные сараи да вышки для складки грабежом добытых имуществ и наездами там живал со своею ватагой. Кротков не участвовал ни в каких пугачевских нападениях, а только страха ради сторожил все, что к нему привозили. Но когда Пугачеву стало жутко от посланных против него от императрицы, он почему-то захватил с собою и Кроткова, опасаясь, может статься, чтобы тот как-нибудь его не выдал. Кротков видит, что дело плохо, что вот-вот не нынче-завтра схватят злодея и что тогда, пожалуй, и его сочтут за укрывателя и припутают к делу, и будет ему очень худо; он улучил удобное время и дал тягу.

Когда Пугачева схватили и Кротков уверился, что ему уже опасаться больше нечего и Пугачев к нему не возвратится, он и начал все оставшееся разбирать и рассматривать. Тогда оповещено было от правительства, что все, что оставлено бунтовщиком в тех имениях, в которых он имел притоны со своею шайкой или склады, все поступает в пользу владельцев. Пошел Кротков по сараям да по клетушкам и вышкам и нашел там бочонки с золотом и с серебром, серебряную посуду, меха, оружие, иконы в дорогих окладах и множество церковной утвари, похищенной по разным церквам и монастырям. В овинной яме золото было насыпано ворохом просто на циновке; серебряной посуды оказалось десятки пудов.

Касательно церковной утвари Кротков старался разузнать, где что было похищено, в каком монастыре или из какой церкви, и все по принадлежности возвратил, а все прочее оставил в свою пользу, и объявил он,

что ему досталось тысяч на триста, что по-тогдашнему было очень много, а кто говорил, что он только вполовину сказал, сколько ему досталось.

Начал он покупать себе имения и в одном выстроил церковь и пожертвовал в нее все у него оставшееся в числе пугачевского наследства церковное имущество, утварь, облачение и прочее, неизвестно откуда захваченное и потому не возвращенное куда бы следовало. Стало быть, он не попользовался ничем церковным.

Но не впрок пошло богатство, доставшееся так неожиданно. У Кроткова было несколько сыновей, сколько именно — не сумею сказать, но знаю только, что они были лихие молодцы и ловко спускали с рук пугачевские золотенькие и ни в чем себе не отказывали. В особенности который-то из них был горазд на всякие проказы и ни перед чем не останавливался: когда что задумает, все ему было нипочем, лишь бы на своем поставить.

Степан Егорович был нравом крутенек, а на денежку скупенек и очень нехотя давал денег своим молодцам на мотовство, а этого-то сына, говорят, зачастую бивал и напоследок, наскучив его мотовством и шалостями, чуть ли не велел конюхам выпороть на конюшне. Это водилось в наше время и не считалось бесчестием: не от чужого побои, а от родителя.

Сын, однако, разобиделся на отца и задумал отмстить ему.

Отец прогнал его от себя.

Что ж он придумал? Без ведома отца взял да и продал одно из лучших его имений и в число крестьян велел вписать и отца — Степана Егорова.

Можно представить себе удивление старика: он и знать не знает и ведать не ведает, и вдруг оказывается, что его имение продано, да еще вдобавок продан и он сам и из дворянина попал на старости лет в подушный список крепостных крестьян.

Это дело было очень гласно в свое время, и, как ни просто в ту пору было продать и купить имение, старик едва выпутался из беды, и, ежели бы он не взмиловался над своим сыном, тому не миновать бы ссылки за подлог и ужасный свой поступок с отцом. Сначала старик и слышать не хотел о прощении сына, так он был на него раздражен.

— Издыхай он, окаянный, в кандалах, Иуда, продавший отца родного.

Однако потом сестры уломали старика и склонили его выручить брата из беды. Старику это дело дорого стоило; он выгородил сына, но видеть его не хотел и сравнительно с братьями дал ему самую ничтожную часть из своего имения. Все братья были замешаны в этом деле, кроме Степана Степановича, который почему-то участия в нем не принимал и потому впоследствии времени от этого очень выиграл.

Чтобы наказать своих сыновей за их продерзость и чтоб они не выжидали корысти ради отцовской смерти, старик задумал жениться и женился на молодой девушке, дворянке, но бедной, на Марфе Яковлевне. Чьих была она сама по себе — не припомню; жила она в одном знатном доме, была собою очень недурна и преблагочестивая и пребогомольная. Вот Господь и поискал ее счастьем: вдруг сватается за нее богатый и старый вдовец. Женившись на ней, старик укрепил за женой все свои самые лучшие

и богатые имения и не ошибся: Марфа Яковлевна оказалась очень хорошею женой, мужа-старика уважала и покоила до его кончины, была ко всем несчастным очень сострадательна и много делала добра.

Она была набожна и очень потому расположена к духовенству, и в особенности она питала уважение к преосвященному Августину. Из этого и составили целую сплетню. Кроткову злословили, называли ханжой, и на преосвященного возводили разные напраслины, и на них клеветали. Не мудрено, что и сыновья Кротковы тут принимали участие и в отместку своей мачехе не щадили ее репутации. Очень понятно, что, будучи молодою, благочестивою и бездетною вдовой и располагая большими средствами, она много жертвовала на храмы и монастыри и что чрез это сыскала благоволение преосвященного Августина, но из этого выводили совсем иные заключения.

Изо всех пасынков лучше других с Марфою Яковлевной был Степан Степанович, за то и она ему оставила прекрасный каменный дом в Москве на Басманной [6] с пространным садом, в котором были пруды, вымощенные белым камнем. Жену его я знала еще молоденькою девушкой, когда у отца ее, отставного генерал-майора, было имение верстах в сорока от наших Яньковых, у которых в Петрове я познакомилась с нею, а потом мы всегда были хороши. Они долго жили у себя в деревне, в Симбирске, и приезжали в Москву на короткое время.

Степан Степанович был добрый, хороший и прямой человек, но очень необтесан в обращении. Жена его была добрейшая и благочестивая женщина, очень умная, рассудительная и характер имела вполне кроткий. Муж был ей во многом обязан и вполне это чувствовал и не раз мне со слезами говаривал: «Это, матушка, моя благодетельница, мой ангел-хранитель; не будь она моею женой, я бы совсем пропал и погиб, я бы с круга спился и был бы нищим».

Из сестер его я больше всех знавала Арину Степановну, которая умерла незамужняя, и Варвару Степановну, которая была за Шалимовым, и, когда они были нашими соседями и жили в Песках, я часто с ними видалась. Шалимов лечил меня электрическою машиной от ревматизма [7] в руке и мне помог. Он был очень умный и ученый человек, служил секретарем в московском депутатском собрании [8] и, пока был здоров глазами, занимался химией и был членом масонской ложи. Потом совершенно ослеп. Пески они продали, и я их потеряла из виду.

Еще одна из сестер, Александра Степановна, была за Порошиным, братом того, который находился при великом князе Павле Петровиче преподавателем, и ему было пожаловано имение в 300 душ за братнины заслуги.

V

В 1820 году, октября 2, я лишилась дочери Софьи; ей пошел четырнадцатый год, и более уже года была она больна сухоткой. В последние месяцы ее болезни были три странных случая с нею, о которых доктора немало рассуждали, — она имела дар ясновидения.

Однажды Авдотье Федоровне Барыковой портниха принесла платье, лиловое, прекрасного цвета, и она за две комнаты от той, в которой лежала больная, стала примеривать это платье.

Вдруг Сонюшка говорит девушке:

— Поди и попроси Авдотью Федоровну, чтоб она платья не снимала и пришла бы в нем мне показаться; цвет платья очень хорош.

Спрашивают у больной: «Да почему же вы знаете, что Авдотья Федоровна примеряет платье; разве кто вам сказывал?».

— Нет, мне никто не говорил, я и не знала, что ей сшили новое платье, а я вижу, что цвет очень хорош.

В другой раз, ночью, она говорит сестре Анне Петровне, которая, отпросившись у игуменьи побыть у меня несколько дней, спала в Сонюшкиной комнате:

— Тетенька, вы не бойтесь меня разбудить; можете повернуться, я не сплю.

А сестра, проснувшись, хотела повернуться на другой бок, но, из боязни разбудить больную, лежит и не шевельнется, и та вдруг угадала ее мысли.

— Да почему же ты знаешь, что я проснулась? — спрашивает сестра.

— Я сама не знаю, почему, только я чувствовала, что вы не почиваете, и знала, что вы думаете.

Дня за три до кончины Сонюшки я стала собирать разные мелочи, которые хотела отправить при случае в деревню, и между прочим попались мне два Сонюшкиных подносика, и, завернув их в бумагу, я хотела было тоже положить вещи в ящик; это было внизу.

В эту минуту сверху от Сонюшки идет девушка и говорит мне:

— Софья Дмитриевна приказала вам сказать, сударыня, что вы напрасно хотите отправить ее два подносика: они, может быть, еще понадобятся.

Доктора объясняли тогда эти три случая и называли их «природным ясновидением» и приписывали *магнетизму*, который иногда примечается у слабых больных от особенной чувствительности нервов и от их возбуждения при упадке телесных сил.

Сонюшку отпевали в нашем приходе, у Пятницы Божедомской, а хоронить повезли в Горки и положили в церкви у придела пророка Даниила, возле южных дверей.

Мадам Рено неутешно плакала по Сонюшке и, чувствуя, что она уже больше не нужна в доме, так как Клеопатре было уже 20 лет, пришла ко мне и, отказавшись от жалованья, которое получала, просила остаться жить в доме, предлагая даже платить за себя. Я очень ее любила как добрую и хорошую старуху, с удовольствием согласилась ее у себя оставить и, конечно, не дозволяла ей за себя платить. Она была мне большою подмогой и часто с моими барышнями выезжала в город, делала визиты и так прожила у меня в доме до своей кончины, которая последовала два года спустя, в то время, как мы были в Петербурге, в 1822 году.

VI

Сестра княгиня Александра Вяземская более года жила уже в Петербурге со своими двумя мальчиками, Андрюшей и Сашей, которые были записаны юнкерами и готовились поступить на службу в полк. Она писала ко мне и звала меня приехать в Петербург пожить с нею и вместе с тем потешить детей, которые очень все грустили и об отце, и после кончины Сонюшки. В Петербурге я никогда не бывала, и мне любопытно было и самой побывать в этом пресловутом городе,[9] и хотелось показать его дочерям. Брат князь Николай Семенович был в Москве зачем-то, он и уговорил меня ехать.

Так я и собралась в конце августа или в начале сентября. Князь Николай Семенович поехал в своей коляске, а я в четырехместной карете: я, три мои дочери, Авдотья Федоровна Барыкова и горничная; из людей я взяла Фоку да Федора.

Ехали по старой петербургской дороге, которою ездили, когда еще не было шоссе.[10] Дорога была, как все большие трактовые дороги, местами хороша, но были и очень дурные места; мосты каменные, построенные при покойной государыне Екатерине, и каменные пирамиды вместо верстовых столбов.[11] Так как мы ехали на наемных лошадях, то останавливались где и когда хотели и по нескольку часов лишнего проводили в городах, на которые лежал нам путь.

Первый большой город был Тверь; останавливались ненадолго, однако кое-что видели; город очень чистенький, и его очень красит Волга. Покойная государыня очень к Твери благоволила, и, когда город сгорел в конце 1760-х годов, она послала большое денежное пособие, — говорят, будто бы миллион, — и что поэтому-де и главная улица называется Миллионная;[12] так я слышала. В особенности Тверь украсилась с тех пор, как в ней пожила великая княжна Екатерина Павловна, ⟨в⟩ 1811—1812 годах, сестра покойного государя Александра Павловича, бывшая сперва за принцем Ольденбургским, который и был генерал-губернатором в Твери. Город очень возвысило то, что он был под управлением государева зятя. Для них тогда был выстроен прекрасный дворец с двумя церквами, православною и лютеранскою, в двух зданиях, соединенных с дворцом длинными галереями.[13] Дворец почти рядом с собором, очень древним.[14] Великая княгиня овдовела в конце 1812 года и, говорят, была неутешна, так что опасались тогда за ее жизнь, а в 1816 году она вышла вторым браком за короля Виртембергского и скончалась в 1819 году. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, в особенности любившая Екатерину Павловну, очень горевала о ее кончине, и государь был очень тронут этою потерей. В Твери за Волгой Отрочь монастырь, в котором жил в заточении Филипп митрополит, где он и приял мученический конец,[15] и тут же некоторое время был настоятелем преосвященный Тихон Задонский, прежде своего епископства.[16] Версты четыре от города — Желтиков монастырь, где мощи святителя Арсения.[17] Дорога песками и сосновым бором; монастырь старинный.

Верст 60 за Тверью — Торжок, хорошенький и чистенький городок; там монастырь мужской, построенный преподобным Ефремом Новоторжским; мощи его на вскрытии и под спудом мощи келейника его,[18] преподобного Авраамия.

Станции три за Торжком начинаются Валдайские горы и тянутся верст на 60, так что приходилось более дня ехать этими горами. Эта часть пути очень утомительна. На одной из станций валдайские девки пристают к проезжим со своими баранками и кренделями. Князь Николай Семенович был очень туг на денежки, и когда к нему стали приставать валдайки со своими кренделями, он все с ними бранился и ничего не хотел покупать; вдруг одна какая-то поудалее говорит ему: «Купи у меня, барин, а я тебя поцелую». Что ж, ведь растаял и накупил премножество этих баранок, прислал нам в карету несколько связок и потом с досады, что истратил какой-нибудь рубль или два, несколько станций был не в духе и на всех нас дулся, а ямщику всю спину простучал тростью за то, что тот тихо его везет. . .

На другой станции торгуют валдайскими колокольчиками, которые особенно звонки.

В Новгороде мы останавливались дольше и побывали в соборе[19] и монастырях, где много мощей и святыни. Были в Юрьеве монастыре, который неподалеку от города. В то время он был древний монастырь, очень неважный по своим постройкам, показавшийся мне даже очень обветшавшим и совсем не таковым, как сделался впоследствии, когда благочестивая и богатая графиня Орлова стала ему благотворить из желания угодить отцу Фотию, которого тогда там еще не было.[20]

Пожелала я помянуть и несчастного князя Долгорукова, казненного при императрице Анне, мужа известной Натальи Борисовны,[21] дочери фельдмаршала Шереметева и отца князя Михаила Ивановича; нашли ту церковь, где он погребен, и поминали.

При нашем приезде в Петербург погода стояла прекрасная, и мы на первых же порах могли многое осмотреть. Я сговорилась с сестрой Вяземской, и мы нашли себе дом, в котором мы могли жить вместе, где-то около Офицерской улицы.

Первые мои выезды были в домик Петра Великого, чтобы приложиться к иконе Спасителя, которая там находится,[22] в Казанский собор и в Невскую лавру.

Казанский собор был отделан вновь, с серебряным иконостасом, сделанным из серебра, отбитого у французов,[23] и все восхищались его великолепием. Икона Казанской божьей матери, в богатейшей ризе из чистого золота, украшена очень крупными бриллиантами и жемчугом, частию из пожертвованных обеими императрицами;[24] все это было тогда недавно сделано и об этом много было разговоров. Показывали один очень крупный цветной камень — изумруд ли или синий яхонт — не припомню, принесенный в дар покойною великою княгиней Екатериной Павловной и который ценили очень дорого, а всю ризу оценили тысяч в четыреста ассигнациями, как тогда считали. По стенам развешано множество иностранных знамен, ключей от крепостей, взятых нашими войсками, и

несколько фельдмаршальских жезлов, взятых в последнюю войну с французами,[25] разорителями Москвы.

В Невской лавре мне хотелось побывать, во-первых, потому, что там мощи благоверного князя Александра Невского, а потом и потому, что там под Благовещенскою церковью был положен дед Дмитрия Александровича Даниил Иванович Яньков, и мне хотелось отслужить по нем панихиду. Он скончался в 1738 году, живя в Петербурге, поэтому там и схоронен, а жена его — в московском Никитском монастыре. Мы отыскали его могилу и служили по нем панихиду; потом, говорят, эту церковь перестраивали, и, может статься, теперь и могилы его не найдешь; над ним была плита, отлитая из чугуна. Меня очень удивило, что рака с мощами благоверного князя не открыта; я просила приложиться, и мне сказали, что рака никогда не открывается, потому что Петр Первый, положив там мощи, заблагорассудил раку запереть и ключи бросил в Неву. Очень это странным показалось мне. Монашествующих там что-то немного, все больше средних лет и молодые послушники; старичков три или четыре. Про одного из них мне рассказывали очень трогательную и назидательную историю.

Он был гвардейским офицером; фамилии и имени его не помню. Служил он при императоре Павле. Вместе с ним находился в том же полку его родственник, с которым он был одних почти лет и очень дружен. Этот приятель его был очень рассеянной жизни, ужасно влюбчив и, полюбив одну молодую девушку, задумал ее увезти. Но девушка хотя и любила молодца, будучи строгих правил, хотела сперва обвенчаться и потом готова была бежать, а не иначе, а влюбленный офицер был уже женат, только жил с женой не вместе, стало быть, ему венчаться было невозможно. Что делать в таком затруднении? Он открылся своему другу. Тот и придумал сыграть комедию: обвенчать приятеля своего на дому, одевшись в священническую ризу.

Предложили молодой девице венчаться по секрету, дома, под предлогом, что тайный брак в церкви священник венчать не станет. По неопытности своей молодая девушка не поняла, что тут обман, согласилась и в известный день, обвенчавшись со своим мнимым мужем, бежала. Он пожил с нею сколько-то времени, она родила дочь, и потом он ее бросил. Не знаю, примирилась ли она с своими родными, только нашлись люди, которые ей помогли напасть на след ее мужа, и она узнала, что он уже женатый и от живой жены на ней женился. Она подала прошение на высочайшее имя императора Павла, объясняя ему свое горестное положение. Император вошел в положение несчастной молодой девушки, которую обманули, и положил замечательное решение: похитителя ее велел разжаловать и сослать, молодую женщину признать имеющею право на фамилию соблазнителя и дочь их законною, а венчавшего офицера постричь в монахи. В резолюции было сказано, что «так как он имеет склонность к духовной жизни, то и послать его в монастырь и постричь в монахи». Сперва молодой человек был, говорят, в отчаянии, но с именным повелением спорить не станешь. Раба божия отвезли куда-то далеко и постригли. Он был вне себя от такой неожиданной развязки своего

легкомысленного поступка и жил совсем не по-монашески, но потом благодать Божия коснулась его сердца: он раскаялся, пришел в себя, и когда мне его показывали, он был уже немолод и вел жизнь самую строгую, так что многие к нему приходили за советами, и он считался опытным и весьма хорошим старцем. Сперва он был где-то в дальнем монастыре, а так как о нем просили, то и перевели его потом в Невскую лавру. Так Господь разными путями к себе призывает, нередко и безрассудства наши обращает нам во спасение.

Смольный монастырь, устроенный при императрице Елизавете Петровне, в то время был уже упразднен и со времен Екатерины обращен в институт,[26] который, однако, продолжал называться Смольным монастырем, и я застала еще двух старушек-монахинь, которым дозволено было там доживать свой век. У нас была родственница Станкевич, воспитывавшаяся в этом институте и вышедшая оттуда в 1810 или 1809 году; при ней было еще шесть монахинь, которые участвовали в воспитании девиц.

VII

В Петербурге у меня нашлись родные и знакомые, с которыми давно я не видалась и которые мне очень обрадовались. Самая близкая мне и по родству, и по сердечному чувству была сестра Екатерина Александровна Архарова. Мужа ее Ивана Петровича не было уже в живых; он скончался за год до кончины Дмитрия Александровича, и она переселилась жить в Петербург со своими дочерьми Софьей и Александрой. Они там вышли замуж. Софья Ивановна была за графом Александром Ивановичем Соллогуб. Его мать была по себе Нарышкина, звали ее Наталья Львовна, родная сестра Дмитрия Львовича, женатого на прекрасной собою и весьма известной тогда Марье Антоновне, урожденной княжне Четвертинской.[27] Графу Александру Ивановичу на вид было лет под сорок, он был весьма приятной наружности и самый приветливый и ласковый человек, каких я видала: войдет он в гостиную и никого не позабудет, всем найдет что сказать приятное, и старику, и ребенку, каждому улыбается, каждого приласкает; жена его, очень милая женщина, была малообщительная и имела какое-то пренебрежительное выражение лица, не очень к ней располагавшее. Тогда у них было два мальчика: Левушка, лет девяти или десяти, и Володя, лет семи.

Александра Ивановна[28] была замужем за Алексеем Васильевичем Васильчиковым, лет пятидесяти или более. Этот был очень необщителен, холоден в обхождении, высокого роста, красивый лицом и с волосами очень редкими на голове. Его мать звали Анной Кирилловной; она была урожденная графиня Разумовская, родная племянница известного графа Алексея Григорьевича Разумовского, который был тайно обвенчан с императрицей Елизаветой Петровной. Анна Кирилловна Васильчикова была потом монахиней в котором-то из московских монастырей.

Родной дядя Алексея Васильевича Васильчикова Александр Семенович, говорят, весьма видный из себя мужчина и очень привлекательный

по наружности, был некоторое время в особой милости императрицы Екатерины.

Екатерина Александровна Архарова живала по летам в Павловском, и покойный государь Александр Павлович к ней очень благоволил и иногда запросто приходил к ней и у ней кушивал. Однажды с ней был пресмешной случай, и будь это с другою, то, может статься, та бы и переконфузилась, а Екатерина Александровна показала присутствие духа. Был у нее государь и, как обыкновенно, когда кушивал у ней, вел ее к столу; вдруг она чувствует, что с нее спускается одна из юбок; она приостановилась, дала ей время упасть, перешагнула и, как будто не замечая, что случилось с нею, продолжала идти к обеду и не подала и виду, что заметила, и во все время обеда была так же весела и спокойна, как и обыкновенно. Она была кавалерственною дамой меньшого креста, а Александра Ивановна — фрейлиной. Она была высока ростом, имела прекрасный цвет лица и в первой своей молодости была очень привлекательна лицом и приветлива и ласкова. Екатерина Александровна очень мне обрадовалась, приняла по-родственному, и ей мы были обязаны, что многое видели по ее протекции, чего бы иначе, может статься, и не видали.

В то время жили в Петербурге и наши соседи по деревне — Голицыны: князь Сергей Сергеевич, женатый на Наталье Степановне Апраксиной, и, будучи егермейстером, он тоже отворял нам многие двери, которые остались бы для нас заключенными.

Павловское было любимым загородным местопребыванием вдовствующей императрицы,[29] и я много об нем слыхала от покойного брата князя Дмитрия Михайловича Волконского, который там был директором. Сперва это было небольшое поместьице, но когда император Павел, будучи еще великим князем, облюбовал это место, он стал там строиться, начали сажать парк и сад, чтоб осушить местность, очень сырую. Это вышло царское жилище.

Рассказывали мне люди достоверные и которые могли знать, что делалось при дворе Екатерины и помнили то время, что императрица, которая, как известно, была не слишком нежная мать, не старалась никогда приблизить к себе сына, сначала поощряла его строиться в Павловском, которое только в пяти верстах от Царского Села, где она по летам всегда изволила жить; но потом нашла, что это все еще слишком близко. Многие из вельмож Екатерины хотя и вертели пред нею своими лисьими хвостами, помышляли, однако, что придет время, когда Екатерины не станет, и что плохо тогда им будет от ее наследника; они, чтобы заранее заручиться, втихомолку езжали и в Павловское. Кто-то императрице об этом шепнул, и она купила тогда у любимца своего Григория Орлова его имение Гатчину и пожаловала всю Гатчинскую волость своему сыну. Это было гораздо подальше от Царского Села, а от Петербурга очень неблизко, верст сорок или более.

Название Гатчины, говорят, оттого произошло, что там много *гатей* от топкости местности.[30] Строения там были уже и при Орлове очень достаточные, но великий князь строился еще и расширял дворец и сделал для себя там жилище вполне царское.



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

I

Павловское хотя и было очень хорошо своими постройками и очень обширным парком в новом вкусе — в английском, то, что прежде называли пейзажным садом [1] (jardin paysager), далеко, однако, уступает во всех отношениях Гатчине, где замечательна прозрачная вода в прудах: точно хрустальная, так что видно все, что на самом дне. В Павловске, напротив того, пруды сильно цветут и оттого всегда зеленоватого цвета.

Когда императрица там пребывала, каждый день ранехонько утром и пошлют несколько человек в лодках ко всем прудам: они плывут и славливают зелень.

Будучи в Павловске, мы ходили смотреть знаменитый Розовый павильон [2] (le Pavillion des roses); цветы только еще начинали распускаться, но я думаю, что когда все распустятся — это точно должно быть неописанной красоты.

Тут я в первый раз увидела и узнала, что такое называется «Эолова арфа», и слышала, как она играет, когда ветер шевелит струны;[3] выходит очень складно.

О Царском Селе я много слыхала от батюшки, потом от братьев, когда при императрице Екатерине они служили в гвардии. По воскресеньям они иногда удостоивались там обедать за царским столом. Но они не могли видеть того, что я видела: батюшка, служивший при императрице Елизавете Петровне и вышедший в отставку в первые годы императрицы Екатерины, видел только одно начало того в полном смысле царского поместья, которое из него сделала государыня. Иностранцы, приезжавшие при ней в Россию, не могли довольно надивиться этому чуду. Из них кто-то сказал очень умно, когда государыня спросила его: как ему нравится дворец?

— Там все роскошно и великолепно, недостает только одного. . .

Императрица посмотрела с удивлением, не понимая, чего еще могло бы недоставать.

— Недостает футляра для этой неоцененимой драгоценности.

Кем это было сказано, не могу припомнить. . .

Но в то время все было еще только внове, и царскосельский сад разводили и засаживали, а я все это видела спустя 50 или 60 лет: сад разросся, и около дворца был уже целый город.

Сказывали мне, что с небольшим за год до моего приезда в Петербург был большой пожар в Царском Селе, во время которого сгорела дворцовая церковь и часть дворца.[4] Очень опасались за покои императрицы Екатерины, и в особенности за *янтарную* комнату; но господь помиловал, и хотя убытку было более чем на два миллиона, к году все привели в прежний вид. Тогдашний петербургский генерал-губернатор граф Милорадович, узнав, что горит царскосельский дворец, живо скомандовал, прискакал, не теряя времени, с пожарными трубами, и, благодаря его расторопности, пожар остановили; однако церкви спасти не могли, и часть государевых покоев не уцелела.

Янтарная комната, про которую столько кричали, когда ее отделали и считали чудом,[5] мне совсем не так понравилась, как я ожидала после всего, что я про нее слышала: я думала, что янтари подобраны под цвет и составлены из них разводы и узоры, а увидела я сплошную мозаику из мелких и крупных кусочков разной величины, вразброд и как попало. . .

Очень это пестро, но нимало не поражает и совсем не так выходит, как думается, не видав. Может статься, это очень дорого стоило, и редкость, что могли собрать столько янтарей, да только на вид не особенно хорошо.

II

Показывали нам неподалеку от дворца тот домик, в котором несколько уже лет сряду жил тогда историк Карамзин.[6]

Карамзины — симбирские старинные дворяне, но совсем неизвестные, пока не прославился написавший «Русскую историю».[7] Они безвыездно живали в своей провинции, и про них не было слышно.

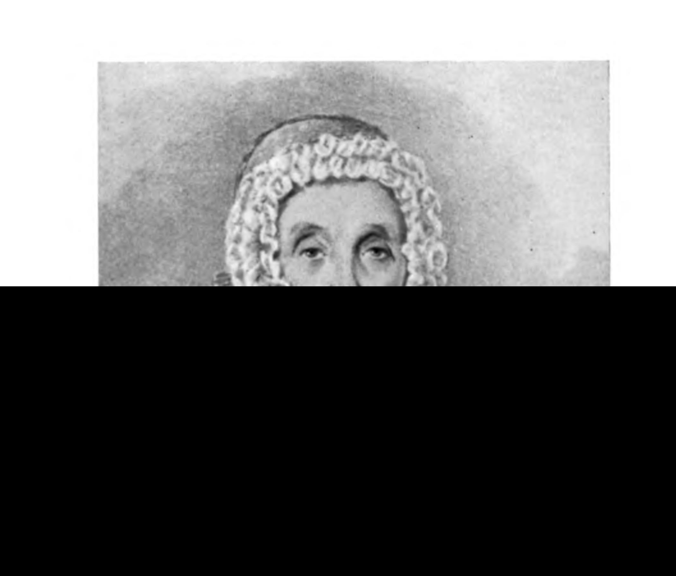
Карамзин-историк в молодости путешествовал по чужим краям и описал это в письмах,[8] которые в свое время читались нарасхват, и очень хвалили их, потому что хорошо написаны; но я их не читывала, а с удовольствием прочитала его чувствительную историю о «Бедной Лизе»,[9] и так как была тогда молода и своих горестей у меня не было, то и поплакала, читая.

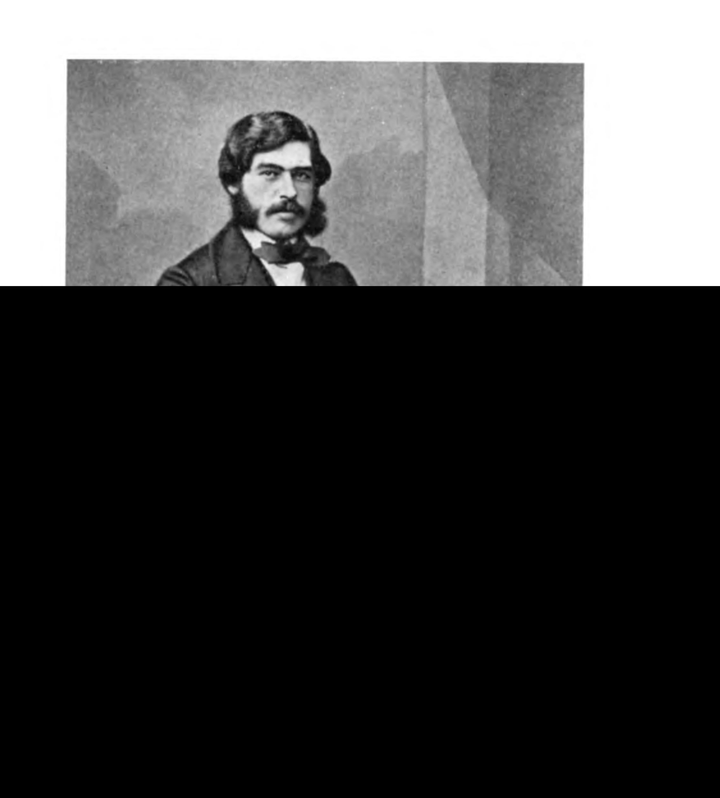
Он жил тогда на даче у Бекетова под Симоновым монастырем и так живо все описал, что многие из московских барынь начали туда ездить, принимая выдумку за настоящую правду.[10] Видя, что ему повезло, он напечатал немного спустя еще другую историю, которая тоже очень всем полюбилась, — «Наталью, боярскую дочь», а после того «Марфу-посадницу».[11]

Многие его критиковали за то, что он пишет разговорным языком, а другие его за это-то именно и хвалили. Мне все эти три истории очень нравились, и Дмитрий Александрович их весьма одобрял.

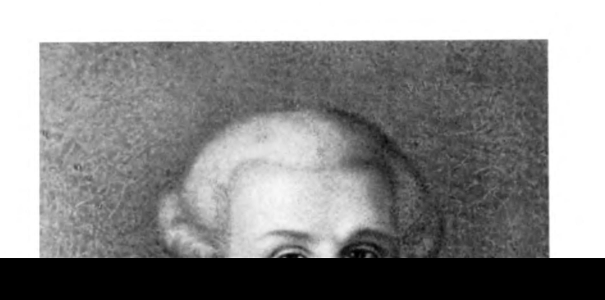
Когда Карамзин задумал писать «Русскую историю», многие над ним трунили и говорили: ну где же *какому-нибудь Карамзину* тягаться с Татищевым и Щербатовым? [12] На деле вышло, однако, иначе: он всех перещеголял, и Дмитрий Александрович, читая его исторические статьи, оставался всегда ими доволен и не раз говаривал мне:

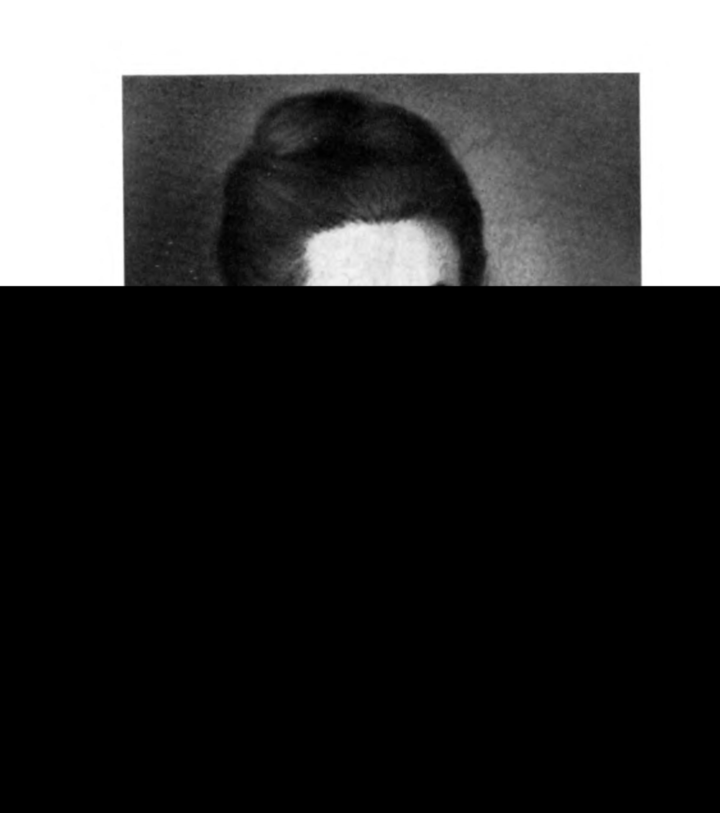


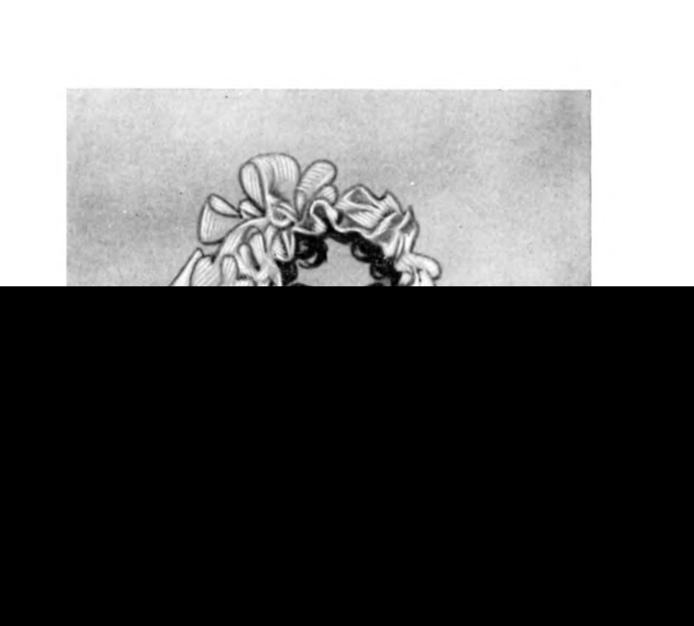


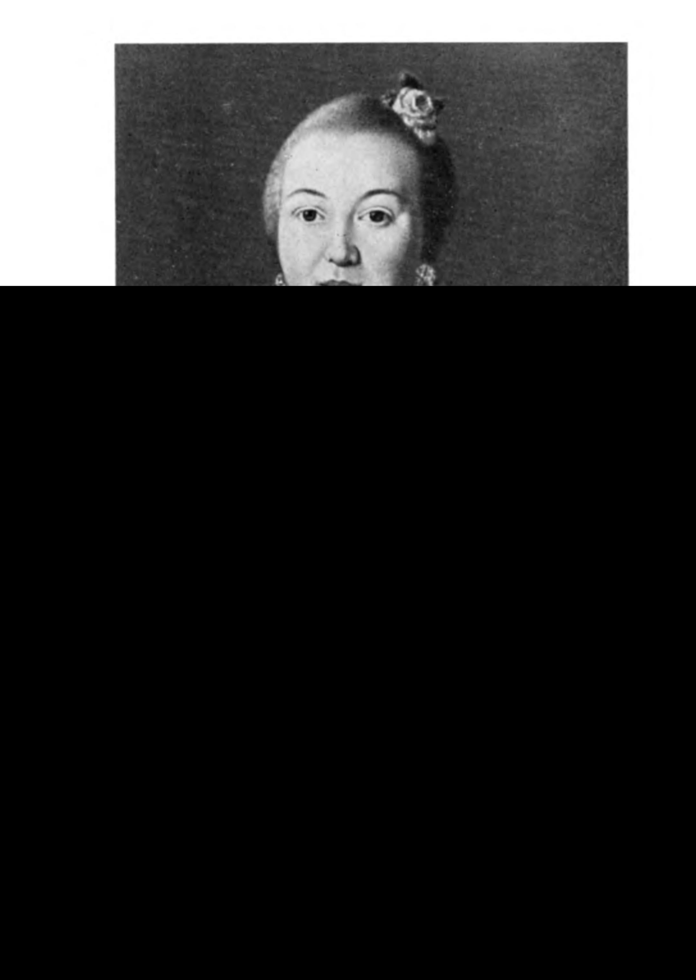














На ком был женат Карамзин в первом браке, я не знаю;[18] овдовев, он женился на дочери князя Вяземского, дальнего родственника наших Вяземских — Екатерине Андреевне.[19] Через Вяземского и через своего приятеля Дмитриева он сделался лично известен великой княгине Екатерине Павловне, жившей в Твери. Его туда выписали, и там он представился государю, по крайней мере так я слышала. Он читал государю отрывки из своей «Истории»;[20] государь остался очень доволен, и тут он пошел в гору; обе императрицы к нему расположились, потому что он был весьма хороший человек и приятный в беседе. Государь к нему благоволил, находил удовольствие с ним разговаривать и, будучи весьма прост в обращении, для того, чтобы иметь приятного и умного человека поближе, назначил ему для летнего житья один из домиков в царскосельском саду.

Павильон этот или домик — неподалеку от дворца; во время пожара он был в большой опасности, несколько раз загорался, но государь приказал непременно, во что бы то ни стало, домик Карамзина отстоять, и его спасли.[21] Кроме того, что государь был милостиво расположен к искусному историку, он знал, что у него на дому много редких рукописей, и за них опасался. На другой день после пожара государь сам ходил к Карамзиным в гости и навестил Екатерину Андреевну, которая была очень милая и достойная женщина. Императрицы ее ласкали, и она нередко запросто с своим мужем у них обедывала в Царском Селе и в Павловске.

III

В 1822 году пароходы были еще новостью и не очень усовершенствованы, и потому их опасались. Моим барышням хотелось попробовать съездить в Петергоф на пароходе, однако я их не послушала, а наняла карету взад и вперед и заплатила за нее два золотых, то есть сорок рублей.

Сперва мы были в Петергофе утром и в простой день, в будни, чтобы удобнее все рассмотреть. В то время во дворце никто не жил, и мы по всему дворцу ходили и все видели.

Сравнительно с другими дворцами он кажется невелик и во внутренности оставался в том виде, как был при Петре Великом, который его построил, и убранством своим нисколько не удивляет; есть частные дома, которые обширнее и богаче.

Стриженый сад, в подражание версальскому саду, был разведен и разбит каким-то очень известным садовником, выписанным из Голландии.[22] Таких стриженых садов с регулярными аллеями в мое время было премножество, с тою только разницей, что этот гораздо обширнее, но что показалось мне диковинным — это фонтаны, которые на каждом шагу: куда ни обернись, всё фонтаны, и некоторые для нас пускали нарочно, чтобы дать нам понятие.

В другой раз мы ездили на петергофский праздник июля 22, в день именин императрицы Марии: все фонтаны были пущены, и весь сад иллюминован. Кто не видал Петергофа в день праздника, тот не имеет

о нем понятия; это так хорошо и ослепительно, что, не видав, и вообразить себе этого невозможно. Бывавшие в Версале говорят, что своими постройками Версаль превосходит все царские резиденции, но множеством фонтанов и их красотой Петергоф несравненно великолепнее, потому что там воду откуда-то провели машинами и накачивают, а здесь воды вволю, она течет прямо из озера, которое выше дворца, и из фонтанов уходит в море. На берегу есть небольшой домик, называемый «Монплезир»,[23] оттуда вид на самое море удивительный. Этот домик в особенности любила императрица Елизавета Петровна, и там-то часто она пировала, то есть ужинала, потому что при ней и в мое время обедывали рано, а настоящий пир был ужин, часов в 8 или в 9 вечера. В среду и в пяток у государыни вечерний стол был после полуночи, потому что она строго соблюдала постные дни, а покушать любила хорошо, а чтоб избежать постного масла, от которого ее тошнило, она дожидалась первого часа следующего непостного дня, и ужин был сервирован уже скоромный. У императрицы был, говорят, замечательный столовый сервиз, из которого мне довелось видеть некоторые штуки. Так как блюда ставились на стол, то обыкновенно они были с крышками, чтобы кушанье нескоро остывало, и сервиз императрицы был презамысловатый: крышки были сделаны из фарфора наподобие кабаньей головы, кочна капусты, окорока и т. п., и очень искусно.

Вот еще странность императрицы, про которую я слышала от батюшки. Государыня терпеть не могла яблоков и, мало того, что сама не кушала их никогда, до того не любила яблочного запаху, что узнавала по чутью, кто ел недавно, и гневалась на тех, от которых пахло: ей делалось дурно, и ее приближенные весьма остерегались и даже накануне того дня, когда им следовало являться ко двору, до яблоков и не дотрогивались. Было, говорят, несколько случаев, что императрица, почувствовав с отвращением этот противный для нее дух, от себя прогоняла со строгим выговором.

IV

Мы ездили в Кронштадт и в Шлиссельбург. Тут уж делать было нечего, в карете не поедешь, — пришлось плыть на пароходе. Сначала мне было очень боязно, я тревожилась и трусила, потом перестала бояться, и под конец мне это очень даже понравилось. Двигаешься вперед и скоро, а тебя не тряхнет, не толкает, как в экипаже — покойнее. Время было хорошее, море спокойно, и мы преблагополучно доплыли из Петербурга в Кронштадт, но на обратном пути что-то такое приключилось с машиной, и мы возвратились уже на боку и еле-еле дотащились до набережной.

Будучи в Шлиссельбурге, я живо припомнила все то, что больше чем за пятьдесят лет мне рассказывала покойная тетушка Марья Семеновна Римская-Корсакова. Ее муж, дядюшка Александр Васильевич, стоял там со своим полком в то время, когда вышла смута и произошла известная история Мировича, составившего заговор в пользу Иоанна Антоновича, сидевшего в Шлиссельбургской крепости.[24] В суматохе, которая сделалась, когда распространился слух, что узник бежал, кого-то убили, но говорили,

что убитый был не Иоанн Антонович. Иоанн Антонович бежал, а убит был другой по ошибке, и целые три дня обыскивали все дома. Приходили и к тетушке и везде все перешарили, перерыли во всех сундуках, ходили по погребам и чуланам и лазили по чердакам. Такой обыск утвердил всех в мысли, что узник бежал, хотя и говорили, что он убит. Тетушка была твердо уверена, что он бежал. Некоторые подтверждали это мнение и тем, что Мировича казнили, а императрица была милосердна, и ежели бы Мирович не упустил узника, то, наверное, государыня его бы помиловала.[25]

Как ни секретно держали Иоанна Антоновича, однако были люди, которым довелось его видеть, и они рассказывали, что он был красавец, высокого роста, белокурый, с голубыми глазами; говорил тихо, плавно и был умен.[26] Тетушка подробно про него рассказывала, но я многое позабыла, а иному и поверить трудно. . .

V

В то время, как мы жили в Петербурге, ко мне приезжает однажды одна моя хорошая знакомая, вдова средних лет, имевшая единственного сына, только что произведенного в офицеры.

— Я к вам с просьбой, Елизавета Петровна; сделайте милость, не откажите.

— Что такое, моя милая, — говорила я ей, — скажи мне, и ежели я могу — сделаю.

— Позвольте вашим двум лакеям прийти ко мне завтра поутру.

— С большим удовольствием; на что они тебе понадобились?

— Вы знаете, я имею сына, которого недавно сделали офицером. . .

— Ну так что же?

— Он стал дурно себя вести, замотался, на днях возвратился домой выпивши, а вчера распроигрался; хотя я имею состояние, но его ненадолго хватит, ежели мой сын так станет жить.

— Это очень жаль, только я все-таки не понимаю, на что тебе мои люди понадобились.

— Я хочу сына высечь, — говорит мать, а сама плачет. . .

— Что это, матушка, ты за вздор мне говоришь, статочное ли это дело? Ему под двадцать лет, да еще вдобавок он и офицер; как же могут мои люди его сечь? За это их под суд возьмут.

— Да я им сечь и не дозволю; они только держи, а высеку я сама. . .

— Милая моя, он офицер, как же это возможно. . .

— Он мой сын, Елизавета Петровна, и как мать я вольна его наказать, как хочу, кто же отнял у меня это право?

Как я ни уговаривала ее, она поставила на своем, выпросила у меня моих людей Фоку и Федора.

Они пошли к ней на другой день поутру. Сын ее был еще в постели, она вошла к нему в комнату с моими лакеями, заставила их сына держать, а сама выпорола его, говорят, так, что он весь день от стыда и от боли пролежал не вставая.

Это средство помогло, как рукой сняло: полно пить и в карты играть.

Потом она приезжала меня благодарить и моим людям дала по рублю каждому.

Лет десять спустя после этого докладывают мне, что приехал такой-то; приняла, а сама не знаю, с кем говорю, совершенно позабыла его фамилию... спасибо, сам мне напомнил.

— Помните в Петербурге ваших людей брала у вас покойная матушка, чтобы меня высечь?.. Я тогда был еще почти мальчиком.

Тут только я и вспомнила.

— Очень тогда мне это было конфузно, а теперь от души благодарю покойную матушку, что она прибегла к такому домашнему средству; благодарю и вас, что помогли матушке.

Вот как в прежнее время умные матери исправляли своих взрослых сыновей, и не смели они сердиться и от злости не стрелялись и не давились, а еще благодарили.

Попробуй-ка теперь кто это сделать, да что бы такое вышло?

Он спросил меня, живы ли еще те два человека, которые помогали его матери его высечь. Я отвечала, что живы еще, и он, уезжая, пожелал их видеть и каждому из них дал сколько-то на чай и сказал им ласковое слово и большое спасибо.

Он вышел очень хорошим человеком, трезвым и не играющим, и был после в чинах, но я его совсем потеряла из виду и про него более и не слыхала.*

VI

Все, что было замечательного в Петербурге, мы все видели. Зимний дворец мы осматривали во время отсутствия двора и потому могли побывать во всех покоях. Эрмитаж, который после того не раз переделывали, тогда был еще в том виде, как при императрице Екатерине, которая так им утешалась и где она задавала такие замысловатые праздники, ярмарки и лотереи. Там был особый театр, в который допускались только избранные из царедворцев.[28]

Может статься, теперь больше картин и разных редкостей, чем было в ту пору, и этим лучше Эрмитаж и богаче, да уж не тот он, где бывала великая государыня, где бывал Потемкин, Румянцев и все эти знаменитости того времени.

Осматривая Академию художеств, мы познакомились с начальником мозаичного отделения — Веклером.[29]

---

* Кто был по фамилии этот офицер, бабушка никогда не хотела сказать, как я ни добивался: «Статочное ли это дело назвать его: это было бы для него конфузно, что другие узнают, что его секла мать... Молод был, шалил, ну, мать и наказала».

Я неоднократно допытывался про фамилию, так и не узнал, а наконец, бабушка сказала мне: «Представь себе, что я и сама позабыла, как звали мою знакомую, что сына-то высекла».[27] Тайна осталась тайной навсегда, так что после того я уже и не допытывался, а теперь не у кого и спросить.

Моим барышням очень понравилась эта работа, и я приглашала Веклера бывать у нас и давать им уроки.

Он был большой мастер своего дела и работал хорошо и очень живо. При начале работы большая пачкотня, когда заливают формочки составом, в который потом начинают вставлять цветные стеклышки. Очень это медленная работа, но раз сделанное никогда уже не испортится. Много разных вещиц тогда наделала Грушенька и подарила мне пейзаж для табакерки — «Красная Шапочка», который я велела обделать в черепаховую оправу.*

В то время была большая мода рисовать по дереву цветы гуашью и по белому бархату.

Тут я тоже пригласила двух рисовальных учителей, так что, живя в Петербурге, мои девицы кой-чему понаучились.

Сестре княгине Александре Петровне они подарили прекрасные ширмы из чинарового дерева в восемь половинок: верхние филенки — большие букеты цветов, рисованных по дереву, а средние — по темно-вишневому фону разные купидоны и барельефные фигуры; тогда это было очень модно, казалось хорошо, и знатоки ценили дорого. Каждая из дочерей нарисовала и для себя несколько вещей — работных ларчиков и корзиночек.

Рисованье по бархату было в большом употреблении, и английский бумажный бархат оттого очень вздорожал. Тогда рисовали по бархату экраны для каминов, ширмы, подушки для диванов, а у некоторых богатых людей, бывало, и вся мебель на целую комнату; делали рисованные мешки для платков или «ридикюли», которые стали употреблять после того, как вышли из моды карманы, потому что платья стали до того узить, что для карманов и места не было; но мы, люди немолодые, от карманов не отступали, а ридикюли носили ради приличия.

Помню я, что в прежнем московском дворце была целая комната с такими бархатными рисованными стенами: материя была полосатая, полоса голубая и полоса белая, а по ней гирлянда розанов разных цветов; стены и мебель — все было одинаковое. Наверно, и теперь еще где-нибудь в дворцовых кладных или рухлядных палатах хранятся эти старые обои.

К слову пришлось, застала я, но только это очень давно было, почти что в дни моего детства, в начале 1780-х годов, и мужчины нашивали такие рисованные жилеты «с сюжетами», то есть немало что с картинами, только по белому атласу и шитые шелками, а пуговицы на кафтанах величиною в медный пятак с разными изображениями и фигурами, рисованные на кости, по перламутру и даже эмалевые в золотой оправе, очень дорогие. Потом, когда перестали носить французские кафтаны и пудру, все эти прихоти оставили, попало в моду сукно, куда уж кружева носить! — и белья, бывало, ни на ком не увидишь: жилет застегнут доверху, а на руках ни манжеток, ни рукавчиков и не ищи.

---

* Эта мозаика, вынутая из табакерки и оправленная в золото, превратилась в прекрасную брошку и принадлежит правнуке рассказчицы.[30]

Во время зимы 1822 года было несколько маскарадов при дворе; нам достали билеты, мы ездили в Зимний дворец и с хор смотрели, что делалось внизу в зале.

Граф Александр Иванович Соллогуб, который доставал нам билеты, снизу увидел, что мы приехали, кивнул нам головой, немного погодя пришел к нам на хоры и, усевшись с нами, начал нам всех называть. Императрица Елизавета Алексеевна, которую я видела в первой ее молодости, оставалась в моей памяти ангельской красоты, — тут я увидела ее ужасно постаревшею, довольно полною и с лицом, на котором местами показывались красные пятна; словом, она была неузнаваема, так изменилась. Но зато великая княгиня Александра Федоровна, очень мне понравившаяся на бале у Апраксиных в 1818 году, тут показалась мне еще привлекательнее, и я нашла, что она удивительно похорошела. Муж ее, великий князь Николай Павлович, высокий ростом и стройный, был очень худощав в то время и совсем не так величествен и важен, каковым я видала его после того в Москве в соборах.

Михаил Павлович был тогда почти что юношею и женат еще не был, а женился он года два спустя на виртембергской принцессе, которую по принятии православия стали называть Еленой Павловной; она приходилась императрице Марии Федоровне как-то племянницей, то есть считались в родстве между собою.

Не будучи чиновною и не имея доступа ко двору, мне никогда не приходилось видеть придворного бала, потому что балы в собраниях в присутствии высочайших особ — это совсем другое дело, чем бал при дворе. Очень мне любопытно было следить за всеми этими господами, как они старались незаметным манером друг друга оттереть и будто бы случайно стать там, где могли привлечь к себе внимание или надеялись услышать милостивое слово. Все эти фокусы находящимся в зале незаметны, а с хор видно всех в одно время: смотри только, так вот и увидишь, куда все стремятся...

VIII

Сговорившись с сестрой жить в одном доме, мы положили, чтобы никому не стеснять себя, утром не дожидаться друг друга к чаю и пить его у себя по комнатам, но обедать, пить вечерний чай и ужинать вместе.

Дом мы нанимали пополам, и за стол я платила сестре половину, а то князь Николай Семенович при своей скупости меня бы со свету сжил и считал бы каждый кусок, который мы глотаем. Я была покойна, что Вяземским не в тягость, и так же, как и они, была у себя дома.

Сестра здоровьем видимо слабела: чувствовала большую слабость, боль в желудке и нередко не выходила к столу, худела и желтела. Смолоду она была прекрасна собой: высока ростом, стройна, величественна и держала

себя с большим достоинством. Ее называли la belle Korsakoff,* а меня — la petite Korsakoff.** Не видавшись с сестрой года два и свидевшись в Петербурге, я была поражена ее переменой; будучи немного старее меня, она предо мною казалась старухой.

Мой приезд ее сначала несколько оживил, и она мне очень обрадовалась.

— Ах, голубушка моя, как я рада тебе; часто я стала прихварывать, недолго мне остается пожить, а хотелось бы мальчиков моих людьми видеть. . . ну когда они на своих ногах будут? . .

Я утешала сестру, а сама я знала, что она непрочна. Слава Богу, что хоть эти десять месяцев мне пришлось с нею побыть и утешить и себя и ее пред концом ее жизни. Мы были с нею всегда дружны, потому что она была немногим меня старше, всего года на два; мы вместе выезжали, стало, все наши воспоминания молодости были одни и те же, да и по характеру мы с нею приходились друг другу по сердцу.

При бешеном и невыносимом нраве (очень доброго сердцем) князя Николая Семеновича сестре было иногда очень тяжело, и я думаю, что отчасти и болезнь, от которой она и умерла, причину свою имела в частых волнениях и раздражениях. Кому могла сестра передать свои скорби? В наше время никакая порядочная женщина не дозволяла себе рассказывать про неприятности с мужем посторонним лицам: скрепи сердце да и молчи.

Сестра мне открывалась не раз, что ей часто очень тяжело: муж рассердится за пустяк и безделицу и недели по две дуется. Мальчикам Вяземским было уже лет 17 и 16; они все это видели; сестра старалась скрыть от них безалаберность их отца, брала на себя быть веселою, обращала в шутку, что князь не в духе, и все это ей стоило немало труда.

Князь Андрей, старший из моих племянников, был высок ростом, прекрасно сложен, строен, лицом очень красив и имел в то время прекрасный цвет лица и такую нежность кожи, что скорее был похож на девочку, чем на мальчика, отчего его товарищи иногда и дразнили, называли его «Катенькой», и он очень этим обижался.

Характером он был кроток и мягок, откровенен, к матери ласков, и потому и отец и мать заметно его больше любили, чем его брата.

Князь Александр, немного пониже ростом, лицом был еще красивее брата, глаза голубые, прекрасные, но со взглядом до того пронзительным, что он становился иногда неприятен. . . Умнее старшего брата, он был очень вспыльчив и по нраву скорее походил на отца, чем на мать. Насмешлив и дерзок на ответы, и он часто с отцом ссорился, того и гляди, что князь Николай Семенович его поколотит; сестра, бывало, как на горячих углях, когда у них выйдет перестрелка.

Князю Андрею никогда не было ни в чем удачи: лошадь ли ему купят, ружье ли или там что-нибудь еще, — что-нибудь да выйдет ему неприятное, а князю Александру, напротив того, все везло и во всем была удача,

* прекрасная Корсакова (*франц.*). — *Ред.*

** маленькая Корсакова (*франц.*). — *Ред.*

и не попадись он по своей необдуманности в историю 14 декабря, он далеко бы опередил своего брата. Этим он совсем испортил свою карьеру; однако нашлись добрые люди, которые выручили его из беды, так что он не был даже отставлен от службы, а только из гвардии переведен в армию.[31] Много ему тогда помогла сестра Екатерина Петровна Архарова: она имела сильных и влиятельных друзей, была коротка с баронессой Ливен, воспитательницей великих княжен, имевшей большое влияние на покойную императрицу Марию Федоровну, к которой и сама имела свободный доступ, так что в Павловске зачастую езжала к ней просидеть с нею запросто вечерок.

Князь Андрей, напротив того, служил всегда законному государю верой и правдой, был хорошо принят на придворных балах и был из числа тех кавалеров, к которым благоволила императрица Александра Федоровна, и весьма часто он удостоивался чести с нею танцевать. Знатные старухи его ласкали и прочили ему своих внучек; так, княгиня Наталья Петровна Голицына желала, чтоб он женился на ее внуке Строгановой, вышедшей потом за графа Ферзена, но этот брак почему-то не состоялся. Князь Ларион Васильевич Васильчиков, брат княгини Татьяны Васильевны Голицыной, сватал ему свою дочь, прекрасную и премилую девушку, которая и ему нравилась, но дело разошлось по скупости князя Николая Семеновича. Васильчиков, будучи очень расположен ко князю Андрею и желая иметь его своим зятем, посылал спрашивать у отца, «сколько он будет давать сыну на содержание, ежели он женится». Отец Вяземский был очень туг на денежку, ответил, что больше того, что он теперь дает сыну, он дать не может; так дело и кончилось ничем. Эта Васильчикова была потом за Лужиным и умерла очень молодою. . .

Во время коронации императора Николая Павловича князь Андрей был при особе государя и во все время царской трапезы в Грановитой палате стоял у ступенек трона с обнаженным палашом. . . Государь милостиво вспоминал об этом и неоднократно говаривал ему: «А помнишь, как ты меня короновал? . .»

Блестящая его ожидала будущность, умей он умненько воспользоваться всеми благоприятствовавшими ему обстоятельствами: так нет же, все не впрок ему пошло. Первое, что ему повредило — это особенная его дикость и излишняя боязливость показаться навязчивым: ему предлагают, а он совестится — отказывается; ну, разумеется, кто был побойчее его, тот и шел вперед и лез в гору. Потом ему было великою помехой то, что он был слишком влюбчив и охотник кружить головы молодым женщинам. Сам красавец и достаточно умен, чтобы быть любезным, он нечасто встречал жестоких красавиц; сперва он завлекал, а потом уж и сам так увлекался, что и невозможно было отстать вовремя. Конечно, эти красавицы были не какие-нибудь *такие*, которых и назвать нельзя, а самые лучшие цветки тогдашнего петербургского высшего круга, и несмотря на всю свою скромность и осторожность, чтобы не скомпрометировать благородных женщин, многое всплывало кверху и навлекло на него ненависть и вражду людей сильных, которые ему исподтишка мстили и вредили.

Брат князь Николай Семенович, не быв никогда сам ни волокитой, ни шаркуном, вместо того, чтоб отговаривать молодого мальчика, ему точно поблажал, и когда в 30-х годах князь Андрей гащивал по зимам в Москве, старик нарочно тащится, бывало, в Благородное собрание на бал, чтобы потом рассказать мне, за кем сын его волочится. Раз я не вытерпела и сказала зятю: «Я, право, тебе, брат, удивляюсь, чему ты тут радуешься, что твой сын у мужей отбивает жен: разве хорошо, что ль, или похвально такое волокитство? Дай Бог, чтоб ему самому в жизни это со временем не отозвалось; знаешь, по пословице: чего не желаешь себе, того не делай и другим». Не понравилось это старику, он надул на меня губы и несколько дней сряду ко мне ни ногой, пока не сошла с него дурь. . .

IX

В то время, как мы жили в Петербурге, презабавную он выкинул штуку с Анночкой. Теперь мне это смешно, а тогда куда как было мне досадно и прискорбно. Ездили мы как-то утром по лавкам, были и в меховой, приценились к меховым палатинам (palatine), какие тогда были в моде. Вот за обедом Анночка и рассказывает сестре, что мы видели, и говорит, «что хороши палатины, да дороги — нет меньше ста рублей».

— А тебе очень нравится палатин? — вдруг спрашивает князь Николай Семенович у Анночки.

— Да, дяденька, очень нравится, да нахожу, что дорого. . .

— Ну, я тебе дарю. . .

Поехал на другой день, купил палатин и подарил Анночке.

Та в большой радости. . . Смотрим, к вечеру князь Николай Семенович как в воду опущенный: не глядит ни на кого, молчит, спросишь — не отвечает.

Не в диковинку нам с сестрой были эти штуки; думаем, так что-нибудь ему попритчилось. . . На другой день стали примечать, что он дуется на Анночку; как та в комнату войдет, он замолчит или выйдет из комнаты, за столом сядет к ней боком, чтобы на нее не глядеть, да так две недели на нее дулся за то, что подарил ей палатин!

Эта пустячная история много перепортила нам всем крови: Анночка пресамолюбивая, видит, что дядя на нее дуется, и здороваться с нею даже не хочет; сестре совестно за мужа, жаль племянницу, которая ни в чем не виновата; неловко со мною, и мне конфузно, да и, признаюсь, досадно было на зятя. К счастию, пришлось так, что через две недели после подарка этого палатина я прослышала, что которому-то из мальчиков Вяземских хочется купить ружье. Стоит оно полтораста рублев, денег своих нет, а отцу и заикнуться не смей, я и подарила ему денег на ружье, а чтобы другому не было завидно, дала столько же и ему, сколько его брату. К вечеру узнал это князь Николай Семенович, совестно стало ему. . . «Ты, сестра, все мотаешь, — говорит он мне, — ну на что ты балуешь моих мальчиков, даришь им деньги на пустяки, к мотовству их только приучаешь?»

— Напрасно ты говоришь, князь Николай Семенович, что я их балую; ты тешишь моих детей, а я твоих: долг платежом красен...

— Я тешу твоих, говоришь ты, а чем же бы это?

— А как же: палатин ты Анночке подарил...

— Ах, да... а я и позабыл, ха-ха-ха, — громко захохотал он, тем все и прошло. И к вечеру стал говорить с Анночкой, как будто ничего никогда и не бывало. Такой был престранный человек.

Нагостившись вдоволь в Петербурге, я стала поговаривать об отъезде и заказала себе у лучшего каретного мастера Вебера большую дорожную четвероместную карету за три тысячи рублей. Эта карета-то меня и задержала, а то бы, может статься, я уехала и прежде.

Не жалею я, что позамешкалась в Петербурге — побыла я с сестрой на последних порах ее жизни: расстались мы с нею в июле 1822 года, а 7 мая следующего 1823 года ее не стало в живых. Она последние годы очень хворала, болела желудком и очень страдала; оказалось потом, что у нее был рак в желудке и от того изнурительная лихорадка.

Очень мы плакали, расставаясь: я чувствовала, что нам больше не суждено было видеться в этой жизни. Она тоже предчувствовала, что не долго наживет, и говорила мне это. Я, конечно, ее утешала, звала в Москву, а сама видела, что при ее слабости и болях она не жилица. Утешило ее, что мальчиков ее произвели в офицеры; не могла она довольно на них налюбоваться. Милая, хорошая, умная и достойная была женщина и, несмотря на всю безалаберность мужа, любила его, как следует жене, и была прекрасная мать.

Сестру схоронили на Охтенском кладбище. Изо всех моих сестер и братьев я любила сестру Вяземскую более других; она была умнее всех нас и лучше из себя; была приветлива и ласкова, но держала себя очень важно и с достоинством, и так как была довольно большого роста, то имела величественную осанку и с виду была совершенная княгиня.

Мы возвратились из Петербурга в июле месяце и, проведя несколько времени в Москве, поехали в деревню, где и жили довольно поздно. Год окончили благополучно. Не было у нас в родстве ничего замечательного, потому ничего не приходит на память.





ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

I

Во время зимы 1823 года были в Москве увеселения, и мои барышни выезжали немало. Голицыны и Апраксины были коренными хлебосолами Москвы и умели тешить публику, и Дворянское собрание было после 1820-х годов во всем блеске.

Года с два после неприятеля Москва все еще обстраивалась, а мы все кряхтели, а с 1817 и 1818 годов, когда царский двор долго пребывал в Москве, все опять пошло на прежний лад, и стало во всем больше роскоши приметно.

По возвращении нашем из Петербурга я застала на балах дочь моей двоюродной сестры, графини Елизаветы Степановны Салтыковой — Сашеньку. Очень была она мила, свежа лицом, привлекательна, стройная, живая, преумная и прелюбезная, одна дочь у матери, которая только ею и дышала; знали, что дадут за нею немало, так около девочки мужчины, точно рои пчел, так и жужжали; она была гораздо моложе моих дочерей. . . Мне было очень приятно, что сестра Елизавета ездит на балы; сядем, бывало, рядышком и смотрим на наших детей. . .

В эту зиму и решилась судьба Сашеньки Салтыковой: сестра просватала ее за Павла Ивановича Колошина. Он служил при князе Дмитрии Владимировиче Голицыне, который к нему благоволил, и княгиня Татьяна Васильевна, кажется, эту свадьбу и смастерила. Колошин был из себя нельзя сказать, чтобы хорош, но видный мужчина и в обращении ловкий и любезный. Он был умен и очень хорошо воспитан и имел очень порядочное состояние, хлебородное имение где-то в Симбирске или Саратове, душ 600 или 700, не больше. Мать Колошина была сама по себе Олсуфьева и как-то в родстве с Адамовичами, а дядя Павла Ивановича был женат на Екатерине Акимовне Мальцевой, которая, овдовев, выстроила себе домик возле Аносина монастыря, рядом с сестрой Варварой Петровной Комаровой. Когда придет ее черед, скажу и о ней. Был у Колошина брат Петр Иванович, после того сенатор, и тоже был женат на Мальцевой. Одна из сестер Колошиных, Марья Ивановна, была за Пущиным. Варвара Ивановна какая-то, говорят, была чудачка, осталась в девицах, а Елена Ивановна, очень нехороша собой, но пребойкая и преумная штука, вышла за князя Александра Ивановича Долгорукова; но это было уже гораздо позже, после холеры в 1831—1832 году.

Свадьба Колошина была, кажется, в апреле.

В последних числах того же месяца овдовел старший сын моего деверя Янькова, Александр Николаевич. Он был женат на Анне Александровне Грушецкой; ее мать была по себе княжна Голицына, звали Елизаветой Андреевной, ей в честь и была названа дочь Яньковых Лизанька, которая потом вышла за Выропаева. Кроме дочери осталось еще пять сыновей: Сергей, Николай, Павел, Дмитрий и Петр. Добрая была и хорошая женщина. Так как они жили у Покрова в Левшине, то ее там и отпевали, а схоронили в Новодевичьем монастыре.

Мой деверь и невестка очень жалели о своей снохе.

II

Весной по просухе мы поехали в деревню. Бабушка Марфа Ивановна Станкевич, которая жила по соседству от нас верстах в пяти в Колошине, стала мне поговаривать про какого-то Посникова, не знаю как им сродни по Румянцевым, и прочила его в женихи Грушеньке, которую она очень любила, и дочь Станкевича, Федосья Епафродитовна, нашептывала Груше про этого *le beau colonnel*,* как она его называла.

Вскорости после того, в мае месяце, говорит мне бабушка Станкевич, чтоб я к ней приехала с дочерьми отобедать. У Грушеньки разболелись зубы, и я поехала только с Анночкой и нашла у них их родственника Посникова. Видный и разбитной малый, лет под 30, очень любезный и разговорчивый, и понравился он Анночке: вот что значит судьба. Возвратясь домой, Анночка и говорит Груше: «Ну, видела я хваленого Посникова, — *лихой полковник*, и, ежели он за меня посватается, я тебе его, Agrippine, не уступлю».

Через несколько дней Станкевич привезла его ко мне; дело пошло на лад, он стал бывать у меня, Анночке он нравился, сделал предложение, мы его приняли, и 1 июля была помолвка, а 11-го свадьба в Москве, у меня в доме; венчали в приходе Пятницы божедомской, что на Пречистенке. Я уступила молодым мезонин своего дома, не желая зятя вводить в ненужные расходы, а потом мы отправились в деревню.

Посаженным отцом у жениха был родной его дядя Николай Васильевич, женатый на Федосье Степановне Карнович. Они жили в своем доме под Донским, самый первый дом от монастыря по левую сторону, ежели ехать оттуда. Дом небольшой, но очень поместительный и прекрасно расположен, строен известным и несчастливым строителем храма Спасителя на Воробьевых горах Витбергом.

III

До замужества Анночки я об этих Посниковых никогда и не слыхивала, — велика Москва, они все там жили на самом краю города, а я туда и не заглядывала. В 1823 году Николаю Васильевичу было лет под 60,

* красавца-полковника (*франц.*). — *Ред.*

но он был еще свеж и замечательно хорош собой. Говорят, он смолоду был так привлекателен, что императрица Екатерина Вторая обратила на него особое внимание, и многие предсказывали ему блестящую судьбу. Далеко, однако, он не пошел. Ногу ли подставили красавцу приближенные ко двору, или он не умел склонить на свою сторону известную Перекусихину, пользовавшуюся особым доверием государыни,[1] — не знаю. Но был он в близких отношениях с княгиней Екатериной Романовной Дашковой, состоял при ней секретарем, пользовался ее неограниченным доверием и особым, исключительным благорасположением. Может легко статься, что эта короткость с Дашковой именно и повредила ему в его придворной карьере, так как известно, что, сперва друг и наперсница императрицы, Екатерина Романовна почувствовала после того к себе охлаждение государыни и сама стала видимо удаляться от двора,[2] уехала за границу и долгое время путешествовала.[3]

Сама я Дашковой не знала, мельком видала раза два в то время, как в последние годы она жила в Москве,[4] по возвращении своем из ссылки в деревню, куда ей велено было уехать на житье при императоре Павле,[5] и потому о ней не могу ничего сказать достоверного, а за верность слышанного ручаться не могу, говорить же о столь известных людях понаслышке не приходится. Знаю только, что у княгини были большие *контры* с Орловыми, в особенности же с самим главным фаворитом — Григорием:[6] он метил очень далеко и уж чересчур высоко, а Дашкова открывала глаза императрице и, не стесняясь, высказывала ей всю истину; это и было самою важною причиной их взаимного охлаждения. Григорий Орлов вел за границей жизнь беспорядочную: Дашкова все это видела, знала, конечно, сообщала и окончательно с Орловыми стала во вражде.

Посников о княгине говорил редко, но всегда с восхищением и великим уважением: «Великий, матушка, была она человек, имела ум гениальный, европейский». Много расспрашивать о ней старика было неловко и неделикатно, а, конечно, он подробно мог бы об ней порассказать. . .

Жена Николая Васильевича Федосья Степановна, урожденная Карнович, была тоже в своем роде лицо замечательное. Ее отец был любимцем великого князя Петра Федоровича, то есть Петра III, который, будучи еще великим князем, пожаловал ему графство по своему Голштинскому герцогству, сделал генерал-майором и придворным своим обер-камергером, но так как вскоре после того скончалась императрица Елизавета Петровна, а сам он царствовал не больше полугода, то и не успел подтвердить этого пожалования как император, ну а после него, верно, Карнович считал безопаснее для себя притаиться и не просить подтверждения графства, чтобы себе еще какой беды не нажить через это. Но что он был графом, это известно всем его близким; и были ему пожалованы большие имения в Ярославской губернии, а кроме того, он владел и в Малороссии наследственными вотчинами, так как отец ли или дед его служили в казачестве.

Федосья Степановна была дочь от второй жены; отец ее был сперва женат на Швановичевой, а потом на Нероновой Софье Васильевне; сестра ее Елизавета Васильевна была за Херасковым стихотворцем, с которым

покойный Дмитрий Александрович был коротко знаком; знавала и я ее, но домами мы знакомы не были. Посникова была небольшого роста, худенькая и миловидная женщина, немного помоложе своего мужа, большая чудиха и привередница насчет своего здоровья, и когда к ним ни приезжай, она все, бывало, лежит на кушетке, совсем одетая в платье, а ноги прикрыты турецкою шалью, и все кряхтит, что ей нездоровится; мне кажется, что она это только так, для пущей важности интересничала и только или хандрила, или просто прикидывалась хворою. Смолоду, сказывали, она была красавица и большая щеголиха, и Николай Васильевич тоже был не последний франт. Оба они, муж и жена, имели очень хорошее состояние, но не умеючи вели свои дела и впоследствии хотя и не были в большой нужде, но жили очень поприжавшись. С какого времени поселились они в Москве, я не знаю, но в ту пору, как граф Алексей Григорьевич Орлов живал в Москве, в начале 1800-х годов, и тешил свою единственную дочь роскошными праздниками, Посниковы ютились уже под Донским и с Орловыми хлеб-соль водили, а две дочери их, Софья Николаевна и Авдотья Николаевна, были коротки с графиней Анной Алексеевной, но были помоложе, чем графиня.

Старшая, Софья, была высока ростом, плотно сложена, с очень резкими чертами и походила на отца, только вдурне. Меньшая, Авдотья, немного помеченная оспой, была очень интересна, ростом меньше сестры, немного худощава. При женитьбе их двоюродного брата на моей дочери они обе были уже очень зрелые девицы, были прекрасно воспитаны, говорили по-французски очень хорошо, в обращении очень приветливы и любезны и, бывая часто в обществе графини Орловой, держали себя очень хорошо, как девицы самого лучшего круга.

Не будучи ни знатным, ни чиновным и совсем не богатым, Посников умел приобрести уважение всей Москвы: кого он только не знал, кто-кто у него не бывал, и все относились к нему с почтением, и многие молодые женщины, когда он был уже больным стариком, целовали у него руку. Он был умный и милый старик, превежливый и простой в обращении, всех знал, про все помнил и рассказывал хорошо и занимательно, шутил очень тонко, но никогда ни про кого дурно не говорил и даже избегал быть с людьми, невоздержными на язык. Он был ко мне хорошо расположен и изредка приезжал ко мне запросто отобедать или просидеть вечером часа два-три и потом непременно уже отправится в Английский клуб. По утрам он всегда бывал дома, и ежели ему не случится где-нибудь обедать в городе, а у себя, то в 6 часов он садится на дрожки или в санки в одну лошадку и из Замоскворечья тащится через весь город в Английский клуб и просидит там до двенадцати часов. Какая бы ни была погода или дорога, ему все равно: наденет на себя высокую шляпу с широкими полями, старомодную шинель и едет в клуб, точно на службу.

Он часто езжал к Хитровой Настасье Николаевне, которая старика любила; к нему и княгиня Урусова была расположена; он был как-то в свойстве с Хитровыми, сестра его жены была за каким-то Хитровым, а как его звали, не умею сказать. Все что было в Москве знати, все благоволило к Посниковым: у князя Сергия Михайловича Голицына он был

свой человек, да и к тому служил он по тюремному комитету, его любил и покойник Юсупов, князь Николай Борисович; с Шереметевыми он был тоже в свойстве по своей свояченице Авдотье Степановне; Мальцевы, Мухановы, Орлова — все это любило их и к ним езжало.

Девицы были очень благочестивы и богомольны, посты строго соблюдали, в церкви бывали чуть не у всех служб, знали всех игумений, настоятелей, архиереев, читали книги все больше духовные и нравственные, словом сказать, были мирянками только по платью, а жили как совершенные монахини. Орлова была с ними в переписке и присылывала им гостинцы.

Прежде всех умерла Федосья Степановна, почти ходя и не быв очень больна. Потом старик вывихнул себе ногу в бедре и волей-неволей засел дома. Тут-то и оказалась к нему всеобщая любовь и расположение: когда ни приезжай, днем или вечером, все кто-нибудь да есть, и ведь где же? на краю света: значит, любили, что не тяготились ездить в такую даль. И муж и жена погребены в Донском монастыре. Из дочерей сперва скончалась Авдотья Николаевна, потом Софья Николаевна продала свой дом и переехала жить со своею приятельницей княгиней Голицыной Авдотьей Михайловной, рожденною Нарышкиной, сестрой бородинской игуменьи Марии Тучковой, которая тоже была коротка с ними.

Хорошее, почтенное и редкое было семейство. В прежнее время много бывало таких домов в Москве, куда все езжали по искреннему сердечному расположению, безо всякой особой надобности и без ожидания каких-нибудь веселостей, потому что умели чтить и уважать истинное достоинство, оттого и было больше общительности; теперь каждый стал думать только о самом себе.

IV

Про самый род Посниковых много я не знаю, но, однако же, кой-что слышала и запомнила; более всех могла мне об них передать бабушка Станкевич.

Гнездо их было спокон века в Костроме, в Галиче, где они родились, плодились и умирали, и были все люди очень достаточные и уважаемые в той местности, но никто из них никогда не бывал ни в высоких чинах, ни в особом случае.

Отец Николая Васильевича Василий Кириллович был женат сперва на Колотыровой и от нее имел двух сыновей: Алексея и Николая и дочь Наталью Васильевну, а во втором браке был женат на вдове Бологовской, рожденной Румянцевой. Звали ее Александра Федоровна, и была она теткой бабушке Станкевич, рожденной тоже Румянцевой; сестра ее Анна Федоровна была за Зубовым, не графом. От второй жены у Посникова был только один сын Василий Васильевич, отец моего зятя. Он был женат на Елене Александровне Алалыкиной; старший из ее братьев Александр Александрович был при императоре Александре Павловиче гоф-интендантом, и, кажется, последним, до самого упразднения этой должности. Женат он был на Анне Ивановне Лавровой, и оба они доживали свою жизнь у себя

в деревне, в селе Дубяках в Галиче. Меньшой брат Николай Александрович женился потом на Федосье Епафродитовне Станкевич, и тоже безвыездно жили в деревне, там же. Мать Алалыкиных звали Прасковьей, урожденная Бартенева, в первом браке за Алалыкиным, а когда овдовела, будучи еще молода и очень хороша собою, вышла вторично замуж за Николая Петровича Колычева, и было у них три сына, но до совершеннолетия дожил только средний, Петр Николаевич (отец Анны Петровны Боде). У Елены Александровны Посниковой было еще две сестры: Елизавета за князем Вадбольским Николаем Петровичем, Наталья за каким-то генералом Корфом, но был ли он бароном или нет и как его звали — не умею сказать. Свою сватью Елену Александровну я никогда не видывала: она в Москву не ездила, а я в Галиче не бывала. Слыхала я про нее, что она очень умная женщина, но пренастойчивая и пресамонравная. Она постоянно жила в своей деревне, в Курилове, и имела большое семейство; сыновей было только двое: Николай Васильевич, мой зять, да брат Дмитрий Васильевич, не женатый, и пять дочерей: Варвара (за Турчаниновым), Софья (сперва за Петром Николаевичем Сумароковым, а потом за Сергеем Александровичем Яньковым; Сумароков приходился мне внучатым братом, а Яньков двоюродным внуком), Прасковья умерла в девицах, Любовь (за Доливо-Добровольским) и Надежда за Вальмус.

Деревенское житье-бытье Посниковой-старухи и ее дочерей было вполне барское, не в роскоши, но в простоте и довольстве.

По старине был в доме дурачок Макарушка, который старуху смешил и забавлял; к ней съезжались соседи, подолгу гостили, но особенным расположением она не пользовалась по своему непокладистому характеру.

Когда Посников сделал Анночке предложение, мне Станкевич и говорит: «Ты, милая, не жди, чтобы мать Посникова написала письмо тебе или невесте, не таковская: пресамонравная и с *кострючим* характером».

Ей не хотелось, чтобы сыновья женились, да и дочерей бы оставила девушками, ежели бы они были не так бойки; второй сын Дмитрий так и не женился в угодность матери, и дочь Прасковья — хуже всех лицом — пережила мать и дожила девицей уже немолодою.

Приехав в деревню, я повезла своих молодых знакомить с нашими соседями; они погостили у меня месяца полтора и поехали в Кострому, а я вскоре собралась на богомолье в Ростов.

V

Мне доводилось не один раз бывать и прежде того в Ростове, и с покойным мужем бывали мы не однажды, а тут я узнала, что отец Амфилохий очень слабеет; я была его духовною дочерью, очень любила и уважала этого великого старца и решила, не теряя времени, съездить помолиться к мощам святителя Димитрия и получить в последний, может быть, раз благословение благочестивого и строгого подвижника. Ему тогда было уже с лишком семьдесят лет, и более сорока лет он находился гробовым иеромонахом при мощах святителя.[7]

Очень мне было грустно после отъезда моих молодых, и, проводив их, я собралась ехать развлечь себя, дочерей и помолиться ростовским угодникам Божьим и чудотворцам.

Август был уже на исходе, но погода стояла еще хорошая. Помолясь у Троицы, мы поехали далее. В Переяславле останавливались и служили в Данилове монастыре молебен у мощей преподобного Даниила, в Никитском — у преподобного Никиты Столпника и в Федоровском женском монастыре панихиду на могиле Елизаветы Ивановны Взимковой, от которой новгородское череповское имение перешло к батюшке, потом ко мне, а я отдала его в приданое дочери Посниковой. Выехали мы рано утром и в тот же день, сентября 1, были в Ростове. За несколько дней до нас в Ростове был государь Александр Павлович, два раза в один день посетил Яковлевский монастырь и, зная и уважая иеромонаха Амфилохия, ходил к нему в келью и более получаса провел у него в духовной беседе.

В 1818 году в бытность свою в Ростове государыня императрица Мария Феодоровна посещала Яковлевский монастырь, и так как в то время там не было настоятеля, недавно пред тем умершего, то принимал императрицу старец Амфилохий как старейший из братии, и государыня с ним милостиво беседовала.

За несколько месяцев пред тем ему был высочайше пожалован наперсный алмазный крест.[8]

Он был родом из самого Ростова, где отец его был священником в одной из приходских церквей, а дед, тоже священник в одном селе, был рукоположен самим святителем Димитрием. Мирским именем отца Амфилохия звали Андреем; он с детства, говорят, любил ходить в церковь и плакивал, когда ему случалось проспать утреню. Так как в Ростове исстари много было иконописцев и в особенности мастеров, пишущих иконы по финифти, то и он научился этому мастерству и сделался искусным иконописцем. Когда он пришел в совершенный возраст, отец его женил, и он был в скором времени после того посвящен в дьякона и имел дочь. При покойной императрице Екатерине потребовалось в Москве поновить Успенский собор живописью. Для этого велено было выбрать хороших мастеров и преимущественно из духовенства, которое тогда много в этом упражнялось. В числе прочих сподобился и ростовский дьякон Андрей потрудиться во храме Успения богоматери. Покуда он в Москве работал, жена его умерла. Возвратясь на родину, он погоревал о жене, дочь свою отдал кому-то из родных на воспитание, а сам пошел в Яковлевский монастырь и по прошествии немногих лет был пострижен, посвящен во иеромонаха и назначен гробовым к мощам святителя.

Жизнь его была самая строгая, подвижническая, и в особенности он отличался кротостью, терпеливостью и смирением. Весь город его чтил и уважал, и все, посещавшие Ростов, желали быть его духовными детьми. Между прочим, в числе их была и графиня Орлова, которая по нескольку недель гащивала в Ростове, преимущественно во время четыредесятницы. Он первый указал ей на отца Фотия, который был в начале 1820-х годов неизвестным игуменом какого-то новгородского монастырька и был почему-то известен отцу Амфилохию. Впрочем, не мудрено, потому что его

все знали, и когда графиня Орлова стала просить у старца указать ей на опытного человека, руководительству которого она могла себя вверить, он ей тогда и указал на Фотия; это было или в 1820 или в 1821 году. С этих пор Фотий и пошел в гору, его стали переводить из монастыря в монастырь и, наконец, перевели в Юрьев монастырь, который и обязан ему тем, что он из него сделал при щедрой помощи Орловой.

Случившееся пред нашим приездом посещение государя так обрадовало отца Амфилохия и потрясло, что дня два спустя, 25 или 26 августа, с ним сделалось дурно в церкви, и его оттуда вынесли на руках, и что он с тех пор все пребывает у себя в келье. Однако слабость его не помешала ему нас исповедать, но сидя, и он благословил нас иконами.

Он был, по-видимому, в прежнее время довольно высокого роста, но тут он был уже сгорблен, очень худ и бледен и говорил слабым и едва внятным голосом; видно было, что свеча догорала.

Настоятелем монастыря был в то время родной племянник отца Амфилохия архимандрит Иннокентий, бывший прежде священником и, овдовев, пошедший в монашество. Он был невысок ростом, довольно плотный, с очень приятным лицом и весьма ласковым, мягким взглядом; человек приветливый и умевший говорить очень красно и сладко. Он был настоятелем почти тридцать лет и заслужил общее уважение. Под конец он стал страдать ногами, сделались раны, потом оказалась у него каменная болезнь от долгих стояний и продолжительных служений, и он умер в конце 1840-х годов. Его очень любила Орлова, которая тоже немало сделала и для Яковлевского монастыря.

Отец Амфилохий недолго пожил после нас; в мае месяце следующего 1824 года его не стало: он, говорят, скончался тихо, заснул с молитвою в устах.

VI

Упомянув о Фотии, при случае скажу все, что про него слышала от людей, коротко его знавших,и, между прочим, от тех же Посниковых, которых Орлова с ним познакомила. Одни его чересчур хвалили, другие взводили на него напраслины и всячески на него клеветали; доставалось и на долю Орловой. Вся его монашеская жизнь была на моей памяти; часто говаривала мне про него Катерина Сергеевна Герард, великая поклонница митрополита Филарета, не совсем долюбливавшего Фотия, но и она, хотя и не превозносила его до небес, никогда дурно про него не отзывалась.

Откуда он был родом, хорошенько не припомню; кажется, отец его был причетником, по фамилии Спасский; мальчика звали Петром. Он учился очень усердно, так что по окончании всех учений был сам сделан законоучителем. Жизни он был очень воздержной и совсем монашеской, хотя еще и не был монахом. Кто обратил на него сперва внимание — не знаю, но только он в скором времени попал в настоятели в Новгородскую губернию и был игуменом Сковородского и Деревяницкого монастырей; в котором прежде — не знаю, и тут он и познакомился с Орловой. По ее знат-



или в 1823 году, потому что, когда мы ехали в Петербург в 1821 году, его там еще в ту пору не было, и в продолжение тринадцати или четырнадцати лет, что Фотий был юрьевским архимандритом, он сделал беднейший монастырь одним из самых богатых в России. Что рассказывали недоброжелатели и враги Фотия про его будто бы предосудительные отношения к графине, — пустая выдумка и злая клевета. Он был строгой жизни и к женщинам вообще очень суровый, а графиня пребогомольная и преблагочестивая девица. Говорили, что она была в тайном постриге [10] и что она пошла бы и совсем в монастырь, да не было ей позволено, и потому она оставалась в миру, а носила под своими богатыми туалетами власяницу и жила, как монахиня. Фотий считался некоторыми людьми за фанатика оттого, что строго держался православия и не одобрял многих духовных книг, которые в то время, то есть в 1820-х годах, стали печатать при тогдашнем министре духовных дел князе Голицыне Александре Николаевиче. Голицын почуял, что Фотий ему недоброжелатель, и старался было его придавить, но тот забрал уже силу, и Орлова его оберегала от погибели всем своим сильным влиянием. Может статься, Фотий и взаправду преувеличивал вещи и видел бесовщину, где ее и не было, но только это совсем не из притворства, а потому что ему самому чуялось во многом вражеское наваждение. Его упрекали, что он и графиню слишком запугал дьяволом и так прибрал к рукам, что она, бедная, ступить боялась, не посоветовавшись и не спросясь, не зная, не будет ли это в угождение врагу.

Сказывали, что когда Фотий читал какую-нибудь духовную книгу и встречал мысль, с которою не был согласен, то отмечал на полях: ложь, ересь бесовская. Катерина Сергеевна Герард иногда посмеивалась над Фотием и говаривала: «Il voit le diable ou n'existe pas», * но никогда нимало не заподозрила его искренности и не отвергала его подвижнической строгой жизни, а я знаю, что она глядела глазами митрополита Филарета и руководилась его мыслями.

Года за два или за полтора до своей смерти Фотий приезжал в Москву, жил сколько-то времени и посетил многие из московских городских и загородных монастырей и везде сделал пожертвования: где бриллиантовый крест, где панагию, где так дал деньгами, а то и графиню расположил помочь там, где видел нужду. От очень строгого поста и всегдашнего воздержания здоровье отца Фотия стало слабеть, он изнемогал, чувствовал упадок сил и окончил жизнь в 1836 или 1837 году.

VII

В сентябре месяце 1823 года постригли в монашество и произвели во игуменью мою родственницу и приятельницу, княгиню Авдотью Николаевну Мещерскую, построившую у себя в подмосковной, в Аносине, церковь и при ней сперва богадельню, а потом и общину. Я об этом уже прежде упоминала, теперь доскажу о княгине до конца.

---

* «Ему мерещится черт там, где его нет» (*франц.*). — *Ред.*



общину разрешено было переименовать в монастырь, княгиня очень обрадовалась и поехала к архиерею Филарету. Он и говорит ей:

— Вот ваше желание, княгиня, исполнилось; теперь только вам следует принять пострижение и вступить в управление новою обителью.

Это ее очень смутило.

— Пострижение я готова принять, владыко, — говорит она ему, — а начальства я не желаю: мне лучше повиноваться, чем повелевать...

— Вы основательница и учредительница, кому же быть и настоятельницей, как не вам? Готовьтесь к пострижению.

— Да к пострижению-то я рада с великою любовью приготовляться, но от начальства избавьте...

— Если хотите быть монахиней, то прежде всего научитесь послушанию и этим докажите, что умеете повиноваться; а если желаете, чтоб община стала монастырем, то сами сделайтесь игуменьей. Предоставляю вашему решению, иначе монастырь открыт не будет; выбирайте.

Княгиня пришла в великое затруднение: желала монашества, а начальства избегала и хотела, чтоб община была обращена в монастырь, а монастыря не хотели открывать, ежели она не примет начальства.

Как тут быть? Делать было нечего: княгине пришлось сделаться монахиней, а монахине нельзя было ослушаться своего архиерея. Согласилась.

— Да будет, — говорит, — воля Божья и ваша; что благословите, то и сделаю.

Владыка сам пожелал постричь княгиню и совершил этот трогательный обряд под Воздвиженьев день в Вознесенском девичьем монастыре, что в Кремле. Тамошняя игуменья Афанасия была почтенная старица и раба Божья, она была восприемница от Евангелия; [11] княгиню Евдокию назвали Евгенией.

Все родные и близкие съехались на пострижение, и очень было это трогательно и умилительно видеть, как постригаемая плакала и произносила обеты...

На следущий день за обедней новопостриженную посвятили в игуменью, и она отправилась к себе в обитель, которую переименовали монастырем, а для открытия и встречи был туда отправлен который-то из московских архимандритов.

Новая игуменья завела у себя в монастыре самый строгий порядок и во всем себе отказала: келью имела самую убогую, пищу очень простую и даже суровую и даже спала не на постели, а на дощатой скамье на войлоках, прикрываясь своею монашескою одеждой, и только пред концом жизни стала делать себе некоторые послабления ради немощей телесных.

Несмотря на свое косноязычие, она часто читала в церкви и очень ясно и внятно; бывала у всех служб и своею жизнью для всех монахинь была примером подвигов и душеспасительного жития.

Достигнув давно желаемого и оставив мир, к которому сердце ее не лежало, она не избегла искушений, удалившись в монастырь, который сама устроила и где была настоятельницей, — гдѐ, стало быть, и делалось все по ее желанию... Видно, от *себя* да от скорбей никуда не уйдешь. Была

у нее казначея Серафима, преумная, прерасторопная и деловая, но самонравная и, как попросту говорится, пройдоха. Сперва она лебезила пред игуменьей и старалась вкрасться в ее доверие и расположение, а потом, как добилась этого, и стала мутить в монастыре, всех смущать и восстановлять против игуменьи исподтишка, как будто сама ни при чем. . . Игуменья сперва этого и не подозревала, а потом, как увидела, откуда все зло, очень этим огорчилась, но так как была в самом деле смиренна сердцем и не властолюбива, то и хотела было сложить с себя бремя начальства; нарочно уезжала на богомолье в Киев и немалое время была в отсутствии, думая, что между тем все успокоится в монастыре. Она долго таила это от митрополита Филарета и попросилась на покой, будучи готова уступить свое место Серафиме, но митрополит на это не соизволил и когда подробно узнал в чем дело, то казначею сменил и после того выслал из своей епархии. Тогда игуменья вздохнула свободнее и пожелала иметь казначеею свою бывшую служительницу, а потом келейницу Александру, названную в монашестве Анастасиею. Это была добрая и простая монахиня, очень недалекая, но усердная и преданная; на ее руках игуменья и скончалась в 1837 году, 2 февраля, и после ее смерти она была сделана игуменьею.

VIII

В этом же 1823 году, сентября 20, скончался в Москве мой зять Иван Елисеевич Комаров, муж сестры Варвары Петровны; отпевали у Троицы на Арбате, а схоронили в Новодевичьем монастыре.

У сестры детей не было, а был пасынок Николай Иванович, к которому она была очень расположена; но он плохо отплатил ей за ее любовь и все попечения, которые она о нем имела.

Когда Иван Елисеевич женился (в 1804 г.), он был уже немолод — лет сорока или с лишком, вице-губернатор калужский, человек честный, добрый и знающий по службе, но совсем не особенной наружности, не замечательный умом и любезностью. Он был даже довольно молчалив и не очень общителен, и не будь он вице-губернатором, а сестра помоложе, то я не знаю, и согласился ли бы покойный батюшка на этот брак.

Но сестра была уже в летах, собою далеко не красавица, батюшка начинал уже чувствовать, что он слабеет, так он и дал свое согласие, что называется, скрепя сердце.

Сестра жила спокойно и мирно, в большом почете, пока ее муж был на должности; а потом, когда по расстроенному здоровью он должен был выйти в отставку, она за больным ухаживала с большою заботливостью и до конца его жизни прекрасно исполняла свои обязанности.

Под конец после параличного расслабления он пришел в такое положение, что стал как малое дитя и имел недуг, который мешал ему выходить из своей комнаты, где воздух от этого был нестерпимый. Эти последние два-три года для сестры были очень тяжелы.

Пасынок ее имел характер заносчивый и сварливый, и как сестра ни нянчилась с ним, он как волчонок все в лес глядел. Он был умен, любе-

зен и в обществе приятен и был он женат на Софье Григорьевне Охотниковой, которую сестра очень полюбила; была и она хороша к сестре.

Когда сестра овдовела, то хотела сгоряча тотчас идти в монастырь в Аносино; однако сестра Афанасия и я удержали ее и уговорили не спешить, чтобы после не сожалеть. Сестра Афанасия, точно для Бога все оставившая и с лишком уже пять лет жившая в Зачатьевском монастыре, хотя и ладила с игуменьей, но не совсем была довольна тем, что много было сплетен и дрязг в монастыре, и потому сестре Варваре Петровне советовала не спешить.

В то время в Зачатьевском монастыре были монахини все больше не из нашего сословия, а так, из простого звания, которые были охотницы *шмыгать* по кельям, а сестра ни к кому не ходила и к себе не звала, у игуменьи бывала редко и знала только храм Божий, а у себя читала, молилась и занималась рукоделием. Придраться было не к чему, так нет: сложили про нее сплетни, что она раскольница и еретичка. Кто занимался этим и сплетничал, я не могу сказать, но только это дошло и до архиерея Филарета, который сестру потребовал к себе. Она, бедная, ужасно перетрусила, явилась к архиерею, вся дрожит и трепещет.

— Ты худо живешь в монастыре, и на тебя жалуются...

Сестра молчит, еле жива от страху, ждет, что дальше будет.

— На тебя мне доносят, что ты раскольница и еретичка... правда ли это?

Это сестру удивило и ободрило.

— Ваше преосвященство, я пошла в монастырь по обещанию и по усердию, чтобы служить Богу; в семействе у нас, у Римских-Корсаковых, никогда никто не отступал от православия, и ежели вам так обо мне донесли, то это, вероятно, по недоразумению, ежели не по недоброжелательству.

Преосвященный понял, что этот донос была глупая сплетня и что смешно было бы поверить такой нелепости.

Он сестру посадил, стал расспрашивать об ее образе жизни и уверился, что только по недоброжелательству возможно было выдумать на благочестивую монахиню такую *несодеянность*, и, успокоив сестру, отпустил ее ласково и с благословением.

Но эта смешная и глупая выдумка, не имевшая никакого основания, глубоко оскорбила сестру, не потому, что про нее дурно сказали, но потому, что она желала со всеми жить в мире и делала всем одно только добро, а ей отплачивали *ненавистью за возлюбление*, по слову пророка.[12]

Очень вероятно, что любительницы ходить по кельям и были недовольны ею, что она сама не ходила никуда и к себе не принимала никого без дела и не охотница была до сплетен.

Сестра Варвара Петровна послушалась общих наших советов и в монастырь тотчас не пошла, но отложила до времени. Игуменья аносинская посоветовала ей поселиться возле монастыря и, не принимая монашества, жить так, как она жила бы, будучи в монастыре.

Прошел год, сестра все еще была в нерешимости, что ей делать. Она поехала к себе в деревню в Субботино, и вот однажды, когда она была

в церкви у обедни и в смущении молилась Господу, чтоб он научил ее, что ей делать с собою и как ей жить, — во время обедни прибежали ей сказать, что ее дом горит.

Конечно, это ее очень взволновало, однако, скрепя сердце и помышляя, что это вражеское искушение, она не потеряла присутствия духа и сказала прибежавшему в церковь:

— Спасайте прежде всего иконы, бумаги и книги, а там что можете, а как скоро окончится служба, возвращусь и я; на все воля Божья.

И еще с большим усердием старалась молиться, вполне предавшись Богу. Этот день решил судьбу сестры: когда она возвратилась от обедни, то нашла, что дом ее сгорел и что, кроме икон, бумаг, книг и серебра, немногое могли спасти. После пожара она приютилась на первое время где-то во флигельке, а там и стала помышлять о том, чтоб уйти в монастырь или жить где возле монастыря.

— Значит, Господь для того и отнял у меня мой собственный кров, чтоб я поселилась в обители *под кровом Бога небесного*, — так она толковала себе в утешение.

Я звала ее жить с собою; она погостила у меня, но не оставила своего намерения и опять обратилась за советом к игуменье Евгении.

— Избирай, сестра, любое, — говорит ей та: — угодно, вступай в монастырь, не желаешь, — выстрой домик и живи возле монастыря за оградой; помолись, и как Господь возвестит тебе, так и действуй.

Пожив в Аносинском монастыре, она возвратилась ко мне, ни на что не решившись.

Однажды она поехала к обедне за Москву-реку ко Взысканию погибших, где прекрасная икона этого явления божьей матери; [13] отстояла там обедню, отслужила молебен и, приехав домой, говорит мне:

— Ну, поздравь меня, сестра: я решилась построить домик возле Аносина монастыря и буду там жить.

Так она и сделала; сперва поселилась в гостинице, а потом стала строить для себя домик на монастырской земле, которую наняла, и положила себе исполнять монашеское правило, не вступая в монастырь. Она отказалась от мирской пищи и не стала носить ничего, кроме черного камлотового платья.

Вскоре рядом с нею выстроила себе домик Екатерина Акимовна Колошина, жена родного дяди Павла Ивановича Колошина, женатого на моей двоюродной племяннице Салтыковой. Она была сама по себе Мальцева, сестра Ивана Акимовича и Сергея Акимовича Мальцевых; добрая была старушка, благочестивая, но — что очень странным казалось и в наше время — была совершенно безграмотная, несмотря на то, что была дочь очень богатых людей. Она имела дочь, которая пошла в Хотьков монастырь, где и умерла монахиней; в миру ее звали Марией. Говорят, она была характера очень сварливого, и матери от нее житья не было. Как жила она в монастыре — не знаю, но только мать, добрая старуха, от дочери чуть не бежала.

Имение свое сестра Варвара Петровна предлагала мне с тем, чтоб я выплачивала ей ежегодно по три тысячи рублей ассигнациями; пред-

лагала братьям моим и Посниковым, но никто из нас не пожелал взять его. Тогда она предложила его пасынку своему, Николаю Ивановичу, и передала его жене. Когда она умерла, то имение поступило в опеку, и сестра осталась бы совершенно безо всего, если бы тетка Комаровой, Емельяненкова, урожденная Охотникова, ее воспитавшая, не вошла в положение сестры и не вызвалась платить ей ежегодно по три тысячи пожизненно, и к чести ее должно сказать, что она до кончины сестры очень исправно высылала ей эти деньги. Этим сестра и жила безо всякой нужды и не только сводила концы с концами, но еще умела и год за год оставлять понемногу и раздавала нищим. Она всякий день бывала у всех служб церковных, дома исправляла монашеское правило, а в остальное время читала духовные книги и вышивала шелками и блестками по канве для церкви, пока была в силах; по вечерам вязала для себя бумажные чулки. Раза два в год она гащивала у меня недели по три и по месяцу, но редко более; она так обжилась у себя и так привыкла к уединению, что ее домой так и тянуло; она скончалась 14 декабря 1849 года; схоронили ее в монастыре возле церкви.

IX

В 1824—1825 годах я лишилась трех весьма близких мне людей: бабушки Прасковьи Александровны Ушаковой, Анны Васильевны Титовой и бабушки Марфы Ивановны Станкевич.

Бабушка Прасковья Александровна была дочь Прасковьи Никитичны Татищевой (в первом браке за Александром Ивановичем Теряевым, а во втором — за Станкевичем) и потому была батюшке двоюродною теткой, а мне бабушкой. Отец ее Теряев имел весьма достаточное состояние, и так как она была единственною дочерью, то при замужестве получила хорошее имение и приданое с разными причудливыми затеями. Например, ей дали пуховик верхний (тогда матрасов не знали, а клали на постель сперва перину, а сверху пуховик) из гагачьего пуха и также все подушки, все в атласных желтых наволоках из китайского атласа, все белье из батиста и наволоки парадные, и занавес обшит кружевами (point d'Alancon),* что стоило пребольших денег. Только спать на такой постели было, говорят, не удовольствие, а просто пытка, и пришлось скоро эту необыкновенную и дорогую постель заменить обыкновенною, чтобы можно было спать спокойно и без невыносимой тоски во всем теле.

Бабушка имела подмосковную в Звенигородском уезде, Ламоново, неподалеку от Аносина; там был изрядный домик и хорошие фруктовые оранжереи и грунтовые сараи. Княгиня Мещерская, то есть игуменья Евгения, была очень дружна с бабушкой Ушаковой, которая не раз помогала ей после двенадцатого года и во время устроения монастыря, ссужая ей деньги, и очень радовалась, когда общину сделали монастырем, но только менее года пришлось ей этим утешаться.

---

* *алансонскими (франц.). — Ред.*

В Москве она жила где-то на Немецкой улице за Елоховым мостом — даль непомерная, в особенности от батюшкиного дома в Зубове или от нас у Неопалимой Купины; однако бабушка нередко езжала кушать к батюшке и к нам и — что всего ужаснее — в своей карете, которая, как старинные колымаги, была без рессор, а просто на каких-то подпорках и на ремнях. Давным-давно эти кареты вывелись, и никто в таких уже и не ездил больше, а бабушка все придерживалась старины и своей кареты переменить не хотела. Раз как-то она у нас кушала, да и говорит мне после обеда:

— Далеко мне от тебя ехать домой, очень скучно, проводи-ка меня, вечерок посиди со мною, а своей карете вели приехать попозже.

— Как прикажете, — говорю я ей. Собрались и поехали мы.

Это было до двенадцатого года, весной, вскоре после Святой недели; мостовые предурные, в особенности на Покровке — раствор грязи с камнями. Поехали мы, вот пытка-то! карету со стороны на сторону так и качает, а снизу подтряхивает: я и так сяду, и этак, думаю, лучше будет, просто возможности нет сидеть; как ни сажусь — все дурно. А бабушка сидит стрелкой и не прислонится даже.

— Что ты, Елизавета, все вертишься? или тебе неловко? А карета моя, кажется, преспокойная, видишь, как качает — точно люлька.

Думаю себе: хороша люлька, всю душу вытрясло.

— Ну, я не скажу, чтобы ваша карета, бабушка, была покойная, наши кареты на рессорах во сто раз лучше; вы бы себе такую изволили заказать.

— Терпеть их не могу, моя покойнее; чем бы, казалось, не карета? Видишь ли, какие вы молодые привередницы и прихотницы, — говорила она смеясь. — Я, старуха, довольная каретой, а она находит, что не покойна, извольте думать!

Уж как я доехала, я и не знаю, а на ту беду я еще была в таком положении, что должна была беречь себя; от тряски чуть себе большой беды не нажила.

У бабушки и в доме все было по-старинному, как было в ее молодости, за пятьдесят лет тому назад: где шпалеры штофные, а где и просто по холсту расписанные стены, печи премудреные, на каких-то курьих ножках, из пестрых изразцов, мебель резная золоченая и белая, какой и я уже не застала в моем детстве. Во время французов дом сгорел, погорели и колымаги, и этому, грешный человек, я порадовалась.

Бабушка Прасковья Александровна носила и платье и чепцы по прежней моде. Благочестивая и добрая она была, любила меня и все родство свое. Детей она не имела и все свое имение оставила племяннику своего мужа. Епафродит Иванович Станкевич приходился ей родным по матери братом, только от другого отца, и был гораздо ее моложе; но она Станкевичам ничего не оставила, а все отдала мужнину племяннику, который после того продал и московский дом и подмосковную Ламоново.

Бабушка скончалась в 1824 году, октября 20. Смерть Анны Васильевны Титовой меня очень огорчила, хотя мы и не были с нею нисколько в родстве, но, будучи близкими соседками, так сдружились и сжились, что стали точно самые близкие родные. После того как у Титовых Апраксин купил Сокольники и отдал дочери своей Голицыной, Титовы стали жить у себя

во владимирской деревне, в селе Амафорове по летам, а по зимам в Москве. Когда Анна Васильевна после двадцатилетнего упрямства решилась наконец дать согласие на замужество дочери своей Надежды Васильевны с Павлом Михайловичем Балк, то стала жить с ними. Они старушку успокаивали, и она последние годы своей жизни дожила тихо и счастливо. Она мало выезжала и все более сидела дома, потому что от золотухи, кинувшейся в лицо, она была обезображена и совестилась показываться людям, не коротко с нею знакомым. Это была самая первая из соседок, с которою я познакомилась. Когда вскоре после замужества я приехала с мужем в нашу подмосковную деревню, она меня обласкала и с тех пор, с 1794 по 1825 г., мы всегда были одинаково друг к другу расположены, и между нами не было и тени размолвки. Она скончалась 6 февраля 1825 года, и хоронить ее повезли во владимирскую деревню.

Бабушка Марфа Ивановна Станкевич недолго нажила после Анночкиного замужества, вскоре поехала к себе в смоленскую деревню, где искони множились Станкевичи, и там вскоре скончалась. Дочь ее Федосья Епафродитовна вышла за Николая Александровича Алалыкина, за брата моей сватьи Посниковой, и стала жить в Костроме в деревне, так я и потеряла ее из виду. Станкевичей было очень что-то много, но, кроме Федосьи, я более всех знала Александра Епафродитовича; он приезживал к матери, и одно время вздумал было свататься за Грушеньку, и зачастил к нам по соседству, и хотел было сделать предложение, только, как на грех, в тот день, как приехал предлагаться, сел в гостиной на кресло, которое под ним рассыпалось. Он как-то смешно упал, опрокинул лампу, с его головы слетел парик, все мы расхохотались, и он до того сконфузился, что отдумал свататься. Колошино по наследству после матери досталось ему, но он в нем не живал подолгу, а только бывал наездом. Он был женат недолго, и после жены осталось у него три дочери, из которых средняя умерла девицей, старшая Александра Александровна вышла за Пенского, а младшая Марфа Александровна — за Толстого.

В этих же годах умерла хорошая моя приятельница княгиня Несвицкая, которая купила по соседству с нами деревню, принадлежавшую пред тем Екатерине Петровне Волковой,— Пески, и Пески для меня опять опустели. К году после своего замужества приехала в Москву моя дочь Посникова и в апреле месяце (13 дня 1824 г.) родила дочь Елену, которую я крестила с зятниным дядею, Николаем Васильевичем Посниковым.

После того Посников поехал в Галич, в деревню к его матери, и в 1825 году там родился у них второй их ребенок — сын Дмитрий. Крестить его заочно пригласили меня и брата Михаила Петровича, а восприемниками от купели были дядя моего зятя Алексей Васильевич Посников и тетка Анна Ивановна Алалыкина; родился он 8 сентября 1825 года в Гремячеве.





ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

I

В 1825 году совершенно неожиданно устроилось замужество Грушеньки. Вот как это случилось.

У нас были дальние родственники Лихачевы, с которыми, однако, мы могли счесться еще родством по Новосильцевым и Соковниным. Родная тетка моей свекрови Анны Ивановны Яньковой — Дарья Алексеевна (рожденная Новосильцева) была за Петром Алексеевичем Соковниным; у них было несколько сыновей и дочерей, из которых одна, Елизавета Петровна, и была за Иваном Васильевичем Лихачевым; сын этой, Василий Иванович, был женат на Елизавете Николаевне Гурьевой. Яньковы с Лихачевыми, будучи в родстве, были и в дружбе: Лихачев приходился моему мужу внучатым братом, и мы с Елизаветой Николаевной были приятельницы и почти что одних лет: я была немного постарше, а дочь ее Анна Васильевна, помоложе моих старших дочерей, была с ними также дружна. Лихачев — и сам по себе, и по жене своей, Гурьевой — очень достаточный и даже богатый человек, мало живал в Москве, а все больше у себя в поместьях, вместе с женой в Ярославле и в особенности за Кашином, где у них была прекрасная усадьба, село Устиново: лихачевское ли это было имение, или гурьевское — заподлинно не знаю. Они приезживали иногда на зиму и в Москву и проводили по нескольку месяцев. Кроме дочери у Елизаветы Николаевны были еще три сына: Григорий Васильевич, Иван Васильевич, оба рослые и видные молодцы, служившие в гвардии; третий, Петр, умер в юности. Благочестивая и добрая была женщина Елизавета Николаевна, но не имевшая ни малейшего понятия о столичных обычаях, а спросить-то, верно, не хотела, что ли, или не умела, но только все как-то делала по-своему, а не по-нашему, как было вообще принято. Так, например, приедет осенью в Москву, разрядит свою дочь в бальное платье, очень дорогое, хорошее и богатое, и в бриллиантах, в жемчугах возит девочку с собою и делает визиты поутру. Очень бывало мне жаль бедняжки, что мать по простоте своей и по незнанию, что принято, так ее конфузит; ну, а сказать как-то совестно, Бог весть, еще как примет: иногда непрошенный совет — хуже обиды.

В 1825 году мне что-то не пожилось осенью в деревне, и я ранехонько переехала в город. В начале октября приехала из Кашина и Лихачева с дочерью (она была уже вдова), и мы виделись. Как-то она и говорит мне:

— Елизавета Петровна, у меня есть племянник, который просил меня познакомить его с вами. . .

— Кто же это такой по фамилии? — спрашиваю я.

— Зовут его Дмитрий Калинович Благово, — говорит она.

— Что же, родня, что ли Мухановым? Это у них только в семье и бывали Ипатьичи да Калинычи, а то этого имени я никогда и не слыхивала в порядочных семьях; фамилия тоже для меня незнакомая. . .

— Он мне родня по Козловым, его мать урожденная Зыкова, а родня ли он Мухановым — я, право, этого не знаю; ему за сорок лет, собою недурен и, может быть, и пригодился бы. . .

— Познакомь, пожалуй; только, разумеется, не прямо же его ко мне в дом привози, — уж это было бы слишком по-старинному или совсем по-купеческому — точно смотрины; как-нибудь поладнее, при случае, у себя устрой нам встречу.

Так она и сделала. Чрез несколько дней спустя пригласила меня Лихачева к себе вечером запросто, и я с Грушенькой поехала. Немного погодя пришел и родственник Лихачевой — Дмитрий Калинович Благово. На вид лет сорока пяти, мужчина степенный, лицом не очень взрачен, но, впрочем, не то чтобы совсем дурен или безобразен, а не красавец, и не в обиду будь ему сказано — немного мешковат. По разговору мне он понравился: не таратор, не краснобай, а говорит ладно и умно. Он был мне отрекомендован, и когда я собралась уезжать, он просил у меня позволения ко мне приехать.

— Можете, — говорю, — посетите.

Так он и стал у меня бывать, и хотя он не был такой балагур и лихой молодец, как мой зять Посников, я нашла его очень приличным и по его летам для Грушеньки подходящим. Вот что от Лихачевой и впоследствии от него самого я узнала про его род и об его семье.

Благовые и *Благие*, которые потом стали почему-то писаться *Благово* (как некоторые и другие роды, например, Хитрово, Дурново, Белаго), считают родоначальниками своими князей Смоленских и Заболоцких, из которых один, по прозвищу Благой, так и стал называться и князем уже не писался. Один из предков Дмитрия Калиновича был воеводой в Сибири,* а пращур — послом в Царьграде,** бывали у них в семье и еще воеводы *** и стольники, ****но до больших чинов никто не дослуживался, и особым богатством они никогда не отличались.

Дед Дмитрия Калиновича Александр Алексеевич был женат два раза и от первой жены Авдотьи (кто она была — мне этого не умели сказать) имел двух сыновей, Александра и Иосифа, а от второй жены Марьи Онисимовны (дочери полковника Александрова) оставил малолетнего сына Калину, которого воспитывала мать. По разделу из отцовского имения ему досталась какая-то деревенька в Клину да другая еще где-то в Твери,

---

* Афанасий Иванович — воевода в Березове при царе Феодоре Ивановиче 1594 года.

** Борис Петрович — посол в Царьграде в 1584 году.

*** Иван Владимирович — воевода в Сургуте 1610 года.

**** Афанасий Феодорович — 1627—1629 годы стольник патриарха Филарета Никитича; Василий Алексеевич — стольник царицы Натальи Кирилловны; Петр Васильевич — стольник царицы Прасковьи Феодоровны.

где было имение и у матери; а родовое имение — село Воронино, около Клина (неподалеку от татищевского имения Болдина), осталось за старшим в роде — Иосифом; этот имел одну только дочь Екатерину, вышедшую за князя Петра Петровича Волконского. Калина Александрович служил недолго и, выйдя в отставку с маленьким чином, женился на Елизавете Ивановне Зыковой. Она имела несколько сестер. Их отец, старик Зыков Иван Иванович, будучи восьмидесяти лет, пошел в монастырь к Николе на Пешношу, где вел строго монашескую жизнь, удостоился пострижения, там скончался и был погребен в начале 1800-х годов. Под конец он ослеп и за свое глубокое смирение, кротость и доброту был всеми в монастыре уважаем и любим. Он жил при известном в свое время николопешношском архимандрите Макарии, который и постриг его и любил; в монашестве он был назван Ионою.

Калина Александрович имел двух сыновей — Дмитрия и Владимира — и четырех дочерей: Марью (за Зверевым), Екатерину (за Рудаковым), Александру и Варвару, оставшихся в девицах. Дмитрий воспитывался в Петербурге в том же кадетском корпусе, в котором был и покойный мой муж, но только уже не при известном Иване Ивановиче Бецком, а при графе Ангальте, двоюродном брате Екатерины Второй, и выпущен был в какой-то армейский полк; выходил в отставку и потом, снова определившись на службу, находился в комиссариате до самой своей кончины. В 1812 году его постигло несчастье: у него украли из полковой казны деньги (сколько, где и как это случилось, я не знаю), и за это он поплатился своим имением в Клинском уезде (сельцо Ярюхино), которое конфисковали и продали с торгов. Старушка Елизавета Ивановна, его мать, жившая там с двумя дочерями, Варварой и Александрой, горько плакала, когда им пришлось выезжать, и, выехав из своего собственного угла, не захотела жить ни у которой из замужних дочерей, а отправилась в Кашин, где в молодости живала, потому что там служил ее отец у воеводы, и вступила в Сретенский монастырь со своею дочерью Варварой. Они обе там жили послушницами, и сперва умерла дочь, а потом в 1825 или 1826 году и сама старушка Елизавета Ивановна, будучи уже рясофорною монахиней.

Владимир Калинович был хромоногий и ходил на костыле; великий картежник, и все, что имел, спустил, говорят, в карты, но потом ему досталось имение от тетки, а брату его — дом в Москве и имение в Карчеве от дяди Козлова Павла Никитича.

Вот все, что я знаю о Дмитрии Калиновиче Благово и об его родстве. Он Грушеньке нравился, и, когда сделал предложение, она его приняла, и я дала свое согласие. Помолвка была 1 ноября, а свадьба 8 ноября. У жениха была посаженою матерью Елизавета Николаевна Лихачева, а вместо отца сидел дядя его, весьма почтенный старик Козлов, который был, кажется, и крестным его отцом.

Я сама обеих своих дочерей возила к венцу, а посаженым отцом у Груши был брат Михаил Петрович. Шаферами у невесты были мои племянники Вяземские и Вячеслав Волконский, а у жениха — оба брата Лихачевы. Венчали в домовой церкви Алексея Ивановича Бахметева в Старой

Конюшенной, а ужин был у меня в пречистенском моем доме, и я уступила молодым свою спальню.

На свадьбе с нашей стороны кроме нас домашних был брат Михаил со своею женой, брат князь Владимир Михайлович Волконский, князь Андрей и князь Александр Вяземские, князь Вячеслав Волконский, моя племянница Александра Григорьевна Колошина, Павел Михайлович Балк и жена его Надежда Васильевна. Этой превеликое спасибо: она выручила меня из затруднения и избавила от больших хлопот; она мастерица была и охотница покупать и заказывать, она мне все о приданом и обхлопотала. Обеим дочерям я определила по двадцати пяти тысяч ассигнациями от себя, кроме отцовского имения по 250 душ. Анночка сделала себе на пятнадцать тысяч приданого, а Грушенька — только на десять, а остальное они получили деньгами. В то время платья были пребезобразные: узки как дудки, коротки, вся нога видна, и оттого под цвет каждого платья были шелковые башмаки из той же материи, а талия так коротка, что пояс приходился чуть не под мышками. А на голове носили токи и береты, точно лукошки какие, с целым ворохом перьев и цветов, перепутанных блондами. Уродливее ничего и быть не могло; в особенности противны были шляпки, что называли кибитками (chapeau Kibick). Изо всех мод, какие только я застала, самые лучшие, по-моему, были в 1780—1790-х годах и в 1840—1850-х годах — платье полное, пышное, длинное, лиф с мысом, а на головах наколки небольшие.

Со стороны жениха, между прочим, была одна моя старинная знакомая, а его тетка Варвара Андреевна Новосильцева. Она была рожденная Наумова; ее мать Марья Кирилловна (сама по себе Сафонова) была большая приятельница покойной бабушки княгини Анны Ивановны Щербатовой; я часто встречалась с ними у тетушки графини Толстой. Наумова была очень почтенная, благочестивая и умная старушка, которая окончила свою жизнь в глубокой старости в московском Рождественском монастыре монахиней и, кажется, даже в схиме. Она много имела скорбей на своем веку и была добродетельнейшая женщина. И дочь ее Новосильцева была тоже очень хорошая и благочестивая женщина, достойная всякого уважения. Ростом она была очень мала, лицом некрасива — вся в веснушках, точно под сеткой, но очень умная и рассудительная, а главное — предобрая... У Наумовой были сыновья и кроме Новосильцевой — еще дочь незамужняя Авдотья Андреевна, смолоду пребойкая особа, большая скопидомка и великая тараторка.

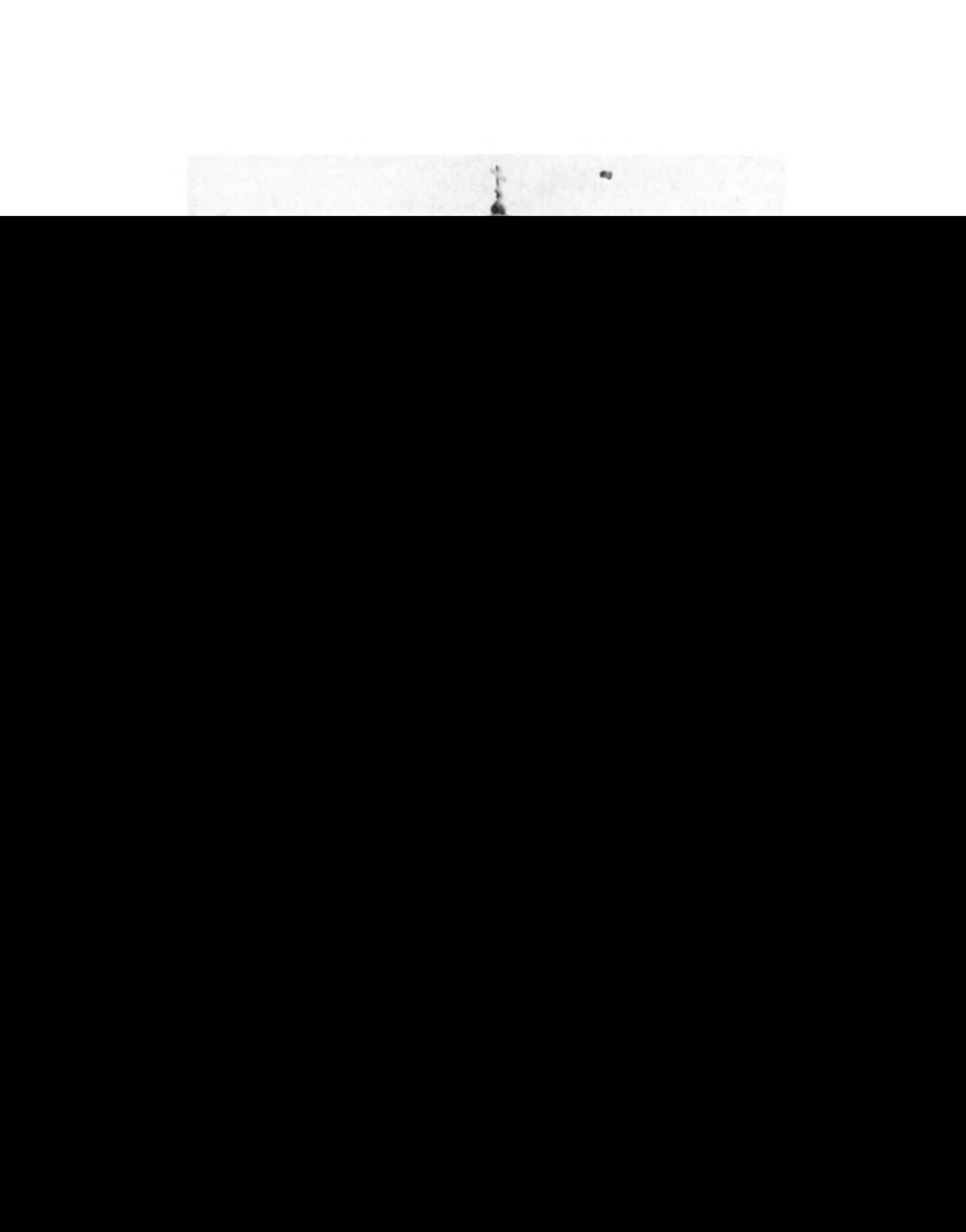
Дочь Лихачевой, бывшая у Груши на свадьбе еще девицей, в скором времени после того тоже вышла замуж за Льва Васильевича Давыдова, брата известного в двенадцатом году партизана — Дениса Васильевича...

Родство зятя моего Благово было хорошее и почтенное, но люди не светские, мало выезжавшие в публику и с которыми я до тех пор совсем не встречалась, кроме Новосильцевой и Наумовых. Очень была почтенная, представительная старушка — княгиня Катерина Осиповна Волконская, двоюродная сестра Дмитрия Калиновича, дочь старшего его дяди; она имела сына и дочь Марью Петровну, вышедшую за Неронова, и так как ее

брат был бездетным, то к ней и перешло родовое благовское имение, село Воронино. Еще познакомилась я с другою родственницей зятя, с его дальнею теткой Анной Лаврентьевной Благово. Умная была старушка. Она имела нескольких сыновей и дочерей, из которых две были красавицы — Екатерина Сергеевна за Баташевым, очень богатым человеком, имевшим золотые прииски и литейные заводы; другая, Анна Сергеевна, за Арбеньевым. Обе сестры моего зятя — замужняя Зверева и Александра девица, которых я только и знала, — были красавицы писаные: белизна лица и румянец во всю щеку, просто на диво. Зверева была милая, умная и рассудительная женщина, с которой брат ее был очень дружен; она мало жила в Москве, больше все у себя в Кашине, в деревне. А незамужняя Александра — пребойкая и преумная и великая советодательница и тараторка, настоящая *золовка-колотовка*. Я про нее и говорила ее брату: «Ты, мой любезный, гостить ее к себе приглашай, но в доме у себя не давай ей располагаться, — видишь, какая она *командирша*, закомандует и хоть кого заклюет, а заговорит до дурноты». Уж чересчур много и слишком громко она говорила.

II

В самый год кончины государя Александра Павловича был в Петербурге поединок, об котором шли тогда большие толки: государев флигель-адъютант Новосильцев дрался с Черновым и был убит. Он был единственный сын Екатерины Владимировны, урожденной графини Орловой (дочери Владимира Григорьевича, женатого на Елизавете Ивановне Стакельбер), от брака с Дмитрием Александровичем Новосильцевым. У них этот сын только и был. Екатерина Владимировна (сестра графини Софьи Владимировны Паниной и Натальи Владимировны Давыдовой) была во всех отношениях достойная, благочестивая и добрейшая женщина, но мужем не очень счастливая: он с нею жил недолгое время вместе, имея посторонние привязанности и несколько человек детей с «левой стороны».[1] Сын Новосильцевой по имени Владимир был прекрасный молодой человек, которого мать любила и лелеяла, ожидая от него много хорошего, и он точно подавал ей великие надежды. Видный собою, красавец, очень умный и воспитанный как нельзя лучше, он попал во флигель-адъютанты к государю, не имея еще и двадцати лет. Мать была этим очень утешена, и так как он был богат и на хорошем счету при дворе, все ожидали, что он со временем сделает блестящую партию. Знатные маменьки, имевшие дочерей, ласкали его и с ним нянчились, да только он сам не сумел воспользоваться благоприятством своих обстоятельств. Познакомился он с какими-то Черновыми;[2] что это были за люди — ничего не могу сказать. У этих Черновых была дочь, особенно хороша собою,[3] и молодому человеку очень приглянулась; он завлекся и, должно быть, зашел так далеко, что должен был обещаться на ней жениться. Стал он просить благословения у матери, та и слышать не хочет: «Могу ли я согласиться, чтобы мой сын, Новосильцев, женился *на какой-нибудь Черновой*, да еще вдобавок на *Пахомовне*: никогда этому не бывать». Как сын ни упрашивал мать — та стояла



на своем: «Не хочу иметь невесткой *Чернову Пахомовну*, — экой срам!» Видно, орловская спесь брала верх над материнскою любовью. Молодой человек возвратился в Петербург, объявил брату Пахомовны, Чернову, что мать его не дает согласия. Чернов вызвал его на дуэль.[4]

— Ты обещался жениться — женись или дерись со мной за бесчестие моей сестры.

Для дуэли назначили место на одном из петербургских островов,[5] и Новосильцев был убит. Когда несчастная мать получила это ужасное известие, она тотчас отправилась в Петербург, горько, может статься, упрекая себя в смерти сына. На месте том, где он умер, она пожелала выстроить церковь и, испросив на то позволение, выстроила.[6] Тело молодого человека бальзамировали, а сердце, закупоренное в серебрянном ковчеге, несчастная виновница сыновней смерти повезла с собою в карете в Москву. Схоронили его в Новоспасском монастыре. Лишившись единственного детища, Новосильцева вся предалась Богу и делам милосердия и, надев черное платье и чепец, до своей кончины траура не снимала. Кроме церкви, митрополита Филарета, которого очень уважала, и самых близких родных, она нигде не бывала, а первое время никого и видеть не хотела. Она была в отчаянии и говорила Филарету: «Я убийца моего сына; помолитесь, владыка, чтоб я скорее умерла». — «Ежели вы почитаете себя виновною, то благодарите Бога, что он оставил вас жить, дабы вы могли замаливать ваш грех и делами милосердия испросили упокоение душе своей и вашего сына; желайте не скорее умереть, но просите Господа продлить вашу жизнь, чтоб иметь время молиться за сына и за себя».

Она часто бывала у Филарета на Троицком подворье и всегда стояла во время службы в темной комнатке, смежной с церковью, и молилась у окошечка, проделанного в церковь. Лет десять спустя после смерти сына она овдовела и в память сына старалась благотворить не только посторонним, но и детям своего мужа и была ко всем его родственникам хорошо расположена и приветлива. Она скончалась в конце 1840-х годов, имея около восьмидесяти лет от роду. Так как она была последняя в роде *Орловых* (двоюродная ее сестра, графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, умерла за год или за два до нее), то ее племянник и наследник — Давыдов (сын ее сестры) выхлопотал высочайшее позволение прибавить к своей фамилии фамилию Орлова и получил графский титул. Новосильцева из дочерей графа Владимира Григорьевича была самая старшая; жила в своем доме на Страстном бульваре с правой стороны напротив Страстного монастыря; * оставила после себя очень большое состояние, ценимое не в один миллион.

III

В Екатеринин день [7] 1825 года был большой бал у Апраксиных, которые и после замужества своих дочерей все еще тешили Москву, молодую невестку, а главное, сам Степан Степанович был охотник давать праздники.

---

* Ныне дом графа Владимира Петровича Орлова-Давыдова.

Мои молодые собрались ехать на бал, и там Грушеньке Екатерина Сергеевна Герард и шепчет на ухо: «Savez-vous ce que l'on dit que l'empereure n'est plus».* Известие это пришло в Москву почти пред самым балом. Что было тут делать? Князь Дмитрий Владимирович был в большом затруднении: бал у сестры, а получено известие, что государя не стало. Рассылать по всему городу и отказывать приглашенным было поздно; так и промолчали в этот вечер, но Голицын на бал не поехал, и это все заметили и смекнули, что это значит, и на бале шепотом передавали друг другу, что государь кончил жизнь.

На другой день печальное известие было возвещено всему городу. Рассказывать, что сделал в свое царствование Александр *Благословенный*,[8] как жил и как скончался — дело истории, но про государя *как человека* может рассказывать и старуха, которая жила в его время.

Когда государь родился 12 декабря 1777 года, государыня Екатерина Алексеевна была, говорят, вне себя от радости, что у нее родился внук, а главное — наследник престола, и по этому случаю в ту пору были большие празднества, маскарады и разные веселости при дворе. Все это происходило в Петербурге в 1777 году. Я была тогда еще ребенком и только впоследствии слыхала об этом времени от людей, близких ко двору. Было много милостей. Императрица с первых дней отняла внука у отца и матери и воспитывала его по своему желанию. «Вы свое дело сделали, — говаривала она им, — вы мне родили внука, а воспитывать его предоставьте уж мне: это касается не вас, а меня». Так они не смели и пикнуть. Бабушка нянчилась с ним и как только он стал мыслить и начал ходить, был почти неотлучно при ней и рос на ее глазах. Она очень им утешалась, видя, что мальчик смышлен и красоты неописанной. Императрица придумала для него какую-то особенную, замысловатую азбуку;[9] разумеется, все ахали, кричали: разве то, что делает царствующая императрица, может быть нехорошо! Все накинулись на эту азбуку для своих детей; сперва стали раскупать ее придворные, а там, глядя на них, и другие, и в несколько дней книги и купить уж было нельзя: пришлось опять ее печатать.

Великий князь Александр Павлович был весьма любознателен, кроток, послушлив и со всеми обходителен, а меньшой брат его, Константин, годами двумя его моложе, тоже преумный и пресмышленый, горяч и запальчив и собою очень неприглядем. В конце 1780-х годов, не припомню, в котором именно, государыня была в Москве, и мне довелось тогда ее видеть вблизи: она ехала в карете, а пред нею сидели ее внуки — Александр и Константин, мальчики лет 10 и 8. Старший брат был удивительно красив.

Воспитание их было поручено императрицею Николаю Ивановичу Салтыкову, который потом был графом и светлейшим князем, а учителя выписали из Швейцарии, очень ученого человека — Лагарпа.[10]

Не было еще и пятнадцати лет Александру Павловичу, как стали говорить, что ему выбирают невесту. Вызваны были в Петербург две баденские принцессы, из которых старшая и полюбилась императрице и великому

* «Знаете ли вы, что, говорят, будто государя не стало» (*франц.*). — *Ред.*

князю; в 1793 году в конце сентября было венчание: новобрачному было 16 лет, а молодой года на полтора менее.

Такая поспешность всех удивляла, и об этом различно толковали, а люди, приближенные к императрице, зная, что она не очень нежна к сыну, выводили из этого важные заключения. Передавали даже шепотом друг другу, будто бы у императрицы не раз вырывалось в самом коротком ее кружке об Александре Павловиче: «Сперва его обвенчаю, а потом увенчаю». Не мог не знать этого великий князь Павел Петрович, и это его еще более, конечно, раздражало против матери, пристрастной ко внуку, и заметно охладило к старшему сыну и к невестке.

Женив старшего внука, императрица поспешила женить и второго на принцессе кобургской Анне Федоровне,[11] — это было уже в самый год кончины императрицы: свадьба была в начале февраля 1796 года, а 6 ноября государыни не стало.

Александр Павлович был так хорош собой и привлекателен, что на придворных балах он всех мужчин превосходил красотою, и императрица не могла на него налюбоваться. Но он имел два недостатка: голову как-то вытягивал вперед и, как его ни уговаривали, не мог отстать от этой привычки, и был туг на одно ухо. Его посылали с Салтыковым лечиться в чужие края к минеральным водам, собирали знаменитых врачей, но вылечить не могли. Он имел много примет и был довольно суеверен. В его привычках были некоторые особенности: так, поутру, вставая, он всегда обувал левую ногу и непременно на нее становился, потом подходил к окну (как бы холодно на дворе ни было) и, отворив окно, с четверть часа стоял, освежаясь воздухом; он называл это брать воздушную ванну (prendre un bain d'air).

Он не внушал страха, но располагал к себе сердца; такое имел лицо, что глаз оторвать от него не хотелось, так все и смотрел бы на него. Императрица тоже была в первой молодости очень хороша, потом подурнела от красных пятен на лице, но по своей доброте и простоте в обращении она была любима всеми приближенными и ее окружавшими. В отношении ее добродетельной жизни ей нельзя сделать ни малейшего упрека: она была как те благоверные царицы древнего времени, которые причислены к лику праведных.

Были люди, которые обвиняли Александра Павловича в неискренности. В этом я не судья. Знаю только, что, несмотря на свои сердечные увлечения, он был все-таки нравственным и благочестивым человеком. Набожен он был с молодых лет и иногда говорил своим приближенным, что желал бы оставить все и сделаться монахом.[12] В 1817 или 1818 году приехала в Петербург одна баронесса Крюднер,[13] жена бывшего нашего посла при прусском дворе.[14] Во время пребывания государя в Париже она очень его привлекала своим умным и живым разговором и предсказала ему, что Бонапарт не усидит на острове Эльбе, и, когда это сбылось, государь к ней стал иметь особенное доверие. Она была какая-то восторженная проповедница, вроде миссионерки-просветительницы, которая всюду бродила и проповедовала обращение ко Христу Спасителю, словом, была презагадочная личность, пророчица не пророчица, а *иллюминатка*,[15] и была почи-

таема некоторыми за вдохновенную распространительницу христианства. Другие ее гоняли и досаждали ей, но она всякие оскорбления переносила с терпением и кротостью. Государь часто видался с нею, бывал нередко у нее и просиживал по целым вечерам. Сначала ее опасались, видя в ней что-то необыкновенное; но когда государь показал к ней расположение, около нее собрался целый кружок поклонников и последователей ее учения. Ей хотелось было ходить по улицам в Петербурге и проповедовать, но ей этого не дозволили. Она имела сильное влияние на государя: старалась сблизить его с императрицей, которая тоже к ней имела немалое доверие, и это многим не нравилось, в особенности сторонникам известной Марьи Антоновны.[16] Крюднерша и ее было хотела поймать на свою удочку, да только та не поддалась. Года три или четыре она прожила в Петербурге, будучи в большом доверии и фаворе, да только не сумела удержаться — проболталась, говорят, насчет некоторых предположений касательно Греции,[17] про которые государь передавал ей с глазу на глаз. Этим воспользовались люди, опасавшиеся ее влияния и расположения к ней государя, поспешили посеять в его уме к ней недоверие и, наконец, достигли того, что ей велено было даже выехать из Петербурга; это случилось в 1822 году, в то время, как мы там были. Она отправилась куда-то в Одессу или в Крым проповедовать Евангелие татарам; не раз была в опасности сделаться мученицей и там умерла незадолго до кончины государя. Но, несмотря на немилость, в которую она впала, ее влияние и после ее отъезда было заметно: государь стал особенно богомолен, оказывал необыкновенное уважение к духовенству и монашеству. Графиня Орлова этим воспользовалась и старалась втереть ко двору известного отца Фотия; он не раз бывал у государя, который с ним подолгу беседовал и целовал его руку, и будь Фотий помягче и пообщительнее с вельможами, может быть, сделался бы он лицом влиятельным. Но он был крут и неподатлив, да и слишком прям в разговоре: это многих встревожило; к тому же он был в большой контре с князем Голицыным, тогдашним министром народного просвещения. Фотий обвинял его в неправославии, громко порицал книги духовного содержания, тогда печатавшиеся, и называл их бесовщиной и масонством; все это государя мало-помалу охладило к Фотию, к великому прискорбию Орловой, мечтавшей, может статься, видеть его и под белым клобуком.[18]

Государь любил ездить по монастырям и, если слышал, что где-нибудь есть великие старцы и подвижники, непременно вступал с ними в беседу, просил их благословения и целовал руку. Так, он бывал на Валааме в Свирском монастыре, в Ростове в Яковлевском и благоволил к Амфилохию, которого посетил в келье и долго у него сидел.

Очень заметно было, что государь чувствовал потребность общения с духовными людьми и что его душа жаждала назидательных бесед, каковых, конечно, нечего было ожидать от его окружавших. Странно и непонятно, как государь с такою прекрасною душой и с таким добрым, мягким сердцем, мог быть расположен и иметь своим любимцем человека, подобного Аракчееву. Кто жил в то время, слыхал немало о его крутостях, жестокостях и, можно сказать, бесчеловечии, и всем диковинно было,

что при таком добром, истинно благословенном государе мог держаться такой лютый временщик, который делал, что хотел. Что было сделано этим могущественным любимцем, разумеется, со временем позабудется, но люди, жившие при нем, долго не позабудут про ненавистную аракчеевщину, причинившую много скорбей отдельным лицам: и своими переменами и новшествами, как отзывались люди знающие, она наделала больше ломки и хлопот, чем принесла пользы.

Аракчеев был крут, жёсток, самонадеян и оттого упрям и настойчив, а последовательности в своих действиях не имел, и выходило, что он все строился на песке.

IV

Будучи от природы слабого и нежного сложения, императрица Елизавета Алексеевна никогда не могла похвалиться здоровьем, а под конец, в 1820-х годах, она стала все чаще и чаще прихварывать, и врачи решили, что ей непременно нужно жить в теплом климате. Государь, бывший в продолжение многих лет в холодных к ней отношениях, стал под влиянием Крюднерши и других благочестивых советчиков опять с нею видимо сближаться и захотел вместе с нею отправиться на юг России.

Больше года уже императрица сильно кашляла и жаловалась на боль в сердце и груди; медики опасались признаков чахотки, а может быть, уже и находили их. В июле месяце решено было, что в начале сентября государь и государыня отправятся в Таганрог. Сперва поехал государь, а чрез день или дня два спустя — Елизавета Алексеевна. Рассказывали, что император точно имел предчувствие, что ему не возвратиться, и за несколько дней до отъезда из Царского Села его часто встречали в саду; он прогуливался один и казался печальным и унылым, и, услышав однажды вечером крик совы, он вздохнул и сказал кому-то из бывших с ним: «Çet oiseau de mauvaise augure, que nous présage-t-il?» *

Пред самым отъездом из Петербурга он заезжал в Невский монастырь, служил там молебен у мощей, прощался с митрополитом Серафимом и пожелал посетить келью бывшего там схимонаха. Увидев у него гроб, он спросил его: «Для кого это?» — «Для меня, — отвечал старец, — чтоб я не забывал, что все мы гости на земле, и чаще вспоминал бы о смерти». Прощаясь с государем, схимник сказал ему: «Мы более не увидимся. . .» Уезжая из монастыря, государь был очень печален и при прощании с митрополитом прослезился. Выехав из святых ворот, он несколько раз оглядывался назад, чтобы посмотреть еще на Невскую лавру. Митрополит стоял у святых ворот и все благословлял его.

Императрица в скором времени последовала за императором и поселилась в Таганроге. Государь ездил делать объезды в ближайших местностях: был на Дону и в Новочеркасске и снова возвращался в Таганрог как на постоянную квартиру. Он предполагал ехать в Астрахань, но, по

* «Что сулит нам этот предвестник несчастья?» (*франц.*). — *Ред.*

предложению одесского градоначальника графа Воронцова, поехал в объезд по южному берегу Крыма и во время этого путешествия захворал, — одни говорили, что от сильных холодов он простудился, другие утверждали, что он схватил крымскую лихорадку, нередко весьма опасную. Граф Воронцов уговорил государя заехать на перепутье в его приморский загородный дом, может быть, ожидая, что после отдыха государю станет легче. Лейб-медиком тогда был Вилье, родом либо ирландец, либо шотландец, пренастойчивый и преупрямый в своих мнениях; он дал государю лекарство, от которого болезнь еще усилилась, и государь, до времени отложив начатое путешествие, пожелал немедленно возвратиться в Таганрог. Императрица ужаснулась, видя перемену в государе, стала настаивать на консилиуме, но Вилье утверждал, что нет никакой опасности и что государь скоро оправится, и едва-едва согласился посоветоваться с лейб-медиком императрицы Штофрегеном. Государь, не получая облегчения от лекарств, перестал их принимать, требовал воды со льдом, чувствуя внутренний необыкновенный жар. Рассердившись на Вилье, не велел его к себе пускать. В Петербурге ничего этого не знали, известили императрицу Марию Феодоровну и великих князей, что государь захворал, но слегка, что сначала нисколько никого не встревожило. Императрицу Елизавету Алексеевну медики тоже успокаивали. Поверила ли она им или нет, но она почти неотлучно находилась при больном, забывая свою собственную болезнь и невзирая на свою слабость. Государя также старались успокоить. Он грустно улыбался, качал головой и говорил обыкновенно: «je sais a quoi m'en tenir», а раза два прибавил еще: «pourtant je ne voulais que du bien à tous, mais que la volonte de Dieu se fasse».* Он был спокоен духом и как будто ожидал неминуемой смерти, когда ему начинали говорить о выздоровлении. Императрица тревожилась, страдала, не отходила от одра болящего. Должно быть, слыша постоянные уверения, что нет опасности, и сама этому поверила или хотела себя уверить и за день или за два до 17 ноября писала вдовствующей императрице: «После тяжелых дней сомнения и опасности есть надежда на скорое и совершенное выздоровление».

Недолго продолжалась эта надежда, потому что на двенадцатый день болезни государь скончался 19 ноября. После успокоительных известий, которые обнадеживали, внезапно полученное извещение о кончине государя всех ошеломило, все были убиты горем и совершенно растерялись. В Москву об этом пришло известие в Екатеринин день довольно поздно вечером, а на другой день печальный звон колокола возвестил его всему городу. Много было различных разговоров и предположений насчет неожиданной для всех кончины государя.[19]

В самый день кончины государя императрица писала письмо к вдовствующей императрице; оно ходило тогда по рукам в списке и начиналось очень умилительными словами: «Наш ангел на небеси, а я еще все томлюсь на земле. Кто же мог бы ожидать, что я, слабая и больная, пере-

---

* «Я знаю, как мне к этому относиться»... «Однако же я хотел всем лишь добра, но да будет воля Божья» (*франц.*). — *Ред.*

живу его?» И оканчивалось так: «Нахожу для себя утешение в этом ужасном несчастье только в надежде, что я его не переживу. Желаю и надеюсь быть вместе с ним скоро и неразлучно».

V

Известие о кончине государя ужасно опечалило Москву: все его любили, о нем горевали и плакали. Особы чиновные по классам облеклись в траур, а мы, бесклассные дворянки,[20] тоже сняли с себя цветное и надели черное платье. Разумеется, прекратились всякие увеселения, театры, балы — все кончилось, и Москва притихла на долгое время; все были в каком-то страхе и ожидании, точно чуяли недоброе. Велено было всему чиновничеству и дворянству собираться в Кремль и присягать новому государю Константину Павловичу. Ходили разные смутные слухи об отречении его от престола. Толковали, что так как у Константина Павловича детей не было и он разошелся с женой и вторично женился,[21] то и царствовать не может, а уступит престол младшему своему брату Николаю. Это происходило в 1821—1823 годах.

Конечно, это было дворцовою тайной, но тем не менее кое-что выплывало и доходило и до нас в Москву.

Люди, хорошо извещенные о том, что происходило при дворе, передавали, что известие о кончине государя дошло в Петербург ноября 27. Константин Павлович и Михаил Павлович были тогда в Варшаве, а в Петербурге императрица Мария Феодоровна и Николай Павлович, который помещался в Аничковском дворце. Великий князь Николай Павлович ежедневно получал известия из Таганрога; полученные 25 и 26 числа подавали надежду, и потому 27 числа утром в дворцовой церкви, после обедни, должны были совершать молебствие о здравии государя. Императрица стояла в комнате, смежной с алтарем; тут же находился и великий князь, который дал приказание, что ежели бы фельдъегерь приехал во время службы, то чтоб его вызвали незаметно. Только что отошла обедня и начался молебен, как великий князь увидел, что дверь из передней комнаты немного открылась и опять затворилась. Он поспешил выйти и увидел графа Милорадовича с таким смущенным видом, что и без слов понял, что все кончено. У великого князя от потрясения подкосились ноги, он опустился на стул и послал за государыниным лейб-медиком; когда тот пришел с Милорадовичем, великий князь пошел с ним в ту комнату, где стояла императрица, и, будучи не в силах сказать ни слова, молча поклонился в землю. Императрица, говорят, сразу поняла все и от неожиданности оцепенела; ее почти без чувств провели в ее покои.

Великий князь Николай Павлович пошел в церковь, чтобы немедленно принести присягу цесаревичу Константину Павловичу как законному наследнику престола. Его примеру последовали прочие тут бывшие сановники и находившиеся тогда в Петербурге архиереи. Голицын, князь Александр Николаевич, хотел, говорят, остановить великого князя от присяги, зная распоряжения покойного государя и отречение Константина

Павловича, и объявил ему, что есть завещание на этот предмет, но великий князь не послушался. Подробностей больших не припомню: люди придворные все это расскажут как по писаному, а я передаю со слов других, что слышала.

В Варшаву известие о кончине, отправленное в одно время, пришло раньше, чем з Петербург. Константин Павлович был также поражен этим неожиданным ударом. Он тотчас объявил брату Михаилу Павловичу, что давно отказался от престола, запретил называть себя государем и на другой же день поспешил отправить брата в Петербург, объявляя и подтверждая, что наследник престола Николай Павлович, а не он. Пока Михаил Павлович ехал в Петербург, весь город уже присягнул Константину Павловичу и Москва тоже. Новая присяга другому меньшому брату произвела в Петербурге большую смуту, которую старались возбудить заговорщики, что и случилось декабря 14.

В Москве, слава Богу, все обошлось без тревог и волнений.

Ровно за неделю до Рождества Христова, декабря 18, вследствие распоряжений, последовавших из Петербурга, повещено было всем служащим и жителям Москвы, чтобы собрались в Успенский собор. Когда сановники, военные и гражданские, Сенат и множество разных лиц туда съехались, преосвященный Филарет в полном облачении вошел царскими вратами в алтарь, вынес оттуда серебряный ковчег и, поставив его на стол, приготовленный на амвоне, сказал речь, что по воле покойного государя его завещание хранилось в этом ковчеге.

После этой речи преосвященный снял печать с ковчега, вынул из него пакет, надписанный покойным государем и запечатанный его печатью. Когда пакет распечатали, нашли в нем манифест государя о том, что преемник его не Константин, а Николай, и собственноручное отречение от престола Константина Павловича от 16 августа 1823 года. Тайну эту знали только немногие: императрица Мария, князь Александр Николаевич Голицын и архиепископ Филарет, которому поручено было положить конверт в ковчег Успенского собора. Николаю Павловичу это было совершенно неизвестно. Умирая, государь не заблагорассудил открыть эту тайну ни императрице и никому из бывших с ним в Таганроге, очень, впрочем, приближенных и доверенных лиц, ни князю Петру Михайловичу Волконскому, ни Дибичу, ни Чернышеву.

По прочтении манифеста и отречения все стали присягать Николаю Павловичу как законному наследнику.

Многие полагали тогда, что манифест сочинял историк Карамзин, так как знали, что государь к нему особенно благоволил, но потом оказалось, что манифест писал преосвященный Филарет, а после того что-то еще прибавлял князь Александр Николаевич Голицын; пакет этот привез с собою государь в августе 1823 года и через Голицына передал Филарету, который тогда же и вложил его в серебряный ковчег, стоявший на престоле Успенского собора.

VI

Тело императора Александра Павловича отпевали в греческом монастыре во имя св. Александра Невского. Монастырь этот новый, был построен после французов каким-то богатым греком и стоил ему больших денег, чуть ли не до 700 тыс. рублей ассигнациями. После отпевания тело там стояло довольно долго, так что процессия отправилась в путь после Рождества, и по случаю особенно жестоких в тот год холодов, ветров и бурь тело везли медленно, останавливались в разных губернских больших городах по нескольку дней, и везде было стечение народное около гроба неимоверное. По ночам останавливались в селах и гроб ставили в церковь; народ всюду встречал и провожал. Когда стали приближаться к Москве, то на встречу тела несметные толпы народа, духовенство, власти и генералитет отправились в Коломенское, и все это пало на колена, когда показалась печальная колесница. Здесь дорожную колесницу переменили на парадную. У всех церквей была встреча от духовенства; провожавшие пешком и в экипажах тянулись более чем на две версты. В Москву к заставе прибыли к вечеру, и совершенно уже стемнело, когда въехали в Кремль и внесли тело в Архангельский собор. Кто видел трогательное зрелище этого погребального царского торжества, никогда его не позабудет.

В Москве тело стояло только три дня, и сказывают, что днем и ночью народ, не перемежаясь, все толпился в соборе, несмотря на то, что соборы были еще в ту пору холодные; из усердия то и дело ставили перед гробом свечи.

При выезде из Москвы были опять торжественные проводы к Тверской заставе и далее; у Петровского дворца была лития, во Всехсвятском встреча, и так до самого Петербурга. Как там встречали и хоронили — порядком рассказать не умею; слышала только, что перед тем, как телу туда прибыть, разнесся слух, что под Казанским собором (где оно должно было находиться до перенесения в Петропавловскую крепость) были будто бы подведены мины и что злоумышленники хотели разом взорвать все царское семейство. Доложили об этом государю Николаю Павловичу, он этим нимало не смутился, но приказал произвести осмотр, и оказалось, что все это были пустые слухи и что под собором, где были просторные подвалы, снимаемые каким-то виноторговцем, были точно бочки, но только не с порохом и не с горючими веществами, а просто-напросто с виноградными винами; это всех успокоило.

VII

Умирая, покойный государь Александр Павлович поручил императрицу попечению князя Петра Михайловича Волконского, его жене княгине Софье Григорьевне, сестре его княжне Варваре Михайловне и дочери княжне Александре Петровне. Княгиня Волконская была дочерью князя Григория Семеновича Волконского (родного брата тетушки Марьи Семе-

новны Римской-Корсаковой) и поэтому приходилась двоюродною сестрой сестре Екатерине Петровне Архаровой. Обе княжны, тетка и племянница, находились при императрице, будучи ее фрейлинами и пользуясь особенным ее расположением. Княжна Александра Петровна была впоследствии замужем за Павлом Дмитриевичем Дурново. Императрица очень порывалась следовать за телом государя, но при стоявших тогда жестоких холодах и при слабости ее от утомления и горя медики объявили, что ей решительно невозможно тронуться с места, пока не наступит более благоприятное время. И так ей пришлось дожидаться до последних чисел апреля.

В день, назначенный для отъезда императрицы из Таганрога, едва не весь город собрался ее провожать: все со слезами и очень далеко за город провожали ее карету, ехавшую довольно тихо. Государыня заранее известила императрицу Марию Феодоровну о своем выезде и просила ее приехать к ней для свидания в Калугу; оттуда предполагали провезти ее в подмосковное имение князя Волконского, верстах в двадцати от Москвы,* где бы она осталась дожидаться коронации, уже назначенной в июле месяце.

Путешествие очень утомляло императрицу, и как ее ни уговаривали Волконские и медики дать себе отдых и побыть где-нибудь подольше на одном месте, она спешила добраться поскорее до Калуги, где императрица Мария Феодоровна уже ее дожидалась. В Орле ей стало еще хуже, то есть она стала еще слабее, но все-таки желала продолжать свой путь, 3 мая приехала в Белев, небольшой город между Орлом и Калугой, и здесь до того ослабела, что сама почувствовала невозможность ехать далее и послала сказать императрице Марии, что просит ее приехать. Волконские ужасно перетревожились, но больная их успокоила и послала их отдыхать, а при себе велела остаться только одной своей камер-медхен и, говорят, ранее обыкновенного пожелала лечь в постель и скоро започивала. Начинало уже рассветать, когда дежурившая в соседней комнате вздумала потихоньку войти в спальную, чтобы посмотреть, что там делается, и, подошедши к постели, нашла такую перемену в лице императрицы, что тотчас поспешила послать за лейб-медиком и Волконскими; едва они успели войти в комнату, как государыня тихо и едва приметно испустила последнее дыхание в ночь с 3 на 4 мая. Тотчас послали эстафету к Марии Феодоровне, которая между тем уже выехала из Калуги и направлялась к Белеву. Это печальное известие настигло ее, кажется, в Перемышле, верстах в тридцати за Калугой. Можно себе представить ее поражение и печаль. Так после кончины государя Александра Павловича его вдова не прожила и полугода. Императрица Мария, пробыв недолгое время в Белеве, поехала в Москву, где находилась тогда меньшая ее невестка, великая княгиня Елена Павловна, бывшая в тягости и со дня

---

* По всей вероятности, село Суханово, от Москвы 18 верст, от уездного города Подольска 12 верст. Там прекрасный дом и обширный парк; версты полторы оттуда мужской монастырь — Екатерининская пустынь, которую император Александр Павлович и императрица посетили, бывши в гостях у князя Волконского.

на день ожидавшая разрешения; в половине мая она родила дочь, которую в память новопреставленной императрицы и назвали Елизаветою. Искренняя участница всех скорбей и радостей своей царственной семьи, императрица опять отправилась из Москвы встречать тело в бозе почившей государыни. Повелено было преосвященному Филарету сделать встречу на границе Московской губернии, и он для этого ездил в Можайск, где тело было внесено в соборный храм; наутро в присутствии императрицы Марии Филаретом совершена литургия и сказано прекрасное надгробное слово, довольно краткое, но, помнится мне, хорошо и верно изображавшее добродетельную, праведную жизнь благочестивой государыни.

Тело везли на Москву тем же опять порядком и на той же печальной колеснице, как и государя, и так же встречали и провожали.

Недели полторы спустя после этого печального торжества императрица Мария принимала от святой купели внучку свою великую княжну Елизавету Михайловну в Чудовом монастыре, и по сему случаю преосвященным Филаретом там были произнесены два приветственные краткие слова, которые были напечатаны в то время в «Московских ведомостях».

Не помню, где великая княгиня родила дочь, но потом она жила в Кускове и до коронации в Петербург уже не возвращалась, а императрица Мария Феодоровна имела пребывание в доме графа Разумовского на Гороховом поле. Впоследствии великий князь Михаил Павлович купил дом бывший графа Головина * на Остоженке, и после того он и великая княгиня в свои приезды в Москву там уже обыкновенно и пребывали; но это было после первой холеры, кажется, если не ошибаюсь, в 1831 году.

VIII

Вслед за государем Александром Павловичем стали умирать один за другим люди, пользовавшиеся его благорасположением и не дождавшиеся светлых празднеств нового царствования, все люди замечательные, верой и правдой послужившие государю и потрудившиеся для отечества.

Прежде всех умер граф Румянцев,[23] сын известного Румянцева-Задунайского.[24] Он был женат,[25] великий любитель и собиратель древностей, рукописей и вообще разных редкостей и диковинок.[26] В Москве он живал неподолгу, служил при дворе, был канцлером до 1812 года и все больше жил в Петербурге; но мне не раз случалось видать его на больших балах — очень благообразный и представительный вельможа. Под конец, говорят, совсем оглох и вживе уже разрушался.[27] Румянцевский дом был на Покровке, и там во многих комнатах на потолках были рисованные и барельефные изображения баталий, где участвовал Задунайский.[28] Потом этот дом купил какой-то купец и, конечно, соскоблил и счистил все эти славные воспоминания, а вместо них, пожалуй, велел намалевать разные цацы и по-пряничному разукрасил стены.

* Ныне на этой местности Лицей цесаревича Николая.[22]

Потом умер другой граф — коротко знакомый нам, жителям Москвы, бывший наш генерал-губернатор, граф Федор Васильевич Ростопчин.[29] Я про него хотя кой-что и рассказывала, но многого не пришлось досказать. Что там ни говори про его действия во время французов в Москве, но Москва многим ему обязана, а главное тем, что он поджег ее, чем совершенно сгубил Бонапарта и его скопища, иначе бы мы от хищника и не избавились. Он не пожалел и собственного достояния и прекрасный свой дом в Воронове также поджег,[30] чтоб он не достался в добычу врагам. В 1814 году он был сменен как главнокомандующий Москвы, и на место его поступил Тормасов, а он сделан членом государственного совета. После выхода неприятеля из Москвы он, как слышно было, остался не совсем доволен, что его заслуги и пожертвования были приняты холодно и мало оценены. У него осталась на сердце заноза, и он с тех пор не служил, а только числился на службе и подолгу живал за границей. Можно упрекнуть его в двух только случаях: во-первых, зачем он позволил неистовой черни растерзать Верещагина, ни в чем, говорят, не виновного[31] (если это так и он знал это, то отдаст он ответ Богу), а во-вторых, за малодушие, что написал книгу — «Правду о пожаре Москвы»,[32] в которой оправдывается от обвинения, что он поджег Москву. Эта книжка была сперва напечатана на французском языке и после того переведена на русский, и тогда говорили, что настоящее ее заглавие — «Неправда о пожаре Москвы». Извиняться пред врагом не следовало: говори, что хочешь, нечего об этом заботиться, если совесть не корит.[33] А что он придумал и поощрил поджечь Москву, в этом все мы были и остались уверены, что он там ни пиши. Дом его был на Лубянке, рядом с домом, принадлежавшим, говорят, князю Пожарскому. После взятия Парижа нашими войсками в 1814 году Ростопчин делал для Москвы у себя большой праздник, и, кажется, это было последним блестящим угощением в жизни этого человека, достойного лучшей участи,[34] испытавшего много превратностей, и величия, и прискорбия. Перестав быть начальником Москвы, он уехал в чужие края и по возвращении своем жил опять в Москве. Но люди, лебезившие пред ним во дни его правления, мало о нем помнили: он жил довольно уединенно, может быть и потому, что был не всегда сдержан в разговорах и суждениях и вообще слыл за человека недовольного, раздраженного и желчного. Жена его, племянница екатерининской камер-фрейлины Протасовой,[35] вместе с теткой получившая графство, была ревностная католичка: одну из дочерей своих пристроив за французского графа Сегюра, хотела было и меньшую, девицу лет семнадцати или восемнадцати, обратить в латинство, но девица не поддавалась. Она была собой очень хороша и умерла от чахотки в первой молодости, и как ее ни преследовала мать своими уговариваниями, умерла в православии.[36] Тогда много толковали о том, как графиня втихомолку от мужа тарантила около больной со своими аббатами, но, к счастью, не успела в своих интригах.

Не знаю, был ли граф Федор Васильевич особенно богомолен и набожен, но он был привержен ко всему русскому и скончался в духе православия как хороший и настоящий христианин. Он запретил хоронить себя с пышностью и завещал, чтобы тело отпевал только один приходский

священник,[37] что и было исполнено: его отпевал священник церкви Введения на Лубянке, а схоронили на Пятницком кладбище.*

Третье лицо, вскоре после императора Александра Павловича за ним последовавшее, был известный историк Карамзин. Не будучи ни знатным, ни чиновным, он пользовался особым благоволением покойного государя и обеих императриц, которые были с ним в постоянной переписке и очень его любили.[38] Его здоровье давно уже начинало слабеть от многолетних трудов и продолжительных занятий; он прихварывал, но скоро потом оправлялся; лет ему было еще немного — шестьдесят с чем-нибудь. В начале декабря месяца, стало быть, вскорости после получения в Петербурге известия о кончине государя, он, по обыкновению своему, отправился во дворец к императрице, долго там пробыл, говорил много с жаром и одушевлением и, по возвращении домой, был в лихорадочном состоянии, и это отозвалось на его здоровье. Потом он простудился в день смуты, 14 декабря, потому что отправился на площадь, где находился государь, и после того до вечера пробыл во дворце.[39] В начале января он заболел, а в первых числах февраля дошли до нас слухи в Москву, что Карамзин смертельно занемог, что у него воспаление, что его жизнь в опасности. Недели через две или три сказывают, что ему стало легче, но что он кашляет, что опасаются чахотки и потому советуют ему ехать с наступлением весны в Италию. Тут он решился просить себе у нового государя места для службы при итальянском дворе, но государь вместо этого приказал выдать для него особый фрегат [40] для путешествия водою. Все были в восхищении от такой внимательности и милости государя к русскому историку, для которого, кроме того, велено было еще отвести помещение в Таврическом дворце, чтобы больной до своего отъезда мог дышать лучшим воздухом, чем в спертых улицах города.

Императрица Мария Феодоровна, собираясь к нам в Москву и потом на встречу к императрице Елизавете Алексеевне, нечаянно приехала к Карамзину, чтоб с ним проститься, и очень его этим порадовала. Но вскоре после того ему стало опять хуже. Она посылала к нему своего лейб-медика (не помню фамилии),[41] и он очень ее огорчил, сказав ей, что Карамзин в безнадежном положении, что у него чахотка и что ехать ему в чужие края не придется. В мае стало ему еще хуже, пришло известие о кончине императрицы в Белеве, и это ускорило его смерть: он умер в последних днях мая месяца.[42] Государь ездил к его телу и очень плакал. Тяжелы были для России 25-й и 26-й год, велики были для нее потери и потрясения; многие семейства оплакали близких умерших и живых покойников, принимавших участие в мятеже.

---

* Дом графа Ростопчина, купленный впоследствии графом Орловым-Денисовым, принадлежал последнему и его сыну более пятнадцати лет; после того был куплен Шиповым и совершенно утратил прежний свой вид.

IX

Заговор 14 декабря слишком всем известен, и распространяться о нем мне нет нужды, но о некоторых лицах, в нем замешанных, могу и я, может статься, сказать что-нибудь нигде не напечатанное. В числе их были, к несчастью, и мои родственники, родственники моих родных и люди, знакомые мне и близкие.

Давно заваривалась эта каша в разных концах России: в Крыму, в Киеве, в Петербурге и Москве.[43] Еще в бытность мою в Петербурге в 1822 году доходили до меня смутные слухи, что есть какие-то тайные общества и что они трактуют о разных переменах в России, и, признаюсь, как многие, считала и я все это глупою выдумкой и пустыми сплетнями. Тогда не обратили на это должного внимания, дали деревцу разрастись в дерево и пустить глубокие корни,[44] так что под конец пришлось вступать в борьбу с легионом злоумышленников. Буря разразилась при восшествии на престол нового государя: начались следствия, составлена следственная Верховная комиссия,[45] которая разбирала вины мятежников, и были они разделены на сколько-то классов.[46] Донесение комиссии было потом напечатано, как и список лиц виновных;[47] мне добыли и то и другое.

Самыми главными коноводами были: Пестель, Каховский, Рылеев, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин; их всех повесили пред Петропавловскою крепостью июля 13 дня 1826 года. В день казни государя в Петербурге не было: он заранее уехал в Царское Село. Он хотел было, говорят, помиловать от смертной казни и этих зачинщиков, как он сделал в отношении некоторых других мятежников, но люди приближенные, а кто говорит, что и сам митрополит Серафим и другие члены святейшего Синода, прослышав о намерениях государя, восстали против монаршего милосердия и уговорили его показать пример строгости над главными возмутителями, и государь послушался их советов.[48] Для всех прочих государь смягчил приговоры Верховной комиссии, и хотя некоторые были обречены на казнь, их только сослали, осужденным на ссылку убавил число лет пребывания в Сибири и сделал всем облегчения.[49]

Отец Пестеля был при императоре Александре где-то в Сибири губернатором, вследствие беспорядков по управлению и за начеты на него был удален из службы и жил у себя в деревне в великой скудости.[50] После казни его сына государь, узнав, что старик в нужде, велел дать ему аренду и послал пятьдесят тысяч деньгами, а меньшого сына, брата повешенного, взял к себе во флигель-адъютанты.[51] Это было в то время рассказываемо с восхищением, и все приходили в умиление от царского великодушия и милосердия.

Кто был Рылеев: сын ли или родственник бывшего при императрице Екатерине II петербургского губернатора или убитого в 1812 году генерала и на ком он был женат,[52] — не имею понятия; знаю только, что у него было несколько человек детей, мал-мала меньше.[53] Вдова его от горя, что мужа казнили, тронулась в уме. Государь узнал об этом, посылал наведоваться об ней, хотел взять ее на свое попечение, во всем обеспечить, велел ей сказать, что он берет под непосредственное свое покровительство ее детей

и позаботится об их судьбе, и велел узнать, не имеет ли она каких нужд. Но она, раздраженная горем, как рассказывали, отвергла милостивую заботливость государя и ничего не захотела принять ни для себя, ни для детей.[54]

Кроме Муравьева-Апостола, которого повесили (Сергея Ивановича), и двух его братьев [55] были замешаны еще дети Михаила Никитича Муравьева (не Апостола), женатого на Екатерине Федоровне Колокольцевой. И муж и жена были люди весьма достойные и уважаемые. Муравьев-отец был некоторое время попечителем Московского университета, потом заведовал Министерством народного просвещения и был сенатором; он умер до двенадцатого года, оставив вдову еще довольно молодых лет.[56]

Она посвятила себя воспитанию двух мальчиков, жила только для них и полагала в них свое счастье. Старший Никита был очень умен, честолюбив, предприимчив и смел, но благороден. Он учился успешно, служил хорошо и женился на прекрасной собою, знатной и богатой графине Чернышевой, дочери графа Григория Ивановича [57] (двоюродного брата княгини Натальи Петровны Голицыной). Брат этой молодой Муравьевой Захар Григорьевич, единственный сын у отца (имевшего несколько дочерей), был тоже замешан в декабрьский мятеж и вместе с Муравьевыми и другими сослан в Сибирь.[58] Родная тетка Никиты Муравьева была за Луниным (родным братом Александра Михайловича), и ее сын, двоюродный брат Муравьевых, тоже попал в этот омут и был сослан.[59] Когда граф Григорий Чернышев умер и фамилия его в мужском роде пресеклась (сын его, Захар, будучи сослан, лишен был и графства), то старшая из дочерей Чернышева, вышедшая замуж за Кругликова, приняла титул и фамилию отца, и составилась новая отрасль Чернышевых-Кругликовых.

Несчастная мать двух Муравьевых была в великой горести и в продолжение следствия и заключения сыновей постарела на десяток лет; она обращалась, к кому могла, и просила ходатайствовать. Кажется, что княгиня Наталья Петровна Голицына, близкая к императрице Марии и уважаемая новым государем и императрицею, содействовала помилованию от смертной казни ее племянника Чернышева [60] и Муравьевых; может статься, что просила и за других. Жена Никиты Муравьева не захотела его оставить и последовала за ним в ссылку, где она и умерла в начале 1830-х годов, а лет чрез десять спустя умер и он. Там в Сибири родилась у них дочь, которую по смерти отца привезли к бабушке Екатерине Федоровне, и она должна была нянчиться со внукою на старости лет.[61]

Много было молодых людей из лучших и известнейших фамилий замешано в эту смуту. Имена некоторых я помню: князь Волконский, князь Щепин-Ростовский, князь Одоевский, князь Оболенский, князь Трубецкой, князь Голицын, граф Коновницын, барон Розен, граф Чернышев [62] и многие другие.

Князь Оболенский Евгений Петрович (сын князя Петра Николаевича, женатого на Кашкиной),[63] родной племянник нашего соседа, храбровского князя Алексея Николаевича, принимал участие в мятеже 14 декабря как один из главных зачинщиков; он был сперва осужден на смертную казнь, но государь смягчил приговор, и он был сослан в Сибирь.[64] Родная тетка

этого Оболенского девица Кашкина была фрейлиною при императрице Марии Феодоровне, а отец ее (у которого было много детей, человек десять или двенадцать) был некоторое время генерал-губернатором у нас в Калуге, уже после моего замужества, и батюшка был с ним знаком и в хороших отношениях. Он губернаторствовал недолго, года два-три, и умер лет шестидесяти или даже моложе. Я слыхала, что в начале царствования императрицы Екатерины II, когда стряслась беда над Мировичем и он был отдан под суд,[65] то следствие по этому делу было поручено произвести Кашкину, и чрез это ему после того очень повезло, так что он, не имея еще сорока лет и до своего губернаторства в Калуге, был уже генерал-губернатором в других губерниях[66] и в последнее время имел Александровскую ленту.

Родной племянник моей невестки Марьи Петровны Римской-Корсаковой, сын ее сестры Елены Петровны, бывшей за Сергеем Васильевичем Толсты́м, Владимир Сергеевич, тоже был в числе замешанных в заговор, и хотя он был не из главных зачинщиков, однако не миновал ссылки.[67] Елены Петровны не было уже в живых, но Сергей Васильевич был еще в живых, и для отца это было большое горе. Очень хлопотали тогда, чтобы выручить молодого человека, которому и двадцати лет еще не было; кого-кого ни просили, отстоять не могли.

По родству с князем Юрием Владимировичем Долгоруковым просили и его принять участие и похлопотать за правнука. Старый вельможа, начавший службу еще при императрице Елизавете Петровне в Семилетнюю войну (в которой участвовал и батюшка), верою и правдою служивший Екатерине, Павлу и Александру, сперва и слышать не хотел о том, чтобы просить за виновных: «Кто противится своему государю, за того я не челобитчик; нечего и жалеть этих крамольников, поделом вору и мука». Потом его, кажется, склонили просить за Толстого, но, однако, без успеха.

И мой родной племянник князь Александр Вяземский запутался в этом деле,[68] и, может статься, ему пришлось бы очень худо, ежели бы не ходатайствовал за него старший брат князь Андрей, который не только не участвовал в заговоре, но доказал свою верность государю во время смуты 14 декабря, быв на площади и охраняя госуда́ря и наследника.[69] Он просил за брата, и его просьбу уважили; однако князя Александра перевели в армию тем же чином и запретили ему на некоторое время въезд в столицы. Отец на него сердился, на первых порах видеть не хотел и лишил было наследства, но брат, скрыв завещание отца, разделил с ним пополам отцовское имение. Во время турецкой кампании князь Александр участвовал в походе, был под Адрианополем[70] и тем немного загладил свой безумный поступок; он всегда резко и язвительно отзывался про государя и государыню, конечно, не при мне и не у меня в доме, а то я бы и принимать его перестала.

Был у меня еще один родственник, муж одной из моих племянниц, который просидел шесть месяцев в крепости,[71] и так как он носил фонтанель, чтобы оттягивать приливы крови от головы, а в крепости с этим возиться ему, конечно, было нельзя, то он вскоре после того и ослеп и умер

много лет спустя, и ни одного из своих детей, кроме старшего ребенка, родившегося в 1824 году, ему не пришлось видеть. По выходе из крепости он был должен прожить безвыходно десять лет в деревне, не смея выезжать ни в одну из столиц. После 1836 года он живал с семейством в Москве по зимам, но в Петербург не ездил. Старший его брат, более его замешанный, выпутался как-то из беды и не только что вышел сух из воды, но после того служил, был в генеральском чине, имел ленты и умер, кажется, будучи сенатором и на весьма хорошем счету у правительства, потому что его посылали ревизовать губернии.[72]

Не умею теперь назвать, кто из замешанных в заговоре года за два ли за три до того был в Саровской пустыни, где тогда жил прославившийся своею святою жизнью старец отец Серафим.[73] Только вот как было дело: два брата приехали в Саров и пошли к старцу (думается мне, что это были два брата Волконских); он одного из них принял и благословил, а другому и подойти к себе не дал, замахал руками и прогнал. А брату его про него сказал, «что он замышляет недоброе, что смуты не окончатся хорошим и что много будет пролито слез и крови», и советовал образумиться вовремя. И точно, тот из двух братьев, которого он прогнал, — попал в беду и был сослан.[74]

Была в Москве одна очень богатая женщина, Анна Ивановна Анненкова.[75] Она имела сына, попавшего в заговор, за что он и был приговорен к ссылке. Ему нравилась одна француженка; кто она была — цветочница ли, торговка ли какая или гувернантка [76] — порядком не знаю, но только не важная птица, впрочем, державшая себя хорошо и честно.

Когда она узнала, что Анненкова ссылают, она явилась и говорит его матери: «Ваш сын меня любит, и я разделяю его привязанность; выйти за него замуж при прежних его обстоятельствах я не решилась бы, потому что чувствую великую разницу его и моего положения; но теперь, когда он несчастлив и назначен в ссылку, я его не брошу, последую за ним, и ежели вы нам дадите ваше благословение, я буду его женой». Анненкова была очень тронута таким благородным поступком, обняла эту молодую девушку и сказала ей, что как ни горько ей терять сына, но она спокойнее отпустит его, зная, что он будет иметь при себе жену, такую достойную, благородную и любящую женщину. От этого брака у Анненковой были две ли, три ли внучки, которые воспитывались у бабушки,[77] жившей на Самотеке на Садовой в своем доме.

У этой Анненковой жила при ее внучках Варвара Афанасьевна Дохтурова, дочь родной сестры дядюшки графа Степана Федоровича Толстого. Это было в 1836 или 1838 году. Муж Варвары Федоровны был генерал и богатый человек, но большой игрок, который проиграл все, что имел, так что после его смерти бедная его жена и две дочери остались ни при чем. Старушка вскорости умерла, а дочери Марья Афанасьевна и Варвара Афанасьевна принуждены были жить в людях. Старшая, Марья, большая мастерица в живописи и рисованье, жила у хорошей моей знакомой Настасьи Владимировны Беер (урожденной Ржевской), двоюродной сестры тетушки Марьи Степановны Татищевой (по себе тоже Ржевской), а Варвара Афанасьевна — у Анненковой и получала по две тысячи ассиг-

нациями в год жалованья; потом у нее сделалась водянка, и она умерла в 1838 или 1839 году.

Эта Дохтурова много рассказывала про удивительные странности и причуды старухи Анненковой. Так, например, она спала не на перине, не на пуховике или матрасе, а *на капотах*.

— Как это — *на капотах*? — спрашиваю я.

— Да так: ей постилают каждый вечер на кровать ваточные шелковые капоты, которых у ней было более двух десятков, и, постлав один, его разглаживают утюгом, потом стелют другой, третий и сколько понадобится, и каждый разглаживают, чтобы не было ни одной складки, и, постлав простыню, гладят опять утюгами, чтобы постель нагрелась и не остыла. Если старуха ляжет и почувствует где-нибудь складку, зовет горничных, все капоты с постели долой и опять сызнова начинается стилка и глаженье.

Она любила, чтоб у ней было много живущих в доме, и когда случалось, что две или три из приживалок и компаньонок почему-нибудь не обедают за столом, она сердилась: «Куда же это все разошлись, и за столом сегодня так мало?»

У нее была одна пожилая и толстая немка, которой вся обязанность только в том и состояла, чтобы нагревать то кресло, на котором сиживала обыкновенно Анненкова, и потому за полчаса до ее выхода из спальни немка придет и сядет на ее место и уступает, когда та придет.

И много разных других причуд и странностей имела она. Если кто похвалит что-нибудь из ее вещей, тотчас приступит непременно: возьми, и не отстанет, пока не принудит взять. Зная эту ее слабость, многие из окружавших ее тем пользовались и, умышленно хваля, что им нравилось, выпрашивали желаемое.

X

В этом же 1826 году, апреля 20, я лишилась сестры своей, монахини Зачатьевского монастыря матери Афанасии. Она всегда говаривала, что желала бы пред смертью несколько деньков поболеть, успеть исполнить долг христианский и так умереть. По ее желанию Господь послал ей и кончину. Еще на шестой неделе стала она себя плохо чувствовать и говорила мне:

— Ну, сестра, скоро мы с тобой расстанемся; я не долго наживу, чувствую, что приходит мое последнее время.

— Да что же ты чувствуешь? — допрашивала я ее. — Пошлем за доктором...

— Нет, милая моя, не нужно, особенного я ничего не чувствую, а знаю, что скоро умру.

Это меня очень тревожило; я очень ее любила. Она через силу все еще ходила в церковь. Я каждый день с нею видалась.

В Великий пяток она до того ослабела, что в церковь не могла уже идти, но перемогалась, чувствуя себя очень нехорошо, и все еще надеялась, что, отдохнув на следующий день, она будет в силах выстоять продол-

жительную заутреню под Пасху. Я ей не противоречила, чтоб ее не огорчить, но видела, что не в церкви, а в постели придется ей встречать этот светлый праздник, что и случилось. . . Тут я невольно вспомнила, что она мне за год пред тем говорила в Пасху:

— Знаешь ли, сестра, мне почему-то кажется, что я в последний раз встретила Пасху в церкви; верно, я не доживу до следующего года.

Предчувствие ее сбылось: она дожила, но в церкви не могла уже быть.

Пасха была 18 апреля, а во вторник, 20 числа, сестра скончалась на пятьдесят первом году от рождения. Она, может статься, скончалась бы и в понедельник, но монахини не дали ей умереть покойно и на целые сутки продлили ее муки. Когда я пришла к ней в понедельник после обеда, она уже совсем кончалась; вдруг монахини притащили к постели рогожу и разостлали на полу.

— Что это такое? — спрашиваю я. — «Это для матушки, — говорят они, — она кончается, так следует помереть *на рагозине*».

Я не вытерпела и ушла в другую комнату, а они взяли больную и стащили на пол на рогожу.

Она было позабылась, вдруг ее берут и кладут на пол, — каково это?

Может статься, по-ихнему, по-монашескому так это и должно быть; но, признаюсь, близкому человеку видеть это очень тяжело. Бедная сестра стала бредить, от испуга сделались у ней корчи, и она при всем своем смирении и кротости начала роптать, может быть, и в бреду. Я не могла равнодушно смотреть на нее в таком положении, простилась с нею, горько заплакала и отправилась домой, а она еще всю ночь пространдала и скончалась к утру. Отпевали ее в пятницу, и так как это было на Святой неделе, то пели «Христос воскресе»,[78] а мы, все родные, находившиеся на погребении, были в белом, и непохоже было на похороны.

Схоронить ее мы решили в Данилове монастыре, так как там были уже схоронены некоторые из наших Римских-Корсаковых: тетушка Марья Семеновна, дядюшка Александр Васильевич и другие, а впоследствии там положили и брата Николая Александровича, и его сестру Елизавету Александровну Ржевскую.

Там была схоронена и няня покойной сестры Вера Дементьевна, которую она очень любила, и потому рядом с нею положили и сестру. Эта потеря для меня была очень чувствительна, и я долгое время тосковала, а потому не хотелось мне посмотреть ни на какое торжество из бывших в августе по случаю коронации.

XI

О коронации государя Николая Павловича начинали было поговаривать еще в апреле месяце и думали совершить ее в июне; но когда пришло в Петербург известие о кончине императрицы Елизаветы Алексеевны, велено было прекратить все приготовления к коронованию, и было оно отложено до августа месяца, причем снова наложен глубокий траур на полгода, но потом, по случаю коронации, он был сокращен. В июле месяце, когда окончился суд над заговорщиками и самых главных преступников казнили,

то, чтобы скорее изгладить грустное и тяжелое впечатление, которое это на всех произвело, и чтобы положить конец разным глупым и злоумышленным толкам насчет того, кто будет государем, сочли нужным поспешить коронованием, и у нас в Москве начались в Кремле приготовления для этого торжества.

В ту пору были еще люди, которые помнили коронацию императрицы Екатерины (а павловскую и александровскую я и сама помнила), и говорили, что такой торжественности и пышности при прежних не было.

Двор прибыл в Москву около 20 июля, а государь и государыня,[79] как это издавна вошло в обычай, по приезде с дороги имели сперва пребывание в Петровском дворце и только чрез несколько дней торжественно в золотых каретах въехали в Москву. Императрица ехала с великим князем наследником [80] в карете, а государь император верхом; с ним был великий князь Михаил Павлович, брат императрицы прусский принц [81] и большая свита. Послы от иностранных дворов имели также в этот день торжественный въезд; по обеим сторонам по пути были выстроены войска и, где можно, были устроены подмостки и места для зрителей, чего в прежние коронации, кажется, не бывало.

За несколько дней до самого торжества по улицам начали разъезжать герольды в своих богатых нарядах, останавливались на площадях, на перекрестках, трубили в трубы, читали повестку и раздавали печатные объявления о дне коронования. Сперва хотели совершить его августа 15, в Успеньев день, но потом отложили на неделю: разочли, что это и без того большой праздник и разговенье [82] и что потому неудобно, — назначили на 22 число.

Еще поджидали приезда великого князя Константина Павловича; он прибыл накануне Успения, никого не предупредив о дне приезда, и это вышло неожиданностью. Во время царских приездов Кремль спокон века всегда кишит народом, все надеются, не выйдет ли государь; вот Николай Павлович и вышел на балкон с двумя братьями, Константин направо, Михаил налево, народ закричал «ура» и кричал так громко и так долго, что молодая императрица, сказывают, перетревожилась: свежи были еще в ее памяти происшествия декабря месяца в Петербурге.

При первом свидании цесаревича с братом, которому он уступал престол, когда тот хотел обнять его, он схватил руку его и поцеловал, как подданный у своего государя. Приезд Константина Павловича был очень нужен, чтобы совсем рассеять пустячные толки, будто бы меньшой брат воцаряется без его ведома, а кто говорил — и вопреки его воле. Видя его с государем, уверились, что пустые речи были сплетнями людей, любящих мутить народ.

Погода установилась хорошая, и когда в навечерии коронования заблаговестили ко всенощному бдению во всей Москве во все большие колокола — дружно и разом, вслед за Иваном Великим,[83] — отрадно было слушать, точно в Светлое Христово воскресение. Как ни грустно было у меня на душе, а тут и мне стало весело: «Ну, слава Богу, — думаю, — дождались государева коронованья: дай Бог много лет ему царствовать».

Мои девицы — Клеопатра и Авдотья Федоровна — промыслили себе билеты на местах в Кремле, ранехонько поутру поехали в Кремль и так удачно уселись, что могли видеть всю церемонию шествия в собор и обратно.

Главным распорядителем при короновании, верховным маршалом был назначен князь Николай Борисович Юсупов, а помощником его был князь Александр Михайлович Урусов. Короновали три митрополита: Серафим петербургский, Евгений киевский и наш московский Филарет, к этому дню возведенный в митрополиты.

Князю Андрею Вяземскому довелось все видеть и в соборе и в Грановитой палате, где была потом царская трапеза. Он стоял с обнаженным палашом у ступенек тронной площадки, на которой под балдахином изволили кушать государь император и государыни императрицы.

Много было в этот день милостей и разных пожалований: новых андреевских кавалеров, статс-дам и пр.

Из них некоторые были мне известны лично: княгиня Татьяна Васильевна, жена князя Дмитрия Владимировича, была пожалована статс-дамой, также графиня Марья Алексеевна Толстая, жена графа Петра Александровича и мать молодой Апраксиной; еще Елизавета Петровна Глебова-Стрешнева, последняя из того рода Стрешневых, из которых была вторая жена царя Михаила Феодоровича.[84] Старуха графиня Ливен, воспитательница великих княжон, дочерей императора Павла, приятельница императрицы Марии и сестры Катерины Александровны Архаровой, была переименована княгиней с титулом светлости, но в этот ли день или после — этого не знаю наверно. Андрея получили: брат княгини Голицыной Ларион Васильевич Васильчиков (бывший потом князем), Сергей Ильич Муханов, который-то из двух старших митрополитов, кажется, киевский. Было несколько пожалований деревнями и назначение новых фрейлин. Ожидали, что и Катерина Владимировна Апраксина получит портрет,[85] но ее обошли, а получила она уже год спустя, когда была вдовою, и вскоре ее назначили ко двору великой княгини Елены Павловны. С самого дня коронования началась иллюминация города: Кремль, стены кругом, все кремлевские сады, Иван Великий — все это горело огнями; был особый даровой театр, и пошли балы и праздники один другого лучше: при дворе, у главнокомандующего,[86] у графини Орловой, у князя Сергия Михайловича Голицына, у иностранных послов, в Останкине у Шереметева [87] (граф тогда был еще молод, но опекуншей и попечительницей его была императрица Мария Феодоровна) и праздник в Архангельском у князя Юсупова — это, говорят, было выше и лучше всего, что можно себе только вообразить. Кто-то на празднике тогда сказал: «Князь Юсупов побился, верно, об заклад, что перещеголяет покойного князя Потемкина. . .» Для народа был праздник на Девичьем поле и едва не окончился бедой. Как всегда, расставлены были столы с разными яствами, целые зажаренные быки с золотыми рогами, бараны, фонтаны из разных вин, чаны пива, одним словом, как это всегда водилось в таких случаях. Для высочайших хозяев и для их гостей был особый павильон. Все они в этот день (по Пречистенке) мимо меня проехали,

а я, сидя у окна, на всех нагляделась. Когда подан был знак и поднят флаг, народ кинулся на столы и мигом все растащили, осушили фонтаны, и чаны с пивом тоже недолго застоялись — народу было более ста тысяч. Когда государь и государыня уехали, народ кинулся обдирать павильон и начал подмостки ломать: «Все наше, сказано, все наше; бери, братцы!» Сделалась ужасная суматоха и давка, и, конечно, этим воспользовались фокусники и стали шарить по карманам, вырывали серьги из ушей и скольких-то человек так стиснули, что нашли мертвые тела. Мои барышни едва целы остались: их толпа разлучила, и они кой-как добрались до дома.

Был сожжен чудный фейерверк, каких никто еще и не видывал; стоил нескольких десятков тысяч, и было пущено разных ракеток, бураков, шутих и что там еще бывает — более ста тысяч штук кроме богатейших щитов и разных вензелей.

Невступно два месяца пробыл в Москве двор, и более месяца продолжались всякие торжества. Потом государь с государыней ездили к преподобному Сергию,[88] как это и прежде всегда бывало после коронации, потом стали все разъезжаться, и Москва опять приутихла.

Коронация прошла не без последствий для жизни в Москве: ужасно вздорожали квартиры и жизненные припасы. Сперва думали, что это только временно и что потом на все будут прежние цены, но хотя цены и поубавились, когда стали все из Москвы разъезжаться, однако против прежнего все вздорожало в полтора раза.

Кроме этого, во всем стало заметно более роскоши: в отделке и убранстве домов, в экипажах и в наших женских туалетах, особенно в бальных. В некоторых знатных дворянских домах с этого времени стали обедать позднее, так что наши поздние часы — два и три — оказались ранними; модные люди начали обедать часа в четыре и даже в пять.





ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

(1827—1838)

I

В апреле месяце, 26 числа, родился у меня внук Николай Посников близ Галича в сельце Гремячеве, где тогда жила Анночка со своим мужем, в соседстве с имением его матери. Новорожденного крестил его родной дядя Дмитрий Васильевич Посников и Федосья Епафродитовна Алалыкина; в сентябре, 28 числа, родился у меня другой внук в Москве, у старшей дочери, первый ее ребенок, которого назвали в честь моего покойного мужа Дмитрием. Грушенька нанимала тогда дом на Плющихе, принадлежавший Лошаковскому, чрез два или три дома от Смоленской божьей матери, что в приходе на Бережках. Восприемниками новорожденного были брат князь Владимир Михайлович Волконский и я; окрестил младенца на дому наш духовник отец Лука от Пятницы божедомской.

Октября 25 того же года скоропостижно скончался зять мой Дмитрий Калинович Благово, и это так поразило бедную Грушеньку, которая еще порядком не оправилась после родов, что она упала замертво, и боялись, чтобы молоко не кинулось в голову и она от пораженья не помешалась бы в уме. Этого, слава Богу, не случилось, а года два или более она, бедная, не могла порядком оправиться.

Дом свой на Пречистенке я продала [1] за тридцать тысяч ассигнациями и стала себе приискивать другой в той местности, где-нибудь около Пречистенки, и вскорости нашла в Штатном переулке дом, для меня подходящий, в приходе у Троицы в Зубове. Дом принадлежал какому-то господину Зуеву, и мы сошлись в цене; заплатила я двадцать пять тысяч ассигнациями. Бойкое место на Пречистенке мне очень надоело от беспрестанной езды, а тут был переулок малопроезжий, при доме был маленький садик, и напротив, почти из ворот в ворота, дом Катерины Сергеевны Герард с пребольшим и прекрасным садом, который тянулся по переулку против моего дома.

Екатерину Сергеевну Герард я знавала и прежде, а тут по близости и по соседству мы познакомились короче и очень подружились. Ей было тогда лет сорок с чем-нибудь, а ее мужу Антону Ивановичу, генерал-майору в отставке, лет на десять или на пятнадцать поболее; и муж и жена оба были премилые, преумные и прелюбезные. Детей у них не было, они друг друга любили и жили не то чтобы несогласно, а беспрестанно друг другу все шпильки подпускали; ссорились, капризничали и мирились.

Мать Екатерины Сергеевны была Александра Ивановна Репнинская (урожденная Кокошкина).

Кто был муж Александры Ивановны Яков Репнинский и как его звали по отчеству — достоверно сказать не умею; знаю только, что он был генерал и что двое Репнинских — Федор Яковлевич и его брат, кажется, Сергей Яковлевич, — оба служили с моими братьями в Семеновском полку при императрице Екатерине и вышли в отставку с маленьким чином. Один из них в скором времени умер, а Федор Яковлевич жил до преклонных лет. Он имел сына и четырех дочерей, из которых Екатерина, самая старшая, была за бароном Иваном Петровичем Оффенбергом, а самая младшая, Анна Федоровна, — за Арцыбашевым. Она собою была очень хорошенькая и умерла оттого, что ее укусила мужнина комнатная легавая собака. Собака не взбесилась, а на молодую женщину это повлияло: она умерла от удушья, с признаками водобоязни и бешенства. Из двух других девиц Репнинских Елизавета вступила в монастырь.*

Когда я переехала в свой новокупленный дом к Троице в Зубово и познакомилась короче с Герардами, племянника Екатерины Сергеевны уже не было в живых, и она про него никогда не поминала, а слышала я от кого-то, что она его воспитывала; будучи сама великою поклонницей митрополита Филарета, она и мальчика все к нему возила и старалась настроить его так, чтоб он пошел в монахи. Но он, кажется, на это плохо поддавался и умер в очень молодых летах от чахотки. Так как все это было до моего короткого знакомства с Герардовою, то в подробностях этой истории рассказать не могу. Говорили, что она постами заморила племянника и он зачах.

Старшая племянница Екатерина Федоровна тоже все больше жила у тетки и частенько с нею и одна бывала у меня. Она была очень умная и милая девушка, не красавица собою, но недурна и большая доточница и искусница на разные рукоделия, а в особенности на все, что касалось живописи и рисования. Не могу припомнить, в котором именно году, но думаю, что это было в 1836 и 1837 году, она вышла замуж из дома тетки, которая очень ее любила и по ней тосковала.

Антон Иванович Герард один из первых в России завел сахарный завод[2] и стал разводить свекловицу; с ним в компании были Бланк и Нагель. Сахар в то время был привозный, очень дорогой, так что пуд рафинада обыкновенно стоил от 35 до 40 рублей ассигнациями, а годами доходил и до 60 рублей. После двенадцатого года пуд сахару стоил 100 рублей ассигнациями, и во многих домах подавали самый последний сорт, которого потом и в продаже уже не было, называвшийся «лумп», неочи-

---

* Она находилась в московском Новодевичьем монастыре, была пострижена под именем Ермионии и некоторое время исправляла должность ризничей, но потом по болезни отказалась и жила в келье, сильно страдая от костоеды в ноге. Прежде она была хромою, и это приписывали золотухе, от которой одна нога стала короче другой, потом на ноге открылась рана и, наконец, образовалась костоеда. Мать Ермиония скончалась в 1877 или 1878 г. (то есть 16 или 17 лет после кончины бабушки-рассказчицы), имея от роду около 70 лет. Она отличалась смирением, терпением и, несмотря на мучительную болезнь, была всегда весела, спокойна духом, в страданиях не роптала. *Внук.*

щенный и совершенно желтый, соломенного цвета. Большею частью везде подавали «мелюс» [3] и полурафинад, а у Апраксиных, у которых был большой прием гостей и сахар выходил, может статься, десятками пудов в год, подавали долгое время лумп. Эта дороговизна сахара подала мысль завести заводы в России, и первые заводчики получили большие барыши.

Неподалеку от Москвы, кажется, верстах в двенадцати, у Герардов было небольшое именьице — сельцо Голубино, где были оранжереи, прекрасные грунтовые сараи и особенный сорт груш, называвшихся *планками* (beurré), которые были в то время редкостью.

Антон Иванович был большой знаток в сельском хозяйстве, человек очень умный, положительный и весьма приятный в беседе, говорил немного, но умно и хорошо. Екатерина Сергеевна, живая, веселая, разговорчивая до болтливости, но умница, каких немного: каждое ее словцо было искрою ума, и казалось, что и волос-то каждый на ее голове был пропитан умом. Редко встречала я таких умных и приятных женщин, как она; не было человека, которому бы она не нашла сказать чего-нибудь приятного; старики, молодые и дети — все любили ее, всем было с нею весело, всех умела она занять и говорила с каждым именно о том, что могло его интересовать и что ему было приятно. Она много читала, имела хорошую память, много помнила и умела очень хорошо и занимательно рассказывать; шутила остро и умно, никого не затрогивая, и никогда ни про кого не злословила. В особенности она любила посмеяться на свой счет, что иногда выходило презабавно. Не было рукоделья или работы, которой бы она не знала, или вещи, об которой бы не имела понятия и в разговоре бы пришла в тупик. Смолоду она была, говорят, очень мила и приглядна, но, будучи невелика ростом, она к тому же вовсе не отличалась и правильными чертами лица. У нее было, что называют, смятое личико (une figure chiffonnée), и она не могла считаться красавицей, но была привлекательна: от нее так и веяло умом и пахло самою простосердечною, радушною любезностью.

Она была великая охотница до цветов, до собак и кошек и умела так их приучить, что собаки и кошки ее ладили и вместе ели и спали. Была у ней маленькая собачка Бижу, которая взлезет на большую кошку и уляжется на ней спать, как на подушке. Я говорю ей однажды: «Как это вы умели так приучить, что ваши звери — кошки и собаки — живут в таком ладу и дружбе?» — «Это все от нас самих зависит, и ежели мы кротко обходимся со зверями и как с разумными существами, то и они нас слушаются и ведут себя разумно».

Екатерина Сергеевна Герард была из числа тех лиц, которых знала вся Москва, то есть все так называемое *порядочное общество*, и хотя она никогда никого не звала к себе обедать, не знаю, пивал ли даже у ней кто-нибудь чай, а в карты ни она сама нигде, ни у нее никто не играл; все к ней езжали больше поутру, и не было дня, чтобы кто-нибудь у нее не побывал. Так как у нас было много общих знакомых, то частенько гости наши переезжали через переулок из ворот в ворота — то от нее ко мне, то от меня к ней.

Она имела большое знакомство по всей России, со всеми была дружна и со многими переписывалась и, будучи всеми любима и уважаема, имела большое влияние и пользовалась им благоразумно и охотно, помогала своим друзьям и не раз выручала их из беды.

Сама она была очень скромна и никогда не хвасталась ни своими связями, ни тем, что помогла кому-нибудь, а стороною до меня доходило не раз, что она езжала в Петербург, что в прежнее время не так легко было, как теперь, и хлопотала там по делам.

Она была хорошо знакома с графинею Анною Алексеевною Орловой, с Мальцевыми, с которыми — не знаю, как-то чрез Мещерских, — была в свойстве,* и когда она бывала в Петербурге, то все, что ей было нужно, умела уладить.

После того, как митрополит Филарет отказался освящать московские Триумфальные ворота и по каким-то еще двум делам в Синоде, где он высказал свое мнение не так, как того желали в Петербурге, он и Филарет киевский перестали ездить в Петербург для заседания в Синоде, потому что их не стали туда вызывать. Екатерина Сергеевна частехонько ездила в Петербург и чрез Орлову и других предотвратила тучу, которая собиралась над Филаретом. По крайней мере так я слышала.

Митрополит Филарет к Герардовой очень благоволил, а она была ему предана всею душой и раз в неделю у него уже непременно побывает, а то и чаще, и он тоже на Святой неделе и об Рождестве к ней езжал и сиживал подолгу.

Был один очень смешной и забавный случай, который доказал, до чего Герардша была предана митрополиту, но только едва с нею от испуга не сделалось удара. Как охотница до цветов и до всякой садовой новинки, она где-то себе достала тогда новое зимующее растение *фраксинель* с очень пахучими листьями, схожими по запаху с лимонною цедрой. Цветы этого растения темно-розовые. Каким манером зашел разговор у Герардовой с Филаретом об этом цветке — не знаю, только она возила ему показывать ветку с цветком, он похвалил, но сказал: «Хорошо растение, а ежели бы цветок был белый, думаю, было бы еще лучше».

Достаточно было этого слова митрополита, чтобы Герардова стала добиваться иметь такое растение с белым цветком; она справлялась, узнала, что есть, и себе добыла; а так как подал эту мысль митрополит, то и назвала растение «Филаретова мысль», а потом просто стала называть «Филарет». Вот как-то, год ли, два ли спустя, митрополит был весною болен. Екатерина Сергеевна к нему ездила узнать об его здоровье и велела утром на следующий день сходить еще человеку на подворье, и чтобы к тому часу, когда она встанет, он вернулся и ей доложили бы об ответе. Поутру приходит к ней ее садовник и говорит: «Я не знаю, как вам доложить, сударыня: у нас случилось несчастье».

---

* Софья Сергеевна Всеволожская (сестра Герард) была за князем Иваном Сергеевичем Мещерским, а сестра Мещерского, княжна Анна Сергеевна, была за Сергеем Акимовичем Мальцевым. Другой брат Мещерский, князь Петр Сергеевич, был некоторое время обер-прокурором святейшего Синода.

— Что такое? — спрашивает она.

— Да что-с, «Филарет»-то ведь умер.

С Екатериной Сергеевной дурно, чуть не удар.

— Кто тебе сказал? почему ты знаешь? — спрашивает она, растерявшись.

— Я сам видел, замерз, — говорит садовник, чуть не плача.

Та и понять не может, что такое он ей говорит.

— Как замерз?

— Да-с, хорошо был закутан на зиму, а не прозимовал, замерз...

Тут только она догадалась, что идет речь совсем не о митрополите, а об растении. Она выбранила садовника, что он так ее напугал, расхохоталась до слез, рада-радешенька, что понапрасну перепугалась, но целый день ходила с головною болью, а с подворья вслед за тем возвратился человек с известием, что владыке лучше. Потом при свидании она презабавно рассказывала мне, как она перепугалась из пустяков, по недоразумению. Дом Герардовых был в свое время один из лучших домов в Москве: в зале стены отделаны под мрамор, что считалось тогда редкостью, и пока был жив Антон Иванович и было много прислуги, дом содержался хорошо и опрятно, но после его кончины (умер он, кажется, в 1830 или в 1831 году) Екатерина Сергеевна очень поприжалась, стала иметь мало людей и дом порядком запустила: в прихожей у нее люди портняжничали и шили сапоги, было очень неопрятно и воняло дегтем. Она одна из первых отступила от общепринятого порядка в расстановке мебели: сделала в гостиной какие-то угловатые диваны, наставила, где вздумалось, большие растения, и для себя устроила против среднего окна этамблисмент (établissement): * два диванчика, несколько кресел и круглый стол, всегда заваленный разными книгами. В то время это казалось странным. Вообще она не стеснялась тем, что делали другие, и делала у себя как ей вздумается и что ей нравится, и почти всегда выходило хотя необычайно, однако хорошо. Она была вообще женщина с большим вкусом и умением из ничего сделать что-нибудь очень хорошенькое.

После смерти мужа она стала одеваться скудно, всегда в темном или в черном, платье узенькое и коротенькое, а на голове чепец в обтяжку из какой-нибудь тюлевой тряпицы, и волосы свои остригла в кружок: «je n'ai pas de prétention, à notre âge on n'ai plus de sexe», ** — говорила она.

До двадцатых годов мне довелось видеть ее на балах раза два-три очень авантажною молодою женщиной, и раз на бале где-то я видела ее в бархатном берете, с пуком белых перьев: она была тогда с небольшим лет тридцати, свежа и весьма привлекательна.

Голос имела она несколько хриплый, но звонкий и приятный, и во всех отношениях, в разговоре, в обращении, это была самая приветливая, ласковая и любезная женщина.

---

* уголок (*франц.*). — *Ред.*

** «У меня нет желания нравиться, в нашем возрасте становишься бесполой» (*франц.*). — *Ред.*

К концу жизни она стала прихварывать, выезжала редко и окончила жизнь в начале 1850-х годов от очень мучительной болезни, от внутреннего рака; есть почти ничего уже не могла, — желудок не переваривал, но почти до самой смерти она была все на ногах и так же весела и разговорчива, как и прежде. Отпевал ее митрополит Филарет у Троицы в Зубове, а схоронить себя она велела в Новодевичьем монастыре, в одной могиле со своею матерью, умершею пред тем лет за тридцать или более.

Смерть Герардовой была одинаково чувствительна как для ее родных, так и для знакомых; все, знавшие ее, любили ее и уважали. У нее в доме всегда жили барыни и барышни; лишившись ее, они с нею лишались угла и хлеба насущного. Кроме своих племянниц, к которым она была хорошо расположена, она воспитывала еще одну барышню, дочь своего мужа, которая вышла почти против ее согласия за одного полковника-мусульманина, принявшего православную веру для того, чтобы на ней жениться. Состояния и средств больших он не имел, а родители и родные его, узнав, что он перешел в нашу веру, отказались ему помогать. Он, к несчастью, сделался так болен, кажется, от паралича, что должен был выйти из службы, а между тем у него уже было семейство. Екатерина Сергеевна, сколько могла, помогала этим несчастным, и с нею они тоже лишились помощи. Много она делала добра, видимо и невидимо, и нередко, по своему доступу к митрополиту, была ходатайницею за духовных лиц, избавляла от беды и выпрашивала места: добродетельная была она женщина.

Дом свой Екатерина Сергеевна отдавала иногда внаймы, не на долгое время, и сама уходила тогда в верхний этаж или уезжала к себе в Голубино. Так, в 1831 году, когда великая княгиня Елена Павловна провела часть лета в Москве в своем новом дворце на Остоженке и лечилась водами в бывшем почти рядом с ее садом новоустроенном заведении минеральных вод, Екатерина Владимировна Апраксина, состоявшая гофмейстериной при дворе великой княгини, по этому случаю приехала в Москву и, чтоб ей быть поближе, наняла бельэтаж у Герардовой и прожила там несколько недель, пока продолжался курс лечения водами.

В 1832 году в этом доме апреля 12 была свадьба моей племянницы Анастасии Николаевны Римской-Корсаковой, вышедшей за внучатого моего племянника князя Александра Сергеевича Вяземского.

В 1833 году, тоже апреля 12, была свадьба моего племянника Владимира Михайловича Римского-Корсакова, женившегося на Анне Николаевне Поповой.

В 1834 году была там же свадьба Авдотьи Федоровны Барыковой, вышедшей за Василия Николаевича Толмачева.[4]

В 1836 году дом Герардовой нанимала княгиня Елизавета Ростиславовна Вяземская, потому что ее дочь княжна Варвара Сергеевна (вышедшая в следующем году за Ивана Ивановича Ершова) и сноха ее, жена старшего сына, родная моя племянница, княгиня Анастасия Николаевна, пили воды, и тут им было поближе к Остоженке от заведения минеральных вод.

II

В продолжение десяти лет, с 1823 года по 1833 год, у нас в семействе, в родстве и в кругу самых близких моих знакомых много было потерь, и мы то и дело что были в трауре. В эти десять лет я лишилась: брата, двух сестер, двух невесток, троих зятьев, деверя, трех племянников, внучатого брата и двоюродной племянницы. В 1823 году, апреля 7, скончалась в Петербурге сестра моя, княгиня Александра Петровна Вяземская; в том же году в Москве умер зять мой Комаров Иван Елисеевич; в 1826 году — сестра монахиня Афанасия 20 апреля; в 1827 году, октября 25, — муж моей старшей дочери Дмитрий Калинович Благово; в 1829 году, 26 мая, — брат Михаил Петрович Римский-Корсаков. Он скончался в Москве, отпевали его в приходе у Неопалимой Купины, а хоронить повезли в деревню, в село Боброво. Хотя я и была дружна с братом, но более всех нас была к нему расположена сестра Варвара Петровна, и эта потеря очень ее огорчила.

Кроме того, в 1823 году умер князь Иван Михайлович Долгоруков, почти что не родня, потому что он приходился покойнику Дмитрию Александровичу правнучатым братом; что это за родство? Но, по прежним семейным отношениям Долгоруковых с Яньковыми и по сердечному нашему к нему расположению, это была для меня очень чувствительная потеря. В 1827 году умер во время Великой четыредесятницы Степан Степанович Апраксин, и это была для меня большая скорбь: я лишилась в нем человека, который любил покойного моего мужа и всегда одинаково был к нам расположен. Никогда не позабуду его искреннего, дружеского участия, которое он мне высказал, когда скончался Дмитрий Александрович. Апраксина жалела не я одна, вся Москва его оплакивала, потому что вся Москва его любила за его приветливость и ласковое обхождение и за то, что он ее тешил своими чудными праздниками. Можно сказать без лести, что это был последний вельможа, открыто и весело живший в Москве.

Он был дружен с князем Юрием Владимировичем Долгоруковым, и положили они между собою, что ежели возможно общение умерших душ с живыми, то чтобы тот, который первый из них двух умрет, предупредил бы пережившего о скорой его кончине троекратным явлением. Господь по своей благости и во обличение неверующих дозволил, чтобы по условию друзей обещанное ими совершилось. Князь Юрий Владимирович пережил Апраксина тремя годами; он умер в год холеры, в ноябре или декабре месяце, и ему трижды являлся Апраксин: сперва за шесть месяцев Долгоруков наяву увидел Степана Степановича и тогда же говорил некоторым близким людям:

— Пора мне, видно, собираться в дальний путь: я сегодня видел Апраксина; он меня предупреждает, что пришло мое время к отшествию.

Потом вторичное было явление, и Долгоруков опять сказывал: «Я в другой раз видел Апраксина; это значит, что он меня дожидается». Наконец, когда он лежал уже совсем на смертном одре, дня за три до кончины, он еще видел то же и сказал: «Ну, теперь скоро, скоро я отправлюсь на

покой; сегодня я в третий раз видел Апраксина: мне теперь недолго остается томиться». И на третий день после того он скончался.

Многие из знавших Долгорукова подтверждали этот рассказ его.[5] Ежели бы один только раз видел он Апраксина, то можно было бы усомниться и сказать, что ему так это попритчилось. То же самое повторилось три раза и все наяву; это уж не бред и не призрак, а подлинное явление души умершего.

Тяжелый для России 1830 год, год небесной кары за грехи наши, за которые господь наказал нас смертоносною болезнью — холерою,[6] начался для нашего семейства трауром: в январе месяце скончалась моя невестка, жена моего деверя Федосья Андреевна Янькова в селе Петрове. Она была добрая и хорошая женщина, правда что мало воспитанная и несколько простоватая, но очень благочестивая и рассудительная и прекрасная, любящая жена. Не могу сказать, чтобы мы были с нею особенно дружны, однако всегда мы с нею ладили, и размолвки у нас никогда не бывало. Мне было ее жаль не столько для себя, сколько для моего деверя, который очень ее любил, и, говорят, первое время он как малый ребенок неутешно по ней плакал. Он был очень добрый и хороший человек, но по доброте своей до того слабый и бесхарактерный, что его в семье в грош не ставили; поэтому он и не умел дать своим детям воспитания, как следовало. По смерти жены он стал вовсе как без рук: все тосковал, хирел и дотянул только до ноября месяца; скончался в Москве 23 числа и был погребен в Новодевичьем монастыре, а три дня спустя умер второй сын его Андрей в Петрове.

В 1829 году родился у меня внук Василий, третий сын у дочери Посниковой, 6 июля в их деревне. Крестил его Николай Александрович Алалыкин и, кажется, Елена Александровна Посникова. За год пред тем родилась у Анночки вторая ее дочь Александра в Ярославле, где мой зять поступил было на службу к губернатору, но по горячности своего характера наслужил недолго, повздорил с губернатором и вышел в отставку. Сашеньку крестила одна Шубинская, жена бывшего впоследствии в Москве жандармского полковника, а кто был крестным отцом — не припомню. Вышедши в отставку, Посников опять поселился у себя в деревне, и Анночка стала звать Клеопатру приехать к ней погостить. Я отпустила ее с Авдотьей Федоровной Барыковой, бывшей тогда еще не замужем; Грушенька поехала к себе в деревню, и я осталась одна-одинешенька.

Брат князь Владимир Волконский, бывавший у меня почти что каждый день, приехал раз вечером и говорит мне: «Знаешь ли, сестра, говорят, что у нас в Москве неблагополучно; появилась какая-то новая болезнь, называемая холерой: тошнота, рвота, кружение головы, иногда сильное расстройство желудка, корчи, и в несколько часов человек умирает. Об этом поговаривают в Английском клубе».

Очень меня это встревожило. Думаю себе: «Совершенно я одна, никоторой из дочерей нет со мною, умру — некому будет и глаза мне закрыть».

На другой день приезжает ко мне брат Николай Александрович Корсаков и повторяет то же самое, сказывает, что кто-то был вчера в клубе совершенно здоров, плотно поел, приехал домой — корчи, рвота и —

к утру положили на стол. Это взволновало меня еще более, послала я к Герардам просить, чтобы пришел ко мне Антон Иванович; пришел, спрашиваю:

— Правда ли, что в Москве какая-то новая небывалая болезнь, *холера*?

— Ах, — говорит, — не скрою от вас, что совершенная правда, и много уже было смертных случаев; поговаривают, что будут карантины, что Москву кругом оцепят и не будет ни выезда, ни въезда.

Час от часу не легчало. Ушел Герард, села я писать к Грушеньке и к Клеопатре; пишу той и другой:

«Приезжай скорее; коли нам суждено умереть, так уж лучше умирать вместе».

В ужасное пришла я уныние: пока еще, думаю, письма дойдут к той и к другой, я совершенно одна; горькое было мое положение. Спрашиваю поутру у моего дворецкого, когда он возвратился со Смоленского рынка:

— Что слышно про холеру?

— Много, — говорит, — сударыня, мрет народу; по городу стали фуры разъезжать, чтобы подбирать тела, ежели будут на улицах валяться.

Каково было это слышать! Значит, это мор, и ждут, что люди станут как мухи валиться. Принесли повестку из съезжего дома, чтобы в домах были осторожнее, и что, ежели у кого будут заболевающие люди холерою, в домах отнюдь у себя не держать, но тотчас отправлять в больницы, и чтобы для очищения воздуха везде по комнатам ставить на блюдечках деготь и хлор.

Наконец Грушенька возвратилась из деревни, и у меня отлегло на сердце: «Ну, теперь я хоть не одна».

Между тем у нас уже и в знакомстве стали заболевать: Екатерина Терентьевна Попова, соседка брата Михаила Петровича по Боброву и по зимам жившая в Москве у моей невестки Варвары Николаевны, сказывают, занемогла холерой, послала за своим доктором Петром Григорьевичем Карпицким (который лечил и Грушу), а тот, приехав и узнав, что у нее холера, в комнату не вошел, а разговаривал, стоя на пороге в дверях.

Значит, болезнь опасная и прилипчивая, что и доктор не подходит к больной! Смертность с каждым днем все усиливалась, фуры разъезжали в Москве по улицам и переулкам и вместе с больными иногда хватали и пьяных. Почти во всех домах затворились ворота; боялись ходить по улицам, выезжали в крайних случаях, и каждый опасался принять когонибудь к себе в дом. Я велела затворить ворота и никого не стала принимать; ставни на улицу у меня закрыли, чтобы стук от фур, которые ужасно стучали, был не так слышен, и я перебралась с Грушею в те комнаты, которые выходили на двор: там мы все и сидели. Дворецкий мой только один раз в неделю ходил на рынок закупить что нужно для стола, и, кроме кашицы или супа и куска жареной курицы, мы более месяца ничего не ели, и даже страшно было нам вспомнить, что за месяц или за два перед тем мы ели свежие огурцы и грибы в сметане. Весь город точно разъехался или вымер, редко-редко кто проедет или пройдет, везде затворены ворота, закрыты ставни и завешены окна.

Изредка брат князь Владимир Михайлович напишет мне записочку: «Все ли вы здоровы и живы, я пока еще жив». И эту записочку дворник возьмет от дворника у калитки, не впуская его на двор, и вынесет ему мой ответ.

Как мы ни береглись и ни хоронились, холера забралась-таки и ко мне на двор: сын моего буфетчика Фоки Миша, молодой мальчик лет пятнадцати или шестнадцати, неожиданно занемог и по всем признакам — холерой. Не теряя времени, его свезли в больницу, и он там на вторые или на третьи сутки умер.

Письма, которые мы получали, приходили гораздо позднее: их задерживали, и они были все исколоты из предосторожности, чтобы с ними не зашла зараза.

В те дни, когда дворецкий ходил на рынок, я потом спрашивала его: «Ну что, Петр, слышно насчет холеры?».

— В силе, сударыня: великая смертность; в иных приходах человек по тридцати отпевают и более.

Чрез неделю опять спрашиваю его, — все тот же ответ; наконец-то он однажды приходит и говорит, что, слава Богу, болезнь пошла под гору; дня чрез два записочка от брата Волконского: пишет, что холера слабеет и что он на днях ко мне будет. Ну, слава Богу! .. И точно, на неделе брат ко мне приехал, и мы свиделись как люди, которые и не надеялись, что останутся в живых и опять увидятся.

Во время холеры все обошлось в Москве благополучно, не так, как в Петербурге, где было возмущение народа,[7] думавшего, что холера происходит от отравы, которую лекаря сыплют в воду и колодцы. Спокойствие Москвы должно приписать распорядительности тогдашнего главнокомандующего князя Дмитрия Владимировича Голицына, и хотя тогда и трунили над ним, что он переехал с женой к Авдотье Сильвестровне Небольсиной на Садовую и из ее будто бы кармана глядит на холеру в лорнетку, однако же все-таки Москва осталась спокойною.

Так как много осталось сирот, лишившихся родителей в этот ужасный год, то государю Николаю Павловичу угодно было показать Москве свое отеческое милосердие, учредить институт для воспитания детей, оставшихся после родителей, умерших от холеры, и для этого заведения, названного в честь государыни императрицы Александры Феодоровны Александровским сиротским институтом, был куплен апраксинский дом на Знаменке. Услыщав это, я, признаюсь, порадовалась, что после тех милых хозяев, которые четверть века владели этим домом, хозяином будет не какой-нибудь нажившийся откупщик или расторговавшийся купец, а сама императрица, которая в своем доме даст приют бесприютным сиротам.

В Москве из наших родных и близких друзей никого не умерло, а я опасалась, что многих не досчитаюсь; но в Царском Селе умерла родная племянница брата князя Владимира Волконского, дочь его брата Дмитрия Михайловича Зинаида Дмитриевна Ланская, бывшая за Павлом Сергеевичем Ланским, сыном Елизаветы Ивановны, по себе Вилламовой (сестры статс-секретаря). После Зинаиды остался мальчик Сережа.

В то время, как Клеопатра гостила в Гремячеве, Анночка родила 10 сентября дочь Софью, и Клеопатра ее крестила.

К 1831 году, 30 августа, в самый день своих именин и в день, назначенный для свадьбы, скоропостижно умер родной племянник моего мужа Александр Николаевич Яньков. Он был вдовец; жена его Анна Александровна, по себе Грушецкая, умерла еще в 1823 году, оставив шестерых детей. Он очень об своей жене горевал, но был человек еще молодой, вдовым оставаться не хотел и задумал опять жениться. Он вздумал было метить на Грушеньку и чрез брата графа Петра Степановича узнавал, пойдет ли она за него, ежели бы он сделал ей предложение. Она ему нравилась, но к нему она не имела никакого, кроме родственного, расположения, а так как он был ей двоюродным братом, то предлогов для отказа искать было нечего, потому он и не просил руки формально. Знаю, что и деверь мой и невестка этого желали, только мы находили, что брак в таких близких степенях родства, не положенный и по церковному уставу, невозможен, и отклонили его от этого намерения.

Яньков недолго думал и приискал себе невесту, очень хорошую и милую девушку Ушакову. Назначен был день свадьбы, я должна была быть посаженою матерью, и в самый день венчанья поутру я совсем уже была готова ехать, только поджидала, чтобы Грушенька и Клеопатра оделись и сошли вниз. Вдруг присылают меня известить, что жених умер: он собрался ехать в церковь, стал одеваться и хотел умыться, зашатался, упал — и дух вон.

Это меня ужасно поразило; но каково же было поражение бедной невесты? Оделась она, ждет, что шафер приедет известить, что жених в церкви, и вместо того шафер точно приехал, но чтоб известить, что жених — покойник. Все, что было приготовлено для свадебного пира, пошло потом на похоронные поминки. Вечером в день свадьбы я поехала к жениху на панихиду; схоронили его в Новодевичьем монастыре, где схоронены были его жена и отец. Он родился 24 августа 1791 года, и ему, следовательно, только что минуло сорок лет; он женился, будучи очень еще молод, и старшие его дети, девочка и два мальчика, были уже порядочные, а меньшому, Петруше, было лет девять или десять.

III

В 1832 году у нас, слава Богу, никто не умирал в родстве, но было две свадьбы: два князя Александра Вяземских женились на двух Римских-Корсаковых. Первая свадьба была моего родного племянника, князя Александра Николаевича, на Александре Александровне Римской-Корсаковой, дочери Марьи Ивановны, которая была великая мастерица тешить Москву своими балами и разными забавами. Молодая девушка давно нравилась князю Александру, и он увивался около нее, но он был еще так молод, что отец и слышать не хотел об его женитьбе; к тому же он был им недоволен за его участие в декабрьской истории 1826 года [8] и долгое время за это и видеть его не хотел. Тогда не то, что теперь: отцы поблажки детям

не делали. Однако пред турецким походом отец с сыном, по-видимому, примирился. Корсакова была на несколько лет старше князя Александра; он ей нравился, и когда он с нею стал прощаться пред выступлением в поход, она подарила ему золотой медальон, в котором была миниатюра — два глаза, выглядывающие из облаков. Она имела прекрасные, очень выразительные и привлекательные глаза и, должно быть, знала это. Даря ему этот медальон, она ему сказала: «Вот вам, князь, на память; пусть это будет для вас талисманом, который сохранит вас на войне: помните, что эти глаза повсюду будут следовать за вами».

Во время турецкого похода князь Александр подвергся двойной опасности — не только быть убитым на войне, но умереть еще и от кори, которую он где-то захватил на пути; от этой болезни береглись и дома, а ему, сердечному, пришлось с нею нянчиться в походе, спать на сырой земле на одной шинели в палатке. Однако Господь его помиловал: он преблагополучно перенес корь, не застудил, и не было никаких последствий.

По возвращении его из похода старик Вяземский стал к сыну получше, но как только заговорит он об Корсаковой, так отец на дыбы: «Далась тебе эта Корсакова, болезненная, старая девка, привередница, каких мало; лучше не нашел... Ах, уж эта мне Марья, влюбила тебя в свою дочь; чего тебе спешить, успеешь жениться».* Очень ему не хотелось этого брака.

Раз как-то Клеопатра сказала князю Александру: «Ты видишь, что дяденька не желает, чтобы ты женился на Корсаковой; охота это тебе приставать к отцу!».

— А если он не хочет и станет мне мешать, так и без него обойдусь, назло ему без воли женюсь.

В отца был — пресамонравный; только отец был прескупой, а сын — мотышка и картежник.

Отец все ломался, не хотел позволять, но сын приступал и наконец перетянул, на своем поставил: отец должен был согласиться и, скрепя сердце, позволил свататься.

Предложения давно ожидали и тотчас дали согласие. В начале января был сговор и помолвка, и меня как родную тетку брат князь Николай и князь Александр пригласили быть посаженою матерью вместе с отцом, а венчанию назначили быть в первых числах февраля пред сырною неделей. [9] Пасха была в тот год не слишком ранняя.

Невесту привозили ко мне: высока, стройна, недурна лицом и с прекрасными бархатными глазами. У меня она себя держала просто, прилично и хорошо, а у князя Николая Семеновича в доме (жил он тогда на Остоженке в своем домике) стала подымать платье повыше от пола и осматри-

---

* Александра Александровна Корсакова сама повредила своему здоровью; она была очень полна, румяна, и кровь приливала к голове. Будучи в Париже, она посоветовалась с каким-то медиком, тот предложил ей пустить себе кровь; что ж она придумала? Послала за кровопускателем и велела себе пускать кровь до обморока и этим так себя ослабила, что опасались даже за ее жизнь. Но хотя она не умерла и выздоровела, она этим подорвала свое здоровье, стала какая-то хилая, ледащая и никогда вполне после того не могла оправиться. От этого-то старик Вяземский и называл ее больною старою девкой.

вать, чисто ли кресло, — так ей показалось у брата неопрятно: она, говорят, была большая чистюля и брезгунья.

Это брату ужасно не понравилось, и он стал жаловаться на нее: «Представь себе, матушка, дура-то эта, будущая моя сноха-то, ничего не видя, а уж брезгать моим домом стала: юбки по щиколотку поднимает, смахивает с кресел, точно в хлев в какой зашла... Помяни ты мое слово, не быть пути от этого брака, я не доживу — ты увидишь...»

И ведь что же, напророчил: так потом и сбылось...

Марья Ивановна была премилая и преобходительная женщина, которая всех умела обласкать и приветить, так вот в душу и влезет, совсем тебя заполонит. Она имела очень хорошее, большое состояние и получала немало доходов, да только уж очень размашисто жила и потому была всегда в долгу и у каретника, и у того, и у сего. Вот придет время расплаты, явится к ней каретник, она так его примет, усадит с собой чай пить, обласкает, заговорит — у того язык не шевельнется не то что попросить уплаты, напомнить посовестится. Так ни с чем от нее и отправится, хотя и без денег, но довольный приемом.

Вздумалось Марье Ивановне съездить за границу, что в прежнее время стоило недешево, а денег у нее нет; занять, может статься, было не у кого или занимать не рассудила, она возьми да и продай один из своих двух домов, что против Страстного монастыря, тот, который поменьше, за пятьдесят тысяч ассигнациями; с этими денежками и повезла двух меньших дочерей тешить, да и самой позабавиться; года полтора она путешествовала, пока из кармана всего не вытрясла. И после того сама рассказывала всем и хвасталась своею оборотливостью: «Вот какую аферу я сделала, съездила даром в чужие края, только флигелек продала, на эти деньги и путешествовала». Каково? Вот какие бывали еще чудачки.

С молодыми людьми, которых она прочила своим дочерям в женихи, она была тоже мастерица обращаться: так очарует, заколдует, что они и не почувствуют, как предложение сделают. То зовет на вечер, то пригласит к себе в ложу, к обеду, а летом куда-нибудь за город соберется на катанье большим обществом... Она первая ввела в обыкновение, чтобы на Святой неделе под Новинским (где всегда ездили в каретах) ходить пешком и по балаганам. Приехав в Петербург в 1821 году, я и стала рассказывать про эту новость сестре Вяземской: «Ох, уж мне эта Марья Корсакова, — говорит сестра, — вечно-то выдумает она что-нибудь новенькое, и все-то она хороводы водит».

Думала ли тогда сестра, что ее сын Саша попадет в руки этой Марьи Корсаковой и на ее дочери женится?

По правде сказать, и с той, и с другой стороны партия была подходящая; одно только — что невеста была немного постарше жениха и уж совсем не хозяйка для дома, ни о чем понятия не имела.

Свадьба была 12 февраля. Приглашали и с той, и с другой стороны одних родных и самых близких знакомых; было, однако, людно и парадно.

Готовилась у нас в семье и другая свадьба, но только не было еще ничего решено. Настенька, дочь брата Николая Петровича, нравилась

сыну княгини Елизаветы Ростиславовны, князю Александру Сергеевичу, и об этом огласки не делали.

На свадьбе князя Александра Николаевича брат Николай Петрович накинулся на Грушеньку:

— Скажи, пожалуйста, с чего ты распускаешь слухи, что Настенька идет за князя Александра?

— Я этого не знала и потому говорить об этом не могла...

— Ты сказывала Неклюдовой, что Вяземский женится на Корсаковой?

— Говорила, это правда; а на чьей же мы свадьбе? Князь Александр Вяземский женился на Корсаковой.

Но скоро объявили и Настенькину свадьбу.

Настенька была не красавица, но очень мила и авантажна [10] в бальном платье, а так как она была очень худощава, то ее кутали в тюлевый или газовый шарф, и к ней это очень шло.

На свадьбе князя Александра она была очень авантажна, и княгиня Елизавета Вяземская, глядя на нее, говорит Грушеньке: «Удивляюсь я, где это у женихов глаза; посмотри как Нанси мила...»

Она выезжала уже года с два, и много молодых людей около нее увивалось, но ей никто особенно не нравился; она была довольно равнодушного характера и мало обращала внимания на всех своих воздыхателей. Марье Петровне хотелось во что бы то ни стало выдать ее непременно за графа или за князя, и потому на свои балы она только и приглашала сиятельных кавалеров; других она не удостоивала этой чести.

Брат и княгиня Елизавета Вяземская были очень дружны между собой, и обоим желалось, чтоб их дети друг другу понравились. В это время стал около Нанси ухаживать граф Мантейфель, который ей приглянулся, и она к нему было расположилась, но только он не посватался и вскоре потом женился ли, умер ли — не припомню хорошенько. Нанси огорчилась и сказала тогда матери: «Теперь мне все равно, за кого ни выйти; выбирайте, кого хотите, я отказывать не стану».

Этим воспользовались: Вяземский посватался и был принят; венчали 12 апреля. Брат и Вяземская-мать были очень довольны, что женили своих деток, и думали: вот будет благополучие-то. Вышло иначе: и тот и другой могли бы быть счастливы, да только не вместе, имея различные характеры. Вяземский служил в лейб-гусарах, и полк его был или в Царском Селе, или в Гатчине. Несколько времени спустя после свадьбы поехали туда молодые, вскоре собрался и брат с женою: повезли туда своего сына Сашу, который должен был поступить в полк. Он родился в 1816 году, и ему был шестнадцатый год; не очень велик ростом, с приятным личиком и милый мальчик; веселый, живой, ласковый, прекрасного характера, всеми любимый и совершенный еще ребенок: так его держали.

IV

В 1833 году были у нас в родстве то родины да крестины, то похороны, и меня совсем затаскали по этим церемониям: то радуйся и крести, то хорони и плачь.

Год начался с того, что в феврале невестка моя, Варвара Николаевна Корсакова (по себе графиня Маркова), жена брата Михаила Петровича, просватала своего сына Владимира; он брал за себя Анну Николаевну Попову. Ее мать Катерина Терентьевна, соседка брата по Боброву, была урожденная Цвиленева и имела сестру, пожилую девушку Марью Терентьевну. Их мать, очень уже преклонных лет, Александра Ивановна, по фамилии Филисова, родилась и росла по соседству с Бобровом, где отец ее, небогатый дворянин, имел маленькое поместьице; будучи еще молодою девушкой, она знавала мою бабушку Евпраксию Васильевну и зачастую у ней гащивала. Бабушка к ней благоволила и ее ласкала; но только ни ее мать, ни она о парадном крыльце и подумать не смели, а всегда езжали на девичье крыльцо. Внучка ее Анна Николаевна очень понравилась сестре Варваре Николаевне, и она эту свадьбу и сладила. Владимир вышел в отставку ротмистром и жил в Москве. Он был непомерно толст, но лицо имел приятное. Молодая девушка была недурна собою.

На крестинах у моего племянника, князя Александра Николаевича Вяземского, у которого родился сын Николай (февраля 18), мы все родные съехались, в том числе и Варвара Николаевна, и весело попировали вместе; она была здоровехонька. На другой день она приехала вечером ко мне, я показывала ей образчики шелковых материй для платьев, ей один понравился, она взяла его и приколола себе к платью:

— Я такое платье велю себе купить для Владимировой свадьбы, — и уехала от меня превеселая.

Через день мне присылают сказать, что она занемогла; я поехала к ней и нашла ее прихворнувшею, но совсем не в опасном положении, а февраля 25 к утру ее не стало: оказалось сильное воспаление.

Я каждый день к ней ездила и сидела у нее подолгу. Дня за два до кончины она мне говорит:

— Если я, сестра, умру, — прошу тебя, будь Владимиру вместо матери и свадьбу не откладывайте, а тотчас после шести недель и венчайте.

— Э, полно, сестра! — говорю я ей. — Охота это тебе говорить пустяки. . .

— Ну, вот помяни мое слово, что я не встану.

И ведь так и вышло.

Отпевали ее у Неопалимой Купины, а схоронили в Даниловом монастыре.

Не прошло месяца, умер мой внучатый брат Николай Александрович Корсаков; похоронили и его в Даниловом монастыре.

Сороковой день по Варваре Николаевне приходился в первых числах апреля, что было на Святой неделе, и потому в понедельник на Фоминой [11] справили сорочины, а в среду положили быть венчанью. Владимир нанял дом Герардовой напротив меня и к Святой туда переехал.

Венчать должны были поутру и мне быть посаженою матерью, а у меня с вечера еще начались такие спазмы в желудке, что я не знаю, могу ли ехать в церковь. Поминутно присылают узнавать о моем здоровье, а я лежу пласт пластом; ну, наконец полегчило, я встала и кое-как могла ехать в церковь. Венчали в домовой церкви Алексея Ивановича Бахметева в Старой Конюшенной, где венчали и Грушеньку.

В августе того же года, 20 числа, скончался зять мой, князь Николай Семенович Вяземский; он жил неподалеку от меня, в своем домике на Остоженке. Тоже скоро его свернула болезнь — воспаление. К шести неделям оба сына приехали. Андрей приехал первый и, увидав завещание отца, прочитал его и пришел с ним ко мне в ужасном смущении:

— Представьте, — говорит, — тетушка: батюшка лишил брата наследства: все оставил мне, ему ничего.

Показывает — точно, все ему, брату ничего. Князь Николай Семенович никогда не мог в душе простить князю Александру, что он попал в заговор против государя, тут он еще себе повредил тем, что женился почти что против воли отца на Корсаковой, вот он в отместку ему и хотел его всего лишить.

— Ну, как же ты думаешь? — спрашиваю я князя Андрея.

— Я хочу, тетушка, скрыть от брата духовную и, как следует, все с ним разделить пополам: имение, движимость и деньги.

Я обняла его и поцеловала:

— Это ты доброе дело сделаешь и грех с отцовой души снимешь, — говорю я.

Он духовную отца изорвал и с братом все пополам разделил. Себе взял Студенец, веневское имение, и половину рязанского, а остальное все отдал князю Александру, так что тому пришлось еще и больше, чем ему. Он не пожадничал и, поступив по совести, был этим очень успокоен, а брату ничего и не сказал: на что было его вооружать против памяти отца?

Честный и хороший был человек князь Андрей.

V

Приблизительно в это время, но в точности в котором именно году — в 32, 33 или 34, — припомнить не могу, Господь порадовал меня насчет брата, князя Владимира Михайловича Волконского. Он обратился на путь истины. Начитавшись смолоду Вольтера и Дидерота, он ни во что святое не веровал, и хотя мы были дружны, но на этот счет всегда с ним расходились во мнениях и этого предмета не касались: я веровала, как учит церковь, он все отвергал, — что ж тут говорить? Его не разуверишь, что он заблуждается, а слушать его было неприятно и страшно: христианин, а говорит, как язычник, и лет сорок или больше не был на духу, не причащался...

Нанимал он нижний этаж в доме Владимира Корсово, на Сенном бульваре, что за Смоленским рынком. Он любил ходить пешком, часто хаживал ко мне и всегда остановится и спрашивает у лавок: почем крупа, овес, мука, по какой цене сено. Как-то осенью, в базарный день, идет он через Сенную площадь. Торг кончился, все разъехались, стоит только какой-то старик-мужичок с двумя возами.

— Почем продаешь сено? — спрашивает брат.

— Купите, батюшка, — говорит старик, — дорого не возьму, — и сказал цену.

— А сколько на возах? нужно вывесить.

И потом прибавил: «Вот что, любезный, свешай-ка, сколько во мне весу». Мужичок покачал головой и не тронулся с места.

— Что же ты головой качаешь? — спрашивает князь Владимир. — Что тут тебе странного?

— Да, барин батюшка, подлинно чудно мне это...

— Что ж тебе чудно?

— А вот что, мой кормилец, не в обиду будь сказано вашей милости: нам с тобою, батюшка, здесь вешаться не приходится...

— Отчего же так?

— Да так, батюшка, мы старички с тобою, не на этих весах нам следует вешаться; нас вон где с тобою будут вешать, — и указал пальцем на небо.

Брат засмеялся:

— Ну, это еще вопрос! Полно, есть ли там и весы-то.

Мужичок перекрестился...

— Ах, что ты, родимый, да как же можно, там всех взвешивают.

— Кто ж это знает?

— Вот что, батюшка мой, выслушай мою глупую речь... Ты говоришь, что там нет весов, а мне так думается, что есть, ну, так и живется; умри я, умри ты, я внакладе-то не буду, а тебе как бы не прогадать, батюшка; тогда ведь уж не воротишься назад, кормилец ты мой.

Брат задумался, велел старику отвезти оба воза сена к себе на двор и сказать, чтобы дворецкий принял, а сам пришел ко мне да все это мне и рассказывает.

— Вот, — говорит, — сестра, что ты на это скажешь?

В другое время я с ним об этом и разговаривать бы не стала, — что толку спорить? — а тут, я сама не знаю почему, ужасно обрадовалась.

— Ну, слава Богу, — говорю я, — это Господь тебя к себе неведомыми путями призывает, обращения твоего ждет.

— Что же ты мне посоветуешь?.. Докажи мне кто-нибудь, что я в заблуждении, я не прочь уверовать.

— Ежели ты это взаправду говоришь, советую тебе съездить к митрополиту Филарету и все ему подробно объяснить, а там ты увидишь, что он тебе скажет.

Господь видимо его к себе призывал. Он меня послушался и поехал к митрополиту и долго у него сидел. Владыка выслушивал его, опровергал его сомнения и потом сказал ему, что пришлет к нему протоиерея, с которым он может подробнее поговорить, убедиться в истинности учения нашей церкви и может взять его в духовные отцы.

На следующий день к нему от митрополита пришел протоиерей церкви Троицы, что на Арбате, Сергей Иванович.

Он стал у брата бывать, приносил ему книги, объяснял ему, чего он не понимал, не зная по-славянски, и, наконец, брат пожелал говеть, подробно исповедал все грехи прошлой жизни и сподобился принятия святых Христовых Таин.[12]

С тех пор он ежегодно говел, соблюдал посты и посещал храм Божий. В первый раз, когда он приехал в церковь, ко мне в приход к Троице

в Зубове, он мне после сказывал, что ему было совестно и неловко и что ему показалось, что все на него глядят.

— Это, брат, тебя враг смущает; ему жаль, что он не мог тебя осетить до конца; совестно и неловко быть там, где мы делаем что-нибудь худое, а не во храме Божьем.

Князь Владимир был человек умный и много в свою жизнь перечитал книг, и вот в каком мог он быть заблуждении и по вражескому действию. Обращение его к Богу имело хорошее влияние и на брата Николая Петровича, который одно время тоже свихнулся; он стал чаще бывать в церкви, и в особенности его утвердил в вере духовник его, священник от Большого Вознесения Петр Евплович.

VI

В 1834 или в 1835 году в нашем переулке появилась новая жительница, старушка лет шестидесяти, очень из себя миловидная, по-старушечьи одета, но довольно нарядно. Спрашиваю раз у Екатерины Сергеевны Герард:

— Что это за новое лицо у нас в церкви бывает?

— А это сестра моей соседки Плещеевой — княгиня Трубецкая.

Двор Плещеевой был рядом забор с забором с герардовским садом. Лет семь или восемь жила я у Троицы в Зубове и Плещееву старушку видала только в церкви, куда она хаживала со своею горничной, но она ни с кем знакома не была: и к себе никого не принимала и сама ни у кого не бывала. Был у нее сперва старый домик, она его сломала и выстроила новый на две половины: в одной жила она сама, другую отдавала внаймы.

Сперва с Трубецкою познакомилась Герардова, потом познакомила и нас, и мы очень сошлись и сблизились.

Она была по себе Кромина; это хорошая дворянская фамилия, не особенно знатная, но давнишняя, кажется, нижегородская. Плещееву звали Елизаветою Петровной, Трубецкую Марфою Петровной. Будучи еще девочкой, Марфа Кромина часто гащивала и подолгу живала у княгини Трубецкой (жены князя Петра Сергеевича Дарьи Александровны, по себе княжны Грузинской, сестры известного князя Егора Александровича); [13] княгиня ее ласкала и считала ее почти что своею воспитанницей; девочка была собою очень хорошенькая, скромная, но веселого и живого характера. В конце 1790-х годов княгиня Трубецкая умерла, оставив несколько мальчиков и девочку. Кромина была еще очень молода — лет 14 или 15 и неутешно плакала о княгине. Это князю было приятно; он любил молодую девушку, душевно привязанную к его покойной жене, и хотя был гораздо старше, чем она, может быть, лет на двадцать или более, он женился на Кроминой, от которой и имел сына Никиту Петровича.

Не будучи ни особенно умна от природы и не получив тщательного воспитания, вторая княгиня Трубецкая сама себя довоспитала, усвоила приемы и обращение хорошего круга, а главное — была добрая мачеха, благочестивая жена, очень нежная и любящая мать и женщина достойная уважения.

Оставшись молодою вдовой и с двенадцатилетним сыном, княгиня Марфа Петровна посвятила себя его воспитанию и устройству имения, доставшегося на ее вдовью долю и ее сыну, которому пришлось из отцовского имения очень немного; хотя пасынки ее и были богаты, но по своей матери из рода Грузинских. Сын вырос, и мать была им утешена: он вышел хороший человек, к матери почтительный, и по ее желанию он женился довольно молодым на весьма достойной и умной девице, на фрейлине Нелидовой, которая на несколько лет была старше его. Они жили согласно и имели двух сыновей и двух дочерей.

Устроив судьбу сына по своему желанию, Марфа Петровна приехала в Москву жить с престарелою сестрой (а может статься, и стеречь ее наследство). Любя сына и заботясь об его довольстве, княгиня очень поприжалась, во всем себе отказывала, чтоб иметь возможность побольше скопить для сына. Она стеснилась с сестрою в нескольких комнатах, имела только человека и девушку, а лошадей не держала. Она иногда хаживала в церковь пешком, а зимою или в ненастье, по воскресеньям и в праздники, отъехав в церковь, я посылала за нею свою карету, в которой потом опять ее отвозили. В продолжение пяти-шести лет, что мы жили в одном переулке, почти что наискось друг против друга, мы очень сблизились и уж непременно видались два-три раза в неделю. Потом старушка Плещеева умерла, княгиня переехала в Петербург и после того в нижегородскую деревню, а я свой дом в Зубове продала; мы изредка переписывались, и Клеопатра частехонько исполняла комиссии княгини, но видеться более уж нам не приходилось. Я сохранила о ней самое приятное воспоминание как о милом и хорошем человеке.

Падчерица ее была за графом Потемкиным,[14] который имел свой дом на Пречистенке и, владея очень большим состоянием, был, говорят, постоянно без денег и терпел нередко великую нужду.

Один из пасынков Марфы Петровны был женат на Бахметевой (родной племяннице княгини Агафоклеи Алексеевны Шаховской) и имел нескольких дочерей, из которых самая младшая вышла потом за сына княгини Ирины Никитичны Урусовой, князя Сергия Николаевича; на мой взгляд, она была ангелом по наружности, а по словам ее свекрови — ангелом и по характеру и доброте.

VII

Через год после смерти князя Николая Семеновича Вяземского старший сын его, князь Андрей, женился на замужней женщине Наталье Александровне Гурьевой. Муж этой молодой красавицы был человек очень богатый и с тем вместе большой игрок, который вел очень рассеянную жизнь, прекрасную свою жену любил, баловал, но, должно быть, плохо за нею смотрел и, выигрывая в карты, проиграл жену: она понравилась князю Андрею, а он ей, и вышла беда для оплошного мужа. Князь Андрей был, должно быть, мастер ухаживать и, увиваясь за Гурьевой, вскружил ей голову. Но она была честною женщиной и, видя, что Вяземский в нее

влюблен, однажды спрашивает его: «Скажите, князь, к чему вы меня преследуете? Разве вы не знаете, что я замужняя женщина, что я себя уважаю и что вам невозможно от меня добиться, чтоб я забыла свой долг».

— Для влюбленного человека все возможно, — говорит он ей, — я ни пред чем не остановлюсь, я добьюсь, что вы будете моею.

— О, ежели так, то вот моя рука; хлопочите о разводе, быть вашею женой я согласна.

Как принял это Гурьев и что побудило его жену решиться на развод — я не знаю, но только Гурьев согласился принять на себя всякие вины, чтоб его жена могла выйти за Вяземского. Говорят, что он был скупенек, а жена его много тратила, что незадолго пред тем ему пришлось заплатить за нее по счетам из модных лавок больше двенадцати тысяч ассигнациями, что будто бы и побудило его согласиться на развод.

Стали хлопотать, дело князю Андрею стоило больших денег, кажется, тысяч до сорока ассигнациями.

Не порадовалась я, когда он известил меня о своей женитьбе, но когда через год после того он приехал в Москву и привез ко мне свою молодую жену, я, конечно, приняла ее как жену моего племянника, сына моей родной сестры. Совета моего он не спрашивал, а только объявлял мне, что женится; что же мне оставалось делать?

Княгиня Наталья была очень видная и статная женщина, прекрасная собой; ей было лет около тридцати, а князю Андрею несколько лет более; и по годам, и по наружности это была прекрасная пара, и хотя брак был законным, а все же, как там ни говори, и с той, и с другой стороны такое супружество было большим беззаконием. Княгиня Наталья и сама это чувствовала и один раз сказала мне:

— Знаете ли, тетушка, я иногда себя спрашиваю: хорошо ли я сделала, что вышла за Андрэ; как вы думаете?

Очень я затруднилась ответом; однако, думаю: «Спрашивают тебя, что же тут лукавить — говори правду» — и сказала ей: «Милая моя, ежели бы ты меня не спросила, что я думаю, я бы не позволила себе высказывать тебе своих мыслей; но раз что ты спрашиваешь, то должна тебе признаться, что не могу сказать, чтобы считала хорошим от живого мужа выходить за другого».

— Вот и мне так кажется, и я боюсь, что меня Бог накажет за это; прежде я грозы совсем не боялась, а теперь я стала очень бояться...

Должно быть, она пересказала своему мужу наш разговор; князь Андрей вдруг перестал ко мне ездить: жена бывает, а он ни ногой, так больше полугода у меня и не бывал. Потом ему стало самому совестно, что бросил старуху-тетку, явился ко мне с повинной головой, стал на колени, просил прощения, но о причине, за что на меня сердился, не было и речи; так дело и обошлось.

Нельзя не отдать справедливости княгине Наталье: она была премилая и преласковая не только ко мне, но ко всякому; каждому найдет, что сказать приятное, и никогда никому не подаст и виду, что ей что-нибудь неприятно. Она была со всеми особенно учтива: и лакеям, и горничным, своим и чужим, всегда говорила «вы», что казалось смешным и странным.

Говорят даже, что у себя в деревне она говорила бурмистру: «Послушайте, бурмистр, я хотела вас попросить. . .» Это уж чересчур по-иностранному.

Но при всей своей доброте и с хорошим своим характером она не умела сделать мужа счастливым: была слишком мотовата, охотница рядиться и отделывать наемные квартиры и этими излишними тратами ввела мужа в долги и расстроила его состояние. Милая и приятная женщина, но совсем не хозяйка, а совершенная пустодомка.

Жена князя Александра, напротив того, всегда обращалась с людьми свысока и слишком повелительно, даже резко; в чем был недостаток у одной, в том был излишек у другой.

Княгиня Александра в особенности допекала своих людей своим прихотничеством, чрезмерною брезгливостью и полуночничеством. Сидит, бывало, до трех, до четырех часов ночи, проспит до второго часа дня, утренний чай свой пьет в четвертом часу, обедает в семь, за вечерний чай сядет в одиннадцать часов, а иногда вздумает еще и ужинать.

На первых порах, возвратившись из пензенской деревни, она стала было и ко мне ездить вечером пить чай: я собираюсь уже к себе уходить, убираю свою работу, а она является ко мне проводить со мною вечер. Раза два я промолчала, что она сидит у меня до второго часа ночи, а потом и сказала ей:

— Я всегда рада, моя милая, проводить с тобою время, но только ты меня, старуху, не засиживай; ежели угодно ко мне приезжать, так милости просим пораньше: я в одиннадцать часов ухожу к себе и ложусь спать; поздно сидеть, воля твоя, я не могу.

Ну, и стала она ко мне приезжать часов в восемь, а в двенадцать уезжать. Чтобы подладиться к своему мужу, она нехорошо говорила про государя и про государыню, называла их просто Николай Павлович и Александра Федоровна и у меня раз вздумала что-то такое неладное сказать; я тотчас ее остановила:

— Нет, матушка, ты при мне этого не говори, я твоих пустяков слушать не буду; хочешь говорить, так говори, где угодно, но только не у меня.

Она засмеялась.

— Ах, тетушка, какие же вы строгие!

— Ну, не взыщи, моя милая, какова ни на есть, а про государя и государыню у меня худо не говори; я стара, и перевоспитывать меня поздно, а я привыкла с детства благоговеть пред царем, так уж ты меня в моем доме не огорчай. . .

Ну и тоже как рукой сняло: полно у меня про них худо говорить. Если мы, старики, будем молчать и не станем молодых уговаривать, кому же после того и правду сказать! Князь Андрей вскоре по приезде в Москву (где жил он первое время, не знаю) нанял левую половину в доме княгини Марфы Петровны Трубецкой, но через несколько месяцев, по просухе, собрались ехать к себе в тульскую деревню, в Студенец. Они то и дело что меняли квартиры и везде все отделывали. Одно время они жили на Остоженке, потом на Пречистенке и редко случалось, чтобы жили где более года.

Князь Александр тоже часто менял наемные дома, иногда и не без причины. Вот что случилось у него в доме, когда он нанимал на Сивцевом Вражке у Алексеева. К нему по вечерам часто собирались игроки в банк играть, так как он сам был большой игрок, иногда проигрывал помногу, и раза два приходилось и мне его ссужать порядочными кушами денег, которые потом он мне и возвращал очень аккуратно. Раз он мне говорит:

— Поздравьте меня, тетушка: я вчера выиграл двадцать тысяч и вот вам свой долг и поспешил привезти.

— Ох, мой любезный, — говорю я ему, — радуюсь, что ты с прибылью, да жаль, что через карты: выигрыш и проигрыш, по пословице, на одном коне ездят... Сохрани тебя Бог от беды, карты до добра не доведут...

Он поцеловал у меня руку и обнял меня: «Молчи, дескать, старуха».

Не прошло десяти дней, у него в доме великая беда случилась.

В числе бывавших у него игроков часто езжали какой-то Сверчков и Дорохов. Как их звали и что это были за люди, совсем не знаю. Весь вечер играли, дело было к утру; встали, начали считаться, вдруг проигравшийся опрокинул стол, а выигравший подбежал к письменному столу, на котором лежал кабинетный кинжалец, хвать его и пырнул им в бок опрокинувшего стол; тот упал, хлынула кровь... Пошла суматоха в доме, послали за доктором, за женой раненого и, пока еще можно было, отвезли его поскорее домой, где несколько дней спустя он и умер. Вот они, карты-то, до чего доводят.

К счастью, тогда князь Андрей служил при князе Дмитрии Владимировиче чиновником особых поручений. Он князю передал обстоятельства этого дела, тот послал за обер-полицеймейстером Цынским, так дело замяли и в огласку не пустили. В этом же несчастном доме умер у Вяземских второй мальчик — Алеша, которого мать особенно любила; после этого они и поспешили переменить квартиру...

На следующий год князь Андрей купил дачу за Трехгорною заставой — большой, прекрасный дом с обширным садом и множеством построек и заплатил всего двадцать пять тысяч ассигнациями. Прежде эта дача принадлежала какому-то игроку Дмитриеву, он сам строил дом; где-то внизу была прекрасная потаенная комната, в которой у него вели игру очень большую. Этот дом для Вяземских был находкой, потому что князь Александр и без того уже был под надзором полиции, а после дороховской истории за ним стали еще зорче следить, и ему хорошо было жить не в городе. Князь Андрей вздумал было завести тут сахарный завод, посадил в него много денег, но толку не вышло. На этой даче они жили года полтора или два, и зиму, и лето.

Прихоти княгини Александры, смешные и забавные со стороны, были очень обременительны для домашних, для мужа, а в особенности для прислуги и для ее горничных. Она не иначе шла от своей постели к туалетному столу, как по белым простыням. На тот стул, на котором она сядет, опять накинута простыня, и, когда она садится чесать голову, ее покрывают простыней. Девушка должна надеть бумажные белые перчатки и так, в перчатках, ее и чеши, что конечно неловко, но до этого ей нет дела, не

зацепи ни волосика. Потом начнется бесконечное умыванье и тоже с прихотями в этом роде, и при этом она раз двадцать выбранит несчастную горничную: «Ах, как ты глупа, да ты, кажется, с ума сошла; ты ничего делать не умеешь; что с тобою сегодня, ты совсем поглупела? . .» И эта история повторялась каждый день. Одевалась она часа два, три. Потом подадут ей чай: человек будь в перчатках, ну это так и надо, но мало того: неси поднос так, чтобы не дотронуться до него рукой в перчатке, а держи салфеткой. . . И опять пойдет ссора: «Не трогай рукой, ты хочешь, чтоб я ничего не ела, — я не стану после этого пить, это просто противно, как ты подаешь. . .»

За обедом опять какие-нибудь новые проказы. . .

В особенности в дороге мучила она своих детей и девушек; идти к карете — надень девушка калоши, но в карету входя — дай человеку снять в ту самую минуту, как входишь; сиди девушка — не шевельнись, не кашляни, не дотронься до ее ноги; да и пересказать всего нельзя, до чего доходили ее брезгливость и требовательность. Ведь и все мы тоже любим чистоту и опрятство, но не в тягость себе и не на муку другим.

Княгиня Наталья не имела никаких этих странностей; она только любила, чтоб у нее в доме было все роскошно, а главное — иметь хорошенький туалет, и очень простосердечно признавалась в этом.

— Я скорее буду есть размазню без масла и готова отказать себе во всем прочем, но люблю, чтобы то, что я на себя надеваю, было хорошо.

И именно это-то желание наряжаться и повредило ей и расстроило их дела. При всех хороших свойствах ни та ни другая княгиня Вяземская * не умели составить счастия мужей и ни которая не была вполне счастлива, тогда как они могли бы быть, имея все, что для того нужно.

VIII

У племянницы моей княгини Настасьи Николаевны Вяземской несколько прежде года после свадьбы родилась дочь Ольга; крестили ее брат Николай Петрович и княгиня Елизавета Ростиславовна. Брак этот не был счастлив, и я скажу, что этого и можно и должно было ожидать. Настенька была держана в хлопках и оттого вышла слабая и болезненная девушка, которой бы и замуж-то идти вовсе не следовало; князь Александр Сергеевич, напротив того, человек здоровый и плотный, был живого и веселого характера; ему нужно было жену, которая бы могла с ним скакать и верхом, и мчаться на лихой тройке, ехать на бал, в театр, принять дома его молодых и веселых товарищей, а Настенька, по привычке и по слабости здоровья, боялась, чтобы на нее свежий воздух не пахнул; словом сказать, оба они друг другу были не пара. Более всего виню брата и невестку, да и княгиню Елизавету не похвалю: зная своего

---

* Княгиня Наталья Александровна умерла в 1876 или 1877 году за границей и там схоронена. Княгиня Александра Александровна умерла в 1860 году в своей пензенской деревне.

сына и видя воспитание Настеньки, ей бы следовало не слаживать этот брак, а всеми силами мешать ему.

Она была дружна с братом, так и думала, что, женив своих детей, то-то заживут душа в душу; вышло наоборот: видя, что Настенька с мужем не в особенных ладах, брат и жена его охолодели и к Елизавете Ростиславовне, как будто она больше их виновата, что сын ее женился на их болезненной дочери. Сперва она жила у отца с матерью, когда они переехали в Петербург; кажется, у них в доме и родила она ребенка. Вслед за этою радостью с небольшим через год посетило их великое горе: сын их Саша, готовившийся в военную службу, раз как-то, плотно пообедав дома и поев малины со сливками, отправился после того в манеж, а для того, чтоб ему легче было ездить верхом, он крепко перетянулся ремнем. Ему сделалось вдруг дурно, говорят, кровь бросилась в голову, от этого приключилось что-то вроде удара, его привезли домой еле живого, и уже в беспамятстве он кончил жизнь. Отца и матери не было дома: они поехали навестить Настеньку; каково же было их поражение, когда, возвратившись, они нашли сына уже мертвым; это случилось 20 июня 1834 года. Его схоронили в Александро-Невской лавре.

Эта потеря сильно подействовала на брата и на его жену, и они скорехонько из Петербурга возвратились в Москву, а Настенька, пожив с мужем в Царском Селе, по слабости здоровья тоже должна была поскорее уехать из Петербурга и его окрестностей по причине дурного влияния на нее тамошнего сырого климата. Девочку ее взяла к себе княгиня Елизавета, и у ней она и жила в первые годы своего детства.

Княгиня Елизавета Ростиславовна, по отцу своему Ростиславу Евграфовичу приходилась батюшке двоюродною племянницей, а мне внучатою сестрой. Она была лет на пятнадцать моложе меня, но со временем эта разница лет сгладилась, и мы с нею очень были дружны. Охлаждение, которое вышло между ею и братом, меня не коснулось, и мы с нею остались в прежних дружеских отношениях, за что невестка на меня сперва немного косилась, но мне до этого дела нет: через чужие нелады я своей дружбы никогда ни с кем не разорву, ежели сама не имею на то причин.

Она вышла замуж в молодых летах за князя Сергея Сергеевича Вяземского, который по своей матери (Анне Федотовне Каменской) приходился родным племянником бабушке Аграфене Федотовне Татищевой (третьей жене дедушки Евграфа Васильевича); следовательно, хотя он и не был в прямом родстве со своею женою, но в очень близком свойстве.

По своему отцу (князю Сергею Ивановичу) он приходился моему зятю, князю Николаю Семеновичу Вяземскому, двоюродным братом.

Он был очень живой и веселый, из себя видный и красивый мужчина, разговорчивый и любезный и большой шутник, когда был помоложе, и не последней руки любезник. Вообще это был человек приятный в обществе, который любил пожить да, кажется, любил и в карточки поиграть; но, впрочем, записным игроком он не был и небольшой был мастер выигрывать. У него было много детей, но до зрелого возраста дожили только трое — два сына и дочь.

Не могу теперь припомнить, по какому случаю княгиня Елизавета хоронила детей своих в Перервинском монастыре; там их схоронено трое либо четверо: все они умершие в детстве; между прочими была одна девочка, которую звали Аглаидой.

Оставшуюся в живых дочь Варвару княгиня Елизавета сама кормила, холила и растила, и так как была начальницей Дома трудолюбия в Москве, который привела в хороший порядок, то своею службой выслужила дочери и фрейлинский вензель, должно быть, в 1835 или 1836 году, а в 1837 году княжна Варвара вышла за Ивана Ивановича Ершова.

Старший Вяземский был муж Настеньки Корсаковой, а второй, князь Николай Сергеевич, был женат на дочери бывшего московского вице-губернатора — Екатерине Петровне Новосильцевой.

Здоровье княгини Настасьи Вяземской не поправлялось, а все более и более слабело, и потому, переехав в Москву к отцу с матерью, она у них все и жила в доме и прежде их обоих умерла в 1848 году.

Год или два спустя после смерти своей жены князь Александр Сергеевич, которому было с небольшим сорок лет, женился вторично на вдове Олсуфьевой Екатерине Львовне, урожденной баронессе Боде. Она была веселого характера, живая, легкая на подъем, ездила с мужем по разным городам, где ему приходилось стоять со своим полком, живала в деревне, и вообще, кажется, оба они довольны были друг другом».*

IX

В 1837 году, когда в феврале месяце пришло в Москву печальное известие о печальной кончине славного сочинителя Пушкина, я тут припомнила о моем знакомстве с его бабушкой и со всею его семьей.

Бабушка его со стороны его матери (Надежды Осиповны Ганнибал) Марья Алексеевна,[15] бывшая за Осипом Абрамовичем Ганнибалом, была дочь Алексея Федоровича Пушкина, женатого на Сарре Юрьевне Ржевской, и приходилась поэтому внучатою племянницей покойному мужу сестры Елизаветы Александровны Ржевской, и они между собой родством считались, оттого была и я с нею знакома, да, кроме того, видались мы еще у Грибоедовых.[16] Когда она выходила за Ганнибала, то считали этот брак для молодой девушки неравным, и кто-то сложил по этому случаю стишки:

Нашлась такая дура,
Что, не спросясь Амура,
Пошла за *Визапура*.

Но с этим Визапуром, как называли Осипа Абрамовича (потому что он был сын арапа [17] и крестника Петра Великого — Абрама Петровича),

* От второго брака князя Александра Сергеевича родились: сын князь Константин Александрович и княжна Софья Александровна, ныне в супружестве за князем Александром Борисовичем Голицыным. Княжна Ольга Александровна Вяземская (от первого брака) за графом Сергеем Петровичем Буксгевденом.

она жила счастливо,[18] и вот их-то дочь и вышла за Сергея Львовича Пушкина.

Года за два или за три до французов, в 1809 или 1810 году, Пушкины жили где-то за Разгуляем, у Елохова моста, нанимали там просторный и поместительный дом, чей именно — не могу сказать наверно, а думается мне, что Бутурлиных.[19] Я туда ездила со своими старшими девочками на танцевальные уроки, которые они брали с Пушкиной девочкой,[20] с Грибоедовой [21] (сестрой того, что в Персии потом убили);[22] бывали тут еще девочки Пушкины [23] и другие, кто — не помню хорошенько.

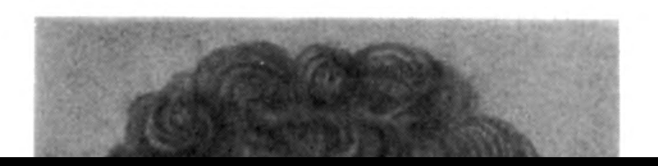
Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заведовала больше старуха Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная женщина; она умела дом вести как следует, и она также больше занималась и детьми: принимала к ним мамзелей и учителей и сама учила. Старший внук ее Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик лет девяти или десяти, со смуглым личиком, не скажу, чтобы слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались.

Иногда мы приедем, а он сидит в зале в углу, огорожен кругом стульями: что-нибудь накуролесил и за то оштрафован, а иногда и он с другими пустится в плясы, да так как очень он был неловок, то над ним кто-нибудь посмеется, вот он весь покраснеет, губу надует, уйдет в свой угол, и во весь вечер его со стула никто тогда не стащит: значит, его за живое задели, и он обиделся; сидит одинешенек. Не раз про него говаривала Марья Алексеевна: «Не знаю, матушка, что выйдет из моего старшего внука: мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком: то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем не уймешь; из одной крайности в другую бросается, нет у него средины. Бог знает, чем это все кончится, ежели он не переменится». Бабушка, как видно, больше других его любила, но журила порядком: «Ведь экой шалун ты какой, помяни ты мое слово, не сносить тебе своей головы».

Не знаю, каков он был потом, но тогда глядел рохлей и замарашкой, и за это ему тоже доставалось... Мальчик Грибоедов, несколькими годами постарше его,[24] и другие их товарищи были всегда так чисто, хорошо одеты, а на этом всегда было что-то и неопрятно, и сидело нескладно.

Года за полтора до двенадцатого года Пушкины переехали на житье в Петербург, а потом в деревню,[25] и я совершенно потеряла их из виду. Мы с Марьей Алексеевной больше уже и не видались; когда умерла — не знаю. Брат Сергея Львовича, Василий Львович, был сочинителем и стихотворцем и был женат на Капитолине Михайловне,[26] замечательной красоты. Она с мужем разошлась и вышла за Мальцева, но с первым своим мужем все-таки осталась в дружеских отношениях, и он тоже не переставал быть приятелем Мальцева.

Кроме этих Пушкиных знавала я еще и других двух молодых девушек — Софью Федоровну и Анну Федоровну; обе они воспитывались



Панина и Зубкова были последние из молодых девиц, воспитывавшихся у Апраксиной; прежде их были две княжны Голицыны, дальние родственницы Апраксиной: Марья Дмитриевна была за князем Ухтомским, а Вера — за Голицыным, и очень миленькая Анна Щитц, вышедшая за очень богатого человека, Устинова.[30]

В 1838 году я задумала продать свой дом у Троицы в Зубове: флигель и надворные строения стали ветшать, требовали больших поправок и издержек; возиться с этим мне не хотелось, и потому я и заблагорассудила лучше продать. Скоро нашелся охотник, Бухмейер; он купил мой дом за двадцать восемь тысяч рублей ассигнациями, и, прожив в нем десять лет, я переехала на Поварскую; там в Трубном переулке, у Рождества в Кудрине, я наняла дом Калинецкого. . .





ПРИЛОЖЕНИЯ

Т. И. Орнатская

РАССКАЗЫ Е. П. ЯНЬКОВОЙ, ЗАПИСАННЫЕ Д. Д. БЛАГОВО

Известный русский поэт Петр Андреевич Вяземский заметил однажды, что он «большую часть так называемой изящной словесности нашей отдал бы 〈...〉 за несколько томов записок, за несколько несторских летописей тех событий, нравов и лиц, коими пренебрегает история». «Наш язык, — утверждал он, — может быть, не был бы столь обработан, стих наш столь звучен: но тогда была бы у нас не одна изящная, но зато и голословная, а была бы живая литература фактов, со всеми своими богатыми последствиями».[1]

Вяземский ссылался на Пушкина, на его беседы с Натальей Кирилловной Загряжской. «Пушкин, — вспоминал он, — заслушивался рассказов Натальи Кирилловны, он ловил в ней отголоски поколений и общества, которые уже сошли с лица земли; он в беседе с нею находил прелесть историческую и поэтическую, потому что в истории много истинной и возвышенной поэзии, и в поэзии есть своя доля истории».[2]

Со времени, когда были написаны эти строки, минуло почти полтора столетия, и русская мемуарная литература получила в этот период мощное и оригинальное развитие. Воспоминания, дневники, записки, не говоря уже о том ярком и своеобразном ответвлении мемуарной литературы, каким явилась так называемая автобиографическая художественная проза, — все это составило тот широчайший и богатейший историко-культурный фон, ту «живую литературу фактов», о которой говорит Вяземский.

Огромное культурно-познавательное значение всех этих материалов, те «богатые последствия», которые, по выражению того же Вяземского, они имеют и могут иметь в развитии литературы, ныне ни у кого не вызывают сомнений.

Прекрасно понимал это и Д. Д. Благово, создатель книги «Рассказы бабушки. . .» Он писал: «Все те мелочные подробности ежедневной нашей жизни, которыми мы пренебрегаем в настоящее время 〈...〉, становятся драгоценными по прошествии столетия, потому что живо рисуют пред нами

---

[1] *Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика. М., 1984, с. 418.

[2] *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. — Полн. собр. соч. князя П. А. Вяземского. СПб., 1883, т. 8, с. 185.

нравы, обычаи, привычки давно исчезнувшего поколения и жизнь, имевшую совершенно другой склад, чем наша» (с. 8).[3]

Сегодня, пожалуй, больше приходится говорить не о важности подобных материалов, а о другом — о том, что история русской мемуарной литературы изучена лишь в очень незначительной степени, что многие и многие, в том числе выдающиеся, ее памятники остаются известными лишь весьма ограниченному кругу специалистов.

Один из ярких тому примеров — книга «Рассказы бабушки. . .»

1

Право того или иного автора на мемуары, на воспоминания о событиях своей жизни широкий читатель связывает обычно либо с тем, насколько этот автор известен, знаменит, либо с тем, насколько важны, значительны сами события, очевидцем которых он был. Например, воспоминания И. Е. Репина или дневник Э. Делакруа интересны уже потому, что принадлежат Репину и Делакруа; в мемуарах же, скажем, А. О. Смирновой-Россет или А. Я. Панаевой нас, конечно же, привлечет прежде всего то, что собеседниками этих авторов были едва ли не все крупнейшие русские писатели XIX в.

Елизавета Петровна Янькова («бабушка» в книге Благово) не принадлежала к числу людей знаменитых и даже просто известных. Хотя в ее генеалогическом древе пересекаются ветви знатнейших фамилий (Римских-Корсаковых, Волконских, Щербатовых, Татищевых, Мещерских, Милославских, Салтыковых, Толстых), сама она была лицом вполне, так сказать, частным, «бесклассной дворянкой», как она сама себя называла.

Не была она причастна и к каким-либо особо знаменательным событиям, подробности которых в ее передаче могли бы привлечь внимание историка. Так называемых исторических анекдотов среди ее рассказов немного. И тем не менее эти рассказы со всеми к тому основаниями могут быть отнесены к числу ценнейших исторических свидетельств, интерес которых состоит не только и даже не столько в том, что они дополняют в чем-то показания книжных источников, сколько в том, что они воссоздают живую картину эпохи, о которой повествуют, многие и многие как будто незначительные, но на самом деле чрезвычайно характерные и существенные ее приметы, книжными источниками обычно не улавливаемые. «Повторяю, что слышала, — не раз оговаривается рассказчица, — а так ли оно было или нет, это справляйтесь с историей» (с. 122). Это излюбленная ее позиция, своего рода творческий принцип — рассказывать только о том, как то или иное событие воспринималось в обыденной жизни, в быту, как в связи с ним проявлялись характеры людей, наконец, какими сами они были, эти люди, их нравы и обычаи, их взгляды и вкусы — одним словом, как и чем они жили в те стародавние времена.

[3] Здесь и далее в тексте статьи и примечаний в скобках указаны страницы настоящей книги.

Елизавета Петровна не была литератором и вообще тем, что называется «пишущим человеком»; даже простых дневников и тех она никогда не вела.[4] Но она была художником, прирожденным живописцем, и потому те многообразнейшие «сцены частной жизни», что развернуты в ее рассказах, оказались не только своего рода энциклопедией этой жизни, но и в подлинном смысле слова художественным полотном, ярко запечатлевшим колорит и самый дух ее времени.

«Рассказы бабушки. . .» имеют подзаголовок — «из воспоминаний пяти поколений». И это не метафора. Ибо одна из характернейших особенностей рассказов Елизаветы Петровны в том и состоит, что они соединили в себе не только воспоминания о лично ею виденном и пережитом, но и многое из того, что отразило опыт именно поколений — как тех, современницей которых она была, так и тех, чье знание и чья память отложились в живом устном предании. Например, она, конечно же, не могла помнить ни событий, связанных с пугачевским восстанием, ни многих происшествий, случавшихся в жизни ее пращуров. Но все это было закреплено в предании, в том своего рода фольклоре, которым обычно бывает окружена история старинных дворянских фамилий и который представляет собой как бы их неписаную летопись. Поэтому рассказы и о последних днях знаменитого историка В. Н. Татищева (прадеда Елизаветы Петровны), и о злополучном «дворцовом» приключении ее отца П. М. Римского-Корсакова, и о казни Пугачева представляются в такой же степени «мемуарными», как и многочисленные и интереснейшие рассказы о 1812 г. или же о жизни в Боброве.

Из пяти поколений, воспоминания которых отражены в книге, Елизавета Петровна представляет третье. И не только в том прямом, так сказать «возрастном», смысле, что она — внучка Евпраксии Васильевны Татищевой и бабушка Д. Д. Благово, но и в том прежде всего, что и по воспитанию, и по обстоятельствам жизни, и по всему своему нравственно-духовному опыту она человек именно этого, третьего, поколения. К середине XIX в. она была уже одной из немногих его представительниц (скончалась она в возрасте 93 лет), и новые времена, конечно, отразились так или иначе на ее мировосприятии. Но в главном, в основном — в общем характере жизненных представлений, в идеалах, убеждениях, вкусах — она несомненно осталась человеком своего времени, своей среды.

Надо, впрочем, сказать, что среди людей своего круга — старомосковского «большого света» — она была личностью весьма незаурядной. Ее отличали прямота характера, независимость, твердая самостоятельность суждений. При всем том, что общий ее кругозор — это кругозор того общества, к которому она принадлежала, что во многих своих оценках и характеристиках она исходит из установлений светской «молвы», — во всех этих оценках всегда присутствует ее собственный, оригинальный

---

[4] Однако она прекрасно понимала значение семейных преданий. Так, по поводу одного из своих предков она восклицает: «Очень жаль, что неизвестны подробности его жизни. По малограмотности в то время не вели семейных записок, а только словесно кое-что передавали, так многое позабылось, а иное и совсем утратилось» (с. 136).

взгляд на вещи, ее жизненно-нравственный опыт. Вполне разделяя господствующие воззрения, убеждения и идеалы своего круга, она в отличие от многих и многих строго следовала им и в жизни, что ставило ее подчас по отношению к окружающему в определенную нравственную оппозицию. Вот, например, одно из ее наблюдений на балу в Дворянском собрании: «Очень мне любопытно было следить за всеми этими господами, как они старались незаметным манером друг друга оттереть и будто бы случайно стать там, где могли привлечь к себе внимание или надеялись услышать милостивое слово. Все эти фокусы находящимся в зале незаметны, а с хор видно всех в одно время: смотри только, так вот и увидишь, куда все стремятся. . .» (с. 262).

Елизавета Петровна принадлежала к старинному и знатному роду Римских-Корсаковых и очень гордилась своим пятисотлетним дворянством: «. . .мы были ведь не Чумичкины какие-нибудь или Доримедонтовы, а Римские-Корсаковы, одного племени с Милославскими, из рода которых была первая супруга царя Алексея Михайловича; матушка была Щербатова, а бабушка Мещерская, не Лаптевым чета» (с. 112). В этой гордости почти ничего не было от сословного предрассудка, от того надменного барского гонора, которого не лишена была, скажем, та же Евпраксия Васильевна. Принадлежность к высшему кругу была в ее представлении не столько признаком особой избранности, привилегированности, сколько некоей жизненной традицией, преемственно налагающей определенные нравственные обязательства. Это убеждение присутствует во многих ее рассказах, оценках, характеристиках — и в рассказе об известной дуэли Новосильцева с Черновым, и в ставшей семейным преданием Римских-Корсаковых истории о том, как П. М. Римский-Корсаков, отец Елизаветы Петровны, дал некогда урок истинного аристократизма спесивому рюриковичу — князю П. П. Долгорукому. Особенно же показателен в этом отношении ее рассказ о казни Пугачева. Сама она запомнила из тех времен только то, что имя Пугачева наводило ужас на всех окружавших ее людей, что ее детскому воображению он представлялся как страшный разбойник, злодей, который вот-вот «войдет в детскую и нас всех передушит» (с. 22). Вероятно, не слишком изменилось ее представление о нем и в зрелые годы. Однако не менее глубоко вошло в ее сознание и другое — воспоминание о том, с каким резким осуждением отнесся ее отец к людям, которые толпами устремились на Болото, смотреть, «как злодея будут казнить». «Батюшка сам не был и матушке не советовал ехать на это позорище; но многие из наших знакомых туда таскались, и две или три барыни говорили матушке: ,,Мы были так счастливы, что карета наша стояла против самого места казни, и все подробно видели. . .“ Батюшка какой-то барыне не дал и договорить: ,,Не только не имел желания видеть, как будут казнить злодея, и слышать-то, как его казнили, не желаю, и дивлюсь, что у вас хватило духу смотреть на такое зрелище“» (с. 22). Восприняв участников декабрьского восстания как «злодеев», «злоумышленников», «бабушка» в то же время не раз обнаруживает участие к их судьбам и судьбам их близких. А один раз так просто «проговаривается», проявляя к ним свои симпатии хоть и косвенно, но совершенно недвусмы-

сленно. Говоря с одобрением о двадцатичетырехлетнем генерал-губернаторстве князя Д. В. Голицына, она добавляет: «Но что в особенности делает ему великую честь — что в продолжение своего долгого правления он не сделал ни одного несчастного и очень, очень многих людей спас от гибели, и таких даже, которые без его помощи давным-давно были бы где-нибудь в Иркутске или Камчатке» (с. 182). Слова о том, что Голицын не сделал «ни одного несчастного», напоминают рассказ бабушки о другом человеке, тоже генерал-губернаторе Москвы, Ф. В. Ростопчине, которого она упрекает именно за то, что он погубил «одного», «говорят, невиновного» человека — «купеческого сына Верещагина» (с. 302).

2

Как же создавалась эта книга, какова степень ее достоверности, фактографичности? Действительно ли это записи рассказов бабушки ее внуком и в какой мере присутствует здесь сам Благово?

На все эти вопросы исчерпывающие ответы даны прежде всего в самой книге. Подкрепляются же эти ответы и некоторыми косвенными материалами — свидетельствами современников, отношением историков и другого рода специалистов к книге как к первоисточнику.[5]

«Бабушка Елизавета Петровна, которой принадлежат эти „Рассказы“...», — так начинает Благово фразу в одном из подстрочных примечаний к книге и тем самым прямо указывает на авторство Яньковой и второстепенность своей роли.

«Десять лет моего детства провел я в доме бабушки и с детства слышал ее рассказы, — писал в 1877 г. Благово, — но немногое от слышанного тогда осталось в моей памяти ⟨...⟩ Десять лет спустя ⟨...⟩ бабушка переехала на житье к нам в дом и жила с нами до своей кончины; в эти двенадцать лет слышанное мною врезалось в мою память, *потому что многое было мною тогда же подробно записано*» (с. 7; курсив мой. — *Т. О*). «Я несколько раз пытался предлагать бабушке диктовать мне ее воспоминания, — продолжает внук, — но она всегда отвергала мои попытки при ней писать ее записки и обыкновенно говаривала мне: „Статочное ли это дело, чтоб я тебе диктовала? Да я и сказать-то ничего тебе не сумею; я давным-давно все перезабыла, а ежели что я рассказываю и тебе покажется интересным, так ты и запиши, а большего от меня не жди ⟨...⟩“. Так мне и приходилось делать: записывать украдкой и потом приводить в порядок и один рассказ присоединять к другому» (с. 8). «То, что я тогда записал, — настойчиво подчеркивает Благово, — могут передать со всею полнотой подробностей ⟨...⟩ а то, что позабывал или иногда и ленился записывать подробно, слишком доверяя своей памяти, я передаю

[5] В этом ряду нужно прежде всего назвать М. И. Пыляева, который в своих книгах «Старая Москва» и «Замечательные чудаки и оригиналы» обильно черпает материал из «Рассказов бабушки», и, как правило, без всяких ссылок (исключение составляет лишь рассказ об Охросимовой в «Старой Москве» — с. 536; ср. с. 235, 251, 309—310 и т. д.).

только в очертаниях и кратких словах, не желая вымышлять и опасаясь исказить точность мне переданного (с. 8). Разумеется, приведенные выше слова бабушки о том, что она «все перезабыла», не надо понимать буквально: она старалась «вспоминать» как можно подробнее и живее, и не только потому, что хотела «потрафить» внуку, а и потому, что прекрасно понимала смысл их общей работы. Рассказывая ему о тех близких из рода Татищевых, о которых ей «известно», бабушка прибавляет: «. . .а может статься, были и еще, о которых я и не слыхала или слышала, да позабыла, а поэтому при случае всех и припоминаю теперь, а то и про них никто со временем знать не будет». И заключает: «Очень жаль, что я смолоду не записывала всего, что слышала, то ли бы еще могла я порассказать; а это только крохи того, что я слышала и знала в былое время» (с. 137). Повествуя об одной из интереснейших фигур своего времени — Н. Б. Юсупове и со всеми подробностями описав его долгую жизнь, бабушка замечает: «Вот что Юсупов хранил в своих воспоминаниях; очень жаль, что не осталось писанного его дневника: много любопытного мог бы передать этот вельможа, служивший более шестидесяти лет при четырех государях, видевший три коронации, знавший столько иностранных королей, вельмож, принцев и знаменитостей, живших в течение более полувека» (с. 171).

Как бы восполняя этот пробел — отсутствие воспоминаний многих и многих прошедших мимо нее людей, бабушка нередко в своих рассказах ссылается на них, говоря: «. . .слыхала от бабушки. . .», «. . .слыхала от стариков. . .», «. . .помню по рассказам. . .», «Вот что мне рассказывала про бабушку Евпраксию Васильевну наша мамушка. . .», «. . .говорят, что еще при Петре I. . .», «. . .сказывала мне его дочь. . .» и т. д. и т. д. И в тексте книги после таких отсылок появляются замечательные вставные новеллы, исторические анекдоты, предания и просто случаи из жизни. Все это позволило ее внуку сказать в предисловии к книге: «Она живо помнила все предания семейства, восходившие до времен Петра I, и рассказывала с удивительною подробностью, помня иногда года и числа: кто был на ком женат, у кого было сколько детей, словом сказать, она была живою летописью всего XVIII столетия и половины XIX» (с. 5). И что самое замечательное: благодаря своей изумительной памяти бабушка сохраняет в этих рассказах не только колорит эпохи, но и живой язык своих современников. Вот как говорит, например, у нее Н. Б. Юсупов. Касаясь размолвки между ним и его другом графом Ф. В. Ростопчиным и вздумавшим «подслужиться» к Юсупову неким «менялой», который стал «Юсупову говорить дурно про Ростопчина», бабушка как бы цитирует: «Вот что, мой любезный, я скажу тебе: хотя мы с графом теперь и не в ладах, но я не потерплю, чтобы мне кто-либо про него злословил, и я вполне уверен, что и он тоже этого не допустит; не теряй времени даром у меня, и если хочешь бранить его, ищи себе другого места, а в моем доме его нет для злоязычников» (с. 171). А вот речь ключницы Акулины, хранившей в 1812 г. господское добро в подмосковном имении, о казаках, справлявшихся, «нет ли чего съедобного, а главное — нет ли хмельного»: «Ну, матушка, в раззор разорили, бездельники, ничего не оставили, кричат: подавай ключи, —

не лучше неприятеля, только бы им есть да бражничать. Легко ли, сударыня, сколько их было: тридцать человек!» (с. 176).[6]

Приводятся в книге и подлинные документы эпохи. Уже на первых ее страницах читаем письмо самой бабушки к дочери, относящееся к 1830 г., ко времени «первой холеры». Причем Благово замечает под строкой, что «это письмо уцелело» и что он «списывает» его «слово в слово». И действительно, письмо — бесспорнейшее свидетельство принадлежности всех «рассказов» автору этого лаконичного и выразительного документа. «Милый друг мой, Грушенька, — писала Е. П. Янькова, — приезжай скорее в Москву: нас посетил гнев Божий, смертоносное поветрие, которое называют *холерой*. Смертность ужасная: люди мрут как мухи. Приезжай, моя голубушка ⟨...⟩ Что тебе делать одной с ребенком в деревне: ежели Господь óпределил нам умереть, так уж лучше приезжай умирать со мною, умрем вместе; на людях, говорят, и смерть красна» (с. 5). Использована в книге и тетрадь мужа Е. П. Яньковой Д. А. Янькова. Описывая со слов бабушки летние поездки семьи в подмосковную и тамбовскую деревни, Благово замечает под строкой: «Все эти поездки я мог потому так подробно изложить, что сохранилась собственноручная тетрадь моего деда; ею я руководствовался, чтобы полнее передать устные рассказы бабушки» (с. 74). Еще раз подробно цитируется эта тетрадь для описания поездки «деда» к родственникам с заездом в Венев и Тулу. Приводятся выписки и из другой тетради, в которой подробно описывались пышные торжества, происходившие 12 октября 1817 г. в честь закладки на Воробьевых горах храма в память победы в Отечественной войне 1812 г. Характерно замечание самой бабушки по поводу этой тетради: «В то время ходила по рукам рукописная тетрадь, в которой было подробное описание всех церемоний, и я для памяти велела эту тетрадь списать» (с. 205). Не менее характерно подстрочное примечание Благово к этим словам: «Эта тетрадь, переписанная в то время, к счастию, уцелела, и хотя она написана очень дубоватым, полуподьяческим, полусеминарским превыспренним языком, пользуюсь ею для пополнения устных рассказов, которые не могли бы никак быть столь подробными по прошествии более тридцати лет» (с. 205). С такою же целью использовал Благово еще не один документ — и всегда со специальной оговоркой и точной отсылкой. Здесь следует остановиться еще на одном слое «Рассказов бабушки. . .» — слое, данном под строкой. Автором этого слоя чаще всего выступает сам Благово (он или подписывает свои примечания словом «Внук», или пишет о себе «. . .нам неизвестно. . .», «Мы не знаем», или «Ныне это. . .» и т. д.). Ему же принадлежат обильные примечания генеалогического характера, придающие всей книге ценность важнейшего документа, дополняющего

[6] Чтобы не оставалось сомнений в подлинности сохранения внуком всех особенностей языка бабушки, приведем лишь одну ее фразу с подстрочным примечанием Благово: «Александр Данилович за погребение своей матери поднес преосвященному Льву панагию, а в монастырь была заказана поминовенная служба на год ⟨...⟩; и что же за все это? только двадцать пять рублев в год». «Бабушка, — отмечает Благово, — постоянно и говорила и писала: *рублев*, а не рублей; много *делов*, а не дел, и хотя слышала, как говорят другие, не изменяла своей привычки» (с. 45).

многие известные труды по генеалогии русских дворянских родов. Не менее интересны его примечания, содержащие отдельные штрихи к портретам исторических и литературных деятелей — таких как писатель XVIII в. В. М. Жуков, духовно-исторический писатель начала XIX в. М. В. Толстой, известный генеалог П. В. Долгоруков («умный был человек, но очень резкий на язык, собой не хорош и прихрамывал» — с. 155), архимандрит Досифей, московский генерал-губернатор Ф. В. Ростопчин, поэтесса Евд. П. Ростопчина («известная по своему живому, игривому уму. . .» — с. 230).

Для историка Москвы представляют несомненный интерес дополнения Благово к упоминаемым бабушкой дворцам, домам — в основном указывающие на то, что представляли они собою во время более позднее, чем бабушкино (таков рассказ о селе Люберцы с деревянным дворцом Петра Федоровича и будущей Екатерины II — с. 149; о селе Люблино к 1812 г.; об Останкине; о Петровском парке во времена молодости самого Благово; о даче М. П. Гагарина «Студенец»; о домах С. И. Гагарина, губернатора Небольсина, П. М. Третьякова, В. Г. Орлова, графа Головина. Иногда Благово присовокупляет к рассказам бабушки и собственные наблюдения над бытом и обычаями нынешней Москвы (о «старушках и старичках», продолжавших ездить «четверней» — с. 115; о суеверном сыне Н. Д. Офросимовой, поселившем в новом доме старуху-экономку, чтобы, по поверью, она там умерла первая — с. 142). Он помещает под строкой и записанные им самим «рассказы» (такова новелла о Москве в 1812 г. со слов старичка из Богородского уезда — с. 128; рассказ, записанный со слов приятельницы графини А. А. Орловой о ее знаменитой нитке жемчуга — с. 220; рассказ о выезде фрейлин в карете, расписанной Ватто, — с. 229), и свои «разговоры» с бабушкой (см., например, их беседу об офицере, наказанном матерью, — с. 260, и анекдот о том, как ответил острослову Ф. В. Ростопчину сменивший его на посту генерал-губернатора А. П. Тормасов — с. 205). Но этим Благово и ограничивается — ограничивается сознательно, предоставляя роль автора исключительно Е. П. Яньковой. И именно как творение бабушки воспринимали создававшуюся книгу люди, близко знавшие и Е. П. Янькову и ее внука. Так, С. М. Загоскин, друг юности и всей последующей жизни Благово, явно встревожился, узнав, что тот собрался ехать за границу на год: «Не могу скрыть от тебя, — писал он из Петербурга, — что глупо делаешь, что едешь за границу — бабушка стара, долго ли еще придется тебе ее видеть?» [7] А вскоре по выходе последней книжки журнала, в котором завершалось печатание «Рассказов. . .», он писал другу буквально так: «Я наконец добился и получил все номера „Русского вестника“, где *воспоминания твоей бабушки*. Они в высшей степени интересны и доставили мне большое наслаждение».[8] И наконец, публикуя в 1900 г. свои собственные «Воспоминания»,

---

[7] *ИРЛИ*, ф. 119, оп. 7, № 15. Письмо не датировано, но оно написано незадолго до смерти Е. П. Яньковой (она умерла весной 1861 г.).

[8] Там же. Курсив мой. — *Т. О.*

РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ

в которых несколько страниц посвящены Д. Д. Благово, Загоскин подчеркнул: «Подробности о его происхождении и его семействе находятся в составленной и изданной им интересной книге „Рассказы бабушки"».[9] Зять Д. Д. Благово, впоследствии известный историк Д. А. Корсаков, еще при жизни своего тестя в одном из примечаний к биографии В. Н. Татищева, касаясь записи о последних днях жизни знаменитого историка в книге «Рассказы бабушки. . .», писал: «Г-н Н. А. Попов (автор книги о Татищеве. — *Т. О.*) назвал эту „запись" — записками Благово, а за ним впал в ту же ошибку и г-н Дмитриев (публикатор «Предсмертного завещания» В. Н. Татищева. — *Т. О.*). Записок собственно Д. Д. Благово не существует, но он записывал рассказы своей бабушки, Елиз⟨аветы⟩ Петр⟨овны⟩ Яньковой. . .»[10]

О том, что книга была воспринята именно так, как хотел сам Благово, свидетельствуют и немногочисленные печатные отзывы о ней, появившиеся также при жизни «внука». Отметив, что это сочинение «успело достаточно заинтересовать любителей исторического чтения», анонимный автор писал: «В рассказах бабушки не найдется никакой общей картины времени ⟨...⟩; дело в том, что бабушка занята была только одним кругом интересов домашних, родовых, и крупных событий касается лишь с анекдотической, так сказать, домашней точки зрения. . .»[11] «„Рассказы Елизаветы Петровны Яньковой" можно отнести к мемуарам о семейной, частной жизни нашего богатого помещичьего круга ⟨...⟩. Главный недостаток их в том, что это не подлинные записки старушки, прожившей 93 года, а только рассказы, записанные с ее слов внуком. . .», — отмечает еще один анонимный рецензент,[12] также не сомневавшийся в принадлежности «рассказов» самой Яньковой.

3

Каковы же те «события», «нравы» и «лица», о коих мы узнаем из книги? Какова та «живая литература фактов», которая содержится на ее страницах?

Повествовательное пространство «Рассказов бабушки. . .» весьма обширно. Его населяют люди, жившие во времена Петра I и Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II;[13] здесь встречаются современники Пушкина, Грибоедова, декабристов, персонажи, с которых

[9] *Загоскин,* № 2, с. 505.

[10] *РС,* 1887, № 6, с. 572; повторено в кн.: *Корсаков Д. А.* Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891, с. 365. Ср. с его же словами из некролога Пимену: «. . .составлена она ⟨книга «Рассказы бабушки. . .». — *Т. О.*⟩ из рассказов бабушки Д. Д. Благово со стороны матери Елиз⟨аветы⟩ Петр⟨овны⟩ Яньковой, обладавшей необыкновенной памятью» (Волжский вестник, 1897, 14 (26) июня, № 145).

[11] *ВЕ,* 1885, № 12, с. 397—398.

[12] Наблюдатель, 1885, № 4, с. 49.

[13] Примечания Д. Д. Благово продлевают «хронологию» книги до 1879 г.

могли бы писать и, конечно же, писали свои типы крупнейшие русские писатели XVIII—XIX вв.[14]

Эту выразительную галерею открывает портрет Евпраксии Васильевны, бабушки рассказчицы. Генеральша, «большая барыня», по тогдашнему выражению, она живо напоминает нам бар типа пушкинского Кирилы Петровича Троекурова с широтой его натуры и тароватостью, с его великодушием и великовельможным своенравием, чтобы не сказать самодурством. Вспомнить хотя бы сцену званого обеда в честь графини Шуваловой, ту совершенно «троекуровскую» шутку, которую она устроила с попадьей (с. 5—6). А вот совсем «грибоедовская» ситуация: расположение могущественного временщика при Павле I П. Х. Обольянинова можно было снискать ласковым отношением к «собачкам» его супруги: «Ежели кто приласкает которую-нибудь из собак или похвалит, то хозяйка готова того человека расцеловать, так ей этим можно было удружить; а собаку согнать с колен, ежели ей вздумается к гостю вскочить, — значило хозяйку разобидеть донельзя: хочешь не хочешь держи, а ежели и укусит — молчи, а то Обольянинова тотчас надуется». «Словом сказать, — подытоживает бабушка, — у Обольяниновых в доме хозяева были не они сами, а их собаки; все им угождало, все их ласкали, и хозяйка все это внимание принимала на свой счет» (с. 92—93). Под стать Татищевой и Обольяниновой и Настасья Дмитриевна Офросимова (вспомним ее изображение у Грибоедова и Л. Толстого), «старуха пресамонравная и пресумасбродная»: «Бывало, сидит она в собрании, и боже избави, если какой-нибудь молодой человек и барышня пройдут мимо нее и ей не поклонятся: ,,Молодой человек, поди-ка сюда, скажи мне, кто ты такой, как твоя фамилия?" — ,,Такой-то". — ,,Я твоего отца знала и бабушку знала, а ты идешь мимо меня и головой мне не кивнешь; видишь, сидит старуха, ну, и поклонись, голова не отвалится; мало тебя драли за уши, а то бы повежливее был". И так при всех ошельмует, что от стыда сгоришь» (с. 141).

А в противоположность Офросимовой — «умная», «ласковая», «премилая и преобходительная» Марья Ивановна Римская-Корсакова, «великая мастерица устраивать пиры и праздники» и которая «уж очень размашисто жила и потому была всегда в долгу и у каретника, и у того, и у сего» (с. 140),[15] и Настасья Николаевна Хитрова, дом которой «был всегда открыт для всех и утром, и вечером, и каждый приехавший был принят так, что можно было подумать, что именно он-то и есть самый

[14] Книга является великолепным источником исторического и бытового комментария к «Войне и миру» Л. Н. Толстого. Словно с ее страниц перешли в роман Н. Д. Офросимова (у Толстого Марья Дмитриевна Ахросимова), Ф. В. Ростопчин, масон О. А. Поздеев (у Толстого — И. А. Баздеев), М. А. Четвертинская, французская актриса m-lle Жорж и модистка m-me Обер-Шальме и т. д. и т. д. В свою очередь роман Толстого поясняет некоторые эпизоды «Рассказов бабушки. . .». Такова толстовская интерпретация метаний Ф. В. Ростопчина во время узлового момента в истории Отечественной войны 1812 г. — оставления Москвы. Таковы же толстовские страницы, посвященные трагической судьбе «купеческого сына Верещагина», «говорят, невиновного» (с. 302).

[15] Ей и ее семье посвящена известная работа И. Гершензона «Грибоедовская Москва» (М., 1928).

дорогой и желанный гость» (с. 232). «Вот почти две современницы, Офросимова и Хитрова, подобных которым не было и не будет более, — выражает свое мнение Е. П. Янькова, — одной все боялись за ее грубое и дерзкое обращение, и хотя ей оказывали уважение, но более из страха, а другую все любили, уважали чистосердечно и непритворно» (с. 233). И еще одна современница «бабушки» — генеральша Анна Николаевна Неклюдова, «очень умная женщина, но прегорячая и пресамонравная», бивавшая до крови «своими генеральскими ручками» собственного управителя, и которая, «когда рассердится 〈. . .〉 делается, бывало, точно зверь» (с. 217): «Ни у кого такого разговора, как у Неклюдовой, я не слыхивала», — замечает «бабушка» и передает два таких «разговора». Первый из них относится к забавнейшей сцене ссоры двух «больших барынь» — подруг Неклюдовой и Шереметевой. «Неклюдова инде побагровеет, с обеих пот градом льет, обе кричат, что есть мочи, кто кого перекричит — ни дать ни взять два индейских петуха; скинут свои чепцы и добраниваются простоволосые. . . 〈...〉 Пройдет сколько там недель, глядишь, летит в дрожках на паре с пристяжкой Шереметева к Неклюдовой мириться.

— Ну что, картавая, сама ко мне приехала? — встречает ее с громким хохотом Неклюдова. — Что, скучно, верно, без меня, сама *припендерила*. . . Скажи ты мне, из чего ты только распетушилась на меня?» (с. 218).

Второй «разговор» относится к сцене встречи подруг после очередной ссоры и после того, как «Шереметеву разбили лошади и не на шутку».

«Входит к больной, та лежит за ширмами, кряхтит, охает. . .

— Я ведь всегда говорила, что ты полоумная, — говорит Неклюдова, — и жду, что ты умрешь когда-нибудь у фонарного столба; мчится себе, как лихой гусар. . . Ну что, говорят, тебе всю рожу расквасило и кости переломало. . . диковинное дело, что тебя совсем не пришибло. . . Как это тебя угораздило?» (с. 219).

Или еще один «разговор» — на этот раз графини Орловой, вдовы старшего из братьев Орловых, с ее собственной «дурой» Матрешкой, «которая была преумная и претонкая штука, да только прикидывалась дурой, и иногда очень резко и дерзко высказывала правду. Так она говаривала графине:

— Лизанька, а Лизанька, хочешь — я тебе правду скажу? Ты думаешь, что ты барыня, оттого что ты, сложа ручки, сидишь да гостей принимаешь?

— Так что я по-твоему? — со смехом спрашивает графиня.

— А вот что: ты наша работница, а мы твои господа. Ну, куда ты без нас годишься? Мы господа: ты с мужичков соберешь оброк, да нам и раздашь его, а себе шиш оставишь» (с. 189).

И такими типами и «разговорами» наполнены страницы всей книги.

Не меньше здесь действует и лиц исторических — среди них братья Орловы, государственные и военные деятели — Шереметевы, Каменские, Юсуповы, Голицыны, А. А. Аракчеев, Ф. В. Ростопчин, С. С. Апраксин; декабристы — К. Ф. Рылеев, Чернышевы, А. Н. Вяземский; литераторы — Н. М. Карамзин, И. М. и П. В. Долгоруковы, И. И. Дмитриев, П. П. Бекетов, художники и архитекторы Г. Г. Гагарин, Ф. П. Толстой, А. Л. Витберг,

Ф. И. Компорези, театральные деятели и артисты (профессиональные и выступавшие на собственных театрах аристократы и аристократки), и среди них Ф. Ф. Кокошкин, М. Медокс, m-lle Жорж и т. д. и т. п.

Что же касается русского дворянского быта, то, думается, что вряд ли найдется другая книга, в которой эта сторона русской жизни выступала бы так ярко, полно и живо. На примере одной только семьи — Татищевых—Яньковых—Благово можно получить полное представление обо всех сторонах жизни этой ячейки общества: служилой, семейной (внутренней — дома и внешней — в обществе), духовной, культурной. Мы видим членов семьи и во время тяжкого общенародного бедствия (война 1812 г.), во время чумы и холеры, во время волнений и смут. Здесь и домашнее воспитание и обучение; смотрины, замужества и женитьбы, жизнь столичная и поместная — с торжествами, балами, клубами, театрами, гуляньями, трауром, даже торговлей крепостными; словом, вся жизнь от рождения до смерти. А каковы подробности быта с «мамушками», «сенными девушками», с карлами, шутами и шутихами, старинными обычаями, приметами, поверьями, суевериями! В тексте много вставных «новелл», которые могли бы существовать самостоятельно: таков сюжет о кресте со знаменитой московской колокольни, ходивший по Москве в 1812 г. Он построен по всем законам устного фольклорного рассказа — а «бабушка» передает его со всей точностью: «Уверили-де его (Бонапарта. — *Т. О.*), что крест на Иване Великом из чистого золота. Разгорелись глаза у хищника. Говорит своим маршалам: ,,Я желаю, чтобы крест с колокольни был снят“» — таков зачин. А вот конец: после того как русский «изменник», «какой-нибудь пьянчуга», снял крест, а Наполеон прочел ему назидание и велел своим солдатам его прикончить, «бабушка» говорит: «И тут же тотчас молодца и расстреляли; и хорошо сделали: поделом вору и мука» (с. 133). Не менее интересен и сюжет о «ночном видении» пасынку Бонапарта Евгению Богарне, квартировавшему в 1812 г. в Саввине монастыре под Звенигородом (с. 130), и предание о кладе на Куликовом поле (с. 83). Характерен и эпизод ссоры знаменитого доктора Мудрова с преосвященным Августином. А вот еще один эпизод из времен пугачевского восстания: о разбогатевшем благодаря случаю симбирском дворянине Кроткове, проданном в качестве крепостного собственным сыном в отместку за скупость отца (с. 203—204).

Обильно представлены и рассказы из дворянского быта: говоря об обычае выдавать замуж сначала старших дочерей, «бабушка» рассказывает трогательную повесть о том, как послушные дети ждали родительского благословления 20 лет (с. 186); характерен рассказ о женитьбе князя Андрея Вяземского на замужней женщине; интересны позиция «бабушки» в рассказе о нашумевшей петербургской дуэли Новосильцева с Черновым (с. 289—291) и ее отношение к вопиющему, казалось бы, факту, когда любящая мать наняла людей «посечь» взрослого сына в воспитательных целях, и т. д., и т. д. Можно было бы перечислять и перечислять интересные эпизоды книги. Это словно к бабушке Яньковой относятся слова Пушкина:

Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
О толстобрюхой старине. . .
(«Родословная моего героя»,
1832—1833)

А московский язык «бабушки»! Уникальность книги состоит в том, что она вся писана живым языком — языком рассказчицы с ее тонким остроумием, скрытой иронией, юмором: рассказав историю о соседе, безнадежно влюбленном в «прекрасную княжну», о его неудавшемся сватовстве, бабушка прибавляет: «Он вскоре после того вышел в отставку, уехал жить в деревню и умер старым холостяком, вспоминая о прекрасной княжне; однако после него оставалось две ли, три ли воспитанницы, которые приходились ему близко сродни» (с. 157). А вот как «бабушка» говорит о своей «хорошей знакомой», попросившей у нее «людей», чтобы наказать сына:

«Он стал дурно себя вести, замотался, на днях возвратился домой выпивши, а вчера распроигрался; хотя я имею состояние, но его ненадолго хватит 〈...〉

— Это очень жаль, только я все-таки не понимаю, на что тебе мои люди понадобились.

— Я хочу сына высечь, — говорит мать, а сама плачет. . .

— Что это, матушка, ты за вздор мне говоришь, статочное ли это дело? Ему под двадцать лет, да еще вдобавок он и офицер; как же могут мои люди его сечь? За это их под суд возьмут.

— Да я им сечь и не дозволю; они только держи, а высеку я сама. . .» (с. 260).

Язык бабушки — это живой русский язык, язык лучших представителей ее времени, предпочитавших родное наречие французскому. Он и выдержанный, и строгий, и в то же время образный и меткий. В ее речи обычны такие выражения, как «мылить голову» («Мылила-мылила ей голову», «дал тягу», «вертелись при дворе», «всплыли кверху» (об Орловых), «вертели перед нею (Екатериной II. — *Т. О.*) своими лисьими хвостами», «нравом крутенек, а на денежку скупенек»); она часто пользуется пословицами и всегда удивительно к месту: «Барыковы хотя по своему происхождению и старинные дворяне, но никто из них спокон века не дослуживался до больших чинов, не был женат на знатных и не имел богатых поместий. По пословице: жили — не тужили, что имели — берегли» (с. 195).

4

Надо наконец сказать и о Д. Д. Благово, о той особой роли, которая принадлежит ему в создании этой книги.

Она и в самом деле была особой, эта роль, особой в том прямом смысле, что если замысел книги осуществился и книга стала тем, чем стала, то это была заслуга именно и прежде всего Д. Д. Благово.

Однако дело не только в этом.

Елизавета Петровна Янькова, как уже говорилось, не была литератором. В строгом профессиональном смысле этого слова не был им и Д. Д. Благово. Юрист по образованию, он и по роду службы был весьма далек от литературной деятельности; последние же годы своей жизни он провел и вообще вдали от «мирских» дел: пройдя 13-летнее послушание, он был рукоположен в иеромонахи, а затем возведен в сан архимандрита.

И все же литератором Д. Д. Благово был. Литератором по своим наклонностям и вкусам. По характеру той культуры, в традициях которой он сложился. По всему складу своего темперамента. Наконец, просто потому, что обладал несомненным литературным дарованием. Он писал стихи, пьесы, исторические и историко-биографические очерки, был библиофилом и крупным библиографом. Некоторую известность ему в свое время эти сочинения принесли. Однако главным его трудом, с которым по справедливости должно быть связано его литературное имя, следует безусловно считать «Рассказы бабушки. . .». Ибо это был не только труд почти всей его жизни, но и прежде всего такое произведение, в котором в наибольшей степени отразились самые сильные и самые характерные черты его литературного таланта.

В предисловии к «Рассказам бабушки. . .» Благово пишет, что его участие в создании книги сводилось к тому, что он лишь «записывал украдкой и потом приводил в порядок и один рассказ присоединял к другому».

Вполне возможно, что в глазах самого Благово работа его над книгой именно так и выглядела — записывал, приводил в порядок, присоединял один рассказ к другому и т. п. На самом же деле, как нетрудно убедиться, это была лишь часть работы, причем не самая сложная. Потому что с какою бы точностью ни записывались им импровизации Елизаветы Петровны и как бы плотно ни «пригонялся» один рассказ к другому, но если бы работа была выполнена лишь на этом, так сказать, чисто техническом уровне, то изложение так и осталось бы обширным, многосоставным собранием фрагментов, более или менее обстоятельных, более или менее колоритных, но все же именно фрагментов, не проникнутых единым и целостным художественным замыслом. Понимал ли это сам Благово или же он просто следовал своему врожденному художественному инстинкту, но его работа над книгой, по крайней мере с тех пор, как он начал писать именно книгу, стала в полном смысле слова работой писателя. Писателя, располагающего огромным и до мельчайших подробностей изученным им материалом, из которого ему предстояло создать стройную и законченную в своем художественном замысле картину.

Эту сложную и трудную задачу Благово решил мастерски. Причем достиг этого самыми простыми, на первый взгляд, средствами: он просто предоставил слово самой рассказчице, нигде как будто не вмешиваясь в ее рассказ. Однако в этом-то как раз и заключалась особая трудность задачи и особое чутье Благово-художника. Ибо та повествовательная аритмия, та подчас весьма прихотливая связь, в которой излагаются в повествовании самые разнообразные и разнородные события, могла

выглядеть достаточно мотивированной и естественной лишь при одном, но совершенно обязательном условии — при том, если был бы правильно и твердо «поставлен» основной образ, основной характер — образ-характер рассказчицы. Только приняв ее точку зрения, только усвоив строй ее восприятия, читатель получал возможность в полной мере оценить и всю достоверность того, о чем она рассказала.

Благово удалось создать этот главный образ-характер, причем опять же такими средствами, которые на первый взгляд кажутся чрезвычайно простыми. Ибо и его «приведение в порядок» записанных рассказов, и «присоединение одного рассказа к другому» диктовалось не стремлением соблюсти внешнюю последовательность эпизодов, а продуманной и художественно оправданной попыткой организовать эту последовательность в соответствии именно с логикой характера Елизаветы Петровны, с природой ее повествовательного темперамента, если можно так выразиться. Оттого так непринужденно-проста и стройна композиция повествования, так емки, так окружены «воздухом эпохи» даже самые мелкие и как будто незначительные эпизоды. Оттого так естественна и органична «связь времен», связь тех исторических «пяти поколений», пути и судьбы которых столь ярко запечатлелись в памяти этой удивительной женщины.

Димитрий Димитриевич[16] Благово родился в Москве на Плющихе 28 сентября 1827 г. Потеряв отца, Дмитрия Калиновича Благово, в младенческом возрасте, он остался на попечении матери Аграфены Дмитриевны (дочери Е. П. Яньковой), которая и руководила его воспитанием (при содействии опекуна — статского советника Николая Петровича Римского-Корсакова).

Нужно заметить, что сама Аграфена Дмитриевна была по тем временам прекрасно образована. Немалую роль сыграла в этом та культурная атмосфера, которая сложилась в семье еще со времен А. Д. Янькова: сохранилась подробная роспись его «деревенской» библиотеки, в составе которой были книги на всех западноевропейских языках.[17] Находящийся в семейном архиве Яньковых альбом Аграфены Дмитриевны, заполнявшийся в 1850-е гг. (по-русски и по-французски) и наполненный, как и большинство таких альбомов, стихами, рисунками, выписками из различных сочинений, языком цветов, камней и т. п., тем не менее великолепно характеризует его владелицу. Прежде всего здесь обнаруживаются ее литературные симпатии: в альбоме почти нет «альбомных», «дамских» стихов; этот раздел составлен из стихотворений В. А. Жуковского, Ф. Н. Глинки, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Е. П. Ростопчиной. Здесь много первоклассных фольклорных записей (в частности, великолепный вариант «Турусов на колесах»),[18] выписок из исторических сочинений, из газет, из «Истории государства Россий-

[16] В такой форме писал свое имя сам Благово — см.: *ГБЛ,* ф. 548, карт. 8, ед. хр. 77.

[17] См.: «Каталог книг библиотеки г-на Александра Янькова, адъютанта ее величества Елизаветы Петровны. Первый каталог Библиотеки Горок. 1740» (на русском и французском языках) — *ГБЛ,* ф. 548, карт. 9, ед. хр. 17.

[18] Отдельно сохраняется запись интересной народной песни «Я по травки шла. . .», записанной специально для Аграфены Дмитриевны ее друзьями Титовыми (там же, ед. хр. 5).

ского» Н. М. Карамзина; здесь же составленная владелицей альбома генеалогия ее рода. Характерна выписка из статьи М. П. Погодина в «Московских ведомостях», посвященная памяти Д. В. Голицына: «Мы все еще живо помним его беседы, его веселую речь, его жаркие юридические и литературные споры в кругу ученых и литераторов... Давно ли, кажется, Гоголь читал у него в кабинете свой „Рим"?..» В перечне исторических дат рядом с пометой о взятии штурмом крепости Ловчи читаем: «1829 года. Рус⟨ский⟩ посланник в Персии, статский советник Грибоедов почти со всею своею свитою умерщвлен в Тегеране, в доме своем разъяренной толпою простого народа».

О складе характера Аграфены Дмитриевны, ее доброте и отзывчивости свидетельствует отбор выписок из слова митрополита Филарета, «говоренного им 1830-го сентября 21-го дня (во время холеры) в Успенском соборе». Вот одна из них: «Отложим гордость, тщеславие и самонадеяние ⟨...⟩ Исторгнем из сердец наших корень зол — сребролюбие. Возрастим милостыню, правду, человеколюбие. Прекратим роскошь ⟨...⟩, облачимся если не во вретище, то в простоту ⟨...⟩ Презрим забавы сердечные, убивающие время, данное для делания добра...»

Естественно, что Аграфена Дмитриевна и сыну передала не только свои знания, но и свои пристрастия и симпатии, снискав при этом его горячую привязанность.[19]

Домашнее образование мальчика, совершавшееся в условиях «утонченной усадебной культуры» (выражение С. В. Бахрушина), было довольно многосторонним: в результате он прекрасно владел несколькими иностранными языками (французским, немецким, английским) и имел обширные познания в литературе и истории. Все это позволило ему в возрасте 18 лет (в 1845 г.) поступить на юридический факультет Московского университета.

Познакомившийся с Благово именно в это время сын известного писателя С. М. Загоскин нашел в нем человека «милого, образованного, весьма начитанного». «Дмитрий Дмитриевич хотя был ⟨...⟩ несравненно образованнее меня, — подчеркивал Загоскин, — воспитывался подобно мне под крылышком своей матери ⟨...⟩ Со дня рождения потеряв отца, он не разлучался с своею матерью, а также и с своею бабушкою ⟨...⟩ Бабушка его, добрая, но строгая старушка, воспитанная в лучших преданиях русской патриархальной аристократической семьи начала и середины прошлого столетия, имела большое влияние на нравственное воспитание своего внука ⟨...⟩ Ни единого дурного слова не исходило из уст скромного Благово; его чистая, честная душа гнушалась всего безнравственного и порочного».[20]

---

[19] Одну из первых своих публикаций он дарит ей с характерной надписью «Другу — Матери» (см. с. 364).

[20] *Загоскин*, № 2, с. 506. Но это же патриархальное воспитание матери и бабушки, державших Благово в «хлопочках» до взрослого состояния, выделяло его из обычной студенческой среды. Чрезвычайно интересно впечатление будущего профессора Московского университета, а тогда студента этого же юридического факультета, Б. Н. Чичерина о его сокурснике, принимавшем студенческую компанию у себя в поместье. Мать и бабушка разрешили ему обедать

Окончив (в 1849 г.) университет со степенью и дипломом действительного студента, Благово в течение двух с половиной лет служил в канцелярии московского гражданского генерал-губернатора А. А. Закревского.

Во время этой службы Благово вел обычный для светского человека образ жизни. Внешне это тоже был «светский, богатый и изнеженный молодой человек, любивший общество и жизнь с ее комфортом».[21] Он посещал балы, ежедневно (а иногда и «несколько раз в день») встречался со своими друзьями С. М. Загоскиным и М. П. Полуденским, которым читал собственные стихи. В это же время Благово становится постоянным посетителем дома сына Ф. В. Ростопчина Андрея Федоровича и его жены — Евдокии Петровны Ростопчиной, знаменитой в то время писательницы и поэтессы.[22] Бывает он у них в подмосковном Воронове, столь памятном всем по событиям 1812 г. (с. 431). В семье Ростопчина подрастала дочь Лидия, девушка тонкая, умная, интересовавшаяся поэзией и привлекавшая внимание молодого Благово. Сочинение стихов все больше и больше занимает молодого чиновника, и он часто и надолго оставляет службу, поселяясь в своей родовой деревне Горки, отдаваясь всецело поэзии и отвлеченным размышлениям (с 1852 г. он служит директором Дмитровских богоугодных заведений). О направленности этих размышлений свидетельствует отрывок из его дневника, относящийся к 1858 г. Здесь ощущается и склад характера тридцатилетнего Благово, и, в частности, та его особенность, которая через два десятилетия приведет его к решительному отказу не только от светской, но и от мирской жизни.

«Эта тетрадь не для других, не для жены и даже не для себя в настоящее время... — размышляет Благово. — Это не „записки", не журнал, а просто впечатления и мысли, которые со временем приятно, досадно, а м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, и страшно будет перечесть... Вообще в наше время вся жизнь наша слагается более из впечатлений, чем из событий...

с гостями, но запретили участвовать в студенческом «веселье», и он «удалился в свои покои, чтобы, согласно данному маменьке обещанию, не принимать участие в таком бесчинии». Но и студенты решили добиться своего. «Когда заварена была жженка, — продолжает мемуарист, — мы решили идти его отыскивать. Вся ватага двинулась с бокалами и стаканами в руках; внезапно с шумом отворилась дверь его спальни, и что же мы увидели? Наш благонравный товарищ совершал свою вечернюю молитву на коленях перед киотом в каком-то ночном чепце с розовыми лентами. Контраст был поразительный! На этот раз, однако, мы его пощадили, но затем всячески старались его развратить. Я рисовал его жизнеописание в карикатурах; мы подучали его, как ему действовать с родительницею, и он сам, поддаваясь нашим внушениям, прибегал к разным каверзным злоухищрениям, чтобы вырваться из когтей, но все это было безуспешно: кроме строгой матери была еще добродетельная бабушка, и против этих двух соединенных сил Благово чувствовал себя совершенно немощным. Даже несколько лет после выхода из университета, когда брат мой, отправляясь секретарем посольства в Бразилию, приехал в Москву и пожелал на прощание поужинать со своими старыми товарищами, Благово объявил, что он никак не может ручаться, что его отпустят, и только уложивши свою маменьку, он выпрыгнул в окно и с торжествующим видом явился среди нас» — в кн.: Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 71.

[21] *Загоскин,* № 2, с. 506.

[22] Сведения об этом можно почерпнуть из сохранившегося «отрывка» его дневника, озаглавленного «Знакомство с Ростопчиной», — *ГБЛ*, ф. 548, карт. 8, ед. хр. 86.

Да и что такое события как не впечатления, которые нас поражают больше других, последствия впечатлений...

„Ma vie est combat“, — сказал Вольтер. С чем же человек борется: с другими или с собою, с своими собственными чувствами и мыслями, которые так часто противоречат сами себе... Я повторяю слова Вольтера и говорю: „Ma vie est combat corkést une devie, une chacin d'unspression divervis“: „Мы боремся не с тем, что вне нас (это было бы смешно и глупо, потому что большею частию мир внешний, говоря в нравственном отношении, нам не подлежит), мы боремся с нашим внутренним *я*, с нашими чувствами, колебаниями, которые в совокупности составляют наши впечатления, и когда мы сможем себя подчинить, тогда мы одержим победу...“»[23]

В 1857 г. в жизни Благово происходит событие, в дальнейшем оказавшееся для него роковым. Вопреки ожиданиям своих друзей он собирается жениться не на Лидии Ростопчиной, а на неизвестной им девушке. «...Ты влюблен? в кого? — растерянно восклицает С. М. Загоскин в письме из Царского Села от 10 августа 1857 г. — Из твоих писем и частых посещений Воронова я был уверен, что тебе нравится гр⟨афиня⟩ Лидия, — но на поверку выходит, что, к сожалению моему, я ошибся и не буду видеть двух моих друзей, т. е. тебя и Рост⟨опчину⟩, принимающих меня у себя в Горках или где-нибудь в Москве! Вдруг получаю бешеное письмо Полуденского, который пишет, что ты намерен жениться на своей (имени ее не знаю) соседке».[24] Невестой оказалась соседка Благово по поместью Нина Петровна Услар.[25] Брак не был счастливым и длился только 5 лет. В 1858 г. в семье появилась дочь Варвара.[26]

В 1859 г. Благово вышел в отставку с чином титулярного советника и с этого времени всецело предался литературным занятиям. Но столь привлекавшая его мирная семейная жизнь вскоре рухнула: его жена, оказавшаяся, по его собственному определению в одном из автобиографических стихотворений, «красивой куклой», оставила дочь и мужа, сделав последнего вдовцом при живой жене.[27] «Красавица жена его, — писал позднее Загоскин, — влюбилась в одного удалого гусарского офицера, бежала с ним и навсегда покинула мужа».[28] Это произошло в 1862 г.

---

[23] *ГБЛ,* ф. 548, карт. 8, ед. хр. 76.

[24] *ИРЛИ*, ф. 119, оп. 7, № 15.

[25] Ее настоящее имя — Аграфена. Она была дочерью барона Петра Карловича Услара (1816—1875), сына екатерининского секунд-майора Карла Генриха Услара, служившего потом при Павле I (о нем см.: *ГБЛ*, ф. 548, карт. 9, ед. хр. 24 и 25).

[26] Поздравляя друга с этим событием, С. М. Загоскин писал ему в ответ на сообщение о «девочке»: «...она должна быть очень хороша, если похожа на маменьку с твоими глазами (хотя у маменьки и свои хороши)» — *ИРЛИ,* ф. 119, оп. 7, № 15. Впоследствии В. Д. Благово (в замужестве (с 1879 г.) Корсакова) жила в Казани, где служил ее муж, известный историк, профессор Д. А. Корсаков; благодаря ей сохранился обширный семейный архив, частично находящийся сейчас в *ИРЛИ* и *ГБЛ*.

[27] М. П. Полуденский в ответ на приглашение С. М. Загоскина на свадьбу писал ему 14 июня 1865 г.: «...не лучше ли мне приехать к тебе после свадьбы; ведь вдовцов на свадьбы не приглашают; ни Благово, ни мне на свадьбах не должно присутствовать». — *ИРЛИ,* ф. 105, оп. 2, № 30.

[28] *Загоскин,* № 2, с. 506.

А в январе 1863 г. Благово предоставил бывшей жене документ, в котором всю «вину» за случившееся взял на себя. Будучи характера чрезвычайно благородного, деликатного, он, очевидно, надеялся, что «документ» оправдает скомпрометировавшую себя женщину в глазах общества, и, получив развод, она сможет выйти замуж (его жена действительно воспользовалась документом, которому, однако, не поверил Синод: бракоразводный процесс длился до 1882 г.).[29] Оставшись один с маленькой девочкой, Благово уезжает в Москву. Но несчастья продолжали преследовать его. «Неутешный, убитый горем Дмитрий Дмитриевич вскоре испытал новое горе: он лишился нежно любимой матери».[30] Оставив жене все имение вместе с любимыми Горками,[31] Благово некоторое время жил в Москве,[32] пытаясь приноровиться к своему новому положению и даже вновь начать светскую жизнь, но не смог («Не соблазнил меня свет ложный Своей мишурной суетой. . .», — писал он в одном из стихотворений этого периода). И житейская драма,[33] и склад характера, и, конечно же,

---

[29] Письмо это сохранилось в бракоразводном деле Благово, и мы приводим его полностью, ибо оно не только характеризует личное благородство писавшего, но и является исчерпывающим автокомментарием ко многим сочинениям Благово и особенно к его поэме «Инок».

«Друг мой, Нина Петровна, когда в 1858 г. я женился на Тебе, то действовал добросовестно; рождение наших детей, дочери Варвары в 1858 г. и сына Петра, родившегося в 1861 г., законность которых я вполне признаю и готов признать пред целым светом, служит ясным к тому доказательством. Но после смерти сына нашего, как Тебе известно, я был долго в параличном состоянии, которое несмотря на мои еще не старые лета, по единогласному отзыву всех докторов, к которым я обращался, признано навсегда неизлечимым. Тебе с небольшим только 20 лет; с этих пор жить с расслабленным мужем невозможно. Жениться вторично я по совести честного человека не могу, но честь моя вынуждает меня просить Тебя хлопотать о разводе; я скажу более — я этого положительно требую; иначе я невольно могу быть причиною твоих заблуждений. Прошу Тебя, друг мой, и умоляю при случае воспользоваться этим письмом; иначе, видя Твое расположение к кому-нибудь и сознавая свое положение, я буду, может быть, вынужденным посягнуть на свою жизнь, что могло бы остаться для Тебя упреком. С этой минуты считай себя свободною; дочь Варвару я и теперь и впоследствии желаю оставить при себе, а Тебя прошу воспользоваться этим письмом, если Ты когда-нибудь пожелаешь искать формального развода. Заранее подтверждаю Твою непорочность и безукоризненную нравственную чистоту, а вместе с тем прошу по этому письму в свое время действовать по своему усмотрению и вторично за новым подтверждением и согласием ко мне не обращаться, я верен своему слову. Подтверждая навсегда мое к Вам душевное, глубокое, неизменное, вполне Вами заслуженное уважение, прошу более от меня писем об этом предмете не ожидать.

Душою Вас любящий

1863 г. 19 января Дмитрий Благово».

(Центр. гос. исторический архив г. Ленинграда, ф. 796, оп. 163, № 1818).

[30] *Загоскин*, № 2, с. 506.

[31] В декабре 1866 г. Московская сохранная казна объявила о продаже «с аукционного торга заложенного и просроченного имения жены титулярного советника Нины Петровны Благово Московской губернии Дмитровского уезда в селе Успенском, Никольское тож, деревнях: Голиковой, Горках, Бутрюмовой, Подосинке тож, и селе Варварине 718 дес⟨ятин⟩ 2181 саж⟨ен⟩. . .» — *ИРЛИ*, вырезка из картотеки Б. Л. Модзалевского.

[32] См. об этом в позднем письме (без даты) С. М. Загоскина к Благово — *ИРЛИ*, ф. 119, оп. 7, № 15.

[33] См. свидетельство Б. Н. Чичерина: «Вскоре ⟨...⟩ несчастный женился на красавице, которая, прожив с ним года два или три, от него убежала. Он совершенно потерял голову и пошел в монахи. . .» (Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов, с. 71).

семейная традиция (в роду Яньковых были монахи и даже два митрополита) побудили Благово круто изменить свою жизнь: он поступил послушником в подмосковный Николо-Угрешский монастырь и в течение тринадцати лет нес послушание при знаменитом в то время архимандрите Пимене (в миру Петре Дмитриевиче Мясникове; 1810—1880). В 1880 г. после смерти Пимена Благово перешел в Толгский монастырь (под Ярославлем) и там постригся в монахи, назвавшись Пименом в честь своего наставника и руководителя. В 1882 г. по окончании давно тянувшегося бракоразводного процесса он был рукоположен в иеромонаха, а в 1884 г. возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем русской посольской церкви в Риме. Он приехал сюда 1 февраля 1885 г. и здесь же скончался 9 (21) июня 1897 г.[34] О римском периоде жизни Благово известно немного: сохранилось несколько его писем к друзьям и знакомым, дающих представление об образе его жизни, скорее светском, «представительском», чем монашеском. Так, вскоре по приезде, 5 (17) июня 1885 г., он сообщает баронессе А. Л. Боде, что «с посланником сошелся с первого свидания» и что с тех пор с ним «в самых приязненных и хороших отношениях», что в начале марта он «представлялся королю, а в апреле королеве и был принят ими весьма приветливо и не только благосклонно, но и радушно и почетливо», что «посещал музеи Ватикана».[35] Из его письма к другу юности И. Ю. Бецкому узнаем, что он путешествовал по Европе. Так, в частности, в письме сообщалось: «. . .теперь я поеду в Цюрих и Мюнхен через Милан. . .»[36] По словам автора одного из его некрологов, Д. А. Корсакова, он «с юных лет любил книги и был весьма знающим библиофилом и библиографом. В его подмосковном имении Горках была обширная библиотека, основание которой положено его прадедом Александром Даниловичем Яньковым». «В Риме, — говорится далее в некрологе, — он собрал себе библиотеку, главным образом по истории и литературе, приобретая книги ⟨...⟩ у римских букинистов. ⟨...⟩ В последнее время при его посредстве ⟨...⟩ приобретались этим путем весьма редкие издания и для Русского археологического института в Константинополе и некоторыми отдельными русскими учеными. Несколько редких из купленных им книг он принес в дар Императорской публичной библиотеке в С.-Петербурге».[37] Благово

---

[34] Смерть была скоропостижной и неожиданной для близких. Вот что писала об этом дочери Д. Д. Благово Л. А. Ростопчина: «В день отъезда моего из Парижа я прочла в «Figaro» о смерти Вашего отца. Он скончался внезапно. Вот и все, что я знаю о смерти человека, которого знала с 18-летнего возраста. Вам мое существование, разумеется, известно, и потому обращаюсь к Вам с покорною просьбою написать мне все, что Вам известно о последних днях и о кончине отца Пимена. Вы у него, вероятно, нашли мои письма, покорно прошу Вас возвратить их мне, так как и мои фотографии ⟨...⟩ Если вы желаете, я возвращу вам письма отца ⟨...⟩ — *ИРЛИ,* ф. 119, оп. 5, № 69.

[35] Письмо от 30 июля 1886 г. — *ГБЛ*, ф. 35, карт. 1, ед. хр. 13. В одном из некрологов отмечалось также, что «в Риме он пользовался большим уважением как членов русской колонии, так и русских, приезжавших в вечный город. . .» — Новое время, 1897, 21 июня (3 июля), № 7655.

[36] *ГБЛ,* ф. 32, карт. 11, ед. хр. 1.

[37] Волжский вестник, 1896, 14 (26) июня, № 145.

и сам много писал в эти годы и следил за текущей русской литературой и литературной жизнью, а от своих друзей из России ждал новых книг. «Прежде всего благодарю Вас за присланную книгу — „Записки Погодина“, — пишет он И. Ю. Бецкому 4 (16) сентября 1888 г. — Я начал читать. Для жителя Москвы, лично знавшего М⟨ихаила⟩ П⟨етровича⟩, в книге много интересного; буду с нетерпением ждать, чтобы Барсуков продолжал издавать следующие выпуски».[38]

Вскоре по напечатании «Палаты № 6» А. П. Чехова Благово пишет издателю «Рассказов бабушки. . .» А. С. Суворину письмо-просьбу следующего содержания:

«Милостивый государь
Алексей Сергеевич!

За последнее время мне не раз приходилось слышать много толков о произведении г-на Чехова „Палата № 6“. Толки эти, как всегда, разнообразны и сообразуются с интеллектуальным развитием и нравственным катехизисом каждого. Но из всех этих толков я вывел следующие заключения: 1) „Палата № 6“ это что-то вроде яркого светила на нашем тусклом небосклоне, 2) „Палата № 6“ весьма туманна и малопонятна для многих по мысли и 3) „Палата № 6“ не есть ли только психопатологический этюд. Лично я еще и до сих пор держусь относительно этого произведения довольно неопределенного мнения. Все вышесказанное заставляет меня обратиться к Вам с просьбой, не уделите ли Вы статейки в „Новом времени“ по поводу этого произведения.

17 янв⟨аря⟩ 93 г. С истинным почтением
О. Пимен».[39]

5

Тяга к учено-литературным занятиям обнаружилась у Благово с ранних лет. Поэзия, история и мемуаристика — вот что больше всего привлекало его. Писать он начал очень рано: в его архиве сохранились рукописи стихотворений, датированных 1845—1846 гг.,[40] т. е. первых лет студенчества. Писал он стихи до последних дней жизни.[41] Но в печати появились немногие из них. Очевидно, первой публикацией были «Два стихотворения Лаго» с посвящением матери А. Д. Благово и подписанные: «Д. Д. Лагово». Они были изданы в С.-Петербурге в 1858 г. В 1874 г. в Москве вышел его сборник «Духовные стихотворения» (в основном это переложения псалмов и стихотворения на сюжеты Евангелия), а в 1875 г. там же появилась отдельным изданием поэма «Инок»; позднее Благово печатался в журналах «Воскресные рассказы» (1875, № 11, 12, 13; 1876, № 6, и др.), «Семейные вечера» (1883, кн. 1, 2), «Чтения для детей» (1875, № 1). В 1892 г. в Москве появилось стихотворное «Послание Владимиру Александровичу Беклемишеву», посвященное молодому скульптору, работавшему в Риме. Последняя публикация была уже посмертной: в 1899 г. в № 11—12 «Душеполезного чтения» В. Д. Корса-

[38] *ГБЛ*, ф. 32, карт. 11, ед. хр. 1.
[39] *ГБЛ*, ф. 331, карт. 59, ед. хр. 1-А.
[40] *ГБЛ*. ф. 548, карт. 8, ед. хр. 7.
[41] Так, С. М. Загоскин писал ему из Парижа 15 января 1884 г.: «Стихи твои получил, и они очень хороши и мне понравились» — *ИРЛИ*, ф. 119, оп. 7, № 15.

кова напечатала стихотворение отца «Старец Алфей», написанное в 1876 г.

В лирических стихах Благово с самого начала преобладали элегические мотивы. Характерны уже сами названия стихотворений: «Скорбящему духу», «Развалины», «Везде, где люди, там есть злоба», «Одиночество», «Все пройдет», «Все немощны мы, все недужны», «И радость, и страданье» и т. п.

Вот одно из них:

Вёдро и ненастье

Бывают дни изнеможенья,
Когда ни сил, ни мысли нет,
Когда печальные сомненья
Все облекают в мрачный цвет;
Когда и самоё былое
Для нас и смутно и темно,
И все давно пережитое,
Как настоящее, черно...

Много в его поэтическом архиве страниц, посвященных родной природе и вызывающих в памяти лучшие образцы русской лирики:

Люблю я осени дождливой
Опустошительный набег,
И скаты гор над мрачной нивой,
Ненастье, изморозь и снег;
Лес обнаженный, молчаливый
И луг с пожелкшею травой
И ночью дождь и ветра вой...

Лирика Благово автобиографична. Так, на одном из списков его произведений, составленном рукой дочери, сам автор сделал ряд помет такого рода: «„Феклушины" (для биогр⟨афии⟩»;[42] «„Умные женщины" (id⟨em⟩)»;[43] «„Князь Старицкий" (для биогр⟨афии⟩)»; «„К чему стихи и песнопенья" (в начале сборн⟨ика⟩ стих⟨отворений⟩; автобиогр⟨афическое⟩)»; «„Как тих мой деревенский сад" (автобиограф⟨ическое⟩)»; «„В Москве близ улицы Арбата" (биогр⟨афия⟩)»; «„Я видел Рим с его седьмью холмами" (биогр⟨афическое⟩)». Благодаря этим указаниям можно проследить все этапы развития личной драмы поэта. От 1857 г. остался цикл стихотворений о любви. Вот строки из наиболее раннего:

Дни счастья, радости живой;
Тоска и грусть не возмущают
Тогда тот сладостный покой;
Тогда нам в жизни все смеется,
Душе несказанно тепло,
В груди чуть слышно сердце бьется
И все вкруг нас и в нас светло...
⟨...⟩

---

[42] Здесь и далее в скобках — пометы Благово.
[43] то же самое (*лат.*).

Отныне чуждый для вселенной
Я для нее лишь буду жить.

Через два года возникает новый мотив, мотив промелькнувшего счастья, особенно ярко проявившийся в стихотворении, озаглавленном «Стихи для музыки»:

Отчего ты, сердце, бьешься,
Словно пташка в западне,
На свободу ли ты рвешься
И тоскуешь в тишине,
О прошедшем ли горюешь,
О минувшем, о былом,
На судьбу ли негодуешь,
Сердце, молви мне тайком
⟨. . .⟩

Постепенно мотив былого счастья отступает:

⟨. . .⟩ желая отдохнуть,
Глядим на то, что за плечами,
На совершенный жизни путь,
На все утраченное нами,
На то, чем наша жизнь цвела,
Чем наше сердце дорожило,
Что нам сперва судьба дала
И что потом сама разбила. . .
Но эта прелесть лучших дней
Давным-давно для нас пропала,
И спросим мы, чтоб поскорей
Судьба к закату наших дней
Хотя покой бы нам послала.

Завершается цикл стихотворением «Новые вариации на старую тему», эпиграфом к которому взяты пушкинские строки «Мечты, мечты! Где ваша сладость». Вот отдельные строфы его:

⟨. . .⟩
Мои все прошлые мечтанья,
Надежды юношеских лет —
Давно минувшие преданья,
Которых сгинул даже след.
⟨. . .⟩
Теперь с другой уж точки зренья
На жизнь и вещи я гляжу,
И юных лет столпотворенья
Я без пристрастия сужу:
Кумир свой прежний называю
Красивой куклой, но пустой;

Любовь притворством я считаю;
Надежду — милою мечтой,
А счастие — определяю
Как уж его определил
Один мудрец-старик (не знаю,
как звать его). Он говорил
Так, кажется, не ошибаюсь,
Что «счастье — сон, сон наяву».
Вполне с ним в этом соглашаюсь,
И счастье спячкою зову.
⟨. . .⟩

Особенно автобиографично стихотворение, написанное незадолго до ухода в монастырь. Это исповедь человека, испытавшего на себе «ковы» света, понявшего суетность светской жизни, своего рода «муравейника». Здесь — протест сердца, сохранившего «и веры свет и чувства пыл», но протест не активный, а пассивный, исход которого — непроницаемые стены монастыря.

Вблизи

Не соблазнил меня свет ложный
Своей мишурной суетой,
Своею пышностью ничтожной,
Своею важной пустотой!

Что в нем? Все ветошь маскарада,
Отрепья гордой нищеты,
Тщеславья мелкого отрада,
Забава праздной суеты!
⟨. . .⟩

Пристань к рабам или к владыкам —
Таков уже людей закон,
Но кто свободы хочет — с криком,
С проклятьем будет изгнан вон! . .

31 дек. 1866.

В этот же период «светской жизни» Благово делает попытку отдать свои стихи на суд профессиональному литератору, которым оказалась Е. П. Ростопчина, автор многих повестей, романов, стихотворений. Ее любовная лирика оказала несомненное влияние на стихотворные опыты Благово — не только отдельными поэтическими мотивами, темами, но тем налетом мелодраматизма, который так сильно отразился почти во всех поэтических сочинениях молодого автора. По свидетельству самого Благово, он познакомился с Ростопчиной «в апреле 1857 года»,[44] узнав от С. М. Загоскина, что графиня интересовалась им и «пожелала» с ним познакомиться (особенно после того, как Загоскин давал ей читать

[44] См. его воспоминания «Знакомство с Ростопчиной» — *ГБЛ*, ф. 548, карт. 8, ед. хр. 86, л. 4—5 об.

некоторые стихотворения Благово («Строгим судиям», «Поклонникам запада», «Герб»)). Знакомство вскоре состоялось, и Благово получил от поэтессы стихотворное послание, так и озаглавленное: «Начинающему поэту (Дмитрию Дмитриевичу Благово)». Это не только наставление новичку, в котором Ростопчина почувствовала своего ученика, это и ее собственное поэтическое кредо и своеобразный гимн представителей так называемого «чистого искусства». Вот полный текст послания (неопубликованного):

Пусть говорят, что вдохновенье
В наш век ненужно и смешно,
Что жалкий дар — воображенье
На грех и гибель нам дано;

Пусть говорят, что в здешнем мире
Бредет, как лишний гость, поэт;
Пусть о его бесструнной лире
Презрительно толкует свет;

Пусть говорят, что звуки — звуки,
Что побрякушка — звонкий стих,
Что философские науки
Пригоднее для дел мирских;

Пусть говорят, что в бреднях детских
Поэт свой даром тратит век,
Что нужен для деяний светских
Холодный дельный человек;

Пусть в выгодах житейской прозы
Ему на долю не дан пай,
И мировых вопросов грозы
Его не возмущают рай;

Пусть меж мыслителей на вече
Подъемлет руку он не в счет
И вдохновенной свыше речи
На сборище не признает;

Блажен, блажен, кто даром слова,
Кто даром песни наделен,
Кто от небес жить жизнью новой (NB) *
Кто вдвое жить благословен!..

Пусть чин и власть его минует —
Пустым мечтателем его
В насмешку люди именуют,
Отнимут землю у него:

* (NB) Dante — *La vita nuova,* poeme. (*Примеч. Ростопчиной*).

Блажен! . . Ему открыто небо,
Он звездных миров гражданин! . .
У древних был он сыном Феба,
У нас он — Божий херувим. . .

Стоит с мечом у врат небесных. . .
Но этот меч — громовый стих —
По свойству сил своих чудесных
Для добрых щит — гроза для злых!

Как херувим — и мир духовный
И зримый мир ему открыт,
И беспредельно, безусловно
В них взор и ум его парит!

И ты, стопою боязливой
Вступивший в наш окольный путь, —
Умей понять лишь Божьи дива,
На тех с сочувствием взглянуть!

И для тебя — природы друга
Цветут все прелести весны,
И ветерком из рощей Юга
Дыханья роз принесены!

И для тебя палящим летом
Шатер раскинут голубой,
Богиня ночи полусветом
Оделась в час любимый твой!

И для тебя предвечным хором,
Построясь в неизменный строй,
Блестят и светятся собором
Мильоны звезд в тиши ночной!

И для тебя блеск полнолунья
Леса и степи серебрит;
Небес двурогая шалунья
Резвясь за тучами бежит! . .

Чего ж еще тебе? . . И чувства
Твои сильнее и нежней;
И больше любишь ты искусства,
И даже страсть в тебе страстней! . .

Так под наитием небесным
Благоговейно преклонись,
Объят восторгом неизвестным,
За дар свой Господу молись! . .

Молись всем сердцем, всей душою,
Глаголом, песнию живой —
И всюду счастлив сам собою
Будь в мире с небом и землей! . .

Граф⟨иня⟩ Евдокия Ростопчина
Вороново, 25-го августа, 1857.[45]

Возможно, что тогда же Ростопчина познакомила Благово с написанным ею в 1856 г. чрезвычайно любопытным сатирическим сочинением «Возврат Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадцатилетней разлуки. Продолжение комедии Грибоедова ,,Горе от ума“».[46] В архиве Благово сохранился отрывок, представляющий собою сцену между Чацким и генеральшей Скалозуб (бывшей Софьей). Но если основной направленностью сатиры Ростопчиной было обличение славянофильства, то ее ученик — устами Чацкого — громит «прогрессистов»:

Теперь прогресс стал истинным развратом,
Куда проник он — все хоть брось,
Там все вверх дном и вкривь и вкось,
Жди бунта, революции с набатом. . .

Обличению «прогрессистов» посвящена и еще одна пьеса Благово (сохранившаяся в отрывке) — «Прогрессисты и консерваторы».[47] Уже сам перечень действующих лиц комедии дает представление о том, на чьей стороне симпатии автора. Главный герой пьесы — отставной генерал, лет 58, Ермолай Ермолаевич Феклушин; его жена «лет на 10 моложе мужа ⟨. . .⟩ лезет в образованные и всегда невпопад»; «дети Феклушиных — прогрессисты»; «Анна Афанасьевна Коробкова, 70 лет, почтенная и умная старуха, которую все чтут и уважают. Она говорит, что и глуха, и слепа, и стала дурою — но умнее умных молодых, тетка Феклушина» и т. д. Уже начало комедии свидетельствует о явной перекличке ее с «Евгением Онегиным»:

Его (Феклушина. — *Т. О.*) именье родовое
Село Дубрава, где он жил,
Весьма доходное, большое
Он после деда получил.
Он был уж не молод годами,
Лет с лишком двадцать как женат,

---

[45] *ИРЛИ*, Р. 1, оп. 24, № 71.

[46] Оно было напечатано отд. изд. в 1865 г., уже после смерти поэтессы.

[47] *ИРЛИ*, ф. 119, оп. 7, № 2. Характерно, что, обличая «прогрессистов», правда, чаще всего тех, кто вращается в светском обществе (автор знал их и наблюдал в течение долгих лет), он хранит архиреволюционный документ: список известного «Ответа студентов Михайлову», напечатанного в «Колоколе». Текст его помещен в примечаниях к стихотворению М. Л. Михайлова «Смело друзья! Не теряйте. . .», см.: *Михайлов М. Л.* Соч.: В 3-х т. М., 1958, т. 1, С. 86—87. См. также: *Коротков Ю.* Поэт Михайлов, художник Якоби и другие. — Прометей. М., 1966, т. 1, с. 364—365.

И хоть украшен сединами,
Но как и прежде *франт* и *хват*. . .*
⟨. . .⟩

Супруга Феклушина, прекрасная мать и хозяйка,

⟨. . .⟩ журналы получала
«Занозу», «Ниву» да еще
Из самых маленьких кой-что
И добросовестно с начала
И до конца все их читала. . .
А сам полковник, муж практичный,
Всей этой прихоти столичной
В свой кабинет не допускал,
И как политик беспристрастный
Он лишь Каткова получал
И над газетою ⟨скучал⟩.

Феклушины учат детей за границей — конечно, по настоянию жены, убежденной в том, что

. . . в мире все идет вперед,
Во всем прогресс и просвещенье.

Супруг же, уверенный в том, что все «нравственное зло К нам из-за моря перешло», что весь прогресс — «развращенье», верит в правду «дедов»:

Их род был честен, век хорош,
Они не хвастались ученьем,
Не лезли в умники, как мы,
Но их природные умы
Не отзывались повреждением
Заморской гили и чумы! [48]

Еще один драматический замысел Благово — также сатирическая комедия, долженствовавшая изобразить «Москву 1880 г.».[49] Эпиграфом к ней автор взял пушкинские строки «Не дай бог встретиться на бале Иль при разъезде на крыльце С семинаристом в желтой шали Иль с академиком в чепце». Тема комедии — обнищание родовитого московского барства, которое «в пух и прах разорено»: «С тех пор, как отошли от нас крестьяне. Теперь мы нищие, а не дворяне». Комедия называется «Умные женщины». Ее герой, сенатор граф Озерский, муж 45-летней «начальницы благотворительного общества», убежденный противник женского образования, восклицает:

* Стихи Пушкина. — *Примеч. Благово.*
[48] *ИРЛИ*, ф. 119, оп. 7, № 2.
[49] Там же.

Все эти общества и заседанья,
Приюты, попечительства, тюрьма,
Общеполезные изданья
И прочая вся кутерьма
Меня приводят в раздраженье. . .

Самое интересное в этом замысле Благово — список действующих лиц с указанием — против каждого — его московского прототипа. Вот некоторые из них: «Александра Андреевна Бачмакова — 40 лет, писательница, жена предводителя. Умная женщина. Академик в чепце. — Бахметева А. Н.; Николай Петрович Бачмаков, 55 лет, предводитель, гордец, псовый охотник — П. В. Бахметев ⟨. . .⟩; княжна Мавра Петровна Генго-Бекова. Молодящаяся девица 50 лет, очень умная, придирчивая, писательница. Глухая, близорукая — дурная. Фрейлина. — гр⟨афиня⟩ Л. Ростопчина; княгиня Марья Павловна Мещерская, гордая статс-дама, помешанная на родословии. — Бар⟨онесса⟩ Мейендорф, княжна Горчакова; Надежда Владимировна Старосливцева, 38 лет. *Славянофилка. Семинарист в желтой шали* — Е. В. Новосильцева; Софья Ивановна Дрянковская, 35 лет, демократка, вдова профессора ⟨. . .⟩, с желтой пеной у рта — М. П. Лясковская, Варгина ⟨. . .⟩; Наталья Дмитриевна Деревицкая, 30 лет. Красавица — кокетка легкого поведения, жена библиофила, — Д. Я. Лонгинова; ⟨. . .⟩ Алексей Петрович Баабатев-Дулов, по прозванью „Готский альманах“. Директор музея. Знатный полудурак. 60 лет — Алек. Алек. Васильчиков ⟨. . .⟩ Летиция Андреевна Куликова, 55 лет, бывшая сестра милосердия Красного Креста ⟨. . .⟩. Нигилистка — А. В. Полозова».

Характерны и тема пьесы, и ее обличительный характер, и то, что предмет сатиры — «знакомые все лица», а подчас и близко знакомые, как Лидия Ростопчина, а особенно характерно то, что в 1880 г., к которому относится время действия комедии (и, очевидно, время ее написания), Благово из послушника стал монахом! Нужно прибавить еще и то, что в поэме «Инок», создававшейся ранее, в 1873—1874 гг., Благово-автор предстает совершенно в ином свете: это христианин, смирившийся со всем, что когда-то причинило ему горе, и в том числе с ветреницей-женой и ее бывшим любовником. Силой своей веры, убежденностью он обращает бывшую жену на путь истинный — и она тоже становится монахиней. Вместе (т. е. каждый на своем месте) они творят добрые дела.

Исторические работы Благово, посвященные в основном Подмосковью, а также истории монастырей и жизнеописаниям деятелей церкви,[50] богаты конкретным материалом, приобретшим к настоящему времени ценность материала этнографического и исторического. Таков его «Исторический очерк Николаевского Угрешского монастыря»,[51] посвященный монастырю с пятисотлетней историей, помнящему еще события Куликовской битвы и не раз видевшему «в стенах своих полчища врагов —

[50] Например, «О значении монашества в истории России» (СПб., 1869).
[51] М., 1872. Подпись после введения: Димитрий.

хищных нагайцев, крымцев, литовцев и в последнее столетие — французов». Вся книга построена на данных летописей (вторая глава так и называется «Летопись событий»), а в разделе «Приложения» опубликованы ценнейшие исторические документы.

По этому же типу построена работа Благово «Дворцовое село Остров. Историческое описание»; [52] здесь в «Приложении» напечатаны документы из архива Оружейной палаты, указы Елизаветы Петровны и Екатерины II. В примечании к другой своей работе он пишет об этом селе: «Село Остров, названное Островским, упоминается в 1328 г. в духовной грамоте Иоанна Калиты; оно, по всей вероятности, существовало уже и в XIII веке, современно Москве. Там был Потешный терем, вероятно, и сады. Это было любимое село великого князя московского Василия Ивановича, отца Грозного. Царь Алексей Михайлович часто езжал туда на охоту. При императрице Елисавете Петровне оно было приписано с некоторыми иными деревнями к *комнате* великого князя Петра Федоровича, а в 1765—1767 году сперва отдано в обмен, а после пожаловано безвозмездно майору графу Алексею Григорьевичу Орлову, впоследствии графу Орлову-Чесменскому».[53] Это строки из объемистого биографического очерка Благово «Архимандрит Пимен, настоятель Николо-Угрешского монастыря». «Для людей посредственных и маломощных, — читаем здесь, — границы деятельности определяются тою средой, в которой они родятся; для людей даровитых, исполненных силой воли, ограничений нет. Они сами устанавливают границы своей деятельности и по мере надобности расширяют их, отодвигают, и где бы они ни были, действуют свободно и устраняют препятствия, могущие казаться людям обыкновенным непреодолимыми».[54]

В этом сочинении сформулированы общие принципы работы Благово: «. . .описывая жизнь человека, которого я душевно уважал и любил искренно ⟨. . .⟩ постараюсь также остаться совершенно невидимым для читателя, но прошу его знать, что *пишет и повествует свидетель, передающий не только то, что ему известно как самовидцу, что он ничего не измышляет и совершенно искренно и беспристрастно старается очертить личность и характер*» [55] своего героя. Повествование изобилует бытовыми и этнографическими подробностями, во многом общими с «Рассказами бабушки. . .».

Мы узнаем, что народных училищ в 1817—1818 гг. в Вологде не было и что «дети людей среднего класса учились грамоте где придется», в то время как «для детей дворянских существовали казенная гимназия и частный пансион для благородных девиц». Так, например, герой повествования Благово учился грамоте у портнихи, которая «считала, как видно, учение делом второстепенным, потому что, когда ей представлялась надобность

---

[52] М., 1875. Подпись: Д. Д. Б. . . во.
[53] *РВ*, 1880, № 6, с. 648—649.
[54] Там же, с. 627.
[55] Там же, с. 632 (курсив мой. — *Т. О.*).

на столе кроить что-нибудь или утюжить, она преспокойно отгоняла своих учеников от стола. . .»[56]

В 1874—1883 гг. Благово активно выступал с историческими трудами в периодической печати и особенно в «Чтениях Московского общества истории и древностей российских» и «Русском архиве», печатая здесь работы, основанные на архивных изысканиях, публикуя письма исторических лиц и их жизнеописания. Отдельными брошюрами вышли его работы «Угреша» (М., 1881) и «Ярославский Толгский монастырь» (М., 1883).

В одном из некрологов Благово сообщалось, что под конец жизни он «стал писать свои собственные воспоминания, но кончина пресекла эту работу в самом ее начале». «Нам удалось видеть в рукописи, — сообщает автор некролога, — лишь первые ее главы; здесь речь идет о детстве автобиографа».[57] Очевидно, это начало той работы, которую С. М. Загоскин называл «Московскими воспоминаниями».[58] К ним относится, вероятно, и упоминавшийся выше отрывок «Знакомство с Ростопчиной». Сохранились в рукописи несколько вариантов начала работы, озаглавленной «Наброски и материалы к биографии Дмитрия Александровича Янькова и родословию Благово и Яньковых».[59] Из этих вариантов мы получаем полное представление о том, с какой тщательностью работал автор над кажущимся столь бесхитростным повествованием. «Мой родной дед, отец моей матери, Дмитрий Александрович Яньков, родился в Белгороде близ Киева 28 августа 1761 г. Родители его были Александр Данилович Яньков и Анна Ивановна, урожденная Татищева. . .» — так начинается очерк. В сноске к заглавию дано примечание, очень характерное для метода работы Благово над всеми его сочинениями. Он пишет: «Сей краткий жизнеописательный очерк составлен мною частию по устным рассказам моей бабушки, жены моего деда, Елисаветы Петровны Яньковой ⟨. . .⟩, по рассказам моей матери и на основании разных документов, семейных записей и выписок из старинных календарей». Этот очерк Благово писал по просьбе П. И. Бартенева, которому он предоставлял для публикации в одном из его изданий материалы из семейного архива. «Многоуважаемый, добрейший Петр Иванович, — писал он Бартеневу 20 февраля 1878 г. — В дополнение к двум монографиям (об Ив⟨ане⟩ Ант⟨оновиче⟩ и Арс⟨ении⟩ Мацеевиче), составленным моим дедом Дим⟨итрием⟩ Алекс⟨андровичем⟩ Яньковым, посылаю Вам сведения о составителе: не имея под рукою семейных бумаг, должен довольствоваться тем, что мне подскажет моя память. . .»[60] Участвовал Благово и в других работах П. И. Бартенева, который в предисловии

[56] Там же: с. 629.

[57] Волжский вестник, 1897, 14 (26) июня, № 145. Сохранилась ли эта рукопись — неизвестно. В рукописных отделах архивов Москвы и Ленинграда ее нет.

[58] В одном из писем, относящихся к 1885—1886 гг., он, сообщая, что «начал перечитывать» «Рассказы бабушки. . .», спрашивал: «Скажи мне, пишешь ли ты свои „Московские воспоминания"?» — *ИРЛИ,* ф. 119, оп. 7, № 15.

[59] *ГБЛ,* ф. 548, карт. 8, ед. хр. 77.

[60] *ЦГАЛИ*, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 111.

к одной из своих публикаций («Из писем священно-архимандрита Фотия ⟨...⟩ графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской. 1820, 1821 и 1822 годов») сделал такое примечание: «Письма доставлены нам послушником Николо-Угрешского монастыря Д. Д. Благово».[61] К сожалению, большинство рукописей Благово не сохранилось; мы можем только представить себе, что это был очень богатый и чрезвычайно ценный архив, принадлежавший талантливому литератору, сейчас в основном известному в качестве инициатора и издателя замечательного памятника «Рассказы бабушки...», являющегося, без сомнения, одним из лучших образцов русской мемуаристики.[62]

---

[61] *РА*, 1878, № 7, с. 292.

[62] «Рассказы бабушки...» вызвали многочисленные подражания. Таковы: «Бабушка Е. А. Бибикова. Из воспоминаний внучки» (*РА*, 1883, № 3); *Бутковская А. Я.* Рассказы бабушки (*ИВ*, 1884, № 12); *Толычева Т.* Семейные записки (М., 1903) и т. д.

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ БАБУШКИ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПЯТИ ПОКОЛЕНИЙ, ЗАПИСАННЫЕ И СОБРАННЫЕ ЕЕ ВНУКОМ Д. БЛАГОВО

Впервые опубликовано в журнале «Русский вестник»: ⟨Предисловие⟩ и Глава первая — 1878, № 3, с. 326—373; Главы вторая—четвертая — 1878, № 4, с. 709—750; Главы пятая—седьмая [1] — 1878, № 5, с. 386—419; Глава восьмая — 1878, № 7, с. 186—201; Глава девятая — 1878, № 8, с. 716—759; Главы десятая и одиннадцатая — 1878, № 9, с. 153—205; Главы двенадцатая и тринадцатая — 1879, № 7, с. 211—265; Главы четырнадцатая и пятнадцатая — 1879, № 10, с. 603—643; Главы шестнадцатая и семнадцатая — 1880, № 4, с. 727—768; Главы восемнадцатая и девятнадцатая — 1880, № 7, с. 285—360.

Отдельным изданием книга вышла в 1885 г. в издании А. С. Суворина. Печатается по этому изданию со сверкой и исправлениями по журнальной публикации (корректуры отдельного издания Д. Д. Благово, очевидно, не держал, чем и объясняется, что в него перешел сбой нумерации глав книги, а также остался незамеченным пропуск в последней строке главки V Главы тринадцатой, в журнальной публикации — четырнадцатой).

В настоящем издании орфография и пунктуация текстов приближены к современным. Сохранены лишь некоторые языковые особенности, характерные для речевой манеры рассказчицы («миновет» вм. «менуэт», «омеблировка», «палатин», «шкатуночка», «окны», «дён» вм. «дней», «яблоков», «старообраз» вм. «старообразен» и т. п.); сохранена также прописная буква в названиях христианских праздников. Неточности и ошибки, попавшие в текст книги, исправляются и в необходимых случаях оговариваются в примечаниях. Угловые скобки означают редакторскую конъектуру. Объяснительные примечания к тексту даются по главам с отдельной нумерацией внутри каждой главы. Все даты в тексте книги и в примечаниях относятся к старому стилю. Географические названия, в том числе названия улиц, дворцов, различного назначения зданий, поясняются в специальном указателе, также в указателе (именном) даются краткие пояснения к именам, не прокомментированным в примечаниях. Устаревшие и малоупотребительные слова поясняются в Словаре.

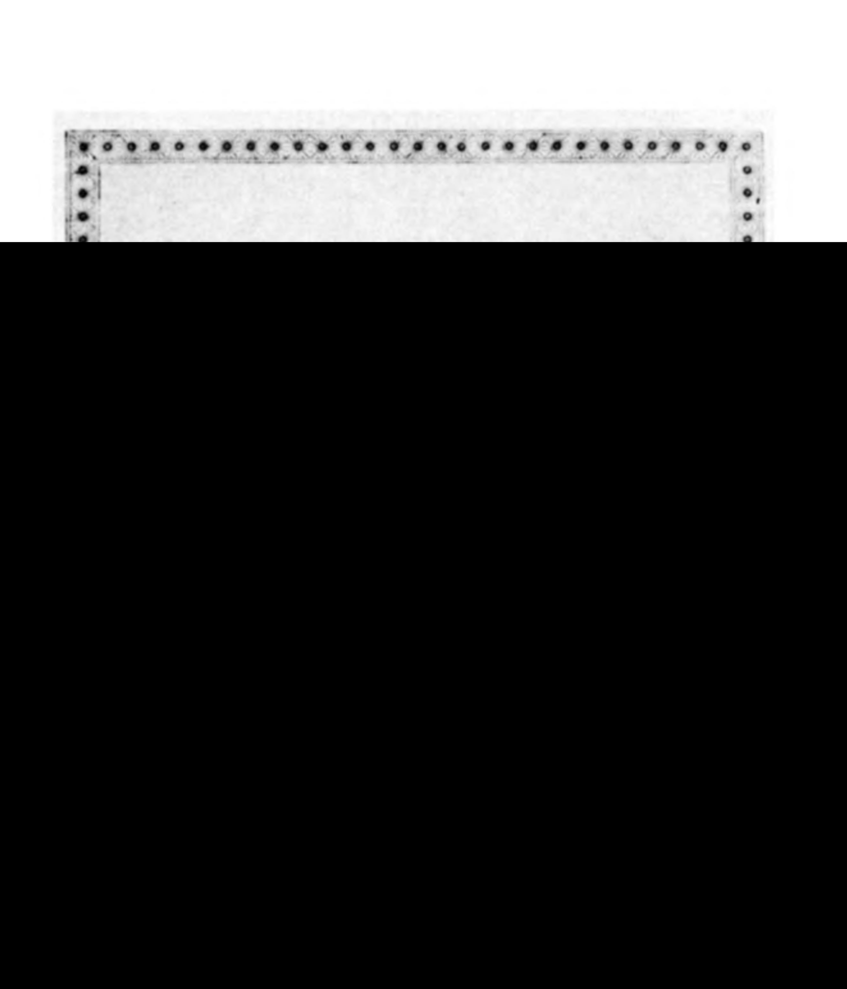
Переводы французских текстов, выполненные П. Р. Заборовым, даются в сносках с обозначением: *Ред.* Остальные подстрочные примечания принадлежат Д. Д. Благово.

Иллюстрации подобраны Н. В. Благово; им же составлена и родословная таблица Благово—Яньковых.

Редакция выражает благодарность потомкам Е. П. Яньковой и Д. Д. Благово — Никите Владимировичу Благово и Вере Константиновне Журавлевой (Корсаковой) за деятельную помощь в подготовке настоящего издания. В. К. Журавлева любезно предоставила в распоряжение составителя материалы своего семейного архива и экземпляр книги «Рассказы бабушки. . .», содержащий ценные рукописные примечания библиографического и краеведческого характера.

---

[1] Глава седьмая названа в оглавлении журнала, но в тексте ее нет: очевидно, это простой сбой в счете глав: за шестой следует восьмая.



⟨ПРЕДИСЛОВИЕ⟩

[1] . . .*матушкина мать. . .* — Матушка — мать Д. Д. Благово Аграфена Дмитриевна.

[2] . . .*со времени первой холеры.*— Эта эпидемия холеры была не первой. Болезнь появлялась в России и раньше: в 1817—1823, 1826 гг. На этот раз она длилась в Москве с 1830 по 1831 г.: «. . .город был оцеплен, по улицам тянулись возы с умирающими и умершими, на дворах курился навоз и можжевельник» (*Пыляев, Старая Москва*, с. 416).

[3] . . .*в собственном доме, в приходе у Троицы. . .* — Этот дом не сохранился, так же как и церковь Троицы (на ее месте сейчас дом с магазином «Березка» по Кропоткинской ул.).

[4] . . .*с устройством железных дорог в 1852 году. . .* — Первая железная дорога в России, соединившая Петербург с Павловском и Царским Селом, была введена в действие в 1837 г., а к 1851 г. было закончено строительство двухпутной магистрали Петербург—Москва.

[5] . . .*незамужней дочери. . .* — Речь идет о К. Д. Яньковой.

[6] . . .*напечатать их в Москве. . .* — Журнал «Русский вестник», в котором впервые печатались «Рассказы бабушки. . .», издавался в Москве.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

[1] . . .*разъехались. . . седьмой части не брать.* — Официальный развод в России был делом чрезвычайно затруднительным, дорогим и на практике часто оборачивался простым «разъездом» супругов. Материальная же сторона в таких случаях была делом договорным (по закону же 1731 г. вдова наследовала мужу в недвижимом имуществе на седьмую часть, в движимом — на четвертую).

[2] . . .*держали шутов да шутих. . .* — Об этом «обычае» существует огромная литература. Достаточно вспомнить знаменитого шута Голицына при императрице Анне Иоанновне или домашнего шута графа Н. П. Румянцева, который был «самым приближенным человеком» при хозяине «„Ион Иванович“, или, как тогда все называли, „Анна Ивановна“ ⟨. . .⟩ ходил в чепце и женском капоте, вязал чулок и шил на пяльцах. Этот шут отличался крайне сварливым характером, брюзжал и злился на всех и часто дрался. Колотушки его нередко попадали на долю самого графа, который сносил их с христианским смирением» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 55). Другая важная московская барыня «. . .постоянно принимала у себя шутов, карл и разных женщин простого звания, известных в то время под кличкою „московских дур“. Дуры эти перебегали из одного дома в другой с большим запасом новостей и сплетен и под защитою своей напускной глупости безбоязненно переносили „сор из избы“» (*Загоскин,* № 3, с. 931). «Шутих тоже по пяти для забавы держали, — вспоминает в своей книге еще одна мемуаристка. — Как соберутся гости, разоденут их, бывало, в желтые да в красные платья да прикажут плясать, либо стравят друг с другом браниться; до драки, бывало, доведут их, и господа так и лягут со смеху» (*Толычева Т.* Семейные записки. М., 1903, с. 97).

[3] . . .*который написал «Русскую Историю». . .* — Первые три тома «Истории Российской с древнейших времен» появились в 1768—1774 гг., четвертый — в 1783 г., а пятый — в 1847—1848 гг.

[4] . . .*родился при Петре I и был лично ему известен.* — В. Н. Татищев родился 19 апреля 1686 г. и с десятилетнего возраста был стольником у вдовы царя Иоанна Алексеевича (брата Петра I) Прасковьи Федоровны в подмосковном селе Измайловском, где в молодости часто бывал Петр I с друзьями. В 1704 г. Татищев с братом Иваном начал службу в драгунском полку, смотр которому (19 февраля 1704 г. по случаю приезда в Москву турецкого посла Мустафа-Аги) был учинен самим Петром. С 1706 г. он становится «лично известным» Петру и участвует в Полтавской битве, в которой был ранен на глазах царя (подробнее см.: *Кузьмин А.* Татищев. М., 1981, с. 23—29).

[5] . . .*долгое время жил за границей для своего обучения. . . в Германии. . .* — В 1712—1716 гг. Татищев учился военному делу (артиллерии) в Германии.

[6] . . .*службу свою начал на восемнадцатом году. . .* — В 1704 г. вступил в военную службу и учился в московской артиллерийской и инженерной школе.

[7] . . .*был он посылыван и в Швецию, где учился горному делу. . .* — В Швеции Татищев был по поручению Петра I в 1724—1726 гг.

[8] . . .*и в Сибирь его посылали. . . заниматься рудокопнями и горным производством.* — В 1734—1737 гг. Татищев вступил в управление Уральским краем; 17 марта он был назначен

главным начальником горных заводов Сибири; в 1737—1739 гг. уже в чине тайного советника и генерал-поручика он был направлен в экспедицию (ее еще называли Киргиз-Кайсацкой), чтобы привести в исполнение план своего предшественника И. К. Кириллова, построить ряд крепостей и проложить охраняемый путь до Средней Азии для удобства торговли со странами Ближнего и Среднего Востока.

[9] . . .*стоял за самодержавие, которого не желали многие из вельмож.* — Исследователь писал об этом: «Известно, что Татищев участвовал в событиях 1730 г. Когда Верховный совет предложил дворянству представить свои соображения о лучшем образе правления, составилось много кружков. В одном из них действовал Татищев. 〈...〉 он составил и подал мнение о несправедливом присвоении верховниками власти избирать государя и издавать законы и о неприкосновенности монархической самодержавной власти. Вместе с тем он представил соображения, принятые наибольшим числом дворянства, об устройстве Сената и издании новых законов, об учреждении народных училищ, об улучшении быта духовенства и купечества и об учреждении правильного престолонаследия. Наконец, Татищев принимал участие в поднесении императрице адреса о принятии ею самодержавия. Императрица была довольна образом его действий и назначила его церемониймейстером при своей коронации» (*Чистович,* с. 616).

[10] . . .*сделали обер-церемониймейстером. . .* — Татищев получил этот чин ко времени коронации Анны Иоанновны — к апрелю 1730 г. Ему был пожалован также чин действительного статского советника (гражданский чин IV класса по XIV-классной Табели о рангах) и деревня с тысячью душ.

[11] . . .*злодей Бирон. . .* — Граф Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772), с 1737 г. — герцог Курляндский; министр императрицы Анны Иоанновны, ее фаворит и фактический правитель государства; при нем в государственной и общественной жизни страны началось засилье иноземцев, главным образом немцев; нещадно разграблялись богатства страны; стали нормой жизни репрессии против недовольных бироновщиной, царили шпионаж и доносы.

[12] . . .*хлопотал о разводе. . . имела связь с Радищевым.* — Фигурирующая в журнальной публикации и в отдельном издании фамилия «Радищев» — явная опечатка. Речь идет о другом человеке. «В бытность свою в Ракове монастыре, — пишет Чистович, — Решилов вошел в преступную связь с женою известного В. Н. Татищева, вследствие чего последний просил Синод о разводе его с женой (Анною Васильевною, урожденною Андреевскою, вдовою Реткина), с которой жил в супружестве с 1714 г. и от которой имел сына и дочь. . .» (*Чистович,* с. 466—467). Упоминаемый здесь Решилов — бывший раскольник, а впоследствии приближенный Феофилакта Лопатинского иеромонах Иосиф Решилов, замешанный в дело о пасквиле на Феофана Прокоповича. Чистович так характеризовал его: «Решилов был человек пустой и продажный, грубый и наглый проходимец, у которого в душе не осталось, по-видимому, ни одного чистого понятия, ни одного честного движения. Он в грош не ставил монашество, хотя был иеромонахом; развратничал с крайним бесстыдством; но где нужно было, ползал и пресмыкался с таким же крайним самоуничижением. В монастырях (Тверской епархии), которыми он управлял с званием игумена, он не возбуждал ничего, кроме ненависти, своими притеснениями монахов и монастырских крестьян, хищничеством и поборами» (там же, с. 461).

[13] . . .*был губернатором в Оренбурге. . . подкопались под него.* — Татищев был начальником Оренбургской комиссии; в 1738 г. по наущению Бирона и члена Верховного тайного совета всесильного канцлера И. А. Остермана (1686—1747) местные обвинители, которые были ранее обличены Татищевым, подали на него свои доносы, и в мае 1739 г. была создана следственная комиссия. Татищев был отстранен от дел, лишен всех званий и взят под домашний арест. Но обвинения не подтвердились, в июле 1739 г. Остерман предложил направить Татищева в Калмыцкую комиссию, центром которой была Астрахань. При этом Остерман обещал ему, что если его миссия «примирить инородцев» удастся, то он будет «прощен». Руководство Калмыцкой комиссией длилось до 1745 г. и воспринималось Татищевым как ссылка. Во время этой его миссии произошел государственный переворот, и престол заняла Елизавета Петровна (25 ноября 1741 г.). Пал давний недруг Татищева — Остерман. Новое правительство 15 декабря 1741 г. назначило Татищева по совместительству с прежними обязанностями астраханским губернатором. Это новое назначение было для Татищева заключением в «узилище»: Астрахань была окраиной, куда ссылались преступники всех рангов и опальные чиновники. В этой должности Татищев стал объектом травли со стороны недругов, и в августе 1745 г. ему было предписано «жить в своих деревнях до указу, а в Петербург не ездить» (подробнее см.: *Татищев,* с. 285—302). Больной и измученный, поселился он в деревне сына под Симбир-

ском, а затем ему было разрешено переехать в д. Болдино (под Москвой). О своих сибирских злоключениях Татищев упомянул в собственной «Истории Российской». Рассказывая о предсказаниях придворного юродивого Тимофея Архиповича, он пишет: «Как я отъезжал 1722-го года другой раз в Сибирь к горным заводам и приехал к царице прощение принять, она, жалуя меня, спросила оного шалуна, скоро ли я возвращусь? Он, как меня не любил за то, что я не был суеверен и руки его не целовал, сказал: он руды много накопает, да и самого закопают. Но сколько то право, то всякому видно» (там же, с. 116).

[14] *Святые Дары* — хлеб и вино (причастие), приготовленные священнослужителем особым порядком во время богослужения.

[15] *Александровская звезда* — знак ордена св. Александра Невского в виде серебряной звезды, в середине которой помещалось вензелевое имя Александра Невского под княжеской короной. В окружности на красном поле золотыми буквами был выведен девиз ордена: «За труды и отечество».

[16] *. . .причастил Святых Таин.* — Т. е. совершил церковный обряд. В данном случае речь идет о причащении, т. е. преподании одного из главнейших таинств церкви, так называемой евхаристии, умирающему.

[17] *. . .скончался при чтении последнего Евангелия.* — В некоторых богослужениях, например на утрени Великой пятницы (перед праздником пасхи) или во время соборования умирающего, читаются двенадцать Евангелий (т. е. соответствующих евангельских текстов). В данном случае речь идет о чтении последнего, т. е. двенадцатого, Евангелия. Согласно другому семейному документу, называемому «Предсмертное увещание Татищева сыну», историк умер «при чтении седьмого Евангелия» (см.: *Корсаков*, с. 343). Похоронили его на указанном им месте на погосте Рождествено (вблизи Болдина). На почерневшем и выщербленном каменном надгробье можно разобрать лишь часть имени великого человека: «. . .Никитичь Тати. . .» Автор книги о молодых годах историка установил рядом с могилой памятную доску (см.: *Блюмин Г.* Юность Татищева. Л., 1986, с. 9—11).

[18] *. . .при сыне Дмитрия Донского. . .* — У князя Дмитрия Ивановича Донского (1350—1389) было несколько сыновей. Вероятно, речь идет о старшем из них — Василии I Дмитриевиче (1371—1425), которому отец по духовному завещанию передал великое княжение (с 1389 г.).

[19] *Семеновский полк,* так же как и Преображенский, — старейшие в русской армии привилегированные лейб-гвардейские полки, сформированные Петром I в 1687 г. на основе собственных «потешных» войск.

[20] Генерал-фельдмаршал *А. Г. Разумовский* (1709—1771) был морганатическим супругом императрицы Елизаветы Петровны. Судьба простого украинского мальчика Алексея Розума сложилась так благодаря случаю: он был привезен с Украины в Петербург в качестве певчего в хор при императорском дворе. Красота его была замечена Елизаветой Петровной (тогда еще цесаревной), и она взяла его в собственный хор. Потеряв с возрастом голос, Розум стал придворным бандуристом, а затем получил должность управляющего одним из имений цесаревны. Вместе со званием гоф-интенданта он стал именоваться Алексеем Григорьевичем Разумовским. Ко времени воцарения Елизаветы Петровны он был камер-юнкером (придворный чин IX класса). И тут началось его «восхождение»: сначала пожалование в действительные камергеры (придворный чин IV класса) и в поручики лейб-кампании с чином генерал-поручика. При короновании императрицы Разумовский исполнял обязанности обер-шенка (хранителя вин; это был придворный чин II класса); вскоре стал егермейстером (начальником охоты) и в обход всем правилам награжден орденом св. Андрея Первозванного, получив при этом несколько поместий на Украине и в Московской губернии. В 1744 г. он получил графство, а в 1756 г. стал фельдмаршалом (подробнее см.: Русский биографический словарь. Притвиц-Рейс. СПб., 1910, с. 427—436).

[21] *. . .в подмосковную Перово на праздник, который он для нее устроил. . .* — По преданию, именно в Перове в 1742 г. происходило венчание Разумовского с Елизаветой Петровной. Сюда императрица приехала в 1749 г. и каждый день участвовала в охотах.

[22] *. . .в Троицкую Лавру на богомолье.* — Троице-Сергиева лавра под Москвой была излюбленным местом богомолья русских царей и цариц и популярнейшим (после Киево-Печерской лавры) местом богомолья вообще.

[23] *. . .село Ольгово. . .* (Льгово) было одним из апраксинских имений. Здесь еще в XVII в. стояли двухэтажные каменные хоромы, послужившие Апраксину основой для постройки роскошного дома (архитектором был Ф. И. Компорези). Дом стоял посреди большого английского парка с несколькими прудами. Здесь был и театр, где ставились пьесы француз-

ских авторов — Мольера, Бомарше, Реньяра. Выступали на его сцене сама хозяйка дома Е. В. Апраксина, В. Л. Пушкин, П. А. Вяземский и другие московские театралы.

[24] *. . .двое из Орловых, а третий. . .* — У новгородского губернатора Григория Ивановича Орлова (ум. 1746) было девять сыновей; из них пятеро достигли зрелого возраста: Иван, Григорий (1734—1783), Алексей (1737—1807), Федор (1741—1796) и Владимир (1743—1831). Здесь же речь идет о служивших при Елизавете Петровне Григории, Алексее и, вероятно, Федоре, который, по словам историка, «был исполнителем велений Григория и Алексея» (см.: *Корсаков*, с. 382).

[25] *. . .когда они попали в честь. . .* — Явная перекличка со словами из «Моей родословной» (1830). У А. С. Пушкина: «Попали в честь тогда Орловы. . .» Имеется в виду особая роль Орловых в дворцовом перевороте 28 июня 1762 г. Историк писал об этом: «Кроме Орлова (т. е. Г. Г. Орлова. — *Т. О.*) с братьями, по свидетельству самой Екатерины, в конной гвардии двадцатидвухлетний офицер Хитрово и семнадцатилетний унтер-офицер Потемкин „направляли все благоразумно, смело и деятельно" ⟨. . .⟩ соумышленники разделялись на четыре группы, и вожди групп собирались для решений, настоящим же секретом владели трое братьев Орловых» (см.: *Соловьев*, кн. 13, с. 89). После переворота «Григорий Орлов был сделан камергером, Алексей Орлов — секунд-майором Преображенского полка, оба получили Александровские ленты, брат их Федор сделан капитаном Семеновского полка, все трое получили по 800 душ крестьян» (там же, с. 104).

[26] *. . .а Григорий и в особую милость. . .* — По словам историка, Г. Г. Орлов «больше всех хлопотал в ее (Екатерины. — *Т. О.*) пользу». Ко времени переворота этот артиллерийский офицер, воспитанник Сухопутного корпуса, участник Семилетней войны, «резко выдавался из толпы товарищей красотою, силою, молодцеватостью, общительностью; сильная молодая природа (Орлову было в описываемое время 27 лет) требовала сильной деятельности, и Орлов всюду искал ей удовлетворения: и в устройстве веселостей для товарищей, и в масонской ложе, и, наконец, в возбуждении восстания в защиту обожаемой императрицы, которой грозила беда» (Петр III собирался отправить жену в монастырь и жениться на своей фаворитке. — *Т. О.*) (*Соловьев*, кн. 13, с. 89; подробнее об Орлове см.: *Корсаков*, с. 378—382). Екатерину связывали с Орловым и близкие отношения. Однако ее намерение вступить с ним в брак вызвало сопротивление приближенных. Внебрачный сын ее от Орлова Алексей носил фамилию Бобринский (см. также примеч. 26 к Главе второй).

[27] *Семилетняя война* 1756—1763 гг. возникла в результате борьбы Англии и Франции за колонии и столкновения агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Успешный для России ход событий в этой войне был по смерти Елизаветы Петровны прерван поклонником Фридриха II Петром III. Он прекратил войну и без всякой компенсации возвратил Пруссии завоеванные русскими войсками территории; 24 апреля 1762 г. был заключен русско-прусский союзный договор. Екатерина II, отказавшись от союза с Пруссией, не возобновила войны, и этот мир был подтвержден.

[28] *. . .в сражении при Гросс-Егерсдорфе, в котором Апраксин одержал победу.* — В мае 1757 г. 70-тысячная русская армия под командованием фельдмаршала С. Ф. Апраксина направилась из Лифляндии к Неману. Отдельный 20-тысячный корпус В. В. Фермора осадил Мемель и взял его 24 июня. Соединенные русские силы продолжили движение к реке Прегель и 19 августа при Гросс-Егерсдорфе разбили корпус Левальда.

[29] *. . .не прочитав 26-го псалма. . . убоюся».* — 26-й псалом в православном богослужении входил в «песнопения и молитвы повседневные»; он символизировал «твердость верующего в гонениях и утешение покровительством божиим»: «Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на *него* аз уповаю».

[30] *. . .оспы тогда не умели еще прививать и ждали, чтобы пришла натуральная.* — Оспу начали прививать в России с осени 1768 г. Из Англии был выписан доктор Димсдаль, и первой его пациенткой стала Екатерина II, вторым Г. Г. Орлов; через неделю после них прививке подвергся наследник Павел Петрович. Сенат в особом указе объявил поступок императрицы «великодушным, знаменитым и беспримерным подвигом». Вскоре множество жителей столицы добровольно привили себе оспу (см.: *Соловьев*, кн. 14, с. 277—279).

[31] *Чумы я совсем не помню. . .* — Речь идет об эпидемии чумы 1770—1771 г. (подробнее см. ниже, примеч. 42).

[32] *. . .когда Пугачев навёл страх на всю Россию.* — Восстание под предводительством Е. И. Пугачева началось в августе 1773 г. И. И. Дмитриев вспоминал: «Симбирск ⟨. . .⟩ поражен был известием, что ⟨. . .⟩ весь батальон и гренадерские роты принуждены были сдаться

мятежникам, а комендант 〈. . .〉 и все офицеры были повешены 〈. . .〉 Все наше дворянство из городов, поместьев помчалось искать себе спасения. . .» (*Дмитриев,* с. 22).

[33] . . .*на Монетном Дворе.* — Пугачев был привезен в Москву 4 ноября 1774 г. «Он был посажен на Монетный Двор, где с утра до ночи, в течение двух месяцев, любопытные могли видеть славного мятежника, прикованного к стене и еще страшного в самом бессилии. Рассказывают, что многие женщины падали в обморок от его огненного взора и грозного голоса» (*Пушкин А. С.* История Пугачева. Глава осьмая. — *Пушкин,* т. 9₁, с. 79).

[34] *в день казни. . .* — Казнь была совершена 16 января 1775 г. на Болотной площади (ныне пл. Репина). Очевидец писал: «В десятый день января 〈...〉 в восемь или девять часов пополуночи приехали мы на Болото; на середине его воздвигнут был эшафот, или лобное место, вкруг коего построены были некоторые полки 〈...〉 На высоте или помосте лобного места увидел я с отвращением в первый раз исполнителей казни. Позади фронта все пространство Болота, или, лучше сказать, низкой лощины, все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сторон ее усеяны были людьми обоего пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок» (*Дмитриев,* с. 28).

[35] *Крещенье* — праздник богоявления (или крещения) отмечается церковью 6 января.

[36] . . .*хватило духу смотреть на такое зрелище».* — Вдруг все всколебалось, — вспоминает И. И. Дмитриев, — и с шумом заговорило: *везут, везут!* Вскоре появился отряд кирасир, за ним необыкновенной величины сани, и в них сидел Пугачев 〈...〉 За санями следовал еще отряд конницы.

Пугачев, с непокрытою головою, кланялся в обе стороны, пока везли его. На взгляд он был сорока лет, роста среднего, лицом смугл и бледен, глаза его сверкали; нос имел кругловатый, волосы, помнится, черные, и небольшую бороду клином.

Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его Перфильев 〈...〉 взошли на эшафот 〈...〉 Потом, во все время продолжения чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился 〈...〉 По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота 〈...〉 Тогда Пугачев сделал с крестным знамением несколько земных поклонов, обратясь к соборам, потом с уторопленным видом стал прощаться с народом; кланялся во все стороны, говоря прерывающимся голосом: „Прости, народ православный, отпусти мне, в чем я согрубил пред тобою, прости, народ православный!" При сем слове экзекутор дал знак; палачи бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп; стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтанья. Тогда он сплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе: палач взмахнул ее за волосы. С Перфильевым последовало то же» (*Дмитриев,* с. 29).

[37] *Готовальня* — здесь: футляр.

[38] *Наместник* — здесь: военный начальник губернии.

[39] *Иван Никитич Кречетников.* — Здесь допущена ошибка в имени: речь идет о Михаиле Никитиче Кречетникове (1729—1793), участнике Семилетней войны, впоследствии генерал-аншефе, генерал-губернаторе нескольких губерний.

[40] . . .*Екатерина II посетила Калугу, уж не упомню, в каком именно году. . .* — Екатерина II прибыла в Калугу 15 декабря 1775 г. и провела в городе один день. В результате этой поездки Калуга была преобразована из провинциального в губернский город (по указу от 24 августа 1776 г.). Первым калужским наместником стал Кречетников, проведший ряд мероприятий, сделавших город «едва ли не самым благоустроенным провинциальным городом средней России» (подробнее см. в кн.: Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии. Калуга, 1912, с. 34—38). «Впоследствии Кречетников стал псковским губернатором и владел в Москве домом на Пречистенке на углу Полуэктовского пер. под № 19» (*Экз. В. К. Журавлевой,* с. 32).

[41] *«Хвастун»* — обличительная комедия Я. Б. Княжнина, источником которой послужила пьеса французского драматурга Д.-О. Брюйеса «Важный». Основной темой французской пьесы была борьба с дворянским чванством. Княжнин углубил ее содержание, обратив комедию против придворного фаворитизма, процветавшего при Екатерине II. См.: *Княжнин Я. Б.* Избранные произведения / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. Л. И. Кулаковой. Л., 1961, с. 737—738. (Б-ка поэта. Большая серия).

[42] *Чума началась еще в декабре месяце 1770 года, но особенно стала свирепствовать в Москве в марте месяце.* — Эпидемия чумы 1770—1771 гг. была занесена в Россию с русско-турецкого театра военных действий. Она обнаружилась при вступлении русских войск в Молдавию. С конца лета этого года эпидемия стала надвигаться на Москву и с новой силой вспыхнула весной 1771 г. «По словам очевидца, народ умирал ежедневно тысячами; фур-

манщики, или, как их тогда называли, „мортусы“ в масках и вощаных плащах, длинными крючьями таскали трупы из выморочных домов, другие поднимали на улице, клали на телегу и везли за город. . .» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 31).

[43] . . .*Салтыков уехал в свою подмосковную*. . . — Главнокомандующий Москвы фельдмаршал граф Петр Семенович Салтыков (1698—1772), находившийся во все время разгара эпидемии в городе и принимавший самые экстренные и необходимые меры по борьбе со страшной «моровой язвой», по словам историка, просто «не выдержал» и отправил Екатерине II «отчаянное донесение», содержавшее и личную просьбу дозволить ему «на время отлучиться». Не дожидаясь ответа, он уехал в свое подмосковное имение «на два дня». «Разумеется, — пишет С. М. Соловьев, — этот поступок оправдать было нельзя; он объяснялся тяжким положением начальника при чувстве своей беспомощности, одиночества: все разъезжаются, мог думать старик, бросают свои должности, оставляют меня одного, но что я один сделаю, чем помогу?». «Разумеется, — пишет далее Соловьев, — его двухдневное отсутствие не было бы замечено, если бы на другой день отъезда фельдмаршала, 15 сентября, не произошел в Москве бунт. Бунт сопровождался страшным, отвратительным, небывалым явлением — убийством архиерея» (*Соловьев,* кн. 15, с. 134). Екатерина II, несмотря на немедленное возвращение Салтыкова в Москву и восстановленный им порядок, обвинила генерал-губернатора во всех беспорядках и, немедленно согласившись на его отставку, уволила его «отдыхать» в деревню, где он и умер всеми забытый.

[44] . . .*бунт в народе*. . .*и убили*.— Д. Н. Бантыш-Каменский писал, что причиной поклонения народа «иконе Боголюбской» был слух о том, что один фабричный будто бы увидел во сне богородицу, которая сказала ему, что так как находящемуся на Варварских воротах ее образу давно никто не служил молебнов и не зажигал свечей, Христос хотел наслать на Москву каменный дождь, но что она умолила его смягчить наказание, заменив его трехмесячным мором. Фабричный этот поместился у ворот и стал собирать деньги на «всемирную свечу», рассказывая всем свой сон. Народ и священники толпами повалили к воротам, стали петь и молиться. Собрали сундук подаяний. Но сборища во время эпидемии способствовали еще более страшному распространению чумы, и митрополит Амвросий решил перенести икону в церковь, а собранные деньги отдать на нужды Воспитательного дома. Московский губернатор П. Д. Еропкин не советовал Амвросию трогать икону, на собранные же деньги посоветовал наложить печать. Народ, узнав об этом намерении, взбунтовался и с криками: «Бейте их! Богородицу грабят!» — стал бить в набат и избивать солдат, посланных для наложения печатей. Затем кинулись за Амвросием и настигли его в Донском монастыре. Историк писал: «. . .один мальчик, приметив в верху полу платья несчастного преосвященного, закричал: „Сюда, архиерей на хорах“. Амвросия заставили ответить на ряд вопросов, на которые от отвечал голосом, исполненным твердости и решимости ⟨. . .⟩ отечески увещевал злодеев, и они чуть не оставили его» (*Бантыш-Каменский Д. Н.* Жизнь преосвященного Амвросия, архиепископа Московского и Калужского, убиенного в 1771-м году. М., 1813, с. 57—58).

[45] *Убил его, говорят, пьяный повар Раевского.* — Толпа вытащила Амвросия на улицу, и он почти усмирил ее своею речью, как вдруг «из соседнего монастырского кабака выбежал пьяный дворовый г-на Раевского человек Василий Андреев ⟨. . .⟩ и закричал: „Чего глядите вы на него? Разве не знаете, что он колдун и вас морочит?“ Сказав сии слова, он первый ударяет страдальца колом в левую щеку и повергает на землю. Смотря на сие злодейство, изверги забывают свое раскаяние и кидаются также на него ⟨...⟩ Они мучительным образом били и терзали его до тех пор, пока уже увидели умершего ⟨...⟩ Избитое и обагренное кровию тело нового сего московского мученика лежало на распутии день и ночь целую. . .» (*Бантыш-Каменский Д. Н.* Жизнь преосвященного Амвросия. . ., с. 58).

[46] *Усмирять народ пришлось Еропкину.* — Расправившись с архиереем, народ стал искать Еропкина, «угрожая и его лишить жизни, как и всех докторов», «но тот уже направлялся в Кремль с полком солдат. Сначала Еропкин попытался подействовать уговорами, но в ответ ему полетели камни. Тогда Еропкин приказал стрелять холостыми зарядами; увидев, что народ это не устрашило, приказал зарядить картечью». «Усмирение» продолжалось два дня (подробнее см.: *Пыляев. Старая Москва,* с. 36). Подавлением «чумного бунта» командовал Г. Г. Орлов, который «собрал тогда несколько солдат Великолуцкого полку. . .» (*Бантыш-Каменский Д. Н.* Жизнь преосвященного Амвросия. . ., с. 61).

[47] *Андреевская лента* — один из знаков ордена Андрея Первозванного в виде голубой ленты, носимой через правое плечо (право носить ленту давалось только с получением одного из высших орденов).

[48] . . .*орден св. Екатерины.* — Белый крест на пурпуровом фоне в руке святой великомученицы Екатерины, а в центре креста другой, меньший крест в лучах. Орден был учрежден Петром I для своей жены. Им награждались дамы императорской фамилии и иностранные принцессы. Исключения могли быть сделаны только для лиц, оказавших «чрезвычайную» услугу государству. Так, Петр III наградил им свою фаворитку Е. Р. Воронцову; а Екатерина II пожаловала его Е. Р. Дашковой (см. об этом: *Дашкова, Записки,* с. 51—61). Знаки ордена — большие и малые кресты (отличались друг от друга только размерами).

[49] . . .*цугом в шорах. . .* — Выезжать в таком экипаже разрешалось лишь лицам, принадлежащим к I—V классам.

[50] . . .*князь Тюфякин* Петр Иванович (1769—1845), действительный камергер и директор императорских театров.

[51] *Сергей Васильевич. . . был где-то потом посланником и все больше жил за границей). . .* — Камергер С. В. Салтыков (род. 1726) был посланником в Гамбурге (с. 1755 г.), Париже (с 1762 г.) и в Дрездене. Он был одним из первых фаворитов будущей Екатерины II (тогда супруги наследника), и она сама назвала его в своих «Записках» отцом своего сына Павла, родившегося в 1754 г. «Записки Екатерины II», впервые напечатанные в Лондоне в 1859 г., несмотря на строжайший запрет, ходили в России в списках уже в 1830-е гг. (подробнее см. в предисловии А. И. Герцена к лондонскому изданию «Записок. . .» — *Герцен,* т. 13, с. 378—387, 591—595).

[52] . . .*с преосвященным Тихоном, епископом Задонским. . .* — Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Соколов; 1724—1783), воронежский и елецкий епископ, с 1769 г. поселился «на спокое» в Богородицком мужском монастыре в г. Задонске Воронежской губ.; в 1861 г. был канонизирован (день его памяти — 13 августа).

[53] *Сергей Павлович. . . скончался в 1863 году. . .* — Публицист-славянофил С. П. Колошин умер во Флоренции в 1868 г.

[54] . . .*в Павловском, которое так любила императрица Мария Федоровна.* — Село Павловское под Петербургом было подарено Екатериной II наследнику Павлу Петровичу и его супруге Марии Федоровне в 1777 г. по случаю рождения у них сына Александра (будущего Александра I). Мария Федоровна поселилась здесь, решив воссоздать родной ей парк Этюпа, поместье своих родителей (по рождению она — принцесса Вюртембергская София-Доротея-Августа-Луиза; 1759—1828). Позднее стал здесь жить и Павел, а село получило название города Павловска (с 1796 г.).

[55] . . .*известного в свое время статс-секретаря.* — Речь идет о Григории Ивановиче Вилламове (1771—1842). Сначала он служил переводчиком в Иностранной коллегии; в 1801 г. получил назначение «быть у исправления дел» при императрице Марии Федоровне; в 1828 г. стал ее статс-секретарем (высшее гражданское почетное звание) по IV отделению собственной ее императорского величества канцелярии, составив в конце концов книгу «Хронология деяний 〈...〉 императрицы Марии Федоровны в пользу состоявших под высочайшим ее покровительством заведений» (СПб., 1836).

[56] . . .*Михаила Федотовича, пожалованного при императоре Павле в графы и фельдмаршалы). . .* — Граф М. Ф. Каменский (1738—1809), будучи при Екатерине II в чине генерала, навлек на себя немилость императрицы, коснувшись вопроса о растрате казенных сумм в штабе Г. А. Потемкина, и вышел в отставку; но уже 26 ноября 1796 г. Павел I произвел его в генералы от инфантерии, в 1797 г. наградил его орденом св. Андрея Первозванного, а в день своей коронации (5 апреля 1797 г.) произвел Каменского в генерал-фельдмаршалы и возвел его в графское достоинство.

ГЛАВА ВТОРАЯ

[1] . . .*царицы Параскевы Федоровны, невестки Петра I. . .* — Царица Прасковья Федоровна (урожд. Салтыкова; 1661—1723), с 1684 г. жена царя Иоанна Алексеевича, мать императрицы Анны Иоанновны.

[2] . . .*был очень ученый человек. . . стал называться Феодосием Яньковским.* — Об этом периоде жизни бывшего польского шляхтича Федора Яньковича, будущего Феодосия Яньковского, И. Чистович писал: «По какому побуждению вступил он в монашество, неизвестно. Но какая-то тень лежит на первых годах его монашества 〈...〉 В проезд государя через Новгород Феодосий умел обратить на себя внимание Петра, и это произвело в его судьбе

роковой переворот ⟨...⟩ внимание государя надмило его против своего архипастыря, к которому Феодосий, забыв его благодеяния, начал относиться с гордостию и презрительностию ⟨...⟩ В конце 1767 года Иов отправил его ⟨...⟩ в Москву за типографией Симеона Полоцкого ⟨...⟩, а государь послал его в С.-Петербург, поручив ему осмотреть церкви и духовенство новозавоеванных городов ⟨...⟩ В бытность в Петербурге он первенствовал в некоторых важных духовных церемониях. В 1710 году он обручал и потом венчал племянницу государеву, великую княжну Анну Иоанновну с курляндским герцогом. В 1712 году Феодосий определен архимандритом новооснованного Невского монастыря ⟨...⟩ Находясь постоянно подле государя, Феодосий делался ближайшим советником его по церковным делам ⟨...⟩, скоро понял свое положение, вошел в мысли Петра и сделался для него необходимым человеком» (*Чистович,* с. 74—78).

[3] *...новгородским архиереем... членом Синода...* — Быстрое продвижение Феодосия Яньковского при Петре I, его чрезвычайное «радение» о нуждах Невского монастыря в ущерб многим другим монастырям, участие его в 1718 г. в деле отрешения причта Петропавловского собора в связи с делом царевича Алексея, а также его «неуживчивость», «заносчивость», «надменный тон и властительское вмешательство в чужие дела» — все это повело к тому, что «он оттолкнул от себя всех и нажил себе врагов всюду — между светскими и духовными, знатными и простыми, в белом духовенстве и монашествующем». Как пишет далеее исследователь, он попросил Петра «отпустить его на покой — на безмолвие» (*Чистович,* с. 78—83). «Вместо увольнения на покой Петр приказал поставить его в новгородские архиепископы, а с утверждением Синода назначил его, из уважения к его летам и заслугам, первым синодским вице-президентом» (там же, с. 83).

[4] *...после Яворского.* — имеется в виду митрополит рязанский и муромский Стефан Яворский (в миру Симеон; 1658—1722).

[5] *...ежели бы Прокопович не повредил ему... в монастырь.* — О соперничестве между Феодосием и другим «любимцем» Петра, архиепископом Феофаном Прокоповичем (1681—1736), поначалу как будто бы не было и речи. Исследователь пишет: «Феодосий и Феофан согласно действовали в одном направлении и в этом направлении сходились с государем. С Феодосием Феофан был уклончив, уступал ему повсюду первенство и во всем преимущество. Но зато Феофан первенствовал повсюду, где нужна была живая речь, ораторский талант и ум, широко образованный» (*Чистович,* с. 88). Позднее, при Екатерине I, соперничество между ними приняло острейшую форму и привело к вражде, проявившейся в обоюдных подкопах и доносах. В 1725 г. Феофан приписал Феодосию «бунт и заговор» и подал на него донос, повлекший арест соперника. «Мая 11-го уже подписан был указ о Феодосии с объявлением его преступлений. Указ этот составлен был Феофаном, с преувеличением и искажением многих подробностей суда и следствия над обвиняемым ⟨...⟩ 12 мая публично, с барабанным боем, обнародован был приговор над Феодосием, чтобы вместо заслуженной смертной казни сослать его в дальний монастырь, именно в Корельский в устье Двины, и содержать там под караулом неисходно» (там же, с. 167). В 1724 г. положение Феодосия из-за открывшихся дополнительных обвинений ухудшилось: было приказано посадить его в «каменную келью наподобие тюрьмы», где он и умер. Погребение первоначально было произведено здесь же, в монастыре; вскоре было совершено перезахоронение — в монастыре Кирилло-Белозерском (там же, с. 178—179).

[6] *Анненгофский дворец* — летний деревянный одноэтажный дворец с небольшим садиком. Петр I подарил его цесаревне Анне Петровне (такой же дворец был подарен им цесаревне Елизавете Петровне). «В конце царствования Екатерины II от них оставался один фундамент» (*Пыляев, Старый Петербург,* с. 73).

[7] *...граф Федор Матвеевич Апраксин, который в свое время был сильным человеком.* — Генерал-адмирал русского флота граф Ф. М. Апраксин (1661—1728) был одним из сподвижников Петра I, участником крупнейших морских походов; в 1726 г. был назначен членом Верховного Тайного совета, на который было возложено распоряжение всеми государственными делами.

[8] *...граф Петр Семенович Салтыков...* — Начав службу солдатом гвардии, сразу же был по распоряжению Петра I отправлен во Францию для обучения морскому делу. Карьера его началась при Анне Иоанновне, которая взяла его на придворную службу и возвела в графское достоинство. При Елизавете Петровне Салтыков отличился в качестве главнокомандующего русской армией в войне с Пруссией в 1759 г.; в этой же должности он был оставлен и Петром III и до 1764 г. находился в основном за границей. В этом году Екатерина II назначила его московским генерал-губернатором (см. также примеч. 43 к Главе первой).

[9] *. . .Иваном Петровичем. . . так ли его учат наукам.* — И. П. Салтыков (1730—1805), начав службу в гвардии и став вскоре камер-юнкером, бросил придворную службу для участия в Семилетней войне 1756—1763 гг.; закончив ее в чине генерал-майора, в дальнейшем участвовал во всех войнах России, достигнув звания генерал-фельдмаршала.

[10] *. . .в приходе Успения на Овражке, в Газетном переулке. . .* — После «пожалования» Екатериной II дома бывшей Межевой канцелярии Московскому университету «. . .Вражский Успенский переулок, идущий с Тверской на Никитскую улицу, стал называться Газетным, потому что в нем была первая газетная лавка, где подписчикам раздавались московские газеты» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 80—81).

[11] *. . .за именитым человеком Григорием Строгановым. . .* — Звание «именитых людей» было присвоено новгородским выходцам Строгановым при царе Михаиле Федоровиче за их огромные (около 4 млн. р.) пожертвования. Очевидно, речь идет о графе Григории Дмитриевиче Строганове (1656—1715).

[12] *. . .за родного племянника императрицы Екатерины Скавронского. . .* — Ошибка. Нужно: двоюродного брата. Речь идет о Мартыне Карловиче Скавронском (1714—1776), женатом на баронессе Марии Николаевне Строгановой.

[13] *. . .за Долгорукова, сына известной схимницы Нектарии. . .* — Речь идет о М. И. Долгорукове, умершем в 1794 г. Он был женат на Анне Николаевне Строгановой (ум. 1813). Имя Нектарии приняла в монашестве дочь Б. П. Шереметева Наталья Борисовна (1714—1771), последовавшая за своим мужем князем И. А. Долгоруковым в Сибирь. В Березове ее муж был арестован по доносу своих врагов и отправлен для повторного суда в Новгород, где и был казнен в 1739 г. Княгиня, вырастив детей, стала монахиней киевского Флоровского монастыря. В 1815 г. была напечатана повесть С. Н. Глинки «Образец любви и верности супружеской, или Бедствия и добродетели Натальи Борисовны Долгоруковой, дочери фельдмаршала Б. П. Шереметева, супруги князя И. А. Долгорукова» (*РВ,* 1815, кн. 1). Ей же посвящена одна из «Дум» К. Ф. Рылеева, открывающаяся словами: «Княгиня Наталия Борисовна, дочь фельдмаршала Шереметева, знаменитого сподвижника Петра Великого. Нежная любовь к несчастному своему супругу и непоколебимая твердость в страданиях увековечили ее имя» (см.: *Рылеев К. Ф.* Думы. М., 1975, с. 88). В 1828 г. появилась отдельным изданием поэма И. И. Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая». «Кто не знает истории сей достопамятной женщины в летописях наших? — писал о своей родной бабке поэт И. М. Долгоруков. — Кому не известны подвиги мужественного ее духа, героическая жизнь и кончина ее? Кто не прослезится, читая собственные ее записки о себе, ссылке мужа ее и общем пребывании ее с ним в Сибири! (речь идет о «Своеручных записках» Н. Б. Долгоруковой, опубликованных в 1912 г., рукопись которых хранилась у И. М. Долгорукова. — *Т. О.*) ⟨. . .⟩ имя ее и подвиги заслуживают по справедливости вековечной памяти ⟨. . .⟩ доколе не потеряется вовсе почтение к высоким добродетелям, к изящным подвигам души и сердца, и доколе лучи истинного христианского света будут озарять ум и сердце россиян, прилепленных к древнему своему отечеству и умеющих ценить деяния предков своих» (*Капище моего сердца,* с. 267—268; подробнее см.: *Корсаков,* с. 141—164).

[14] *. . .сын нижегородского дворянина. . .* — Отцом Лаврентия Юрлова был Михаил Матвеевич Юрлов, «помещик в Нижегородской губернии в Курмышском уезде, селе Сомове» (*Чистович,* с. 282).

[15] *Сродни ли были ему Троекуровы. . . в походах. . .* — И. Чистович пишет: «Лаврентий в юных летах остался сиротою и взят на воспитание в Москву, в дом боярина князя Ивана Борисовича Троекурова, и воспитывался вместе с сыном его И. И. Троекуровым. По достижении зрелого возраста он ходил вместе с ним, в качестве волонтера, в походы, два раза под Азов и под Ругодев» (*Чистович,* с. 282).

[16] *. . .но вдруг он задумал идти в монахи и постригся. . .* — И. Чистович приводит по этому поводу «анекдот», почерпнутый им из «Деяний Петра Великого»: «. . .как молодой паж вдовствующей царицы Марфы Матвеевны Юрлов, бывши с нею на ассамблее у голландца Гоппа, скрыл серебряный кубок, из которого пил государь Петр Алексеевич, и ⟨. . .⟩ царица, жалея пажа и закрывая от гнева царского, дала ему денег и посоветовала спасаться, как знает. Юрлов пропал без вести, а царица приняла на себя выговор и гнев царский. Между тем пристыженный и напуганный паж ушел в монастырь и постригся под именем Льва» (*Чистович,* с. 282).

[17] *. . .был после того архимандритом и, наконец, был сделан воронежским архиереем.* — Прежде чем получить чин архимандрита, Юрлов был монахом в Троице-Сергиевой лавре, потом строителем в астраханском Троицком монастыре, потом жил в Москве в Донском

монастыре, в Ростове и, наконец, в Александро-Невском монастыре в Петербурге. После этого он был «определен архимандритом в переяславский Горицкий монастырь Рязанской епархии», а в 1727 г. «произведен в епископы воронежские» (*Чистович,* с. 282—283).

[18] *...почему-то не отслужил вскорости молебна... донес на него в Синод.* — Чистович, рассказывая о волнениях и слухах в столице и в «отдаленных концах России» перед воцарением Анны Иоанновны, пишет: «Во время самого разгара толков и смут обнародован был манифест о смерти Петра II и об избрании императрицы Анны. В Воронеж пришел манифест 14 февраля. Местный вице-губернатор Пашков отослал его к преосвященному Льву. Тот ничего не отвечал, а между тем на следующий день 〈...〉 велел везде, где надо было, поминать имя государыни, поминать о благочестивейшей великой государыне нашей царице и великой княгине Евдокии Федоровне и о державе их, а потом о благоверных государынях цесаревне и цесаревнах. Так и сам он вспоминал на литургии, по принятии св. даров в царских дверях. С того дня и в прочие дни воспоминание во всех церковнослужениях производимо было так же. Пашков 18 числа послал к нему 〈...〉 с требованием объявить манифест по обычаю и назначить, когда этому быть. Епископ объявил, что „церковного поминовения о государе-императоре и молебного торжества о ее императорском величестве, без присланного к нему о том особливого точного указа из Синода, собою чинить опасен, рассуждая то, что, может быть, не сделается вперед другой какой отмены". Пашков донес об этом в Москву». За это ослушание Льва сочли государственным преступником и объявили приговор: «...лишить его всего священнического и монашеского чина и предать на суд гражданский», и в конце концов было решено сослать его «в Крестный монастырь и содержать за караулом в келье неисходно и никого к нему не допускать и чернил и бумаги для письма не давать» (см.: *Чистович,* с. 283—289).

[19] *...был еще и в дружестве с архиереем из рода Дашковых...* — Еще во время пребывания в Троице-Сергиевом монастыре Лев «пользовался ближайшим руководством монастырского духовника, иеромонаха Георгия Дашкова», — пишет Чистович. Когда Дашков стал ростовским епископом, Лев поселился у него. Во время «объяснений» Льва в Синоде по его делу Дашков заступился за него и приостановил было его процесс. Льва решено было «переместить» в Астрахань «на высшую степень» (см.: *Чистович,* с. 285).

[20] *...которых Прокоповичу хотелось стереть с лица земли... с ужасом об нем отзывался.* — Ф. Прокопович, воспользовавшись заступничеством Георгия Дашкова за Льва, оговорил первого перед Анной Иоанновной, и следствием этого было сначала издание указа, по которому Дашков увольнялся из Синода, и вскоре против него было возбуждено судебное преследование. Поначалу наказание было очень мягким: за ним сохранялся сан епископа и он определен был в харьковский монастырь. Но, по словам И. Чистовича, Феофан продолжил преследование своего врага, организовав новое разбирательство, обвинение по которому гласило: «Георгия, лиша сана, сослать немедленно под крепкое смотрение в Каменный вологодский монастырь. Письма, какие будет писать или получать, отбирать у него и присылать в правительствующий Сенат» (*Чистович*, с. 285—292). Но этим Прокопович не ограничился; дальнейшими его стараниями посхимленного Георгия Дашкова (теперь Гедеона) было приказано «отправить в Нерчинский монастырь и содержать его там до смерти неисходно и не слушать никаких объявлений, хотя бы о государевом слове и деле» (там же, с. 365). Рассказывая о делах Льва, Гедеона и многих других, Чистович, отступая от обычного строгого стиля, восклицает: «Феофан целую жизнь не считал безопасным своего положения 〈...〉 Сколько людей погубил он совершенно напрасно, измучил, сжег медленным огнем пытки и заточения — без всякого сострадания и сожаления» (там же, с. 348).

[21] *...стали прославляться мощи ростовского митрополита святителя Димитрия...* — Митрополитом ростовским Димитрий Туптало (1651—1709) стал с 1702 г. по соизволению Петра I. Открытие его мощей состоялось в 1752 г., а в 1757 г. он был причислен к лику святых. Популярность его во многом объяснялась тем, что он считался защитником всех слабых и угнетенных. Известен он в основном как составитель Четьих-Миней, выдержавших около 10 изданий.

[22] *...послали в Белгород... заметками святителя.* — Этот эпизод был впоследствии подробно развернут Д. Д. Благово в его очерке, посвященном деду А. Д. Янькову (об очерке см. во вступ. статье — с. 374).

[23] *В родословной Долгоруких, Татищевы... пропущены... следует поместить в родословной (изд〈ание〉 «Русской старины»)...* — В первой части «Российской родословной книги» П. В. Долгорукова (о ней см. примеч. 17 к Главе седьмой) во второй главе Татищевы названы («1801 — Татищевы» — с. 12), а на с. 223—230 помещен раздел «Графы и дворяне

Татищевы». Журнал «Русская старина» регулярно помещал на страницах своих томов «Родословия» (перечень их см.: Систематическая роспись содержания «Русской старины». Изд. 1870—1884 гг. СПб., 1885, с. 135). Специальное «Родословие» Татищевых появилось уже по смерти Д. Д. Благово. Речь идет о книге С. С. Татищева «Род Татищевых. 1400—1900. Историко-генеалогическое исследование» (СПб., 1900). Здесь «собраны более или менее обстоятельные сведения о 649 представителях рода 〈...〉 в 16 коленах» и даны «краткие биографии представителей рода» (*ИВ,* 1901, № 2д, с. 765—766). В 1873—1875 гг. отдельным изданием вышла двухтомная «Русская родословная книга. Изд. ред. „Русской старины“», составленная князем А. Б. Лобановым-Ростовским. В ней Татищевы пропущены.

[24] *...малолетний Шляхетский корпус...* — Это привилегированное учебное заведение для дворянских сыновей было основано в 1740 г. Здесь, обучаясь наукам, мальчики получали военные чины.

[25] *...известный Иван Иванович Бецкий...* — И. И. Бецкий (Бецкой, 1704—1795), генерал-поручик, видный деятель российского просвещения; он основал ряд учебных заведений и в их числе Воспитательное общество благородных девиц; был известен своей благотворительностью; являлся одним из воспитателей великих князей Александра и Константина Павловичей; с 1865 г. — шеф Сухопутного Шляхетского кадетского корпуса. Ему посвящено стихотворение Г. Р. Державина «На кончину Благотворителя. (И. И. Бецкого)».

[26] *...воспитывался первый из Бобринских, впоследствии граф Алексей Григорьевич.* — А. Г. Бобринский (1762—1813), сын Екатерины II и Г. Г. Орлова. В 1781 г. Екатерина II пожаловала ему герб, что и положило начало дворянскому роду Бобринских. Почти сразу по восшествии на престол Павел I произвел Бобринского в генерал-майоры и возвел его в графское достоинство; его сын граф Алексей Алексеевич (1800—1868) был приятелем А. С. Пушкина.

[27] *...день Рождества Христова.* — Праздник рождества приходится на 25 декабря.

[28] *...со времени чумы...* — Речь идет об эпидемии 1770—1771 гг. (см. примеч. 42 к Главе первой).

[29] *...в подмосковной, в селе Горках...* — о Горках см. на с. 389. Д. Д. Благово, разойдясь с женой, оставил ей все свое имение, вскоре пошедшее с торгов (см. с. 362).

[30] *...в их дом... на Пометном Вражке.* — Этот дом представлял собою «большие старинные тесовые хоромы в один этаж», стоявшие посредине обширного двора. В одной из зал дома был великолепный домашний театр; в нем ставились «домашние благородные спектакли, на которые 〈...〉 приезжала вся московская знать...» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 475—480).

[31] *...Ивана Михайловича, который был сочинителем и стихотворцем.* — И. М. Долгоруков (1764—1823), автор популярного стихотворения «Камин в Пензе», начал печататься с 1788 г. В 1802 г. вышел его первый поэтический сборник, изданный вновь в 4-х частях в Москве в 1817—1818 гг.,— «Бытие сердца моего, или Стихотворения князя Ивана Михайловича Долгорукова». В предисловии к сборнику автор писал: «Не сгори Москва, не растерзай француз всех библиотек в столице, я бы не печатал снова моих произведений». Сочинения его в двух томах были изданы А. Ф. Смирдиным в 1849 г.

[32] *Николин день* (Николы летнего) — 9 мая.

[33] *...большою иконой Влахернской божьей матери...* — Икона богородицы Влахернитиссы, изначально находившаяся во Влахернском храме в Константинополе, считалась «непреоборимым щитом»; она «была своего рода палладием империи и сопровождала ее армии в походах» (см.: *Кондаков Н. П.* Иконография Богоматери. Пг., 1915, т. 2, с. 60—61).

[34] *...нахт-тиш (то есть туалет) серебряный...* — ночной столик (от нем. Náchttisch)

[35] *...родственника Яньковых и их опекуна...* — В книге «Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни» сын М. И. Долгорукого И. М. Долгорукий, говоря о семействе Яньковых, писал: «...отец мой был очень дружен с их домом и так тесно связан приязнью, что, по смерти отца и матери, дети их два сына и две дочери, вошли имением своим и сами собой в полное батюшкино распоряжение Сыновья, Николай и Дмитрий, тотчас отданы в Кадетский корпус, а девушки, Анна и Клеопатра, перевезены к нам в дом 〈...〉 О прочих членах сего семейства упомянуть должен, что каждый из них с беспредельным уважением к нашему дому обходился с нами до последних дней жизни 〈...〉 и связь наша с ними есть связь самая прочная, твердая и постоянная» (*Капище моего сердца,* с. 362—363).

[36] *...дом... на Мясницкой... был продан в 1784 году... См. «Капище моего сердца».* — О своем московском доме И. М. Долгоруков писал не в «Капище моего сердца...», а в изданной позднее книге, которая называется «Записки князя И. М. Долгорукова. Повесть о рож-

дении моем, происхождении и всей жизни. 1764—1800» (Пг., 1916), частично публиковавшейся в 1844—1845 гг. Позднее в доме № 22 по Тверской была «студия Худож⟨ественного⟩ театра. Дом этот снесен. После князя И. М. Долгорукого дом перешел к кн. А. Г. Голицыну, в 1813 году к графу Моркову, в 1832 г. ⟨к⟩ С. Ю. Самариной» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 66).

[37] *...затеяли было интригу... Свидание... было в Киеве... в 1770 году...* — Источники этой легенды неизвестны. Никакого свидания в Киеве с Иоанном Антоновичем быть не могло — он постоянно находился в заключении в Шлиссельбургской крепости и в 1764 г. был убит (см. примеч. 25 к Главе пятнадцатой).

[38] *Кошелек* — здесь: сетка, мешочек для волос или косы. Такой кошелек был в XVIII в. частью мужского головного убора.

[39] *...во время чумы, бывшей в Киеве.* — Эпидемия чумы свирепствовала на Украине в 1769—1770 гг.; отсюда она перекинулась в Москву (см. примеч. 42 к Главе первой).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

[1] *...мимо церкви... остановились у крыльца...* — О доме и церкви в Горках в *Экз. В. К. Журавлевой* помета: «...теперь (1958 г.) одни развалины; все разорено во время войны 1941 г. Дома вообще нет, гладкое место» (с. 70).

[2] *...праздник Казанской богоматери* отмечается церковью 8 июля и 22 октября. В данном случае речь идет о летнем празднике.

[3] *...храмовые главные праздники...* Речь идет о так называемых двунадесятых праздниках, к которым относятся рождество Христово, крещение господне, сретение, благовещение, вход господень в Иерусалим, вознесение, троица, преображение, рождество богородицы, воздвижение креста, введение во храм богородицы и успение богородицы.

[4] *...на княжне Львовой Марье Семеновне...* — «...в 1785 г. она была в связи с графом А. Г. Орловым-Чесменским, ездила с ним в 1797 г. за границу и умерла в 1838 г.» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 73).

[5] *...Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф... осанна в вышних».* — Слова из богослужебного песнопения «Милость мира, жертву хваления» («Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы твоея. Осанна в вышних! Благословен грядый во имя Господне! Осанна в вышних!»).

[6] *Марья Степановна Талызина* «была замужем за Александром Федоровичем Талызиным (1734—1787), сенатором, тайным советником, капитаном лейб-гвардии Семеновского полка. В его мундир была одета Екатерина II во время переворота 28 VI 1762 г. Дом его был на Воздвиженке, № 5. Строил Казаков» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 79).

[7] *...быть на том ужасном бале... у австрийского посла по случаю второго брака Наполеона с дочерью австрийского императора...* — А. Б. Куракин в 1808 г. был назначен русским послом в Париже и пробыл там до 1812 г. Упоминаемый здесь праздник давался в 1811 г. австрийским послом князем Шварценбергом по случаю бракосочетания Наполеона I с эрцгерцогиней Марией-Луизой. Во время пожара на балу погибло около 20 человек и в их числе жена самого посла. М. И. Пыляев так описал «несчастье» с Куракиным: «Он очень обгорел, у него совсем не осталось волос, голова повреждена была во многих местах, и особенно пострадали уши, ресницы сгорели, ноги и руки были раздуты и покрыты ранами, на одной руке кожа слезла как перчатка. Спасением своим он отчасти был обязан своему мундиру, который весь был залит золотом; последнее до того нагрелось, что вытащившие его из огня долго не могли поднять его, обжигаясь от одного прикосновения к его одежде. Независимо от здоровья Куракин лишился еще во время суматохи бриллиантов на сумму более 70 000 франков...» (см.: *Замечательные чудаки и оригиналы*, с. 156—157). Причиной же такого несчастья с Куракиным была, по словам секретаря посольства барона Крюднера, его собственная «вежливость и рыцарское чувство к дамам»: он «оставался почти последним в огромной, объятой пламенем зале, выпроваживая особ прекрасного пола и отнюдь не позволял себе ни на один шаг их опереживать». В результате этого «Куракина сбили с ног, повалили на пол, через него и по нем ходили...» (см.: *Записки Д. Н. Свербеева*, т. 1, с. 219).

[8] *Ольгово тогда было еще совсем не то... пристроено после.* — Подробнее об Ольгове см. примеч. 23 к Главе первой.

[9] *Филагрий* «имел дочь Прасковью, мать декабриста Ив. Дм. Якушкина. См. у Шторма, с. 188» (*Экз. В. К. Журавлевой, с. 80*).

[10] *...воспитывалась в Смольном монастыре... монастырь был переименован в институт.* — Воскресенский Смольный женский монастырь в Петербурге был основан в 1744 г. в Смольном дворце, принадлежавшем Елизавете Петровне. В 1764 г. при монастыре по указу Екатерины II было основано Воспитательное общество благородных девиц — закрытое привилегированное учебное заведение для дочерей дворянской знати. В 1765 г. здесь же открылось отделение «для девиц мещанских», а в 1796 г. Смольный вошел в Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны.

[11] *Людерс... три портрета...* — Эти портреты работы уроженца Саксонии художника-портретиста Давида Людерса (1710—1759), работавшего в Петербурге и Москве, описаны и воспроизведены в статье: *Голомбиевский А.* Давид Людерс и его новые портреты. — Старые годы, 1911, № 7; они воспроизведены в настоящем издании — см. вкл.). Голомбиевский пишет: «Три портрета Людерса 〈...〉 давно известны по описанию их в книге „Рассказы бабушки", но никогда не были воспроизведены. Барон Врангель в своем описании Музея Александра III (речь идет о VIII вып. «Каталога портретной выставки в Таврическом дворце». — *Т. О.*) перечисляет их, но прибавляет, что „местонахождение их неизвестно". В настоящее время все эти портреты 〈...〉 принадлежат правнучке последней (т. е. Е. П. Яньковой. — *Т. О.*), урожденной Благово, в Казани» (с. 3). Ныне — в частном собрании В. К. Журавлевой (Москва).

[12] *...пошиб напоминает портреты известного Лампи...* — Австрийский живописец-портретист Иоганн Батист Лампи Старший (1751—1830) был приглашен Екатериной II в Петербург и провел здесь шесть лет (1792—1798), написав знаменитый портрет самой императрицы и множество портретов членов императорской семьи, сановников и придворных.

[13] *...в малолетнем Шляхетском корпусе в Петербурге...* — См. примеч. 24 к Главе второй.

[14] *Поздеев... был масон, попавшийся в историю, которая была в конце 1780-х годов.* — Масонство, или франкмасонство (от франц. franc-mason — вольный каменщик) — религиозно-этическое течение, распространившееся в начале XVIII в. в Англии, а затем в других странах. Осип Алексеевич Поздеев был одним из виднейших представителей масонства, мастером розенкрейцерской ложи в Петербурге, мастером ложи Орфея в Рязани (от Московской ложи Трех знамен) и т. д. (о нем см.: *Пыпин А. Н.* Русское масонство. Пг., 1916, по указателю имен). После 1784 г. жил в селе Чистякове (под Москвой). Упоминаемая здесь «история» — это, очевидно, расправа с Н. И. Новиковым (в 1792 г.), обвиненным в антиправительственной деятельности и заключенным в Шлиссельбургскую крепость. Репрессивные акции были предприняты и по отношению к другим масонам. Отнесение «бабушкой» истории к «концу» 1780-х годов», очевидно, ошибочно.

[15] *...множество масонских картин, книг разных и всяких вещей, которые масоны употребляли на своих собраниях.* — Поздеев в 1784 г. был так называемым обрядоначальником Теоретического Градуса (Н. И. Новиков являлся ритором) Провинциальной Ложи. Очевидно, именно этим объясняется наличие упоминаемых в тексте масонских атрибутов, применявшихся во время обряда вступления в ложу (описание одного из таких обрядов см. в кн.: *Вернадский Г. В.* Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917, с. 20—23; см. также названную выше книгу А. Н. Пыпина, с. 47—66). Среди «книг разных и всяких вещей» обязательными были Библия, компас, угольник, шпага с извилистым лезвием, три светильника и т. д.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

[1] *...скончалась императрица.* — Екатерина II умерла 6 ноября 1796 г.

[2] *...манифест Петра III о его отречении...* — «Отречение» было составлено камергером Г. Н. Тепловым, по словам С. М. Соловьева, человеком «безнравственным, смелым, умным, ловким, способным хорошо говорить и писать» (*Соловьев,* кн. 13, с. 84), и подписано Петром III. Текст его гласил: «В краткое время правительства моего самодержавного Российским государством самым делом узнал я тягость и бремя, силам моим несогласное, чтоб мне не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительство владеть Российским государством, почему и восчувствовал я внутреннюю оного перемену, наклоняющуюся к падению его целости и к приобретению себе вечного чрез то бесславия; того ради,

помыслив, я сам в себе беспристрастно и непринужденно чрез сие объявляю не только всему Российскому государству, но и целому свету торжественно, что я от правительства. Российским государством на весь век мой отрицаюся, не желая ни самодержавным, ниже иным каким-либо образом правительства во всю жизнь мою в Российском государстве владеть, ниже оного когда-либо или через какую-либо помощь себе искать, в чем клятву мою чистосердечную пред богом и всецелым светом приношу нелицемерно. Все сие отрицание написал и подписал моею собственною рукой» (там же, с. 100).

[3] *...и газеты 1762 года...* — в «Прибавлениях» к № 55 от 6 июля 1762 г. «Санкт-Петербургских ведомостей» были напечатаны «Манифест о вступлении на престол Екатерины II» и обнародовано «отречение» Петра III. В первые же дни вступления на престол Екатерина разослала по всем губерниям огромное количество манифестов и указов, подобных следующим, напечатанным позднее в Полном собрании законов (т. XVI): «Божиею милостию мы Екатерина Вторая императрица и самодержица Всероссийская и пр. и пр. и пр. Нашему Рижскому губернатору генерал-аншефу Броуну.

Вчера мы вас уведомили о благополучном нашем восшествии на Всероссийский престол, а ныне повторительно уведомляем, что впоследствии того бывший император своеручным и торжественным удостоверением письменно вовсе от престола в империи отказался, о чем мы вскоре и публикацию учиним. Дан в Петергофе 1762 года июня 29 дня. Екатерина» (см.: Осьмнадцатый век. Исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым. М., 1869, кн. 1, с. 451).

[4] *...в соборе...* — Вероятно, речь идет о кремлевском Успенском соборе, основанном митрополитом Петром в 1326 г. (см.: *Забелин*, с. 73—74).

[5] *Петров день* — праздник Петра и Павла отмечается церковью 29 июня.

[6] *...в московском Благородном собрании.* — Московский дворянский клуб, или Российское Благородное собрание, помещался в доме, прежде принадлежавшем кн. В. М. Долгорукову (ныне это здание Дома союзов — Пушкинская ул., д. 1; фасад со стороны просп. Маркса перестроен). Приобретенный у Долгорукова в 1784 г., дом был приспособлен к новой роли — служить местом общественных собраний и увеселений. С конца XVIII в. здесь устраивались балы, общественные приемы, публичные концерты.

[7] *...двадцатипятилетие ее воцарения.* — Торжества, посвященные этому событию, происходили в Москве в июне 1787 г.

[8] *В этот день было провозглашение московского архиепископа Платона митрополитом.* — Речь идет о митрополите московском Платоне (Левшине; 1737—1812); в 1763 г. он был избран Екатериной II законоучителем к наследнику Павлу Петровичу, а затем и к его невесте Наталии Алексеевне. После их бракосочетания в 1773 г. он уехал в Тверь, а с 1775 г. в течение 37 лет занимал архиепископскую кафедру в Москве.

[9] *...великий праздник, который давал Шереметев императрице у себя в Кускове...* — П. Б. Шереметев принимал Екатерину II «со всем двором и блестящею свитою» 30 июня 1787 г. «Екатерина вступила на кусковскую землю чрез великолепную арку, убранную оранжерейными растениями, между которыми были размещены символические картины с приветственными надписями. Наверху галереи играла музыка. При приближении поезда к подъемному мосту стоявший на Большом пруде двадцатипушечный корабль и другие меньшие суда салютовали, а с берегов также гремели пушечные выстрелы. К большому дому вела галерея живых картин: здесь стояли попарно жители и слуги Кускова с корзинами цветов, девушки в белых платьях и венках рассыпали букеты на пути. Через большой сад хозяин провел царицу в сад английский и лабиринт, где при вечернем солнце показывал свои прихотливые сооружения и редкости, а после повел царицу в театр, где давали оперу „Самнитские браки" и в заключение балет ⟨...⟩ стол ⟨...⟩ в этот день был сервирован золотою посудою на шестьдесят персон ⟨...⟩; плато, которое было поставлено перед императрицей ⟨...⟩ представляло рог изобилия, все из чистого золота, а на том возвышении был вензель императрицы из довольно крупных бриллиантов ⟨...⟩ Перед началом фейерверка государыне подали механического голубя, и с ее руки он полетел к щиту с ее изображением и парящей над нею Славой; вместе с этим щитом в один миг вспыхнули и другие, и пруд и сад залились ярким светом. Во время фейерверка разом было пущено несколько тысяч больших ракет, и иностранцы, бывшие на празднике,удивлялись, как частный человек мог тратить несколько тысяч пудов пороху для минутного своего удовольствия» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 172—174).

[10] *Гром победы раздавайся...* — Этот знаменитый полонез с хорами был сочинен капельмейстером О. А. Козловским (на слова Г. Р. Державина) специально для торжества,

устраиваемого в Таврическом дворце кн. Г. А. Потемкиным в честь Екатерины II. Он был известен также под названием «Славься сим, Екатерина» (начальные слова припева). До 1833 г. полонез служил русским национальным гимном.

[11] ...*о милостях нового государя.* — Вероятно, речь идет о таких актах нового императора, как пожалование дворянству более 600 000 крестьян, о введенных им ограничениях в эксплуатации крестьян (указ о трехдневной барщине), о некоторых реформах в армии и т. п. (см. также «Список о милостях, излиянных покойным государем имп⟨ератором⟩ Павлом I, в день коронации», оставленный М. И. Семевским и изданный отдельной брошюрой).

[12] ...*приверженцы «малого двора»... большой двор не очень к ним хорошо относился.*— «Большим» именовался двор самого императора или императрицы; одновременно существовало несколько «малых дворов», принадлежавших отдельным представителям императорской фамилии. Будущий император Павел I жил при Екатерине II в Гатчине. Он приехал в Петербург накануне смерти императора.

[13] *Андрей Первозванный* — старший из русских орденов, учрежденный Петром I в 1698 г. Он имел одну степень и три знака: в виде синего креста с изображением распятого апостола Андрея в двуглавом орле, увенчанном тремя коронами; в виде звезды (см. примеч. 87 к Главе девятой) и в виде ленты (см. примеч. 47 к Главе первой).

[14] ...*Иван Петрович в последние годы императрицы был в немилости...* — И. П. Архаров (ум. 1815), сначала служивший в Преображенском полку, был переведен в армию в чине подполковника. При Павле I он был произведен в генералы от инфантерии и в 1796 г. награжден орденом Александра Невского. Вскоре после этого Архаров был назначен военным губернатором Москвы. В день коронации Павла I он получил в командование московский гарнизон, который стал называться «архаровским». В 1797 г. «впал в немилость»: был отставлен от должностей и отправлен в свои тамбовские поместья, где и пребывал до 1801 г. Александр I разрешил ему въезд в Москву и Петербург. Архаров поселился в Петербурге, где и умер.

[15] ...*звездой, Анненскою...* — Орден св. Анны был учрежден в 1736 г. владетельным герцогом Шлезвиг-Гольштейнским Карлом Фредериком в честь своей супруги Анны Петровны и причислен к русским орденам Петром III. Орден имел четыре степени, но лишь в одной из них (первой) одним из элементов была звезда. Эта степень имела два варианта: в виде большого золотого креста, покрытого красной финифтью и украшенного короной. Его носили на красной с желтою каймой ленте через левое плечо и с кованой серебряной звездой на правой стороне груди. В центре звезды изображался красный крест; другой был в виде такого же креста, но без короны и тоже с серебряной звездой.

[16] ...*Александровскою...* — см. примеч. 15 к Главе первой.

[17] ...*государыня своею рукой писала к нему, чтоб он отправился против возмутителя.* — «Именной указ ген⟨ерал⟩-м⟨айору⟩ Кару 14 октября» гласил: «Взять в свою команду все войска, там находящиеся, да 300 чел⟨овек⟩, отправл⟨енных⟩ при генерале Фреймане, да из Новгорода гренадерскую роту, да башкирцов, и поселенных в Казанской губернии.

[Из Воен⟨ной⟩ Колл⟨егии⟩. Ему же знать дают, что сверх того 300 чел. из Томско⟨го⟩ полку и одна пушка]. Вятскому полковнику Миллеру 2 пушки.

Отправить роту (14 окт⟨ября⟩) в Москву, оттуда в Казань» (*Пушкин,* т. 9_2, с. 619; см. также с. 623 — об указе Кару от 23 октября).

[18] ...*без спроса уехал.* — А. С. Пушкин в примечаниях к «Истории Пугачева» писал: «Кар был ⟨...⟩ употреблен в делах, требовавших твердости и даже жестокости (что еще не предполагает храбрости, и Кар это доказал). Разбитый двумя каторжниками, он бежал под предлогом лихорадки, лома в костях, фистулы и горячки. Приехав в Москву, он хотел явиться с оправданиями к князю Волхонскому, который его не принял. Кар приехал в Благородное собрание, но его появление произвело такой шум и такие крики, что он принужден был поспешно удалиться ⟨...⟩ Сей человек, пожертвовавший честью для своей безопасности, нашел, однако ж, смерть насильственную: он был убит своими крестьянами, выведенными из терпения его жестокостию» (*Пушкин*, т. 9_1, с. 372).

[19] ...*отставлен с полным мундиром...* — Мундир, т. е. форменная одежда гражданских чинов, означала место служения, а также степень, звания и должности (причем различались формы парадная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая дорожная и летняя). Формула «отставление от службы» (в отличие от отставки) означала наказание, назначаемое и офицерам и гражданским чиновникам военного ведомства за преступления и проступки по службе.

[20] ...*с государыней...* — Речь идет о Марии Федоровне (см. о ней примеч. 54 к Главе первой).

[21]. . .*в новом Петровском дворце*. . . — Петровский «подъездной» дворец-замок в готическом стиле был построен по повелению Екатерины II в 1775—1776 гг. архитектором М. Ф. Казаковым на Петровском тракте в ознаменование заключения мира с Турцией (ныне — Ленинградский проспект).

[22] . . .*еще великого князя*. . . — Т. е. Павла Петровича до его воцарения.

[23] *Вербное воскресенье* отмечается церковью за неделю до пасхального.

[24] . . .*старшие великие князья*. . . — Речь идет об Александре Павловиче и Константине Павловиче.

[25] . . .*жена Александра Павловича, была красоты неописанной*. . . — Речь идет о будущей императрице Елизавете Алексеевне, урожд. принцессе Луизе-Марии-Августе (1779—1826). Известен ее портрет кисти художника Клабера (воспроизведен: *РС*, 1884, № 1).

[26] . . .*из часовни Иверской*. . . *остановилась на площадке*. . . — «Недалеко от Лобного места существует еще другое место, мимо которого не проходит москвич, не снявши шапки. Это — Иверская часовня. Икона богоматери, находящаяся в часовне, в таком почтении, что нет в целом году дня, в который бы она с утра до вечера не переходила из дома в дом. История этого образа следующая: в 1653 году патриарх Никон предположил соорудить на Валдайском озере монастырь во имя чудотворной иконы Иверской божьей матери, находящейся на Афонской горе. Для этого он послал архимандрита Пахомия на Афон для точного снятия списка с образа. В 1666 году Пахомий привез требуемый список, но в это время Никон был под гневом царя и жил в Вологодской губернии, царь не приказал ставить ее в Никонов монастырь, а указал для нее поставить у Курятных ворот часовню. В 1791 г. эта Иверская часовня пришла в ветхость, Екатерина II приказала ее перестроить ⟨. . .⟩ Золотая риза на иконе ⟨...⟩ сделана ⟨...⟩ художником Василием Кункиным ⟨...⟩, весит 27 фунтов 59 $^{1}/_{2}$ золотников. Икона эта в ночь перед вступлением французов в Москву, в 1812 году, была увезена в Муром ⟨...⟩ и возвращена в Москву в том же году, 10-го ноября» (*Пыляев*, *Старая Москва*, с. 417—418). Ныне она находится в церкви Воскресения (у входа в парк Сокольники).

[27] . . .*до Великой субботы*. — Т. е. субботы на страстной неделе, накануне пасхального воскресенья.

[28] . . .*в Чудове*. . . — Т. е. в Чудове монастыре в Кремле.

[29] . . .*не приобщались*. . . — То же, что не причащались, т. е. не приобщались святых таин (ср. примеч. 16 к Главе первой).

[30] . . .*с Красного крыльца*. . . — Дворцовое крыльцо в Кремле, служившее для особых торжеств.

[31] . . .*трезвонили еще к Евангелию*. . . — См. примеч. 17 к Главе первой.

[32] . . .*в царском далматике*. . . — Здесь далматик — принадлежность одежды при короновании русских государей, представлявшая собою накидку с широкими рукавами и до половины икры длиной.

[33] . . .*и Андрея*. . . — Орден Андрея Первозванного. См. выше, примеч. 13.

[34]. . .*в Вифании*. . . — Речь идет о Спасо-Вифанском монастыре близ Троице-Сергиевой лавры.

[35] *Преполовение* празднуется в среду, на 25-й день после пасхи.

[36] . . .*во всю Светлую седмицу*. . . — Т. е. пасхальную (светлую или святую) неделю.

ГЛАВА ПЯТАЯ

[1] . . .*дом*. . . *на Зубовском бульваре*, принадлежавший П. М. Римскому-Корсакову, не сохранился.

[2] . . .*при взятии Очакова*. . . — Крепость Очаков в 1788 г. была осаждена и взята войсками Г. А. Потемкина при содействии флота.

[3] . . .*слух, что в ночь на 12 марта*. . . *скончался*. — Убийство Павла I вызвало бесчисленные слухи и толки, хотя в официальном сообщении утверждалось, что он скончался от «апоплексического удара» (СПб. ведомости, 1801, 15 марта, № 24). Действительные обстоятельства убийства императора были преданы гласности лишь в 1861 г. в кн. II «Исторического сборника Вольной русской типографии» в Лондоне.

[4] . . .*дождались коронации, которая была назначена в начале сентября*. . . — Коронационные торжества происходили в Москве 16 сентября.

[5] . . .*у моей золовки*. . . — Речь идет об Анне Александровне Яньковой.

[6] *Праздник Покрова* — праздник покрова богородицы отмечается церковью 1 октября.

[7] *. . . поклониться праху преосвященного Тихона. . .* — О Тихоне Задонском см. примеч. 52 к Главе первой.

[8] *Однодворцы* — лица из числа низшего разряда служилых людей, которым предоставлялся небольшой земельный участок на правах поместья; со временем они были приравнены к крестьянству. М. И. Пыляев приводит рассказ А. В. Макарова о жизни таких «недостаточных помещиков, осуждавших себя на вечное житье в подмосковных и других имениях»: «. . . жилые постройки их большею частию состоят из двух деревянных связей, разделенных сенями, которые, однако ж, впоследствии обращались иногда в приемную комнату, сени же прирубались с боков; все это было крыто соломенными снопиками, иногда тростником. . .» (*Пыляев*, *Старая Москва*, с. 322).

[9] *Спасов день* — Праздники спас первый, спас второй (яблочный) и спас третий (спас на полотне) отмечаются церковью соответственно 1, 6 и 16 августа.

[10] *. . . Куликово поле, где Дмитрий Донской разбил Мамая.* — Речь идет о победе объединенных сил русских князей под предводительством великого князя Димитрия Ивановича над ордынским ханом Мамаем 8 сентября 1380 г. Битва происходила на Куликовом поле, лежащем при впадении реки Непрядвы в Дон (западнее нынешнего села Монастырщина Куркинского района Тульской области).

[11] *. . . есть большая яма. . . кладовая с железными створами. . .* — Никаких письменных источников, подтверждающих это предание, отыскать не удалось.

[12] *. . . после Николина дня. . .* — Речь идет о празднике Николы зимнего (6 декабря).

ГЛАВА ШЕСТАЯ

[1] *. . .Екатерининской ленты первой степени.* — Лента Екатерининского ордена была красная с серебряной каймой. Ее носили через правое плечо (см. также примеч. 48 к Главе первой).

[2] *. . . несчастною королевой Марией-Антуанеттой. . .* — Мария-Антуанетта, жена Людовика XVI, свергнутого в результате народного восстания 10 августа 1792 г., была вместе с ним 11 января 1793 г. предана суду Конвента и гильотинирована.

[3] *. . . незадолго до начала революции.* — Речь идет о Великой французской буржуазной революции, начавшейся 14 июля 1789 г.

[4] *. . .le princesse Moustache. . .* — У Н. П. Голицыной, «княгини Усатой», были и еще прозвища — «Moustachine» — «Усачка», или «fée Moustachine» — «Усатая фея». Считается, что она послужила Пушкину одним из прототипов Пиковой дамы. «В свете княгиня властвовала, всеми признанная. К ней вели каждую молодую девушку на поклон. Гвардейский офицер, только что надевший эполеты, являлся к ней как к главнокомандующему» (см.: *Замечательные чудаки и оригиналы*, с. 275).

[5] *. . . при дворе Елены Павловны. . .* — Речь идет о великой княгине Елене Павловне (урожд. Фредерике-Шарлотте-Марии принцессе Вюртембергской; 1806—1873; с 1824 г. супруге великого князя Михаила Павловича), собиравшей у себя в Михайловском дворце (ныне здание Русского музея) представителей либеральной аристократии, литературы и искусства.

[6] *. . .кавалерственною дамой большого креста.* — «Кавалерственные дамы» обязательно имели орден св. Екатерины (см. примеч. 48 к Главе первой), имевший две степени: большого креста и меньшего (или кавалерственного). Первый, кроме лиц царской семьи, жаловался только 12 русским дамам, а всех дам кавалерственного креста было 94.

[7] *Долгоруков* Юрий Владимирович (1740—1830) был генерал-губернатором Москвы при Павле I.

[8] *. . . граф Орлов. . . тешил весь город своими праздниками. . .* — «Сад графа в Нескучном был расположен на полугоре, разбит на множество дорожек, холмов, долин и обрывов и испещрен обычными постройками в виде храмов, купален, беседок 〈...〉 Все памятники и постройки в этом саду напоминали подвиги и победы графа А. Г. Орлова. Летом ни одного праздника, ни одного воскресенья не обходилось без того, чтобы в саду графа не было каких-либо торжеств и празднеств. Представления на театре графа давались в его похвалу и прославленье 〈...〉 В манеже его „Нескучного“ постоянно устраивались карусели, и не только вся аристократическая молодежь, но и дочь его, графиня Анна Алексеевна, со своими сверстницами участвовала в них 〈...〉. В этом же манеже ездил по утрам, для моциона, наш молодой историк Н. М. Карамзин» (см.: *Пыляев*, *Старая Москва*, с. 194).

[9] *...их жизнь проходила в постоянном веселии и была продолжительным пиршеством.* — Еще один современник писал об Апраксине и его доме: «Богат-пребогат, фамилия не только знатная, но и заслуженная, дом как полная чаша; своя музыка, свой театр, свои актеры, любит жить на большую ногу, приветлив и радушен — гуляй, Москва!» (см.: *Жихарев*, с. 164).

[10] *...Гедеонов, Яковлев, Кокошкин...* — названные здесь лица связаны с театром: Александр Михайлович Гедеонов (1790—1867) был в 1833—1858 гг. директором императорских театров; Алексей Семенович Яковлев (1773—1817), известный петербургский актер, сыгравший множество ролей в трагедиях Расина, Вольтера, Княжнина, а также Шекспира и Шиллера. Театральный деятель, драматург и переводчик Федор Федорович Кокошкин (1773—1838) служил сначала по министерству юстиции, а с 1817 г., будучи большим любителем сценического искусства, перешел на службу в театральное ведомство. С этого же 1817 г. он стал помощником управляющего по учебной части в московских императорских театрах, в 1818 г. — членом репертуарной части Дирекции императорских театров в Петербурге; в 1823—1831 гг. возглавил Дирекцию императорских театров в Москве (подробнее о нем см.: *Соллогуб*, с. 5).

[11] *Александровская лента...* — Одним из знаков ордена св. Александра Невского (см. также примеч. 15 к Главе первой) была красная лента через плечо.

[12] *...секретное, очень важное поручение... осторожности и тайны.* — Вероятно, это поручение было связано со следующим фактом биографии С. С. Апраксина (1747—1827). В 1794 г. он участвовал в походе против якобинцев (или конфедератов; так именовали революционную группу периода национально-освободительного восстания 1794 г. против реакционного магнатства, захватившего в Польше власть в результате мятежа Тарговицкой конфедерации 1792 г. и интервенции царской России и Пруссии, осуществивших в 1793 г. второй раздел Польши — см.: История Польши. 2-е изд. М., 1956, т. 1, с. 342—353).

[13] *...дом... на углу Знаменки... каких Москва уже не увидит.* — Дом Апраксиных на Знаменке был построен в 1792 г. архитектором Ф. Компорези (нынешний адрес — ул. Фрунзе, д. 19; перестроен). Здесь был театр, на котором играли и императорские актеры, и приезжие знаменитости, и крепостные артисты. Здесь же устраивались литературные вечера и чтения, концерты и любительские спектакли.

[14] *...вдовствующей императрице...* — Речь идет о вдове Павла I Марии Федоровне (1759—1828).

[15] *...итальянцы в этом театре* и *давали свои представления...* — В 1827 г. на апраксинской сцене шла опера Дж. Россини «Сорока-воровка» и на спектакле был А. С. Пушкин с Ф. Ф. Вигелем (см.: *Капище моего сердца,* с. 339).

[16] *...как будто тут же видела известную мамзель Жорж.* — Французская актриса Маргерит-Жозефин Веймер (1778—1867) начала гастроли в России еще в 1808 г. (в примечаниях к воспоминаниям известного театрала кн. А. А. Шаховского о 1812 г. П. И. Бартенев заметил, что актриса появилась в России благодаря старому товарищу Шаховского молодому гвардейскому офицеру А. Х. Бенкендорфу: «Молодые годы обоих, — писал Бартенев, — протекали за театральными кулисами, и Бенкендорф привез из Парижа славную мамзель Жорж...» (РА, 1886, № 11, с. 372). В 1812 г. актриса приезжала в Россию во второй раз. В Москве и Петербурге она выступала в ролях Федры, Клитемнестры, Семирамиды, Меропы. В последний раз Жорж выступала в России в 1840 г. В Москве она играла в оба приезда: в сезон 1809 и 1811—1812 гг. на сцене Арбатского театра. Определение «известною» по отношению к актрисе в устах «бабушки» может означать и то, что в свете было известно об интимной связи актрисы с Наполеоном (ср.: «известную Перекусихину» — с. 269, «известной тогда Марье Антоновне» — с. 252).

[17] *...Сергей Сергеевич... очень хороший музыкант и сочинитель многих романсов.* — М. Д. Бутурлин, описывая в своих записках петербургское общество, заметил: «...бывали у нас и ⟨...⟩ князья Федор и Сергей Сергеевичи Голицыны. Оба брата были даровитыми музыкантами; князь Федор восхищал всех сладкозвучным и теноровым голосом, а князь Сергей Сергеевич был недюжинный композитор романсов, из которых производил тогда фурор: „Мой друг, хранитель, ангел мой..." ⟨...⟩ и даже теперь ⟨...⟩ музыкальная эта композиция поражает своею мелодиею» (см.: РА, 1897, № 1). С. С. Голицын (1783—1833) имел чин генерал-майора.

[18] *...после холеры...* — Речь идет об эпидемии холеры (см. примеч. 2 к ⟨Предисловию⟩).

[19] *...Анненскую ленту...* — Об этом знаке см. в примеч. 15 к Главе четвертой.

[20] . . .*за Нащокиным*. . . — Имеется в виду надворный советник Яков Иванович Ордын-Нащокин (1726—1793). «Это последний в роду Ордын-Нащокин, но другая ветвь, чем ветвь боярина Ордын-Нащокина, сын которого, Воин Афанасьевич, был бездетен. Дом Якова Ивановича был на Тверской, там, где до Октябрьской революции был дом № 18» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 120).

[21] . . .*Владимирскую ленту*. . . — Эта лента с красной полосой посредине, а по краям с черными полосами была принадлежностью ордена св. равноапостольского князя Владимира: на ней носили сам крест.

[22] . . .*Андреевскую*. . . — Об Андреевской ленте см. примеч. 47 к Главе первой.

[23] . . .*известного Магницкого, составителя первой русской арифметики.* — Речь идет о Леонтии Филипповиче Магницком (1669—1739), преподавателе математики в Школе математических и навигационных наук в Москве и авторе первой русской печатной «Арифметики. . .» (1703), представлявшей собою энциклопедию математических знаний того времени.

[24] . . .*граф Каменский был очень жесток в обращении со своими людьми. . . его зарезали.* — Михаил Федотович Каменский (1738—1809), боевой генерал, поклонник Фридриха II, При Павле I получил чин генерал-фельдмаршала. Отличался страшной вспыльчивостью и неумением владеть собой. «Каменский был строгий служака и педант, — писал о нем М. И. Пыляев. — . . .часто оригинальничал и юродствовал. У себя в деревне фельдмаршал жил в своих комнатах совершенно один, в кабинет его никто не впускался, кроме камердинера; у дверей его комнаты были привязаны на цепи две огромные меделянские собаки, знавшие только его и камердинера ⟨. . .⟩ Старшего сына отец не любил и ⟨. . .⟩ однажды, когда сын уже был в чинах, граф публично дал ему двадцать ударов арапником за то, что он не явился в срок по какому-то служебному делу. . .» (см.: *Замечательные чудаки и оригиналы*, с. 30—31). У себя дома, в Москве, куда Каменский приезжал из деревни «на короткое время», он был «грозою всех домашних», «безграничным деспотом». Умер Каменский «насильственной смертью» 12 августа 1809 г. По делу о его убийстве пошло в Сибирь и было отдано в солдаты около 300 человек. Существует три версии его убийства: первая — по сговору его деревенской любовницы, «грубой, необразованной и некрасивой женщины», с полицейским чиновником, избравшими для убийства молодого парня из дворовых; по второй — фельдмаршал погиб из-за грубого и жестокого обращения с двумя крепостными, которым он дал музыкальное образование, по третьей — он погиб от руки своего конторщика, злоупотреблявшего его доверием и им разоблаченного (см.: *Пыляев, Старая Москва*, с. 365—367).

[25] . . .*будто в Америке англичане хотят устроить дорогу. . . посредством силы паров. . .* — Эра паровых железных дорог началась в 1829 г. — с построения в Англии Ливерпуль-Манчестерской дороги. В 1830 г. в Северной Америке была пущена первая в этой стране железная дорога.

[26] . . . *прошло 30 или 40 лет* и *у нас у самих стали кататься по железным дорогам. . .* — См. примеч. 4 к ⟨Предисловию⟩.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

[1] *Успенский пост* (или госпожинки, оспожинки, спожинки) приходится на 1—14 августа.

[2] . . .*в Сокольники.* — «Бывшая усадьба Титовой перешла потом к И. М. Снегиреву, археологу» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 127).

[3] . . .*в Хотьков монастырь. . . . отслужили панихиду по родителям преподобного Сергия. . .* Родители Сергия Радонежского (в миру Варфоломея; 1314 или 1319—1392) Кирилл и Мария принадлежали к ростовскому боярству и жили недалеко от Ростова. После их смерти Сергий поселился в Хотьково-Покровском монастыре у своего брата инока Стефана, а оттуда удалился в маленький город Радонеж на реке Кончуре в Радонежском бору. Здесь он основал пустынь, впоследствии знаменитый Троице-Сергиев монастырь (см. примеч. 22 к Главе первой).

[4] *Преображенье* (или спас второй) приходится на 6 августа.

[5] . . .(*после убиения во время чумы преосвященного Амвросия*). . . — См. примеч. 44—45 к Главе первой.

[6] *Фавор* — гора в Палестине.

[7] *. . .за Жуковым Василием Михайловичем. . . Был в свое время довольно известным писателем. . .* — В. М. Жуков (1764—1799) служил в Преображенском полку, по увольнении из которого (в чине капитана) перешел в Коллегию иностранных дел. В 1797—1799 гг. в московских журналах «Приятное и полезное препровождение времени» и «Иппокрена» были напечатаны две подборки его стихотворений. Он был автором сочинений преимущественно духовной тематики; писал также сатирические стихи и эпиграммы.

[8] *. . .есть стихотворение на смерть Жукова.* — Сам И. М. Долгоруков так описал внезапную смерть В. М. Жукова: «Мы с ним виделись очень часто, он посещал дом наш и был в нем короток, любил стихи, большой энтузиаст был Вольтера, и сходство наших вкусов связало наше дружество. Однажды, просидя у нас весь вечер и с жаром говоря о словесности, поехал, отужинавши с нами, непоздно домой. Назавтра нужно было доставить ему какую-то книгу 〈...〉 Сильной паралич убил его скоропостижно 〈...〉 посланной наш застал еще свежее тело его на постели, у которой стоял столик его ночной и на нем погашенная свеча с разогнутой книгой: это были Вольтеровы сочинения 〈...〉 Он умер еще молод и мог бы быть полезен обществу смертных в разном смысле. . .» (*Капище моего сердца*, с. 204—205). Вот стихотворение «На кончину В. М. Жукова»:

Вчера я был с тобой и на ночь лишь расстался,
Надеясь поутру северодни вновь обнять;
Я встал — спросил, где ты? где Жуков?
— Он скончался.
Увы! На долгу ночь мой друг ложился спать!

Вчера — ужасное для чувств воображенье!
На смерть сестры моей ты мне стихи читал;
Мне слышится еще твое произношенье;
Еще перо свежо, которым ты писал;
Вчера ты был, что я; сего дни что?
Не знаю.
Вчера ты был у нас; сего дни где?
Не вем.
Как мрачной океан, твой путь я созерцаю
И в размышлении теряюся моем.

Как выстрел из ружья, тебя твой рок постигнул.
Вчера задумал ты затеев на сто лет;
Нещастной! До утра ты с нами не достигнул,
Далек уж от тебя навеки стал сей свет.

Любезною твоей беседою питаясь,
Всегда ее себе по сердцу находил;
Поэзией твоей и прозою пленяясь,
Писателя в тебе приятного любил.

(*Бытие сердца моего, с. 48—49*)

[9] *. . .в продолжении Великого поста. . .* — Великий пост состоит из двух постов: сорокадневного, или поста четыредесятницы, посвященного памяти поста Иисуса Христа в пустыне, и семидневного поста страстной седмицы (недели) в память страданий Христа.

[10] *Светлое воскресенье* — пасхальное воскресенье.

[11] *. . .за день до Казанской.* — См. примеч. 2 к Главе третьей.

[12] *разоблачил престол. . .* — Престол покрывался двумя предметами: антиминсом и индитией (светлое блестящее покрывало), которые и снимались перед его упразднением.

[13] *Архистратиг* — библейские Михаил и Гавриил, предводители небесного воинства, назывались архистратигами.

[14] *. . .объярь. . . пети-семе. . .* — названия старинных шелковых тканей.

[15] *. . .имение князя Петра Петровича Долгорукова. . .* — Спешнево.

[16] *Петр Владимирович жил некоторое время за границею. . . не дозволенные цензурой.* — Известный историк, публицист и генеалог князь П. В. Долгоруков (Долгорукий, 1816—1868) по окончании Пажеского корпуса стал чиновником Министерства просвещения. В 1843 г. он был арестован и сослан в Вятку, а с 1859 г. стал полити-

ческим эмигрантом, издавал журналы «Будущность» (1860) и «Правдивый» (1862), сотрудничал в «Колоколе».

[17] ...*«Российская родословная книга»*... — Речь идет о «Российской родословной книге, издаваемой Петром Долгоруковым». СПб., 1854—1857, ч. 1—4.

[18] *первая супруга царя Алексея Михайловича.* — В 1648 г. супругой царя стала Марья Ильинична Милославская, мать будущих царей Федора и Ивана и царевны Софьи.

[19] *Шифр.* — Так назывался золотой с бриллиантами (отсюда его второе название — алмазный шифр) вензель императрицы (или императора) под короной на банте из Андреевской ленты (см. примеч. 47 к Главе первой). Носили его на левой стороне груди.

[20] ...*участвовал в Семилетней войне*... — См. примеч. 27 к Главе первой.

[21] *Когда графа Орлова (Алексея Григорьевича) императрица Екатерина послала в Черногорию с секретным поручением*... — Речь идет о подготовке к Чесменской битве 1770 г. Екатерина II писала А. Г. Орлову в порт Наварин: «Моя мысль есть, чтоб вы старались получить порт на острове или на твердой земле и, поколику возможно, удержать оный 〈...〉 Под видом же коммерции он всегда будет иметь сообщение с нужными народами во время мира, и тем, конечно, сила наша не умалится в тамошнем краю. Если же дела ваши так обратятся, что вы в состоянии будете замыслить и более сего, то тогда и сей порт вам всегда служить может, не быв ни в каком случае вреден...» (цит. по: *Соловьев*, кн. 14, с. 376).

[22] ...*Георгием на шею*... — До 1856 г. орден св. Георгия имел только одну степень; а с 1856 г. их стало 4, и только орден 1-й степени носили на ленте через правое плечо.

[23] ...*(Александровскою) через плечо.* — См. примеч. 11 к Главе шестой.

[24] ...*Зубовы, попавшие тогда в милость государыни*... — Речь идет о Платоне Александровиче Зубове (1767—1822), участнике заговора 1801 г. против Павла I, фаворите Екатерины II (с 1789 г.), и его брате Валериане Александровиче (1771—1804), «попавшем в милость» к императрице в последние годы ее жизни; после смерти Екатерины он был отозван из Персии, где находился в качестве главнокомандующего армией, и впал в немилость. Г. Р. Державин посвятил ему стихотворение «На покорение Дербента, графу Валериану Александровичу Зубову. 1796 года», а в 1794 г. ему же была посвящена державинская ода «К красавцу».

[25] *Дом князя Юрия Владимировича был на Никитской, один из самых больших и красивых домов в Москве.* — Дом Долгоруковых на Большой Никитской не сохранился (ныне на его месте д. № 54 по ул. Герцена).

[26] *Петровское-Разумовское,* Петровское — старинная родовая вотчина Нарышкиных; на Е. И. Нарышкиной был женат граф К. Г. Разумовский, и во времена его владения роскошная усадьба с собственным театром стала именоваться Петровским-Разумовским (подробно об усадьбе см.: *Пыляев, Старая Москва,* с. 253—259).

[27] ...*первой холеры 1830 года.* — См. примеч. 2 к 〈Предисловию〉.

[28] ...*кто позначительнее и побогаче — все в Петербурге... по-мещански*... — Ср. со словами современника: «...Москва, с течением времени, сделалась городом священным для русских. Все важнейшие вельможи, за старостию делавшиеся неспособными к работе, или разочарованные, или уволенные от службы, приезжали мирно доканчивать свое существование в этом городе, к которому всякого тянуло или по его рождению, или по его воспитанию, или по воспоминаниям молодости, играющим столь сильную роль на склоне жизни» (см.: *Записки графа Ф. В. Ростопчина*, с. 658).

[29] *Имена-то хорошие, может и есть... стена об стену?* — Ср. со словами того же Ростопчина: «Но Москва 〈...〉 совершенно переменилась. Жили там и думали уже по-другому. Войны, которые велись в Италии и Германии, нарушили старинные привычки и ввели новые обычаи. Гостеприимство — одна из русских добродетелей — начало исчезать, под предлогом бережливости, а в сущности вследствие эгоизма. Расплодились трактиры и гостиницы, а число их увеличивалось по мере увеличения трудности являться к обеду незваным, проживать у родственников или приятелей. Эта перемена повлияла и на многочисленных слуг, которых удерживали (еще) из чванства или из-за привычки видеть их. Важных бояр, подобных Долгоруким, Голицыным, Волконским, Еропкиным, Паниным, Орловым, Чернышевым и Шереметевым, больше уже не было. С ними исчез и тот вельможеский быт, который они сохраняли с начала царствования Екатерины» (*Записки графа Ф. В. Ростопчина,* с. 661).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

[1] *В 1811 году... открыли одно тайное общество... молодые люди очень хороших семейств...* — Вероятно, речь идет о ранней преддекабристской организации, так называемом «Юношеском собратстве», во главе которого стоял шестнадцатилетний прапорщик Николай Муравьев; в числе членов «собратства» были Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, Лев и Василий Перовские (см.: *Нечкина, Движение декабристов*, т. 1, с. 102—105).

[2] *Один из чертивших карты... выпутаться из беды, но потом, попавшись по 14 декабрю, посажен был в крепость... ослеп...* — П. И. Колошин (подробнее о нем см. примеч. 72 к Главе семнадцатой), вступивший в декабристский Союз спасения в 1817 г., «был человек умный, усердно посещал лекции петербургских профессоров, был преподавателем географии в офицерской школе, составлял по поручению Гвардейского генерального штаба журнал военных действий союзных войск в кампанию 1814 г. „от Рейна до Парижа“ с многочисленными картами» (*Нечкина, Движение декабристов,* т. 1, с. 168—169). Очевидно, эта последняя работа Колошина и дала повод для слухов о нем как о «чертившем карты» для Наполеона.

[3] *...мадам Обер-Шальме... изменница... сослали.* — Об этой «французской торговке» еще в 1805 г. С. П. Жихарев писал в своем дневнике: «Много денег оставлено в магазине мадам Обер-Шальме! Достаточно было на годовое продовольствие иному семейству. Недаром старики эту Обер-Шальме переименовали в Обер-Шельму» (см.: *Жихарев*, с. 12). В 1812 г. за француженкой было установлено секретное наблюдение, и в списке московского полицмейстера полковника Брокера против ее имени сделана помета: «Известна правительству по особым делам» (Адам Фомич Брокер (Его записки) — *РА*, 1868, № 9, с. 1435). В сильное негодование привело московских жителей одно из «радений» Шальме Наполеону. Оно описано П. И. Бартеневым в примечаниях к воспоминаниям кн. А. А. Шаховского «Двенадцатый год»: «В Архангельском соборе, и именно в алтаре его, г-жа Обер-Шальме, бывшая долгое время поставщица французских мод для московского барства, снабжавшая наших щеголей и щеголих всякими заморскими товарами из огромного магазина своего (ныне дом-община в Глинищенском переулке, между Тверской и Большой Дмитровкой), в правление старика графа Гудовича игравшая большую роль в Москве и сделавшаяся по вступлении Наполеона в Москву приближенным к нему лицом, придумала устроить кухню для великого императора!» (*РА*, 1886, № 11, с. 386). В примечании же к упоминавшейся выше записи Жихарева Бартенев отметил, что Шальме «последовала за остатками великой армии и погибла с нею» (*Жихарев*, с. 692).

[4] *Ходили какие-то прокламации Бонапарта по Москве...* — Очевидно, именно об этих «прокламациях» в пользу Наполеона пишет в своих «Записках» Ф. В. Ростопчин: «...мне принесли несколько листков, которые были рассылаемы по почте во все города, находящиеся на большой дороге. Манера их изложения вовсе не соответствовала видам правительства. Ополчение называлось (в них) насильственною рекрутчиною; Москва выставлялась унылою и впавшею в отчаяние; говорилось, что сопротивляться неприятелю есть безрассудство, потому что при гениальности Наполеона и при силах, какие он вел за собою, нужно божественное чудо для того, чтобы восторжествовать над ним, и что всякие человеческие попытки будут бесполезны» (*Записки графа Ф. В. Ростопчина*, с. 681—682). Непосредственно «прокламацией Наполеона» Ростопчин называет листовку, приписываемую «купеческому сыну» Верещагину (см. примеч. 31 к Главе семнадцатой).

[5] *...предвещание: в 1811 году... комета.* — Явление этой кометы отметили историки Отечественной войны 1812 г. «В 1811 году явилась комета. „Не к добру эта звезда, — говорили у нас, — она пометет русскую землю“» (*Богданович М.* История Отечественной войны 1812 года, по достоверным источникам. СПб., 1859, т. 1, с. 92). Другой историк относил этот факт к 1812 г. «К воинской славе Наполеона, наполнявшей воображение всех, — писал он, — присоединились необыкновенные явления в природе... Все были в ожидании чего-то чрезвычайного. На небе явилась комета. Простолюдины, глядя на бродящую в небесах звезду и огромный хвост ее, говорили: „Пометет беда землю русскую“» (*Михайловский-Данилевский А. И.* Описание Отечественной войны в 1812 году. СПб., 1840, ч. 1, с. 138—139). Комета действительно была обнаружена в начале 1811 г. французским астрономом О. Флоժеретом (в телескоп). Осенью этого же года она стала видна невооруженным глазом и в сентябре достигла наибольшего блеска: ее «голова» была красноватой, а «хвост» простирался по всему небу. Комета сияла в небе в течение нескольких недель, а затем стала удаляться, уменьшаясь в размерах.

[6] *От всех до последней минуты всё скрывали и всех нас обманывали... не верили возможности, чтобы до Москвы дошел дерзкий враг...* — Ф. В. Ростопчин и сам до последнего дня не верил в возможность оставления Москвы и, естественно, не оповещал москвичей об этом. М. И. Кутузов известил его о своем решении только 1 сентября. А одна из «афиш» Ростопчина — от 30 августа — была исполнена уверенности в том, что врага еще можно разбить. «Братцы, — призывал граф, — сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая отечество. Не впустим злодея в Москву, но надо пособить и нам свое дело сделать ⟨...⟩ Я вас призываю именем Божией матери на защиту храмов господних, Москвы, земли русской. Вооружайтесь, кто чем может, и конные и пешие; возьмите только на три дня хлеба. Идите ⟨...⟩ собирайтесь тотчас на Трех Горах. Я буду с вами и вместе истребим злодея...» (см.: *Ростопчина, Семейная хроника.* с. 35—36). Эти афиши печатались в «Московских ведомостях» и развешивались по городу (см.: *Тартаковский А. Г.* Военная публицистика 1812 г. М., 1967, с. 58).

[7] *Водосвятие* (водоосвящение) состоит в том, что священник троекратно погружает в воду крест, якобы придавая ей тем самым сверхъестественные свойства.

[8] *Разве мы прежде не воевали? То с немцами, то с Турцией или со шведами...* — Имеются в виду война с Пруссией 1757—1760 гг., русско-турецкие войны 1768—1774, 1787—1791, 1806—1812 гг. и русско-шведские войны 1788—1790, 1808—1809 гг.

[9] *...Тильзитский мир, очень невыгодный для России...* — По Тильзитскому миру, заключенному 25 июня 1807 г. между Россией и Францией, первая соглашалась на создание герцогства Варшавского и присоединялась к континентальной торговой блокаде Великобритании.

[10] *...главнокомандующим в Москве был граф Гудович... года три...* — Фельдмаршал Иван Васильевич Гудович (1741—1820) в 1809 г. был назначен военным генерал-губернатором Москвы и членом Государственного совета. Через три года он оставил службу.

[11] *На вид ему было лет пятьдесят...* — Ф. В. Ростопчин родился 12 марта 1765 г. в Москве в семье бывшего военного, ведшего свое происхождение из «древнего, благородного славного рода потомков Бориса Давыдовича Ростопчи, прибывшего из Крыма при великом князе Васили Иоанновиче», — гласит жалованная грамота, даровавшая ему по указу Павла I графский титул (см.: *Ростопчина, Семейная хроника*, с. 17). Основываясь на документах, мемуаристка дает послужной список своего деда: «В 1775 г. зачисление в Преображенский полк, в 1789 г. производство в бригадиры, в 1792 г. пожалование в камер-юнкеры двора великого князя Павла; 8-го ноября 1796 г. производство в флигель-адъютанты, 17-го октября назначение кабинет-министром по иностранным делам, затем тайным советником, великим канцлером ордена св. Иоанна Иерусалимского; 21-го мая 1799 г. директором почтового департамента; 28-го июня он награжден орденом Андрея Первозванного; 15 марта 1800 г. назначен членом Государственного совета и с 17-го октября 1798 г. по май 1800 оставался министром иностранных дел. За три недели до убийства Павла он подвергся опале по проискам будущих цареубийц и удалился в свое имение Вороново, близ Москвы. Здесь он получил назначение, в марте 1812 года, московским генерал-губернатором, на что император Александр I вынужден был согласиться, побуждаемый силой обстоятельств и общественным мнением Москвы. Выйдя в отставку в 1814 г. (сорока девяти лет от роду), он был назначен членом Государственного совета, и он сложил его с себя в 1823 г., так же как звание главнокомандующего, приняв только почетный титул обер-камергера...» (там же, с. 18).

[12] *...к гатчинскому двору...* — См. примеч. 12 к Главе четвертой.

[13] *получил Александра Невского и Андрея...* — Об этих орденах см. примеч. 15 к Главе первой и примеч. 13 к Главе четвертой.

[14] *..,из майора сделан действительным статским советником...* — Т. е. получил чрезвычайное повышение: чин майора соответствовал VIII классу, чин же действительного статского советника — IV классу.

[15] *...Анненской лентой.*— Об этом знаке ордена см. в примеч. 15 к Главе четвертой.

[16] *...отец... Григорья Григорьевича Орлова...* — О Г. И. Орлове см. примеч. 24 к Главе первой.

[17] *...очень нехороша собой... на старую гувернантку из хорошего дома.* — О том, что этот портрет соответствует оригиналу и вполне беспристрастен, свидетельствуют строки из других воспоминаний, относящихся к 1857 г., когда вдове Ростопчина было уже около 80 лет: она «была высокого роста, крепкого телосложения и отличалась грубыми, неприятными чертами лица и огромными выпуклыми глазами ⟨...⟩. Темные волосы ее, почти без

седины, были обстрижены, всклокочены и щетинисты, а уши огромного размера ⟨...⟩ Страшная нелюдимка, она не имела вовсе знакомых, и, сделавшись католичкой, окружала себя только французскими аббатами ⟨...⟩ Почти не выходя из дома, она в течение дня развлекалась двумя ручными попугаями, которых носила на пальцах, сталкивая их лбами и потешаясь неистовыми их криками» (*Загоскин*, № 7, с. 38).

[18] *...перешла в католическую веру... за Нарышкиным.* — Внучка Ф. В. Ростопчина писала о семейной драме в доме своих деда и бабки: «Вот тайные причины: графиня Екатерина перешла в католичество без ведома супруга. В продолжение нескольких лет она исповедовала новую веру и соблюдала ее обрядности рядом с ничего не подозревающим мужем ⟨...⟩ и для этой фанатичной души он обратился в „проклятого еретика" ⟨...⟩ Прямой до беспредельной смелости (он часто рисковал жизнью при императоре Павле), впечатлительный до крайности, искренний без всякой затаенной мысли, он вдруг обнаружил, что хитрость и ложь свили гнездо у его очага ⟨...⟩ Раскрытие тайны, так тщательно скрываемой, было таким ужасным ударом для графа Федора, что он не нарушал молчания до самой смерти, но чувство глубокой горести не покидало его никогда ⟨...⟩. В июле 1819 года его две старшие дочери одновременно вышли замуж; старшая, любимица, умная и серьезная Наталья за Дмитрия Нарышкина, племянника графа Воронцова, а младшая, Софья, за графа Евгения де-Сегюр, внука посланника, сына пэра Франции ⟨...⟩ Перешедшая в католичество под влиянием матери графиня могла выйти замуж только за католика» (см.: *Ростопчина, Семейная хроника*, с. 11—12, 52; см. также примеч. 36 к Главе семнадцатой).

[19] *...Александр Матвеевич...* — Описка в тексте; нужно Матвей Александрович.

[20] *...сын известного... любимца Екатерины II... помешался в рассудке...* — Речь идет о поэте и публицисте, будущем декабристе М. А. Дмитриеве-Мамонове (1790—1863), сыне фаворита Екатерины II в 1786—1789 гг. А. М. Дмитриева-Мамонова. Рассказ «бабушки» требует в данном случае уточнений. Современник писал о полке Мамонова: «Гусарский мамоновский, под названием бессмертного, начал формироваться; командиром его назначили 23-летнего графа Мамонова, с переименованием в генерал-майоры (Мамонов к началу войны 1812 г. был обер-прокурором Сената. — *Т. О.*). Сам ли он набрал в офицеры полка отчаянных гуляк, или всевозможные оборыши и пройдохи и купеческие сынки такого же рода сами ворвались к нему в офицеры, вышло только, что вся эта молодежь во время формирования полка забуянила, загуляла, самоуправничала, требовала всего, не платя ни за что, рубила, пожалуй хоть и плашмя, своими саблями своих, а не чужих, и довела весь полк до того, что его вынуждены были через несколько месяцев раскассировать, старших офицеров отдать под военный суд, а самого Мамонова заставить выйти в отставку и снять генеральский мундир и эполеты, которые так шли к его красивой наружности. С этого самого времени, как известно, он предался ипохондрии, сошел с ума...» (см.: *Записки Д. Н. Свербеева*, т. 1, с. 66). Последнее утверждение ошибочно: заболел Мамонов в 1817 г. и совсем по другой причине. Во-первых, следует уточнить, что мамоновский полк «забуянил» уже во время заграничных походов русской армии. Во-вторых, в 1814 г. Дмитриев-Мамонов вместе с генералом М. Ф. Орловым создал одну из ранних преддекабристских организаций — «Орден русских рыцарей», а в 1817 г. стал членом Союза благоденствия. Причиной же его безумия, довольно позднего, была расправа, учиненная над ним как над членом декабристского общества: он был объявлен сумасшедшим и заключен в собственном доме и в конце концов действительно сошел с ума (подробно о нем см.: *Лотман Ю. М.* Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель. — Учен. зап. Тартус. гос. ун-та, 1959, вып. 78, с. 19—92).

[21] *«Да воскреснет Бог и расточатся врази его... ненавидящие Его».* — Начальные слова 67-го псалма.

[22] *...известие о заключении выгодного для нас мира с Турцией...* — Речь идет о Бухарестском мирном договоре между Россией и Османской империей, заключенном 16 мая 1812 г. и завершившем русско-турецкую войну 1806—1812 гг. По этому договору к России присоединялись Западная Грузия и Бессарабия.

[23] *...Бонапарт... злобствовал на англичан, которые нам помогли заключить этот мир.* — В результате заключения Бухарестского мирного договора Турция переставала быть союзницей Франции, а несколько десятков тысяч солдат, воевавших против Турции, можно было перебросить против австрийского вспомогательного корпуса, который должен был вторгнуться в Россию одновременно с Наполеоном.

[24] *Июля 30 праздновали одержанную нами победу над каким-то маршалом: разбили его*

отряд. — Речь идет о бое у Клястиц, в котором корпус генерала П. Х. Витгенштейна одержал победу над корпусом Ш. Удино, вынужденным отступить к Полоцку.

[25] *Успеньев день* — праздник успения богородицы, отмечается церковью 15 августа.

[26] *Рождество богородицы.* — Праздник этот приходится на 8 сентября.

[27] *...толки насчет пожаров Москвы... проклятых французов».* — Поэт-партизан Денис Давыдов так выражает свое отношение к этому общему патриотическому порыву. Описывая сцену чтения письма Ф. В. Ростопчина в ставке Кутузова, в котором сказано было: «Я полагаю, что вы будете драться, прежде нежели отдадите столицу; если вы будете побиты и подойдете к Москве, я выйду из нее к вам на подпору со ста тысячами вооруженных жителей; если и тогда неудача, то *злодеям вместо Москвы один ее пепел достанется»,* — он восклицает: «Это намерение меня восхитило. Я видел в исполнении оного сигнал общего ополчения» (В кн.: *Давыдов Д.* Дневник партизанских действий 1812 года. Л., 1985, с. 44—45).

[28] *...«Царица небесная, владычица дева пречистая, прими нас под свой покров...»* — Близкие слова см. в Тропаре пресвятой богородице: «...О владычица, царица Небесная! Ты мне мати и надежда, Ты ми упование и прибежище, покров, заступление и помощь» — глас 4; и в Тропаре на покров богоматери: «...покрой нас честным твоим покровом и избави нас от зла» — глас. 4.

[29] *...по слову псалмопевца случилось и со мной: «Вечор водворится плач и заутра радость».* — Строка из 29-го псалма Давида, именуемого: «Песнь при обновлении дома». 6-й стих его гласит: «Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение его: вечером водворяется плач, а на утро радость».

[30] *«Христос воскресе»* — начальные слова пасхального песнопения: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

[31] *...иконы — Владимирскую и Иверскую... в ее часовне.* — Знаменитая икона Владимирской божьей матери была подарена в 1160 г. князем Ю. В. Долгоруким сыну его Андрею Боголюбскому. В Москву она была перенесена в 1395 г. и находилась впоследствии в Успенском соборе. Об Иверской иконе см. примеч. 26 к Главе четвертой.

[32] *...Максимилиану Лейхтенбергскому... рассказал случившееся с его отцом.* — Речь идет о пасынке Наполеона I Евгении Богарнэ и его сыне, герцоге лейхтенбергском Максимилиане-Евгении-Иосифе Наполеоне (1817—1852), женатом на великой княгине Марии Николаевне. Последний служил в России, был президентом Академии художеств, главнозаведующим Горным институтом, учредителем гальванопластического завода в Петербурге, участвовал в строительстве первых русских железных дорог.

[33] *...Загряжская... добыла... ключи... силой выпроводили.* — Сведений об этой Загряжской найти не удалось. Возможно, она была первой женой Н. А. Загряжского, о котором писал Ф. В. Ростопчин в своих «Записках». Рассказывая о Москве накануне вступления французов, он заметил: «Под утро явился ко мне некий Загряжский, состоявший в должности шталмейстера при имп⟨ераторе⟩ Павле. Это был человек очень пошлый, враль и барышник. Он заявил мне, что так как жена его не прислала ему лошадей из деревни и так как все имущество свое он зарыл в своем саду, то хочет остаться в Москве, чтобы оберегать оное. Я дал ему почувствовать, что он рискует подвергнуться многим неприятностям, но что мне не приходится давать ему ни приказаний, ни дозволений. У человека этого уже был готов свой план. Он остался (в Москве) и представился герцогу Виченцкому (Коленкуру), который знал его, потому что покупал у него лошадей во время своего посланничества в России. Он озаботился устройством конюшни Наполеона и фабрики для починки седел французской кавалерии» (*Записки графа Ф. В. Ростопчина*, с. 722).

[34] *...Анна Николаевна, кажется... называю не так.* — Этот эпизод был без ссылки на настоящую книгу использован Пыляевым в его книге «Замечательные чудаки и оригиналы» (с. 163). Пыляев прибавляет только, что Щепотьева была близкой родственницей М. П. Лунина, Янькова же называет ее «племянницей А. М. Лунина» (см. с. 133).

[35] *...крест на Иване Великом... расстреляли...* — Других источников этого рассказа о знаменитой кремлевской колокольне, похожего на легенду, не обнаружено. Крест же был действительно снят с колокольни. Вот что писал по этому поводу Ф. В. Ростопчин в своей книге «Правда о пожаре Москвы» (о ней см. на с. 432): «Он (крест. — *Т. О.*) был железный, позолоченный, но немецкий путешественник Адам Олеарий, бывший в Москве во время царя Алексея Михайловича, сказывал (не знаю почему), что сей крест был весь из серебра позолоченный. Таким образом, как лишь только увидели, что он был железный, то и оставили его» (с. 56). Еще одно свидетельство о попытке похитить эту святыню находим у другого современника, князя А. А. Шаховского в его воспоминаниях «Двенадцатый год»: «...крест

с Ивана Великого был снят, так же как и деревянный московский герб с крыши Сената, на трофеи взятия Москвы; но ⟨...⟩ ни одна из добыч кремлевских не перенеслась за пределы России» (*РА*, 1886, № 11, с. 372).

[36] *Куда увозили все архивы — я не знаю...* — Большая часть архивов из Москвы вывезена не была. Вероятно, речь идет здесь о Московском архиве старых дел и архиве Министерства иностранных дел. Они не были вывезены из города, как и дела многих других учреждений. Так, И. М. Снегирев писал П. В. Победоносцеву 14 февраля 1813 г.: «Библиотека публичная вздумала требовать от Комитета (речь идет о Цензурном комитете. — *Т. О.*) сведения, в каком числе экземпляров он может доставить ей все книги, вышедшие прежде 1810 года ⟨...⟩ Кому известно из нас, где теперь университетская библиотека, где книжные магазины, где дела комитетов, где и все прочее?» (см.: *РА*, 1897, № 1, с. 111).

[37] *Екатерининский орден меньшего креста.* — Об ордене св. Екатерины см. также примеч. 48 к Главе первой. Орден имел две степени; награжденные большими крестами именовались дамами большого креста; малыми — кавалерственными дамами.

[38] *Дом трудолюбия* (позднее Елизаветинский институт) в Петербурге был основан императрицей Елизаветой Алексеевной, усердно занимавшейся благотворительностью — и общественной, и частной (пенсии и пособия).

[39] *...от царицы (Марии Ильиничны)* Милославской (ум. 1669), первой жены царя Алексея Михайловича.

[40] *...последний патриарх (Адриан),* в миру Андрей (1636—1700), десятый и последний патриарх всероссийский (с 1690 г.).

[41] *...Артемию Петровичу Волынскому, которого казнили по вражде на него злодея Бирона...* — Генерал-майор А. П. Волынский (р. 1689) был в 1738 г. назначен кабинет-министром императрицы Анны Иоанновны и с этого времени включился в борьбу с «временщиком» Бироном. Но уже 12 апреля 1740 г. Волынский был подвергнут домашнему аресту, и вскоре началось следствие по его делу. Он был казнен четвертованием 27 июня 1740 г. в Петербурге на Сытном рынке близ Петропавловской крепости (подробно см.: *Корсаков,* с. 285—330).

[42] *...князь Мирон Михайлович, воевода в Сибири, присутствовавший при избрании Михаила Феодоровича на царство...* — Первый царь из дома Романовых Михаил Федорович (1596—1645) был избран на московский престол в 1613 г. (он жил в это время в Ипатьевском соборе в Костроме). Князь М. М. Шаховской (ум. 1632) был письменным головой в Тобольске и воеводой каргопольским, псковским, костромским и нижегородским.

[43] *Ржевская поехала со своею матерью... в Пензу... или в Симбирск... умерла от чахотки в Муроме.* — Основываясь на документах домашнего архива Римских-Корсаковых, М. Гершензон писал, что М. И. Римская-Корсакова с дочерьми «в последний день августа или даже 1—2 сентября» «выехала, как большинство московских семейств, в Нижний Новгород». Здесь состояние 28-летней В. А. Ржевской («которая еще в Москве начала терять голос и покашливать») ухудшилось, хотя она и была на ногах. «Врачи теряют голову, — писала она брату Г. А. Римскому-Корсакову, — и не могут понять мою болезнь и не оказывают мне никакой помощи...» Весной 1813 г. Варвару Александровну «привезли в Москву умирающей», а 19 мая она скончалась (см.: *Гершензон,* с. 26—27, 33, 34).

[44] *...женат на Грибоедовой.* — Речь идет о Софье Алексеевне Грибоедовой (1805—1886), двоюродной сестре А. С. Грибоедова (ее считают прототипом Софьи из «Горя от ума»).

[45] *Павел Александрович... под Бородином...* — П. А. Римский-Корсаков служил с 1803 г. (в кавалергардах). 26 августа 1812 г. в бою под Бородином он был вместе с братом Григорием, который позднее получил за этот день орден Владимира 4-й ст. Павел же, обладавший богатырским ростом и силой, участник Аустерлицкого боя, «занесенный своей лошадью в гущу врагов, долго отбивался один и уложил палашом несколько человек, пока наконец, как рассказывали позже французские офицеры, выстрел из карабина не скосил его; тело его не было найдено» (*Гершензон*, с. 16; см. также: *Панчулидзев С.* Сборник биографий кавалергардов. 1801—1826. СПб., 1906, с. 129).

[46] *Как лист осенний, запоздалый... Он жив, чтоб помнить и грустить!* — Вероятнее всего, эта стихотворная строка принадлежит самому Д. Д. Благово. В его поэтическом архиве есть очень близкие (и тематически и стилистически) стихотворения (см., напр., «Желтый лист», «Засохший цветок» — *ГБЛ*, ф. 548, карт. 8, ед. хр. 78). Ср., напр., такие строфы:

Листок засохший, пожелтевший,
Кем ты на память сохранен;
Один из тысяч уцелевший,
Зачем ты в книге затаен?
〈...〉
И вот он цел, листок заветный,
Он в книге бережно лежит,
Давно сухой, давно бесцветный
Все про былое говорит.

(*ИРЛИ*, ф. 119, оп. 7, № 3)

[47] *...дом в Поварской...* — «Это дом № 30, на углу Ржевского пер. и Поварской» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 204).

[48] *...Спаситель вогнал бесов в свиное стадо...* — Имеется в виду евангельская притча об исцелении человека, «одержимого бесами»: «Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и *бесы* просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло» (Евангелие от Луки, гл. 8, ст. 32—33).

[49] *Анреп* Роман Романович (ум. 1830), офицер лейб-гвардейского Гусарского полка; в 1812 г. — корнет, с 1826 г. — полковник Оренбургского уланского полка, позднее — генерал-майор, знакомый Пушкина.

[50] *Аматеры* — любители (от франц. amateur).

[51] *...князь Шаховской... комедию «Липецкие воды»... карикатуры.* — Речь идет о комедии в стихах поэта-сатирика и драматурга А. А. Шаховского (1777—1846) «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815), впервые представленной в Петербурге 23 сентября 1815 г., а в Москве — 22 мая 1816 г. Современник заметил, что комедия «по непостижимому недоразумению касательно цели, с которою была написана, навлекла на него (т. е. автора. — *Т. О.*) такую толпу врагов непримиримых» (*Жихарев*, с. 601). Действительно, против Шаховского был выдвинут ряд обвинений — и в том числе в клевете. В. А. Жуковский писал родным: «Известно, что авторы не охотники до авторов. И он (Шаховской. — *Т. О.*) не охотник до меня. Вздумал он написать комедию и в этой комедии смеяться надо мною. Друзья за меня вступились 〈...〉 Теперь страшная война на Парнасе. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда б и все молчали, — город разделился на две партии, и французские волнения забыты при шуме парнасской бури» (см.: Письма В. А. Жуковского к родным в Белев — *РА*, 1864, № 4, с. 459—460). Сатирический поход против «Липецких вод» и их автора возглавил П. А. Вяземский, создав цикл эпиграмм, озаглавленный «Поэтический венок Шутовского»; к нему примкнули и другие сторонники Жуковского и в их числе молодой Пушкин, позднее в «Евгении Онегине» в строфах, посвященных русскому театру начала XIX в., писавший:

Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумных рой...

Эта «война на Парнасе» не помешала шумному успеху «Липецких вод» на сцене; зрителя подкупала и яркая форма комедии, и ее простой, естественный и свободный язык (подробно о комедии см. в статье: *Гозенпуд А.* А. А. Шаховской. — В кн.: *Шаховской А. А.* Комедии. Стихотворения. Л., 1961, с. 30—41. (Б-ка поэта. Большая серия)).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

[1] *Императрица* — Мария Федоровна.

[2] *Сарепта* (Сарпа) — немецкая колония в Саратовской губернии. Была основана в 1765 г. гернгутерами. Екатерина II даровала Сарепте освобождение от всех налогов на 30 лет, предоставила ей свободу торговли, самостоятельное управление, суд и другие блага. Земля была дарована колонистам бесплатно и в вечное владение.

[3] *Так называемые гернгутеры.* — Гернгутерами (или Моравскими братьями) называли членов религиозной секты, выходцев из Чехии (в XV—XVIII вв.). Секта возникла во время

гуситских войн. Ее члены отвергали присягу, гражданскую и военную службу, церковный брак.

[4] ...*Сарепта стала потом как большой город... совершенно отличный ото всех русских городов.* К XIX в. Сарепта насчитывала 6 тыс. жителей; с проведением Тихорецко-Царицынской железной дороги она стала дачным местом жителей Царицына. Производила Сарепта горчицу, сахар и мыло.

[5] ...*некто Медокс...* —Меккол (Михаил) Георгиевич Медокс, по происхождению англичанин, в 1766 г. приехал в Россию для преподавания математики наследнику Павлу Петровичу; впоследствии он начал театральную деятельность в качестве фокусника (в Петербурге). С 1776 г. Медокс переехал в Москву, где вместе с московским губернским прокурором князем П. В. Урусовым взял на содержание театр, ставя спектакли в доме Воронцова на Знаменке. После пожара, уничтожившего этот театр, Медокс построил (на средства Урусова) новый театр на Петровке, получивший название Петровского (в 1780 г.; см.: *Чаянова О.* Театр Маддокса в Москве. М., 1927). В «Воспоминаниях старого театрала» С. П. Жихарев писал о Медоксе как о человеке «необыкновенно умном, знатоке своего дела и отличном директоре театра, который умел находить и ценить таланты» (*Жихарев*, с. 567).

[6] ...*когда старый театр сгорел... давно, в моей молодости)...* — Петровский театр сгорел в 1805 г.

[7] ...*временно был устроен театр в доме Воронцова, на Знаменке...* — До постройки Петровского театра труппа Медокса и Урусова давала спектакли в доме графа Р. И. Воронцова на Знаменке (ныне ул. Фрунзе, д. 12; дом перестроен).

[8] *У Шереметева было два театра...* — У П. Б. Шереметева было три театра — в Москве, в Кускове и Останкине.

[9] ...*в Кускове отдельным зданием от дома...* — «В Кускове, помимо постоянного театра, существовала еще воздушная сцена в саду из липовых шпалер с большим амфитеатром ⟨...⟩ Кусковский театр был первый из русских барских театров ⟨...⟩ Стоял он у одного угла рощи; еще в пятидесятых годах нынешнего столетия видно было обветшалое здание его с фронтоном и порталом ⟨...⟩ Три яруса лож и особенно авансцена были отделаны со всею роскошью и грандиозностью итальянской архитектуры. Театр был построен в полгода французским архитектором Валли ⟨...⟩ Спектакли у Шереметева бывали по четвергам и воскресеньям, на них стекалась вся Москва, вход для всех был бесплатный ⟨...⟩ театр ⟨...⟩ у современников стяжал громкую славу как отличным исполнением богатого репертуара, так и счастливым выбором главных исполнителей, число которых было весьма немногочисленно, но зато хорошо массою танцовщиц и особенно превосходным оркестром и хором певчих» (см.: *Пыляев, Старая Москва*, с. 162). Здание театра не сохранилось.

[10] ...*для нее у себя праздник, стоивший ему более двух миллионов рублей...* — См. примеч. 9 к Главе четвертой.

[11] ...*в Останкине... цел еще и теперь.* — Останкинский театр П. Б. Шереметева, достигший своего расцвета при Н. П. Шереметеве, помещался во втором этаже роскошного барского дома (при театре было даже машинное отделение); в труппе его, насчитывавшей около 200 крепостных актеров, играли крепостные актрисы П. И. Ковалева-Жемчугова, Т. В. Шлыкова и др. В репертуаре театра было свыше 100 опер и балетов. Обучали крепостных сценическому мастерству П. Н. Плавильщиков, С. Н. Сандуков и др. (подробнее см.: *Елизарова Н. А.* Театры Шереметевых. М., 1954; описание некоторых спектаклей театра см. в кн.: *Пыляев, Старая Москва,* с. 176—182; театр сохранился).

[12] *У графа Орлова под Донским, при его доме...* — См. примеч. 8 к Главе шестой.

[13] ...*у Бутурлина в Лефортове...* — «Почтовая ул., д. № 2 (теперь, в 1952 году), во дворе, рядом с Лефортовом» (*Экз. В. К. Журавлевой,* с. 205).

[14] ...*у Голицына Михаила Петровича...* — «...в Пехре — Яковлевском по Владимирскому шоссе, на Ново-Басманной, рядом с церковью Петра и Павла» (*Экз. В. К. Журавлевой,* с. 205).

[15] ...*у Разумовского в Петровском (Разумовском)...* — См. примеч. 26 к Главе седьмой.

[16] ...*у Юсупова в Архангельском...* — Этот театр был построен в 1817—1818 гг. по проекту архитекторов П. Г. Гонзаго и О. И. Бове и вмещал 400 зрителей. Гонзаго же писал декорации.

[17] ...*у Апраксиных и в Москве, и в Ольгове.*— См. примеч. 13 к Главе шестой и примеч. 23 к Главе первой.

[18] ...*из Мольера которые-то комедии.* . — Пьесы Мольера шли в Москве еще в 1702 г. на сцене «Комедиальной храмины» на Красной площади. И позднее в столице ставились

«Дон Жуан», «Жеманницы», «Мещанин во дворянстве», «Мизантроп», «Мнимый больной», «Мнимый рогоносец», «Пурсоньяк», «Скапеновы облака», «Скупой», «Тартюф» и «Ученые женщины» (названия даны те, под которыми пьесы шли на сцене в России).

[19] *Воксал* — здесь: место развлечения для широкой публики (преимущественно средних слоев); позднее — синоним гуляния. Название происходит от имени французского предпринимателя Во, открывшего в середине XVIII в. в Лондоне увеселительный сад (Waux-Hall) для высшего общества. Модный «английский воксал» Медокса находился «близ Рогожской заставы и Дурного переулка». Здесь «был устроен красивый летний театр: тут играли небольшие комические оперетки и такие же одноактные комедии. За представлением на театре следовал бал или маскарад, который заканчивался хорошим ужином 〈...〉 По обыкновению сюда стекалось до пяти тысяч человек и более. Воксальный театр был приготовительным для молодых артистов» (см.: *Пыляев, Старая Москва,* с. 506—507).

[20] *...были, говорят, не доезжая до Кускова, два каменных столба с надписью: «Веселиться как кому угодно».* — «На выезде из кусковской земли в сторону Пернова и Опекунова, при повороте к Тетеркам, стоял деревянный столб с надписью, приглашавшей посетителей Кускова ,,веселиться как кому угодно, в доме и в саду"» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 171).

[21] *...сделал премудреные часы... двигались и плясали.* — Вот описание часов Медокса, со ссылкой на записи Жиркевича о фельдмаршале графе М. Ф. Каменском: «Во второй гостиной (Н. М. Каменского. — *Т. О.*) 〈...〉 стояли большие часы, купленные 〈...〉 у известного московского антрепренера Медокса за 8 000 руб., игравшие, когда часовая стрелка показывала 11 минут 3-го пополудни, ,,со святыми упокой" и в 4 часа тоже пополудни известный польский ,,Славься, славься, храбрый Росс". Первый бой означал, что в этот час найдено тело убитого фельдмаршала, а другой бой — момент рождения на свет самого графа» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 376).

[22] *...куда они девались — не знаю.* — М. И. Пыляев, использовав рассказ о часах Медокса в своей книге (без ссылки на Благово), расширил его некоторыми данными: «...он (Медокс. — *Т. О.*) сделал часы с полным оркестром музыки и различными фигурами, приходящими в движение, подобно механизму известных страсбургских часов 〈...〉 Одно время они стояли в Москве у известного антиквария г-на Лухманова; на них съезжалась смотреть вся Москва. Часы эти впоследствии купил сын фельдмаршала графа Каменского» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 122—123).

[23] *...Ф. Ф. Кокошкин... женился вторично на какой-то актрисе...* — О Ф. Ф. Кокошкине см. примеч. 10 к Главе шестой. Очевидно, здесь речь идет об актрисе Малого театра Марии Дмитриевне Львовой-Синецкой (1795—1875). Благодаря Кокошкину она, провинциальная актриса (из Костромы), переехала в Москву, где в 1824 г. была принята в московскую императорскую труппу на первые роли в драме и комедии.

[24] *...театр был на Арбатской площади, построен в виде ротонды.* — Арбатский театр был построен в 1808 г. по проекту архитектора К. И. Росси. Он открылся 13 апреля 1808 г., в 1812 г. сгорел (ныне на его месте памятник Н. В. Гоголю).

[25] *За год или за два до неприятельского нашествия... мамзель Марс и там играла.* — Французская актриса Марс (наст. имя и фамилия — Анн Франсуаз Ипполит Буте; 1779—1847) состояла в труппе «Комеди Франсез» сначала на амплуа инженю, а затем первых любовниц, кокеток, субреток в комедиях Мольера, Мариво, Этьенна, Делавиня и др.

[26] *...временно устроили театр на Никитской, в доме Познякова...* — На сцене частного театра в доме П. А. Познякова (ныне это д. 26 по ул. Герцена; перестроен) играли и русская и французская труппы. М. И. Пыляев заметил, что «театр П. А. Познякова 〈...〉 славился своею роскошью, зимним садом 〈...〉 Спектакли 〈...〉 считались первыми в Москве...» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 146). В 1812 г. здесь устраивались спектакли для французов. «Объезжая правую сторону обширного пепелища, — вспоминал в своих записках «Двенадцатый год» кн. А. А. Шаховской, — я заехал в уцелевший дом Познякова, где жил вице-король Италии и давались оставшимися в Москве французскими актерами спектакли 〈...〉 Во внутренности дома не только все уцелело, но еще было нанесено множество фортепьян и не принадлежащих к нему зеркал и мебелей, а за сценою домашнего театра брошены остатки священнических риз, из которых выкроены кафтаны и костюмы для комедий, разгонявших тоску жертв Наполеонова властолюбия» (*РА*, 1886, № 11, с. 387). М. И. Римская-Корсакова так писала о состоявшемся в этом театре 13 мая 1813 г. бале-маскараде: «...хотя Москва и обгорела до костей, но мы в радости не унываем, а торжествуем

из последних копеек ⟨...⟩ Позняков дал маскарад-театр. И каково же, что через полтора года мы торжествуем тут, где французы тоже играли комедию...» (см.: *Гершензон*, с. 50).

[27] ...*и выстроили... после первой холеры, новый университет.* — Университетское здание на Моховой улице (ныне просп. Маркса, д. 18), построенное по проекту М. Ф. Казакова в 1786—1793 гг., сгорело в 1812 г.; было восстановлено через четыре года под руководством архитектора Д. И. Жилярди, сохранившего основные объемы и внутреннюю планировку, но перестроившего фасад. В дальнейшем здание существенно не перестраивалось.

[28] *Теперешний театр... отделали... в конце 1825 года.* — Большой театр, сооруженный в 1821—1824 гг. архитектором О. И. Бове (с использованием проекта проф. А. А. Михайлова), был открыт 7 января 1825 г.

[29] ...*дом для комедии был где-то на Басманной...* — До 1733 г. в Москве еще существовал «Комедиантский дом у Никольских ворот», строительство которого было начато по повелению Петра I (см.: *Забелин*, с. 336—342). В начале 1700-х гг. «комедии» ставились в «большой столовой палате» Лефортовского дворца.

[30] ...*итальянцы... давали свои представления в особом здании у Красного пруда.* — Театр у Красного пруда был построен в 1756 г.; здесь выступали итальянская и русская труппы (подробнее см.: *Пыляев, Старая Москва*, с. 117—118).

[31] ...*Сумароков, быв в милости у императрицы, заправлял этим театром, и присылал в Москву актеров, и писал свои трагедии...* — Первый постоянный русский театр был основан по указу Елизаветы Петровны от 30 августа 1756 г. «Дирекция того русского театра поручается от нас бригадиру Александру Сумарокову», — гласил этот указ (см.: Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830, т. 14, с. 613, № 10599). В годы директорства Сумароков написал лишь одну трагедию — «Димиза» (1756), позднее переделанную в «Ярополка и Димизу», и драму «Пустынник» (1757).

[32] ...*учились танцевать у Иогеля.* — О. С. Павлищева (сестра А. С. Пушкина) писала о их детских годах: «...родители возили ⟨...⟩ на уроки танцевания к Трубецким ⟨...⟩, Бутурлиным ⟨...⟩, Сушковым, а по четвергам на детские балы к танцмейстеру Иогелю, переучившему столько поколений в Москве» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1974, т. 1, с. 47). (Танцмейстер жил на Бронной в собственном доме). Иогель вел танцевальные классы в доме Грибоедовых (в Новинском, в приходе Девяти мучеников; ныне ул. Чайковского, д. 17); у него учились Д. Н. Свербеев, Н. И. Новиков, И. И. Дмитриев (см.: *Записки Д. Н. Свербеева*, т. 1, с. 211).

[33] ...*Флагге... не имел такой большой практики...* — Сведений об этом учителе танцев обнаружить не удалось.

[34] ...*дом Пашковых был во всем блеске... хорошо и весело жить.* — Этот дом на старом Ваганьковском холме строился в 1784—1786 гг. архитектором В. И. Баженовым для гвардии капитан-поручика богача П. Е. Пашкова (1721—1790). «К Александру Ильичу дом перешел в 1802 г.; к бригадиру Алексею Александровичу в 1810; в 1839 г. к его дочери Дарье Алексеевне Полтавцевой» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 208). Рассказывая о своей матери Е. П. Ростопчиной, Л. А. Ростопчина писала: «Она родилась ⟨...⟩ в доме своего деда с материнской стороны, Ивана Александровича Пашкова, в роскошном жилище ⟨...⟩ В доме Пашкова помещалась многочисленная семья ⟨...⟩ четыре молодые семьи, дочь, неженатые сыновья и целый пансион детей, присланных родными в Москву из провинции для образования» (см.: *Ростопчина, Семейная хроника*, с. 162). П. И. Бартенев назвал дом Пашковых «изящнейшим зданием в России» (см.: *Жихарев*, с. 729), а современники называли его «волшебным замком». После пожара 1812 г. здание подверглось значительным переделкам. С 1861 г. в доме размещался Румянцевский музей и публичная библиотека (ныне — одно из зданий Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина). Подробнее о здании см.: *Потапова Н. А.* Изобразительная история «Пашкова дома». — В кн.: Панорама искусств. М., 1987, вып. 10, с. 91—98.

[35] *Он жил последнее время за границей... собой нехорош и прихрамывал.* — О П. В. Долгорукове см. примеч. 16 к Главе седьмой.

[36] ...*другая за Сушковым...* — Речь идет об отце поэтессы Е. П. Ростопчиной Петре Васильевиче Сушкове, женатом на Дарье Ивановне Пашковой.

[37] ...*прозван Козицким.* — Этот переулок прежде назывался Успенским, «но с тех пор как статс-секретарь Екатерины II Козицкий выстроил на Тверской дворец для своей красавицы жены, сибирячки-золотопромышленницы Е. И. Козицкой, переулок стал носить

ее имя и до сих пор так называется» (см.: *Гиляровский Вл.* Москва и москвичи. М., 1981, с. 192).

[38] *...Федор Сергеевич Лужин...* «был в 1795 г. Дмитровским предводителем дворянства» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 210).

[39] *...в Москве в своем собственном доме.* — «...на Малой Дмитровке под № 7» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 210).

[40] *...одна из сестер... была выдана за Бекетова...* — Речь идет о Елене Петровне, вышедшей замуж за Платона Петровича Бекетова.

[41] *Бекетов был весьма известный в свое время человек, очень ученый и имевший свою собственную типографию...* — Платон Петрович Бекетов (1761—1836), председатель Московского общества истории и древностей российских, двоюродный брат поэта И. И. Дмитриева (см.: *Дмитриев*, с. 70), открыл в Москве в 1801 г. собственную типографию, в которой печатал сочинения русских авторов; он получил широкую известность как издатель портретов — изданием «Пантеона российских авторов» и «Собрания портретов россиян, знаменитых по своим деяниям»; у него в одном из флигелей дома была организована книжная лавка, «сборный пункт всех московских писателей того времени» (*Пыляев, Старая Москва*, с. 392).

[42] *Одна из дочерей... была за Балашовым...* — Речь идет о Елизавете Платоновне Бекетовой, вышедшей замуж за министра полиции Александра Дмитриевича Балашова (1770—1837).

[43] *...известный Шульгин.* — Имеется в виду Дмитрий Иванович Шульгин (1786—1854), который в 1825—1830 гг. был обер-полицмейстером Москвы, а впоследствии получил чин генерала от инфантерии и должность с.-петербургского военного генерал-губернатора.

[44] *...ее сын Иван Иванович, бывший впоследствии министром, прославился своими стихами и баснями.* — Поэт и баснописец И. И. Дмитриев (1760—1837) был сыном помещика Дмитриева. Печататься он начал в 1777 г. В 1795 г. вышел сборник «Мои безделки», в 1796 г. — «Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен». Его трехтомные «Сочинения» вышли в 1803—1805 гг. «Дмитриев, гвардейский офицер, уволенный в отставку во времена имп⟨ератрицы⟩ Екатерины, в начале царствования Павла был обвинен как заговорщик, но, признанный невиновным, определен в гражданскую службу, с большими преимуществами. Из московских сенаторов он в 1810 г. был назначен министром юстиции ⟨...⟩ Он оставил службу с пенсионом в 10 тыс. руб. и принял на себя, в Москве, обязанности директора тайной полиции», — читаем о нем в «*Записках графа Ф. В. Ростопчина*», с. 654.

[45] *Ныне Люблино принадлежит купцам Голофтееву и Рахманину...* — В описываемое время в Люблине жили родственники Ф. М. Достоевского, и в 1866 г. здесь жил на даче сам писатель. Племянница его, М. А. Иванова, позднее писала о владельцах Люблина, купцах первой гильдии Голофтееве и Рахманине: «Одного из них звали Петр, другого Павел. 29 июня, в Петров день, именинники устраивали большое торжество, с званым обедом, увеселениями и фейерверком. Съезжалось богатое московское купечество; дачники, жившие в Люблине, также получали приглашение. Такое приглашение вместе с Ивановыми получил Достоевский. Сестра ⟨...⟩ очень уговаривала его пойти на обед, он отказывался, наконец согласился с условием, что скажет в качестве спича приготовленные стихи. В. М. Иванова захотела заранее знать, что он придумал, и Достоевский прочел:

О Голофтеев и Рахманин!
Вы именинники у нас.
Хотел бы я, чтоб сам граф Панин
Обедал в этот день у вас.
Красуйтесь, радуйтесь, торгуйте
И украшайте Люблино,
Но как вы нынче ни ликуйте,
Вы оба все-таки...!

На торжественный обед Достоевский не пошел...» (см.: Достоевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1964, т. 1, с. 365).

[46] *...на политехнической выставке в 1872 году.* — Политехническая выставка была устроена московским Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии с целью превратить ее впоследствии в выставку постоянную.

[47] *Чье было имение это прежде — не знаю, но там, говорят, бывали большие праздники и был особый театр.* — В начале 1800-х гг. подмосковное Люблино принадлежало «великому хлебосолу» помещику Михаилу Алексеевичу Дурасову (1760—1818). Оно славилось пространными оранжереями, «наполненными померанцевыми, лимонными и лавровыми деревьями и несметным количеством роскошных цветов ⟨. . .⟩ совершенное царство Флоры, ⟨. . .⟩ сад Армиды». Здесь хозяин «в продолжение всей зимы» устраивал обеды для друзей. В люблинском пруду разводили стерлядей и судаков; «чудовищные раки ловятся в небольшой протекающей по Люблину речке» (см.: *Жихарев,* с. 36—38). М. А. Дурасов приходился родным дядей графине А. Ф. Закревской. М. И. Пыляев писал о театре Дурасова: «. . .на сцене и в оркестре его появлялось около сотни крепостных людей ⟨...⟩ Самый театр и декорации были очень нарядны и исполнение актеров весьма порядочное. В антрактах разносили подносы с фруктами, пирожками, лимонадом, чаем, ликером и мороженым. Во время представления ароматические курения сожигались в продолжение всего вечера» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 157).

[48] *. . .только за Красным Селом. . . был загородный дом. . . очень богатого человека, некоего господина Яковлева. . . существует ли этот загородный яковлевский дом?* — Речь идет о доме брата отца А. И. Герцена камергера Александра Алексеевича Яковлева (1762—1825).

[49] *. . .дача и у графа Ростопчина. . . или генерал-губернаторская, казенная, этого не знаю.* — У Ф. В. Ростопчина была одна собственная дача — Вороново. Его внучка писала позднее, что после смерти Павла I ее дед, попавший в опалу, «поселился в 62-х верстах от Москвы в великолепном имении Воронове, купленном им у графа Алексея Воронцова». «Здесь он прожил, — продолжает мемуаристка, — с 1801 г. по 1812, переезжая на зиму с 1805 г. в Москву. . .» (*Ростопчина, Семейная хроника,* с. 24). В данном же случае речь идет о «казенной» генерал-губернаторской даче. Здесь у Ростопчина жил в 1812 г. Н. М. Карамзин, выехавший из Москвы в день вступления в нее французов. А. Я. Булгаков, прибывший к генерал-губернатору с известиями из действующей армии, писал: «С утра другого дня (27 августа) был у графа, жившего тогда в Сокольничьей роще на даче своей, пред тем графу Брюсу принадлежавшей. . .» (*Карамзин, Материалы для биографии*, ч. 2, с. 98—99).

[50] *Семик* (или зеленый четверг) отмечается церковью весной, в день поминовения умерших; приходится он на 46-й день после пасхи.

[51] *Духов день* (или пятидесятница) приходится на понедельник, 50-й день после пасхи.

[52] *Рождество богородицы* отмечается церковью 8 сентября.

[53] *Ильин день* приходится на 20 июля.

[54] *. . .гулянье было в Лазареву субботу. . . торговали вербами. . .* — М. И. Пыляев писал об этом празднестве: «У Лобного же места бывало самое раннее весеннее гулянье в Лазареву субботу; называлось оно „Под вербою“. Здесь была небольшая ярмарка, на которой продавалась верба для наступающего праздника Ваий, или Входа в Иерусалим; придельный храмовый праздник этого дня был в Покровском соборе, известном более под именем Василия Блаженного» (*Пыляев, Старая Москва*, с. 73). Лазарева суббота отмечается накануне вербного воскресенья, которое в свою очередь предшествует пасхальному.

[55] *. . .день Прохора и Никанора. . .* — День памяти св. Прохора, приходится на 4 января и 28 июля; день памяти св. Никанора — на 4 января, 28 июля и 28 декабря. Здесь речь идет о 28 июля.

[56] *День всех святых* приходится на первое воскресенье после троицы, которая в свою очередь следует на 50-й день после пасхи.

[57] *. . .Всесвятское было пожаловано императрицею Екатериною грузинскому царевичу. . .* — Еще ко двору царя Алексея Михайловича Теймураз I послал в знак верности своего внука, царевича Ираклия, в сопровождении матери, воспитателя и большой свиты. Образовав в Москве первую грузинскую колонию, царевич возвратился в Грузию, а многие из его свиты навсегда остались в Москве, вступив в родственные связи с русскими родами. Колония значительно расширилась с приездом в Москву в 1685 г. царя-поэта Арчила II, проведшего здесь три года. Его сын, царевич Александр, с десятилетнего возраста (с 1684 г.) воспитывался в Москве и с детства был другом будущего Петра I. Петр предоставил ему в ведение Донской монастырь. В 1697 г. Петр взял царевича с собой за границу, а в 1700 г. назначил Александра генерал-фельдцеймейстером (руководителем всей русской артиллерии) и закрепил за ним подмосковное село Всесвятское. Александр попал под Нарвой в плен к шведам, и все попытки Петра I вернуть его из плена оказались тщетными. Так он и умер

пленником в 1710 г. Усилиями царя останки его были перевезены в Москву и захоронены в Донском монастыре. Здесь же в 1713 г. был похоронен и Арчил. И здесь же, в монастыре, продолжали жить его жена и дочь. Монастырь стал центром притяжения для грузин, живших в Москве и приезжавших из Грузии. В 1724 г. в Россию приехал бывший картлийский царь Вахтанг VI с семьей и свитой, в которую входило свыше 1200 человек. Они жили в основном на Пресне (нынешняя Большая и Малая Грузинские улицы). Среди вновь приехавших были государственные и общественные деятели, ученые, поэты и книгоиздатели (подробнее см. в кн.: Сквозь столетия. Художественные произведения. Документы. Статьи. Очерки. Мемуары. Письма. Речи / Сост. Вано Шадури. Тбилиси, 1983, с. 40—52).

[58] *Грузины.* — В XVII в. подмосковное село Воскресенское было подарено Петром I картлийскому царю Вахтангу VI, и с этого времени здесь возникла грузинская слобода, давшая новое название всей местности. Контуры б. Грузин ныне обрисовываются Пресненским и Грузинским валами и Б. Грузинской улицей.

[59] *...с большим садом.* — На территории б. села Воскресенского был старинный «государев сад».

[60] *...при императрице Екатерине был большой праздник, который для нее устраивал граф Румянцев...* — Вот описание этого «необыкновенно торжественного» празднества: «Государыня шла в малой короне под балдахином, рядом с ней наследник престола в адмиральском мундире с бриллиантовыми эполетами, перед государыней шел Румянцев, по сторонам процессии шли кавалергарды в своих богатых красных с золотом кафтанах, в шлемах с перьями; процессию замыкали статс-дамы и первые чины двора, залитые в золото и бриллианты. С первых шагов процессии началась пушечная пальба, загремели трубы и литавры и раздался со всех сторон колокольный звон...» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 50—52).

[61] *...по случаю заключения мира с турками.* — Речь идет о Кючук-Кайнарджийском мире 1774 г.

[62] *Это было вскорости после казни Пугачева.* — См. примеч. 34 к Главе первой.

[63] *...великий князь с супругой...* — Речь идет о наследнике престола Павле с первой женой: с 1773 г. он был женат на гессен-дармштадтской принцессе Вильгельмине, по принятии православия названной Натальей Алексеевной (ум. 1776).

[64] *Дворец выстроен наподобие замка... въезда в столицу.* — О Петровском дворце см. примеч. 21 к Главе четвертой.

[65] *Парка такого... не было... и пустыри.* — Петровский парк был разбит в 1827 г.

[66] *...поручили Башилову выстроить вокзал... душа общества.* — «У Башилова было несколько дач. Он же построил в парке огромное деревянное здание, названное им „вокзалом". В этом вокзале пели цыгане, играла музыка и давались танцевальные вечера, а в саду, где по воскресеньям давались фейерверки, были устроены для детей качели, деревянные горы и разные игры. Одна из улиц парка была названа в честь устроителя вокзала Башиловкою. В Петровском парке находился театр ⟨...⟩, построенный моим отцом (М. Н. Загоскиным. — *Т. О.*) в бытность его директором московских театров ⟨...⟩ Малонаселенный парк был в то время действительно приятным и спокойным местом летнего пребывания семейных москвичей. ⟨...⟩ Башилов был остроумный, веселый и добрейший старик-холостяк. Своими шутками и забавными рассказами он приобрел расположение великого князя Михаила Павловича и в последние годы своей жизни проживал в его дворце на Остоженке, где и умер» (*Загоскин*, № 1, с. 61).

[67] *Бильбоке* (от франц. bilboquet) — игра по названию шарика, прикрепленного на длинном шнуре к палочке. Его подбрасывают и ловят на острие на одном конце палочки или в чашечку на другом.

[68] *...французские актеры тогда бывшей в Москве постоянной труппы...* — См. выше, примеч. 26.

[69] *Александровский дворец — это... дом, в котором живал граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, давал праздники... в начале восьмисотых годов.* — Этот эпизод буквально переписал М. И. Пыляев (см.: *Пыляев, Старая Москва*, с. 190). Александровский (нужно: Александрийский) дворец был «построен в 1756 г. для П. А. Демидова его крепостным архитектором Ситниковым по плану архитектора Яковлева» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 218). Один из праздников-балов описан С. П. Жихаревым (см.: *Жихарев*, с. 170, 175—176).

[70] *В Нескучном долгое время был воздушный театр... выстроен от дирекции театров для забавы московской публики...* — Нескучный сад, образованный Дворцовым ведомством

из садов, принадлежавших князьям Голицыным, кн. Н. Ю. Трубецкому и миллионеру-заводчику П. А. Демидову, был предназначен для устройства летней резиденции Екатерины II. Здесь в 1796 г. находился «Летний домик» А. Г. Орлова. Впоследствии здесь было имение кн. Л. А. Шаховского (до 1826 г.). Летом 1830 г. здесь, на террасе сада, устроили «воздушный» (т. е. открытый) театр на 1500 мест — с обширной сценой из натуральной зелени и деревьев, рядом лож, партером и даже райком (ныне на этом месте часть Центрального парка культуры и отдыха им. А. М. Горького).

[71] *...что теперь называется Студенец, а тогда называли Гагаринские пруды.* — Студенцом называли ручей, на берегах которого в XVIII в. находилась одноименная усадьба князей Гагариных. Здесь был парк с прудами; на одном из островов была установлена памятная колонна в честь Отечественной войны 1812 г.

[72] *...князь Матвей Петрович Гагарин, казненный при Петре I (17 июля 1721 г.)...* — Приближенный Петра, М. П. Гагарин, в 1711—1719 гг. был сибирским губернатором и в течение своего правления нажил хищениями огромное состояние. Царь не раз вызывал его в Петербург и даже отдавал под следствие. В 1718 г. Гагарин проходил по делу царевича Алексея Петровича, но был отпущен в Сибирь, затем вновь вызван в Петербург и казнен повешением. Современники по-разному толковали причину казни: одни уверяли, что за хищения, другие — за намерение сделаться в Сибири независимым от России владетелем; единодушны они в одном: Гагарин не признался ни в одном из своих «явно доказанных преступлений». «Он был повешен перед окнами юстиц-коллегии, в присутствии государя и всех своих знатных родственников» (см.: *Пыляев, Старая Москва*, с. 289—290).

[73] *...загородный дом князя Голицына...* — В этом доме у масона кн. Ивана Дмитриевича Трубецкого (ум. 1827) бывал А. С. Пушкин (ныне ул. Усачева, д. 1).

[74] *...брата Алексея Григорьевича.* — Речь идет о Ф. Г. Орлове.

[75] *Голицынская больница* была построена по проекту архитектора М. Ф. Казакова на средства кн. Д. М. Голицына и открыта в 1802 г. (ныне — Ленинский просп., д. 8).

[76] *...известного князя Долгорукова-Крымского.* — Речь идет о Василии Михайловиче Долгорукове (1722—1792), еще в тринадцатилетнем возрасте отличившемся во взятии Перекопской крепости (в 1736 г.). Позже он участвовал в Семилетней войне (см. примеч. 27 к Главе первой), а в 1762 г. стал генерал-аншефом. Титул «Крымского» Долгоруков получил за участие в русско-турецкой войне 1768—1774 гг., во время которой он командовал 2-й армией. На ее долю выпала задача овладеть Крымом. 25 июня армия захватила Перекоп, а затем при поддержке Азовской флотилии адмирала А. Н. Сенявина заняла Крым. За эту операцию кроме титула «Крымского» Долгоруков получил орден св. Георгия 1-й ст.

[77] *...вдовствующая императрица...* — Речь идет о вдове Александра I Елизавете Алексеевне.

[78] *...Соймонов, человек очень почтенный и чиновный...* — Навигатор и гидрограф Федор Иванович Соймонов (1682—1780), с 1739 г. исправлявший должность вице-президента адмиралтейской коллегии, при Бироне попал в опалу и по делу А. П. Волынского был сослан в каторжные работы в Охотск. При Елизавете Петровне он был возвращен из ссылки и вскоре получил назначение на губернаторство в Сибири. С 1763 по 1766 г. Соймонов состоял сенатором в московской сенатской конторе.

[79] *...голубую (Андреевскую) ленту...* — См. примеч. 47 к Главе первой.

[80] *Куртаг* (от нем. Kurtag) — прием или приемный день в царском дворце.

[81] *...дурное предзнаменование, которое и сбылось...* — Речь идет о наполеоновском нашествии 1812 г.

[82] *Пудру перестали носить... отменили пудру для солдат...* — Имеется в виду пудреный парик.

[83] *...при версальском дворе... последних трех королей...* — Версаль в 1672—1789 гг. был резиденцией французских королей. Названные в книге «настоящие последние три короля» — это Людовик XIV, Людовик XV и Людовик XVI. Первый из них сделал версальский двор центром великосветской жизни.

[84] *...дочь сестры Потемкина...* — Сенатор, член Государственного совета князь Николай Борисович Юсупов (старший, 1750—1831) был женат на Татьяне Васильевне Энгельгардт (1767—1841), младшей дочери сестры Г. А. Потемкина М. А. Энгельгардт (ум. после 1767). С 1783 г., следом за старшими сестрами (первая из которых вышла замуж за гетмана коренного Ксаверия Браницкого; она была подругой Екатерины II и создательницей огромного состояния Браницких и Воронцовых), Татьяна Васильевна стала любовницей

своего дяди (см.: *Шумигорский Е. С.* Графиня А. В. Браницкая. — *ИВ*, 1900, № 1, с. 172—178; см. также ниже, примеч. 94).

[85] *...сыном фельдмаршала...* — Речь идет о генерал-фельдмаршале Михаиле Михайловиче Голицыне (1675—1730), знаменитом петровском военачальнике.

[86] *...дочь ее, Евдокия Михайловна... никогда с ним не жила вместе...* — Здесь допущена неточность в отчестве: речь идет о Е. И. Голицыной, получившей прозвище «princesse Nocturne» («Ночная княгиня, или Полуночница»), с мужем она «разъехалась» после 2 лет совместной жизни. «По рассказам, она боялась ночи, так как ей когда-то известная девица Ленорман предсказала, что она умрет ночью... Салон этой русской г⟨оспо⟩жи Рекамье посещали все знаменитости того времени, как приезжие, так и отечественные. Беседы у княгини отличались большой свободой и непринужденностью ⟨...⟩ В числе многих известных поклонников княгини были: наш поэт Пушкин, Карамзин, М. Ф. Орлов и князь И. М. Долгоруков...» (*Пыляев, Старый Петербург*, с. 46).

[87] *Андреевская звезда* — один из знаков ордена Андрея Первозванного (см. примеч. 13 к Главе четвертой), представлявший собою серебряную звезду, в середине которой, в золотом поле, был изображен двуглавый орел, увенчанный тремя коронами, а в середине орла Андреевский крест. Вокруг звезды, на голубом поле, вверху был вписан золотыми буквами орденский девиз («За веру и верность»), внизу — две связанные лавровые ветви; носили звезду на левой стороне груди.

[88] *...портрет государя...* Портретами назывались наградные медали, на лицевой стороне которых помещался портрет царя (или царицы).

[89] *...алмазный шифр...* — См. примеч. 19 к Главе седьмой.

[90] *...жемчужная эполета.*— Эполеты — это парадные погоны офицеров, генералов и адмиралов. Они, как правило, украшались позументами, бахромой и т. п. Жалованная же эполета (носили и одну эполету), как и наградное оружие, могла быть украшена жемчугами или бриллиантами.

[91] *...князя Юсупова в его московском старинном доме, у Харитонья в Огородниках...* — Речь идет о доме Н. Б. Юсупова на Большой Хомутовке, входившей в бывшую Огородную слободу (ныне — Большой Харитоньевский пер., д. 21). По словам М. И. Пыляева, дом этот «представлял редкий памятник зодчества конца XVII века ⟨...⟩. Каменные двухэтажные палаты ⟨...⟩ с пристройками к восточной стороне стояли на просторном дворе; к западной их стороне примыкало одноэтажное каменное здание, позади каменная кладовая, далее шел сад ⟨...⟩ и в нем был пруд ⟨...⟩. Первая палата о двух ярусах ⟨...⟩, над палатой возвышается терем с двумя окнами, где, по преданию, была церковь» (*Пыляев, Старая Москва.* с. 286). Здесь в одном из флигелей в конце 1801 г. поселилась семья Пушкиных (см.: *Волович Н. М.* Пушкинские места Москвы и Подмосковья. М., 1979, с. 22—23).

[92] *...пожалованном его деду...* — В 1727 г. Петр II пожаловал бывший дом боярина Алексея Волкова генерал-лейтенанту, члену Государственной коллегии князю Григорию Дмитриевичу Юсупову (1667—1730).

[93] *...отец его...* — Т. е. Борис Григорьевич Юсупов (1696—1759), московский вице-губернатор (1738), затем губернатор (1740), президент Коммерц-коллегии (1741) и, наконец, директор Сухопутного шляхетского корпуса (1750—1759).

[94] *...сын и пять дочерей.* — В семье М. А. Энгельгардт (см. выше, примеч. 84) было два сына и шесть дочерей. Наследство после смерти Г. А. Потемкина осталось «...громадное: одних драгоценных камней было на сумму более миллиона рублей; движимого и недвижимого имущества было на 7 миллионов ⟨...⟩ Казна купила от наследников дома, заводы, драгоценные вещи на сумму в 2 600 000 руб.». На наследство претендовали племянник князя А. Н. Самойлов и А. В. Браницкая (она представляла и интересы остальных племянниц). Процесс закончился в пользу Браницкой. О характере ее капиталов можно судить по ее предсмертному распоряжению (она умерла в 1838 г.). «На помин души она пожертвовала 200 000 рублей для выкупа должников из тюрем и около 300 000 рублей с тем, чтобы проценты с этого последнего капитала ежегодно употреблялись на поддержание благосостояния крестьян ⟨...⟩ в бывших ее 217 имениях...» (см.: *Шумигорский Е. С.* Графиня А. В. Браницкая. — *ИВ*, 1900, № 1, с. 183—202).

[95] *большая библиотека... около тридцати тысяч книг, все более нерусские.* — В числе этих книг, по свидетельству историка города, были «редчайшие эльзевиры и Библия, отпечатанная в 1462 году» (*Пыляев, Старая Москва*, с. 279). Современные авторы пишут: «Наиболее ранней из сохранившихся описей этой библиотеки является каталог 1800 года ⟨...⟩. Здесь числится более 10 тысяч томов ⟨...⟩. Издания на французском языке составляли

более девяноста процентов всей коллекции, а раздел „Российские книги" содержал только 864 экземпляра ⟨...⟩; здесь было несколько уникальных изданий. В их числе „Острожская библия" — один из лучших образцов русского книгопечатания конца XVI века, выпущенная Иваном Федоровым в 1581 году ⟨...⟩. К 1828 году библиотека ⟨...⟩ выросла почти вдвое. Как отмечалось в одном из журналов того времени, она является сейчас самой крупной коллекцией в Москве» — см.: *Булавина Л., Рапопорт В., Унанянц Н.* Архангельское. М., 1981, с. 74—75. О современном состоянии библиотеки см. здесь же, с. 71—77.

[96] *...велел изваять точное его изображение и поставил у себя в библиотеке.* — Эта «персона» Вольтера из папье-маше и сейчас находится в библиотеке Архангельского.

[97] *Еще прежде чем сделаться посланником...* — Н. Б. Юсупов до своего назначения посланником в 1783 г. несколько лет путешествовал по Европе с целью самообразования, а в 1782 г. он находился в свите цесаревича Павла Петровича и его супруги, путешествовавших по Европе. Новая его деятельность началась с назначения чрезвычайным посланником и полномочным министром в Турин, ко двору сардинского короля Амедея III, в этом же году он ездил к неаполитанскому двору короля Фердинанда I, а в следующем — в Рим к папе Пию VI и в Венецию «в качестве уполномоченного при венецианском правительстве. Здесь, отстаивая интересы своего отечества, Юсупову пришлось бороться с происками, направленными в ущерб России Англиею и Австриею» (см.: Русский биографический словарь. Щапов—Юшневский. СПб., 1912, с. 353).

[98] *...заветный Трианон в полном еще блеске.* — Речь идет о знаменитых версальских дворцах — Большом Трианоне (1687—1688; архитектор Ж. Ардуэн-Мансар) и Малом Трианоне (1762—1764; архитектор Ж.-А. Габриэль). В 1830 г. эти дворцы были превращены в музей.

[99] *...что чрез несколько лет уже не существовало.* — См. примеч. 2 к Главе шестой, а также выше, примеч. 83.

[100] *...беседовал об его сестре...* — Речь идет о младшей дочери покойного австрийского императора Франца I и императрицы Марии-Терезии французской королеве Марии-Антуанетте (см. примеч. 2 к Главе шестой).

[101] *...застал еще в живых старика Фридриха Великого... ветх и видимо разрушался.* — Фридрих II Великий, король прусский (1740—1786) прожил 74 года (1712—1786). Общение «короля-философа» со многими образованными и учеными людьми его времени, его занятия историей, философией и поэзией привлекали к нему внимание таких современников, как Вольтер и Руссо. Н. Б. Юсупова, без сомнения, влекла к себе и знаменитая резиденция короля — дворец Сан-Суси близ Потсдама.

[102] *Насмотревшись на спекуляцию Вольтера, который под старость сделался торгашом...* — Речь идет о часовой мануфактуре, основанной Вольтером в 1776 г. в Фернье (это из его мастерских вышли знаменитые швейцарские часы). Екатерина II была одной из первых оптовых покупательниц Вольтера: в Россию отправили партию часов на 8000 р. (см.: *Акимова А.* Вольтер. М., 1970, с. 331—332).

[103] *...подмосковное его имение...* — Имеется в виду село Спасское-Котово на реке Клязьме.

[104] *...в свой петербургский дом...* — Дом князя Б. Н. Юсупова на Мойке был одним из «богатейших барских домов в Петербурге по внутренней роскоши» (см.: *Михневич Вл.* Петербург весь на ладони. СПб., 1874, с. 246).

[105] *В Архангельском, говорят, одних картин было собрано более чем на миллион рублей ассигнациями...* — Художественное собрание Н. Б. Юсупова считалось одной из лучших частных коллекций в Москве. Его картинная галерея насчитывала более 500 картин, среди которых были полотна таких мастеров, как Рембрандт, А. Ван Дейк, Клод Лоррен, Дж.-Б. Тьеполо, Ф. Буше, Ж.-Б. Грез, Ж.-Л. Давид и мн. др. (см. в кн.: *Булавина Л., Рапопорт В., Унанянц Н.* Архангельское. М., 1981, с. 70—72).

[106] *...«Le Connétables» и «Montmorenci»...* — Названия деревьев символичны: один из представителей старинного дворянского французского рода Монморанси герцог Анн (1492—1567) был коннетаблем (главнокомандующим) у Франциска I.

[107] *...дом, называемый «Каприз»... дверей.* — Малый дворец «Каприз» был построен на рубеже XVIII—XIX вв. и «выглядел изящной игрушкой в глубине большого регулярного парка» (подробное его описание см.: *Булавина Л., Рапопорт В., Унанянц Н.* Архангельское, М., 1981, с. 78—80).

[108] *Муж ее умер до двенадцатого года, а старший из ее двух сыновей был убит под Бородином...* — Генерал Борис Владимирович Голицын (1769—1813) был тяжело ранен в Боро-

динском сражении и умер через год. Генерал от кавалерии князь Дмитрий Владимирович Голицын (1771—1844) в 1794 г. участвовал в штурме Праги, в 1807 г. — в сражении при Прейсиш-Эйлау, в 1812 г. командовал кирасирским корпусом, отличившись в сражениях при Бородине и Красном. С 1820 г. до конца дней был московским военным генерал-губернатором.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

[1] *...дом ...у Бориса и Глеба, второй от угла Воздвиженки, на Никитском бульваре...* — Церковь Бориса и Глеба на Стрелке не сохранилась. На месте упоминаемого дома теперь стоит кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади.

[2] *Апраксины... нанимали флигель кокошкинского дома... по Воздвиженке.* — Так называемый кокошкинский дом с флигелем по Воздвиженке (ныне просп. Калинина) существовал до 1941 г., когда был разрушен бомбой.

[3] *...на Пречистенке... на углу переулка, называемого Мертвым, где был дом наш...* — Дом Яньковых на углу нынешней Кропоткинской улицы и переулка Островского существовал до 1960-х гг.

[4] *По окончании всех войн России с Францией и по возвращении союзных войск из-за границы...* — Речь идет о заграничных походах русской армии 1813—1814 гг. вместе с союзниками — Пруссией, Австрией, Англией — по изгнанию из стран Западной Европы войск Наполеона. Походы закончились подписанием Парижского мира 1814 г.

[5] *...про которую я уже и рассказывала...* — См. с. 176 и примеч. 4 к Главе шестой.

[6] *Был еще и четвертый... умер молод при Елизавете...* — «Четвертым» братом был генерал-фельдмаршал от флота граф Иван Григорьевич (1726—1797), президент адмиралтейской коллегии, дипломат. Но умер он в семидесятилетнем возрасте.

[7] *...Петр Григорьевич был посланником при нескольких дворах...* — Крестник Петра I граф П. Г. Чернышев (1719—1773), камергер, сенатор и дипломат, уже в 1741 г. был назначен чрезвычайным посланником к датско-норвежскому двору и вскоре отправлен послом в Берлин, в 1746 г. — в Лондон, где пробыл до 1755 г.; в 1760—1762 гг. он был послом в Париже.

[8] *...Вяземы... говорят, принадлежало Борису Годунову, который там строил церковь каменную...* — Церковь в с. Большие Вяземы (здесь была загородная резиденция Бориса Годунова) «каменная о двух ярусах, довольно великая ⟨...⟩ И снаружи и во внутренности ее ⟨...⟩ вся древность соблюдена» («Из путевых записок 1804 г. митрополита Платона» — цит. по: *Волович Н. М.* Пушкинские места Москвы и Подмосковья. М., 1979, с. 29). Сохранилась доныне.

[9] *...при Петре I, оно было пожаловано им князю Борису Алексеевичу, его воспитателю.* — В конце XVII в. Большие Вяземы были пожалованы Петром I воспитателю и другу царя Б. А. Голицыну; с 1803 г. владельцем усадьбы стал кн. Б. В. Голицын, сын Н. П. Голицыной.

[10] *...прекрасное собрание гравированных портретов всех известных генералов 1812 года.* — Речь идет о гравюрах с портретов Дж. Доу из Военной галереи Зимнего дворца, открывшейся 25 декабря 1826 г. Известно, что в мастерской Доу в Петербурге его помощники А. В. Поляков и В. А. Голике изготавливали большое число копий по частным заказам. Эти копии лишь иногда подправлялись Доу. Д. В. Голицын был именно таким заказчиком. Доу также создал мастерскую по размножению портретов путем гравирования. Здесь у него работали английские граверы. По их доскам в Лондоне печатались листы и ввозились на продажу в Россию в большом количестве (см.: *Глинка В. М., Помарнацкий А. В.* История создания Военной галереи. — В кн.: Военная галерея Зимнего дворца. Л., 1963, с. 3—32).

[11] *...тетка Небольсина...* — Ошибка, нужно: жена А. С. Небольсина (рожд. Муромцева), была вдовой московского гражданского губернатора сенатора Н. А. Небольсина (1785—1846), а упоминаемый здесь дом «на Садовой» — «это дом № 15 по Садово-Кудринской ул.» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 245).

[12] *...Андрея с алмазными знаками...* — Ордена Андрея Первозванного и Александра Невского жаловались в двух видах — простом и украшенном алмазами. Последнее означало высшую степень ордена (см. также примеч. 13 к Главе четвертой).

[13] *...портрет государя...* — См. примеч. 88 к Главе девятой.

[14] . . .*бриллиантовую эполету*. . . — См. примеч. 90 к Главе девятой.

[15] *Титул светлости* носили младшие члены императорской фамилии и светлейшие князья (светлейшие князья — высший княжеский титул).

[16] . . .*со времени чумы*. . . — См. примеч. 42 к Главе первой.

[17] . . .*возле ее мужа*. — «Князь Владимир Борисович умер 25 декабря 1798 г. на 67 г. жизни и был погребен в Донском монастыре, где Наталья Петровна соорудила на его могиле памятник» (*Экз. В. К. Журавлевой,* с. 248).

[18] . . .*орден Белого Орла*. — Этот первоначально польский орден был включен в число русских орденов в 1831 г. и поставлен по старшинству после ордена Александра Невского. Он имел одну степень. Носили его на синей ленте через левое плечо: с правой стороны ленты висело изображение черного двуглавого орла с золотыми головами. В середине помещался красный эмалированный крест в золотой звезде, а на кресте — белый орел с короной на голове. Кавалеры Ордена Александра Невского носили этот орден на шее, но уже без звезды.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

[1] *Один из самых известных людей. . . замечательный художник. . . женат и на ком и имел ли детей*. . . — Знаменитый медальер Ф. П. Толстой (1783—1873) начал свой путь с мичмана (1802 г.); в 1804 г. он был отставным лейтенантом; в 1806 г. состоял при императорском Эрмитаже; в 1826 г. получил чин надворного советника, а в 1828 — был уже статским советником и вице-президентом Академии художеств, в 1846 г. он получил чин тайного советника и с 1859 г. стал товарищем президента Академии художеств. Женат он был дважды. От первого брака (на Анне Ивановне Дудиной) у него было две дочери: Елизавета и Мария (в замуж. Каменская). Второй раз Толстой женился на Анастасии Ивановне Ивановой (1816—1889) и имел от нее дочерей Екатерину (в замуж. Юнге) и Ольгу (в замуж. Дмитриеву).

[2] *Мудров* Матвей Яковлевич (1772—1831), врач, профессор медицины Московского университета, известный масон, мистик, друг Н. И. Новикова и А. Л. Витберга.

[3] *Екатерининский институт*. — Московский Екатерининский институт (в Сущевской части) был открыт в 1803 г. Цель его состояла в том, чтобы «дочерям дворян и ревностных служителей государства, лишенных даров щастия, доставить убежище, где бы они могли получить воспитание, соответственное их званию. . .» (см.: Путеводитель по Москве. Изданный Сергеем Глинкою. М., 1824, с. 233). В Москве было также училище св. Екатерины, относившееся к учебным заведениям первого разряда (наряду со Смольным институтом в С.-Петербурге).

[4] . . .*приобщался Святых Таин*. . . — См. примеч. 16 к Главе первой.

[5] *Благовещение* отмечается церковью 25 марта.

[6] *Вербная неделя* наступает на шестой неделе великого поста.

[7] . . .*под Лазареву субботу*. . . — См. примеч. 54 к Главе девятой.

[8] *Великая среда* — среда на страстной (предшествующей пасхальной) неделе.

[9] . . .*пострадал, когда был губернатором*. — Об этой истории, относящейся к 1793—1794 гг. и повлекшей за собой прискорбные последствия (Долгоруков был публично оскорблен мужем женщины, к которой он писал пламенные любовные письма, и не вызвал обидчика на поединок), подробно рассказано в *Записках князя И. М. Долгорукова,* с. 280—315.

[10] . . .*благодатную губу скроила. . . очень изрядные*. — Издатель книги Долгорукова писал в примечаниях к ней: «Князь Иван Михайлович, отличавшийся, по рассказам современников ⟨...⟩ некрасивой наружностью, не раз в своих записках и словаре упоминает об этом, не скрывая своих недостатков. Его звали обыкновенно „губаном" и „балконом" за широкую нижнюю челюсть и толстую губу. . .» (*Записки князя И. М. Долгорукова,* с. 52; см. также: *Записки Д. Н. Свербеева,* т. 1, с. 309).

[11] . . .*на Евгении Сергеевне Смирновой*. . . — Сам И. М. Долгоруков так писал о невесте, выпускнице Смольного монастыря, дочери «самых беднейших и не важных дворян», обладавшей «дарованиями превосходными»: «. . .она прекрасно пела, танцевала, играла на арфе и к театральному выражению, т. е. к декламации, была очень склонна. Собою не хороша, но миловидна, мала ростом, но стройна. К несчастью, имела слабую грудь и часто кашляла. . .» (см.: *Записки князя И. М. Долгорукова*, с. 82).

[12] *...книгопродавца Рисса... книжной лавки...* — Речь идет об одном из иностранных книгопродавцев в Москве. Звали его Рисс Франсуа Доминик (1770—1858), а его магазин именовался «Risse et Saucet». Торговал Рисс в основном французскими книгами, в том числе драматическими новинками. Сохранился рассказ его о только что вошедших в Москву французах. Князь А. А. Шаховской в своих записках («Двенадцатый год») писал: «...книгопродавец Рис⟨с⟩ ⟨...⟩ рассказывал, что, принужденный остаться при своей лавке и вдруг услыша издали трубы и барабаны, вышел на улицу; его схватили, представили Наполеону, помнится, у Дорогомиловского моста, и вот их разговор: „Кто ты?“ — „Французский книгопродавец“. — „А! ... стало, мой подданный“. — „Да, но давнишний житель Москвы“. — „Где Ростопчин?..“ — „Выехал“. — „Где московское городское правительство? (Magistrat)“ — „Также выехало“. — „Кто же остался в Москве?“ — „Никого из русских...“ — „Быть не может!“. Рис⟨с⟩, кажется, поклялся в истине своих показаний. Тогда Наполеон нахмурил брови и, простояв довольно долго в глубокой думе, наконец, как бы решаясь на очень опасное дело, вскрикнул: „Марш! вперед!“. Но этот марш, как я потом слышал от пленного племянника и адъютанта маршала Бертье, походил не на победное шествие победителей, а на погребальный ход за покойником» (*РА*, 1886, № 11, с. 388).

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

[1] *...искусный архитектор... погубили бедного Витберга...* — Русский художник (шведского происхождения) Александр (до крещения в православие Карл) Лаврентьевич Витберг (1787—1855) стал архитектором, вдохновясь идеей создания проекта храма Христа Спасителя в Москве, задуманного Александром I как памятник в честь победы русского народа над Наполеоном. Из многочисленных проектов, представленных императору, Александром I был выбран проект Витберга, и сам он был назначен главой комиссии, которой поручались все распоряжения по постройке храма. Наживший многочисленных врагов среди архитекторов и не обладавший никакими практическими навыками, Витберг вскоре оказался под следствием, был судим и сослан в Вятскую губернию. В Вятке он стал другом А. И. Герцена, также находившегося в ссылке и потрясенного злосчастной судьбой Витберга. Вероятно, Герцен стал вдохновителем мемуаров Витберга, сам записал их, придав «Запискам» «литературную форму». Впервые эти «Записки академика Витберга, строителя храма Христа Спасителя в Москве» были опубликованы М. И. Семевским (*РС*, 1872, кн. 1, 2, 4). Еще при жизни Витберга (в 1854 г.) Герцен напечатал в Лондоне (в издании «Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера») «Былое и думы», в которых целая глава — XVI — так и называлась «Александр Лаврентьевич Витберг». «Свинцовая рука царя не только задушила гениальное произведение в колыбели, — говорилось здесь, — запутав его в судебные проделки и следственные полицейские уловки, но она попыталась с последним куском хлеба вырвать у него честное имя, выдать его за взяточника, казнокрада». Глава представляет собою не только вдохновенный гимн «великому художнику» и его «гениальному произведению», но и историю всей жизни «страдальца». «Судьбу твою, мученик, думал я, узнают в Европе, *я тебе за это отвечаю*», — заканчивал свой рассказ Герцен (см.: *Герцен*, т. 8, с. 277—288).

[2] *...высшим белым духовенством...* — К высшему белому (не монашествующему, т. е. не дающему обетов строгого воздержания) духовенству причисляются протопресвитеры и протоиереи.

[3] *...чудотворные иконы божией матери Владимирской и Иверской...* — Об этих иконах см. примеч. 31 к Главе восьмой и примеч. 26 к Главе четвертой. Перед самым оставлением Москвы Ф. В. Ростопчин послал своего адъютанта к архиерею, с повелением от имени Александра I уехать в ту же ночь и увезти с собою обе иконы «Он (Ростопчин. — *Т. О.*) стал беспокоиться, каким образом их взять. Одна (икона), называемая Владимирскою, находилась в кафедральном соборе; другая, Иверская, в часовне, носившей ее имя. Он справедливо опасался, как бы оставшаяся в Москве чернь не вздумала препятствовать отъезду двух покровительниц Москвы...» (см.: *Записки графа Ф. В. Ростопчина*, с. 718).

[4] *...ибо не мечом нашим... исповемыся вовек!»* — Переложение ст. 6—9 псалма 43. В Псалтири: «6. С тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих на нас; 7. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня; 8. но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. 9. О боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек».

[5] *«Не мы, не мы сотворихом... до конец земли».* — Переложение ст. 8—12 псалма 45. В Псалтири: «8. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. 9. Придите и видите дела Господа — какие произвел Он опустошения на земли: 10. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сожег огнем. 11. Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле. 12. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова».

[6] *«Тебе Бога хвалим»...* — начальные слова благодарственного гимна, составленного в IV в. святителем Амвросием Медиоланским.

[7] *...был бы хорош в Петербурге... мало соответствовал нашим древним храмам Кремля.* — Проект Витберга поражал современников «и необыкновенной смелостью художественной мысли и таинственностью мистического ее значения». «Это огромнейших размеров здание начиналось уже церковью во имя сошествия Христа в ад; над ней сооружался храм Рождества Спасителя, а еще выше второго должен был возвышаться храм Воскресения. Вся вышина от подошвы первого храма до купола должна была превосходить не одним десятком сажен храм св. Петра в Риме» (см.: *Записки Д. Н. Свербеева,* т. 1, с. 206, 208). Рисунок проекта Витберга был воспроизведен при его «Записках» (см. выше, примеч. 1) в «Русской старине».

[8] *Витбергу в день закладки дали чин...* — В «Записках...» Витберга об этом говорится: «Вечером того же дня, когда была закладка, я всемилостивейше был пожалован чином коллежского асессора» (см.: *Герцен,* т. 1, с. 416). Коллежский асессор — чин VIII класса.

[9] *...Владимирский крест на шею...* — А. И. Герцен приводит в «Былом и думах» следующие слова Витберга: «Если б не семья, не дети, — говорил он мне, прощаясь, — я вырвался бы из России и пошел бы по миру, с моим владимирским крестом на шее спокойно протягивал бы я прохожим руку 〈...〉, рассказывая им мой проект и судьбу художника в России» (см.: *Герцен,* т. 8, с. 287).

[10] *...когда в Москве генерал-губернатором был князь Дмитрий Владимирович...* — Речь идет о Д. В. Голицыне.

[11] *...в 1839 году совершили новую закладку на новом месте...* — Новый проект храма Христа Спасителя был выработан архитектором К. А. Тоном и утвержден в 1832 г. Место на берегу реки Москвы выбрал Николай I. Торжественная церемония закладки храма происходила 10 сентября 1839 г. Постройка длилась 20 лет, и в 1860 г. приступили к внутренним работам, на которые потребовалось еще 20 лет. Освящение и открытие храма происходило 26 мая 1883 г. Построенный по типу древнерусских церквей, пятиглавый собор поражал богатством и грандиозностью. Скульптурные работы для него выполнялись П. К. Клодтом, А. В. Логановским и Н. А. Рамазановым (некоторые скульптуры ныне находятся на территории Донского монастыря). Храм представлял собой своеобразный исторический музей и музей живописи (расписывал его профессор живописи А. Т. Макаров в течение 5 лет, В. П. Верещагин, академики Г. И. Семирадский и Ф. С. Журавлев. Изображение храма см.: Прометей. М., 1987, № 14, с. 336). Все строительство обошлось России в 152 000 000 руб. (подробнее см.: *Мостовский М.* История храма Христа Спасителя в Москве. М., 1884). Храм был разрушен в 1930-х гг.; попытка построить на его месте Дворец Советов не удалась. Ныне на его месте плавательный бассейн «Москва».

[12] *...человек строптивый, жесткий, а иногда и жестокий...* — Генерал от артиллерии Алексей Андреевич Аракчеев (1769—1834) — с 1808 г. военный министр, с 1810 г. председатель военного департамента Государственного совета — был всесильным временщиком при Александре I; в 1815—1825 гг. он фактически руководил государством. Об Аракчееве «в свое время иначе не говорили как шепотом», проезжая мимо его дома на Литейной, «всякий сдерживал дыхание и затаивал мысль...»; это был «замечательный человек» «по холодности и жестокости, по отсутствию мысли в действиях, по привязанности к одной форме и внешности» (см.: *Замечательные чудаки и оригиналы,* с. 16, 19). Показательно отношение к Аракчееву его собственных крестьян во время предсмертной болезни графа. «По их лицам, — писал современник, — можно было видеть, ухудшается или улучшается его положение. В первом случае на лицах их блистала радость, а во втором омрачали их тоска и печаль. Когда же он умер, то крестьяне у самого дома его бросали вверх шапки от радости и, обнимаясь друг с другом, приговаривали: „Вот сегодня для нас настоящий светлый праздник!“. А это была пятница на Страстной неделе» (*Шильдер Н.* Император Николай и граф Аракчеев. — *ИВ,* 1900, № 5, с. 469).

[13] *...в Кремлевскую экспедицию...* — Т. е. в Экспедицию кремлевского строения, преобразованную в 1831 г. в Московскую дворцовую контору.

[14] *...завещал... Грузино, на военную богадельню... устроен где-то кадетский корпус на его иждивение.* — Село Грузино было подарено Павлом I А. А. Аракчееву в 1797 г. По смерти графа Николай I, которому завещанием умершего предоставлялось право распоряжаться его имением, Грузино («Грузинская волость со всей движимостью Аракчеева») было передано во владение Новгородскому кадетскому корпусу. Сам же Аракчеев под конец жизни пожертвовал на общую пользу 300 000 р.; на проценты от этого капитала должны были воспитываться дети бедных дворян Новгородской и Тверской губерний.

[15] *Опекунский совет.* — Опекунский совет, находившийся под особым покровительством царской фамилии, ведал воспитательными домами, сиротскими приютами, богадельнями, домами для слепых, глухонемых и т. п. Частично эти учреждения содержались за счет пожертвований, частично же за счет предприятий самого Совета, т. е. совершаемых им различных крупных операций: в его ведении находилась Сохранная и ссудная казна (или ломбард). Здание Опекунского совета (Солянка, д. 14) было построено в 1823—1826 гг. архитектором Д. И. Жилярди и его помощником А. Г. Григорьевым.

[16] *...лошади в перьях...* — Т. е. украшенные султаном из перьев.

[17] *...на запятках «букет».* — См. с. 42.

[18] *Граф Михаил Владимирович, известный духовно-исторический писатель... прекрасными монографиями и археологическими исследованиями...* — Духовный писатель М. В. Толстой (1812—1896) был известен многочисленными описаниями житий святых, а также древностей Новгорода, Старой Руссы, Пскова, Ростова и других русских городов; он выступал со своими трудами в «Русском архиве», «Чтениях общества любителей истории и древностей» и прочих изданиях.

[19] *...известный протоиерей отец Феодор Голубинский.* — Профессор философии Московской духовной академии Федор Александрович Голубинский (1797—1854) считался основателем русской теистической философии.

[20] *Шеншины эти орловские; их там целый уезд — Мценский, где искони ведется их очень старинная фамилия.* — К этой старинной фамилии принадлежал и Афанасий Неофитович Шеншин, отец А. А. Фета.

[21] *Запасной дворец,* или двор — «каменные большие палаты на *взрубе*, где были при царе Иване хоромы. Это здание впоследствии именовалось Запасным дворцом; при царе Михаиле на нем были устроены дворцовые сады» (см.: *Забелин*, с. 160; см. также с. 173, 400).

[22] *Князь Григорий Григорьевич... служил в Тифлисе... украшением своего театра в грузинском стиле.* — Художник Г. Г. Гагарин (1810—1883), в 1859—1872 гг. вице-президент Академии художеств, во время своего пребывания на Кавказе (в 1848—1856 гг.) заведовал внутренним украшением Тифлисского театра (ныне театр им. Шота Руставели). Кроме того, им был расписан тифлисский Сионский собор. Он ведал также художественной частью на гранильной фабрике горного ведомства и картонно-каменной фабрике при Тифлисской военно-рабочей роте.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

[1] *...дом московского городского головы г-на Третьякова.* — Речь идет о деятеле московского городского самоуправления Сергее Михайловиче Третьякове (1834—1892). В 1877—1881 гг. он был городским головой. Так же как его брат Павел Михайлович (основатель Третьяковской галереи), С. М. Третьяков собрал значительную коллекцию произведений западноевропейской живописи и завещал свое собрание городу. Жили братья Третьяковы в доме в Толмачах, который и послужил основой Третьяковской галереи.

[2] *Доточницы* — здесь: умелые, сообразительные.

[3] *...Нарышкин Иван Александрович...* (1761—1841), тайный советник, сенатор, приходился дядей Н. Н. Пушкиной. Поэт с женой бывал у него в доме на Пречистенке (ныне Кропоткинская ул., д. 16).

[4] *...Александр Иванович... ссора с графом Федором Ивановичем Толстым... убил его... года за два или три до двенадцатого года.* — Граф Ф. И. Толстой (1782—1846) был известен умом, оригинальностью, презрением к моральным нормам своей среды, безудержными страстями и диким самолюбием; он был отчаянным дуэлянтом, стрелявшим без промаха; дважды был разжалован за дуэли в солдаты. Он был адресатом стихов Вяземского и Пушкина; современники узнавали его в грибоедовском Удушьеве: «Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом, И крепко на руку не чист». Блестящую характери-

стику Толстого дал в «Былом и думах» А. И. Герцен, лично знавший его во второй половине 1830-х годов. «Один взгляд на наружность старика, на его лоб, покрытый седыми кудрями, на его сверкающие глаза и атлетическое тело показывал, сколько энергии и силы было ему дано от природы, — писал Герцен. — Он развил одни буйные страсти, одни дурные наклонности 〈...〉 Он буйствовал, обыгрывал, дрался, уродовал людей, разорял семейства лет двадцать сряду 〈...〉 пробрался через Камчатку в Америку 〈...〉 на другой день после приезда продолжал прежнюю жизнь. . .» (см.: *Герцен,* т. 8, с. 243). Биограф графа, его двоюродный племянник, сын Л. Н. Толстого С. Л. Толстой привел три версии его дуэли с Нарышкиным. Одна из них гласила: «Преображенский полк тогда стоял в Парголове 〈...〉 и несколько офицеров собрались у гр. Ф. И. Т〈олстого〉 на вечер. Стали играть в карты. Т〈олстой〉 держал банк в гальбе-цвельфе. Прапорщик лейб-егерского полка А. И. Н〈арышкин〉, прекрасный собою юноша, скромный, благовоспитанный, пристал также к игре 〈. . .〉 Покупая карту. Н〈арышкин〉 сказал гр. Т〈олсто〉му: „Дай туза". Граф Т〈олстой〉 положил карты, засучил рукава рубахи и, выставя кулаки, возразил с улыбкой: „Изволь". Это была шутка, но неразборчивая, и Н〈арышкин〉 обиделся грубым каламбуром, бросил карты и, сказав: „Постой же, я дам тебе туза!", вышел из комнаты. Мы употребили все средства, чтобы успокоить Н〈арышкина〉, и даже убедили Ф〈едора〉 И〈вановича〉 извиниться и письменно объявить, что он не имел намерения оскорбить его, но Н〈арышкин〉 был непреклонен и хотел непременно стреляться, говоря, что если бы другой сказал ему это, то он первый бы посмеялся, но от известного дуэлиста, который привык властвовать над другими страхом, он не стерпит никакого неприличного слова. Надобно было драться. Когда противники стали на место, Н〈арышкин〉 сказал Т〈олсто〉му: „Знай, что если ты не попадешь, то я убью тебя, приставив пистолет ко лбу! Пора тебе кончить!" — „Когда так, так вот тебе", — ответил Т〈олстой〉, протянул руку, выстрелил и попал в бок Нарышкину. Рана была смертельна; Н〈арышкин〉 умер на третий день» (см.: *Толстой С. Л.* Федор Толстой Американец. М., 1926, с. 33—34). Произошло это в 1811 г. Толстой был разжалован и посажен в Выборгскую крепость. Однако в 1812 г. он «поступил на службу в качестве ратника московского ополчения. На войне он вернул себе чин и ордена и безумной храбростью заслужил Георгия 4-й степени. При Бородине он был тяжело ранен в ногу» (там же, с. 35).

[5] *Убив Нарышкина. . . пробрался в Америку, где имел много приключений. . . «Американец Толстой».* — Задолго до дуэли с А. И. Нарышкиным, еще в 1803 г., Толстой отправился в кругосветное плавание с известной экспедицией И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского (1803—1806 гг.). Причем этому предшествовала еще одна дуэль, жертвою которой был некий «полковник Дризен». В кругосветное же путешествие должен был направиться товарищ Толстого по Морскому корпусу Ф. П. Толстой, «не выносивший морской качки». Но, по словам С. Л. Толстого, «вероятно, для того, чтобы Федора Ивановича избавить от наказания, а Федора Петровича избавить от плавания, Толстые выхлопотали замену одного Федора Толстого другим Федором Толстым» *(Толстой С. Л.* Федор Толстой Американец. М., 1926, с. 14). Однако через 11 месяцев после начала плавания Толстой был высажен с корабля на каком-то острове за ряд «зловредных шалостей» и, побывав в ряде русских американских колоний, сухим путем возвратился в Европейскую Россию. Всему этому сопутствовали необычайные приключения, во многом легендарные (подробно см. там же, с. 15—31).

[6] *. . .очень видный и красивый мужчина. . . высокого роста. . .* — Биограф Толстого писал: «Федор Иванович был среднего роста, плотен, силен, красив и хорошо сложен, лицо его было кругло, полно и смугло, вьющиеся волосы были черны и густы, черные глаза его блестели, а когда он сердился, страшно было заглянуть ему в глаза» (*Толстой С. Л.* Федор Толстой Американец. М., 1926, с. 12).

[7] *. . имели двойной шифр: Е. М.* — О шифре см. примеч. 19 к Главе седьмой. В данном случае в шифре были начальные буквы имен супруги Александра I императрицы Елизаветы Алексеевны и вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

[8] *. . .старинных золоченых карет. . . художником Ватто). . .* — Знаменитый французский художник Ж.-А. Ватто (1684—1721) любил расписывать дамские веера, крышки клавикорд и вообще поверхности различных предметов, в том числе мебели и карет. В России его кареты (или кареты его школы) появлялись не раз. В одном из фельетонов «Петербургской летописи» «С.-Петербургских ведомостей» в рассказе об открытом для публики «музеуме придворной конюшенной конторы» говорится еще об одной карете. Она, «обитая малиновым бархатом с богатым золотым шитьем, была куплена для Екатерины у парижского каретника Букендаля в 1769 году и возобновлена в 1856 каретными фабрикантами Тацким, братьями Фребелиус и Яковлевыми. Живопись, находящаяся на филенках, принадлежит к школе знаменитого

Ватто. На дверях вензель Екатерины II с аллегорическими изображениями. На боковых филенках изображены амуры, на задней — Екатерина» (1861, 30 июля, № 167).

[9] *...застал этот дом уже хитровским.* — Этот «дом № 40 по Пречистенке не сохранился» (*Экз. В. К. Журавлевой,* с. 309).

[10] *...красных каблуках* — См. с. 166.

[11] *...и как он был в нее влюблен.* — В «Капище моего сердца...» И. М. Долгоруков посвятил Н. Н. Хитровой главку, заканчивавшуюся таким пассажем: «Каковинская была молода, хороша, я молод и влюбчив: можно себе представить, что мне и теперь, обративши взор на сии прошедшие годы, приятно вспомнить те удовольствия, которыми я, в отношении к ней, наслаждался...» (с. 231—232).

[12] *...Екатерину Никитичну, никогда никто из посторонних не видывал...* — Здесь допущена неточность. С. М. Загоскин писал Д. Д. Благово по этому поводу: «Князь Сергей Николаевич (Урусов. — *Т. О.*), прочитав строки о его семействе, поручил мне очень и очень благодарить тебя за оные 〈...〉 Но только нашел одну неточность; а именно, что у его матери никогда не было никакой сестры Екатерины Никитичны, и потому она не могла сидеть дома взаперти. Она, т. е. Ирина Никитична, была одна 〈...〉; а у Настасьи Николаевны Хитровой была действительно сестра Екатерина замужем за Бенедиктовым и не очень умная, но не подходит под ту, которая описана в воспоминаниях» (*ИРЛИ,* ф. 119, оп. 7, № 15; письмо от 24 ноября 〈1880 г.〉; см. также: *Загоскин,* № 1, с. 61).

[13] *...на дочери князя Кутузова-Смоленского... умер в чужих краях.* — Речь идет о Елизавете Михайловне Хитрово (1783—1839); в первом браке была за графом Ф. И. Тизенгаузеном (ум. 1805), вторым ее мужем был (с 1811 г.) русский поверенный в делах во Флоренции генерал-майор Н. Ф. Хитрово (1771—1819).

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

[1] *...архиепископ Августин... выказать свое красноречие...* — Августин (Алексей Васильевич Виноградский; 1766—1819), архиепископ московский.

[2] *Александровская лента.* — См. примеч. 11 к Главе шестой.

[3] *...кавалерию, украшенную алмазами...* — Кавалерия — орденская лента, которую носили через плечо. Об алмазных украшениях к орденам см. примеч. 19 к Главе седьмой.

[4] *...алмазный крест на клобуке...* Лица духовного звания могли быть награждаемы всеми орденами (кроме ордена Станислава) и получать те же украшения к орденам, что и лица светские.

[5] *...над поновлением стенной иконописи московского Успенского собора...* — Успенский собор, место погребения московских митрополитов и патриархов, был значительно обновлен в 1771 г. Живопись же его «поновлялась» в 1773 г.

[6] *...прекрасный каменный дом в Москве на Басманной...* — «На углу Ново-Басманной улицы и Басманного переулка, д. № 23» (*Экз. В. К. Журавлевой,* с. 331).

[7] *...лечил... электрическою машиной от ревматизма...* — Электрические машины, изобретение которых относится к первой половине XVIII в., вскоре нашли применение и в медицине, главным образом для электризации (или франклинизации — по имени американского ученого Б. Франклина (1706—1790), известного своими трудами по электричеству и ставшего с 1780 г. иностранным почетным членом Петербургской академии наук).

[8] *...в московском депутатском собрании...* — Вероятно, речь идет о городской Думе, являвшейся главным органом городского общественного управления.

[9] *...в этом пресловутом городе...* — Здесь: пресловутый — известный, знаменитый.

[10] *Ехали по старой петербургской дороге, которою ездили, когда еще не было шоссе.* — Шоссейная дорога между Петербургом и Москвой была построена к 1820 г. До этого «дорога была всюду несносная, то по выбитым деревянным бревенчатым мостовым, то по камням, ямам и пескам» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 324).

[11] *...и каменные пирамиды вместо верстовых столбов.* — Часть этих столбов-пирамид сохранилась (Московский проспект; Пулковское шоссе; поворот на г. Пушкин).

[12] *Покойная государыня очень... благоволила... Миллионная...* — Екатерина II действительно «благоволила» Твери. При ней (в 1775 г.) город стал губернским; после

пожаров 1763 и 1773 гг. восстановление его производилось на субсидию от казны и по плану, утвержденному императрицей. Упоминаемая в тексте Миллионная улица официально называлась Большой Московской (ныне Советская ул.).

[13] *Для них тогда был выстроен прекрасный дворец... длинными галереями.* — Императорский путевой дворец был построен в 1763 г. по проекту архитектора М. Ф. Казакова и первоначально служил местом пребывания проезжающих царских особ. Перед войной 1812 г. дворец был несколько перестроен архитектором К. И. Росси. В это же время (с 1809 г.) он стал резиденцией тверского генерал-губернатора принца Петра Фридриха Георга Ольденбургского и его супруги вел. княжны Екатерины Павловны, сестры Александра I. Она вышла за принца в 1809 г. и овдовела в 1812 г. В 1816 г. Екатерина Павловна вышла замуж за наследного принца Вюртембергского, с этого же года ставшего королем Вюртемберга.

[14] *...рядом с собором, очень древним.* — Тверской мужской Отрочь-Успенский монастырь был основан в 1265 г.

[15] *...в заточении Филипп митрополит... мученический конец...* — В 1569 г. в монастыре находился в заточении московский митрополит Филипп (в миру боярин Федор Степанович Колычев; 1507—1569), противник опричнины. Здесь же он был задушен Малютой Скуратовым по приказу царя Ивана IV.

[16] *...тут же некоторое время был настоятелем преосвященный Тихон Задонский, прежде своего епископства.* — В 1759—1761 гг. Тихон Задонский был архимандритом Отроча монастыря (о нем см. примеч. 52 к Главе первой).

[17] *...Желтиков монастырь, где мощи святителя Арсения.* — Тверской епископ Арсений (ум. 1409) был основателем тверского Желтикова монастыря.

[18] *...Мощи его на вскрытии и под спудом мощи келейника его...* — Т. е. мощи, наглухо заделанные в раке (гробнице); сверху, в открытой раке, могли находиться открытые мощи. Так, в Архангельском соборе московского Кремля под открытыми мощами царевича Дмитрия («под спудом») были положены мощи черниговских чудотворцев князя Михаила и боярина Федора.

[19] *В Новгороде... побывали в соборе...* — Т. е. в Софийском соборе (1045—1050 гг.) Новгородского кремля.

[20] *...в Юрьеве монастыре... графиня Орлова стала ему благотворить... угодить отцу Фотию, которого тогда там еще не было.* — Юрьев монастырь был основан в начале XII в. «При поступлении Фотия в Юрьев монастырь, — читаем у М. И. Пыляева, — эта обитель была самая бедная, пришедшая в совершенную ветхость. Фотий выпросил у императора Александра I для поддержания монастыря ежегодно по 4000 руб. Но монастырь обогатился не этим вкладом — несколько миллионов было пожертвовано графиней Орловой для возобновления его ⟨...⟩. Серебро, золото, бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, жемчуг и разные драгоценные в художественном отношении вещи напоминают как о несметных богатствах Орловой, так и о безграничности ее пожертвований...» (*Пыляев, Старая Москва,* с. 204); об этом же писал Д. Д. Благово (см. с. 375).

[21] *...помянуть и несчастного князя Долгорукова... мужа известной Натальи Борисовны...* — Обер-камергер князь Иван Алексеевич Долгоруков (1708—1739), фаворит юного царя Петра II, «опутанный, — по словам историка, — сетью придворных интриг и „конъюнктур“ своего отца (А. Г. Долгорукова. — *Т. О.*) и родственников ⟨...⟩, гибнет наряду с ними, менее их виновный в их олигархических замыслах. Живя жизнью легкомысленного придворного только три года, князь Иван девять лет томится в Березовском остроге и в тюрьмах Тобольска и Шлюссельбурга и умирает страшной, позорной смертью — колесованием...» (*Корсаков,* с. 92). Казнь совершилась неподалеку от Скудельничьего кладбища под Новгородом. См. также примеч. 13 к Главе второй.

[22] *...домик Петра Великого, чтобы приложиться к иконе Спасителя, которая там находится...* — М. И. Пыляев, подробно описав домик Петра I и две его жилые комнаты, отметил: «В одной из этих комнат теперь устроена часовня, где поставлен образ Спасителя и висит молитва „Отче наш“, написанная рукою дочери Петра Елисаветы...» (*Пыляев, Старый Петербург,* с. 51). Здесь же в книге помещена фотография часовни (с. 59).

[23] *...был отделан вновь, с серебряным иконостасом, сделанным из серебра, отбитого у французов...* — Казанский собор был построен в 1801—1811 гг. по проекту и под руководством архитектора А. Н. Воронихина. «Серебряный чеканной работы иконостас, — пишет историк Петербурга, — сделанный из серебра (40 пуд.), пожертвованного донскими казаками из добычи, доставшейся им от французов в 1812 г. Из этого серебра

вначале предполагалось вылить четырех евангелистов; но в 1836 г. решено, с прибавкой 20 пуд. серебра, отлить иконостас» (*Михневич Вл.* Петербург весь на ладони... СПб., 1874, с. 156).

[24] *Икона Казанской божьей матери, в богатейшей ризе из чистого золота... обеими императрицами...* — Икона считалась покровительницей дома Романовых и русского воинства. Она находилась в Казани, откуда Иваном Грозным была перенесена в Москву и установлена в Казанском соборе (воздвигнутом в 1612 г. на средства князя Д. М. Пожарского в память освобождения города; до 1934 г. стоял рядом с Иверскими воротами на Ивановской (Красной) площади). Петр I перенес икону в Петербург. Ее поместили в церкви Рождества богородицы, которая находилась на месте будущего Казанского собора (немного ближе к Невскому проспекту). Специально для нее и было решено строить новый собор. Риза для иконы была отлита в 1811 г. из червонного золота и украшена драгоценными камнями и жемчугом, пожертвованными императрицами Елизаветой Алексеевной и Марией Федоровной.

[25] *...множество иностранных знамен... взятых в последнюю войну с французами...* — Во время последующего освободительного похода войск (1813—1814 гг.) в страны Западной Европы русским военачальникам вручались ключи от пройденных армией городов. Эти ключи, а также трофейные знамена и жезл маршала Даву были внесены для хранения в Казанский собор (всего 107 знамен и штандартов, 93 ключа; в 1914 г. эти трофеи были переданы Московскому историческому музею; жезл Даву хранится в Эрмитаже).

[26] *Смольный монастырь... со времен Екатерины обращен в институт...* — См. примеч. 10 к Главе третьей.

[27] *...весьма известной тогда Марье Антоновне, урожденной княжне Четвертинской.* — Красавица М. А. Нарышкина (в свете ее называли «черноокою Аспазией». Г. Р. Державин посвятил ей стихотворение «Аспазия» (1809)) дочь польского князя Антония Святополк-Четвертинского и жена обер-егермейстера Д. Л. Нарышкина, в 1801—1814 гг. была открытой возлюбленной Александра I.

[28] *Александра Ивановна* Архарова «в 1848 г. жила в д. 46 по Б. Никитской, где у нее бывал Гоголь, учивший ее старшего сына Василия в 1831 г. в Петербурге, Грановский, С. М. Соловьев, Самарин и т. д. Ее дочь Екатерина была замужем за В. А. Черкасским» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 339).

[29] *...любимым загородным местопребыванием вдовствующей императрицы...* — После смерти своего супруга Павла I Мария Федоровна осталась жить в Павловске, где все было сохранено в том виде, как было при покойном императоре. Двор Марии Федоровны именовался «старым двором».

[30] *Название Гатчины... много гатей от топкости местности.* — Считается, что название Гатчина произошло от наименования небольшого старинного новгородского селения (XV—XVI вв.) Хотчино. Малонаселенная местность изобиловала непроходимыми густыми лесами и болотами, что могло дать основание объяснять название и таким образом, как передает Е. П. Янькова.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

[1] *Пейзажный сад.* — В обычном понятии это сад не регулярный (каковыми были сады французские), а естественный, и предназначался он главным образом для прогулок (подробно о пейзажных садах, и в частности о Павловском парке, см.: *Лихачев Д.* Поэзия садов. Л., 1982). Творцом знаменитого «пейзажного» павловского парка был итальянский живописец, театральный декоратор и архитектор П. ди Г. Гонзаго (1751—1831), с 1792 г. работавший в России. Им же была расписана галерея павловского дворца, получившая название галереи Гонзаго. В создании павловского паркового ансамбля участвовали также В. Ф. Бренна, А. Н. Воронихин, К. И. Росси.

[2] *...знаменитый Розовый павильон* был построен архитектором А. Н. Воронихиным в 1801 г. для П. И. Багратиона и свое название получил позднее, в 1811 г., после того как его приобрела императрица Мария Федоровна. Она сделала из дачи павильон-салон по типу версальского Малого Трианона. Розы и окружали здание павильона, и являлись частью его интерьера (декоративные розы на входных чугунных воротах, на мебели, на фарфоровой посуде). Знаменит же павильон был тем, что в нем протекала литературная

жизнь Павловска. Здесь у Марии Федоровны собирались поэты и литераторы (а среди них — Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, А. И. Тургенев, К. Н. Батюшков), а на круглом столе лежала книга, в которую «посетители могли заносить свои стихи, а художники — свои рисунки» (см.: *Анциферов Н. П.* Пригороды Ленинграда. М., 1946, с. 84). В Розовом павильоне проходили различные празднества и торжества (см.: там же, с. 84—85).

[3] *...что такое называется «Эолова арфа», и слышала, как она играет, когда ветер шевелит струны...* — «Эолова арфа» находилась в Розовом павильоне (ныне восстанавливается).

[4] *...пожар в Царском Селе... часть дворца.* — Пожар в Екатерининском дворце случился в 1820 г. Н. М. Карамзин писал И. И. Дмитриеву 14 мая: «Пишу с пепелища: третьего дни сгорело около половины здешнего великолепного дворца: церковь, лицей, комнаты имп⟨ератрицы⟩ Марии Федоровны и государевы ⟨...⟩ ветр был сильный, а царскосельская полиция не петербургская, не московская для гашения пожаров ⟨...⟩: прибежало множество солдат, но с голыми руками» (*Карамзин, Материалы для биографии,* ч. 2, с. 407).

[5] *Янтарная комната, про которую столько кричали... считали чудом...* Эта комната была создана из янтарей, украшавших во дворце Monbijou янтарный кабинет прусского короля Фридриха Вильгельма I. Он подарил янтари Петру I во время пребывания последнего в Потсдаме в 1716 г. Янтарная комната была создана при Елизавете Петровне, и работами руководил В. В. Растрелли (комната была вывезена оккупантами во время Великой Отечественной войны, и местонахождение ее сейчас неизвестно).

[6] *...неподалеку от дворца тот домик... жил тогда историк Карамзин.* — Начиная с 1816 г. Н. М. Карамзин поселился в Петербурге, живя летом и осенью в Царском Селе, где по приказу Александра I для него был отделан один из «кавалерских» домов с маленьким кабинетом во флигеле (он сохранился до настоящего времени и находится на углу ул. Комсомольской и Труда).

[7] *...пока не прославился написавший «Русскую историю».* — Намерение Н. М. Карамзина стать историографом относится к 1803 г.; первые 8 томов «Истории государства Российского» появились в 1818 г.

[8] *...в молодости путешествовал по чужим краям и описал это в письмах...* — Заграничное путешествие Карамзина состоялось в 1789—1790 гг., а в 1791—1795 гг. в «Московском журнале» и альманахе «Аглая» появлялись отдельные главы «Писем русского путешественника» (отдельным изданием книга вышла в 1798—1801 гг.). О сложной творческой истории «Писем...» и об их своеобразной жанровой природе см. в статье Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского «Письма русского путешественника Карамзина и их место в развитии русской культуры» в кн.: *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника / Изд. подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984 (серия «Литературные памятники»). Говоря о сложной и многослойной смысловой нагрузке текста Карамзина, авторы статьи справедливо утверждают: «По мере приближения к миру Карамзина перед читателем раскрываются богатство и сложность ассоциаций, игра точками зрения, та многослойная структура смысла, которая делает „Письма..." произведением, непосредственно предшествующим прозе Пушкина» (см.: там же, с. 576).

[9] *...чувствительную историю о «Бедной Лизе»...* — Повесть «Бедная Лиза» впервые была напечатана в «Московском журнале» за июнь 1792 г.

[10] *Он жил тогда на даче у Бекетова под Симоновым монастырем... многие из московских барынь начали туда ездить, принимая выдумку за настоящую правду.* — С Платоном и Иваном Бекетовыми Карамзин подружился еще во времена ученья в пансионе Шадена. Читательский восторг по поводу повести Карамзина ярче всего выразился в том факте, что так называемый «Лисин пруд» возле стен Симонова монастыря стал излюбленным местом прогулок московского общества; его даже начали с тех пор называть Лизиным прудом. Биограф Карамзина писал: «„Бедная Лиза" владела сердцами русских читателей пятнадцать лет без соперницы, и только в 1808 году она разделила свою славу с Марьиной рощей и потом Людмилой, первой балладой Жуковского, еще лет на 20» (*Карамзин, Материалы для биографии,* ч. 1, с. 205).

[11] *...напечатал немного спустя... «Наталью, боярскую дочь», а после того «Марфу-посадницу».* — «Наталья, боярская дочь» была напечатана в № 10—11 «Московского журнала» за 1792 г. (ч. VIII), «Марфа-посадница, или Покорение Новгорода» — в № 1—3 журнала «Вестник Европы» за 1803 г.

[12] ...*тягаться с Татищевым и Щербатовым?* — Об «Истории Российской с древнейших времен» В. Н. Татищева см. примеч. 3 к Главе первой; «История российская от древнейших времен» в 15-ти частях М. М. Щербатова (1733—1790) выходила в С.-Петербурге в 1896—1898 гг.; повествование оканчивалось на 1610 г.

[13] *Мать Карамзина умерла, когда он был еще ребенком...* — Точная дата смерти Екатерины Петровны Карамзиной (рожд. Пазухиной) неизвестна. Биограф Н. М. Карамзина заметил, что она «скончалась во времена его младенчества» (*Карамзин, Материалы для биографии*, ч. 1, с. 2).

[14] ...*женился на другой... племянник Иван Иванович, с которым Карамзин был очень дружен...* — М. Е. Карамзин женился второй раз на Авдотье Гавриловне Дмитриевой. И. И. Дмитриев писал об их свадьбе: «В толпе пирующих увидел я в первый раз пятилетнего мальчика в шелковом перувьеневом камзольчике с рукавами, которого русская нянюшка подводила за руку к новобрачной и окружавшим его барыням. Это был будущий наш историограф Карамзин. Отец его, симбирский помещик, отставной капитан Михайло Егорович соединился тогда вторым браком с родною сестрою моего родителя, воспитанною по ее сиротству в нашем семействе» (*Дмитриев*, с. 38).

[15] ...*куратору Московского университета Муравьеву.* — Речь идет о сенаторе Михаиле Никитиче Муравьеве (1757—1807), писателе, товарище министра народного просвещения; он был также воспитателем будущего императора Александра I.

[16] ...*приказал дозволить Карамзину пользоваться всеми архивами и библиотеками.* — 31 октября 1803 г. появился указ Александра I о назначении Карамзина историографом. В указе о ежегодном «пенсионе» в две тысячи рублей, в частности, говорилось «о невозбранном позволении просителю читать сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках, от святейшего Синода зависящих, древние рукописи, до российских древностей касающиеся» (*Карамзин, Материалы для биографии*, ч. 1, с. 397). Появлению указа предшествовало обращение самого историка с письмом на имя Н. М. Муравьева с просьбой похлопотать перед правительством о пенсии: «...будучи весьма небогат, я издавал журнал с тем намерением, чтобы *принужденною* работою ⟨...⟩ купить независимость, возможность работать свободно ⟨...⟩, сочинять „Русскую историю", которая с некоторого времени занимает всю душу мою, — писал Карамзин 28 октября 1803 г. — Могу и хочу писать „Историю", которая не требует поспешной и срочной работы; но еще не имею способа жить без большой нужды ⟨...⟩, хочу не избытка, а только способа прожить пять или шесть лет: ибо в это время надеюсь управиться с „Историею". И тогда я мог бы отказаться от пенсии: написанная „История" и публика не оставила бы меня в нужде...» (там же, ч. 2, с. 16—17).

[17] ...*узнали об этом из журнала «Вестник»...* — В 1802—начале 1804 г. Н. М. Карамзин был редактором «Вестника Европы». В декабрьском номере журнала, прощаясь с читателями, Карамзин писал о своем будущем труде: «Милость нашего императора доставляет мне способ отныне совершенно посвятить себя делу важному и, без сомнения, трудному: время покажет, мог ли я без дерзости на то отважиться. Между тем с сожалением удаляюсь от публики, которая обязывала меня своим лестным вниманием и благорасположением...» (*Карамзин, Материалы для биографии,* ч. 1, с. 397).

[18] *На ком был женат Карамзин в первом браке, я не знаю...* — В апреле 1801 г. Карамзин женился на Елизавете Ивановне Протасовой, младшей сестре своего «сердечного» друга Н. И. Плещеевой и родственнице жены Ф. В. Ростопчина. Е. И. Карамзина умерла летом 1802 г., оставив дочь Софью.

[19] ...*женился на дочери князя Вяземского... Екатерине Андреевне.* — Е. А. Карамзина была внебрачной (но удочеренной) дочерью знатного вельможи А. И. Вяземского и баронессы Е. К. Сиверс и до замужества носила фамилию Колывановой.

[20] *Через Вяземского... лично известен великой княгине Екатерине Павловне, жившей в Твери... читал государю отрывки из своей «Истории»...* — По словам биографа, «в конце 1809 года государь император Александр Павлович был в Москве вместе с великою княгинею Екатериною Павловною и сказал Карамзину несколько приветственных слов, встретясь с ним на бале. Великая княгиня осыпала его ласками, познакомилась с ним, кажется, через родственника ему по первой жене графа Ростопчина и пригласила к себе в Тверь ⟨...⟩. Карамзин поехал туда, пробыл шесть дней, обедал всегда во дворце и читал по вечерам свою „Историю" великой княгине и великому князю Константину Павловичу» (*Карамзин, Материалы для биографии*, ч. 2, с. 58). По свидетельству самого Карамзина, он не раз «беседовал» с Александром I о русской истории и о современных

государственных проблемах: «. . .в течение шести лет мы имели с ним несколько ⟨...⟩ бесед о разных важных предметах. Я всегда был чистосердечен; он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однако же слушал их, хотя им большею частию не следовал. . .» (там же, с. 450).

[21] *. . .домик. . . во время пожара. . . был в большой опасности. . . его спасли.* — Сам Карамзин, описывая в письме к И. И. Дмитриеву пожар царскосельского дворца (см. выше, примеч. 4), продолжал: «. . .огонь пылал, и через десять минут головни полетели и на историографский домик; кровля наша загорелась. Я прибежал к своим. Катерина Андреевна не теряет головы в таких случаях: она собрала детей и хладнокровно сказала мне, чтобы я спасал свои бумаги. Двое из наших людей заливали огонь, а с другими мы успели кое-как все вынести и отправить в поле, а сами ждали, чем решится судьба нашего домика. Три раза кровля загоралась, но мы всё тушили, и вдруг ветер затих, поворотив в другую сторону. . .» (*Карамзин, Материалы для биографии,* ч. 2, с. 408).

[22] *Стриженый сад, в подражание версальскому. . . известным садовником, выписанным из Голландии.* — Первоначальная планировка петергофского Верхнего сада осуществлялась в 1714—1724 гг. архитектором И.-Ф. Браунштейном и Ж.-Б. Леблоном, садовниками Л. Гарнихфельтом и А. Борисовым. «Его (сад. — *Т. О.*) часто сравнивают с Версалем, — писал о нем в 1902 г. А. Н. Бенуа, — но это по недоразумению ⟨. . .⟩. Действительно, Петр воспроизвел в Петергофе две-три диковины, поразившие его в Версальских садах, но как раз этих диковин, за исключением Пирамиды, в настоящее время нет и следа. Совершенно особый характер Петергофу придает море. Петергоф как бы родился из пены морской, как бы вызван к жизни велением могучего морского царя. Версаль царит над *землей* ⟨...⟩. Фонтаны (вернее, *вода* фонтанов) в Версале изящное украшение ⟨...⟩ Петергоф — резиденция царя морей. Фонтаны в Петергофе — не придаток, а главное. Они являются символическим выражением водяного царства, тучей брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа. Самые дворцы в Петергофе имеют особую физиономию. Они приземистые, точно сжались от морского ветра. И вокруг растительность такая же. Нет высоких дубов, как в Царском, или пышных групп деревьев, как в Павловске. Узкой прибрежной полосой тянется Нижний (самый характерный для Петергофа) сад, с его прямыми дорожками, весь пропитанный морской сыростью, с чахлой листвой, постоянно срываемой суровыми ветрами. При Петре и Елисавете этот сад был еще типичнее — весь стриженый, еще более низкий, еще более приморский. . .» (см.: *Бенуа А. Н.* Петергоф в 18 веке. — Художественные сокровища России, 1902, № 8, с. 140—143).

[23] *«Монплезир»* — любимый приморский дворец-эрмитаж Петра I, который при нем иногда называли «голландским домиком». Постройка его началась в 1714 г. и завершилась к 1723 г. Здесь царь останавливался во время приездов в Петергоф для отдыха. «Монплезир» был украшен картинами с изображением моря и кораблей.

[24] *. . .известная история Мировича, составившего заговор в пользу Иоанна Антоновича, сидевшего в Шлиссельбургской крепости.* — Речь идет о кровавом эпизоде начала правления Екатерины II — убийстве Ивана VI Антоновича. Еще в двухмесячном возрасте единственный законный наследник престола, правнук Петра I, он был провозглашен императором (1740—1741 гг.; государством за него управляли сначала Бирон, потом его мать Анна Леопольдовна), но свергнут гвардией Елизаветы Петровны и отправлен с родителями в Ригу (до 1742 г.), затем в Динамюнде и Раненбург; с 1744 по 1756 г. жил в Холмогорах, а с 1756 г. содержался в Шлиссельбургской крепости как «секретный узник». По предписанию Екатерины II он должен был быть убит при первой же попытке освобождения (еще Петром III был дан указ начальнику караула крепости: «. . .буде сверх нашего чаяния кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколько можно и арестанта живого в руки не отдавать» — *Соловьев*, кн. 13, с. 77; теперь, при Екатерине, слова стали определеннее: «. . .буде же так оная сильна будет рука, что спастись неможно, то и арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать» — там же, с. 132). Попытку освобождения узника предпринял в 1764 г. внук одного из приспешников гетмана И. С. Мазепы подпоручик Смоленского пехотного полка Владимир Яковлевич Мирович (р. 1740). Иван Антонович был убит тюремщиками во сне; похоронен в тихвинском Богородицком большом монастыре.

[25] *. . .ежели бы Мирович не упустил узника, то, наверное, государыня его бы помиловала.* — В. Я. Мирович был казнен 15 сентября 1764 г. «отрублением головы». Многие современники событий действительно считали, что он исполнял волю Екатерины II (см. об этом: *Дашкова, Записки,* с. 69). Екатерина знала об этих разговорах и намеренно придала

процессу над Мировичем «полную гласность» и даже издала манифест с изложением дела, так поясняя одной из своих корреспонденток в Европе смысл этого документа: «Он был сочинен вовсе не для иностранных держав, а для того, чтоб уведомить Российскую империю о смерти Ивана; надобно было сказать, как он умер, более ста человек были свидетелями его смерти и покушения изменника, не было поэтому возможности не написать обстоятельного известия; не сделать этого — значило подтвердить злонамеренные слухи, распространяемые министрами дворов, завистливых и враждебных ко мне; шаг был деликатный; я думала, что всего лучше сказать правду» (*Соловьев,* кн. 13, с. 495).

[26] *...рассказывали, что он был красавец, высокого роста, белокурый, с голубыми глазами... был умен.* — Иван Антонович был заключен в тюрьму еще младенцем. Все, что было связано с ним, хранилось в глубочайшей тайне, но после свидания, которое Петр III устроил вскоре по восшествии на престол и которое происходило при свидетелях, известия о таинственном узнике распространились довольно широко. Он был найден «физически совершенно развитым, но с расстроенными умственными способностями». Более подробные сведения появились после убийства Иоанна Антоновича, и получены они были от его убийц — офицеров Власьева и Чекина. Они показали, что «при очень крепком здоровье не имел он никакого телесного недостатка, кроме сильного косноязычия; посторонние почти вовсе не могли его понимать, и постоянно находившиеся при нем понимали с трудом, он не мог произнести слова, не подняв рукою подбородка. Вкуса не имел, ел все без разбора и с жадностию. В продолжение 8 лет не примечено ни одной минуты, когда бы он пользовался настоящим употреблением разума; сам себе задавал вопросы и отвечал на них ⟨...⟩ Нрава был свирепого и никакого противоречия не сносил; грамоте не знал, памяти не имел ⟨...⟩ Все время или ходил, или лежал, ходя, иногда хохотал» (*Соловьев,* кн. 13, с. 320).

[27] *...мать и наказала... сына-то высекла».* — У этой безымянной матери, возможно, был яркий пример: в свое время за подобное же легкомыслие домашнему наказанию розгами подвергся 18-летний полковник и будущий фельдмаршал граф П. А. Румянцев-Задунайский. Правда, его биограф сообщает, что он был наказан отцом, генералом А. И. Румянцевым (см.: Русский биографический словарь. Романова—Рясовский. Пг., 1918, с. 5).

[28] *Там был особый театр, в который допускались только избранные из царедворцев.* — По окончании работ над дворцовыми пристройками Екатерина II заказала итальянскому архитектору Дж. Кваренги, с 1780 г. работавшему в России, построить к августу 1784 г. театр на месте бывшего лейб-кампанского корпуса. На сцене вновь построенного Эрмитажного театра в екатерининское время играли все известные европейские знаменитости артистического мира (см. подробнее: *Пыляев, Старый Петербург,* с. 197).

[29] *...с начальником мозаического отделения — Веклером.* — Известный русский мозаист Георг Фердинанд Веклер (1800—1861) в 1822 г. был причислен к Академии художеств со званием мозаичного мастера.

[30] *...правнуке рассказчицы.* — Имеется в виду В. Д. Благово (в замуж. Корсакова).

[31] *...князю Александру... не попадись он по своей необдуманности в историю 14 декабря... выручили его из беды... не был даже отставлен от службы, а только из гвардии переведен в армию.* — Корнет кавалергардского полка князь А. Н. Вяземский, принятый в Северное общество в 1825 г., по «Алфавиту членов бывших злоумышленных тайных обществ» «знал только то, что цель оного была введение конституции; в члены никого не принял, на совещаниях Общества не был, в происшествии 14 декабря никакого участия не брал ⟨...⟩. Содержался на гоубвахте Военного Гошпиталя с 16-го декабря. По докладу Комиссии, 11-го июня высочайше повелено выпустить, перевесть тем же чином в полки 2-й армии и ежемесячно доносить о поведении...» (см.: *Алфавит декабристов,* с. 60).

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

[1] *...известную Перекусихину, пользовавшуюся особым доверием государыни...* — Мемуарист писал о ней: «Сказывают, что Марья Саввишна, будучи ее (Екатерины II.— *Т. О.*) другом и не выставляясь никогда слишком вперед ⟨...⟩, жила вблизи от внутренних покоев государыни скромно, в небольшом отведенном ей помещении. Сказывают также, что она была постоянной посредницей с ее фаворитами и что она никогда не имела никакого

значительного влияния ни на первую, ни на последних 〈...〉 Она не знала ни одного иностранного языка, и, вероятно, именно поэтому государыня, желавшая выучиться совершенно по-русски (чего она почти и достигла), ее к себе приблизила...» (см.: *Записки Д. Н. Свербеева,* т. 1, с. 242—243).

[2] ...*сперва друг и наперсница императрицы, Екатерина Романовна почувствовала после того к себе охлаждение государыни... удаляться от двора...* — Е. Р. Дашкова (тогда еще Воронцова; 1744—1810) познакомилась с будущей Екатериной II (а тогда вел. кн. Екатериной) в пятнадцатилетнем возрасте и сразу же горячо привязалась к ней, не замечая, что претендентка на русский престол вела с нею наперед рассчитанную игру. Особенно ярко эта «игра» проявилась в событиях 28 июня 1762 г., когда, одетые в гвардейские мундиры петровского покроя, будущая императрица и Дашкова выехали из Петербурга в Петергоф во главе двенадцатитысячного войска для решительного сражения с защитниками отрекшегося от престола Петра III. Став императрицей, Екатерина немедленно отдалилась от Дашковой, выдав ей в награду «за заслуги» 24 000 руб. и назначив ее статс-дамой. Вскоре после коронации Дашкова попадает в немилость, а в результате истории Мировича (см. об этом в «Записках...» самой Дашковой: «...императрица получила письмо Алексея Орлова, сообщавшее ей про заговор Мировича 〈...〉. Письмо содержало приписку, гласившую, что видели, как Мирович несколько раз утром бывал у меня в доме...» — *Дашкова, Записки,* с. 68; см. также примеч. 25—27 к Главе пятнадцатой), к которой ее пытались примешать, ее отдаляют от двора; Дашкова переезжает с детьми в Москву и поселяется в подмосковной деревне (подробно см.: *Лозинская Л. Я.* Во главе двух академий. М., 1978, с. 5—37; см. также: *Корсаков,* с. 388—390).

[3] ...*уехала за границу и долгое время путешествовала.* — Впервые Дашкова отправилась в заграничную поездку в 1769—1770 гг. и посетила Германию, Пруссию, Англию, Францию. В 1775 г. она с семьей вновь уехала за границу с целью продолжить образование сына Павла (в Эдинбурге). Путешествие это продолжалось 8 лет — по Англии, Голландии, Бельгии, Франции, Италии.

[4] ...*жила в Москве...* — Дашкова жила на Б. Никитской в д. № 13 (ныне здание Консерватории).

[5] ...*по возвращении своем из ссылки в деревню... при императоре Павле...* — Почти сразу по смерти Екатерины II Дашкова получила указ Сената об увольнении от всех должностей и повеление немедленно выехать в ссылку в новгородское имение сына «впредь до нового распоряжения». Оттуда ей удалось перебраться в свое подмосковное имение Троицкое (после смерти Павла I Александр I предложил ей возвратиться ко двору, но Дашкова решительно отказалась от всех «милостей»).

[6] ...*контры с Орловыми... Григорием...* — Дашкова выступила открытой противницей намерения Екатерины II вступить в законный брак с Г. Г. Орловым.

[7] ...*гробовым иеромонахом при мощах святителя.* — Так именовали монашествующего священника, который находился при мощах святого и служил, по просьбам приходящих, молебны этому святому, возжигал лампады над его гробницей (или ракой) и следил за порядком при целовании мощей.

[8] ...*наперсный алмазный крест.* — Этот крест — одна из высших наград духовенству — жаловался архимандритам за особые заслуги.

[9] ...*замаливать грехи отца... тайны об ее отце.* — Очевидно, имеются в виду такие «грехи» А. Г. Орлова, как участие его в убийстве Петра III и похищение княжны Таракановой (см. также примеч. 25 к Главе первой). Богатства же его были действительно «громадны». Ежегодный доход наследницы капитала «простирался до 1 000 000 руб. ассигнациями, а стоимость ее недвижимого имущества, исключая драгоценностей, ценившихся на 20 000 000, доходила до 45 000 000 рублей» (см.: *Карнович Е. П.* Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий. СПб., 1884, с. 393).

[10] ...*в тайном постриге...* — Слуга А. А. Орловой старец монах Евводий, присутствовавший на погребении графини, рассказал, что ее хоронили «в черном монашеском платье» и «на панихиде вспоминали Агнией и поминали шесть недель монахиней» (см.: *Слезкинский А.* Архимандрит Фотий и графиня А. Орлова-Чесменская. — *РА,* 1899, № 11, с. 324).

[11] ...*она была восприемница от Евангелия...* — Восприемница или восприемник от Евангелия — это монахиня или монах, особо преуспевшие в духовной жизни. Им вручается новопостриженный в монахи для руководства в монашеском подвиге. Обряд совершается так: на раскрытое Евангелие кладется рука новопостриженного монаха, а поверх ее — рука

того, кому он вручается для руководства. Таким образом, последний становится духовным отцом для первого. При этом совершавший постриг священнослужитель клятвенно заповедует новому монаху жить строго по указаниям своего «старца» или духовного отца и без него ничего не предпринимать и ничего не утаивать от него, вплоть до мыслей. Восприемнику же заповедуется с любовью, вниманием и строгостью заботиться о новичке.

[12] *...ненавистью за возлюбление, по слову пророка.* — Неточная строка из Псалтири. Строка 5 псалма 108 гласит: «Воздают мне за добро злом, за любовь мою — ненавистью».

[13] *...ко Взысканию погибших, где прекрасная икона этого явления божьей матери...* — Церковь «Взыскание погибших» была выстроена в 1835 г. при Александровском сиротском институте в честь одноименной иконы, считавшейся чудотворной.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

[1] *...несколько человек детей с «левой стороны».* — Среди них была жена М. Н. Загоскина Анна Дмитриевна (род. 1792), носившая фамилию Васильцовская. Она прекрасно владела французским, немецким и итальянским языками, отлично пела, играла на фортепьяно и рисовала, «как артист», и обладала «редкими душевными качествами и замечательною красотою» (*Загоскин*, № 1, с. 48—49).

[2] *...с какими-то Черновыми...* — В семье генерал-аудитора 1-й армии П. К. Чернова было четверо сыновей. Один из мемуаристов свидетельствовал, что «каждому из них старик (т. е. П. К. Чернов. — *Т. О.*) приказал друг за другом вызывать Новосильцева, если бы дуэль оканчивалась смертью кого-либо из них. „Если же вы все будете перебиты, — добавил он, — то стреляться буду я“» (см.: Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1980, т. 1, с. 291).

[3] *...была дочь, особенно хороша собою...* — Речь идет о Екатерине Пахомовне Черновой, впоследствии вышедшей замуж за полковника (позднее генерал-майора) Дмитрия Александровича Лемана (ум. 1900), служившего в Киеве (18 сентября 1833 г. некий В. Гудимо-Левкович писал Д. С. Львову из Киева, что он встретил там госпожу Леман, которая ему очень понравилась. «Она урожденная Чернова, причина смерти Новосильцева. Теперь жена полковника Лемана» — *ИРЛИ*. Картотека Б. Л. Модзалевского).

[4] *...брату Пахомовны... вызвал его на дуэль.* — Речь идет о подпоручике лейбгвардии Семеновского полка, члене декабристского Северного общества Константине Пахомовиче Чернове (род. ок. 1803—1825). Секундантом на дуэли был его троюродный брат К. Ф. Рылеев. Известно стихотворение В. К. Кюхельбекера ⟨«На смерть Чернова»⟩, впервые напечатанное в кн. 5 «Полярной звезды» (Лондон, 1859).

[5] *...место на одном из петербургских островов...* — Дуэль происходила «за заставой, по Муринской дороге, в парке Лесного института» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1980, т. 2, с. 19); ныне это место напротив домов № 6 и 8 по Новороссийской улице; здесь были поставлены два каменных столба, отмечавших места, где стояли противники, сейчас это два массивных плоских камня. Две версии дуэли (так же как и два ошибочных варианта имени Черновой — Мария и Аграфена) изложены в названной выше книге — в т. 1 на с. 291 и в т. 2 — на с. 18—19.

[6] *На месте том, где он умер, она пожелала выстроить церковь... выстроила.* — В. Д. Новосильцев скончался на двенадцатый день после дуэли. Церковь Владимира Равноапостольного была построена по проекту архитектора И. Шарлеманя в 1838 г. (она не сохранилась). В 1848 г. рядом с церковью было сооружено орлово-новосильцевское благотворительное заведение «для престарелых и увечных мужчин всех сословий», получившее название Новосильцевской богадельни. Церковь тоже именовалась Новосильцевской. По ним и Граничная улица (у Выборгской заставы, где происходила дуэль) стала называться Новосильцевской (ныне ул. Новороссийская).

[7] *Екатеринин день* отмечается церковью 23 ноября.

[8] *...Александр Благословенный...* — Титул Благословенного был поднесен Александру I в 1814 г. «депутатами св. Синода, Государственного совета и Сената» (см.: Романовы. Царствующий дом Российской империи. СПб., 1878, № 65 — в прилож. к журналу «Русская старина», 1878, № 4, с. XX).

[9] *Императрица придумала для него какую-то особенную, замысловатую азбуку...* — Речь идет о «Бабушкиной азбуке» со вставными анекдотами дидактического характера.

Она являлась составной частью учебной библиотеки, составленной Екатериной II для великих князей Александра и Константина Павловичей. В ее «Инструкции князю Н. И. Салтыкову», воспитателю внуков императрицы, указаны «книжицы», по которым они учились: «1. Российская азбука с гражданским начальным учением, 2. Китайские мысли о совести, 3. Сказка о царевиче Хлоре, 4. Разговор и рассказы, 5. Записки, 6. Выбранные российские пословицы, 7. Продолжение начального учения, 8. Сказка о царевиче Февее» (см.: Сочинения императрицы Екатерины II. СПб., 1893, т. 1. Примечания, с. XIII).

[10] *...очень ученого человека — Лагарпа.* — Швейцарский генерал Фредерик Цезарь Лагарп (Laharpe; 1754—1838) служил адвокатом в Берне. Во время пребывания в Риме он получил приглашение от Екатерины II приехать в Петербург и стать одним из воспитателей великих князей Александра и Константина. В этой должности Лагарп состоял в течение 12 лет (его рассказ о пребывании в Петербурге и о необходимости покинуть Россию в связи с начавшейся Французской революцией 1789 г. см. в кн.: *Записки Д. Н. Свербеева,* т. 1, с. 409—419).

[11] *...поспешила женить и второго на принцессе кобургской Анне Федоровне...* — Великий князь Константин Павлович был женат первым браком на принцессе Саксен-Заальфельд-Кобургской Юлии-Генриэтте-Ульрике (1781—1860), названной великой княгиней Анной Федоровной. Венчание состоялось в 1796 г., а в 1820 г. брак был расторгнут.

[12] *...сделаться монахом.* — А. Н. Пыпин, ссылаясь на ряд биографических источников, писал: «...религиозное настроение в первый раз сильно овладело Александром в 1812 г. ⟨...⟩ это религиозное настроение началось с особенной силой в тот момент, когда император подвергался наибольшим и действительно тяжелым испытаниям ⟨...⟩ до этого религиозное чувство дремало в нем ⟨...⟩. При ⟨...⟩ общем характере его идеальных стремлений, как скоро в нем пробудилась религиозная потребность, она естественно должна была удовлетворяться только известными идеальными формами религиозности, в которые входили бы черты его прежних представлений ⟨...⟩. Поэтому он и был так склонен к внушениям пиетистов и мистиков ⟨...⟩. Когда наполеоновские войны перешли за пределы России и Александр отправился за границу, для таких возбуждений (речь идет о возбуждениях пиетистического характера. — *Т. О.*) открывалось широкое поле. На первых же порах он разделяет свои религиозные мечтания с королем прусским; он посещает в Силезии общины моравских братьев ⟨...⟩, в Бадене он беседует с Юнгом Штиллингом; в Лондоне он оказывает большую благосклонность к квакерам; выражает сочувствие депутации британского библейского общества и т. д.» (см.: *Пыпин, Госпожа Крюднер, I*, с. 626—629). Императрица Александра Федоровна в своих записках писала о том, что еще в 1819 г. в конфиденциальном разговоре с великим князем Николаем Павловичем Александр сообщил ему, что вскоре он займет престол, так как сам он решил по отречении от престола уйти в монастырь (см.: Воспоминания императрицы Александры Федоровны с 1817 по 1820 г. — *РС,* 1896, № 10, с. 53—54).

[13] *В 1817 или 1818 году приехала в Петербург одна баронесса Крюднер...* — Речь идет о Варваре-Юлии Крюднер (рожд. Фитингоф; 1764—1824), проповеднице мистического суеверия, начавшей свою «пророческую» деятельность по указанию «экстатической поселянки» немки Марии Кумрин, приходившей «по временам в экстатическое состояние, в котором говорила с духами и ангелами и получала их пророческие приказания». В 1815 г. Крюднер познакомилась с Александром I (до этого в Карлсруэ она сблизилась с фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны Р. С. Стурдзой и с самой императрицей), о религиозных настроениях которого она, без сомнения, знала. С этого времени между нею и императором «завязались тесные религиозно-мистические настроения». И хотя Александр довольно быстро разочаровался в баронессе, но продолжал оказывать ей покровительство. В 1818 г. она приехала в Россию, но жила в Лифляндии, а в 1821 г. с разрешения царя прибыла в Петербург и вошла в кружок русских мистиков (подробнее см.: *Пыпин, Госпожа Крюднер, I*, с. 626—633; *II*, с. 220—223).

[14] *...жена бывшего нашего посла при прусском дворе.* — Речь идет о бароне Алексее Ивановиче Крюднере (Криденере; ум. 1802); он был посланником в Варшаве, Венеции, Копенгагене и Берлине. В.-Ю. Фитингоф вышла за него замуж в восемнадцатилетнем возрасте, но брак не был прочным и начал распадаться через три-четыре года.

[15] *Иллюминатка* — т. е. член общества иллюминатов, ветви немецкого масонства, которое было основано в 1776 г. Адамом Вейсгауптом (в Баварии). Конечную цель иллюминаты видели в замене христианства деизмом, а монархического правления — республиканским (в то время как в качестве одного из положений программы масонов было

невмешательство в политическую жизнь). Во многом же общество смыкалось с масонами (см. примеч. 14—15 к Главе третьей). Возможно, что здесь слово «иллюминатка» употреблено в его исконном значении — французское понятие «иллюминизм» означало то же, что мистицизм, мистика.

[16] *...известной Марьи Антоновны.* — См. примеч. 27 к Главе четырнадцатой.

[17] *...проболталась, говорят, насчет некоторых предположений касательно Греции...* — Все помыслы Александра I в последние годы его жизни были связаны с греческим вопросом, а именно с подавлением восстания греков против турок (1821 г.). «Фантазии» Крюднер тоже были связаны с греческим вопросом. «Еще живя в Лифляндии, — писал А. Н. Пыпин, — она делала свободу Греции предметом своих мистико-пророческих гимнов 〈...〉; объявляла, что император Александр и есть именно орудие, выбранное богом для восстановления Греции; это назойливое приставанье должно было очень не понравиться императору особенно тогда. Запуганный революциями, Александр представлял теперь задачу Священного Союза именно в подавлении всяких революционных движений 〈...〉 долг Священного Союза, считал он, — подавить между прочим и греческое движение...» (*Пыпин, Госпожа Крюднер,* II, с. 241—242).

[18] *Белый клобук* (в отличие от черного, общего для всех монахов и черного духовенства, вплоть до архиепископов) — головной убор русских митрополитов и патриарха. Впервые в русской церкви появился в качестве отличительного одеяния новгородского архиерея (см. «Повесть о новгородском белом клобуке» — XVI в.).

[19] *Много было различных разговоров и предположений насчет... кончины государя.* — О характере таких «разговоров» можно судить, например, по одной фразе из письма Ф. В. Ростопчина: «По странному совпадению Александр умер в Таганроге, городе, служившем в прошлом столетии местом ссылки преступников, и, несомненно, его тело было набальзамировано Вилли〈е〉, придворным хирургом, принимавшим участие в убийстве Павла, перерезавшим ему сонную артерию после того, как он был задушен» (см.: *Ростопчина, Семейная хроника,* с. 68).

[20] *...бесклассные дворянки...* — Классы (с I по XIV) присваивались только лицам, состоявшим на государственной службе.

[21] *...разошелся с женой и вторично женился...* — Великий князь Константин Павлович после развода с первой женой (см. выше, примеч. 11) женился на графине Иоанне (Жанетте) Антоновне Грудзинской (1795—1831), которая при вступлении в брак была названа княгиней Лович.

[22] *...Лицей цесаревича Николая.* — Московский Лицей памяти цесаревича Николая Александровича, умершего в 1865 г. в двадцатидвухлетнем возрасте, был основан в 1868 г. на средства редактора журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» М. Н. Каткова, его соредактора П. М. Леонтьева и миллионера-железнодорожника С. С. Полякова. Программа Лицея содержала в себе курсы гимназический и университетский.

[23] *...умер граф Румянцев...* — Речь идет о Николае Петровиче Румянцеве (1754—1826), министре иностранных дел и канцлере (1808—1814), знаменитом собирателе памятников, касающихся истории России.

[24] *...известного Румянцева-Задунайского.* — Речь идет о русском полководце, генерал-фельдмаршале графе Петре Александровиче Румянцеве (1725—1796), участнике Семилетней войны, войны с Пруссией и русско-турецких кампаний 1770—1774 и 1788 гг.

[25] *...был женат...* — Н. П. Румянцев женат не был.

[26] *...великий любитель и собиратель древностей, рукописей... диковинок.* — Коллекция Н. П. Румянцева, перевезенная из Петербурга в Москву в мае 1861 г. и помещенная в Пашковом доме, состояла из рукописей (в подлинниках от XII до XVIII в.), библиотеки, нумизматической, минералогической, этнографической и скульптурной коллекций. О собирательской стороне деятельности Румянцева см. в его подробной биографии в «Русском биографическом словаре» (Романова—Рясовский Пг., 1918, с. 510—521).

[27] *...совсем оглох и вживе уже разрушался.* — Ф. В. Ростопчин писал о Н. П. Румянцеве: «Он был вторым сыном знаменитого фельдмаршала, получил весьма тщательное воспитание, путешествовал в сопровождении Гримма — литератора и доверенного человека императрицы Екатерины; он был ее посланником во Франкфурте, аккредитованным при находившихся в Кобленце французских принцах. При Павле он был обер-мундшенком 〈мундшенк — букв. виночерпий〉 и имел голубую ленту. Император Александр назначил его министром иностранных дел и канцлером за Абосский мир. Он находился в Париже, после Эрфуртских конференций; сопровождал государя в Вильну, был там поражен пара-

личом и возвратился в Петербург» (см.: *Записки графа Ф. В. Ростопчина*, с. 652—653).

[28] *. . .дом был на Покровке. . . изображения баталий, где участвовал Задунайский.* — У П. А. Румянцева-Задунайского было несколько домов в Москве; дом на Покровке (ныне ул. Чернышевского) находился на углу Армянского переулка и Маросейки. В 1840 г. дом купил «купец Щеглов, продал Каулину, а этот Грачевым» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 406).

[29] *. . .умер другой граф. . . Федор Васильевич Ростопчин.* — Ф. В. Ростопчин умер 18 января 1826 г.

[30] *Он не пожалел и собственного достояния и прекрасный свой дом в Воронове также поджег. . .* — О намерении поджечь свое поместье Вороново Ф. В. Ростопчин признался С. Глинке накануне сдачи Москвы («Вороново было сожжено собственною рукою графа». — *Записки о 1812 годе*, с. 55). Сам же Ф. В. Ростопчин писал: «. . .в обоих домах моих оставлена была мною полная обстановка: картины, книги, мраморные вещи, бронза, фарфор, все экипажи и погреб с винами. Хотя я и наперед был уверен, что все это будет разграблено, но хотел понести те же потери, какие понесены были другими, и стать на один уровень с жителями, имевшими в Москве свои дома» (см.: *Записки графа Ф. В. Ростопчина*, с. 720).

[31] *. . .зачем он позволил неистовой черни растерзать Верещагина. . . говорят, не виновного. . .* — Сын московского купца 2-й гильдии Михаил Николаевич Верещагин (1790—1812) был обвинен Ростопчиным в переводе и распространении «Письма Наполеона к прусскому королю» и «Речи Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене», напечатанных в «Гамбургских известиях»; однако сам граф в беседе с князем А. А. Шаховским признавался, что смысл жестокой казни был в назидательности: что якобы Верещагин, «. . .угоревший от чада новопросвещения, был масоном ⟨...⟩ пустился переводить, толковать и распускать в народе Наполеоновы прокламации, когда он сам уж был под Москвою, где начали появляться другие Верещагины и верещать по-заморскому; ⟨...⟩ должно было, чтоб узнать своих и показать чужим русскую ненависть к их соблазнам, предать одного народной казни и ее ужасам, если не образумить, то хотя устрашить прочих сумасбродов» (Двенадцатый год. Воспоминания князя А. А. Шаховского. — *РА*, 1886, № 11, с. 399). О самой же казни Ростопчин писал: «Я объявил ему (Верещагину. — *Т. О.*), что он приговорен сенатом к смертной казни и должен понести ее (по словам другого мемуариста, Ростопчин «держал речь к толпе» с крыльца «великолепного дома на Лубянке». — *Загоскин С. М.* Воспоминания. — *ИВ*, 1900, № 2, с. 518. — *Т. О.*), и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова» (см.: *Записки графа Ф. В. Ростопчина*, с. 723). Более подробно суть «верещагинского дела» была изложена в записках А. Ф. Брокера, в это время московского полицмейстера. Он писал: «Верещагин знал хорошо французский и немецкий языки; он прочитывал у сына почтдиректора иностранные газеты и журналы. Такое противузаконное дело производилось следующим образом: цензоры, прочитав журналы и отметя запрещенное в них карандашом, по одному номеру приносили в кабинет почтдиректора для просмотра; сын Ключарева брал их, может быть, не с ведома отца, и делился с легкомысленным Верещагиным. В кофейных и других публичных домах полиция давно замечала молодого человека, который либерально разглагольствовал о политике иностранной и внутренней. В то время зорко следили за подобными явлениями; наконец в июле 1812 года появилась во многих экземплярах переведенная на русский язык, переписанная одною рукой, хвастливая и дерзкая прокламация Наполеона о походе его в Россию. С этой бумагой схвачен был в кофейной Верещагин и представлен к главнокомандующему. Немедленно пошли розыски; обнаружилось, что и другие экземпляры писаны тою же рукою, что писал их Верещагин; дознано знакомство его с Ключаревым. Пылкий граф, наблюдавший строго за волнениями в городе, заподозрил масонское влияние. Его особенно огорчало, что в эпоху нашествия явился русский изменник, и он конечно бы повесил его без суда и следствия, если бы не остановило его желание разъяснить корни разврата. Граф сам допрашивал Верещагина. К чести молодого человека нужно сказать, что он упорно скрывал источник, из которого черпал политические свои знания; графу неизвестны были запрещенные цензурою речи Наполеона; это и погубило Верещагина. Он счел его за сочинителя пасквилей и за шпиона французов, так как из докладов полиции знал о либеральных его толкованиях в кофейных. Раз запирательство его до того озлобило графа, что он схватил ножницы, которыми режут бумагу, и хотел заколоть ими Верещагина. Во всяком случае, заметя в юноше развращенный ум и сердце, он готовил русского изменника на поругание и казнь.

Поругание и казнь совершились. Многие сказывают, что избитый Верещагин был привязан ногами к хвосту лошади, с которою казак поскакал во двор, а за ним ринулась толпа народа, нахлынувшего утром 2 сентября на двор главнокомандующего. Труп его долго валялся на Тверской. Говорят также, что бывший при графе ординарец ударил Верещагина палашом по голове, от чего тот упал, и народ схватил его» (Адам Фомич Брокер (Его записки) — *РА,* 1868, № 9, с. 1430—1431). Вероятно, сам Ростопчин сознавал неправоту им содеянного. По одной из версий причиной его отъезда в Париж была «предполагаемая месть отца несчастного Верещагина» (см. об этом в «Записке» А. Л. Витберга — *Герцен,* т. 1, с. 442). Д. Н. Свербеев писал по этому поводу: «Близкие ему (Ф. В. Ростопчину. — *Т. О.*) люди рассказывали мне там (в Париже. — *Т. О.*), что он мучился угрызениями совести, что тень Верещагина по ночам являлась ему в сонных видениях» (см.: *Записки Д. Н. Свербеева,* т. 1, с. 468).

[32] *. . .написал книгу — «Правду о пожаре Москвы». . .* — Речь идет о брошюре «Правда о пожаре Москвы. Сочинение графа Ф. В. Ростопчина. Перевел с франц. Александр Волков. М., 1825» (дата, проставленная самим автором в конце книги: «Париж, 5 марта 1823»). В «Записках о 1812 годе» С. Глинка, бывший в курсе всех действий Ростопчина и ночевавший у него в доме накануне вступления французов в Москву, писал: «. . .в этой *правде* все *неправда.* Полагают, что он похитил у себя лучшую славу, отрекшись от славы зажигательства Москвы» (*Записки о 1812 годе,* с. 55). Вторил ему и А. Л. Витберг: «Еще страннее и непонятнее поступок его, что он, живя в Париже, отрекся (написав ничтожную брошюрку) от пожара Москвы — он, Ростопчин!» (см.: *Герцен,* т. 1, с. 442).

[33] *Извиняться пред врагом не следовало. . . если совесть не корит.* — Очевидно, имеются в виду следующие слова из брошюры Ростопчина: «Когда пожар разрушил в. три дни шесть осьмых частей Москвы, Наполеон почувствовал всю важность сего происшествия и предвидел следствие, могущее произойти от того над русской нацией, имеющей все право приписать ему сие разрушение 〈...〉 Он надеялся найти верный способ отклонить от себя весь срам сего дела в глазах русских и Европы и обратить его на начальника русского правления в Москве: тогда бюллетени Наполеоновы провозгласили меня зажигателем; журналы, памфлеты наперерыв один перед другим повторили сие обвинение и некоторым образом заставили авторов, писавших после о войне 1812 года, представлять несомненно такое дело, *которое в самой вещи было ложно»* (*Правда о пожаре Москвы,* с. 8).

[34] *. . .человека, достойного лучшей участи. . .* — Неблагоприятными переменами в своем положении после 1812 г. Ростопчин был во многом обязан А. А. Аракчееву. Рассказав в своих записках о том, как после чрезвычайно удавшегося ему в июле 1812 г. сбора пожертвований среди московских жителей Александр I ласково поцеловал его «в обе щеки», Ростопчин продолжал: «Аракчеев поздравил меня с получением высшего знака благоволения, т. е. поцелуя от государя. „Я, — прибавил он, — я, который служу ему с тех пор, как он царствует, — никогда этого не получал“. Балашов просил меня быть уверенным, что гр. Аракчеев никогда не забудет и не простит мне этого поцелуя. Тогда я посмеялся этому, но впоследствии получил верное доказательство тому, что министр полиции говорил правду и что он лучше меня знал гр. Аракчеева» (см.: *Записки графа Ф. В. Ростопчина,* с. 676—677). Однако по смерти Александра I и незадолго до собственной кончины он писал по-иному: «Мне досадно, что я не испытываю никакого сожаления ни как русский, ни как верноподданный, преданный слуга своего царя. Он был несправедлив ко мне; я не просил себе награды, но мог ожидать большего, чем равнодушие и принесения моей службы в жертву низкой зависти, которую я никогда не мог, не умел и не хотел щадить. . .» (см.: *Ростопчина, Семейная хроника,* с. 69).

[35] *Жена его, племянница екатерининской камер-фрейлины Протасовой. . .* — «. . .знаменитая графиня Анна Степановна Протасова, взявшая племянниц к себе, чтобы воспитывать их на своих глазах, была по матери племянницей Григория Орлова, фаворита. Она родилась в 1745 году и с ранней молодости состояла фрейлиной при Екатерине II. Близость и привычка скоро сделали ее необходимой для императрицы, питавшей к ней величайшее доверие. Такая дружба государыни, непостоянной в любви, но сохранявшей неизменное расположение к своему другу, создала для Протасовой весьма видное положение при дворе, где она вскоре получила звание кавалерственной статс-дамы, имевшей право носить портрет (портрет императрицы, осыпанный бриллиантами, носился на левом плече) 〈...〉 При коронования Павла 〈...〉 она была награждена орденом Екатерины 2-й степени, а при коронации Александра 〈. . .〉 получила графский титул. . .» (*Ростопчина, Семейная хроника,* с. 85—86).

[36] *...хотела было и меньшую... обратить в латинство... умерла в православии.* — У Ф. В. Ростопчина было четверо детей: сын и три дочери: «...старшая, Наталья ⟨...⟩, Софья, будущая графиня де-Сегюр, знаменитый автор иллюстрированной библиотеки, и Лиза, чудная красавица, чья преждевременная смерть свела отца в могилу» (см. также примеч. 18 к Главе восьмой). Лиза Ростопчина умерла 1 марта 1824 г. Обстоятельства смерти ее были поистине трагичны. Вот описание этого события со слов очевидца — племянницы горничной в доме Ростопчиных, которая «спала в комнате бонны, рядом с комнатой, где угасала Лиза Ростопчина»: «В ночь ее смерти, услыхав странный шум, она (бонна. — *Т.О.*) проснулась и босиком подкралась к полупритворенной двери. Тут она увидела бабку (графиню Е. П. Ростопчину. — *Т. О.*), крепко державшую при помощи ⟨...⟩ компаньонки умирающую, бившуюся в их руках, между тем как католический священник насильно вкладывал ей в рот причастие... Последним усилием Лиза вырвалась, выплюнула причастие с потоком крови и упала мертвой». Рассказ о последующих событиях записан мемуаристкой со слов ее матери, Евд. П. Ростопчиной. Накануне графиня обманом отправила Ф. В. Ростопчина спать, уверив, что дочери лучше. «Утром она разбудила мужа и сообщила ему, что Лиза умерла, приняв католичество ⟨...⟩ Граф отвечал, что, когда расстался с дочерью, она была православной, и послал за приходским священником. Вне себя графиня в свою очередь послала за аббатом — оба священника встретились у тела усопшей и разошлись, не сотворив установленных молитв. Тогда дед (Ф. В. Ростопчин. — *Т. О.*) уведомил о событии уважаемого митрополита, приказавшего схоронить скончавшуюся по обряду православной церкви. Мать не присутствовала на погребении, как не появлялась впоследствии на панихидах, выносе и похоронах мужа...» (*Ростопчина, Семейная хроника,* с. 113—115).

[37] *Он запретил хоронить себя с пышностью... один приходский священник...* — Очевидец смерти Ф. В. Ростопчина передает слова графа исповедовавшему и причащавшему его священнику: «Батюшка, совершайте погребение одни, пусть гроб будет простой и пусть меня похоронят рядом с дочерью Лизой, под простой мраморной плитой с надписью: „Здесь покоится Федор Ростопчин“ без всякого другого титула» (см.: *Ростопчина, Семейная хроника,* с. 75).

[38] *...обеих императриц... в постоянной переписке и очень его любили.* — Речь идет о Марии Федоровне и Елизавете Алексеевне. Об отношениях Карамзина с ними и переписке см.: *Карамзин, Материалы для биографии,* ч. 2, с. 112—118.

[39] *В начале декабря месяца... отправился во дворец к императрице... говорил много с жаром... пробыл во дворце.* — В начале декабря месяца «Карамзин ездил всякий день во дворец» и постоянно беседовал с императрицей Марией Федоровной и наследником престола Николаем Павловичем. 14 декабря он также провел во дворце и события этого дня подробно описал в письме к И. И. Дмитриеву (см.: *Карамзин, Материалы для биографии,* ч. 2, с. 461—468).

[40] *...у нового государя места для службы при итальянском дворе... выдать... особый фрегат...* — Карамзин просил у Николая I должности русского резидента во Флоренции и, по возвращении в Россию, разрешения поселиться в одном из зданий Таврического дворца. Царь предложил ему отправиться в Италию на специально выделенном для него фрегате.

[41] *...своего лейб-медика (не помню фамилии)...* — В последние дни жизни Карамзина его посещал доктор Риттих (см.: *Карамзин, Материалы для биографии,* ч. 2, с. 474—501).

[42] *...в последних днях мая месяца.* — Карамзин умер 22 мая 1826 г., не дожив до шестидесяти лет.

[43] *...в разных концах России... и Москве.* — Возникновение первой декабристской организации — Союза спасения (Петербург) относится к 1816 г.; в 1817 г. в Москве возникла вторая организация — Военное общество; затем был основан Союз благоденствия с управами в Петербурге, Москве и Тульчине; после его ликвидации (в 1821 г.) были образованы Северное и Южное общества, непосредственно занимавшиеся подготовкой восстания (*Нечкина, Движение декабристов,* т. 1, с. 141—343). Крым назван безосновательно.

[44] *...в 1822 доходили до меня смутные слухи... пустить глубокие корни...* — Уже в мае 1821 г. правительство получило донос члена Коренного совета Союза благоденствия М. К. Грибовского, в котором назывались десятки имен декабристов, но Александр I, приняв ряд репрессивных мер по отношению ко многим названным декабристам, решил не предавать огласке факт существования самого тайного общества (см.: *Нечкина, Движение декабристов,* т. 1, с. 348—351).

[45] *...начались следствия, составлена следственная Верховная комиссия...* — 17 декабря 1825 г. начал действовать «высочайше учрежденный тайный комитет для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества». 26 мая 1826 г. «комитет» был переименован в «комиссию», председателем которой был назначен военный министр А. И. Татищев.

[46] *...были они разделены на сколько-то классов.* — В результате работы Следственной комиссии был составлен «Список лиц, кои по делу о тайных злоумышленных обществах предаются по высочайшему повелению Верховному уголовному суду...». Все декабристы были разделены на XI разрядов и одну внеразрядную группу, в которую входили «государственные преступники, осуждаемые к смертной казни четвертованием» (*Нечкина, Движение декабристов*, т. 2, с. 405).

[47] *Донесение комиссии было потом напечатано, как и список лиц виновных...* — Речь идет, очевидно, о «Донесении следственной комиссии» и о «Росписи государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осуждаемым к разным казням и наказаниям» (см.: Верховный уголовный суд над злоумышленниками, учрежденный по высочайшему манифесту 1-го июня 1826 г. СПб., 1826; здесь же на с. 27—52 напечатана упоминаемая «Роспись...», а также Указ Верховному суду (с. 53—58) и «Выписка из протокола Верховного уголовного суда от 11-го июля 1826 года». Возможно также, что был известен «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу, произведенному высочайше учрежденною 17 декабря 1825 г. следственною комиссиею. Составлен 1827 года», составителем которого был А. Д. Боровков — правитель дел Следственной комиссии с первого дня ее учреждения, т. е. с 17 декабря 1825 г. (подробнее см.: Восстание декабристов. Материалы. Л., 1925, т. 8, с. 5—17).

[48] *...государь послушался их советов.* — Николай I нашел приговор Верховного суда «существу дела и силе законов сообразным», однако внес в него некоторые изменения, состоявшие в передвижке приговоренных из одного разряда в другой и в изменении сроков каторги. Эти изменения были перечислены в указе Верховному уголовному суду от 10 июля 1826 г. Что же касалось осужденных по внеразрядной группе, то в протоколе Верховного суда от 11 июля 1826 г. о них говорилось: «Сообразуясь с высокомонаршим милосердием ⟨...⟩ Верховный уголовный суд по высочайше предоставленной ему власти приговорил вместо мучительной смертной казни четвертованием, Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому приговором суда определенной, — сих преступников за их тяжкие злодеяния, — повесить». Приговор был приведен в исполнение 13 июля рано утром на кронверке Петропавловской крепости (см.: *Нечкина, Движение декабристов*, т. 2, с. 408—409).

[49] *...смягчил приговоры Верховной комиссии... их только сослали... облегчения.* — Для осужденных по I разряду смертная казнь была заменена вечной каторгой (для нескольких лиц срок ее был уменьшен до 20 лет с последующей ссылкой на поселение). Всем осужденным по II и III разрядам вечная каторга заменялась 20-летней с лишением чинов и дворянства и последующей ссылкой на поселение; по IV — 15-летняя каторга заменялась 12-летней с последующей ссылкой на поселение и т. д. (см.: *Нечкина, Движение декабристов*, т. 2, с. 407—408).

[50] *Отец Пестеля... в деревне в великой скудости.* — Речь идет о действительном статском советнике, члене Государственного совета, бывшем сибирском генерал-губернаторе Иване Борисовиче Пестеле (ум. 1845), отставленном от службы в 1822 г. и жившем в своей деревне Васильево (под Петербургом). И. И. Дмитриев писал о нем: «...человек умный и, вероятно, бескорыстный, но слишком честолюбивый, наклонный к раздражительности и самовластию, в короткое время пребывания своего в Сибири сделался грозою целого края, преследуя и предавая суду именитых граждан, откупщиков и гражданских чиновников. Он уничтожал самопроизвольно контракты честных людей с казною, ссылал без суда за Байкальское озеро; служащих в одной губернии отправлял за три тысячи верст в другую и отдавал под суд тамошней Уголовной палаты ⟨...⟩, новый сибирский генерал-губернатор М. М. Сперанский получил повеление исследовать о всех злоупотреблениях сибирского начальства. Истина восторжествовала. Виновные преданы суду, а бывший генерал-губернатор отставлен вовсе от службы» (*Дмитриев*, с. 188—189).

[51] *...меньшого сына, брата повешенного, взял к себе во флигель-адъютанты.* — Речь идет о Владимире Ивановиче Пестеле (ок. 1798—1865). На следствии некоторые из декабристов (Трубецкой, Фон-Визин, Матвей Муравьев-Апостол) показали, что он был членом Общества с 1816 г., «но давно отстал», другие (Оболенский и П. И. Пестель) утверждали,

что он «о Тайном обществе не знал». «Комиссия оставила сие без внимания» (см.: *Алфавит декабристов*, с. 148). Ко времени восстания В. И. Пестель был полковником; 14 июля 1826 г. его произвели во флигель-адъютанты. К 1845 г. он был уже генерал-лейтенантом, к 1855 г. — сенатором, а через 10 лет — действительным тайным советником (см.: там же, с. 374—375).

[52] *Кто был Рылеев: сын ли или родственник бывшего при императрице Екатерине II петербургского губернатора или убитого в 1812 году генерала и на ком он был женат...* — К. Ф. Рылеев был сыном Ф. А. Рылеева (ум. 1814), «бригадира екатерининского времени» (см.: Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1980, т. 2, с. 8), «служившего главноуправляющим имениями княгини В. В. Голицыной» (*Алфавит декабристов*, с. 391). В 1819 г. К. Ф. Рылеев женился на дочери воронежского помещика Наталии Михайловне Тевяшевой (ум. 1853).

[53] *...несколько человек детей, мал-мала меньше.* — Сын Рылеевых Александр (род. 1823) умер младенцем в 1824 г.; кроме него в семье была еще дочь Анастасия (род. 1820).

[54] *Вдова его от горя... тронулась в уме... отвергла милостивую заботливость государя... ни для детей.* — По воспоминаниям Д. А. Кропотова, «вдова Рылеева ⟨...⟩ получила семь или шесть тысяч рублей вспомоществования...» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1980, т. 2, с. 22). По воспоминаниям другого мемуариста, известие о казни мужа она перенесла «твердо» (там же, с. 57). В 1833 г. она вышла замуж во второй раз.

[55] *...и двух его братьев...* — Кроме С. И. Муравьева-Апостола по делу декабристов проходили его младший брат, прапорщик Ипполит (1806—1826), член Северного общества, участвовавший в восстании Черниговского полка; он был ранен и застрелился (см.: *Алфавит декабристов*, с. 131, 358), и его старший брат, отставной полковник Матвей (1793—1851), один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, член Южного общества; участвовал в восстании Черниговского полка. Был осужден по I разряду, но по конфирмации приговорен в каторжную работу на 20 лет (срок был сокращен до 15).

[56] *...Михаила Никитича... женатого на Екатерине Федоровне... умер до двенадцатого года... молодых лет.* — М. Н. Муравьев умер в 1807 г.; его жене было в это время 36 лет (она умерла в 1848 г.). По делу декабристов проходили их сыновья Никита (1796—1843) и Александр (1802—1853). Первый, капитан, был членом Союза спасения и одним из основателей Союза благоденствия. Осужден по I разряду, но по конфирмации приговорен в каторжную работу на 20 лет (срок сокращен сначала до 15, а затем до 10 лет). Александр, корнет-кавалергард, член Северного общества, был осужден по IV разряду и по конфирмации приговорен в каторжную работу на 12 лет (срок был сокращен до 8 лет; *Алфавит декабристов*, с. 132—133, 354, 357—358).

[57] *...женился на... дочери графа Григория Ивановича...* — Н. М. Муравьев женился в 1823 г. на А. Г. Чернышевой (ум. в 1832 г. в Петровском заводе).

[58] *...Захар Григорьевич... сослан в Сибирь.* — Ротмистр кавалергардского полка граф З. Г. Чернышев (1796—1862) был членом Южного общества; осужден по VII разряду и по конфирмации приговорен в каторжную работу на 2 года (отправлен в Нерчинские рудники).

[59] *...двоюродный брат Муравьевых... сослан.* — Речь идет о подполковнике Михаиле Сергеевиче Лунине (1787—1845). Его отец, Сергей Михайлович Лунин, был женат на Феодосии Никитичне Муравьевой. Лунин был членом Союза спасения, а затем Союза благоденствия и Северного и Южного обществ. Его арестовали в Варшаве и осудили по I разряду. По конфирмации он был приговорен в каторжную работу на 20 лет (срок сократили до 15 лет; подробнее см.: *Алфавит декабристов*, с. 346—347).

[60] *...от смертной казни ее племянника Чернышева...* — См. выше, примеч. 58.

[61] *...нянчиться со внукою на старости лет.* — Речь идет о Екатерине Никитичне Муравьевой (1824—1870), воспитывавшейся Е. Ф. Муравьевой. Она страдала «ослаблением умственных сил» (см.: *Алфавит декабристов*, с. 358).

[62] *...князь Волконский... граф Чернышев...* — Речь идет о генерал-майоре, бригадном командире 19-й пехотной дивизии князе Сергее Григорьевиче Волконском (1788—1865); штабс-капитане лейб-гвардейского Московского полка князе Дмитрии Александровиче Щепине-Ростовском (1798—1859); корнете лейб-гвардейского конного полка князе Александре Ивановиче Одоевском (1802—1839); двух князьях Оболенских: поручике лейб-гвардейского Финляндского полка Евгении Петровиче (1796—1865) и поручике лейб-

гвардейского Павловского полка Константине Петровиче (1798—1865); полковнике, дежурном штаб-офицере 4-го пехотного полка князе Сергее Петровиче Трубецком (1790—1860); камер-юнкере князе Валерьяне Михайловиче Голицыне (1803—1859); подпоручике гвардейского Генерального штаба графе Петре Петровиче Коновницыне (1-м); поручике лейб-гвардейского Финляндского полка бароне Андрее Евгеньевиче Розене (1800—1884) и графе З. Г. Чернышеве (о нем см. выше).

[63] *...женатого на Кашкиной)...* — П. Н. Оболенский был женат на Анне Евгеньевне Кашкиной вторым браком. «Их дом был на Новинском бульваре (теперь № 13 по ул. Чайковского; сохранился)» (*Экз. В. К. Журавлевой,* с. 412).

[64] *...один из главных зачинщиков... сослан в Сибирь.* — Е. П. Оболенский был членом Союза благоденствия и Северного общества. По аресте его доставили в Петропавловскую крепость «под строжайший арест, без всякого сообщения» (см.: *Алфавит декабристов*, с. 366). Он был осужден по I разряду и по конфирмации приговорен в каторжную работу навечно. Срок этот был сокращен до 20 лет. Оболенский был в оковах отправлен в Иркутск, затем поступил в Нерчинские рудники; на поселении жил сначала в Иркутской губернии, затем в Тобольской и в Ялуторовске.

[65] *...беда над Мировичем... под суд...* — См. примеч. 24, 25 к Главе пятнадцатой.

[66] *...он... был уже генерал-губернатором в других губерниях...* — Речь идет о Евгении Петровиче Кашкине (1737—1796). В начале 1780 г. он был назначен губернатором в Выборг; в этом же году получил назначение исправлять должность генерал-губернатора в пермском и тобольском краях, получивших статус губерний; в 1788 г. он был назначен наместником ярославским и вологодским и в 1790 г. произведен в генерал-аншефы с последующим назначением наместником тульским и калужским.

[67] *...Владимир Сергеевич... не миновал ссылки.* — Прапорщик Московского пехотного полка В. С. Толстой (1806—1888) был членом Северного общества; осужден по VII разряду и по конфирмации приговорен к каторжным работам на 2 года (срок был сокращен до 1 года). По высочайшему повелению был отправлен прямо на поселение в Иркутскую губернию, а затем рядовым на Кавказ.

[68] *...Александр Вяземский...запутался в этом деле...* — См. примеч. 31 к Главе пятнадцатой.

[69] *...князь Андрей... охраняя государя и наследника.* — Сведений об этом факте не обнаружено.

[70] *Во время турецкой кампании... был под Адрианополем...* — Речь идет о русско-турецкой войне 1828—1829 гг. Победоносный штурм Адрианополя, предпринятый армией И. И. Дибича, происходил 7 августа 1829 г.

[71] *Был у меня еще один родственник... просидел шесть месяцев в крепости...* — Речь идет о титулярном советнике Павле Ивановиче Колошине (1799—1854), женатом с 1824 г. на графине Александре Григорьевне Салтыковой (1804—1871). Он был членом Союза благоденствия; доставлен в Петропавловскую крепость с предписанием «посадить под строгий арест, где удобно»; отставлен от службы коллежским асессором с запрещением въезда в столицы; поселился в своем имении во Владимирской губернии; в 1831 г. получил разрешение жить в Москве (под строгим секретным надзором), где и поселился в 1849 г. В сведениях о нем от 1843 г. сообщалось, что он уже был совершенно слеп (см.: *Алфавит декабристов*, с. 327).

[72] *Старший его брат... вышел сух из воды... ревизовать губернии.* — Коллежский советник Петр Иванович Колошин (1794—1849) был членом Союза благоденствия; с 1825 г. служил в Департаменте внешней торговли; в 1829 г. был назначен членом Департамента уделов; с 1832 г. стал вице-директором Комиссариатского департамента; с 1841 г. состоял по Военному министерству, был членом Совета министра государственных имуществ и умер в чине тайного советника.

[73] *...в Саровской пустыни... отец Серафим.* — Старец-пустынножитель и затворник Серафим (в миру П. С. Мошнин; 1759—1833), иеромонах Саровской пустыни, куда он поступил еще послушником в 1778 г. (подробнее см.: Русский биографический словарь. Сабанеев—Смыслов. СПб., 1904, с. 343—344).

[74] *...два брата Волконских)... попал в беду и был сослан.* — Генерал-майор князь Сергей Григорьевич Волконский (1788—1865) был членом Союза благоденствия и Южного общества; осужден по I разряду и по конфирмации приговорен на каторжную работу на 20 лет (срок сокращен до 15 лет). Отправлен в Нерчинские рудники, а затем переведен на поселение (*Алфавит декабристов*, с. 297—298).

[75] . . .*Анна Ивановна Анненкова* (рожд. Якобий; ум. 1842) была вдовой отставного капитана лейб-гвардейского Преображенского полка, советника Нижегородской гражданской палаты А. Н. Анненкова и дочерью иркутского генерал-губернатора И. В. Якобия.

[76] . . .*одна француженка. . . или гувернантка. . .* — Речь идет о П. Е. Анненковой (рожд. Гебль). В 1823 г., будучи простой модисткой, Полина Гебль приехала из Франции в Москву и поступила продавщицей в модный магазин. Член Южного общества Иван Александрович Анненков (1802—1878) женился на ней в Петровском заводе.

[77] *От этого брака у Анненковой были две ли, три ли внучки, которые воспитывались у бабушки. . .* — В семье Анненковой было шестеро детей. Из них 4 девочки: первенец семьи, дочь Аннушка, умерла на пятом году жизни; Александра (род. 1826); Ольга (род. 1830); Наталья (род. 1843).

[78] *«Христос воскресе».* — См. примеч. 30 к Главе восьмой.

[79] . . .*государь и государыня. . .* — Николай I с супругой Александрой Федоровной (дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III Шарлоттой).

[80] *Императрица ехала с великим князем наследником. . .* — Речь идет об Александре Федоровне и наследнике цесаревиче Александре Николаевиче (будущем императоре Александре II).

[81] . . .*брат императрицы прусский принц. . .* — У Александры Федоровны было четыре брата — Фридрих-Вильгельм (с 1840 г. король прусский); Вильгельм (с 1861 г. король прусский), а также Карл и Альбрехт. О ком из них идет речь, неясно.

[82] . . .*августа 15, в Успеньев день. . . большой праздник и разговенье. . .* — Успенский пост продолжается с 1 по 15 августа; 15-го празднуется окончание поста и происходит разговенье.

[83] . . .*вслед за Иваном Великим. . .* — Речь идет о кремлевской колокольне.

[84] . . .*из того рода Стрешневых, из которых была вторая жена царя Михаила Федоровича.* — Михаил Федорович Романов (1596—1645) первым браком был женат на Марии Владимировне Долгорукой (ум. 1625), вторым (с 1626 г.) на Евдокии Лукьяновне Стрешневой (ум. 1645). От этого брака родился будущий царь Алексей Михайлович.

[85] *Портрет.* — Об этой награде см. в примеч. 88 к Главе девятой.

[86] . . .*у главнокомандующего. . .* — Речь идет о Д. В. Голицыне.

[87] . . .*в Останкине у Шереметева. . .* — Речь идет о графе Дмитрии Николаевиче Шереметеве (1803—1871).

[88] . . .*к преподобному Сергию. . .* — Т. е. в Троице-Сергиеву лавру (см. примеч. 22 к Главе первой и примеч. 3 к Главе седьмой).

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

[1] *Дом свой на Пречистенке я продала. . .* — «. . .в 1832 г. подпоручику Долиманову, с 1852 г. Бороздиной, затем подполковнику Воробьеву, с 1866 г. Алаевой, с 1878 г. Купчинскому принадлежал, в 1916 г. Ушакову З. Н.» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 423).

[2] . . .*Герард один из первых в России завел сахарный завод. . .* — Первый свеклосахарный завод в России был основан в 1802 г. генералом Е. И. Бланкеннагелем в селе Алябьеве Чернинского уезда Тульской губ. (см.: *Рейсер А. С.* Опыт сопоставления некоторых главнейших хронологических дат в области истории сахара и его производства. — Сб. статей по сахарной промышленности. М., 1925, вып. 6—7, с. 343).

[3] *Мелюс,* или мелис — дешевый сахар из белой патоки, продукт с не доведенной до конца переработкой; часть его шла на продажу.

[4] . . .*за Василия Николаевича Толмачева.* — «Жил в 1826 г. в собственном доме на Арбате, № 28» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 430).

[5] . . .*подтверждали этот рассказ его.* — «П. В. Долгоруков относит это к брату Юрия Владимировича Василию Владимировичу» (*Экз. В. К. Журавлевой*, с. 432).

[6] . . .*смертоносною болезнью — холерою. . .* — См. примеч. 2 к 〈Предисловию〉.

[7] . . .*все обошлось в Москве благополучно, не так, как в Петербурге, где было возмущение народа. . .* — Речь идет о холерном бунте в Петербурге в июне 1831 г. Очевидец, описывая картину бунта и эпизод «усмирения» его Николаем I, так передает слова импера-

тора, обращенные к народу: «Что вы это делаете, дураки? С чего вы взяли, что вас отравляют? Это кара божия. На колени, глупцы! Молитесь богу! *Я вас!*» (см. в статье: *Герцен А. И.* Николай как оратор. — Колокол, 1865, 1 декабря, л. 209; *Герцен*, т. 18, с. 472).

[8] *...декабрьской истории 1826 года...* — Ошибка в тексте, вместо: 1825 года.

[9] *Сырная неделя* (или сырная седмица) — то же, что масленая неделя, масленица — последняя неделя перед великим постом.

[10] *Авантажна* — привлекательна (от франц. avantage — выгода, преимущество).

[11] *Фомина* неделя — 2-я неделя после пасхальной.

[12] *...принятия святых Христовых Таин.* — См. примеч. 16 к Главе первой.

[13] *...сестры известного князя Егора Александровича)...* — Речь идет о князе Е. А. Грузинском (1762—1852), владевшем крупными поместьями в Нижегородской губернии и отличавшемся жестокостями и самодурством. В этом качестве он был упомянут А. И. Герценом в «Былом и думах» — в части Второй «Тюрьма и ссылка» (см.: *Герцен,* т. 8, с. 241).

[14] *Падчерица... за графом Потемкиным...* — Речь идет о Елизавете Петровне Потемкиной (рожд. княжне Трубецкой; 1796—1870-е гг.), сестре С. П. Трубецкого. Она вышла замуж за С. П. Потемкина в 1817 г., и жили они на Пречистенке (ныне ул. Кропоткинская, д. № 21). На свадьбе А. С. Пушкина она была посаженой матерью со стороны Н. Н. Гончаровой.

[15] *Марья Алексеевна* Ганнибал (1745—1818), бабушка А. С. Пушкина по матери. По словам П. И. Бартенева, она «любила вспоминать старину, и от нее Пушкин наслышался семейных преданий, коими так дорожил впоследствии» (см.: Летописи Государственного литературного музея. Кн. 1. Пушкин. М.; Л., 1936, с. 451).

[16] *...у Грибоедовых.* — Речь идет о семье родителей А. С. Грибоедова.

[17] *...Визапуром... (потому что он был сын арапа...* — Визапур — имя эмигранта-мулата, женатого на дочери купца Сахарова; в 1812 г. он был расстрелян как французский шпион (см.: Французы в России. 1812 год по воспоминаниям современников. М., 1912, с. 74—76). Имя Визапура стало нарицательным для обозначения арапа (или, например, прически «под арапа» — см.: *Жихарев*, с. 123).

[18] *...она жила счастливо...* — Брак Марии Алексеевны с флота артиллерии капитаном 2-го ранга О. А. Ганнибалом (1744—1806) счастливым не был: последний, оставив семью, в 1779 г. женился на У. Е. Толстой, представив фальшивое свидетельство о своем вдовстве; когда это обстоятельство вскрылось (в 1784 г.), второй брак его был признан незаконным. М. А. Ганнибал с дочерью Надеждой Осиповной поселилась у своей матери, С. Ю. Пушкиной, в Липецке.

[19] *...Пушкины жили... Бутурлиных.* — Один из мемуаристов свидетельствует, что Пушкины в это время жили «подле самого Яузского моста, т. е. не переезжая его к Головинскому дворцу, почти на самой Яузе, в каком-то полукирпичном и полудеревянном доме, в близком соседстве с Бутурлиными» (см.: *Волович*, с. 21). Бутурлины — это семья графа Дмитрия Петровича Бутурлина, находившаяся в родственных и дружеских отношениях с Пушкиными (см. там же, с. 32—34).

[20] *...с Пушкиной девочкой...* — Речь идет об Ольге Сергеевне Пушкиной (в замуж. Павлищевой; 1797—1868).

[21] *...с Грибоедовой...* — Имеется в виду Мария Сергеевна Грибоедова (в замуж. Дурново; 1792—1856), впоследствии талантливая музыкантша (арфистка).

[22] *...(сестрой того, что в Персии потом убили)...* — Речь идет об А. С. Грибоедове, убитом 30 января 1829 г. толпой персидских фанатиков в Тегеране во время истребления русского посольства (ср. стр. 359).

[23] *...бывали еще тут девочки Пушкины...* — О них см. ниже, примеч. 29.

[24] *Мальчик Грибоедов, несколькими годами постарше его...* — Точная дата рождения А. С. Грибоедова неизвестна: в литературе называются и 1794 и 1790 гг. — в любом случае он был старше Пушкина, родившегося в 1799 г.

[25] *Года за полтора до двенадцатого года Пушкины переехали на житье в Петербург, а потом в деревню...* — В Петербург семья Пушкиных переехала в 1814 г., а до их приезда, в июле 1811 г., сюда был привезен будущий поэт для поступления в Царскосельский лицей. Лето Пушкины обычно проводили в подмосковном имении Захарово, принадлежавшем М. А. Ганнибал.

[26] *...Василий Львович... на Капитолине Михайловне...* — Поэт, автор поэмы «Опасный сосед» (1811) и сборника стихотворений (СПб., 1822), В. Л. Пушкин (1766—1830) с 1806 г. был женат на К. М. Вышеславцевой (1778—1861).

[27] . . .*Панина*. . . — Здесь и ниже ошибка. Нужно: Панова.

[28] *Самую старшую*. . . *бывшую за Евреиновым*. . . — Речь идет о Екатерине Федоровне Евреиновой; но старшей была не она, а Анна Федоровна.

[29] *Пушкиным Львовичам они были сродни*. . . — Семье А. С. Пушкина сестры Пушкины были лишь однофамилицами (см.: *Тюнькин К. И.* «Нет, не черкешенка она. . .» — Прометей. М., 1975, № 10, с. 176—181).

[30] . . .*Устинова*. — Речь идет о коллежском советнике Адриане Михайловиче Устинове (1802—после 1882) и его жене Анне Карловне (рожд. Шитц), знакомых Пушкина и Гончаровых (см.: *Шилов К.* Московский адрес. — Прометей. М., 1975, № 10, с. 85—99).

СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ И МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Антиминс — букв. вместопрестолие. Гравированный плат из льняной или шелковой материи с изображением положения Христа во гроб; по углам гравируются фигуры четырех евангелистов, а по верхней стороне вшиваются частицы мощей святых. Антиминс кладется на престол, и на нем совершается обряд освящения даров.

Архистратиг — военачальник.

Ассигнации — бумажные денежные знаки, введенные с 1768 г. взамен звонкой монеты (рубль серебром равнялся $3^{1}/_{2}$ рублям ассигнациями).

Барок — косынка или шарф с вычурной отделкой рюшем.

Белое духовенство — т. е. не монашествующее, не дающее обетов строгого воздержания.

Благовест — колокольный звон, возвещающий о начале церковной службы.

Благочинный — помощник епископа, надзиравший за церквами и духовенством одной из частей епархии — благочиния.

Блонды — шелковые кружева.

Боскетом (расписать) — т. е. расписать растительным узором, зеленью.

Бригадир — военный чин, средний между полковником и генерал-майором (упразднен Павлом I).

Бут — строительный камень, употребляемый для возведения фундамента, а также основание из этого камня.

Варенцы — вареники.

Великий пяток — пятница на страстной неделе.

Викарий — епископ, являющийся помощником или заместителем архиерея, управляющего епархией.

Всенощная — служба, совершающаяся накануне воскресенья и больших праздников. Она начинается после захода солнца и заканчивается обычно после полуночи.

Генерал от инфантерии — военный чин II класса;* вошел в употребление с 1798 г.

Генерал от кавалерии — военный чин II класса; вошел в употребление с 1798 г.

Герольд — придворный глашатай, вестник значительных событий.

Глазет — парча с цветной шелковой основой и с вытканными на ней золотыми или серебряными узорами.

Гоф-интендант — чиновник гоф-интендантской конторы, ведавшей дворцами и садами.

Гофмейстер — придворный чин III класса.

Гофмейстерина — придворное звание-должность для дам.

Грунтовый сарай — оранжерея.

Действительный статский советник — гражданский чин IV класса.

Действительный тайный советник — гражданский чин II класса.

Дикий (цвет) — темно-серый со стальным оттенком.

Егермейстер — придворный чин III класса; ведал охотой.

Жирандоли — большие хрустальные фигурные подсвечники для нескольких свечей.

Жонкиль — разновидность нарцисса.

Иеродиакон — монах, посвященный в дьяконы (в помощники священника при богослужении и отправлении обрядов).

Иеромонах — монах в сане священника.

Ильмовая (мебель) — изготовленная из ильма, дерева из семейства вязовых, отличавшегося великолепной древесиной.

Инфантерия — пехота.

---

* Здесь и далее по XIV-классной Табели о рангах.

Иподьякон — лицо, во время богослужения прислуживающее архиерею.
Исполу — на половинных началах.

Кавалерственная дама — т. е. награжденная орденом св. Екатерины меньшого креста.
Камергер — высшее придворное звание. После 1809 г. присваивалось лицам, имевшим чин III—V классов; с 1850 г. — лишь до IV класса.
Камер-медхен — прислуга низшего ранга при уборной императрицы (и вообще владетельной дамы).
Камер-фрейлина — старшее придворное звание для девиц.
Камлот — плотная шерстяная ткань (часто с примесью шелка или хлопчатобумажной пряжи).
Канцлер — гражданский чин I класса.
Капрал — младший командир.
Каптенармус — лицо, ведавшее хранением и выдачей продовольствия, обмундирования и оружия (со всеми относящимися к нему предметами).
Кизильбашский (бархат) — персидский.
Клобук — высокая цилиндрическая шапка с покрывалом.
Консистория — учреждение с административными и судебными функциями при православном архиерее.
Конскрипция — система комплектования армии на основе воинской повинности с допущением выкупа и заместительства.
Кострючий — колючий (от слова «костра» — жесткая кора льна или конопли, остающаяся после трепания или чесания их).

Линейка — длинный многоместный экипаж с продольной перегородкой. Пассажиры в ней сидели боком к направлению движения.
Лития — краткое богослужение.
Литургия — см. Обедня.

Майорат — установление, по которому земельное владение или поместье переходило безраздельно к старшему в роде или к старшему сыну в семье.
Маркитантка — торговка съестными припасами и разными мелочами во время походов армии.
Многолетие — заздравное церковное пение с многократным повторением слов «многая лета».
Молочный скоп — запасы от своего скота (молоко, сливки, сметана, творог, масло).

Набор — медные бляхи разного вида, украшающие конскую сбрую.
Носки — игра в карты, в которой проигравшего бьют колодой карт по носу.

Обедня — богослужение, совершающееся в первой половине дня.
Обер... (нем. ober — старший) — начальная часть наименований некоторых чинов.
Обер-церемониймейстер — придворный чин; присваивался: с 1743 г. лицам IV класса; с конца XVIII в. — лицам III класса; после 1858 г. — лицам II и III классов.
Объяринный — см. Объярь.
Объярь — плотная шелковая ткань с золотыми и серебряными узорами.
Окольничий — один из высших придворных чинов в допетровской Руси.
Осетить — завладеть человеком, подчинить его себе.

Панагия — нагрудная икона на цепочке, украшенная драгоценными камнями.
Перья (лошадь в перьях) — т. е. в султане из перьев.
Подорожная — проездное свидетельство, дававшее право пользования почтовыми лощадьми.
Подхожий стан — временное пристанище для послов; отсюда они направлялись на прием во дворец.
Престол — главная принадлежность христианского храма; на престоле во время литургии совершаются некоторые религиозные таинства.
Причетник — то же, что псаломщик, дьячок, пономарь; т. е. низший церковный служитель, в обязанности которого входит чтение и пение на клиросе и церковное делопроизводство.
Протодиакон — старший дьякон.
Псалтирь — часть Библии, книга псалмов.
Пудесуа — гладкая шелковая материя без глянца.
Пяток — пятница.

Робронд (роброн) — дамское платье с кринолином на стальных обручах или китовом усе.
Рундук — лавка в виде большого ларя или сундука с подъемным сиденьем.
Рытый бархат — старинный пушистый бархат с вытисненным узором.
Рюши — собранная в сборку полоска легкой ткани.
Ряса, ряска — внебогослужебная верхняя одежда священнослужителей и монахов.
Рясофорная монахиня — послушница, получившая от настоятельницы монастыря благословение носить рясу с клобуком.

Секунд-майор — в 1731—1798 гг. нижняя ступень военного чина VIII класса.
Сем, сем-ка — ну-ка начнем, станем.
Сенная девушка — дворовая девушка, находившаяся в услужении у господ.
Синодик — в церковном обиходе особая книжка, в которую вносятся имена умерших для поминовения во время богослужения.
Скороход — рассыльный; в старину скороходов пускали бежать перед каретами богачей.
Соборне — сообща.
Соборование — христианское таинство, заключающееся в произнесении определенных молитв и в помазании освященным елеем лба, щек, губ, груди и рук тяжелобольного или умирающего.
Сокольничий — лицо, ухаживавшее за ловчими птицами, обучавшее их охоте и охотившееся с ними; в XIV—XVII вв. — лицо, ведавшее великокняжеской (а позднее — царской) охотой.
Солитер — крупный бриллиант.
Сорочины — поминки по умершему в сороковой день после его смерти.
Стамедь (стамед, стамет) — вид старинной шерстяной ткани.
Старица — монахиня, достигшая высокой степени религиозного подвижничества и руководившая, благодаря этому, аскетической практикой послушницы, полностью подчиненной воле старицы.
Статс-дамы — супруги крупных гражданских и военных чинов, особо приближенные ко двору.
Статский советник — гражданский чин V класса.
Стольник — придворный чин в России XIII—XVII вв., который был рангом ниже боярского. Первоначально так называли придворного, который прислуживал за княжеским или царским столом.
Схима — высшая монашеская степень, требующая от посвященных в нее выполнения суровых аскетических правил.
Схимонах — монах, принявший схиму.

Тарантить — внушать, втолковывать.
Травчатый аксамит — плотный узорный бархат.
Турский (бархат) — турецкий.

Утреня (заутреня) — богослужение, свершающееся рано утром.

Филе — ажурная вязка.
Флигель-адъютант — младшее звание офицера свиты.
Фонтанель — разрез на теле для выхода гноя.
Форейтор — верховой, сидящий на одной из передних лошадей, запряженных цугом.

Хиротонисован — см. Хиротония.
Хиротония — рукоположение, возведение в священнический сан (дьякона, священника, епископа).

Цуг (лошадей) — экипаж, состоявший из двух или трех пар лошадей, следовавших друг за другом в упряжи со шлеей (т. е. без дуги и хомута).

Четверток — четверг.
Четыредесятница — великий пост.
Чуфарство — чванство, важничанье.

Шелон (шалон) — старинная тонкая шерстяная ткань.
Шоры — прикрепленные к уздечке наглазники, не дающие лошади возможности смотреть по сторонам, а также конская ременная упряжь без дуги и хомута, со шлеей.
Шталмейстер — придворный чин III класса.
Штучные полы — паркет.

Эктенья (ектенья) — часть православного богослужения; моление, содержавшее разного рода прошения. Оно сопровождается пением певчих.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Алфавит декабристов — Восстание декабристов. Материалы по истории восстания декабристов / Под ред. Б. Л. Модзалевского, А. А. Сиверса. Т. 8. Алфавит декабристов. Л., 1925.
Бытие сердца моего — Бытие сердца моего. или Стихотворения князя И. М. Долгорукова. М., 1817—1818, ч. 1—4.
ВЕ — Вестник Европы (журнал).
ГБЛ — Государственная библиотека им. В. И. Ленина (Москва). Рукописный отдел.
Герцен — Герцен А. И. Собрание сочинений. М., 1954—1966, т. 1—30.
Гершензон — Гершензон М. Грибоедовская Москва. 3-е изд. М., 1928.
Дашкова, Записки — Екатерина Дашкова. Записки 1743—1810. Л., 1985.
Дмитриев — Взгляд на мою жизнь. Записки действительного тайного советника Ивана Ивановича Дмитриева: В 3-х ч. М., 1866.
Жихарев — Жихарев С. П. Записки современника. Ред. статья и коммент. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л., 1955. т. 1—2.
Забелин — История города Москвы. Сочинение Ивана Забелина. М., 1902, ч. 1.
Загоскин — Загоскин С. М. Воспоминания. — *ИВ*, 1900, № 1—8.
Замечательные чудаки и оригиналы — Пыляев М. И. Замечательные чудаки и оригиналы. СПб., 1898.
Записки графа Ф. В. Ростопчина — Записки графа Ф. В. Ростопчина о 1812 годе. — *РС*, 1889, № 12.
Записки Д. Н. Свербеева — Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799—1826). М., 1899, т. 1—2.
Записки князя И. М. Долгорукова — Долгоруков И. М. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни. Пг., 1916.
Записки о 1812 годе — Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского ополчения. СПб., 1836.
ИВ — Исторический вестник (журнал).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Рукописный отдел.
Капище моего сердца — Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. Сочинение князя Ивана Михайловича Долгорукова. М., 1874.
Карамзин, Материалы для биографии — Н. М. Карамзин. По его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина. М., 1866, ч. 1—2.
Корсаков — Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891.
Нечкина, Движение декабристов — Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955, т. 1—2.
Правда о пожаре Москвы — Правда о пожаре Москвы. Сочинение графа Ф. В. Ростопчина / Пер. с франц. Александр Волков. М., 1823.
Пушкин — Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17-ти т. М.; Л., 1937—1939.
Пыляев, Старая Москва — Пыляев М. И. Старая Москва. Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы. СПб., 1891.
Пыляев, Старый Петербург — Пыляев М. И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб., 1887.

Пыпин, Госпожа Крюднер, I, II — Пыпин А. Н. Госпожа Крюднер. Статья первая — *ВЕ*, 1869, № 8; Статья вторая — *ВЕ*, 1869, № 9.
РА — Русский архив (журнал).
РВ — Русский вестник (журнал).
Ростопчина, Семейная хроника — Ростопчина Л. Семейная хроника (1812 г.). М., б. г. (Б-ка «Наука, искусство, литература», № 4).
РС — Русская старина (журнал).
Соллогуб — Воспоминания графа Валентина Александровича Соллогуба. СПб., 1887.
Соловьев — Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1959—1966, кн. 1—15.
Татищев — Татищев В. Н. История Российская: В 7-ми т. М.; Л., 1962, т. 1.
ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства (Москва).
Чистович — Чистович И. Феофан Прокопович и его время. Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности императорской Академии наук. СПб., 1868, т. 4.
Экз. В. К. Журавлевой — Рукописные пометы на кн.: Рассказы бабушки (из воспоминаний пяти поколений), записанные и собранные ее внуком Д. Благово. СПб., 1885 (из личной библиотеки В. К. Журавлевой. Москва).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

* Курсивом выделены страницы Приложений.

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ *

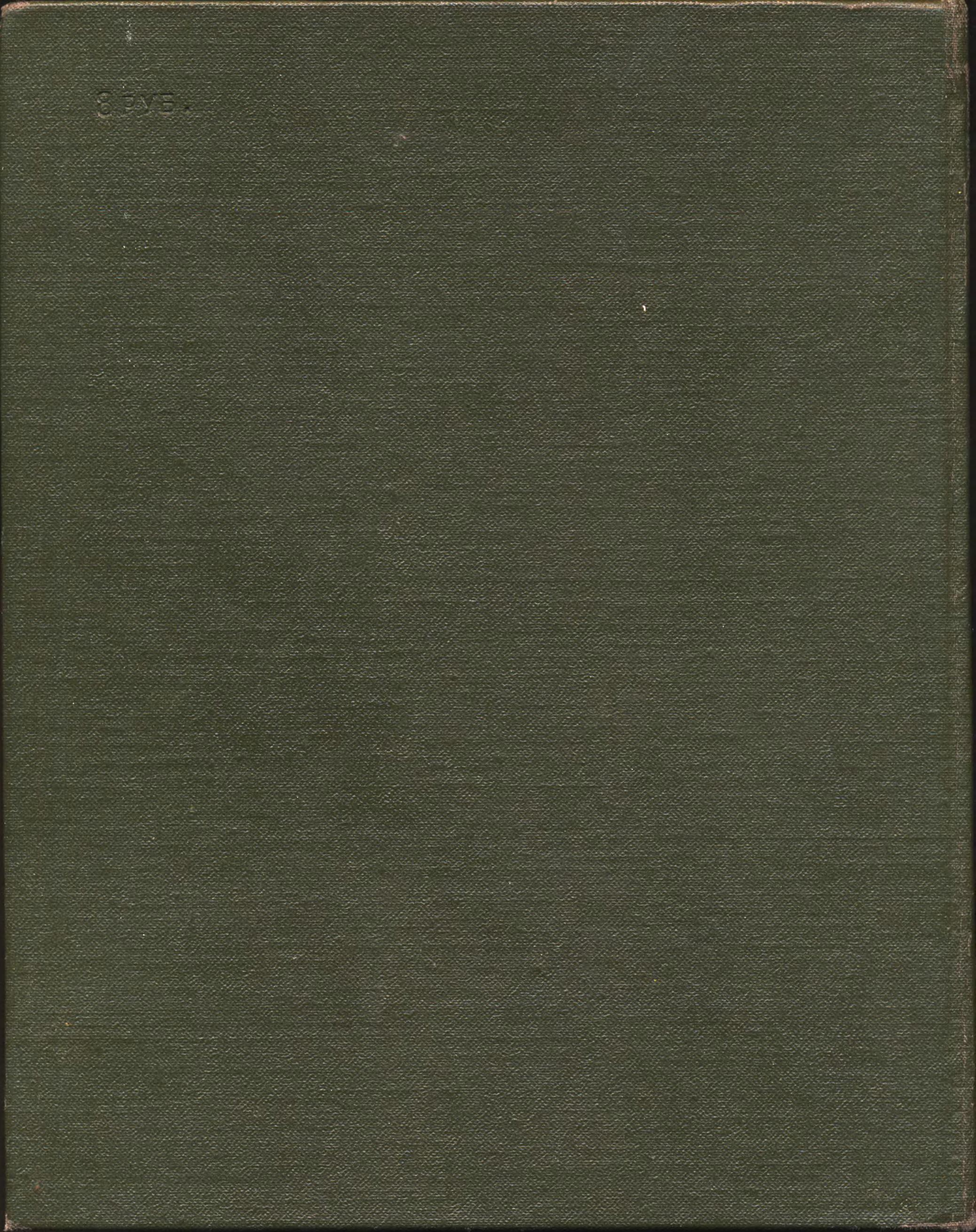
* Названия даются в той же форме, какую они имеют в тексте памятника. Курсивом выделены страницы Приложений.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

РАССКАЗЫ БАБУШКИ

РАССКАЗЫ БАБУШКИ


8 руб.